А. Тарасов-Родионов

ИЮЛЬ



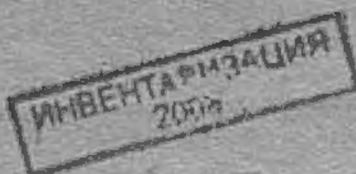


А. Тарасов-Родионов

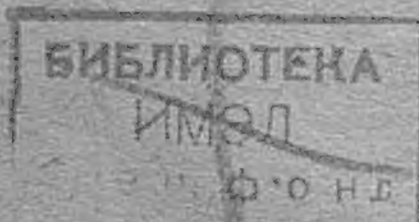
ИЮЛЬ

Московское
товарищество
писателей
1933









Редактор Г. Шульц *Техн. ред.—М. Чуванов*

Художник Г. Фишер

Интернациональная тип., ул. Скворцова-Степанова, 3. Сдано в набор 21.2.33 г. Подписано к печати 25.4.33 г. Статформат Б-6, 125×176. Печ. л. $17^{1}/_{8}$. Мособлит 78. Зак № 297. Тираж 10200 экз.

1933 *МТП. № 307/42*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Июльский период революции великого семнадцатого года являлся существеннейшим этапом изживания трудящимися массами простодушной глупенькой веры в возможность путем соглашательства с буржуазией добиться хотя бы скромного осуществления своих неотложнейших экономических и политических требований.

Июль был зенитом «демократической» власти меньшевиков и эсеров. Июль был пышным цветеньем пустозвонной спесивой керенщины. Июль был апогеем циничного хозяйничанья международных банкиров над боевыми операциями русского фронта. Июль был мобилизацией всех черных сил контрреволюции для остервенелой и наглой корниловской авантюры.

И в то же время этот период был периодом собирания и закалки большевистских сил в широчайших слоях рабочего класса и мобилизованного на войну бедняцкого трудового крестьянства. Июль был школой наглядного политического воспитания масс под боевым руководством большевистской партии, возглавляемой Лениным. Июль был периодом ожесточенных классовых стычек, предшествовавших великому Октябрю. Июль был временем яростного срывания «социалистических» масок с российских героев 2-го Интернационала. Июль был решительным отцветанием розовеньких иллюзий в «демократическую» безмятежность классового перемирия. Июль, превращенный продажными перьями социал-патриотических холуев в «авантюру анархических элементов», был на деле первым мощным сигналом неумолимого приближения всемирной революции пролетариата.

Будучи рядовым участником этих великих событий, я счел своим долгом отобразить весь этот период в живом, впечатляющем повествовании в том виде, в каком я его тогда воспринимал. Конечно, моя деятельность не была настолько широкой, чтобы охватить непосредственно все события тех великих дней. Ряд важных событий партийной жизни и повседневный рост рабочей массы являются поэтому отображенными более слабо. Я записал здесь документально, с сохранением всех дат и фамилий, все, что упомнил из того, что видел, что знал и что делал. При этом я счел допустимым придать своему повествованию несколько узкий характер авто-

биографических воспоминаний с тем, чтобы на показе развития собственной личности более наглядно проследить ход общего органического процесса, которым трудящиеся массы, хотя и тяжелыми шагами, но неуклонно шли к большевизму. Более резкие колебания, сомнения и даже провалы, имевшие место в развитии моей личности, должны только ярче и обостреннее подчеркнуть те основные типичные черты, свойственные мелкой буржуазии, без коренного преодоления которых широкие массы трудящихся не могли бы притти к победоносному завоеванию власти пролетариатом для построения бесклассового, социалистического общества.

Пусть поэтому не посетует читатель, если в труде моем, стремящемся оживить небольшие, памятные мне уголки далеких, отгремевших дней наших прошлых классовых битв, он найдет наряду с сияющими в века подвигами масс и личностей также и жалкий чад человеческих ошибок, имеющих свои классовые корни.

Революция делается не по учебникам. Ее шаги — тяжелые шаги.

Автор

Автор будет признателен читателям за каждое деловое замечание по поводу настоящей книги, присланное на его имя по адресу: Москва 2, Спасо-Песковский пер., д. 3/1, кв. 8.

I. ПЕРВАЯ СТЫЧКА

Старый, знакомый перрон полустанка Мартышкино. Всего лишь два месяца пронеслось с той поры, как я оторвался от этих сроднившихся, мирных картин, но кажется, что эти месяцы — годы...

Мы тащимся с вещами вдоль улиц, по которым зимою пулеметчики нашей команды отбивали в замерзшую землю четкий шаг и кричал Шевелев прямо в ухо: «Ать—два—три—четыре!» Теперь через хилый забор здесь топорщится сочная зелень черемух, и набрякшие грозди ее сулят в близком будущем пышный праздник белого пахучего цветенья. Финский залив, что тогда неподвижно лежал ледяной белой гладью и над ним так ретиво строчил пулеметом в бездонное небо прапорщик наш Марцинкевич, — растаял давно этот Финский залив. Его сизые волны чуть колышут камыш, а за ними налево, во мгле горизонта, сквозь рыжее дымное марево от судов и заводов сверкает куполом грозный Кронштадт. У церковки здесь поворот на шоссе, по которому в дни Февраля распоясанные толпы солдат дерзко мчались в безудержном порыве восстания на гранитный оплот самодержцев — императорский Питер. Неужели всего лишь два месяца протекло с той поры, как вот здесь стоном стоял снежный хруст тысяч стремительных шагов, визг пулеметных осей, треск винтовочных взблесков и воинственный рев: «Вылетай, вылетай!»?.. Мирно журчит в стороне ручеек. Два солдата, должно быть стрелковой команды, лениво бредут за семянками в лавочку. И это вот все, что осталось здесь от мятежных бурь Февраля?..

Воспоминания одно за другим вмиг встают и проносятся мимо, как цепи солдат в боевой перебежке. Лязг солдатских прикладов на заслякоченных паркетах потемкинских зал; керосиновая духота в гулком, жестком несущемся броневике; безликий рев солдатской толпы, растерзавшей полковника; недобритый Керенский, от бессилия яростно топающий ногами; дружный взмах сотен рабочих и солдатских закорявивших рук, шумно взлетающих вверх, голосуя за нас, за мир, за хлеб, за свободу. И Ленин, наш близкий, напористый Ленин, так уверенно-смело руководящий движением. Что ж, пускай наш противник на миг сейчас торжествует:

пусть на фронте, как прежде, — война, страна голодает, Гучковы воркуют о займах «Свободы». Пусть стан эсдеков и эсеров в красных бантах заклинают народ позабыть о земле, о голодной мере заработной платы. Пусть напевают они о всеобщей братской любви и гражданском мире. Пусть стараются нас обезвредить, рассеять. Разве нас потушить? В нас заложены искры гремучего сжатого гнева. Эти искры способны, день за днем раздуваясь, взметнуть в нужный час огненный вихрь с гневным лязгом миллионов прикладов, с диким гулом несметных шагов, беспощадно тяжелых рабочих и мужицких шагов, — тех свирепых шагов, что всех супостатов народа разотрут, распластают, раздавят.

Кто я? Только одна из тысяч малюсеньких искорок. Вон направо на горке, сквозь медовую прозелень распустившихся кленов желтеет старая громоздкая дача нашей пулеметной учебной команды. Сколько там Шеншиных, Куприев, Ржавцевых, Мелеховых, Ноздрачевых, незаметных серых солдат, встосковавших по липкой родимой земле, сиротливой без сева, встосковавших по звонким заводским станкам... Рабочее братство народов — вот тот грозный и крепкий утес, о который вдребезги разобьют свои пиратские корабли теперешние хищные властители мира, мира крови, насилья и рабства. Пусть же скорее огненный вихрь, этот великий грядущий пожар последнего победного восстания, пусть скорей опалит он эти мирные заросли кленов, за которыми слышен сейчас мирный говор старых знакомых, пока что утихомиренных наших солдат. Горючего здесь еще очень много, а я — только одна из тысяч крохотных искорок.

Знакомая хижина возле шоссе у залива. На три ствола раскинулась старая сосна возле у окон. Я возвращаюсь в это прежнее логовище, где когда-то коротал дни безвременья вместе со своим денщиком Фенькиным. Та же низкая комната с небольшими окнами. Только киот и иконы унесла к себе наверх в мезонин приехавшая жить сюда на лето домохозяйка, — низенькое горбатое существо с дряблым ртом и складками сизых морщин возле шеи, что делает ее похожей на посиневшего хилого птенца, выпавшего из скворешни. Она стоит возле самых дверей, ревниво оглядывая острым, колющим взглядом те пожитки, которые вносим с собою мы в ее дом. Однако ей заплачено вперед за три месяца, и она понимает, что быть надоедливой неудобно. К тому же она видит, что, с ее точки зрения, мои малыши и жена «приличные люди». С такими жильцами следует быть поучтивей. Ведь недаром сама она бывшая фрейлина, урожденная баронесса фон-Шпулькопф. Конечно, теперь тугие времена, чернь восстала на священные авторитеты, и будущее так тревожно, но, слава господу богу, пенсию ей продолжают аккуратно выплачивать. Временное правительство — нечего жаловаться — не обижает. Поэтому, прошамкав все это скороговоркой и

пожелав по-французски нам приятного новоселья, она спесиво уходит наверх, скрипя по ступенькам.

Оставив семью располагаться, я направляюсь в команду. Навстречу дорожкой степенно и важно спускается прапорщик Иловайский. Он вскидывает на меня рыжеватые, как у поросенка, ресницы и растерянно хмычет, остановившись и не здороваясь:

— Гм, вы приехали...

Его полное, наливное лицо, подернутое веснушками, вдруг озаряется злорадством, и он, повернув обратно, молча идет вслед за мной. На дворе я встречаю удивленные и словно чем-то смущенные взгляды знакомых солдат. Они здороваются со мною как-то нехотя. Поднимаюсь прямо наверх в канцелярию и застаю здесь гурьбу офицеров и среди них прапорщика Красникова. Теперь он начальник команды. С неуклюжей приветливостью он ласково жмет мою руку и нерешительно мнется, краснея и оглядываясь на окружающих.

— Судьба привела меня снова к вам, — говорю я ему и протягиваю свое предписание от военной комиссии Государственной думы о моем откомандировании обратно.

— Д-д-да... — мнется Красников и глотает капризную слюнку. — Видите ль, Асан Натич, здесь... у нас... перемены, положение, знаете ль, изменилось.

Я вижу вокруг налитые победным злорадством и насмешкой глаза офицеров.

— Может быть, мы пройдемся, и я вам все объясню... — и, рассеянно кивнув пристававшему фельдфебелю, Красников тащит меня за рукав по лестнице вниз.

Вслед нам за стеной канцелярии раздается тотчас же бурный взрыв наглого хохота офицерщины.

Красников, видимо, очень смущен, он спотыкается, вбирает голову в плечи и торопливо выводит меня за калитку прямо в сад.

— Видите ль, дорогой Асан Натич, я очень люблю вас и вполне уважаю, но, знаете ль, наша команда на-днях постановила: ввиду вашего долгого отсутствия из команды — не считать вас в составе своих офицеров.

Я возмущенно протестую:

— Команда должна была знать, что я был законно откомандирован и работал при исполнительном комитете совета рабочих и солдатских депутатов. Вы же знаете сами...

— Да, но в команду дошли какие-то, знаете ль, грязные слухи, будто бы Союз офицеров-республиканцев признал вас неблагонадежным элементом. Эти сплетни принесли сюда прапорщик Иловайский и два вольноопределяющихся, члены совета, бывающие в Таврическом дворце. После этого команда отвела вас из депутатов и постановила считать офицером, не избранным своими солдатами.

Я так горячо противился этому, Асан Натич, но, сами вы понимаете, сейчас выборное начало...

— Забракованный солдатами офицер! Вот забавно! — с горечью выдавливаю я из себя, покраснев от такого удара. — Чушь! Как можно выносить подобные решения заочно! Я требую этот вопрос перерешить и для этого немедленно собрать всю команду. Нечего в прятки играть...

— Погодите!.. Постойте! — еле поспевая за мною, лепечет взволнованный Красников. — Вы поговорите предварительно с кем-нибудь из солдатского комитета команды. Его председатель — солдат Дмитриев. Если он разрешит, я буду этому рад и со своей стороны...

«Чего уж там «буду рад»! Бесхребетная слякоть!» — со злостью думаю я.

Дмитриева я не помню. После расспросов солдат я нахожу этого Дмитриева в канцелярии, где он вдумчиво просматривает старые приказы. Тихий, степенный бородатый солдат. При разговоре со мною он, обычно столь почтительный к офицерам, сейчас умышленно не встает и вообще еле удостаивает меня взглядом. Он находит, что созывать собрание команды не стоит:

— По поводу вас нами уже все решено окончательно.

Он умолкает и снова погружается в приказы.

— Кто же это вас так осведомил? — негодую я. — Уж не прапорщик ли Иловайский, монархист и держиморда?!

— Прапорщик Иловайский — член партии «Народной свободы», — невозмутимо повертывается Дмитриев, — и в монархизме он не изобличен. Да и кроме него сведения о вас сообщали наши депутаты в Петроградском совете, унтер-офицер Шевелев и вольноопер Анисимов.

— Ах вот как! — издеваюсь я. — Сынки лабазников, из которых один был когда-то поставлен мною здесь под ружье за издевательство над солдатами. Так вот как защищаете вы здесь солдатские интересы, господин председатель солдатского комитета!?

О чем больше с ним говорить?! Вне себя я выскакиваю из команды во двор, но тут же нерешительно останавливаюсь в полной беспомощности. Что предпринять? Как ловко все это придумано: из столицы я изгнан, как большевик, в свою часть, а в части подстроено, чтобы она меня не приняла; отправляйся теперь, голубчик, на фронт под ежовую генеральскую рукавицу, там знают, как из тебя выжать большевистский сок!

Перед крыльцом нашей кухни быстро накапливается очередь солдат с котелками, раздается обед, и многие уже отбегают с горячею белой рисовой кашей. Я узнаю здесь Куприя и Шепшина, Мелехова, Ржавцева и других сотоварищей по нашему февраль-

скому походу. С горечью в голосе я сообщаю о случившемся. Они выслушивают это подавленно и вздыхают.

— Что, неправду я тогда вам всем говорил? — неожиданно вдруг выступает солдат Ноздрачев. — Я усовещал их тогда, товарищ поручик, что наши офицеры по злобе на вас навертели поклеп. Как шила в мешке не таи, оно теперь, вишь, и вылезло.

Оставив свой котелок на барьере террасы, он отводит меня дальше, в сад. Заломив на затылок примятую к переду фуражку с поцарапанным козырьком и заложив назад руки под распахнутую шинель, он пытливо глядит на меня своими серыми, добродушно прищуренными глазами. Его широкие мягкие губы сосунка, с пробивающимся сверху пушком, подергиваются гримасой раздумья.

— Насчет депутатства в совет, пошлите вы его к чорту это депутатство, господин поручик! Никакого нет в нем толка. Я вот и сам был выбран тогда вместе с вами туда. Походил, походил. Вечный гам. Никто ни черта, ни в чем — ни бельмеса. Вылез однажды Чхеидзе, худой как Мефистофель, кричит нам: «Да здравствует революция! Да здравствует наш совет рабочих и солдатских депутатов! Эта трибуна, товарищи, так устроена, что каждое слово, здесь сказанное, разносится отсюда немедленно по всему миру. С этой трибуны здесь выступали первая, вторая, третья и четвертая государственные думы, а теперь кто здесь выступает? Серая шинель! Да, солдатская серая шинель здесь выступает со своим словом, вот кто!..» Ну, конечно, зал стал неистовствовать, все ладони себе поотбили, а после пошли всей оравой пощупать, где же в этой трибуне сидит такой механизм, что каждое слово с нее... Ну, с тех пор я и плюнул, кончил ходить. Вместо меня туда выбрали депутатом вольнопера Анисимова. Это — буржуйское чадо, сын кондитера. Он там к месту, пускай депутатствует. А насчет вот принятия в нашу команду мы это исправим. Дмитриев, он социал-демократ, меньшевик, бывший учитель, хвастает, что сиживал в тюрьме, но — дуболом и горою стоит за буржуев. Только я ведь тоже, чай, член комитета. Мы сейчас все это обсудим, а после обеда я собранье команды постараюсь созвать. Мы вас покличем тогда, не беспокойтесь. — И он приветливо кивнул мне на прощанье наивно-усмешливым взглядом.

Дома я не смог ничем позаняться; лихорадочно взволнованный томительным ожиданием, я задумчиво прошел на берег залива. Пугливые стайки корюшки в прозрачной воде меня умилили; но забеспокоившись, что посланные из команды меня не найдут, я повернул обратно на шоссе.

Вот тебе и «тихое» Мартышкино! Нет уж, видно, там, где есть солдаты, теперь уже не может быть тишины. И не так-то легко сбывается, о чем я мечтал: пришел, зажег, и лети снова в Питер на крыльях знамен. Еще в пятом году Ленин учил, что пока револю-

ция не станет массовой и не захватит самого войска, не может быть и речи о серьезной борьбе... Как все это верно и посейчас! Ведь всего лишь два месяца утекло, и как много мы потеряли! Надо наверстывать все с лихорадочной быстротой. Не сбылось разве все то, что когда-то предсказывал Маркс? Буржуазия сама научила рабочих владеть оружием. Освобожденные революцией и не выпускающие из рук своих солдатских винтовок, деревенские бедняки и рабочие сумеют добиться осуществления своих рабочих целей, если только они их сознают. Надо быстрее — и как можно быстрее — солдатам в этом помочь.

За мной прибежал шустрый Ржавцев:

— Команда вся в сборе, вас ждут!

Подходя к помещению команды, я уже слышал через открытые окна шумный говор и настойчивые выкрики Иловайского. Он словно надувался воздухом весь доотказу и выкидывал слова, круглые и гулкие, как боченки.

— Официально вам заявляем, что в случае отмены прежнего решения и принятия указанного поручика в нашу команду мы, остальные офицеры, уйдем все, как один, совсем из команды.

Когда я вошел, упало молчание. Знакомые прапорщики: высокий застенчивый Алексеенко, низенький, с наглыми глазами Застежкин, краснолицый Иловайский, смущенно краснеющий Красников и даже простоватый парень-рубаха, ясноглазый Черкасов, тот, что помогал мне в технологическом комендантстве и ездил со мною в Царское село проверять Николая Романова, — все они чуть удостоили меня холодным полупрезрительным кивком. Комната первого взвода была наполнена солдатами вплотную и, несмотря на открытые окна, пыхтела духотой человеческих тел и махорочным куревом. Председательствовал все тот же сутулый, костлявый солдат Ноздрачев, прозванный в команде тихоправным философом. Очевидно, председательская обязанность его самого и смущала и смешила настолько, что ему стоило немалых усилий привести в серьезное равновесие свое то-и-дело осклабливающееся на сторонние шуточки лицо. Чтоб взять себя в руки, он наконец опустил вниз смешливые свои глаза и с застуженным напряжением начал:

— На вас здесь, поручик, поливается много помойной грязи. Вольноперы наши из пятого взвода ругают вас за-глаза подлецом и темною личностью, не приводя никаких к тому фактов, офицеры же вот убеждают, чтобы мы вам не доверяли, и рассказывают, будто вы усмиряли восстанье на броневике. На броневике вас видал и наш председатель, солдат Дмитриев. Просим насчет этого вас объяснить.

Я вижу в первых рядах злорадные взгляды пятивзводников Шевелева и Анисимова. Чувствую в стиснутых скулах жесткую су-

дорогу щек, а в пересохшем горле становится мучительно горько. Запальчиво и горячо я начинаю рассказывать о себе, о своей обыденной личности, которая так неожиданно стала здесь вдруг коекому поперек горла. Я вспоминаю о своей прошлой работе в боевых большевистских дружинах, говорю и о февральском восстании. Разве не добрая половина здесь присутствующих шла тогда вместе со мною на Питер? Что ж, разве мы шли усмирять?!

— Не кури! — сердито бурчит вдали у стены один из солдат. — Скрозь дым ничего не слыхать...

Сердитые взгляды вмиг усмиряют неполадивших слушателей.

— Да, в Питере я работал как пулеметчик на броневике, расстреливая полицейские пулеметные гнезда. Этой славной работе есть свидетели и есть документы, которые я предъявляю. А в технологическом, став комендантом, разве я не был у вас на виду? Прапорщики Красников и Черкасов, и многие из вас, солдат, сами же мне помогали в ответственных революционных задачах, которые я выполнял. Кому же понадобилось так нагло оклеветать здесь меня, будто бы я усмиритель?!. Если это те офицеры, белые косточки, что при старом режиме вас били в лицо и которым я — большевик — стал здесь помехой, — то это понятно. Если на меня грязно клевещут ваши вольноопределяющиеся пятого взвода, окопавшиеся здесь от фронтов сынки столичных лабазников, — это тоже понятно. Но как вы, простые солдаты, вы, черная кость, хорошо знающие меня, могли вдруг поверить вражьим сплетням?!.

— Ладно, — поднимается бородатый Дмитриев, — мы о вас слыхали и допустим, что контрреволюции за вами нет. Но ведь вот офицеры из Таврического дворца, товарищи Любарский и Спиани, наши социал-демократы, они нам передали, что вы с ними порвали и чтобы мы вам очень не верили...

— Меньшевики, двурушные выскочки, желающие погреть у костра революции свои барские лапки, да, я с ними порвал, но они не посмеют упрекнуть меня ни в чем предосудительном. Есть и среди них политически не согласные со мною, но честные люди, не прибегающие к клевете, — прапорщик Яглонский, поручик Петров, — они могут это вам подтвердить. Как видите...

— Ну что же, хватит?! — насмешливо щупает всех глазами Ноздрачев.

— Мы просим вас теперь, товарищ поручик, на времячко нас здесь оставить. Мы сейчас все пообсудим, порешим и тогда вас позовем.

Я выхожу, и вслед за мною поднимается бурный галдеж. Иловайский исступленно о чем-то кричит: «Демагог! говорильщик! а вы поразвесили уши!»

Морской ветерок майского вечера приятно освежает на дворе. Минут через пять меня призывают обратно.

— Команда постановила считать вас, господин поручик... — говорит уже Дмитриев, и голос его шуршит, как бумага.

— Единогласно постановила считать,— поправляет его Ноздрачев.

— ...Да, единогласно, — поправляется Дмитриев, — считать вас реабилитированным и принять в офицеры нашей команды как выбранного.

Меня трясет не то с радости, не то от волнения. С благодарностью ловлю вокруг участливые, теплые солдатские взгляды. Я снова, как прежде, в своей родной семье. Пусть ворчит, удаляясь с Застежкиным, взбешенный Иловайский. Прапорщик Красников, кособоко согнувшись, трясет мою руку:

— Вот видите, Асан Натич, я же вам говорил...

2. НАЧАЛА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ

Приходится быстро осваиваться в команде. Время не ждет. Да, впрочем, и осваиваться-то особенно не в чем. Правда, солдаты выстраиваются по утрам на дворе команды, как и прежде, чтобы по-взводно итти на занятия. Подробнейшие расписания их ежедневно тщательно разрабатываются самим прапорщиком Красниковым и затем торжественно вывешиваются в канцелярии команды. Однако все это делается только для отвода глаз. На деле же все занятия ограничиваются только поверкой, после которой взводы отправляются по своим помещениям.

— Ах, Асан Натич, — конфузливо, словно как бы оправдываясь, объясняет мне Красников, — разве мало мы с вами вдалбливали им все эти кольты и гочкисы еще при старом режиме? Не случись революции, они уже первого марта все были бы выпущены для отправки на фронт пулеметными унтер-офицерами. Ну, а после революции, сами знаете, во время всех этих мотаний, какие уж тут выпуски или занятия! Половина команды тем временем успела разъехаться в отпуска. Начальство школы теперь разрешило нам оттянуть выпуск до июня, и после этого наша команда совсем перестанет существовать. Так решено в Ораниенбауме. Почему же ребятам и не отдохнуть лишний месяц? Я их не неволю. Расписания я, конечно, составляю. Если кто вдруг заедет, — у нас все в аккурате, не подкопаешься. А так, по себе, пусть занимаются, чем хотят, лишь бы мирно. Вон,— и он кивает через окно вниз на дальнюю лужайку сада, где толпятся солдаты и откуда доносится их громкий смех и звонкие щелкания деревянных увесистых палок, — первый взвод жрится в городки: сегодня у них по расписанию как раз строевые занятия. И ловко жарятся, подлецы! — тянет Красников, не отрывая глаз от окна и завистливо облизываясь. — Ну, в остальных взводах сегодня по расписанию — пулеметы. Сидят по

взводам и, наверное, режутся, прохвосты, в очко. Просто безобразие, какими картежниками все позаделались! Но ничего не поделаешь, — глотает Красников беспомощно слюнку, — лишь бы не на деньги. На деньги — я запрещаю... Только разве за ними уследишь? Хорошо, что у этих взводов и денег-то нет. Хоть солдату и платят теперь вместо прежних семнадцати копеек уже по полтиннику в месяц, но с этого не разживешься. Хлебом, конечно, многие канальи еще подрабатывают, но и это — гроши! Вот у пятого взвода, у вольноперов, у тех были деньжищи. Банки, говорят, у них доходили до трехсот. Отцы присылали. Только сегодня они наконец все уходят, — чорт бы их всех побрал! — откомандировываются в Петергоф, в школу прапорщиков, к августу будут уже офицеры. Кое-кто из них, знаете ль, словчился попасть туда еще с апреля, так что в звездочках скоро защеголяют. Кстати, помните своего денщика? Фенькина? Он уже там. Даже в отпуск, болван, не поехал, — жадничал поскорее погоны позолотить.

Фенькин! Ну, как же не помнить этого угодливого, трусливого парня, который когда-то усердно учился у попов всем церковным премудростям, чтобы выйти в дьячки, а у меня в денщиках все мечтал как бы пролезть в господа, в офицеры, и вечно таскал у себя по карманам патриотические книжонки, от которых глупел еще больше. И вот скоро: Фенькин — прапорщик! Фенькин — начальство! Опора правительства! Я безудержно хохочу так беззаботно и громко, что скворец, принесший в клюве червя к своей скворешне, висящей на липе напротив окна, испуганно слетает прочь, и его посиневшие с натуги желтоклювые птенцы сипло разевают вслед ему свои красные горла, широкие, как раскрытые кошельки.

— Здесь хорошо можно будет вам отдохнуть, Асан Натич, — продолжает Красников. — В Питере за эти месяцы вы тоже, поди, поустали.

— Отдых — отдыхом, Красников, — возражаю я, — но я все же рассчитывал здесь позаняться. Позаняться с солдатами, — добавляю я твердо, желая разом покончить с его недоумением, застрявшим в его по-птичьи разинутом рте.— Вот в расписаниях ваших значатся занятия с солдатами по политической грамоте. Я охотно бы взял на себя проведение этих бесед.

— Что ж, — нерешительно мнется Красников, — если вам это так хочется, я буду рад. Это, знаете ль, простые беседы на газетные злобы дня. Сперва вел их я сам. Но я так перегружен, что пришлось их поручить Иловайскому. Он развитее остальных, а культурные силы надо использовать. Однако у него за последнее время что-то не клеится. Кадетский душок у него, что ли; но только недавно в первом взводе чуть морду ему не набили. Он завернул им что-то там против советов... Так что, если вы сами этого хотите, то пожалуйста. Можете сегодня же после обеда и начинать. Я отдам рас-

поряжение. Да и в самом деле, знаете ль, этот фрукт Иловайский...

Повеселев от победы, я возвращаюсь домой. «Фрукт» Иловайский вместе с неразлучным Застежкиным стоят на дворе, возле изгороди в сад, окруженные гурьбою прощающихся с ними, уходящих в Петергоф вольноперов. Среди них и упрямые мои недруги: упруго румяный, налитой, словно яблочко, унтер-офицер Шевелев и рыжий, с длинным лицом жеребца, сизоносый, безусый ефрейтор Анисимов.

— Не важнецко, ребята, — спесиво цедит Иловайский сквозь зубы, с деланной небрежностью бороздя по песку колесиком шпоры,— Гучков, он хоть и купец, но военным министром был хоть куда. А вот теперь из-за этих, — брезгливо кивает он в мою сторону, — пломбированных ленинцев Гучков вчера подал в отставку. Есть слухи, что «уйдут» и нашего Милюкова. Неприятные времена. Однако нам, офицерам, именно офицерам, не следует отступать. А ведь вы тоже без пяти минут офицеры. И Гучков, уходя, неспроста издал специальный приказ с благодарностью именно нам, офицерам. И со всякой не повинующейся нам кобылкой, как подкупленной нашими врагами, мы будем отныне, по всей строгости законов, поступать согласно его приказу так! — и он делает под одобрительный взрыв смеха окружающих выразительный быстрый тычок вниз большим пальцем, оттопыренным от кулака.

— Кржек! — лихо подкрякивает ему в такт Застежкин. — Наше еще не пропало! — куражливо сверкает он выпуклыми, словно капельки ртути, глазами. — Вон пишут в газетах, что в Киеве третьего дня манифестация уже с трехцветными флагами ходила. Русь-матушка, она, братцы, стойкая, нерушимая, как святое пасхальное яичко. Сколько ни мажь его в красный цвет, а снутри оно всегда беленькое.

— А желток в нем — это наши золотые погоны, — самодовольно осклабливается Иловайский, — каковые желаем и вам всем поскорее выслужить.

Вольноперы, польщенные офицерскою лаской, петушливо щелкают начищенными каблуками сапогов и пружинно вскидывают руки к козырькам. Иловайский несказанно польщен этим отданием чести, давно уже отброшенным остальными солдатами, с изысканной церемонностью он сам вытягивается и козыряет, звякая шпорами.

В то время как вольноперы прощаются и уходят нестройной щеголеватой гурьбой, таща на плечах и в руках аккуратненькие чемоданы, за изгородью двора, на открытой, спускающейся в сад веранде, усевшись за стол, солдатский комитет команды разбирает заявления солдат, просящихся в отпуск.

— Ты же ведь ездил? — недоуменно поднимает брови степенный Дмитриев.

— Ездить-то ездил, — мнется перед ним с ноги на ногу низкорослый Тимохин, обнажая щелястые зубы, — да вот ноне письмо из дому получил, — и он протягивает замусоленную писульку. — Браток на побывку с фронту приехал. Почитай, три года не виделись, а ведь родные. Мне хоша б на две недельки, сделай милость, я в акнурате вернусь, без сумленья.

Под ресницами у солдата просяще мигает тоска безысходная, как его приволжские степи.

— Пусти ты его! — устало машет рукой дремавший за столом Ноздрачев. — Для чего нас с тобою и выбрали в комитет, чтоб солдатам давать отпуска. Не он первый, не он и последний. Что тебе, жалко? Нигде не убудет...

— Нет, этак нельзя, — трясет бородою хмурый Дмитриев, укоризненно глядя на Тимохина, — какая ж это получится тогда у нас дисциплина, ежели каждый будет ездить домой по два раза. Вон вчера на политической грамоте разве ты не слыхал, как господин прапорщик Иловайский всем нам зачитал новое воззвание исполнительного комитета Петроградского совета: все должны быть теперь на-чеку. Теперь, брат, война уж не та, что велась нами раньше. Теперь, брат ты мой, мы воюем не за царя, не за Распутина Гришку иль Протопопова, не за богачей и помещиков. Теперь за себя, брат, воюем. А ты вдруг на вот тебе: в отпуск! Эх, несознательность! Гужеед ты, Тимохин, вот ты кто!

— Распеки, распеки его в дудку, Дмитриев! — спесиво бросает Иловайский через изгородь. — На то ты и власть теперь получил от медократии или демократии, как там у вас? — кичливо заливается он. — Распеки его, субчика, так, чтоб у него в заду вода закипела! Пусть не срамит он наших лейб-гвардейских славных орлов Офицерской стрелковой школы учебной команды, — напыщенно отчеканивает он.

— О лейбах надо забыть, — насупясь, встает Ноздрачев, — не старый нынче режим, господин прапорщик. Революцию-то вы, как говорится, приняли, а вот мировоззрение у вас попрежнему миропомазанное.

— Эй, полегче ты, Ноздрачев! — петушливо прыгает Застежкин. — Знаем мы все хорошо, что ты за птица.

— Птичка невеличка, а на немецкого орла похожа, — такая же щипанная, — с бессильной злобою шипит Иловайский. — Пойдем-ка, Застежкин, проведаем наше начальство, — круто повертывается он, — а ноздрачевское птицеродие недолго еще здесь покудахтает, скоро крылья-то им пообрежут, и никакие подпоручики-чики-чики не спасут. — И он еще раз вызывающе оглядывается на меня, прежде чем скрыться с Застежкиным в сенях команды.

«Побеснуйся, — думаю я про себя. — Посмотрим еще, кто кого подрежет».

— Видишь, какая канитель из-за тебя тут выходит! — раздраженно брюзжит Дмитриев на совсем обескураженного Тимохина. — Не поедешь теперь. Проваливай! Сказано — не поедешь, и не поедешь!

— Чего ж ты из-за офицеров па своего же брата солдата набросился? — пробует его образумить Ноздрачев. — За офицерьев идешь? Али сам по звездочкам тоскуешь? Так ступай вон с теми, — и он кивает вдоль садовой тропинки, — туда, в Петергоф! Нам с тобой по образованию и подавно туда полагается. А то, — улыбается он вдруг мягкими губами, — выставь ночью плечи, как вызвездит, авось и к тебе на погоны с неба нападают... без всяких там Петергофов... А Иловайского этого зря мы в марте не вышибли. Тогда такою овцою прикинулся! и обошел нас, баранов...

— Ступай, ступай! — прогоняет Дмитриев незадачливого Тимохина.

— Это, которые образованные, — гневно сплюнув, громко ворчит тот, вразвалку спускаясь с веранды, — которые из господ офицеров, к примеру, они завсегда, как поплавки. Сколько их ни топи, они все одно наверх выскочат.

— Да, мил браток, — подхватывает другой солдат, — погоны попрежнему здравствуют, буржуи царствуют, а помещики землей властвуют. Мужику куда ни податься, отовсюду на кукиш нарваться.

— А тут вот приходят к своему же брату солдату за отпуском, — укоризненно подхватывает Ноздрачев, — и он туда же.

— Чего ты крысишься?—возмущенно вскакивает Дмитриев.—Кому это я отказываю? Все солдаты у нас, половина, почитай, и посейчас в отпусках, а остальные так только что повозвращались. Все, кажись, переездили, один только ты разве не ездил. Так на, бери и поезжай себе с богом, чем народ-то калгапить.

— Некуда мне в отпуска снаряжаться, — с унылой ухмылкой роняет Ноздрачев, — я, ребята, бобыль. Родных никого не осталось, а новых я не завел.

— А ты поезжай и женись! — смеется один из солдат.

— Баб и здесь хватает, — отшучивается Ноздрачев, — что ни вечер, к нам на танцульки валом прут, искать не приходится. А вот ищу я одну только истину, да она ото всех нас в потемках скрывается.

— Ну, поехал! — безнадежно машет рукою Дмитриев. — Ты еще про Оскара Уальда им всем расскажи, давно не рассказывал.

— Что ж, можно и про Оскара Уальда, — презрительно выпрямляется Ноздрачев, и его широкие мягкие губы кичливо подпрыгивают. — Прекрасная книжка есть у него. «Душа человека в социалистическом строе» она называется... всем советую прочесть.

Солдаты хохочут, а он, конфузливо махнув рукой, молча садится.

Пока солдаты команды обедают, я ожидаю начала занятий по политической грамоте наверху в канцелярии. Красников, затянув нижнюю губу на верхнюю почти доотказа, сосредоточенно стряпает новое расписание занятий на завтра. Иловайский тоже зачем-то торчит, грузно рассевшись на подоконнике. Насвистывая «Марсельезу», с наигранной скукой в глазах щурится на развешанные расписания и приказы Застежкин.

— Кто же теперь будет военным министром? — с напускною важностью обращается он вдруг к Иловайскому.

— Как? И ты не слыхал?— укоризненно скрипит Иловайский, насмешливо глядя в его недоуменно разинутый рот.—Специальное заседание было вчера в исполнительном комитете совета, среди министров переполох, а ты притворяешься наивным, что ничего не знаешь.

Даже Красников бросает писать и выжидающе смотрит на Иловайского. Застежкин же застывает, не сводя с Иловайского оловянных пуговок-глаз.

— Совет, можно сказать, все потроха свои перерыл, выбирая достойного кандидата, — продолжает небрежно цедить Иловайский, — а ты, друг Застежкин, так-таки будто ничего и не знаешь? Ну и притворщик!.. Милый мой застежунчик, развесь тогда свои лопухи, сиречь уши, на крючья вниманья и без промаха слушай: тебя, да, именно тебя, дорогой мой Застежкин, совет решил сделать военным министром!

Красников прыскает со смеху.

— Никто, говорят, не умеет, — издевается Иловайский, — так виртуозно высвистывать теперешний революционный марсельский ваш гимн, как именно прапорщик Застежкин. Быть ему, говорят, посему и военным министром.

— Вечно ты одни глупости! — презрительно отмахивается Застежкин. — Я тебя о серьезном, а ты... вечно шуточки...

— Нет, я серьезно, — продолжает скрипеть Иловайский. — Правда, в последний момент твоя кандидатура поколебалась. Ты встретил сильную конкуренцию в лице самого Керенского. В военном деле он, разумеется, меньше твоего понимает, но, как-никак, ты всего только сын владельца большой парикмахерской на Песках, а он адвокат. Язык же по нынешним временам, сам знаешь, бреет чище, чем бритва. Вот в политике — да: вы равноценны. Высвистывать «Марсельезу» оба вы насобачились ловко. Но у тебя нет поддержки. Кто за тобой? Одни твои вольноперы, которых ты так безбожно обыгрывал в очко, да и те сегодня ушли в Петергоф. Плохо, Застежкин! А за Керенским весь исполнительный комитет...

Не правда ли, прапорщик Красников, исполнительный комитет теперь все?..

— При чем тут исполнительный комитет? — раздраженно пожимает плечами Застежкин. — Министров назначает правительство. Вообще бы поменьше этих советов!..

— Как, ты еще претендуешь?..

— Брось валять дурака!.. Кстати, ты не читал насчет совета? — осклабляется вдруг Застежкин и лезет в карман за газетой. — Сегодня «Правда», — кивок в мою сторону, — напечатала чудесное воззвание одного корнета... — Застежкин разворачивает газету и с упоением читает: — «второго лейб-гусарского Павлоградского полка Портанского — «Ко всем частям действующей армии». Ну, «Правда», конечно, бьет гевалт. Ты послушай, что накатал этот корнет: «...почетное место Николая Второго занял исполнительный комитет русских рабочих во главе с господами Чхеидзе и Хинчуком... Неужели и Чхеидзе и Хинчук и их исполнительные комитеты оставлены на полную безнаказанность за свое иудство?.. Ванька Каин (министр Щегловитов), Штюрмер (истинно русский человек) и всемирно известный фокусник и хиромант Протопопов ждут не дождутся вас, господа Хинчук и Чхеидзе, для приятной беседы в почетном каземате...» Хи-хи-хи! Ты послушай, что дальше!.. — смакует Застежкин. — «Армия напряженно ждет призыва Временного правительства действовать на два фронта...» — Застежкин поднимает вверх указательный палец: — «...против внешних врагов и против внутренних!..» — подмигивает он в мою сторону.

— Многое не доделали мы в Феврале, — отвечаю я вызывающе, — не было бы ни подобных черносотенных воззваний, ни подобных чтецов.

— Это резко, но Асан Натич прав. Это возмутительно! — поддерживает меня Красников. — Исполнительный комитет совета состоит из очень умеренных, благоразумных социалистов, и подобная реакционная травля...

— А ведь верно! — неожиданно и веско отрубает с окна Иловайский. — Ты, Застежкин, в политике утопист и сопляк. Совет, разумеется, не следует трогать, он еще здорово может нам всем пригодиться, как уже пригодился однажды двадцать первого апреля. Не вступись-ка совет, как знать — не уселись ли тогда на нашу шею господа эти «товарищи», — кивает он в мою сторону. — И хотя сейчас вы, эсдеки и эсеры, еще и колеблетесь насчет коалиции, — предупредительно глядит он на Красникова, — надо уметь вас понимать. Становясь сразу же на позицию безоговорочной поддержки коалиции, а другой позиции и быть не может, вы рискуете, по крайней мере на первое время, сильно снизить свой авторитет в глазах масс. А такие уличные демагоги, как наш Ноздрачев или, к примеру, вон господин подпоручик, рады вас в ложке воды уто-

пить. Но не в наших, знаете ль, интересах вас ослаблять. Мы, люди порядка, сумеем достичь своих целей более мягким, тактичным путем. Поэтому ссориться нам с вами не из-за чего. Пусть совет, как писало вчера «Новое время», будет пока буфером между кабинетом министров и улицей. Ломать свой же буфер совсем не в наших интересах. В этом отношении, друг Застежкин, Керенский больше нас с тобой понимает. Быть посему министром отныне ему, а не тебе.

— Вы нас не совсем понимаете, — растерянно лепечет, подходя к нему, Красников. — Сущность совета вовсе не в том...

— Брось, чего уж там! — покровительственно хлопает Иловайский его по плечу. — Для нас вопрос с самого начала был ясен: лучше генерала Корнилова трудно министра сыскать. И решительный генерал, и крутой. Но вы говорите: сразу нельзя, начнем лучше с Керенского. Мы согласны: с Керенского, так с Керенского, лишь бы вел правильно линию. Вот если коалиция не состоится, ну, тогда...

— Взводы собрались, — прерывает его вошедший Дмитриев, вытирая усы, — пожалуйте, господин прапорщик, на занятия политической грамотой.

Иловайский с готовностью встал.

— Виноват, прапорщик, — покраснев от смущения, останавливает его Красников, — я забыл вам сказать: занятия эти теперь будет вести господин подпоручик.

— Как так?! Почему же не я? На каких основаниях?!. — Иловайский краснеет, как стеклянный кувшин с клюквенным морсом, и его поросячьи белесые ресницы щетинятся на Красникова. — Это, прапорщик, так не пройдет. Я этого не уступлю! Сейчас существует свобода политической агитации, беседу вести буду я! — И он стремительно кидается по лестнице вниз.

— Ничего, — успокаиваю я Красникова, заметив его колебание, — он не помеха, вместо беседы мы устроим с ним диспут.

— Товарищи, — обращаюсь к солдатам, входя в набитое ими помещение класса, после того как Иловайский успел уж усесться за стол и разложить перед собою пачку газет, — начальник команды поручил мне вести с вами беседы, но вот прапорщик Иловайский тоже хочет участвовать в них, ссылаясь на свободу слова. По-моему, нет оснований ему в том препятствовать. Если окажется, что мы кое в чем с ним расходимся, то из споров яснее рождается истина. Надеюсь, что прапорщик Иловайский не станет против этого возражать.

Иловайский смущенно бурчит что-то под нос и развертывает свою кадетскую газету «Речь».

— Вот, товарищи, — цедит он надменно, — давайте займемся сегодня вопросом о власти...

— Что нам власть?! — перебивает его ретивым голосом редкозубый Тимохин, которому утром сегодня Дмитриев отказал в отпуске. — Какая ни власть, все одно нам, солдатам, не всласть. Вот вы лучше насчет земельки нам подробней пообскажите, как с ней будет? В деревнях у нас одни Тюхи-Митюхи поостались. Намедни я ездил в побывку; так, калякают разно, а толком никто ни во что.

— Правильно! Дело! — гудят солдаты. — Вы с господином поручиком народ образованный, так что просим вас объяснить касательно земли что и как.

— По агранному вопросу! — лихо выкрикивает тонким голосом Ржавцев, но тут же смущается и, краснея, скашивает глаза на белую изразцовую печку, на которой накручивали себе усы сытые с солдатских хлебов тараканы.

Иловайский расправляет взволнованно плечи.

— Товарищи, я уже объяснял сколько раз, что крестьянское малоземелье будет скоро исправлено, но только не сразу, а через Учредительное собрание. Только оно явится настоящим представительным учреждением, и до него...

— Когда ж оно будет? — безнадежно машет рукою Шеншин.

— Как же думает прапорщик разрешить земельную нужду крестьян в Учредительном собраньи? — задаю я вопрос Иловайскому.

— Разумеется, не насильнически, не захватным путем! — язвительно фыркает он. — Земля будет передана организованно, а не по-ленински.

— Правильно! — одобрительно крякает бородатый Дмитриев.

— Большевики вместе с Лениным тоже стоят за организованный захват земли, — возражаю я, — но только мы стоим за немедленный организованный захват земли крестьянскими комитетами, за немедленный и полный, безвозмездный захват всех земель у помещиков. Вот на этот вопрос: с выкупом иль без выкупа, пусть и ответит нам прапорщик Иловайский.

— Я уже объяснил, что все будет зависеть от Учредительного собрания, — сердится тот.

— Видите, товарищи солдаты, как он выворачивается, — посмеиваюсь я. — Нет, чтобы прямо сказать насчет выкупа. А сказать он боится. Его буржуазная кадетская, милюковская партия, обманно нацепившая себе новую вывеску партии «Народной свободы», обещает нам новую кабалу. Она стоит за денежный выкуп земли у помещиков с тем, чтобы эти деньги содрать с тех же крестьян, освободить крестьян от последних штанов и рубахи. Так или не так это, прапорщик Иловайский?

— Я требую прекратить демагогию! — срывается он. — Наша партия общенародная, а не буржуазная, и мы против всяких грабежей. Нельзя превращать и помещиков в нищих...

— Бедненькие, — смеется Шеншин. — Вон за кого прапорщик наш заступается, а до этого он все помалкивал. Так вот почему он подзуживал нас против поручика, чтобы мы его к себе не принимали!

— Хамье! — хлопает Иловайский пачкой газет по столу. — Он вас разлагает, он — демагог, а вы и уши развесили. Он уравнительный социализм хочет ввести, все у всех отобрать! И это в нашей отсталой, крестьянской стране?!.

— Никаких уравнений и никаких передач земли в собственность мы, большевики, не предлагаем, — возражаю я спокойно. — Мы предлагаем немедленный захват крестьянскими комитетами всей помещичьей земли, безо всякого выкупа, и распределение ее в пользование между нуждающейся крестьянской беднотой.

— Правильно! Верно! Дело! — взрывается дружный гул солдатских голосов.

— Революция строится не на жадности, — кричит, побагровев, Иловайский, — а на подавлении шкурных страстей!

— Вот и пускай тогда ваши помещики откажутся в пользу крестьян от земли! — настойчиво выкрикиваю я.

— Ишь, святитель нашелся! — злобно трясет волосатыми кулаками на Иловайского солдат Мелехов. — Мы здесь, по-евойному выходит, вроде как шкурники, а он, вишь, бессребренник. А зачем тогда вашему брату, офицерам, по двести рублей в месяц плотят, а нашему брату, солдату, тольки полтинник? Ты об жадности помолчи!..

— Прошу мне не тыкать!

— А ты ежели тыкал при старом режиме?!. Мы молчали, и ты помолчи! — заливается Мелехов под сочувственный гул остальных.

— Нехай мы шкурники! — выкрикивает гневно Куприй. — Мы за свою худобу бьемось и за ридных дитей.

— Товарищи, — орет Дмитриев, вставая на лавку, — прошу успокоиться! Нельзя обижать господ офицеров.

— Молчи, гнида! — трясется от крика Тимохин. — За звездочкой тянешься, в благородия лезешь?!. А забыл, как при царском режиме самого тебя в морду дубасили твои ж господа офицеры?!. Чего молчишь? Откликайся, офицерскийализа!

— При такой большевистской демагогии, заваренной подпоручиком, мне делать здесь больше нечего! — зловеще шипит Иловайский, накаленный до бешенства. — Прошу разойтись! А немецкую пропаганду подпоручика мы еще сумеем пресечь! — грозит он, удаляясь.

— Не пугай слонов мухой! — рявкает кто-то ему вслед из угла. — Продолжайте, товарищ поручик, мы вас слушаем.

— Неспроста хвалят Ленина немецкие имперьялисты, — басит вдруг Дмитриев, — вон он какую канитель кругом разводит, чтоб друг на друга все лезли.

— Не знаю, хвалят ли Ленина немецкие капиталисты, а вот нашему товарищу, немецкому большевику Карлу Либкнехту, они глотку готовы порвать и гноят его в каторжных тюрьмах, — отбиваю я его вылазку.

Все сочувственно усмехаются.

— Почему же тогда у ленинцев, у большевиков, так много провокаторов было? — не унимается Дмитриев. — Взять вашего Малиновского, взять Черномаза.

— Провокаторы были и у вас, господа меньшевики, — возражаю я спокойно, — вспомните своих Абросимовых и Кацапов. Но естественно, что для царского помещичьего правительства провокаторы были нужней у большевиков, а вот у вас, мирных, ручных социал-демократов, меньшевиков, и выведывать-то было нечего.

Уничтожающий хохот солдат добивает противника.

— Это правильно вы его, — тычет на Дмитриева не унимающийся Тимохин, — поделом его отчитали. Что он, что фельдфебель, что наши взводные на манер Шевелева, они так революцию понимают, что не помощь она должна дать бедному люду, а им вот золотые погоны понасажать.

Снова хохот. На землю опускаются прозрачные сумерки.

— Давайте, товарищ поручик, кончать, — раздаются голоса от стены, — а то скоро гости до нас поприходють, — у нас сегодня вечеринка назначена.

Выхожу под шумный признательный говор солдат:

— Как Иловайского ловко вы отчебучили!

— Вы почаще бы к нам...

Внутреннее удовлетворение от чего-то огромного светлого, начатого сегодня, торжественно наполняет меня. Клены в саду пахнут весенней медовой свежестью. Спускается белая ночь. Майские жуки певуче гудят вокруг веток, бороздя прозрачный сиреневый сумрак. В команде уже раздаются рулады гармоньки. Вереницы празднично принаряженных женщин с напомаженными волосами и в опущенных на плечи косынках говорливо подни маются туда, сплевывая семечковую шелуху. Неужели только что кипевший «аграрный» вопрос заглохнет в гаме танцульки?..

Вон налево, вдали за Кронштадтом, на горизонте залива, радужно багровеет потухающий майский закат. Но я уже знаю: он не потухнет, он проползет, зеленея, по горизонту направо, струя по земле белесые тени, и через какой-нибудь час жадно вспыхнет опять горячим, ослепительно искристым солнцем. И хвастливые переливы гармоньки и беззаботная воркотня простых деревенских сердец, коротающих в незатейливых плясках свои солдатские вечера, знаю: они тоже не заглушат крестьянской тоски о том новом, чаемом мире, когда на освобожденной земле, обогащенной машинами пролетарского города, станет крестьянин веселым, счастли-

вым... А пока... пусть тихо струится прозрачная, теплая майская ночь. Мы не спим. Мы работаем...

3. НАЧАЛЬСТВО НАСТОРАЖИВАЕТСЯ

На следующее утро, занимаясь во время беседы просмотром эсеровских газет, мы прочли в «Земле и воле» о выступлении перед крестьянами так называемой «бабушки русской революции», социал-революционерки Брешко-Брешковской. Прокисшая в ссылке старуха обалдела от крикливых интеллигентских восторгов столицы, слезливо умилилась свободолюбивому «единению» обывателей и беззубо шамкала теперь повсюду о продолжении свирепой войны до полной победы. Пудреные гимназистки и прыщавые юнкера с триумфом таскали старуху на кресле с митинга на митинг, сокрушая мягкотелых мещан эсеровской ризой этой иконы. Но только ли гимназистки и юнкера? А какие толпы легковерных солдат еще носятся с этой рухлядью! И вот в глухой костромской деревушке Шуньге эту рассыпающуюся знаменитость встретил крестный ход поселян с ладаном и хоругвями, и лохматый попишка загнусавил молитвы о здравии, благоденствии и долголетии социал-революционной партии и ее доблестных чад. Брешко-Брешковская от восторга сомлела, расцеловала попишку и принялась поучать поселян черпать силы и знания для революционной борьбы за землю и волю в божественных книгах священного писания.

Солдаты заулыбались. Многие из них были верующими, но облик суетливой старухи, когда-то боровшейся за человеческую смелость против всяких оков, а теперь призывающей к небесному рабству и непротивлению злу, показался всем им забавным.

— Какой уж там бог, — отозвался ефрейтор Фомин, откомандированный в нашу команду с фронта и слывший средь солдат за вольнодумца, — какой уж там бог, если видит все сверху, а молчит! Был на позициях солдатик у нас, Малафеев. Набожный был мужичок, на молебнах у полкового попа кадило любил раздувать. Привезли нам это подарки на фронт для солдат, — кумачевые кисеты. Думали мы: с махоркой, ан хвать — в них иконки. Барыньки городские да купчишки тыловые их нам поприсылали. Неохотно брали солдаты, а Малафеев всех укорял: «Берите, грит, дураки, это божецкое благословение, навеки нерушимое, от отца всемогущего». — Ладно. Окопы наши близехонько к австрийским подходили, малюсенькая речушка промеж нас усыхала, и что друг у дружки делалось, все дочиста слыхать было. Глядим однажды — возня у них поднялась. Артиллерия в их тылах звенит, переставливается, а в окопах ксендз ихний молебствие по-своему начал, слышим: «Езусе Христус» гнусавит, — одним словом, иначе, как атаку готовят, подлецы. Хвать — и у нас телефоны гундосят —

в контратаку готовиться. Поп полковой рясу за пояс подоткнул от грязищи окопной, жеребцом заскакал: «Мы, грит, покажем им сейчас Иезуса, сукиным детям! Становись-ка, ребята, свой молебен справлять! Эй, Малафей, раздувай, брат, кадило!» — Вот и начали, сталбыть, попы про меж себя кто кого. Тот, в австрийских окопах, по-своему козленком верещит, а наш «Спаси, господи, люди твоя» что твой бык ревет. Видим через речку, ихний ксендз крестом из окопов помахивает, в колокольчик звенит, да и наш не плох: тощенький, патлы по ветру развеял и тоже крестом своим в небо потыкивает. И смешно это нам тогда показалось и грустно. Оба с крестами, оба к всеблагому Исусу взывают, и оба людей на убийство друг друга натравливают. Чудно! Долго ли бы они этак пропетушились, да как рявкнет тут ихняя батарея! — снаряд обо край нашего окопа сверкнул. Все пригнулись мы, землею засыпало, а попик — крест под мышку и ходом сообщения в тыл живо смотался, — только хвост рясы и видели. Отделывайся, мол, православные со святой благодатью одни. Ну, мы тоже не промах, минометами стали крыть австрияков. Бросили те свое псалмопенье и этаким ливнем по нас из своих пулеметов загнули, — носу не высунешь. Вот тут и встань Малафеев с иконой в руках. Лицо светлое сделалось, глаза голубые прямо в небо горят, губы «господи-господи» шепчут. «Нечего крыться!» — кричит вдруг он нам. — Поднимайсь, православные, в контратаку!» На что прапорщик наш не робкого был десятка, а и тот рот разинул. А Малафеев левой рукой винтовку зажал, правой иконку кверху поднял. «С нами спаситель здесь наш, заступник наш всемогущий! Не пропадем мы, ежли веруем!..» — да и выскочил прямо на бруствер. И только это он встал и поднес иконку к губам, сразу, милый, обмяк, словно куль, и замертво рухнул в окоп. Подбежали мы, смотрим: пулей иконочку выщепило, зубы — в кровавое крошево, а всю шею разнесло. И не крякнул, знать, наш Малафеев... вот те и бог!

Солдаты вздохнули, а Ноздрачев протянул:

— Искал и я когда-то богов, поискал, да и плюнул, — и он мечтательно поднял к окну свои прищурые серые глаза. — Уж на что, говорят, строгий и правильный бог у схимников и альманахов, а посмотрел я однажды на их монастырскую жизнь. Сыты, одеты, обуты, по ночам через стены к девкам лазают, а земли монастырской, господами дареной, неделями не объедешь, прокормился бы целый уезд мужиков. Только крепко сидят на земле и аренду за нее с мужиков выколачивают эти самые альманахи.

— Монахи, — поправил его взводный.

— Ну я ж и говорю, что альманахи, — обиделся на замечание Ноздрачев, — иноки такие хозяйственные.

— Эх, земля... — вздохнул густо Тимохин, — говорят, что социал-революционная партия мужикам всю землю хотит передать. Поскорей бы лишь только.

— Разевай рот пошире, наложат земли, — осадил его Мелехов. — Кто за попов да за господ крепко держится, от тех разве что на том свете угольками разживешься. Не стала бы иначе эта самая Брешка крестьян посылать к Исусу заместо барских да архирейских земель...

Неизвестно, как развернулись бы дальше земельные рассуждения солдат, если бы внезапно не вошел прапорщик Красников, сам друг с новеньким, не известным нам офицером.

— Познакомьтесь, это — прапорщик Бекасов, из соседней стрелковой команды, — представил он мне незнакомца своей обычной робкой скороговорочкой, по привычке сутулясь и потирая краснеющие руки. — Я слышал, вы здорово расквитались здесь с Иловайским... — Через напускную веселость в его голосе дребезжала хитринка смутной тревоги. — Я надеюсь, что прапорщик Бекасов, как член партии социалистов-революционеров и к тому же специалист по аграрному вопросу, в ваших беседах с солдатами только поможет...

— О, конечно,—сделал я в тон любезнейший жест.—Земельный вопрос мы обсуждали успешно вчера с Иловайским. Замена кадета эсером поможет солдатам еще глубже разобраться в этом вопросе...

Солдаты лукаво заулыбались, но Бекасов снял степенно фуражку, отер платком потный лоб и не спеша пробасил:

— Можно споры начать и не с земли. Я считаю, к примеру, что вопрос о поднятии боевой дисциплины в нашей армии сейчас более актуален. Да, товарищи, — широко развернулся он грудью к солдатам, — земля от крестьян не уйдет, не уйдут и станки от рабочих, а вот винтовку нужно солдату сейчас как можно крепче держать и готовиться с нею к последнему, смертному бою с насильником немцем, грудью стать на защиту революционных народных свобод. Наш новый военный министр, мой товарищ по партии, Керенский, отдал сегодня приказ о строжайшей боевой дисциплине и о том, чтобы к пятнадцатому мая возвратились по своим частям все дезертиры, в противном же случае...

— Что правильно, то правильно, — не утерпел веско поддакнуть широкобородый Дмитриев.

— Погоди ты со своей соглашательской «правильностью», — мрачно срезал его Ноздрачев.

— А и верно, — усмешливо вставил до этого помалкивавший тонконосый Шеншин, — любит землю крестьянин, пьян он ею, да только земля у помещиков. Рабочий привязан к машине, прогони фабриканта — и рабочий сам пестовать будет машину. А вот нашему брату, солдату, ну, что в ней, в винтовке-то?! Опостылели нам эти

просмердевшие солдатчиной стены, коль хотите вы, господин прапорщик, знать напрямки. Хоть и дома по избам от смрада все прокисает, да и то все же краше, чем здесь. К винтовкам же нет нутряной в нас охоты. Разве что Красной гвардии из рабочих, — тем все в диковинку, ну, а нам...

Пришлось Шеншина поправить. Без винтовочки разве мы бы свергли царя и добыли все свободы? Винтовочка — она еще пригодится, без винтовки ни с фабрикантом не справиться, ни земли от помещиков не отбить.

— Я говорил только о внешнем враге, — запальчиво возразил Бекасов и дернул жесткий свой ус, — внутренний враг нами сломлен, земля отойдет к крестьянам без боя... А вот немцев без боя...

— Для чего нам с немцем биться сейчас? — взбудоражился Мелехов. — Евойной земли нам не надо, а своей мы не дадим, да и нет у нас нашей земли — почигай, вся помещикова. Вы вот здесь нам землю сулите, а по именьям своим господа и слышагь про это не хочуть. У иного пустая стоит, а ты и тронуть ее не могп. Эх, объяви-ка сейчас по закону, что земля, дескать, вся — и бесплатно — крестьянам, мы не то что в Берлин, до Парижа б прошли... Одним духом! Ей-бо-пра...

— Верна, правильна!.. — возбужденно загудели солдаты. Глаза у всех загорелись, желваки заходили на скулах, кулаки сжались крепкою хваткой.

— Установка шкурников и дезертиров! — презрительно кинул Бекасов, оглянувшись на Красникова. — В нашей, товарищи, партии лозунг стоит неизменным: «Земля и воля». На волю нашу точит зубы Вильгельм, а земля... что земля? Земля ведь не волк, в лес от нас не уйдет...

— Не брешите, как Брешка-Брешковская! — осадил его резко Шеншин. — В нашем уезде помещики, что потрусливей, стали землю банкам запродавать да иностранцам. «Земля, вишь, не волк». Сам ты волк! Знаем вас. Давно ли эсером заделался? Не с марта ль, а дотоле, поди, сам мамашины коржики из именья дожевывал. Бекасовы, об них на всю губернию слыхать...

— Безобразие и разврат! — гневно поднялся Бекасов и франтовато натянул глубже на лоб фуражку. — При таком разложении мне, Красников, делать здесь больше нечего.

— Асан Натич, — заплетающимся языком взмолился и Красников. — Ну разве это беседа? Ведь это же сплошная травля социалистических партий!..

— Я ни при чем, — простодушно развел я руками, — замечанья солдат были правильны.

— Да, но где же корректность?! — поежился Красников и помолчал. — Ну, давайте кончать, уже и пора! — отмахнулся он рукою, взглянув на часы.

— Чуть не забыл вам сказать, — схватил он меня вдруг за пуговицу, когда мы вышли на двор, — самое важное. Вас срочно сегодня к себе вызывает в Ораниенбаум сам начальник школы, полковник Абрамов; он сейчас там временно вместо Филатова. Поторопитесь! — И Красников с затаенным лукавством откозырнул.

До Ораниенбаума от нашей команды два километра, и я не заметил, как пролетел их, все время теряясь в догадках, для чего так внезапно я понадобился самому начальнику Офицерской стрелковой школы. И как меняется время! Не сами ли они всей оравой во главе с генералом Филатовым заискивающе представлялись мне в Технологическом институте в дни Февраля! Тогда я был во главе восставших масс. Прошло лишь два месяца, наружно все успокоилось, и вот я должен плестись теперь по шоссе пехтурой по вызову генералов.

Майский утренний ветерок с моря освежает и бодрит. Вправо от распустившихся палисадов, сквозь зеленые ветви лип сверкает в солнечных искрах залив. Нужно еще пересечь полотно железной дороги и затем подойти к большой белокаменной арке ворот, в самый город. Здесь куча ребят, звонко крича, возится над старою, рваной калошей. Не завалялась ли она здесь еще с того февральского вечера, когда ее потерял какой-нибудь офицер, прячась от взбунтовавшихся солдат, устремившихся в Питер? Сейчас здесь мирно тарахтят, проезжая, провиантские двуколки кольтовских пулеметных команд. Канцелярия их батальона помещается возле этих ворот, в большой белой даче в саду, на самой горе. А за воротами, дальше, грязная скучная уличка с пышным названьем «Дворцовой». Налево деревянное старое здание офицерского клуба, а за ним, далеко на горе раскинулись каменные корпуса Офицерской стрелковой школы.

Адъютант, молодой еще прапорщик с гладко зачесанным черным руном коротких волнистых волос, повернул ко мне продолговатое и слегка горбоносое, как у овцы, холеное, бритое лицо и мигом поднялся, когда я назвал себя. В его вдумчивых и быстрых черных глазах, делавших его еще больше похожим на умудренного священным писанием агнца, которых обычно рисуют в деревенских церквах, затрепетали какие-то затаенные искорки самонадеянности и любопытства. Он степенно прошел в кабинет и также степенно вернулся, приглашающим жестом распахнув передо мною дубовую дверь.

Подполковник Абрамов стоял у стола и, нагнувшись, что-то писал, сосредоточенно нюхая свои большие рыжевато-светлые усы. Он кивнул мне на стул желтым хохолочком полулысой своей головы — очевидно, не рассчитывая с моей стороны на обычный дореволюционный церемониал офицерского рапорта о прибытии.

Так как я продолжал стоять, он скользнул по мне серым колющим взглядом, бросил писать, оправил серебряный поясок, распрямился, сделал учтивый кивок и уверенно заложил одну руку за борт своего темносинего казачьего кафтана.

— Мне сообщили, поручик, что вы ведете в своей команде разлагающую, узко партийную большевистскую пропаганду.

— Я большевик, господин полковник, и считаю, что вправе не скрывать от солдат своих убеждений.

— Да, но вести пропаганду вместо пулеметных занятий с солдатами?!

— Никак нет, свои взгляды я высказывал солдатам только во время узаконенных вами политических бесед.

Подполковник сердито пюхнул пышный ус, сосредоточенно повернулся и, выйдя из-за стола, насупясь, прошелся по комнате.

— Я не против свобод, — остановился он вдруг на полшаге и, откинув назад полы кафтана, показал во всю длину шароварного шва казачий ярко-желтый лампас. — Я не против свобод, но я против того, чтобы большевистские взгляды, не разделяемые солдатскими массами, внедрялись вами в какой-то захолустной команде в Мартышкине, не встречая заслуженной критики.

— Дня не проходит, полковник, чтобы на этих беседах не выступали против меня местные офицеры, — либо кадет, либо эсер, — правда, с одинаково неважным для них успехом.

— Вот-вот, — обрадованно зашагал вновь Абрамов, — вы человек образованный, силы у вас там неравны. Я не против самой левейшей агитации, но чтобы это было перед широкою массой — так сказать, на виду, не под сурдинку. У нас в Ораниенбауме еженедельно, а то при случае и чаще, устраиваются в местном театре гарнизонные митинги. Собирается тысяч по двадцать солдат. Здесь у нас выступают все представители партий: во-первых, председатель местного солдатского совета товарищ Колыбин, солдат социал-демократ, затем товарищ председателя совета, наш адъютант эсер Судаков, которого вы только что видели. И даже есть один большевик, солдат Филиппович, председатель здешнего исполнительного комитета совета. Как видите, все есть у нас, и не ссорятся, не по-питерски, — усмехнулся он, крутнув рыжий ус. — Теперь будем просить и вас, как ленинца, обязательно выступать на наших митингах. Правда, местных ленинцев до сих пор у нас не было. Какие-то приезжие раз попробовали, но наши солдаты их освистали и чуть не избили, так что... да, впрочем, вы сами увидите. Осторожность никому не вредит. Зато здесь обеспечена всесторонняя критика. Надеюсь, что вы этого не побоитесь?.. — и он нагло вперил в меня свои выпуклые голубые глаза.

Поблагодарив его за столь «любезное приглашение», я обещал аккуратнейшим образом эти митинги посещать. Он галантно кив-

нул, удовлетворенно протянул мне свою пухлую руку и, проводив до двери, попросил адъютанта установить со мною на этот предмет тесную связь. Прапорщик Судаков готовно поднялся и, глядя куда-то сквозь меня овечьим уверенным взглядом, любезно предупредил, что вызывать меня на митинги будут телефонограммой через команду. Голос у Судакова был влажный и предлагающий, как у гостеприимного хлебосола хозяина.

«Ловко берут меня в переделку, — подумал я, выходя на двор под нависшие темные ели, — чего доброго заклюют на своих митингах. Вон их сколько. Надо подмогу», — и я вспомнил про того Филипповича, большевика, о котором только что со столь странной учтивостью упомянул мне подполковник Абрамов и на которого еще перед моим отъездом из Питера мне указала секретарь нашего ЦК товарищ Стасова. Я вспоминаю ее седеющую прядь, как у назидательной классной дамы, пенсне, оседлавшее нос, и ее сердечную товарищескую улыбку, вмиг расплавляющую без следа чопорный холодок ее облика.

Председателя исполнительного комитета Ораниенбаумского совета солдатских депутатов, каковым являлся теперь Филиппович, разыскать было нетрудно. Он сидел в особом кабинете президиума, рядом с залом заседаний совета.

Это был невысокий плоскогрудый солдат лет за тридцать, в кожаной тужурке с инженерским значком и в суконных защитного цвета погонах с автомобильными метками. Его узенькая эспаньолка и длинные тонкие, горизонтально закрученные усы были такими холеными и чистыми, словно он их менял ежедневно.

— Угу, — произнес он многозначительно, когда я, таясь от посторонних, вполголоса пробормотал ему о цели своего посещения. — Пройдемте-ка в зал заседаний и там побеседуем.

Мы вышли, уселись в сторонке на подоконнике, и он продолжал:

— Будем знакомы, зовите меня запросто: Иосиф Владимирович. А в партии я не новичок, с пятого года, еще вместе с Бухариным в одной камере как-то целый год отсидел в московской тюрьме. Посмотрим, как теперь поработают молодые. — Он покровительственно крутнул острым носиком. — А что же вы думаете здесь предпринять? — закончил он вдруг вкрадчивым быстрым вопросом и, ужав тонкие губы, нацелил в меня бесцветный взгляд.

— Я тоже не новичок, — откачнулся я, — в пятом работал и по технике и в дружинах. А что здесь предпринять, то полагаю, что оба мы с вами вместе, связавшись с нашей военкой, сможем развернуть здесь такую работу, что и у нас, как и в Питере...

— Вот что, — снисходительно перебил меня Филиппович, — но здесь совершенно иные условия, здесь не столица с ее суетливой грызней, — и он лизнул по губам тонким и гибким языком. — Здесь сплошь некультурная солдатская масса. Прежде чем итти к

ней с политическими лозунгами, надо ее просветить, культивировать... Поэтому здесь, в Ораниенбауме, мы, социалисты, все работаем дружной семьей. У нас общий клуб с хорошей библиотекой, совместная газета «Красное знамя», еженедельно гарнизонные митинги. Эта тактика гораздо полезней...

— Но Ленин нас учит воспитывать массы на конкретных решеньях их классово злободневных вопросов. Интересы рабочих, интересы крестьян, их требования о прекращении войны буржуазия не удовлетворит. Она хищно и цепко пытается сейчас всеми средствами закрепить власть за собой. Если и мы, большевики, тоже пойдем на буржуазном поводу, как и все остальные социалисты, то кто же тогда...

Филиппович возбужденно ощерил сухую щель тонких губ и втянул через них в себя воздух.

— Буржуазия власти не возьмет. Читайте сегодня газеты: Милюков вон тоже выходит в отставку. В новой коалиции большинство будет у социалистов. А затем можно быть и большевиком, расходясь по некоторым вопросам даже с Лениным, возьмите в пример того же товарища Каменева.

— Апрельская конференция признала правильность Ленина...

— Да, но надеюсь, что и вы тоже ведь не за пораженье?

Филиппович замер по-лисьи, не сводя с меня глаз. Мне стало не по себе.

— Наша революционная борьба против войны за превращение ее в гражданскую, разумеется, не может способствовать победам на фронте, — ответил я ему в тон.

— Стало быть: ни за победу, ни за пораженье? Превосходно, — самодовольно погладил он эспаньолку, — оказывается, что мы с вами оба ближе к концепции Троцкого. Знаете, кстати, — вчера он приехал. Очень незаурядная личность!

— Однако Ленин постоянно изобличал его в склонности к напыщенным фразам. В самом деле: пресловутая его «борьба против войны», в чем она выражается? Вот и вы тоже предлагаете сейчас мирное житие с социал-соглашателями.

— А что же в таком случае предложите вы? — с ехидной враждебностью прищурился Филиппович.

— По-моему, надо, связавшись с военкой, сколачивать здесь большевистскую организацию, чтобы через нее повести солдатские массы в бой против буржуазии и помещиков.

— Эге, и вы туда же, за «социалистическую» революцию! — язвительно усмехнулся он.

— Раз надо свергать буржуазию и устанавливать власть рабоче-крестьянских советов, то как же иначе?

— Наивная молодежь! — покровительственно покачал головой Филиппович. — Социалистическая революция есть революция про-

летариата и может свершиться лишь в капиталистически зрелой стране. Я позволяю себе считать огромной ошибкою Ленина — искать поддержку революции пролетарской в мелкобуржуазной стихии крестьянства. Начинать социалистический переворот в реакционной, отсталой, мужицкой стране, при полном развале рабочего Интернационала! Надо же думать!.. А впрочем... — и, словно подернувшись холодком, он решительно встал и разгладил усы, — вы намерены, стало быть, сколачивать здесь большевистскую организацию?

— Если удастся.

— Что же, попробуйте. Я всегда буду рад пособить. От души желаю вам полного успеха. Только не особенно кричите, что вы ленинец. А то, знаете, могут еще здесь и поколотить вас, — и, расплывшись в любезной улыбке, он долго с усердием тряс мою руку.

Мы расстались. Он пошел в кабинет президиума, а я спустился во двор, направляясь к вокзалу. А не съездить ли, в самом деле, тотчас же в Питер, в военку? Положение действительно сложное и ответственное: в команде даже простодушнейший Красников начинает коситься, полковник Абрамов вызывает на митинги, а Филиппович что-то лукавит. В одиночку при такой обстановке немудрено и ошибиться.

4. ВОЕНКА

Наш трамвай неожиданно остановился. Навстречу, пузырясь медными трубами чавкающего оркестра, поворачивал к Варшавскому вокзалу какой-то полк. Впереди шла рота солдат в туго ватянутых ремнях, с навьюченными за спинами пузатыми походными мешками. Четыре двуколки везли позади груду солдатских сундучков. Красные полотнища колыхались над ротой узенькими парусами, и белые буквы кричали: «Идем на помощь в окопы», «Оставшиеся, не забудьте о нас!»

— Ишь ты, на фронт, — с какой-то грустной неопределенностью обронил стоявший рабочий, в тесноте слегка навалившись на полную даму, сидящую возле окна.

— Ах, скорее бы всех их отсюда повыгнали! — не удержалась та, резким движением локтя осадив припертого к ней рабочего. — Все панели шелухой заплевали, не узнаешь столицы, распоясались все, — закончила она, оправляя соломенную шляпку с палевой розой, и камешек ее перстня на пухленьком пальце сверкнул сине-красненьким огоньком.

С горбатого каменного Троицкого моста гляжу, как по буйным волнам широкой Невы еще проносятся одинокие льдинки из Ладоги.

Налево попрежнему круто из волн громоздится гранитная неуклюжесть бастионов Петропавловской крепости. На золоченом шпиле ее колокольни высоко мотается, как проколотый ворон, крылатый архангел.

Зеленые кудри жимолости вдоль гранитной тропинки, ведущей от моста к молочно-глянцевому особняку балерины Кшесинской, усыпаны крупкой бутонов. На углу, возле римской беседки особняка, прежняя суетня уличного митинга.

— Ты на меня не налезай! — кричит поддевка, насаживая глубже на голову парусиновый картуз. — Чего ты прешь на меня, не даешь рта разинуть! Я дело здесь говорю, а ты дурак. Вот ты кто...

— Товарищ, теперя свобода слова, — с невозмутимой улыбкою успокаивает его пожилой патлатый солдат в очках. — Нельзя теперя так выражаться. Объясни ты всем толком, как следует, не горячись, ну для ча, по-твоему, нам воевать?

— Здрасте, как же не воевать? — возмущенно взмахивает руками поддевка. — Ежели немец, вон он весь на французский фронт, говорят, сейчас перекинулся. Мы б его сичас раз!.. и мокренько...

На мраморных ступенях вестибюля, в сутолоке снующих солдат и рабочих я столкнулся с Кириллом Орловым. Невысокого роста, щупленький, с чахлыми усиками и щипанным клочком бороденки, он, как всегда, победоносно и весело глядел на меня через пенсне из-под своей примятой шляпчонки.

— Где же ты запропал? — заорал он добродушно, отмашисто тиская мне руку.

Я объяснил ему наскоро положение в Ораниенбауме и цель своего приезда.

— Ага, завоевать совет думаешь? Помогай тебе Будда с аллахом и Конфуций в придачу. Сталин вон написал нынче в «Правде», что и в Шлиссельбурге и на Урале советы уже берут власть в руки, а только наш Питерский отстает. Что ж, давай подтолкни это дело из Ораниенбаума, а мы на-днях подвертим из Кронштадта. Хоть в нашем совете и нет большевистского большинства, но за нами идут остальные. Мы, знаешь, и эсеров своих сделали левыми. Что и говорить, Кронштадт, он у нас боевой! А вот Ораниенбаум твой препаскуднейший городишка. У власти стоят офицеришки. А гарнизон — шовинисты. Ничего ты с ними не сделаешь. Плюнь ты на них и валика к нам прямо в Кронштадт. Мы такое кадило теперь раздуваем!..

Весь этот брызжущий бодрою радостью облик Кирилла невольно заражал меня боевою энергией. Перспектива бросить Ораниенбаум и перекочевать в крепкий, надежный Кронштадт показалась мне очень заманчивой: ведь там спокойнее, легче и веселее было б работать. Однако, поразмыслив глубже, я наотрез отказался.

— Нет, Кирилл. В Ораниенбауме у нас большой гарнизон и тысячи пулеметов. Надо им овладеть, иначе он превратится в Версаль. А вот помочь мне при случае не откажись, мы ведь соседи.

И Кирилл с восторженной готовностью пообещал мне оказать по первому требованию большевистскую помощь Кронштадта.

Подвойского трудно было найти. В коридоре, возле дверей в комнату нашей военки, шумно толпились солдаты. Их обветренные загорелые лица и георгиевские крестики на гимнастерках изобличали в них фронтовиков. Один из них, пожилой и курносый, разглаживал руками на стене возле двери какие-то вынутые им из кармана листовки и, водя по ним пальцем, с досадой выкрикивал слушавшему его казначею нашей военки, всегда невозмутимо спокойному солдату Тобиасу.

— Как это прикажешь понимать? Сам что ни на есть исполнительный, можно сказать, комитет Питерского совета наших рабочих и солдатских депутатов и вдруг — ты подумай — шлет к нам на фронт этакие воззванья! — курносый фронтовик гневно шлепал рукой по листовкам и тыкал в них пальцами.— «Братание — преступно!» Выходит: брататься с немцами — не моги!.. Ладно, слушайте дальше: «Будьте готовы, солдаты, к стратегическому наступлению!» Сталбыть: уже в наступленье!.. Каково?!. А напоследки: «Предостерегаем крестьян от самочинного разрешения земельного вопроса». Так это что ж? Что кадет Милюков, что генерал Алексеев, им что наши, можно сказать, депутаты — все они в одну дудку!.. Ведь после таких воззваньев генералы наши теперечка, уже не таясь, бабахают по нашим братаньям из батарей, а немецкие генералы, стервы, тоже не отстают: кроют по нашим братаньям из тяжелой.

— Очень странно это все получается, — поддержал его с сильным латышским акцентом другой, голубоглазый стройный фронтовик. — Наш Рижский совет рабочих депутатов даже специальную резолюцию принял против наступления на фронте и о полной поддержке братанья, и вдруг теперь ваш Петербургский совет!..

— Что ж поделаешь, — смущенно пробурчал внимательно слушавший фронтовиков неутомимый работник военки, приземистый, коренастый солдат Черепанов. — А вот с резолюцией вы, латыши, поторопились, — кивнул он голубоглазому.— Если Рига высказалась за братанье, помяните мое слово: сдадут генералы теперь Ригу немцам да еще и козырять этим будут: вот, дескать, к чему приводит большевистское разложенье.

— Это еще посмотрим, — скромно возразил Тобиас, — не так страшен чорт, как его малюют. Главное — это надо поскорее организоваться. «Правда» пишет сегодня немножко касательно этого братания. Братание надобно продолжать и развивать неослабно, так чтоб оно перекинулось и на французский фронт.

— Да как же брататься, пойми ты, — возмущенно передернул плечами курносый, — ежели только мы сберемся, а тут сразу по нас с обеих сторон шрапнелью.

— А вы не пробовали переписку с немцами завести? — вновь ввязался Черепанов. — Скидывайте, дескать, вы своих капиталистов, а мы-де своих.

— Очень хорошо, очень! — закивал головою латыш.

— Какие уж там мы писаки! — махнул курносый рукою. — А потом... пообещаешь, напишешь, ан вдруг как не скинешь? — обмяк он внезапно тяжелым раздумьем.

— Эх ты! — укорил его Тобиас. — А еще большевик! За что ж мы и боремся, как не за власть советов!

— И-их! — вспыхнул курносый и с неуемной досадой снова хлопнул рукой по листовкам. — Про что ж битый час мы толкуем?!. Не стоит за трудящихся ваш совет. А ты говоришь: советам власть!..

Мимо нас, ухая под тяжелыми ношами, проходили солдаты, таща остро пахнущие скипидаром газетные связки «Солдатской правды», отправляемые по городам и на фронт.

Какой-то рабочий в черной куртке с засаленным воротом истошно ругал меньшевиков за проведенное ими вчера через Петроградский совет постановление о роспуске рабочей Красной гвардии, формируемой по заводам.

— «Излишняя», вишь! Ах, прохвосты!

— Не трать сердца, — самоуверенно и задорно успокаивал его сотоварищ, — аль мы дураки? Мы не распустимся. Будем попрежнему обучаться. И винтовок назад им не выдадим!

«Боевые ребята, — горделиво подумал я, невольно сравнив с этим разговором рабочих мой утренний спор с Шепшиным о «надоевших винтовках».

Задумчиво глядя себе под ноги, навстречу мне брел Петр Залуцкий, рабочий парень с пухлым румяным лицом, неизменный наш член Петербургского исполнительного комитета с первых дней Февраля. Дружески поздоровавшись, он охотно мне сообщил все новости из Таврического.

— Да, Милюкова «ушли»: предложили ему министерство просвещения, но он обиделся и отказался. Буржуазия отлично чувствует, что своими силами ей не справиться с революционным пылом масс, и сознательно передоверяет сейчас расправу с ними министрам-социалистам. У Родзянки вчера состоялось закрытое совещание зубров. Матерой монархист помещик Шульгин дал программу будущего министерства: решительное наступление. А Гучков так и сказал: «Пусть-де возьмут теперь власть социалисты, от этого они станут сознательнее и сами заставят народ сойти с гибельных для России путей». Да, угроза социализма всех их смертельно пугает. Ну, что ж, а «социалистам» и впрямь остается

спешить поскорее стать «сознательными». Поэтому Даны, Либеры, Церетели, — словом, все столпы социал-демократии, сейчас взапуски «преуспевают». Церетели уже дали портфельчик. Словом, «соглашательская их машина заработала теперь во-всю... В новом министерстве кроме демагогической трескотни нового не будет ничего»,—метко пишет про них Владимир Ильич в сегодняшней «Правде». Поправение у них идет так стремительно, что даже кое-кто из «болота» начинает конфузливо озираться. Стеклов вместе с Сухановым сколачивают в исполнительном комитете фракцию каких-то внефракционных социал-демократов, надеясь сюда же завлечь приехавших вчера Мартова и Аксельрода. Забавно, что проезд этих товарищей через Германию все их друзья замалчивают, а вот Ленина за это же самое они же травят и поныне на всех перекрестках. Ну, что ж еще?.. Троцкого Каменев только что провел в исполнительный комитет с совещательным голосом.

— Это здорово! — не удержался я от восторга. — Луначарский приехал, Троцкий. Как-никак, нам будет подмога. Они острые на язык.

— Насчет подмоги не знаю, — холодновато протянул вдруг Залуцкий. — Особенно Троцкий!.. Ты, очевидно, его плохо знаешь. Упрямый и самовлюбленный индивидуалист, никогда не питавший ни малейшей любви к товарищескому коллективу. Затем, эти вечные его оговорочки и страсть к самым беспринципным блокам ради честолюбивых интриг! Вообще — трескун и позер. Чорт его знает, если на время он к нам и пристанет, то разве лишь потому, что деваться ему сейчас больше некуда.

— Ну, уж это ты слишком перегустил! — покосился я, недовольный столь резкими определениями.

— Товарищи, а я прачек своих раскачала! — задорно заискрилась серыми глазами подлетевшая к нам Александра Михайловна Колонтай. — Самое неорганизованное и забитое было племя, а теперь!.. — гордо тряхнула она кудрявой подстриженной головой. — Впрочем, вот эти «военщики», — и она шутливо метнула на меня крутой бровью, — делегировали меня в солдатскую секцию совета. Ералаш там преотчаянный! Много времени зря пропадает.

— Это уж вы с Подвойским счеты сводите, — улыбнулся я, — мы ни при чем.

— Товарищи, кто с нами? Едемте на подмогу! — подошел к нашей группе Богдатьев.

Неотступно за ним семенил короткими ножками низенький, чистенький, кругленький, в котелке и пенсне, большевистский наш адвокат Козловский.

— Поедем, Тарасов, — кивнул мне Богдатьев, сдвигая шляпу на самый затылок, — мы ведь однажды с тобой выступали. Опять нас тянет дотошный мирошка. Выселяют из этого балетного логова.

— А ты не сдавайся, — пробасил Залуцкий. — Вон меньшевики в Москве не то что особняк царской кокотки, а целую гостиницу «Дрезден» для себя захватили. Поди-ка их выссели! Все лучшие адвокаты за них выступают. Сошлись-ка у мирошки на этот примерчик...

Богдатьев вместе с Козловским умчались, исчезла вслед и Коллонтай. Залуцкий, подтянувши штаны, юркнул в секретариат Петербургского комитета. А особняк балерины Кшесинской по-прежнему неугомонно гудел, словно улей, боевой и мятежной снующей толпою солдат и рабочих.

Подвойского мне удалось наконец изловить, когда он выбежал, направляясь из одной двери в другую. Его лицо, как обычно, сияло вдохновенным восторгом. Мое обращение к нему не изменило его увлекательных планов. Наоборот, он с веселою жадностью тут же схватил меня за рукав и обрадованно потащил за собою, не обращая внимания на мои жалкие попытки изложить ему на ходу сущность дела.

— Нашел, я нашел! — закричал он победно и толкнул меня носом в какого-то белобрысого штатского, близоруко мигавшего через стекла пенсне красноватыми, как у кролика, косыми глазками.—Вот, Смилга, вы оба сейчас и пойдете. Лучше не подобрать... Тобиас, — закричал он торжественно, — поскорее пишите мандаты! Их обоих военка командирует представителями на открывшийся крестьянский съезд.

— Но, позвольте, какой я крестьянин? — запротестовал было я, стараясь как-нибудь извернуться, чтобы вытащить от Подвойского крепко схваченный локоть. — И затем у меня в Ораниенбауме непочатый край самой неотложной партийной работы. Ведь я за тем только и приехал сюда... Наконец, ведь я же на военной службе! — отчаянно пискнул я напоследок, видя, что все предыдущие мои доводы так же сокрушали Подвойского, как пули кисель. — Меня не отпустит команда, или я рискую такими осложнениями, что...

Ничто не подействовало. Крестьянский съезд открылся. Большевистская наша фракция на нем очень слаба. Ее надо срочно подкрепить. Все остальное — плевать. Словом, через десять минут я уже шагал вместе со Смилгой к народному дому, имея в кармане не только делегатский мандат от военки, но и пару бумажек в солдатский комитет моей команды и в Ораниенбаумский исполком с предложением не препятствовать моим депутатским отлучкам на Всероссийский крестьянский совет.

5. НАПОЛЕОНЧИК

Перед народным домом, вылезшим на Кронверкский проспект из гущи зеленого сада, среди грязно-серых солдатских рубах и ши-

нелей толкутся плотно натянутые поверх косовороток незатейливо крепкие пиджаки местных лавочников. Русенький интеллигентик в лиловой жилетке и коричневом галстуке бабочкой, заломив на затылок соломенную шляпу, оживленно вертится перед толпой.

— Только рвачи и шкурники требуют сейчас по заводам восьмичасового дня. А разве крестьяне не трудятся в поте лица за сохой от зари до заката? Разве вы, братцы солдаты, на фронте, в окопах не выпускаете винтовки из рук все двадцать четыре часа ежедневно? А теперь, когда нам предстоит удвоить наши усилия, чтобы решительным наступлением на фронте...

— «Наступлением», «наступлением»!.. — желчно передразнил его плотный матрос. — Ишь, «наступатели» какие выискались! Голодных рабочих, выходит, в три шеи согни, о восьмичасовом дне и не мечтай! И крестьяне-то, вишь, тоже бедненькие: «в поте лица за сохой от зари до заката». Чего ж тогда вы, печальники наши, землю им до сих пор не отдаете? За помещичий карман, сука, держишься?!. — цыкнул он дерзко на соломенную шляпу, грозно сжимая кулак.

— Анархия! — подпрыгнул тот, испуганно вытараща на матроса серые глазки. — Анархистская демагогия ваша, — смелеет он, надвигая на лоб жесткий коробок соломенной шляпы,— не остановит самоотверженной борьбы за победу и за свободу. Ближайшим своим наступлением наша славная армия...

— Постой-ка, — бесцеремонно перебил его высокий кудрявый солдат. — Ты говоришь — наступление? Так. Вот мы три года провоевали, мерзли и мокли в окопах, вшей кормили. А почему ты вот, шляпа, не воевала? Ты — здоровый, и годы твои призывные, где же ты был? Не подарки ль на фронт к нам возил да иконками нас оделял?! Много таких вас видали. Отвечай, сукин сын, почему ты сам не воюешь, а зовешь?!. — свирепо рявкнул солдат, надвигаясь.

— Оставьте, товарищи, я еще пойду! — смущенно залепетала соломенная шляпа.

— Врешь, не пойдешь! Языком будешь трепаться, а в солдатскую жизнь не пойдешь! Трепачи!.. — гневно сплюнул солдат.

Интеллигентик стремительно застегнул пиджачок и конфузливо смылся.

Большой вестибюль и коридоры народного дома ходили ходуном от сутолоки и многоголосого гама спорящих. Большинство их было одето в замызганные окопною грязью солдатские шинели и защитные гимнастерки, но попадались среди них и домотканные мужицкие армяки цвета спелой гречихи, и засаленные поддевки прасолов, и плотные пиджачки торгашей. Какой-то юродивый в длинной белой рубахе, босой и косматый, порывисто появлялся

то здесь, то там, настороженно пуча по сторонам сквозь махорочный дым оловянные зенки и методично долбя заслякоченный пол крепким березовым посохом.

Веселые блики солнышка золотили седую и дымную комнату мандатной комиссии, куда мы зашли вместе со Смилгой. Делегаты, должно быть, еще продолжали съезжаться, и у стола теснилась очередь. Возле окна плотно сгрудилась небольшая кучка людей в пальто и в пиджаках. Неторопливо покуривая, они вели между собою оживленный разговор вполголоса, — очевидно, стараясь, чтобы их не расслышали. Лишь по обрывкам случайных фраз можно было понять, что они рассуждали о формируемом сейчас новом кабинете министров. Один из них, кругленький, лысый толстяк с добродушным брюшком, опущенными усиками и сытой бородкой лабазника, то-и-дело наклонял оплывшее лицо к широкой луковице часов, доставаемых из тесного жилетного кармана. Затем, повидимому не дослушав, он отмахнулся пухлой рукою и засеменил вон из комнаты. Следом за ним двинулись и остальные.

— Любезный, — продолжал горячо убеждать один из них своего собеседника, дергая его на ходу за обшлаг, — поймите же наконец, что Гендерсон ребром ставит вопрос: вы, дескать, накануне банкротства, инфляция вас не спасет, а посему, если хотите получить заем, немедленно марш в наступление!..

— Но при чем же тут Шингарев? — не сдавался его собеседник, порывисто застегивая пиджачок. — Толковали вчера целый день, и казалось, что наконец-то дотолковались: продовольствие поручаем Пешехонову. И вдруг сегодня на тебе: кадет Шингарев, да еще с ультиматумом! По-моему, вполне хватит с него и финансов.

— Эх, — с досадливым нетерпением передернулся первый, шмыгнув мимо нас, — да поймите же наконец, что этого хочет Бьюкенен, а мы ведь не можем... — но тут он оглянулся и смолк.

Высокий, немного сутулый и уже не молодой солдат в гимнастерке, из-за ворота которой кокетливо красовался весьма пожелтевший от пота накрахмаленный воротничок, принял наконец и наши мандаты. Он пробежал их опытным глазом ищейки, на миг задержав свой взгляд на печатном штампе большевистского бланка. Мельком скользнул по моим офицерским погонам, по съехавшей на затылок мягкой шляпе Смилги, криво передернулся ртом и хмуро промямлил:

— Я не уверен, удастся ли вам получить право голоса. Партии вашей мы уже дали два места, а тут вдруг еще целая военная организация.

— Придирки, — оборвал я его, — в нашей военке тысяча членов, в подавляющем большинстве все солдаты, крестьяне.

— Не могу, — помотал тот головой. — Впрочем, мы рассмотрим в президиуме. За ответом зайдите дня через три.

— Позвольте, — возмутился Смилга, — съезд ваш открылся вчера. Мы уже сегодня должны...

— Раньше, чем дня через три, вопрос не решится, — застыл тот упрямо, — а до этого пропустить вас на съезд не вправе. Либо ждите, либо возьмите обратно ваши мандаты.

Пришлось примириться. Смилга растерянно бегал ничего не видящими красноватыми глазками, протирая запотевшие стекла пенсне. Он тут же ушел, условясь со мной встретиться в военке дня через три.

Тщетно я домогался затем хоть как-нибудь пробраться на заседание, чтобы посмотреть, что собой представляет этот сколоченный эсеровской партией съезд. Увы, у всех дверей в большой зрительный зал оперного театра бдительно сторожили специальные люди, строго проверявшие делегатские билеты.

В коридорах и вестибюле попрежнему шумели и спорили сгрудившиеся по углам летучие делегатские митинги.

— Па-атеха, братцы маи, — громко раскатывал звонкое «а», поблескивая лаком сапог, плотный как куль, стриженый в скобку, представитель крестьянства. — Мы, выходит, крестьяне, хлеб на всех подавай. Хлеб подай! — вытягивал он толстые губы и таращил глаза. — Наплевать им здесь в городе на нашу тяжелую мужицкую жизнь. Наплевать, что мы трудимся от зари до зари. А вот здешним «товарищам», — растянул он презрительно, — им по заводам, вишь, уже только восемь часов сейчас надобно. Утомляются больно дружки! — и он ехидно покачал головой под сочувственные улыбки окружающих.

— Ништо, милок, — в тон ему скромно кивнул мочалкой своей бороденки худенький, щуплый солдатик. — Ладно, хлеб мы дадим. Но почему только с нас, с мужиков? Пущай и помещики тоже свой хлеб отдают. А то: «отечество», «отечество», а карман свой придерживают. Пущай и фабриканты, что на этой войне наживались, пущай и они капиталами своими маленько поступятся...

Возле книжного киоска с огромной вывеской «Литература социалистов-революционеров» большая толчея солдат и крестьян, закупающих брошюрки.

Какой-то приземистый прапорщик с крючочками маленьких усиков на вздутом, как брюква, лице убеждал окружающих записываться тут же в партию социалистов-революционеров.

— К чему мужикам эти партии? Партии — одно разделенье. Крестьяне и без партий знают, что им надо, — мрачно ему возражал сухощавый высокий солдат.

— Крестьянство само себе партия, — поддакивала ему примятая, затертая поддевка с расчесанным ровным пробором напомаженных маслом волос. — Каждый мужик знает, как землю ему обрабатывать, только бы ее, матушку, заполучить.

— Землю взять, братцы, легко, — не унимался прапорщик, умильно шныряя по сторонам прищуренными глазками, — а вот поделить-то ее как? Вот в чем выражается, братцы, великая наша задача...

— Нам главное взять, а там мы и сами поделим! — неприступно срезал его высокий солдат.

— Не говори так, товарищ, — вскидывался к нему прапор, — помещиков много, а крестьян еще куда больше, сто миллионов, поди. Подели-ка тут справедливо, чтобы всем без обиды! А наша партия все эти вопросы уже разработала, — и прапорщик кивал на киоск.

— Нешто и впрямь записаться? — нерешительно ковыряла затылок поддевка и направлялась к прилавку.

Из глубины полуосвещенного зрительного зала уже дребезжал призывный звонок. Из вестибюля и коридоров спорившие быстро стекались на заседание.

Потерпев неудачу пробраться внизу, я поднялся к ярусу лож, предназначенных для гостей. Увы, и здесь меня не пропускали, требуя или записки от мандатной комиссии, или партийный билет социалистов-революционеров. А меж тем в зале уже зашумел глухой ливень аплодисментов. Неожиданно мне попался навстречу маленький широкоплечий горбун с квадратным лицом и картофельным носиком.

— Петя Маленький! — закричал я. — Дербер! Сколько лет!..

Он остановился, вгляделся и просиял. Мигом вспомнился девятьсот пятый год, огромная аудитория Казанского университета и наши горячие диспуты марксистов с народниками об исторических факторах. Мы были противники с Дербером и тогда. Но он любезно провел меня тотчас же в ложу и черкнул мне записку на право постоянного посещения съезда в качестве гостя.

Ложи были наполнены лишь наполовину, и мне удалось сесть у края.

Среди кулис, во всю ширину сцены стоял затянутый красною скатертью стол. Председательствовал Бунаков, тот самый толстяк купеческой складки, с оплывшим лицом и сытой бородкой, которого я уже видел в мандатной комиссии. Рядом с ним старушка Брешко-Брешковская, укутавшись в шаль, мягко жевала морщинистой выемкой губ. О чем она думала, мигаючи вглядываясь в этот набитый главным образом солдатами зрительный зал? Не о крестном ли ходе в костромской деревушке? Возле нее клонил набок породисто-барственную голову с холеной русой бородкой лопаточкой и поглаживал свои волнистые волосы сам Авксентьев. С другой стороны Бунакова сидел Чайковский, прямой высокий старик с длинной белою бородой и большим лысеющим лбом. Его увесистый клювообразный нос был хищно опущен, и из-под седых навис-

ших бровей впало и злобно сверкали глаза. Их еще много сидело всех здесь за столом, в этом почетном президиуме, и все они были головкой и цветом эсеровской партии. С напряженным глубоким вниманием слушали все они покачивающегося впереди у трибуны вождя и вдохновителя партии, социалиста-революционера Чернова.

— Интересно, что скажет нам наш новый министр земледелия,— участливо тронул меня локтем случайный сосед, благообразный господин в сюртуке.

В серой глаженой тройке, с шевелюрою, серою от начавшейся седины и курчавою, словно у пуделя, — Чернов игриво качался и приседал, суетливо бегая по сторонам узкими глазками, лукаво поблескивавшими из глазных мешков. Подавляя напускною развязностью глубоко затаенную, внутреннюю свою неуверенность, он напыщенно и витиевато убеждал своих слушателей в том, что, когда старый строй пал, единственно организованной силой в стране оказались только имущие классы России, которые и создали Временное правительство, взяв на себя всю ответственность за устроение страны. Рабочая же и трудовая Россия была в то время неорганизованна и не смогла взять власть в свои руки. Однако цензовая Россия скоро почувствовала, что вряд ли она сможет справиться с последствиями старого режима.

— И вот, Временное правительство само возымело, — спесиво дернул Чернов красным яблочком своего носа, — мысль о коалиционном министерстве!.. Пока было возможно, трудовая Россия отвечала отрицательно, она не боялась власти, но и не торопилась,— с лукавою лаской пожевал Чернов пухлыми губами и убежденно мотнул темным клинышком куцей бородки. И в такт ему степенно кивнул головами весь эсеровский иконостас за столом.

«Какая пошлость! Зачем он так врет? — думаю я. — Кого он обманет? Все же знают отлично, что ни Милюков, ни Гучков и не думали собираться добровольно в отставку и не ушли б, если бы не наше бурное выступление солдат на улицах Питера две недели назад».

Я смотрю на соседа в чинном сюртуке, сидящего рядом. Он внимательно слушает, но разве он верит? Я смотрю вниз, в зрительный зал, в полутьму, на длинные ровные гряды солдатских, крестьянских голов. Ах, вот кого Чернов обрабатывает! И я вижу их самодовольное шевеление, когда, поднимаясь на цыпочки, Чернов с пафосом верещит:

— Вы — наша армия, вы — наша сила! Если вы нас пошлете в правительство, нам останется проникнуться лишь одним сознанием: немедленно взяться за дело и вложить все силы без остатка в дело устроения страны и спасения свободы, в это святое дело, — или же с честью погибнуть! — и он эффектно взмахивает кверху рукой и застывает картинно, наслаждаясь взорвавшимся шумом восторгов и рукоплесканий.

На трибуне его сменяет худощавый сутулый господин в сюртуке. Скуластая его голова с раздутыми ноздрями похожа на крепкий ящик со щелями замочных скважин. Редкая щетина чахлых волос, лезущих наперед, придает ему облик псаломщика.

— Новый министр продовольствия Пешехонов, — услужливо шепчет мне мой сосед.

— ... Надвигалась опасность, — гнусавит министр, — что каждый погонится только за своим интересом. Намечалось непонимание между городом и деревней, хотя бы о том же восьмичасовом дне для рабочих. Это основывалось на недоразумении... Но рядом с этим росли осложнения другие, и вставала вплотную угроза анархии! — Пешехонов откидывается назад, раздувает ноздри и растопыривает руки вперед, словно бы защищаясь. — Этой анархией воспользовался бы германец, — зловеще щетинит усы Пешехонов, — или бы силы старого режима. Наконец, может легко появиться, — таращит глаза наш министр, — какой-нибудь Наполеон!.. — звонко и веско бросает он это круглое слово.

Вдруг в президиуме резкое движение. Этот шум и движение передаются и в зал. Из-за кулис появляются быстро два стройных молодых офицера. Вытягиваются и замирают. Одного из них я узнаю, — русая чолка волос, впалые щеки, — это поручик Петров, бравший в февральские дни арсенал. Мимо них озабоченно-торопливо, заложив руку за спину, а другую за борт новенького темнотабачного френча, в галифе и коричневых крагах, появляется сам Керенский. Все встают, все кивают ему, готовы жать ему руку. Зал, подавленный этаким переполохом президиума, тоже встает и рукоплещет. Пешехонов с торопливой угодливостью, приседая в поклонах, словно дьячок, мигом освобождает свой аналой. Но Керенский ничего и никого не замечает. Он сутуло и сосредоточенно исподлобья глядит в зрительный зал и важно подходит к рампе перед трибуной.. Его бритое опухшее лицо словно втянуто внутрь углубленнейшим вздохом. Ровный ершик его грязновато-табачных волос жидко блестит от верхних огней. Его рука все так же уверенно-прочно заложена за борт френча, а другая круто заведена за спину.

— Разрешите мне объявить, — отрывисто и веско бросает Керенский, когда все садятся, — что я явился сюда к вам как ваш новый морской и военный министр!

Он отставляет легонько вперед чуть полусогнутую ногу, и зал обрушивается грохотом аплодисментов.

— Моя задача, — продолжает Керенский каким-то сдавленным, треснутым голосом, — по воле народа, по воле русской-революции и моих товарищей,—небрежный полуоборот к президиуму,— взять на себя великую тяжесть, — он сокрушенно вздыхает, — и спасти вместе с вами завоевания русской революции — землю и волю!

Новый вихрь восторгов, но Керенский каменно недвижим.

— Я верю, что я, человек, никогда не бывший в военной среде, — он спесиво поднимает обрюзгшую голову, — установлю железную дисциплину в войсках!.. — Зал судорожно замирает. — И это будет дисциплина чести и долга перед родиной!

Зал взрывается в бешеных воплях восторга.

— Из него выйдет толк, — любовно глядя на мои офицерские погоны, шепчет мне мой сосед в сюртуке, — он попал на свое место! — и, кивнув вниз на зал, серый от поднявшихся в дикой радости солдатских рубах и шинелей, обрадованно добавляет: — Этот сумеет их поприжать!

Весь президиум встал и рукоплещет. Чернов, Бунаков, Авксентьев. Бабушка, шамкая ртом, лезет к Керенскому целоваться. На сцену вскакивают и бегут из делегатского зала офицеры и солдаты. Восторженно подхватывают они Керенского на руки и торжественно несут за кулисы. И долго и зал и президиум еще полны движения и восторженного говора, несмотря на то, что на трибуне, опершись о пюпитр локтями, уже выступает Скобелев, меньшевик, новый министр труда. Его добродушное белокурое лицо напряжено деловой озабоченностью, не вяжущейся с его пушистым хохолочком на голове и с кокетливыми помпончиками галстука.

— Бывают моменты, — выдавливает он из себя, слегка заикаясь, — когда интересы классов совпадают с интересами нации. Этот момент мы теперь переживаем, и защита нации извне — наша очередная задача. Защищая страну, мы защищаем себя, а не интересы привилегированных властителей и хищников.

— Браво! — одобряюще громко крикнул мой неугомонный сосед.

Неуверенные хлопки крадучись пробежали по залу и быстро смолкли.

Я встал. Не хватит ли на сегодня этого балагана?

У подъезда, в ослепительном солнце, все еще бушевали разгульным восторгом те, что только что проводили уехавшего Керенского.

— А ты, гришь, не Наполеон, — игриво тыкал в бок замухрышку солдата плотный, упитанный унтер. — Видал ты его? Настоящий Наполеон! У моего родного на столе статуэтка такая была... Ну точь-в-точь! Разве вот только шляпа у того пирогом.

6. НЕУДАЧА

Не успел я, придя из команды со своей очередной агитационной беседы, отстегнуть шпоры и прилечь, чтобы дочитать свежую пачку газет, как прибежавший вслед мне посыльный принес телефонограмму, приглашавшую меня сегодня прибыть на гарнизонный митинг в Ораниенбаум. Подполковник Абрамов, как видно, не медлил в осуществлении намеченных планов.

Сосна в палисаде распустила желтые кисти цветенья. Из комманды опять доносились рулады гармоньки, и прилизанные мещанки шли туда, лузгая семечки. С моря дул ветер, стало свежее. Ветки тополей пахли остро и пряно, и вечерние длинные тени косо падали на шоссе.

Большой каменный затхлый сарай, засоренный подсолнечною шелухой, уже был изрядно наполнен зеленовато-сумрачной солдатской толпою, копошащейся на длинных рядах деревянных скамеек в тусклом свете подслеповатых электрических лампочек. Через широко распахнутый вход еще светились малиновые блики потухавшей вечерней зари. На сцене, освещенной ослепительно ярко, смущенно застыл кургузенький столик под красной скатерткой, и на его одинокость изумленно глядели сбоку и сзади размашисто размалеванные стволы и листва плоских и пыльных лесистых кулис.

В актерской уборной за кулисами, куда я прошел в поисках устроителей митинга, я нашел шумную говорливую компанию, давно спевшихся, привычных друзей. Золото погон, остро поблескивавшее сквозь сизые слои табачного дыма, создавало первое впечатление, что здесь только одни офицеры, но затем нетрудно было разглядеть и нескольких солдат, скромно державшихся в стороне, возле стен. Один из них стоял спиною ко мне и весело что-то рассказывал сидевшим перед ним на столе офицерам. Он обернулся, когда я вошел, и по узким, закрученным в стороны прямым шильцам усов я сразу признал в нем Филипповича.

— А-а, — протянул он вдруг так смущенно и, повидимому, так невпопад, что все офицеры мигом смолкли и с колким любопытством уставились на меня.

— Здравствуйте, дорогой сотоварищ, — протянул я ему руку.

— Пора начинать!—поднялся со стула один из прапорщиков, покосившись на меня черными овечьими глазами. Уж по его степенному голосу я понял, что это адъютант Судаков.

Все поднялись, бросая окурки на пол, и, затаптывая их каблуками, пошли вереницей на сцену.

— Думаете сегодня выступать? — вкрадчиво отвел меня за локоть в сторону Филиппович.

— Да вот пригласили, как видите, хотя я и не знаю еще темы митинга, — ответил я осторожно.

— О поддержке нового коалиционного Временного правительства, — шмыгнул Филиппович остреньким носиком. — Мне думается все же, что по этому вопросу ничего конкретного мы противопоставить не сможем.

Какие-то верткие солдаты тем временем быстро принесли на стол колокольчик и подставили несколько стульев. Судаков позвонил

и, выждав, пока уляжется в зале шум, предложил выбрать председателя. Несколько голосов с разных сторон выкрикнули его фамилию, и зал послушно зааплодировал. С деланной скромностью Судаков поклонился и, посадив одного из вертлявых солдат секретарем, объявил цели митинга и попросил ораторов записываться. Он сел и застыл в каменной позе невозмутимого льва на помещичьих старых воротах, небрежно бросив на стол кисть холеной белой руки, и только глаза его, черные и пронырливые, настороженно бегали по сторонам.

Первым выступил прапорщик Громыко, русый парень с деревянным упрямым лицом.

— Наш ораниенбаумский комендант, симпатичный офицер, хотя и меньшевик из плехановской группы «Единство»,—продышал мне на ухо Филиппович, подсевший рядом со мной на лавку за кулисами, откуда были видны и оратор, и президиум, и даже часть зала.

Громыко откашлялся и каким-то сухим, надтреснутым голосом огласил только что опубликованный в этот день состав нового кабинета министров, подчеркнув, что пятеро из них — социалисты и что теперь наконец-то достигнуто «революционное единство всех ответственных партий».

— Только теперь мы сможем рассчитывать на тот долгожданный порядок, который был необходим нашей родине, как воздух, еще на другой день после свержения царизма, чтобы напрячь наконец все наши силы на разгром германского империализма. Лишь утописты и предатели родины могут мечтать в это время о какой-то новой междоусобной борьбе для насильственного насаждения в нашей отсталой и разоренной стране несвоевременного социализма, на который крестьяне ни за что не пойдут. Мы вправе требовать, чтобы новое правительство, возглавленное социалистами, дало сокрушительный отпор всем этим анархическим козням и повело нашу страну к близкой и полной победе!

Громыко тоскливо кивнул, сорвал стайку хлопков, и его сменил подпоручик с обрюзгшим красным лицом, низким лбом и редким коротеньким ежиком. Он таращил мутные глаза, топорщил щетину усов, то-и-дело дергал кверху мясистым бурым упитанным носом и по-фельдфебельски рявкал о том, что теперь власть фактически в руках одних социалистов, что, по мнению самого Чернова, вождя его «славной героической партии», ставшего ныне министром, дела государства теперь будет решать сам совет, а министры — лишь его исполнители, что теперь социалисты захватят все посты и что, к примеру, поручик Кузьмин, красноярский эсер, поднимавший в Сибири восстание в пятом году, уже назначен сейчас помглавкомом войск Петроградского округа.

В это время Судаков неожиданно встал и, потупив глаза, подошел прямо ко мне.

— Конечно, вы выступите? — процедил он с прохладной заботливостью, пронизывая меня взглядом. — После поручика Пигаревича нет никого.

Я нерешительно кивнул, он вернулся к столу, а Филиппович, поджав тонкие губы, неодобрительно передернул плечами.

Пигаревич, покосившись на нас, должно быть поймал все это движение и потому вдруг обрушился на большевиков.

— Мы полагаем, — лукаво мигнул он, щетиня усы, — что даже верные приверженцы пломбированных путешественников по немецкой земле не посмеют теперь ничего возразить против нынешнего министерства. После Февраля некоторые большевистские лидеры, вроде Молотова, агитировали против Временного правительства и за борьбу за какое-то новое революционное правительство рабочих и крестьян. Если даже и тогда эта нигилистическая демагогия была у них вскрыта товарищем Каменевым, проповедывавшим «содействие, а не противодействие», то тем более теперь, когда убраны Гучков с Милюковым и влилось четверо новых министров-социалистов, нет никаких оснований не встречать новое наше правительство полнейшей поддержкой.

Пигаревич окончил, сопнув красным носом, и лизнул исподлобья меня мутным взглядом. Опершись о стол, Судаков выждал, пока смолкли легкие аплодисменты. Затем, погладив свое черноволнистое руно, он объявил, что сейчас выступит «недавно появившийся на ораниенбаумском горизонте ленинец-большевик».

Видно было, как в зале задвигались, зашумели, и с десяток солдат перелезли в углубление оркестра, чтоб получше разглядеть новую, диковинную для них птицу. Даже все те офицеры, что таились до этого за кулисами, тоже вышли, жадно уставясь на меня, и ходуном заходили позади них плоские холщевые березы. Непривычно смутясь, я долго не знал, куда деть свои руки. Вдруг пронзительный свист прорезал тишину зала. В разных концах захохотали, а кое-где зашикали. Судаков, позвонив, водворил вновь порядок. Этот свист стегнул меня по сердцу словно бич. Я почувствовал вмиг и свое полное одиночество и непреодолимое стремление растопить эту ледяную настороженность враждебного зала. Я принялся горячо убеждать, насколько опрометчивой будет попытка разрешать в союзе с буржуазией неотложные задачи революции. Разруху промышленности, безземелье крестьянства и тупик бесполезнейшей бойни в единении с буржуазией не разрешить: классовые интересы слишком противоположны. Революцию надо углублять...

— Углубляй! Углубляй! — язвительно перебил меня стоявший возле кулис пузатый солдат с багровым лицом. — Ты углубишь, а немцы зароют!

Зал сочувственно захохотал и захлопал, и я почувствовал на висках беспомощные капельки пота.

— Погодите, Баскирев, — остановил солдата Судаков. — Оратор, пожалуйста продолжайте.

Я не сдавался. Я едко высмеивал декларацию нового Временного правительства. Чем она отличается от буржуазного заявления кадетов? Тот же разговор о наступательных действиях на фронте. Тот же беспредметный набор громких фраз о земле и о хлебе, без малейшего намека на практические мероприятия. Даже буржуазную революцию бессильны сделать.

— Да ведь вы же не буржуазную, а социалистическую революцию затеваете! — Крученым голосом крикнул мне Пигаревич, вытаращив из красных мешков свои табачные глазки.

— Что ж, — отпарировал я, — на данной ступени развития мирового хозяйства буржуазная революция неизбежно перерастает в социалистическую, и мы ее развернем при дружной поддержке международного пролетариата. Без социалистических мероприятий все равно из военной разрухи не вылезешь. Пусть правоверные социал-демократы, меньшевики, как подпоручик Громыко, полагают, что мы до социализма не доросли. Мир—дорос. Мы начнем, а нас поддержат.

— А вдруг да как не поддержат!.. — насмешливо пробасил Громыко.

Я отмахнулся и вновь обрушился против сговора с буржуазией. Пусть сейчас нам не верят, но сами солдаты на своих мужицких спинах воочию убедятся на деле, к чему приведет эта новая дружба социал-соглашателей с буржуазией. Я кончил.

Два-три робких хлопка были мгновенно раздавлены негодующим шумом от поднявшихся в зале бурных ссор и пререканий. Десяток ловко рассаженных по углам молодцов заулюлюкали против меня оглушительным свистом.

Выйдя за кулисы, я вытер лицо, а Судаков долго звонил и успокаивал разбушевавшийся зал.

Высокий степенный прапорщик средних лет, с темной бородкой (как узнал я потом: бывший учитель, социал-демократ, меньшевик Макрояни), заменил меня на эстраде.

— Наш вождь, — начал он степенно и вкрадчиво, — товарищ Церетели, стал министром. Он сказал нам: «Буржуазия сейчас на распутьи: либо республика и спасение России, либо монархия и всеобщая гибель. Буржуазия сейчас не за гибель, а за спасение, — стало быть, за республику, а стало быть, и за революцию, и стало быть, ей надо верить. Социализм в крестьянской стране — это утопия». Предварительно надобно сделать народ культурным, а уж потом устраивать народную советскую власть. К счастью, среди большевиков помимо ленинцев имеются и настоящие социалисты. Товарищ Каменев, член их ЦК, писал с месяц назад в своей статье «Наши разногласия» о том, что наша задача — завершить револю-

цию буржуазно-демократическую, а отнюдь не вводить социализм. Другой большевик, товарищ Богдатьев, секретарь их ПК, вполне соглашался, что крестьянство не поддержит пролетариат. Да и в самом пролетариате за большевиками идет ничтожное меньшинство. И вылезать при этой обстановке с недоверием к новому нашему, почти социалистическому правительству, как это сделал сейчас большевик - подпоручик, является демагогией худшего сорта.

Пока Макроян срывал шумные рукоплескания, ко мне робко подошел высокий безусый прапорщик с худощавым лицом и темными, налитыми вниманием глазами и сказал:

— Давайте познакомимся. Нас вот тут двое большевиков, и ходим мы здесь как неприкаянные: прапорщик Костя Батманов, — он кивнул через плечо, — и я вот, Племянников.

За плечом его стоял скромный блондин с еле пробивающимся пушком на губах.

На сцене меж тем куражливо колыхал свое пузатое тело солдат Баскирев, перебивавший меня во время моей речи.

— Совет, братцы мои, солдатских и рабочих депутатов, — дурашливо скрипел он нараспев, — сам избрал наконец новое ре-во-лю-ционное правительство и послал туда самых лучших своих представителей, министров-социалистов. Ан они вот нашим большевикам и не нравятся: обидно им, что не их посадили.

Зал хохочет.

— Новоиспеченный эсер, — брезгливо кивнул Племянников на оратора.

— Вестимо, дело народное наблюдения требует, — продолжал Баскирев, забавно приседая на тонких коротких ногах, — потому и министры-социалисты обо всем в совет теперь будут докладывать, обо всем совещаться с ним. Ан большевикам опять же это не нравится: в совете-то их меньшинство.

Снова хохот солдат.

— Мы хотели с военкой связаться, — шепчет мне вдруг Батманов, досадливо передергиваясь от враждебной речи пузатого солдата,— да только ездить часто в Питер отсюда нам не сруки. Стасова направила нас в Филипповичу, но у нас ничего с ним както не клеится.

— Пустомели болтают, что в новом правительстве будто бы мало наших министров-социалистов, — не унимается Баскирев, пузырем надувая багровые щеки, и малюсенькие глазки его заплывают веселым жирком. — Но это неверно. А, главное, если и мало, то надобно помнить: мал золотник, братцы, да дорог. Один наш Керенский, незабвенный наш вождь, чего стоит!

Солдаты хлопают и беззаботно смеются, пока Баскирева не сменяет сам Судаков. Его встречают бешеным громом аплодисментов,

как заслуженного вождя. Он дает залу утихнуть и непринужденно начинает доказывать, как заблуждаются большевики.

— Если большевики призывают к недоверию Временному правительству, то что же они ему противопоставляют? Власть советов? — с деловитой небрежностью цедит слова Судаков. — А вот «Известия» этих самых советов пишут сегодня, что декларация нового правительства является вместе с тем и платформой совета. Как же тут быть? Большевик-подпоручик утешал вас длительным воспитанием масс на грядущей политике Временного правительства. Но если лозунг: «Долой Временное правительство!» — несвоевременен, а захват власти советами, как видите, пока невозможен, то что же делать сейчас, пока будет длиться это «длительное воспитание»?!.

Веселый смешок и шумные аплодисменты.

— Впрочем, большевики нам не страшны, — невозмутимо продолжает речь Судаков, чуть подергиваясь бритым белым лицом, — более того, большевики нам полезны, как ветер. Народные массы, как море, должны бушевать, должны колыхаться, чтобы не заплесневеть. Но и слушаться большевиков тоже нельзя. Как, например, можно не доверять, как можно нападать на такого истинно революционного вождя и кровного социалиста, как Александр Федорович Керенский?! Ведь это же бог революции!..

Судаков патетически замирает, артистически вскинув вверх руку, и зал восторженно рукоплещет.

Прения были закончены. Пигаревич оглашал объединенную резолюцию социалистических партий. Я не стал дожидаться конца соглашательской свистопляски и вместе с Племянниковым и Батмановым вышел на улицу. Белый сумрак майской ночи объял нас свежей душистой прохладой.

— Товарищ, разрешите с вами связаться, — подошел ко мне тут же невысокий солдат в красных погонах, — я местный писарь Науменко, большевик, можно сказать — разъединственный большевик здесь до вас в Ораниенбауме, если не считать Филипповича. Теперь вместе с вами я надеюсь...

Племянников и Батманов удивленно переглянулись, а я рассмеялся.

— Ну, знакомьтесь, Науменко, вы уж третий. Эти двое товарищей — тоже здешние большевики.

Нас догнал, запыхавшись, меньшевик Макроянн.

— Поручик, — вымолвил он, стремясь отдышаться, — дельный, видать, вы человек, а самое главное упускаете. Зачем тратили попусту здесь свой порох? Революцию делают массы только через интеллигенцию, ибо всякий бунт масс превращается в революцию только тогда, когда им начинают руководить Дантоны.

— Это не Керенский ли у вас в Дантонах?

— К чему насмешки? — покрутил головой Макрояни, — о личностях не стоит спорить. Я даже и в принципах был бы всецело согласен с большевиками, если б не злополучная эта война, или если б она, скажем, кончилась. О, тогда и я — большевик! Но сейчас, когда опасность разгрома грозит нам потерей свобод...

— Бросьте! — отмахнулся я, как от назойливой мухи. — Ищите-ка лучше Дантонов, а масс вы никогда не поймете; и, кончись война, вы еще злее боролись бы против социализма. Эх, да чего уж там!..

Пошли дальше молча, каждый думая о своем, а на перекрестке простились. Уныло шагал я один прозрачною ночью пустынным шоссе. «Какой безотрадный провал! Как я освистан! Должно быть, придется здесь начать все сызнова. Ораниенбаум пока что для нас потерян. Но разве правда не с нами? Разве мы не поможем как можно быстрее прозреть этим слепым и в слепоте своей пока что враждебно свистящим нам массам? Неужели они способны только на дикий бунт?» И я вспомнил слова Макрояни. «Значит, им надо Дантонов? Ерунда. Мараты нужны, а не Дантоны. Мараты сумеют выявить и сорганизовать боевые силы восставших классов. И пускай пока что в Мартышкине эти массы потешаются на танцульках, а в Ораниенбауме злобно свистят большевикам, — настанет тот день и скоро настанет, когда...»

Издали справа, где в зеленом сумраке ночи плотно сгрудились вокруг нашей команды густые сады, вдруг донесся истошный, раздирающий сердце крик. Он заглох, словно зажатый тяжелой рукою, чтобы снова прорваться оглушительным визгом. Я кинулся выручать, на бегу явственно различая, что это голосит женщина, захлебываясь от грубых, тяжелых ударов. За оградой возле шоссе я уже разглядел тень солдата, который с хрипом остервенело бил кого-то.

— Что такое?! Перестать! — крикнул я, подскочив.

Солдат бросил жертву и, тяжело дыша, разогнулся. Женщина сразу отпрыгнула от него в сторону, присела в темноте и жалобно заголосила. Солдат сконфуженно вздохнул и продолжал стоять молча.

— Как не стыдно! — стал укорять я солдата, пытаясь различить в темноте его лицо. — Никак, из нашей команды, и вдруг — бить женщину!..

— За дело, господин подпоручик, — узнал он меня. — Уж больно они ненасытные, стервы. По три-четыре солдата себе заводят. Одного, вишь, меня стало ей мало! За это и бьем!

Солдат сплюнул и зашагал не спеша в глубь темного сада. Женщина порывисто вскрикнула и кинулась бежать в другую сторону вдоль ограды, торопливо всхлипывая на ходу, пока не исчезла. И тогда все смолкло.

«Культура»! — насмешливо вспомнил я опять Макроиин. — «Не может быть революции без культуры»? Нет, без революционного свержения господ паразитов со всей их звериной «культурой» — человеческой, братской культуры угнетаемым не привьешь».

7. БУЙНЫЙ КРОНШТАДТ

Желание во что бы то ни стало и как можно скорее поправить свою ораниенбаумскую неудачу заставляет меня задуматься о поисках товарищеской помощи. Науменко, Племянников и Батманов — они еще так слабы и, пожалуй, сами ищут поддержки во мне. Но я слаб. Где же найти необходимую помощь? В военку я уже ездил, но там все ребята в расходе: у каждого в своей воинской части хватает собственных трудностей и хлопот. Нет, в военку ехать за помощью сейчас бесполезно. А то еще вновь попадешься под суматошную руку Подвойскому: вмиг пришьет, куда ему взглянется, без должного учета обстановки. А помощь нужна, и нужны тут крепкие партийцы с организаторской жилкой. И тут я сразу невольно вспомнил Рошаля, Кирилла, Раскольникова. Ведь это они сейчас заправляют Кронштадтом. И как кстати, что под боком: от Ораниенбаума пароходиком — полчаса.

В Ораниенбауме забежал за Племянниковым на квартиру. Он еще валялся в постели полуодетый, а Батманов в расстегнутой рубашке брился у столика. Через какие-нибудь четверть часа мы с Племянниковым уже были на пристани. Пароходик стоял под парами, горячее солнце сверкало на медных поручнях капитанского мостика. Со взморья дуло соленою свежестью, и туго звенели натянутые снасти. Мы присели у борта под тент возле открытого люка, из которого веяло нефтяной теплотою сонно шипящей машины.

Был воскресный день. Пароходик быстро наполнялся матросами и кронштадтскими хозяйками, спешившими к домашним очагам. Оглушительный пароходный гудок заставил Племянникова нервно зажать уши, затем — легкое головокружение от зыбкости под ногами, глухой грохот машины внизу, шум закипевшей под кормою воды с побежавшими вдоль борта вперед пузырьками, тихий звонок в трюм, внезапная тишина, — даже слышно, как пена шипит за бортом,— снова рокот машины, и, повернувшись, мы мчимся вперед, к лиловому от ветряных волн горизонту, где за дымкою труб опрокинутой чашей собора улыбается буйный Кронштадт. Это — гранитная крепость, это — ключ Петрограда. Недаром поодаль, как крепкие зубы, круто высятся над водой низкие серые скалы бетонных фортов. Весь пароходик нервно дрожит от биения машины, пенится вал за кормой, теплый воздух из люка со свежим морским ветерком, и мы разворачиваем мирно газеты.

— Взгляните,— обрадованно нагнулся Племянников над «Правдой», — ведь этак, пожалуй, и верно, что Запад нас скоро поддержит. Вот важная заметка из Англии. Там продовольственный кризис и революционное брожение среди рабочих. Вы правы: нам надо как можно быстрее организовываться.

Широкие зубы фортов остаются вдали. Приближается длинный плоский остров, весь застроенный каменным городом. Влево, в гавани, мрачно сереют голубоватые тени военных судов. Вправо, за мысом, у эстакады, куда мы пристаем,— зеленая шеренга кудрявых деревьев.

По случаю воскресенья помещение совета оказалось закрытым, и мы отправились стыскивать здешних товарищей в партийном комитете большевиков на бывшей даче Виринга. Здесь, на втором этаже, мы нашли большую библиотеку с гурьбой посетителей. А через площадку, в помещении редакции «Голоса правды», куда нас направили, мы встретили высокого белобрысого и безусого юношу, так лет двадцати, в косоворотке, черном пиджачке с протертыми локтями и в сбитой на самый затылок студенческой фуражке политехника. Он посмотрел настороженно на нас, пулеметных офицеров, но, узнав, что мы оба партийцы и ищем Рошаля или Орлова, тут же вызвался сам нас провести на квартиру к Кириллу, благо она была рядом во флигеле, через сад.

— Батюшки, кого к нам Жемчужный ведет! — обрадованно взметнулся Орлов и приветливо затряс мою руку. — Братишечки, — кивнул он любовно своим собеседникам, оставшимся сидеть у стола, — нашего полку прибывает! Молодец, что послушался! — вновь облапил он меня уже за плечи. — Ну, что ж, на работу? Совсем к нам? А где ж твои вещи? А это кто с тобой?

Пришлось торопливо ему объяснить об ораниенбаумской маете и о цели нашего посещения. Я представил ему Племянникова, чтобы в дальнейшем использовать его для связи.

— Ну, что ж, — как-то потухая, примирился Кирилл, — знакомьтесь с нашими ребятами! —и он подтолкнул нас к компании, сидевшей за столом. — Здесь у нас в сборе сегодня, почитай, весь наш комитет. Только разве твоих вот приятелей, Рошаля с Раскольниковым, здесь нехватает: в Питер, должно быть, укатили. Это вот наш обер-пропагандист товарищ Ульянцев, — кивнул он на приземистого плоскогрудого матроса со стыдливо зачесанной лысиной и свисшими хвостиками усов, — вместе с ним мы здесь ведем нашу пропагандистскую партийную школу. Этот студиозус, что вас сюда приволок, наш главный редактор, он же секретарь, постоянный репортер и метранпаж достославного нашего «Голоса правды» товарищ Жемчужный. Это вот — Пелехов! — хлопнул он по плечу статного красавца матроса, молодца с румянцем во всю щеку и со слоновою крепостью белых зубов. — Это Зайцев! — подвел он

меня к щупленькому унтер-офицеру минеру, юркие глазки которого и щегольские черные бакенбарды еще более подчеркивали роскошное сияние его круглого облысевшего черепа. — А это вот: Зенченко, Кандаков, Павлов, Степанов, Сладков, Колбин, Дмитриев... — и Кирилл называл мне поочередно эти фамилии простых, незаметных людей. Видно было по этим, в большинстве своем уже не молодым, обветренным в штормах морщинистым лицам, что люди эти хлебнули горькую чарку долголетней подпольной борьбы, гнили в тюрьмах матросских карательных барж, мерзли в плесени крепостных казематов. Я сконфуженно стал рассказывать, как вчера меня освистали ораниенбаумские офицеры, и мгновенно почувствовал, как все это мелко, ненужно...

— Кто ж тебя освистал?! — с беззаботной шутливостью вскинулся Орлов. — Офицеришки! Что ж ты хочешь? Чтоб они тебе аплодировали?..

И под дружеские улыбки остальных Кирилл рассказал, как эти же наши ораниенбаумские офицеры, желая, должно быть, выручить из тюрем своих кронштадтских собратьев, посаженных матросами за сыск и мордобойство, прикатили однажды на митинг в Кронштадт. Попробовали выступить с елейными призывами к матросам. «Братцы товарищи, мы-ста, да вы-ста, вместях и так далее!» Словом, водой не разольешь! Ура революция и да здравствует вождь Саша Керенский! Рошаль председательствовал и смахнул их: «Давно ль, благородия, за революцию?.. Бросьте!..» А те — в амбицию. Судаков, что ли, есть такой у вас прапорщик, — так аж побелел. «Мы все, грит, всю нашу жизнь провели в тюрьмах и ссылках!..» Ну, конечно, наша братва, знамо, в хохот. Так вот и смылись офицеришки ваши, не солоно хлебавши.

— Тут с ними почище еще потом путанка вышла, — потянув книзу кисти усов, с хрипотцой подхватил коренастый Ульянцев. Подбросили они к нам в совет, вроде как «для связи», препаскудного своего офицеришку Пигаревича. Так, — помесь моржа с кислым яблоком. Он и давай за наших контриков хлопотать. В Питере о ту пору Керенский всех старых министров из тюрем повыпускал да и к нам комиссию из своих юристиков снарядил во главе с каким-то адвокатишкой Переверзевым. До революции сей патриот от военной службы ловчился, адвокатским санитарным поездом заправлял, по тылам с сестрицами раскатывал, а теперь вон его, слышь, тот же Керенский министром юстиции сделал. Вот, и стали у нас эти юристики потихоньку контриков из тюрем выпускать. Был здесь у нас во Втором артиллерийском полку капитан такой Альмквист. Сын какого-то финского толстопуза. Зверь был, подлюга, над солдатами чорт знает что выкомыривал. В революцию, конечно, его посадили, а Переверзев возьми да под шумок его и выпусти. Глядят наши солдаты: зверь-благородие на свободе,

стоит с чемоданчиком на пристани, пароходный билет покупает. Те его за машинку и в конверт. По дороге чуть не прикончили. Зло всех взяло. Собрались толпою перед тюрьмой, вызвали этого Переверзева. Заикается, плут, глазами хлопает. Наш Рошаль и давай его стыдить. А тут и встрень этот, Пигаревич-то ваш. «По какому праву человека обратно в тюрьму вы сажаете, если его сама революционная власть освободила?!» Рошаля провокатором обозвал. Чуть было самого его матросы тут же не пришили, ладно Рошаль заступился. Теперь суд третейский назначен у них, а Переверзев в Питер после этого укатил.

— Мы на-днях и вашего Пигаревича тоже от себя выкатим! — шустро сверкнул черными глазками, погладив лысину, Зайцев. — В «Правде» вон только сегодня опубликовали проект большевистского наказа для перевыборов в советы. А мы у себя уже дня три как перевыборы кончили. Из трехсот депутатов — треть большевики, треть эсеров, человек сорок меньшевиков социал-демократов, остальные беспартийные. Да и эсеры-то наши с питерскими вожаками не согласны. За нами идут. Подавляющим большинством через совет мы наш приказ провели: «Война — империалистична! Мира можно достичь, только сбросив капиталистов и помещиков в каждой стране. Землю — крестьянам немедленно, без никакой там Учредилки. Контроль советов над производством и распределением. Всю власть советам!» Теперь наш совет действительно стал н а ш и м советом! — горделиво откинулся Зайцев, слегка зашепелявив от нервного волнения. — Председателем — Любович, наш — партийный. Секретарем заделали мы Рошаля. Ваш Пигаревич теперь нам не ко двору... Вышибем его к вам в Ораниенбаум в два счета...

— Вот, вот, вот! — поддакивал Кирилл, сам то-и-дело срываясь от стола и бегая на террасу, где его круглолицая, полная супруга поджаривала на керосинке большую сковороду пышных котлет. Котлеты щелкали и шипели, румянясь от масла, их щекочущий запах доносился к нам через раскрытое окно, за которым мирно трепетали на солнце прозрачною зеленью свежие листочки кустов и деревьев, по-деревенски беззаботно чирикали воробьишки, и шумливо бегали и играли детишки Кирилла.

«Вот сижу я, — подумал я, — здесь в Кронштадте, в этой гранитной морской цитадели, да вдобавок еще в самом центре здешнего большевистского комитета, среди этих простых и таких сердечных товарищей, и как это вот все, что я здесь вижу, что я слушаю и что ощущаю, как не похоже все это на те гнусные, подлые, отвратительные помои, которыми изо дня в день поливаются и Кронштадт и его «зверские» большевики — со страниц оголтелой клеветнической своры всех меньшевистских, эсеровских и милюковских газет».

Забавно вертясь, Кирилл подпрыгивал и ликовал, пока его супруга приветливо вносила и ставила на стол перед нами горячую сковороду на деревянный кружок. Кирилл рассыпал по столу груду вилок, совал нам ломти пахучего черного хлеба, извинялся, что только четыре тарелки, и настойчиво приглашал всех тащить котлеты со сковороды прямо на хлеб и есть как бутерброды. Никто не ломался в этой дружной и тесной партийной семье. Вилки у всех быстро потянулись к аппетитно урчащим котлетам, и те, капая маслом, осторожно вползали на пододвинутые хлебные ломти.

— Пускай побесятся, — словно угадывая мои мысли, с хрипотцою обронил Ульянцев, мягко прожевывая сочную котлету. — Наш Кронштадт у всех врагов рабочего класса, как бельмо на глазу. Мы вот с Кириллом скоро выпуск сделаем из нашей партшколы пропагандистов: сотню отличной братвы удалось политически воспитать и натренировать, чтоб от всякой контры умели отбрехаться. Тогда мы и вас в Ораниенбауме поддержим.

Сотня кронштадтских агитаторов-большевиков, так предусмотрительно и так быстро подготовляемая здешним комитетом, — это ль не лучший показатель настоящей большевистской работы? Однако они еще не готовы, эти агитаторы, а митинги в Ораниенбауме не ждут, и «социалистическая» офицерня, по всей вероятности, их теперь зачастит, чтоб как следует использовать провал моего последнего выступления. Неотложная помощь нужна. И я умоляюще обратился с этой просьбой к Кириллу.

— Ты вот наш «Голос правды» среди своих солдат распространяй, — посоветовал мне Кирилл. — Смотри, сколько у нас с фронта подписчиков стало теперь, и все растут. Наша газета становится действительно всероссийской. И тебе она сильно поможет... Ну, да ладно, ладно, не кручинься. Звякни, как что, нам сюда в комитет по телефону. Я подъеду да и ребят кое-кого с собой прихвачу. Так, что ли, братва? — весело окликнул он остальных.

Но в это время через куст к окну подбежал, запыхавшись, матрос. Оперши́сь руками о раму, чтоб перевести дух, он скорей выхрипнул, чем сказал:

— Эй, братва!.. Где Кирилл?.. Там, на Якорной... опять собираются...

— Кто собирает? По какому вопросу? — посыпались довольно спокойные возгласы.

— Да... сами собираются, — задохнувшись, отмахнулся рукою матрос.

— Ну, раз сами собираются, надо итти, — озабоченно встал Кирилл, и все разом поднялись за ним, надевая картузы и матросские бескозырки.

Вышли дружной гурьбой. За углом, недалеко уже колыхалась народом огромная Якорная площадь, которую с одной стороны,

насупившись, сторожил массивный византийского стиля собор мирликийского Николая, а с другой стороны ограждала длинная крепостная стена с глубоким оврагом, в котором в февральские дни трое суток валялся труп адмирала Вирена, убитого разъяренной матросской толпой за попытку подавить революцию пулеметным расстрелом народа. Несметное море матросских, солдатских и рабочих голосов заливало сейчас эту широченную площадь.

— Наше вече! — усмехнулся Кирилл, когда все мы гуськом пробирались к высокой, маячащей возле собора деревянной трибуне.

— Та-ваа-рищи! — уже гудел с нее какой-то косматый гражданин в широкополой поярковой шляпе. Через широко распахнутый ворот его ярко-красной рубахи глядела наружу смуглая грудь с блестящей на солнце курчавою шерстью. — Та-ваа-рищи! — выкрикивал он, судорожно придерживая тонкими руками полы своего живописного черного плаща. — Мы, анархисты, вас призываем: поднимайтесь, пока еще не поздно! К чорту Временное правительство! К чорту советы! К чорту всякую власть! Куда мы идем? Что нас ждет? Буржуазное рабство и гибель. Не верьте предателям социал-демократам и социалистам-революционерам! Гоните в шею трусов большевиков! Чего они еще ждут? К безумству храбрых зовем вас мы, мы, анархисты! Я только что вырвался из Франции, я брат ваш, Аснин...

— Что же ты предлагаешь? — нерешительно окликнул его стоящий поодаль рабочий.

— Восстание! — взмахнул Аснин плащом. — Немедленное свержение всей буржуазии!

И толпа восторженно зааплодировала.

— Вреднейшая демагогия! — высоченным фальцетом выкрикнул на всю площадь Кирилл и стремглав понесся к трибуне.

Площадь гудела. Аснин молча стоял, торжествующе скрестив руки, и выжидал появления противника. И когда Кирилл вскочил на трибуну и резким движением содрал с себя замызганную шляпчонку, площадь неуверенно и порывисто зарукоплескала, и Аснин молча отодвинулся, уступив ему место.

Тряся своей козлиной общипанной бороденкой, Кирилл гневно бросал горячие слова обличения:

— Немедленное восстание?! Когда нас еще горсточка?! И дураки еще аплодируют?! Когда на Кронштадт вся Россия еще смотрит как на зверей! Когда мы еще не сорганизованы! Когда из Петроградского совета еще не вышвырнуты предатели социалисты! Когда на ораниенбаумском берегу нас стерегут пулеметами контрреволюционные офицеры! Когда солдаты почти повсеместно еще не за нас! Да ведь нас передушат и раздавят, как жалких цыплят! Такие призывы безмозглого, гнилого бунтарства только наруку буржуазии!

Площадь бешено зарукоплескала, а Аснин гордо закутался в плащ и стал медленно, с забавной торжественностью спускаться с трибуны.

— Нет, друзья анархисты, мы, большевики, быстрее и верже придем к тому же восстанию, если сумеем как следует сорганизовать и подготовить для боя широкие массы. Только во главе этих масс...

— Ну, поехал!.. — недовольно сплюнул возле меня низенький толстый матросик. — Часа на три теперь Кирилл заведет канитель. Не остановишь, пока дочиста все не разойдутся, — и он обескураженно повернулся уходить.

Толпа еще слушала, но по краям уже стала редеть. Должно быть, то, что рассказывал ей Кирилл, она слушала далеко не впервые. Стихийно собравшись, она так же стихийно готова была расползтись. Да и нам с Племянниковым надо было возвращаться восвояси. Там, за лиловою гладью залива, среди зелени дальнего берега еле белели ораниенбаумские пулеметные казармы. Там коварно стерегут Кронштадт офицеры. Но пулеметчики должны стать сознательными, чтобы дружно и беспощадно сбросить буржуазию и ее социалистических лакеев. И кто, как не мы, должны пулеметчикам в этом помочь?!

До свиданья, буйный Кронштадт! Боевой Ораниенбаум еще сумеет тебя поддержать по-большевистски!

8. У ЛЕНИНА

В военку нужно было заехать поутру лишь на минутку, чтобы, как было условлено, встретиться здесь со Смилгой и направиться вместе на крестьянский съезд. И хотя день был голубым и прохладным, постоянно текучая толпа разношерстного митинга попрежнему суетилась перед молочно-глянцевым особняком Кшесинской.

Сапоги фронтовиков гулко ляцкали по мраморным ступеням вестибюля, волоча за собою тючки отвозимых в окопы газет. В коридорах попрежнему деловито сновали вереницы агитаторов солдат и рабочих. Сизая пыль крутилась из-под ног косыми дымными столбами. Подвойского не было, но не было и Смилги. Застенчивый верзила — солдат Тобиас, казначей нашей военки, передал мне, что Смилга где-то занят и поручает мне одному охлопотать наши мандаты в канцелярии крестьянского съезда. Однако он тут же прибавил, что с крестьянским съездом успеется, а меня дожидается уже заготовленный все тем же неутомимым Подвойским делегатский мандат на открывающийся сегодня Всероссийский съезд офицерских депутатов, на котором мне поручено во что бы то ни стало присутствовать, так как на этом будто бы настаивает Ленин.

Мысль, что это—поручение Ленина, меня и взволновала и окрылила. С восторгом я принял мандат, но неясность задания смутила меня. Почему бы не обратиться за указаниями к самому товарищу Ленину? Мне тут же сказали, что его отыщу я на Мойке, в редакции «Правды».

Светлосерый высокий дом на углу, у закованной в камень канавки. В бельэтаже — гостиница «Бристоль», населенная кокотками и офицерами, а этажом выше — дверь с дощечкою «Сельский вестник» под императорским двуглавым орлом. В полутемной прихожей, заворачивающейся как-то углом, я столкнулся с двумя рабочими завода «Вулкан». Они приносили сюда заметки о своих неполадках с администрацией и оживленно толковали об этом со скромно одетой, немного сутулою женщиной с круглым лбом и широким, чуть вздернутым носиком, делавшим весь ее облик каким-то ласковым и деловитым. Внимательно наклонив гладко зачесанную голову набок, она смотрела на своих собеседников бодрым приветливым взглядом быстрых и черных маленьких глаз. Потом уже только узнал я, что это родная сестра товарища Ленина, Мария Ильинишна Ульянова, неутомимый, бессменный секретарь нашей боевой большевистской центральной газеты. Мой офицерский облик, должно быть, смутил сейчас и ее, и она осторожно осведомилась, кто я и кого мне здесь нужно. Получив мой ответ и взглянув на протянутый мною мандат, она деловито кивнула и ушла в дверь направо, оставив ее полуоткрытой.

Видневшаяся через дверь небольшая тусклая комнатка с одиноким окном, выходящим к серой стене, должно быть служила здесь редакторским кабинетом, и оттуда торопливо вышел Ленин. Он посмотрел на меня быстрым взглядом и, возможно, признал меня по прошлой случайной беседе в Таврическом, потому что радушно кивнул мне и пытливо спросил:

— Ну, как, товарищ, в чем дело?

Я объяснил, что еду сейчас с мандатом нашей военки на съезд офицеров и хотел было осведомиться, как там себя вести, каковы там наши задачи. Ведь съезд-то не особо нам близкий.

— Если вы точно знаете, что состав его сплошь контрреволюционный, то, пожалуй, незачем туда и ходить, — улыбнулся Ленин благодушно, и от его карих глазок разбежались шутливые лучики. — Разве что только с целью информации... Но, — прищурился он, защипнув коротенький клинышек русой бородки, — если вы увидите там, что есть элементы, особенно из офицеров военного времени, которые настроены хотя б пацифистски и способны в определенный момент встать на сторону солдатских масс, на сторону крестьян и рабочих, то следовало бы выступить перед ними и доказать невозможность других выходов из войны, кроме как революционного. Словом, поступайте, как подскажет вам обстановка

Ну, а где вообще-то сейчас вы работаете? — спросил вдруг Ленин, и мне показалось, что это он так спросил, чтобы скорей и учтивей отделаться от меня. Я поэтому бегло пробормотал о моих ораниенбаумских незадачах.

— Владимир Ильич! — нетерпеливо позвали его из кабинета, и мне стало совестно, что я отвлек его этакими пустяками. Но он словно не слышал призыва.

— Вот это важно, это существенно важно! — аж весь вспыхнул Владимир Ильич, внимательно выслушав мою бормотню. — Будьте упорны и во что бы то ни стало сделайте свой гарнизон большевистским. Если на этом пути у вас возникнут какие-нибудь организационные недоумения, наведывайтесь сюда лично ко мне, я всегда буду рад вам помочь... И вообще держите меня в курсе вашей работы... И о вашем съезде тоже расскажете... — Он крепко пожал мою руку, приветливо улыбнувшись, и так же торопливо ушел в редакторский кабинет.

Должно быть, чрезвычайно блаженная и вместе с тем смущенная улыбка плавала у меня на лице, когда я спускался по каменной лестнице и вышел на Мойку, так как встречные с любопытством оглядывались на меня.

Золотистый облик Владимира Ильича, немного приземистого, но удивительно проворного и такого приветливого, сиял передо мной мириадами солнечных лучиков своих шутливо прищуренных глаз. Он произвел на меня неизгладимое впечатление.

В самом деле: какое трогательное деловое внимание, казалось бы, к таким мелочам! Какое сердечное участие и товарищеская заботливость к заурядным пустякам рядового работника партии!.. И какая искренность этого участливого увлечения!

Но как я нетактичен! Разве мне неизвестно, как Ленин перегружен ответственнейшей работой? Зачем же я сунулся к нему за разрешением мелкого вопроса, осмыслить который я должен был бы и без помощи Ленина? Ведь по сути: все, что сказал мне Владимир Ильич, было удивительно верно и вместе с тем удивительно просто, тогда как я ожидал, очевидно, каких-то особенных откровений. Мне, как и в первую встречу с ним, вновь сделалось стыдно за свою несмышленность. И ласковый образ вождя, столь бешено преследуемого кругом неистовой ненавистью и клеветою наших врагов, загорелся сейчас передо мной, как гигантский маяк, новым, боевым ослепительным светом.

9. ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ

К полосатому красно-желтому Дому армии и флота на Литейном проспекте отовсюду стекались офицеры. Звякая шпорами и шашками, они небрежно бросали шинели почтительно-расторои-

ным солдатам у вешалок. Вытирая надушенными платками холеные усики и чопорно оглядывая друг друга, они торжественно поднимались по широкой белой мраморной лестнице, не касаясь красного бархата мягких перил. Огромный зал с низкими хорами на толстых квадратных столбах был заставлен рядами стульев и наполнялся гудящей офицерской толпой. Аксельбанты штабных, кавказские казакины туземных дивизий, расшитые серебряным галуном малиновые панталоны гусар, золотистое сверкание звездочек и погонов. Все это казалось ожившею мишурой ярких елочных украшений. И самые лица, туго пробритые, иссиня-розовые, с припомаженным глянцем проборов, походили на оглазуренные, приторно сладкие пряники. У входа за столиком мой большевистский мандат был обменен на депутатский билет коренастым кургузым и уже достаточно облысевшим корнетом Саксом. Он и раньше встречался со мною в Таврическом дворце, нередко вступая со мной в политические споры, но сейчас, ничего не сказав, он снисходительно и как-то загадочно улыбнулся, протянув мне вместе с билетом программу съезда и анкетный листок.

В ожидании открытия съезда офицеры занимали места, рассаживались, представлялись друг другу или спесиво бродили вдоль окон, брякая шпорами и заложив руки за спину. Большинство их столпилось в шумные кучки и оживленно слушало речистых рассказчиков, делившихся впечатлениями с мест.

— Уверяю вас, господа, — бушевал полногрудый скуластый штабс-капитан с кустиком чахлой бородки, — если мы здесь не сумеем принять немедленно какие-то героические меры, — песенка наша спета. Мои вшивоеды уже перерезают телефонные провода к нашим же батареям, чтобы не стреляли, а в окопах вечные митинги и разговоры, что дольше месяца не будут стоять... Я самовольно примчался сюда, в Петроград, и завтра же отправляюсь в штаб: пусть ссылают меня на каторгу за дезертирство, но на фронт я при таких условиях уже ни за что не вернусь. Сами судите: обращаюсь к своему батальону: «Солдатики, милые, родные, голубчики вы мои! Поймите, что война не окончилась, и немцы — наши враги, а не друзья. Ну, не братайтесь вы с ними, не смотрите на них как на своих братьев. Обрушимся лучше на них, на разбойников, пойдем в наступление!.. Ну, скажите, пойдете ль за мною, если будет приказ?» Бурчат себе под нос: «Пойдем». — «Не посрамим земли русской?!» — «Не посрамим». — «Так будем, стало быть, наступать?» — «Будем». Иду к землянке и слышу в спину слова: «Ишь, чорт проклятый, чего захотел: наступать!» — «Мы тебе так наступим, что и своих не узнаешь! Вот как бросим в землянку к тебе бомбу, так мигом узнаешь, как наступать!..»

— Сволочи они все! — со злобным приступом прошипел высокий рыжий корнет с усами столь длинными и закрученными этак

круто, что они делали его издали очень похожим на кухонный ухват. — Распоясались, митингуют, семечки жрут! Переубедить их возможно лишь языком сабель и пулеметов! Демагога Сашку Керенского надо сменить! Советы рачьих и собачьих депутатов разогнать вдребезги повсеместно! А Ленина — срочно к ногтю!

Вокруг сочувственно загалдели.

— Если бы все у нас были, как наш комфронт генерал Гурко! — гордо выколесил грудь молодой плечистый полковник, и все почтительно смолкли. — У нас на смотру фронтовой полчишка выфрантился сдуру в красные банты. Разве это по форме?! Бригадный генерал приказал, конечно, в два счета содрать, но эти смутьяны арестовали бригадного генерала и поволокли к генералу Гурко в наш штаб фронта. И Гурко в момент приказал: бригадного освободить, а вот этих смутьянов за нарушение дисциплины всех переарестовать и под суд.

— Да?! — бешено захрипел казачий подъесаул, гневно вытаращa глазные яблоки из тугих раскрасневшихся век. — А теперь вон слышали: за это Гурко снимают!.. — И он с такою злобою ткнул сапогом в крайний стул, что весь их ряд затрещал и сидевшие в нем поодаль офицеры встревоженно обернулись. — Пропала Русь наша, матушка!.. Дали хамам свободу.

— Истинно и правильно, господа, — протянул спокойно и методично высокий морской лейтенант с холеным фарфоровым бритым лицом, аккуратно завернутым снизу в мягкую тонкую бороду, — пора наконец осознать: лучше порядок без всякой свободы, чем такая свобода без нужного нам порядка. Если б меня заставили выбирать в отношении прогресса между Францией короля и Францией Буонапарте, я, не задумываясь, отдал бы предпочтение первой. И назначение теперь военным министром этого выскочки и кривляки!..

— О, господи, лейтенант, да кто ж из нас ставит ставку на Керенского?! — горячо поддержал его рыжеусый корнет. — Этот актерствующий адвокатишка вообще не годится в корсиканцы... Но Наполеон у нас будет. Должен быть!.. — И корнет так задорно крутнул рыжий ус, что казалось: еще немного, и он его отодрал бы.

— Мечты о Наполеоне? — иронически протянул убежавший с фронта скуластый штабс-капитан. — Пожалуй, это не плохо. Ну, а пока? Что же нам делать пока?..

— Под понятие измены, — густо пробасил полковник, — надо немедленно подвести, господа, всякую пропаганду против войны, а тем более среди войск и в военное время. Расстрел в двадцать четыре часа!.. Это...

Но кругом встревоженно зашевелились, на эстраде, над столом президиума звенел колокольчик, и офицеры с шумом и треском поспешили рассесться на стульях. Мы уселись случайно все рядом:

я, рыжеусый корнет и фарфоровый лейтенант с лицом в бородатой оправе, а направо: штабс-капитан фронтовик и полковник.

Высокий, плечистый и крепкий брюнет, подполковник Гущин, опершись руками о стол, обвел исподлобья весь зал пристальным взглядом угрюмо сверкающих черных глаз и открыл съезд приветственной речью.

—... «Завоевания революции»?.. «Торжество демократических свобод»?! Господа, что за чушь он городит?! — возмущенно заерзал на стуле штабс-капитан во время этой приветственной речи.

— О, это хитрая бестия, этот Гущин!— с брезгливым презрением не сводя с него глаз, вполголоса обронил нам рыжеусый корнет. — Он идиот и ставит ставку на Керенского. Его план: взорвать рачий совет изнутри, проникнув в него как офицерская секция. Хвалится, что ему со своей шатией уже удалось будто бы одурачить Чхеидзе и получить от него обещание и поддержку...

Однако подавляющая часть офицерства шумно зааплодировала.

— Хамство! — надменно выцедил через зубы морской лейтенант, а полковник возмущенно передернул плечами:

— Ну и Питер у вас! Разложение среди офицерства! Этого еще недоставало!

— Шшшш-шш-шшш! — густо зашипел аплодирующим штабс-капитан.

— Не галдите пожалуйста, господа, если вы ничего не понимаете! — с негодованием обернулся к нам сидевший в ряду перед нами штаб-ротмистр в плотной коричневой гимнастерке, на которой вшитые в плечи погоны блестели серебряными заплатами из парчи. — Гущин прав, и мы ему в этом поможем. Это единственный путь прибрать к рукам солдатню.

— Ишь, «пониматель» какой! — раздраженно фыркнул корнет.— Не она ль только прежде вас под себя подберет?!.

— Тише! — зашикали нам отовсюду, и корнет спесиво замолк.

— Слово для приветствия от Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, — выкрикнул что есть духу Гущин, — имеет товарищ Стеклов!

Редкие аплодисменты от озорства и недоумения запрыгали и разбежались по офицерским рядам.

— Это какой же Стеклов? Тот, что стряпал приказ номер первый?!. Нахамкес?! — чуть не слетел от волнения со стула корнет. — Этого жида еще здесь нехватало!, Да ведь это же издевательство, господа, наконец!..

— Хамство, — все так же надменно процедил лейтенант, не сводя со Стеклова своих остекляненных ненавистью глаз.

Широкоплечий огромный Стеклов, колыхнув бородой, вытер платком объемистый лоб и, поправив под сюртуком полосатые брюки, начал приветствие «офицерскому корпусу славной армии русской»

от исполнительного комитета совета. Часть офицеров зарукоплескала, и это его приободрило, почему он мечтательно закатил глаза и продолжал уже вдохновенно:

—... Эпоха огромнейших потрясений вас обязывает, господа офицеры... Вы помните, как Некрасов сказал: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»! Офицерство уже дало однажды нашей истории декабристов. Вы — их потомки, и мы знаем, что эти традиции в вас живы. Мы знаем: жандармский мундир вы никогда не признавали, он всегда был вам чужд!..

Гущин, а за ним солидная часть офицеров показательно зарукоплескали.

— Отобьете ладони, господин штаб-ротмистр! — язвительно бросил вперед фронтовой штабс-капитан.

—... И мы верим, что вы, славные потомки тех декабристов, сумеете встать на путь демократии и вместе с солдатами...

— Ну, еще бы! — насмешливо буркнул полковник, но хлопанье офицерских ладоней заглушило его бормотание.

— Куда мы идем?! — с негодованием повернулся ко мне корнет.

Не желая ввязываться в разговор, я молча подернул плечами.

Вслед за Стекловым и приветствием от временного комитета Государственной думы выступил черносотенный думский депутат, воронежский помещик Шидловский. Всею своею повадкой и невзрачной степенностью своих усов и бородки он скорей походил на коренастенького приказчика из мучного лабаза, чем на ближайшего сподвижника предводителя зубров Родзянко. Его призывы к поддержанию в армии порядка и дисциплины для скорейшего сокрушения внешнего супостата — взорвали оглушительный шквал радостных рукоплесканий всего офицерского зала.

— Вот это я понимаю! — щелкнул корнет языком.

А Гущин, встав и выпятив грудь колесом, тотчас же возгласил ответное многолетие Государственной думе и ее «славному председателю, вольнолюбцу Родзянко». Я невольно вспомнил этого «вольнолюбца», взбешенного, как индюк, когда в Таврическом дворце в февральские дни взяли его в оборот солдаты за его контрреволюционные помещичьи речи.

— Ох, и ловкач этот ваш Гущин! — покрутил головою корнет.— Он, как ласковое теля, норовит сразу трех матерей обсосать.

Но сзади нас, возле входа, послышался шум, все невольно туда обернулись, и вот с лакированной вежливостью плывет мимо нас целая ватага штатских и военных иностранцев. Все офицеры поднимаются и аплодируют стоя, приветствуя этим «союзных» гостей. Суетливые офицерики провожают их на помост, тащат для них через головы с треском и грохотом стулья и усаживают гостей на эстраде. Юркий прапорщик Окрент и морской лейтенант Старков,

тряся седеющей козлиной бородкой, приветствуют их: один по-французски, другой по-английски.

Издали сразу не разберешь: кто эти знатные гости. Почти на всех на них голубовато-серые мундиры, разноцветные угольнички на воротах и нашивки. Пока гости оживленно переговариваются между собою и лукаво оглядывают зал, Гущин под новый взрыв аплодисментов предоставляет слово американскому послу, сэру Френсису.

— Новый союзничек. Ну-ка, посмотрим! — снисходительно бормочет штабс-капитан.

Шаровидный и короткошеий сэр Френсис, весь серебряно-пепельный, начиная от хохолочка на голове и кончая костюмом, более походил на пузатый флакончик из-под духов с низко притертою пробкой, нежели на влиятельнейшего дипломата заатлантической биржи. Его серые усики, тощие, как ниткн, едва прикрывали сухой и беззубый старческий рот. Он учтиво мотал тонким, остреньким носиком, оседланным темным пенсне, и заученно шамкал по-английски о святых, бескорыстнейших целях, ради которых Северо-американские соединенные штаты вступили в войну. Он выразил уверенность, что Россия уладит свои внутренние разногласия и противопоставит германскому абсолютизму общий и неразрывный со всеми союзниками фронт. Его речь тут же почтительно нам перевел лейтенант Старков.

Во время рассыпавшихся в ответ аплодисментов Френсиса быстро сменил бельгийский министр Вандервельде. Лысеющий и красноносый, с подковкою усиков на обрюзглом лице, он с резвостью старого мопса подобрал свой отвисший живот и, отчаянно жестикулируя, отчего то-и-дело взлетал шнурочек его пенсне, закартавил по-французски о «страданиях раздавленной Бельгии».

Мои соседи наблюдали за ним с неослабевающим интересом.

— Социалист? — с удивлением поднял брови фронтовой штабс-капитан.

— Социалист, — удовлетворенно расплылся в улыбку полковник. — Один из вождей Интернационала и одновременно самый верноподданный королевский министр.

Морской лейтенант иронически посмотрел на полковника холодным фарфором голубых своих глаз, но ничего не сказал.

— Уж поверьте! — загорелся полковник. — Правда, вначале он был глуповат, но потом окончательно выправился. Наш посол, князь Кудашев, упросил его в самом начале войны составить патриотическую телеграмму здешним эсдекам. И Вандервельде тут же накатал призыв к борьбе против всяких там «милитаризмов и империализмов». Князь, конечно, замялся: «При чем же тут империализм?» Вандервельде сконфуженно извинился и вычеркнул «империализм». Сговорчивый малый.

— А все-таки социалист! — с окаменелым презрением процедил через зубы морской лейтенант.

Рыжеусый корнет, ерзавший от нетерпения по стулу, почтительно и благодарно взглянул на лейтенанта и выкрикнул, пряча голову за спину штаб-ротмистра:

— Регламент!

Но на него с негодованием отовсюду зашикали, а штаб-ротмистр стремительно обернулся и с возмущением кинул:

— Глупо скандалить, если вы ничего не понимаете по-французски! Надо было бы выдумать такого «социалиста» нарочно, если б сам бог не создал для нас Вандервельде...

Корнет отгрызнулся, а в поощрительном грохоте аплодисментов, вслед за Вандервельде в выступлениях зачередовались: французский полковник Леверн, итальянский полковник Тонели, вкрадчивый сербский майор Павлович, желтый, как воск, в черной щетине конских волос, низенький капитан Хасимото. Все эти верные рыцари Единой Всемирной Прекраснейшей Дамы, madame биржи, прошли один за другим по эстраде, словно парадом-alle, крикливо клянясь в пылкой любви к «Великой России» и призывая «Свободную армию» воевать ради них до конца без конца.

Я уже хотел было встать, утомленный этим напыщенным маскарадом, как в дверях нежданно появилась и, провожаемая настороженными взорами всего зала, прошла к эстраде жиденькая группка матросов.

— Кронштадтцы?! — подавляя ужас и ненависть, метнулся ко мне рыжеусый корнет.

— Наши, — в спесивом спокойствии изрек лейтенант, — делегация черноморского флота.

Коренастый матросик Агеев невнятно пробормотал несколько приветственных слов «офицерам русской армии, защищающей теперь не династию, а русскую революцию».

Офицеры насмешливо переглядывались, а лейтенант безнадежно промолвил:

— Дурак.

— Слово имеет Федор Баткин! — с горделивым захлебом выкрикнул подполковник Гущин, и на эстраду вышел худой высокий матрос с небольшими черными усиками и длинной шеей, на которой бегал кадык. Сверкая впавшими глазами, он начал с того, что старый режим сознательно разделял солдата от офицеров, искусственно заставляя видеть в последнем врага. Но-де скоро спадет пелена, и все солдаты поймут, что офицер — их вернейший защитник.

— ...Мы, офицеры и матросы черноморского флота, — верещал порывисто Баткин, — объединены заветом славного лейтенанта Шмидта.

При этих словах остальные матросы, усевшиеся на эстраде, мгновенно встают, и вслед за ними с неуклюжим грохотом нерешительно и недовольно поднимаются в зале господа офицеры. Только наш лейтенант невозмутимо продолжает сидеть.

— Мы верим, — хрипит исступленно Баткин, — что все офицеры русской армии так же, как и наш незабываемый лейтенант...

— Встаньте! — убеждает корнет лейтенанта.

— ...несут в своей груди те же лозунги, о которых...

— Неудобно. Ну, что вам стоит подняться? — молит, склонясь, корнет.

Но лейтенант неподвижен.

— ...Если среди вас есть такие, что смотрят...

— Смотрите, выйдет скандал! — испуганно шепчет корнет. И тогда лейтенант выпрямляется и каменною походкой направляется вон из зала. Впрочем, он не составляет здесь исключения. Уже многие торопливо на цыпочках звякают шпорами к выходу, провожаемые завистливыми взорами остальных, устало скрючившихся над стульями, словно у всех от стояния подвело животы.

— Товарищи, — напрягается Баткин, — у нас два врага: внешний и внутренний. На внутреннем останавливаться не стоит: он с каждым днем убывает.

— Путает, сукин сын! — раздраженно бормочет полковник и тоже начинает пробираться меж стульями, чтоб уйти. — А еще адвокат! Выдали ему матросскую робу и научили этак перед солдатами накручивать, а он выдумал, дурень, нас здесь просвещать. Идиот!..

— ... В борьбе с неприкаянным внешним врагом, — надсаждается Баткин, — нам нужно сплотить все наши силы!..

Офицеры понемногу выпрямляют свои животы и начинают шутя аплодировать.

— ...Сколько в недрах нашей земли, господа, неисчерпаемых богатств! Вы, офицеры, должны сказать свое веское слово и сказать его так, чтобы в него можно было б крепко поверить: «Мы аннексий не ищем, но и великую нашу матушку Русь мы немцам не отдадим!»

Офицеры совсем распрямляются, и рукоплескания становятся гуще и звонче.

— Война никому не нужна, — опускает Баткин растерянно руки, но тут же тревожно спохватывается. — Однако воевать, господа, все же надо. Окровавленная Бельгия должна услышать голос русского офицера: «Пока я жив, ты не умрешь!»

Аплодисменты гремят уже громче.

— ... Русские офицеры должны всем своим моральным авторитетом сказать: «Кто братается, тот изменник!»

Бурные рукоплескания захлестывают весь зал.

— Передавая привет вам от Черного моря, верю, что вы, господа офицеры, грудью броситесь смело вперед и умрете за русский народ!..

В грохоте аплодисментов Гущин звонит и объявляет перерыв заседания до вечера.

— Господа, нам надо успеть до вечера всем сообща сговориться,— тревожно бегая вытаращенными глазами по сторонам, порывисто подскакивает к нам казачий подъесаул. — Гущин гнет совершенно не нужную, вредную линию. Он уже сейчас запугивает, что нас разгонят, если мы не будем принимать его резолюции о признании дурацкого контакта между Временным правительством и советом. Пускай он сам с ними и целуется. Не знаю, как вы, а мы там уже сорганизовались. — И подъесаул кивает в угол налево. — Мы за бесконтрольную сильную власть для водворения железной дисциплины и исконных русских начал.

— Разумеется! — хором отвечают мои соседи.

Я счел для себя безнадежным сейчас им мешать и вместе с другими спустился этажом ниже, в сводчатые залы столовой. Здесь было сумрачно и тесно от массы обедающих, и пришлось терпеливо ожидать своей очереди возле столика в уголке. За столиком обедало трое: двое прапорщиков и гвардейский подпоручик, увешанный адъютантскими аксельбантами.

— Не понимаю, чего бесятся здесь эти казаки,— пробунчал прапорщик, набивая полон рот хлебом. — Затевают в противовес Гущину какую-то свою группу поддержки Временного правительства, как будто бы наш офицерский исполком во главе с тем же Гущиным весь целиком не за то же.

— Гущин заигрывает с социалистами,—мрачно отрезал другой прапорщик, глотая ложку чуть-чуть подсметаненных суточных щей.

— А что такое «социалист»? — недоуменно усмехнулся первый, чуть поперхнувшись. — Я сам вот на-днях записался в партию социалистов-революционеров. А слышали сегодня Вандервельде?! Чем он плох? А затем теперешняя реконструкция Временного правительства с выдвижением Керенского и Церетели... Ведь это же идеально!.. Пора понять, милый мой, — снисходительно выговорил прапорщик,— что только этим путем мы скорей и надежней приберем к рукам солдатские массы, крутым же поворотом назад мы наверняка только свернем себе шею.

— Главное — это армия, — опять отозвался второй, — и без немедленного восстановления ее боеспособности не вернуть нам упущенных прав... Вон во вчерашних газетах и князь Львов, и Терещенко, Шингарев и Мануйлов — все министры твердят в один голос в своих интервью, что спасение от анархии только в теснейшем единении с союзниками и в немедленном восстановлении боеспособнейшей армии, закованной в наступательную дисциплину!

— Ну и что ж? — не сдавался первый прапорщик. — Социалисты не против. Возьмите Плеханова. Уж на что, кажется, твердокаменнейший социалист, а сегодня нам здесь один лейтенант с Черного моря рассказывал, как Плеханов самолично доказывал адмиралу Колчаку, что без Дарданелл и Босфора Россия погибнет. А ведь без помощи наших союзников Босфора нам не видать.

— Ну, знаете ль, союзнички, господа, не особенно-то соглашаются предоставлять нам Босфор, особливо теперь, после нашего ералаша, — с насмешливой учтивостью вмешался в разговор подпоручик, отставив опорожненную тарелку и пододвинув второе. — Правда, у них там тоже тупик. Мне приходится работать сейчас при комиссии внешних сношений, так я многое знаю. Апрельское наступление на Западном фронте, на которое они так рассчитывали, кончилось крахом и стоило им шестьдесят одну тысячу убитых, и девять тысяч убыли в плен. Во французских войсках, — подпоручик сошел к полушопоту,—начались почти такие же волнения, что и у нас. Их штаб отсрочил сейчас всякие операции, несмотря на вероятное контрнаступление немцев. Война пошла на истощение: чья кишка выдержит. В нашем немедленном наступлении они видят сейчас для себя единственное спасение. Поэтому-то сегодня они так и распинались здесь перед нами. Мало того, в Лондоне на-днях Набокову напрямки заявили, что мы не получим больше взаймы ни одного шиллинга, ни одной пушки, ни одного снаряда, если немедленно же не двинем наш фронт в наступление. Бьюкенен готовит нам этакий ультиматум от имени всех союзников, и наш главком Алексеев поистине плачет, что это — петля. Ведь без денег и без снарядов мы действительно окажемся в полной власти у нашей разнузданной солдатни.

— Ага! — хлопнул салфеткою по столу второй прапорщик. — А в развале армии виноваты именно социалисты. Вы правы, поручик: в наступлении-й для нас единственное спасенье. Ради наступления мы скрутим всю армию в бараний рог. Если оно будет успешно, патриотизм народа закрепит нашу власть. Если же оно окажется неудачным, мы поднимем бурю народного гнева против всех социалистов и большевиков и установим военную диктатуру «спасения родины».

— ... и революции,— добавил настойчиво первый прапорщик.

— Революции? — зловеще ухмыльнулся второй прапорщик и, оглядевшись, добавил: — Будьте покойны, ее мы «спасем»... Да, союзники правы, господин поручик. Только в наступлении наше общее с ними спасение.

— Это все понимают, господин прапорщик, — вздохнул подпоручик и, разломав вилкой розоватую мякоть непрожаренной котлеты, отправил кусок ее в рот. — Однако тут масса всяческих сложностей, — многозначительно продолжал он, запихивая в рот

вслед за котлетой трясущийся пучок промасленных макарон. — Разумеется, покончить со всей нашей анархией можно, только начав оздоровление с армии. Если удастся нам взнуздать эту вооруженную силищу, все остальное пустяк. А взнуздать армию нельзя без наступления. Это ясно. Наше наступление решительно остановило бы всякое опасное брожение умов черни и у французов и у англичан, и даже у немцев. Мало того: оно в корень подрезало бы у нас всякие рабочие стачки и аграрные беспорядки. Все это так. Но вот главный вопрос: сможем ли мы наступать? Генерал Петэн, объехав наш фронт, прямиком заявил в ставке, что наша армия — только фасад. Тронь его, и он рухнет. Американская миссия Рута такого же о нас мнения. И вот, если тогда все рухнет, немец попрет, а эта обнаглевшая чернь вконец восстанет на нас, что тогда нас ждет?.. Это заколдованный круг, господа. Не наступать — союзники нас удавят. Англичане определенно грозят, что в этаком случае сменят наши войска японскими и отдадут за это Японии всю нашу Сибирь. Если же наступать — нас ждет разгром. Даже в случае успешного нашего наступления мы тоже ничего не получим. Англичане — скваллыги, они цинично нам теперь заявляют, что поскольку-де мы «без аннексий и контрибуций», зачем нам Босфор? Выходит: за всю нашу кровь мы получим один только кукиш!..

— А все это ваши «социалисты»! — гневно бросил второй прапорщик первому... — Вот что наделали ваши лозунги!

— Господа, — сконфуженно оправдывался тот, сощурясь от внезапно вспыхнувшего электрического света, — кто ж принимает эти лозунги всерьез?! Ведь надо же чем-нибудь было утихомирить разбушевавшуюся стихию! Теперь, когда сам Керенский стал во главе военного министерства... Вы сами увидите, господа...

Они встали и, расплатившись, ушли, а мы заняли стол следующей очередью. Против меня уселся все тот же полковник, что восхищался генералом Гурко, а рядом сел неведомый мне подпоручик. И вдруг мне стала остро противна вся эта позолоченная, спесиво звенящая шпорами банда продажных убийц.

— Гадюки, пьющие кровь родного народа! — невольным хрипом вырвалось у меня.

— Не расстраивайтесь, поручик, — снисходительно отозвался, очевидно чтоб меня успокоить, сосед. — Вы наслушались этих... и я вижу: мы с вами единомышленники. Разрешите представиться: подпоручик Сучков. Видит бог: я тоже за Дарданеллы.

— Будьте взрослыми, господа, — с суровой вежливостью вмешался полковник. — Неполучение нами Босфора или Галиции — это было бы только вничью, распасовка... Нам грозит проигрыш, в тысячу раз худший: эти крестьянские жадные лапы, подбирающиеся к нашей земле, эти шкурные требования рабочих, при общем выходе всей армии из нашего подчинения — вот где решающий ключ

центральных позиций. И если мы немедленно же не вернем себе всей полноты нашей власти и наших прав...

— Стало быть, наступление? — спросил я, насмешливо взглянув на него.

— Разумеется, наступление! — горячо подхватил полковник, очевидно еще не поняв моего вызывающего тона. — Стихийное братание с немцами разрастается сейчас настолько пагубно и нетерпимо, что оставить армию неподвижной — это значило бы, господа, итти сознательно на ее окончательное разложение и утратить последнюю тень былой нашей власти. Вы почитайте, как хвалится паршивая большевистская «Правда», что к ней ежедневно притекают пожертвования от солдатни, причем жертвуют уже не только деньги, но даже фронтовые медали и боевые георгиевские кресты. Дальше катиться некуда. Необходимо спешное наступление. Наш новый главковерх генерал Брусилов срочно сейчас приказал создать для этого при каждой дивизии, корпусе, армии и фронте особые части с отборным командным составом и тщательно подобранными людьми. Эти до зубов вооруженные ударные части стиснут всю армию переплетом частых и крепких стальных обручей. Эти созданные на предмет наступления части «долга перед свободной Россией» имеют задачу не только подпереть колеблющийся фронт пулеметами в спину... Войну-то мы все равно уже не выиграем. Так или иначе, мир наступит. А вот тогда, когда с последним выстрелом на фронте все, что теперь еще удается нам удержать в окопах, ринется тогда в тыл, и притом с оружием в руках... О, тогда... эти ударные части... К этому надо быть нам готовыми, господа, так же, как к неизбежно надвигающейся гражданской войне. Без оружия стихию не утихомиришь. И если Керенский в этом нас сейчас не поддержит...

— Патриотический план! — прошипел язвительно я с нескрываемой злобой и, повернувшись к солдату, принесшему щи, заявил, что обедать не буду: — От этих «культурных» бесед кусок поперек встанет в горле!

— Похоже на то, подпоручик, что вы большевик! — зловеще прищурясь, пробормотал подпоручик Сучков, в то время как полковник, разом смолкнув, уставился на меня с возрастающим изумлением.

— Думайте, что вам угодно, — с раздражением встал я из-за стола, — только в заговорах против народа я не участник.

«Пересоциалистился», — ехидно пустил мне вдогонку полковник, но мне было все безразлично. Гнет бессилия и тяжкой заботы перед сворою этих организованных хищников грузно навалился мне на сердце. Но это было только мгновение. Опять встали передо мной, как живые, солдатские массы Мартышкина и Ораниенбаума... Буйный Кронштадт... Военка и светлый, брызжущий бодростью облик Владимира Ильича.

Я взошел в верхний зал и, взяв стул, сел поодаль возле окна. Люстры сияли электричеством, за окном грустно гас рыжий закат. Под звон колокольчика, раздававшийся на лестнице и в вестибюле, зал вновь наполнялся сверкающей мишурною толпой господ офицеров. Я твердо решил не выступать. «Какой уж там «пацифизм»! — подумал я о них с омерзением. — Ради подачки любого банкира они рады родную мать в клочки разорвать».

— Господа, — длительно позвонив, начал Гущин с эстрады, — нам сейчас предстоит сконструировать президиум нашего съезда... впрочем, — запнулся он, наклонив свое ухо к подбежавшему прапорщику Окренту, — впрочем, сейчас сюда прибыли к нам высокочтимые гости: министр финансов Шингарев и Милюков. Я предлагаю...

Но уже весь зал, с треском двигая стульями и щелкая о них шашками, шумно поднялся и обрушился продолжительнейшими рукоплесканиями, пока оба гостя не взошли на эстраду и Милюков не сел на один из десятка угодливо предложенных стульев.

Шингарев, невысокий и коренастый, уверенно заложил руку в карман брюк под сюртук и поблагодарил за приветствие. Упрямо, словно капризный бычок, подергивая квадратной от ровного черного ершика головой, он стал говорить о тяжелой године, о разрушительной силе революции, захватывающей иногда и то, что «нужно еще сохранить». Он призывал господ офицеров к терпению, обещая им новый период восстановления того, что напрасно подверглось разрушению.

После восторженных рукоплесканий слово получил Милюков. Этот незадачливый экс-министр выступил с приветствием от кадетской партии заводчиков и помещиков, переименованной им для уловления простаков в партию «Народной свободы». Серебрясь зачесанным хохолочком и пушистой щетиной кошачьих усов, он с места в карьер заговорил о неотложной необходимости создания в стране могучей и сильной власти.

— Для решения величайшей важности внутренних задач нужна власть, сильная волей более, чем когда-либо!.. — весь ощетинился Милюков, зловеще сверкая стеклышками пенсне.

— Диктатура! — обрадованно выкрикнул кто-то с места, и выкрик этот вмиг потонул в воинственных рукоплесканиях зала.

— Партия «Народной свободы», — продолжал Милюков, мускульно содрогаясь в своем мышиного цвета костюме, — послала своих представителей во Временное правительство, дав им мандат: всемерно укрепить всеобщую веру в силу и значение великой доблестной русской армии, которая за последнее время под дурным влиянием извне как будто бы поколеблена...

Новый грохот офицерских ладоней.

— ... В этот решительный момент, когда все подводится к учету,—тряс кулаком Милюков, и от этого беспомощно прыгала на руке его круглая профессорская манжета, — наши союзники явились вооруженными до зубов... Нынче мы видим, как наши союзники шаг за шагом гонят на Западе наших врагов...

«Что за наглая ложь!» — содрогнулся я, вспомнив слышанные нынче в столовой точные сведения о Западном фронте.

— ... Если и в старое время... мы вкладывали свою посильную долю в мировую борьбу за прочный и вечный мир... — не унимался профессор.

— «Вечный» мир! — прошептал я с насмешкой. — «Вечный» мир среди этих волков.

— ... с восторгом мы встретили призыв нового военного министра к армиям о необходимости поддержать железную дисциплину. — На слове «железную» Милюков заскрежетал, а восхищенные офицеры повскакали с мест с криками «браво» и неистово зарукоплескали.

— Возможно, что вопрос о пересмотре наших соглашений с союзниками, — насупился Милюков, — станет задачей ближайшего времени... Но при пересмотре договоров... Россия не может сделаться жертвой... отрицательных сторон революции...

— Верно! Правильно! — закричали вокруг.

— ...Россия не может допустить, — вскинулся Милюков в напряжении, — чтобы ее жизненные интересы были ослаблены... Русский народ в единении со своей армией исполнит свой долг до конца!..

От грохнувших аплодисментов дребезжали оконные стекла, а рыженький штабс-капитан, ближайший наперсник подполковника Гущина, адвокат Вржосек, уже перечислял на эстраде заслуги профессора Милюкова как великого ученого в области исторической науки.

— Я приветствую Павла Николаевича Милюкова, — подобострастно верещал он, — как стойкого борца за свободу. Я вспоминаю, как вместе с ним пришлось мне сидеть в доме предварительного заключения за то, что мы смели желать того момента, который мы нынче переживаем...

Милюков с Шингаревым раскланиваются и покидают эстраду. Все офицеры встают и не жалеют ладоней, провожая гостей восхищенными взглядами. Дав успокоиться, подполковник Гущин звонит, предлагая перенести заседание на завтра, но вот штабс-капитан Вржосек снова озабоченно шепчет ему что-то на ухо, и Гущин, приосанившись, объявляет, что заседание необходимо продолжить, так как скоро подъедет сам Керенский, задержавшийся сейчас у Бьюкенена.

Поднявшиеся было уходить господа офицеры снова рассаживаются, и вяло продолжается выбор президиума. Кандидатуры

уже согласованы в кулуарах, и предложенный список проходит почти без трений. Лишь воинствующий подъесаул настойчиво выкрикивает с места еще несколько фамилий.

— Ну и арап же этот Гущин! — завистливо восхищается рыжеусый корнет, проходя мимо и обращаясь ко мне. — Вот уже поистине: никогда не вылетит из седла, как бы ни брыкалась под ним злая судьба.

Однако разговоры не клеятся, офицерские лица блекнут, сереют и брюзгнут от утомления, и только глаза с натянутым нетерпением впиваются в дверь. С враждебной настороженностью и насмешливым любопытством ждут офицеры министра.

И только в начале двенадцатого часа со стремительным шумом появляется Керенский. Подскочив на эстраду, он мгновенно становится в уже заученную им спесивую позу: одна рука за борт френча, другая назад. Голени в тугих начищенных крагах. Правая нога слегка выставлена вперед. Он стоит со светящимся пухленьким ершиком, этот дрябленький Наполеончик, снисходительно пережидая любопытствующий град офицерских рукоплесканий. И кажется, будто ярче сияют потолочные костры электрических люстр и сверкающе искрятся орлистые пуговицы господ офицеров. Застыв в суровой вежливости, Гущин следит за ним вероломно-преданными кошачьими глазами. Он делает угодливый жест, и зал умолкает.

— В вашем лице я приветствую русскую армию! — начинает Керенский. — Я взял на себя тяжелую и в то же время высокую честь стать во главе вооруженных сил государства. Мне необходима вся ваша поддержка, господа, чтобы вести эти силы...

Взметнувшийся вихрь рукоплесканий заглушает остальные слова.

— ... Я никогда не носил военного мундира, — вздыхает он сокрушенно и переставляет ногу, — но я привык к железной дисциплине!..

Новый грохот аплодисментов.

— Прочь уныние, маловерие и разочарованность! — выкрикивает Керенский, топнув ногой. — Я буду требовать всей силою власти революционного народа подчинения всех дисциплине и правде!..

Офицерские ладони самоотверженно взапуски щелкаются друг о дружку.

— Это сделает армию, — продолжает Керенский, — могучей моральною силой, перед которой преклонятся все...

Аплодисменты немного слабеют.

— ... и могучей физической силой, — пыжится Керенский изо всех сил, — которой все испугаются!

Оглушительный взрыв офицерских аплодисментов награждает его должным триумфом.

Подполковник Гущин, насупясь, встает и молча выходит вперед, становясь боком к Керенскому. Скулы его выпирают, будто им тесно внутри.

— Мы счастливы видеть и слышать гражданина военного и морского министра Александра Федоровича Керенского, — говорит он сурово и веско, и по тону его не поймешь, к чему он так говорит. — Он нас позвал, — повышает Гущин свой голос, — и мы ... — тут он останавливается и зловеще шипит: — не пойдем.

Весь зал цепенеет, а рука Керенского совершенно растерянно соскальзывает из-за борта френча.

— И мы не пойдем, — гремит Гущин, — а бросимся, — и он грохает в пол каблуком, — вперед!

Бешеный треск офицерских ладоней награждает его за этот рискованный и тонко рассчитанный трюк.

— Военный министр нам сказал, что он пришел из чужой нам среды. Но это не так, — переводит Гущин дыхание, и его широко раздутые ноздри готовы вывернуться внутренней стороною, заросшей щетиной и закопченною дымом. — Военный министр — наш избранник! — ревет Гущин. — Он — наш!.. и мы... все, как один человек, скажем: пусть он возьмет нашу волю и направит ее туда...

Неистовый гром аплодисментов на мгновение покрывает его речь, и Гущин останавливается.

— ... туда, — выкрикнул он наконец, хрустнув челюстями на своем скуластом лице, — куда требует благо России!..

Керенский топчется с ноги на ногу. Его глазки растерянно бегают. Он растроган. Он сигнально машет рукой и поспешно становится в прежнюю гордую позу. Он старается как можно шире, в подражание Гущину, раздувать свои ноздри.

— Я сделаю все, что смогу, — покорно шипит он. — Я поеду на фронт, — задирает он вдруг голову в пронзительном плачущем крике, — и скажу истекающим кровью нашим братьям: «Мы все за вами, и, когда вы будете изнемогать, мы пойдем на ваши места и умрем за счастье народа».

Керенский вдруг театрально-беспомощно никнет, утопая в грохнувшем шторме бурных аплодисментов. Офицеры срываются с мест и окружают его опьяненной восторгом толпой.

— Который уж раз умереть обещает, каналья! — добродушно смеется рыжеусый корнет, пробегая вперед вместе с полковником и не жалея ладошей. — Наверняка, значит, трус.

Гущин провозглашает его почетным председателем съезда. Офицеры в восторге кричат. Иные вскакивают с ногами на стулья и от радости машут руками. Героя с триумфом стремительно сажают на стул и с исступленным ревом огромной толпой на руках выносят из зала. Я отчетливо вижу, что больше всех суетится деловитый

полковник, рыцарь казарменной муштры из штаба монархиста генерала Гурко.

Молча встаю, чтоб уйти. Офицерский блестящий спектакль на тему о классовой дисциплине окончен.

10. ПЕРЕЛОМ

Не прошло и двух дней, как моя мирная пропаганда среди мартышкинских солдат была снова нарушена телефонным звонком из Ораниенбаума. На сегодня назначался гарнизонный митинг на ответственнейшую тему о войне. Воспоминание о провале на последнем моем ораниенбаумском выступлении вновь наполнило сердце тревогой, и я тотчас же позвонил в Кронштадт Рошалю. Тот пообещал непременно приехать, захватив с собою Кирилла и еще коекого из ребят. Однако мне показалось, что тема настолько важна и ответственна, что одних кронштадтцев для этого, пожалуй, будет недостаточно, и потому я поехал за помощью в Питер, в военку.

На вокзальной площади, перед булочной с раззолоченным жирным кренделем, точно так же, как и накануне февральского переворота, устало змеилась вдоль облупленных стен серых домов длинная черная очередь злых обывательниц и хмурых рабочих. Только тогда был и снег и пурга, и люди кутались от мороза, а теперь горячее майское солнце щедро припекало их понурые от голода плечи.

В вагоне трамвая та же злобная давка и перебранка отощавших людей, обреченных каждодневно питаться восьмикопеечным хлебным пайком в три четверти фунта на человека.

— Гибнет матушка наша Россия, — скрипит за спиной у меня какой-то старик.

— Стой вот теперь за куском хлеба с полуночи до полудня, — прошамкала в тон ему старуха, тряхнув тощей сумкой.

— Трамваев день ото дню меньше, — вставила рыхлая женщина в чепце.

— Батюшку нашего Лександру Иваныча Гучкова из военных министров уволили, — снова тягуче проскрипел старик.

— Куда уж дальше итти! — злобно фыркнула дамочка, глядясь в зеркальце своего ридикюля. — По улицам шастают всамделишные анархисты, а на Охте, рассказывают, коммунистскую монархию объявили.

— К Елагину острову, сказывают, немцы в десант собираются, — зловеще обронил котелок.

— А в Парголове вон, намедни в очереди я слыхала, — оживилась толстуха в чепце, — одна женщина сразу троих родила!

— Тьфу! прости господи, — брезгливо сплюнула старуха. — И все, поди, ленинцы?!

Кто-то фыркнул, но на него зло посмотрели.

— Гибнет матушка наша Россия, — вновь заскрипел неспокойный старик.

— Авось не погибла б, ежели заместо водички «куваки» генерала Воейкова к нам в столицу хлеб бы подвозили, — вставила небритая личность.

— «Подвозили», «подвозили», — сердито передразнил его неугомонный старик.— А дороги-то через кого не работают?! Кто развел теперь эти самые забастовки?!

— Ироды проклятые! — с бешенством прошипела на небритую личность кубышка в чепце.

Вагон медленно полз, скрежеща на поворотах, и повсюду на улицах, словно выползшие из подвалов удавы, лениво извивались длинные голодные хвосты.

Когда я приехал в военку, мне показалось, что гомон и сутолока здесь еще более увеличились за это время. Во всяком случае, мне с огромным трудом удалось изловить Подвойского. Он внимательно меня выслушал и твердо пообещал прислать мне сегодня на помощь прапорщика Адама Семашко из первого пулеметного полка. При этом он порекомендовал прихватить с собою солдата того же полка, хорошо известного мне по военке, товарища Ильинского, который-де сейчас послан им на крестьянский съезд раздавать депутатам листовки с отпечатанным к съезду письмом товарища Ленина. И Подвойский тут же нагрузил меня солидным тюком этих листовок и погнал к народному дому, не забыв попрекнуть, что я саботирую возложенную на меня партией работу по этому съезду.

Кряхтя, приволок я свой тюк в вестибюль народного дома и тут же направился в канцелярию съезда, чтоб получить следуемый мне депутатский мандат. Все тот же солдат с веснушками во весь нос и с тем же порыжевшим от пота грязным воротничком спесиво передвинул язычком в угол губ тлеющую папиросу и, лукаво ухмыльнувшись, вернул мне обратно наши мандаты, выданные военкой мне и Смилге.

— Президиу́м съезда,— пробасил он с ударением на «у»,— отказал вам обоим в депутатских билетах. Большевистская военная организация никакого отношения к крестьянам не имеет.

— Это солдатская-то наша организация не имеет отношения к крестьянам?! — вспылил я. — Да ведь три четверти вашего съезда — солдаты!

Веснущатый щеголь в грязном крахмальном воротничке, вынув изо рта папиросу, нагло выдохнул дым мне в лицо и с тою же торжествующею усмешкой степенно изрек:

— Таково окончательное решение президиу́ма.

Спорить было бесполезно, и я принял обратно наши мандаты. На уголках их, возле штампов, я заметил косые надписи карандашом: «Ленинцы». Так вот почему этот эсеровский «президиум»,

состоящий из Чернова, Бунакова и Авксентьева, испугался впустить нас на свой ревниво охраняемый крестьянствующий съезд.

Пользуясь прежней записочкой Дербера, мне удалось пройти вместе со своим тюком непосредственно в кулуары, где возле одного из киосков я отыскал тощего и худенького солдата Ильинского. Вместе с двумя другими товарищами из нашей военки он усердно раздавал делегатам листовки с письмом товарища Ленина. Он и удивился и обрадовался, увидев меня, приволокшего новый тюк, — прежний запас листовок был на исходе. Темные впалые глазки Ильинского загорелись воодушевлением, и с чахоточной хрипотцой он похвастался достигнутыми здесь успехами. Однако с такой же товарищеской готовностью он принял мое предложение поехать на ораниенбаумский митинг.

За компанию мы прихватили с собою одного из депутатов крестьянского съезда, серого, сумрачного фронтовика, солдата Захарова. Привез Захаров с собой из траншей в Петроград жирный выводок вшей, обдрипанную в битвах шинель и черноземный запах окопов. Это свежее густое дыхание развороченной окопами земли налило до краев его крестьянское сердце гнетущей тоскою. Оно стиснуло в один нервный комок все его помыслы, желания и чувства и крепко их приковало к помятому листочку бумаги, носившему торжественное наименование наказа крестьянскому съезду от общего собрания 330-го Златоустовского полка. Эту бумагу со всеми ее заглавными буквами Захаров давно уже знал наизусть, но неизменно считал своим обязательным долгом вынимать ее всякий раз, когда заходил разговор о войне. И сейчас вот, трясясь вместе с нами в дачном вагоне, он сосредоточенно водил по замусоленным строкам заскорузлым ногтем, изливая нам горечь страданий оставшихся на фронте своих товарищей, пославших его сюда.

Как мы ни спешили, но к началу митинга слегка запоздали. Манеж уже был битком переполнен. С напряженным вниманием все слушали выступавших ораторов. Пробравшись на сцену, мы встретили между пыльных кулис всю нашу, сбившуюся в уголок, большевистскую братию. Сонно грустил Батманов. Пытливо за всем наблюдал скромный Племянников. Возле них находился и писарь Науменко. Они приветливо слушали шопоток кронштадтца Кирилла, который приехал вместе с Рошалем. Мое отсутствие вызывало, должно быть, у них уже некоторое беспокойство, почему появление наше вмиг наполнило их ребячьим задором. Легкомысленная самоуверенность на мгновение заставила и меня беспечно заулыбаться. Но надменно-уверенные и насмешливые взгляды здешней спевшейся кучки меньшевистских и эсеровских заправил отрезвили меня и настроили строго и ответственно. Загоралась ожесточенная борьба за влияние над массами.

Председательствовал прапорщик Судаков, как всегда гладко выбритый и небрежно спокойный. За столом, рядом с ним, как забавная обезьянка, бойко хлопал тусклыми глазками седенький старичок с пышным венчиком белого пуха вокруг лысой макушки и с пожелтевшей от табака бородой. Друзья мне шепнули, что это сам Лев Дейч, ближайший друг и сподвижник Плеханова. Он только что выступал здесь с огнедышащей речью о патриотизме и наступлении, и после этого был избран почетным председателем митинга.

У рампы бубнил свою меньшевистскую речь ораниенбаумский комендант, прапорщик Громыко. Деревянным, надтреснутым голосом он доказывал необходимость полной поддержки нового Временного правительства. Слова его были сухи и плоски, как щепки, и, скучающе слушая их, зал пощелкивал семечки.

Из нашей братвы пока никто еще не выступал, и надо было сейчас обдуманно произвести такую расстановку наших сил, чтобы непременно добиться сегодня решающего перелома на нашу большевистскую сторону. Я осмотрелся и, мысленно взвесив каждого из сотоварищей, прикинул примерный план наших выступлений. Когда я поделился своими соображениями с товарищами, они со мной согласились.

Поскулив о «губительном недоверии, срывающем победные планы Керенского», Громыко все тем же сухим, дровокольческим голосом, словно сторож, что нудно колотит темною ночью в трещотку, принялся монотонно отстукивать деревянные фразы о «верности немцев-рабочих Вильгельму», о том, что «кайзер займет полстраны и Москву с Петроградом, чтоб задушить революцию и посадить на престол Николая» и что «в этом во-всю ему помогают пораженцы-большевики». Мы даже не переглянулись: это было уже привычным выпадом против нас. Мы молча приняли вызов, и кронштадтец Кирилл первым взял слово.

Подскочив бойко к рампе, он куражливо вздернул свою петушью голову в замызганной старой шляпенке и восторженным голоском не прокричал, а скорее прокукарекал привет доблестным ораниенбаумцам от красного несокрушимого Кронштадта. Кое-кто из солдат зарукоплескал было, но настойчивое шиканье главарей-офицеров заглушило эти хлопки. Кирилл, не смущаясь, горделиво поправил пенсне и, откинув за спину полы полудраного своего дождевичка, принялся горячо возражать Громыке, что сеять панику о приходе в Питер Вильгельма — старый прием: еще Гучков в дни Февраля клеил по столице воззвания о том же, надеясь испугом прибрать революцию к своим монархистским рукам. Постепенно разойдясь, Кирилл тряс куцей своей бороденкой, едко разоблачая предательство социалистов, а в ответ на поднявшийся свист, гоготанье и шум вызывающе кончил:

— Я напомню вам, господа, такие слова: «Ваши призывы к разгрому милитаризма чужой страны, а не своей, и притом к разгрому своею вооруженной рукой, — есть надежнейший способ насаждения империализма и варварства в своей собственной родине». Так-то!

— Ленинские выкрутасы! Слыхивали! Будет! Хватит! Довольно! — улюлюкал в ответ ему дружный хор, умело рассаженный в зале.

— Вовсе не Ленин сказал эти слова! — подскочил Кирилл петушливо. — Две недели назад на совещаньи Государственной думы эти слова сболтнул ваш же излюбленный вождь, ставший ныне министром. Сам синьор Церетели!

Свист, хлопанье и крики одобрения взбаламутили зал. Судаков с острой тревогой бросил свой повелительный взгляд в провал обветшалых кулис, где оживленно гудела плотная куча здешних эсеровских и меньшевистских верховодов, и тотчас оттуда, распрямляя свой и без того статный рост, вышел прапорщик Макроянн. Степенно погладив опрокинутый куполок черной бородки, он начал речь отмежеванием и от «плехановца Громыко» и от «анархиствующих большевиков», дабы предстать перед собранием в качестве «революционного столпа правоверного центра». Снисходительно поморщась, пробурчал он что-то вполголоса о «чудовищном истреблении народов в этой безумной войне», и тут же уверенно заявил, что нет другого спасения, как созываемая в Стокгольме конференция социалистов всех воюющих стран.

— Сговор изменников! — гортанно гаркнул Рошаль и попросил у Судакова себе слова.

— Хе, «изменников»! — усмехнулся Макроянн спесиво, твердо уверенный в своей победе. — Однако и ваш Петербургский комитет большевиков всего лишь месяца два тому назад предлагал обратиться к пролетариату воюющих стран как раз через их социалистические партии. С каких же тогда это пор, — ядовито сощурился Макроянн, круто обернувшись в нашу сторону, — социалисты вдруг превратились у вас в изменников?!

Расплескавшийся грохот хлопков всего зала еще больше прибавил оратору и уверенности и задора.

— Ошибка была! — взволнованно выкрикнул я, покраснев и не сдержавшись, и мучительно съежился от сознания, как действительно много вреда приносят сейчас нам все эти былые ошибки первых шагов нашего большевистского роста.

— «Ошибочка»! — язвительно передразнил Макроянн. — А почему вы так уверены, что сейчас вы не делаете худшей ошибки! — и новый взрыв рукоплесканий пробежал по моей спине ознобом.

И тут я увидел на другой стороне сцены, среди кулис уставившегося на меня с издевательством и презрением бывшего начальника

нашей команды, поручика Казакова. Он стоял, чуть сутулясь, широко расставив короткие ноги, и, заложив руки в карманы, не сводил с меня пьяных насмешливых и злобных глаз. Слыхал я в команде, что он после революции совсем опустился, попал под суд за растрату солдатских денег, кое-как выкрутился и теперь, числясь в запасе, спился вконец, бил нещадно жену, а попутно и стекла в квартире и, возя по земле помочами, выходил в сползающих книзу штанах на шоссе и грозил кулаком пролетающим мимо автомобилям. Он стоял, аккуратно застегнутый, притащившись сюда из Мартышкина, должно быть, нарочно, чтобы позлорадствовать над ненавистной ему, сгубившей его революцией. И сейчас жадной судорогой пьяных, заросших щетиною щек он сочувственно подтверждал не понятный ему, но сердечно созвучный говорок меньшевика Макрояни.

А Макрояни упрямо, как дятел, долбил и долбил по нашим самым больным и слабым местам.

— А вот ваш большевик, товарищ Авилов, — напоминал Макрояни, — не писал ли он о недопустимости мира с Германией и о защите нашего фронта от наступления немцев?

Мы подавленно промолчали. Стыдливая досада съедала нас всех.

— И недаром, — продолжал Макрояни, — такая испытанная интернационалистка, социал-демократка, как товарищ Аксельрод-Ортодокс, горячо приветствует последнее воззвание к армии от Петроградского совета касательно обороны. Человеколюбие наше лишь тогда претворится в дело, когда будет поддержано вооруженной силой. И наш товарищ Дан, — заносчиво щурится Макрояни, — замечательно верно вчера заявил на нашей партийной конференции: «Пока международный пролетариат еще не добился прекращения войны, надо всемерно содействовать боевой мощи нашей армии!»

Я вспоминаю кургузого востроносого Дана с пухленьким животом на тонких коротеньких ножках, вспоминаю расцвеченный пыл его испуганных патриотических заклинаний и горячие дни апрельских всклокоченных улиц и не могу удержаться от невольной усмешки.

— Не только к миру, но и к социалистической революции нельзя приступать сепаратно, — гремит Макрояни, и по настороженному вниманию тысяч я чувствую, как теснит нас в солдатском сознании этот хитрый и уверенный враг.

— Они скажут, пожалуй, — искоса кивает Макрояни на нас, — что-де мы социал-соглашатели, что, дескать, все мы предатели дела крестьян и рабочих и что для спасения революции нужен-де с нами раскол. И тут я отвечу им тоже прямо, — грозно выкрикивает оратор, — словами недавно вернувшегося из изгнания, заслуженного вождя революции, товарища Троцкого: «Не достигнем мы

мира, не воссоздав распавшийся по недоразумению Второй социалистический интернационал». Троцкий самый умный средь них, и он прав, когда их убеждает, что «раскол среди социалистов будет гибелью рабочего класса. Резать по живому телу пролетариата нельзя!»

Второй уж раз я слышу об этом приехавшем Троцком. Сначала мне усердно расхваливал его здесь числящийся в большевиках местный солдат, инженер Филиппович, тот Филиппович, которого в этот ответственный час митингового боя почему-то не видно в наших рядах. Я тщетно оглядываюсь по сторонам, в надежде его увидать. Вместо этого я примечаю, как через толщу застрявших среди кулис меньшевистских и эсеровских заправил пробивается к нам, раскрасневшись, круглолицый востроносенький прапорщик-пулеметчик Адам Семашко. А не пустить ли нам его вот сейчас вслед за Макрояни? Но слово настойчиво себе вырывает у Судакова наш кронштадтский трибун Рошаль. Так стригунок жеребенок, задохнувшись от затхлости прелого сена, летит вдруг стремглав на упругих, как струны, ногах на вольный простор свежего, сочного луга, и пена мятежного своеволия выступает на его жадно впивающих весну губах.

— А почему б не начать нам и первыми?! — гортанит он вызывающе звонко. — Да, я это о революции, о социалистической, о мировой!

И сразу весь зал настораживается с недоверчивым, но пламенным интересом. Молодец наш Рошаль!

— Мы не дозрели?! — разгибает он худое, тщедушное тело.— Но ведь мы только частичка огромного мира, а мир в целом-то уже перезрел! Или империалистический грабеж — это выдумка? А разве эта мировая война не одна из предсмертных судорог империализма? Почему же нам не поджечь революционным братанием на фронте пожар всемирного мятежа, в котором дотла бы сгорела мусорная куча капитализма? И уж тогда-то Вильгельм наверняка не удержится там на троне!

Уверенные солдатские рукоплескания внезапно заливают протестующее шиканье и шум остальных, и это подстегивает Рошаля как звук боевого рожка.

— Кем он держится, этот Вильгельм? Почему он до сих пор не слетает? — выразительным взмахом длинной руки помогает речи Рошаль и, повернувшись лицом направо к кулисам, он взволнованно слизывает набежавшие на губу слюнки. — Это вы, созывающие друг друга на стокгольмский базар для переторжек, вы, именующие себя социалистическим братством и творящие гнусное дело международных убийств, это вы помогаете всем царям-королям, всем Вильгельмам, всем банкирам прогнившего хищного мира — потуже выкручивать из тружеников всей земли их последние соки и кровь!

Это вы хвастаетесь мнимым интернационализмом ваших Троцких, Данов и Аксельродов и размахиваете здесь балаганною мишурой с прицепленным к ней обманчивым лозунгом: «Мир без захватов и дани». Кого вы хотите надуть? Кто вам поверит? Разве не видят они? — и тут Рошаль простирает руку на застывший вниманием зал. — Разве не видят они, кого вы поддерживали здесь у себя и кого вы поддерживаете?!

— Кого же? Кого? — с задором и ненавистью выкрикивают эсеры и меньшевики из-за кулис.

— Милюковцев! — кидает Рошаль гневно. — Вы стоите горой за буржуазную клику из Терещенки, Керенского и своры черносотенных генералов!

— Безобразие! Ложь! Вы клевещете на социалистов! — вырываются с разных сторон негодующие, бранчливые выкрики.

Старикашка Дейч взволнованно ерзает, а Судаков настойчиво-злобно звонит и призывает оратора к порядку. Но Рошаля не так-то легко укротить. Он сплевывает под ногу, спокойненько растирает и с прежнею убежденностью и молодецким задором продолжает свою боевую речь. Срывая социалистические маски с соглашательских партий, он издевается над их стокгольмской затеей, заранее предсказывая ее полный провал и разъясняя, что национальное раскрепощение народов невозможно без свержения власти капиталистов и их социал-прихлебателей.

— Только в социалистической революции лежит единственное спасение для всех трудящихся, хотя многие из них, — горько усмехается Рошаль, — еще верят, по своей наивности, что Керенский их спаситель, а мы — агенты кайзера Вильгельма. Вы кричите, — перевел дух Рошаль, — что ваш Керенский за мир без аннексий и контрибуций?! Откуда вы это видите? Из его деклараций?! А разве эти же декларации не подписывал вместе с ним буржуазный вождь Милюков?! А теперь Милюков на съезде кадетов нагло сознался, что дело не в этих отчаянно мирных бумажках, а важно, чтоб армия фактически перешла в наступление. Остальное-де все приложится. И разве Керенский не хлопочет теперь о наступлении?! Чего же стоит вся ваша кисельная болтовня о мире?!. Милюков отлично понимает, для какой победы нужна ему эта война. Еще в прошлом году говорил он в Государственной думе, что если путь к победе на фронте лежит через революцию, то не надо ему этой победы. И сейчас, вы это поймите, братья солдаты, — задушевно протягивает к залу руки свои Рошаль, — что победа на фронте нужна мракобесам, чтоб отбросить назад революцию здесь! И вы, — тут он грозно тычет пальцем в прогалы кулис и в президиум, — вы вместе с Керенским несознательно сейчас помогаете всем черносотенцам! Почитайте, — продолжает Рошаль под истошный поднявшийся грохот и вой, — почитайте опубликованную сегодня речь быв-

шего главковерха, генерала Алексеева, произнесенную им намедни в ставке к офицерам. Как призывал он их там подтянуть на дыбы дисциплину среди вас, товарищи солдаты! Как взывал он о восстановлении в стране крепкой власти, которая бы спасла помещичьи земли и сундуки капиталистов от вас, от вас, дорогие товарищи! И вот посмотрите, — язвительно обводит рукою Рошаль бушующие холсты кулис, — господа офицеры понабились здесь густо, словно клопы, и ждут не дождутся швырнуть вас в жерло войны. Не верьте, товарищи, вы офицерам! Они вас всегда подведут!

Гневный гам прерывает его крепкое слово, и солдатские рукоплескания тонут в раскаленном шипенье и реве вылезшего из-за кулис офицерья. Оно готово кинуться на Рошаля, который спокойно возвращается в наш воспрянувший духом лагерь. И все мы заняты мыслью, как бы прочней закрепить нашу победу, и заставляем прапорщика Семашку спешить к Судакову, чтобы сейчас же взять слово и нам и себе. Но Судаков, нервно кусая непослушные губы, тонко делает свое дело: записав нас в очередь, он выпускает в контратаку на нас подпоручика Пигаревича.

Подтянув на нечищенном кителе ременной кушак, съехавший было совсем под живот, Пигаревич побагровел, яростно раздуваясь, словно детский резиновой шар, и даже прыщи на шее его посинели.

— Слыхали? Рошаль, приплывший сюда из Кронштадта, зовет нас брататься с Вильгельмом! — гаркнул он, сплющив низенький лоб свой настолько, что щетина его черных волос почти сошлась с бровями. — От такого субъекта, как Рошаль, можно всего, господа, ожидать. Потому что он не большевик, а самозванец! Я столкнулся с его наглыми выходками еще там, в Кронштадте, где он выдает себя за посланного большевистским ЦК. И вот мы с одним нашим товарищем... — тут Пигаревич исподлобья обвел тусклым взглядом кулисы, словно кого-то искал, но, очевидно, не найдя кого нужно, шмыгнул носом и продолжал: — нарочно поехали в их ЦК, и сам их Подвойский нам заявил там, что Рошаля партия в Кронштадт не посылала.

— Ложь! — выкрикивает Кирилл.

— Что же выходит? — не унимается Пигаревич, не обращая внимания на наши выкрики. — Темная личность — этот Рошаль ваш, и во всяком случае — самозванец! А вот вы теперь его слушаете, тогда как сам же Подвойский обещал нам Рошаля отозвать из Кронштадта.

— Кому это «вам»? — кричим мы с Ильинским.

Пигаревич медленно переводит на нас свинцовый презрительный взгляд и усмешливо произносит:

— Это было сказано мне и вашему же большевику, но только... настоящему, старому честному большевику, — подчеркивает он, — нашему сотоварищу Филипповичу.

«Вот оно что...» — отмечаю я в своей памяти, а Пигаревич, закусив удила, мчит уже дальше:

— С прапорщиком Макрояни я, товарищи, расхожусь. Что это еще за сговор в Стокгольме? И против кого? Все подобное миротворчество — кисельная болтовня на большевистских дрождях. Я скорее соглашусь с настоящим большевистским вождем, Зиновьевым. При начале войны он писал, что если русский царизм будет разгромлен, то франко-русский союз — в его прежнем реакционно-шовинистическом виде — исчезнет. Союз Франции и России уступит место союзу французской и русской демократии. Не кажется ли вам теперь, господа большевики, что это время уже наступило?!.

Под задорные, дразнящие нас аплодисменты я вижу повеселевшие рожи наших врагов, с насмешкой повылезших теперь из-за кулис. Они с злорадством смакуют эту несусветную чушь, которую писал когда-то Зиновьев. Но ведь большевизм не рождается сразу готовым. В своей колыбели он должен был перепачкать не мало пеленок. И в эту грозную пору нам еще долго будут тыкать ими в лицо.

— Да, мы социал-патриоты! Но разве сам Маркс и сам Энгельс не становились во время войны на сторону того или иного государства, и в частности своего?! — чванно рычит Пигаревич. — Мы воюем за правое дело, и поэтому нечего нам стыдиться и наших союзников. Они достаточно демократы, чтоб приветствовать наш отказ от аннексий и контрибуций, хотя это очень большой и очень спорный вопрос, что подразумевать под этими определениями. И правы французские социалисты, которые телеграфировали Чхеидзе, что если мы дадим волю нашим демагогам и пораженцам, — и Пигаревич, брызжа и клокоча, тычет всей пятерней в нашу сторону, — и если оставим союзников на произвол военной судьбы, то они бросят на нас японцев в Сибири, а сами заключат мир с Вильгельмом, отдав ему пол-России с Москвой, Петроградом, Финляндией и Одессой!..

Он неистов в своих зловещих выкриках и хрипеньи, этот багровый, раздувшийся Пигаревич, и кажется, будто это не подпоручик корчится среди сцены, выпучив свои рачьи глаза, а шипит и пузырится чей-то отвратительный кровавый плевок.

Молоденький прапорщик Адам Семашко робко бледнеет, серые глаза его еще больше тускнеют, а щеки покрываются розовыми пятнами, когда он, не переждав сорванной Пигаревичем бури аплодисментов, скрипя и задыхаясь, начинает свою тягучую речь. Блудливо озираясь, он рассказывает про обманную сущность всей этой болтовни о миролюбии и демократии союзников. Он приводит разъяснение Асквита в английском парламенте, что нельзя-де подводить под аннексию освобождение народов, или объединение их, или использование их территории для стратегических целей. А разве, дескать, освобождение и объединение Англией малых народов — не означало и не означает для них беспросветнейшей кабалы?!. — В голосе у

Семашки много непреклонной и смелой враждебности ко всему, что он сейчас разоблачает, но вместе с этим, — и, должно быть, не один я это чувствую,—дребезжит в нем какой-то писклявый, вороватенький холодок, только откуда он, — нам трудно пока разобраться.

— А владычество Германии лучше? — подзадоривают Семашку со стороны.

— Как знать, может быть, что и лучше! — вдруг выпаливает оголтело Семашко, и мы уничтожающе глядим на него, как на запальчивого сумасброда, способного в перебранке наговорить непростительные глупости.

— Хуже колониальной политики Англии трудно что-либо представить! — пробует он оговориться. — Никогда и нигде во всем мире не порабощаются целые нации так кровожадно, как это делают с Индией англичане. Но им Индии мало, им нужны Персия и турецкие Дарданеллы, и вот их великобританский посол, наш новый некоронованный император Бьюкенен Первый, у которого Керенский и Терещенко, как лакеи, трутся в передней...

— Хамство! Вон! Убирайся! — поднимаются с разных сторон негодующие выкрики офицеров. Солдаты тоже начинают колотить ногами в пол, заглушая настойчивый колокольчик прапорщика Судакова.

— ... и вот этот Терещенко, — не унимается Адам Семашко, — клянется теперь в верности французскому министру Рибо, заявившему недавно в парламенте о незыблемости хищных целей войны...

— Вон! Заткнись! Негодяй!.. — не утихают кулисы.

Лев Дейч от возмущения даже подпрыгивает на стуле, мотаясь во все стороны пожелтелой своей бородой.

— Вам жалко Джон-Буля? — доходит Семашко до свистящего хрипа. — Уж поверьте, Германия более миролюбива и менее хищна...

— Безобразие! Что за позор! — поднимается оглушительный рев и стук сотен сапогов во всем переполненном зале.

— ... она скорее бы отдала нам Константинополь... — слышится последний, утопающий выкрик Семашко, и потом под оглушительный вой офицеров и враждебный грохот солдатских подошв оратор встревоженно возвращается к нам с наивным недоумевающим видом. Мы подавлены и молчим, и, должно быть, всем нам противно смотреть на его узкоскулое востроносое цыплячье лицо.

— Что вы нагородили?! «Миролюбие Германии»?!. «Отдача нам Константинополя»?!. Ведь это ж позор!..

Адам Семашко самолюбиво вздыхает, как непонятое существо.

Я готов уже сам ринуться в битву, спасать положение, но Ильинский самовольно опережает меня у самого стола председателя, окруженного сейчас плотной ватагой его ретивых единомышленников.

Однако Судаков хранит мраморную неприступность, и только лукаво вздрагивающие ноздри выдают его торжествующее настроение. Слова сейчас он нам не дает, он хочет сначала использовать столь выгодный случай и выпускает на сцену своего однопартийца, социалиста-революционера Бохановского. Это — солдат, высокий и голубоглазый, с плотным, словно из розового мрамора, породистым, тонким лицом; он недавно приехал из Франции, где оставил отца, старого эсеровского эмигранта. Все это он рассказывает нам сейчас с сильным французским акцентом, — очевидно, волнуясь, но волнуясь каким-то очень сдержанным, «учтивым» волнением, которое выдает только его нервно ползающая сбоку рука. С гордым пафосом он напыщенно и витиевато низвергает на голову незадачливого путаника Семашки бурный град громких попреков в вероломстве, предательстве, гнусности и коварстве. Он взывает о помощи бедной, ограбленной Франции, о возвращении ей Лотарингии и Эльзаса и о возвращении ей причиненных немцами беспримерных опустошений.

— Парижским биржевикам мало Эльзаса! — кричим мы. — Они охотятся за Саарскими копями и африканскими колониями немцев.

— Это неправда! — горячо возмущается Бохановский. — Я клянусь вам честью французов: они никогда не воспользуются ни пядью чужой земли. Франция тянется к миру, но этот мир надобно утвердить по ту сторону вражьих окопов, и прав наш друг Вандервельде: «этот мир мы несем к неприятелю на остриях своих байонетов!»

Словно по уговору, мы дружно выкрикиваем о предпочтительности прощупывания штыками пузатых биржевиков у себя в отечественных столицах.

Дождавшись, пока улягутся разбушевавшиеся в зале страсти, Ильинский начал свою речь порывисто, но от присущей ему скромности настолько приглушенно-тихо, что слова его едва ль долетали до ближних скамей оркестра. Но Ильинский был пулеметчиком девятой роты третьего батальона, давно вернувшегося из Питера на житье в Ораниенбаум; в этом зале было немало его однокашников по батальону, и многие из них перелезали теперь на незанятые оркестровые скамьи. По широким внимательным лицам этих солдат можно было прочесть, что задорное предложение Ильинского о предоставлении союзниками полного самоопределения не только Польше и Лотарингии, но и Финляндии, Индии, Украине, Корее, Алжиру, Ирландии, Грузии и Египту, — падало крепким большевистским зерном в их крестьянские души. И когда Ильинский тут же оборвал поток этих несбыточных и насмешливых предложений заявлением, что международные великодержавные хищники никогда подобной свободы народам не предоставят, солдатские головы сокрушенно это подтвердили своими непроизвольными кивками. А после этого был

ясен и вывод оратора: господство буржуазии угнетает и свои и чужие народы, буржуазную власть надо свергать.

— Не точи языком! — злобно одернул кто-то Ильинского из темных задних рядов. — Ишь, больно умный: «свергать»! Ты напрямик лучше скажи нам: за победу ты иль за пораженье?

Коварный вопрос, который так долго и глубоко меня мучил, заставил меня в этот миг с беспокойством взглянуть на Ильинского, но тот лишь уверенно ухмыльнулся своим худым загорелым лицом:

— Ты не так, парень, спрашиваешь. Ты лучше спроси: погибать ли нам, как щенкам, в драке своих псарей, или уж коли погибать, то за святое дело братанья с народами против своих держиморд и угнетателей?

— Значит, ты за похабный немедленный мир?! — не унимаются сзади, и враждебное гоготание начинает глухо, но планомерно нарастать по углам.

— Стой, ребята! — хрипло осаживает Ильинский, и разом все умолкает, хотя через секунду всем, наверное, кажется диким, какой это властною силой хлипкий, чахоточный солдатишка, в драной шинельке с отстегнутым хлястиком, так мгновенно смиряет неугомонный, клокочущий зал.

— Они спрашивают нас: за мир ли мы? Они еще спрашивают нас, эти жалкие эсерики и меньшевички, — и Ильинский презрительно подергивает верхней губой с чуть пробивающимся робким черным пушком. — А скажите, дорогие приятели, кто в февральские дни орал нам на всех перекрестках, что война — империалистична, что ведут ее короли и банкиры? Кто убеждал нас этак? Скажите, не вы? А ежели так, то кто за войну, пусть тот и воюет себе на здоровье, и пусть нашего брата на эту смертную бойню не тащат.

Шумные рукоплескания солдат подбадривают Ильинского, и он поматывает усталою шеей, готовясь нанести еще более крепкие удары нашим предательским, непримиримым врагам.

— Где стоят их или наши войска, на чьей земле, — для заключения мира неважно. Рабочий люд землей не владеет. Для нас отечества нет. Это только помещики трясутся за свою господскую землю да и то не столько против немцев, сколько, главное, против своих мужиков, а эсерики с меньшевичками своей «демократией» в этом деле помещиков только поддерживают! — подмигнул он в сторону председательского стола, и я наблюдаю, как наливаются обрадованным знанием простецкие лица солдат, аплодирующих своему однокашнику все увереннней и ретивей.

— Без советской трудящейся власти и у нас и в Германии — добрым миром этой растреклятой бойни не кончишь, — хрипло бросает Ильинский, нахмурив глаза. — И должны мы, товарищи, поскорее установить у себя эту власть рабочих, солдатских и крестьянских советов.

— Шкурник!.. На фронт вас всех! — визгливо кричат из угла.

— Палочка у вас коротка! — отрезает спокойно Ильинский.— Была у вас в лапах дубина с царским орлом, да ее в Феврале мы у вас вышибли. А новая пока что у ваших благородий еще не отросла. И не отрастет! — под одобрительный хохот солдат метко осаживает крикунов наш Ильинский. — Даже если погоните вы нас туда, в окопы, — оборачивается он вдруг и сердитым глазом находит между кулис спесивого Бохановского, — ежели и погоните нас, по советам ваших парижских мусью, на фронт на убой, — мы поедем, ей-бо-пра поедем. Только уж если здесь горячо вам от нас под ногами, то мы сумеем и там раскипятить крестьянский народ и с нашей рабочей сноровкой повести его против вас. Мы протянем там наши братские руки немецким рабочим и установим нашу рабочую мирную власть и здесь у себя и у немцев.

— Хватит! Долой! Заткнись! Регламент!—разнородные, растерянные, хряпкие выкрики все злобнее ширятся из-за кулис и по залу.

Одобрительный грохот рукоплесканий обрушивается против них, а Ильинский, устало глотнув смуглым худым кадыком, добродушно машет рукой и возвращается к нам как солдат, расстрелявший удачливо-метко свои боевые патроны.

Настойчивые предложения о закрытии прений несутся с разных сторон, когда я направляюсь к столу Судакова, и это заставляет меня ускорить шаги. Усердно потрясая колокольчиком, Судаков явно готов согласиться. Мы были б от этого, пожалуй, не в проигрыше после удачливой речи Ильинского, вытирающего сейчас пот со своего темного, как пятак, изнуренного, тощего лица. К тому же я просто теряюсь, с чего мне сейчас начать говорить. Но мысль, что иначе сейчас Судаков в заключительном слове сумеет использовать все сегодняшние промахи Семашки, заставляет меня быть настойчивым.

— Сами меня приглашали, а теперь вдруг рот затыкаете! — кричу я как можно воинственней, чтобы подействовать этим на зал.

— Хорошо, — соглашается тогда Судаков, коварно разглядывая меня исподлобья, — пускай выскажется подпоручик, после чего я скажу заключительное слово как председатель, и затем мы должны выслушать здесь небольшое приветствие от фронтового делегата крестьянского съезда.

Я внутренне радуюсь и удивляюсь, как это нашему Захарову вдруг удалось получить себе заключительное слово.

— И пусть большевики, кинувшиеся здесь сегодня на нас сплошной атакой, после этого не обижаются: выболтаться мы им дадим, а вот решение примем с в о е! — и Судаков с такой уверенностью подчеркнул это «свое», что холсты облезлых кулис ходуном заходили от пляшущих локтей бурно аплодирующих ему единомышленников. Ведь он для них — местный вождь.

Сначала я стою в нерешительности. Вспоминая прежний оглушительный свист, которым меня не так давно встретили в этом же зале, я пытаюсь сейчас одним взглядом охватить это тысячеглазое лицо зорко настороженной солдатской массы, и эта холодная ее настороженность меня обезволивает и смущает. Но тут мой взгляд падает на скамьи оркестра. Сюда лезут еще трое солдат: двое молодых и один бородач. Их лица полны напряженного и в то же время очень приветливого ко мне любопытства. И эта вот теплота внезапно меня наполняет такой силой и смелостью, что я невольно им улыбаюсь, как своим закадычным друзьям, и готов ради них без конца и как можно точней и понятней разъяснить сейчас все горячие и волнующие их и меня боевые вопросы. Поэтому на протяжении всей своей речи я глаз не свожу с этих дружеских лиц и с отрадою наблюдаю, как они последовательно загораются какой-то веселой и бодрой осознанностью.

Я не стал много разглагольствовать о коренной, резкой разнице между теперешней бойней международных банковских королей и освободительными войнами народов прежнего времени, которым сочувствовали Маркс и Энгельс. Я отчетливо вспомнил все, что писал на этот предмет Ленин, и поэтому смело и горячо пытаюсь развить его положения. Дело совсем ведь не в том, что нам и тяжела и надоела эта война, что она калечит и убивает людей и плодит вдов и сирот. Вся суть в том: *какая* это война и *за что* предлагают нам жертвовать своей жизнью? Ни Дарданелл, ни Армении, ни Галиции мы завоевывать не желаем. Ни за Эльзас-Лотарингию, ни за Польшу, ни за Корею воевать мы не будем. Наши теперешние правители точно такие же хищники и кровососы, как и те, против которых сейчас мы воюем. Поэтому каждый народ должен прежде всего сам освободиться от ига своих собственных королей, помещиков и капиталистов...

Я говорю горячо и еще более разгораюсь от расцветающих вдумчивых взоров моих жадных слушателей, число которых в этом огромном сумрачном каменном зале растет и растет с каждым моим словом, и это я явственно ощущаю по трепетно загорающимся передо мною то тут, то там, как весенние звезды, человеческим ярким глазам. Я смело зову их представить себе наглядно, какой воинственный пыл охватил бы всю страну и весь фронт, если б немедленно, вот сейчас, а не в тридевятом «учредительном» царстве, крестьянским советам передали бесплатно всю барскую землю.

— Мы бы знали тогда, — говорю я, — за что умирать, кабы земля была нашею, а не помещичьей. Тогда наши деревни отдали б даром последний свой хлеб армии и городам. Тогда и братья рабочие не по восемь, а по двенадцать часов добровольно простаивали бы за станками, если б знали, что труд их идет для пользы их самих, а не в карманы обжор и барышников-тунеядцев.

— Ишь, воитель какой! Окопавшийся шкурник! Демагог! Хвастунишка! Гоните его, братцы, в шею! — нарастают, и ширятся, и шлепаются отовсюду беснующиеся, злобные голоса.

— Цыц вы! Правильно! Пусть продолжает! Верно! — звонко перекрывают их своим дружным криком возмущенные этой атакой крепкие солдатские глотки, тут же поддержанные одобрительным плеском ладоней и топотом ног.

Но в поднявшемся гаме дальше уж ничего не слыхать. Я только вижу сдвинутые брови и дрожащие бешенством ноздри всегда сдержанного Судакова. Он звонит, а другою рукою стучит по столу и грозно кричит мне, что время мое истекло и что вообще «демагогии хватит». Восседавшего с почестью старикашечку Дейча словно вихрем сдуло куда-то бесследно. Исчез. И только теперь, по растерянным, клокочущим бессильною ненавистью лицам наших врагов и по крепким радостным рукопожатиям нашей братвы, я чувствую, что вслед за Ильинским и я кое-чем помог здесь нашему славному делу.

Собрание долго не успокаивается. Многие солдаты лезут с ногами на скамьи и воинственно что-то кричат. Они скандалять, когда их силою тащат обратно. Кругом вихрится ералашливый гомон от криков и перебранки, за которым совсем не слыхать председательского звонка. Лишь тогда, когда разгневанный Судаков выходит стремительно к рампе и, подняв кверху руку, повелительно топает, зал медлительно замирает в приглушаемой ругатне и предоставляет возможность своему председателю начать свое заключительное слово.

Судаков начинает внешне спокойно, с нарочитой важностью, как бы подчеркивая этим свое политическое превосходство над всеми нами. Моей речи он совсем не касается, также обходит молчанием и слово Ильинского. Он бережно снимает пушинку, приставшую на его рукаве возле ослепительного погона, и начинает расчетливо и язвительно нападать на Адама Семашку за его подозрительную похвальбу, противопоставляющую вымышленное мягкосердечие Гогенцоллерна жестокостям английских плантаторов. Он ругает прапорщика Семашку трусливым дезертиром, отказавшимся отправиться в армию. Упомянув о Ленине как «о фанатике и утописте», Судаков зловеще пугает разгромом военного фронта и потерей всех наших свобод, если ленинские идеи не будут сознательно и сокрушительно критиковаться. Он грозно каркает подконец о японской и иной интервенции, если мы осмелимся перечить нашим союзникам.

— Что вы слушаете его благородие?! — вскакивает вдруг сапожищами прямо на скамью средь зала громогласый патлатый солдат в заплеванной шелухою шинели. — Аль не видите, братцы, как все эти убеждатели офицеры в белых перчатках работают!?

Судаков краснеет, нервно пыхтит и готов прострелить солдата насквозь своими позеленевшими от злобы глазами. Патлатого за-

бияку бурно стаскивают тотчас обратно. С дрожью в голосе Судаков начинает оправдываться, что он не только офицер, но и социалист, и сидел в царских тюрьмах, и что руки его не в перчатках, а в мозолях старого слесаря.

— Врешь, каналья, актеришкой был! — визгливо бросает Семашко.

Но Судаков еле удостаивает этот выкрик поднятием левой брови и, учтя благоговейное внимание зала, заканчивает свою речь так же уверенно и степенно призывом всемерно содействовать миру поддержкой Стокгольмской социалистической конференции. Затем он зачитывает заранее заготовленную резолюцию.

Ильинский, я и Рошаль быстро набрасываем текст своих предложений: о братании, о свержении правительств и о замене их всюду советскою властью. С волнением я оглашаю этот текст, и Судаков начинает голосование. За его резолюцию подымается сплошной лес рук, и сердце мое наполняется горькой досадой: выходит, что все наши речи оказались впустую. С обиженным упрямством и гордостью одиночества мы выкидываем вверх свои руки, когда голосуют за нас. На зал я смотрю уже безнадежно, скорее из любопытства: много ль найдется голосующих за нас смельчаков? И нежданная радость охватывает всех нас. Передние скамьи оркестра, и частая поросль средь зала, и сплошной частокол этих поднятых рук в задних рядах — награждают нашу борьбу.

— Меньшинство! — спокойно басит Судаков. — Принята первая.

Кирилл сконфуженно мнется, да и Рошаль не доволен. Они было рассчитывали на полную нашу победу, и вдруг — меньшинство. Но после свиста и воя на первом моем выступлении подобное меньшинство показалось мне уже большою победой. Если пойдет этак и дальше... И я мгновенно представляю себе внимательный карий глаз Владимира Ильича, так задушевно меня последний раз встретившего, и его обязывающее поручение: «во что бы то ни стало сделать ораниенбаумский гарнизон большевистским». Конечно, нужно большое терпенье, но мы на верном пути. Поэтому в мечтательном прекраснодушьи я почти не прислушиваюсь к приветственной речи от фронта и внезапно с тревогою изумляюсь, что ведь это не наш Захаров, а какой-то аккуратненький унтер-офицерик, выпущенный сейчас Судаковым в качестве приезжего делегата из действующей армии. Унтер-офицерик тщедушен, но его шинелька пригнана на нем так красиво и ловко, как умеют себе пригонять в полковых швальнях только штабные писаря корпусов. Его пуговицы горят начищенно-жарко и спорят в ослепительном блеске с глянцем его припомаженной головы. Только неуклюжая нижняя челюсть его, увесистая, как утюг, придает ему тупое и грубое выражение. Он заученно-ладно выкатывает из себя гулкие, как пустые бочки, слова, восхваляя правительство, обновленное ныне социалистами. Ссылаясь на

наказ от своего армейского комитета к Всероссийскому крестьянскому съезду, он грозит смести всех, кто этому правительству не доверяет.

Мы посмеиваемся над этой явно зазубренной речью обласканного офицерами дурака. Разумеется, и сам Судаков и вся его шатия отлично понимают всю поддельную сущность этого делегата. Поэтому они и слушают, опустивши глаза, все его дальнейшие тягучие разглагольствования:

— ... и мы, значит, вполне присоединяемся касательно помощи нашим верным союзникам, которые нас упорно, значит, не оставляют и которых, стало быть, и мы нашей верностью не оставим. Эту самую Эльзасу мы Франции, значит, вернем, — бормочет он уверенно-гордо, — а Дарданеллов нам, опять же, не надо. Это все правильно, как здесь, значит, в точности рассказали промежду прочим ваши господа офицеры. А потому мы вас, значит, зовем: немедленно присылайте нам отсюда маршевые роты на подмогу, которых вы почему-то теперечки к нам, значит, не шлете...

Тут делегат бочком поворачивается к Судакову и бросает на него искоса вопросительный беглый взгляд: так ли-де я сказал? А поскольку Судаков глиняно неподвижен и только спокойным миганием глаз выказывает свое одобрение, приободренный унтер-офицер продолжает:

— ... и это ни к чему, значит, такая контра с вашей стороны; можно сказать, особливо все это, значит, идет через зловредную агитацию ленинцев, — это мы хорошо понимаем.

— Много ты там понимаешь! — презрительно подкалывает его громко с места, под одобрительное гоготание зала, непоседливый патлатый солдат. — Поглядить на него: вишь, нафасонился он там... «на фронте»!..

Унтер-офицера это сбивает и взвинчивает. Он делает вид, что не слышит, и, топыря угластую челюсть, начинает сердито расстегивать тесный ворот шинели.

— И пущай эти гнусные гидры теперь знають, что вся наша армия желает, как один человек, воевать до полной победы.

— Эх ты, две лычки! Про землю забыл! А в деревне-то как?! — несутся к нему с разных сторон язвительные окрики с балагурливым посвистом.

Делегат накаляется еще больше, его чистенький лоск словно линяет, и раскисшая помада стекает теперь жирными грязными ручейками по его взопревшим щекам.

— И пущай эти гидры теперь принимають, — взвизгивает он исступленно и, должно быть, совсем неожиданно для самого себя, — окончательные меры к полному замирению фронтовой заварухи, и как можно, значит, скорей, а то всамделъ как бы не вышло, что будет поздно! Ежели это, к примеру, проканителится долго, то

вот, как пред истинным, либо пятнадцатого мая али двадцатого, но только об эти вот дни все хотять бросить фронт. Дольше стоять нам без вашей подмоги и без земли невмоготу. Ежли вы нас не поддоржите, то пущай тогда погибають не тольки солдаты, что стоять по обязанностях в первой линии, но и вся наша Расея!

Унтер-офицер аж приседает и хлопает себя фуражкою по колену так злобно, что поднявшийся среди общего гама Судаков совершенно теряется, что сейчас предпринять. Он уж готов было, оседлав свой звонок, выступить с маленьким разъяснением и после этого поспешно закрыть несуразное это собрание, как неожиданно даже для нас несется к нему наш Захаров. Он цепко схватывает прапорщика Судакова за рукав, мешая ему трезвонить, а другою рукой крепко бьет себя в грудь. Настаивая на своем делегатстве от фронта, он ревом требует, обращаясь к залу, предоставить слово и ему от солдат действующих армий. Он тычет своим полудраным мандатом в глаза Судакову так воинственно-дерзко, что тот, огорошенный, не знает, что делать, и отвязчиво машет рукой.

Выскочив к рампе, Захаров не лезет за словом в карман, он кроет унтер-офицера как писарского и денщицкого делегата, противопоставляя ему лично себя, присланного из доподлинно первой линии смрадных окопов. Былой хмурости уже нет у Захарова и следа. Сбив на затылок фуражку и сердито размахивая длинными костлявыми руками, он вопит, что фронт брошен, что солдаты сидят без сапогов, а лошади дохнут без фуражу, ежели их до того не поспевают прирезать для супа каптеры.

— Среди нашего брата болезнь пошла густо, — мрачнеет, снизив голос, Захаров, — такая цынгой называется: зубы гниют на корню, кровь текет изо рта, и человек, посинев, умирает. И при этих делах неча нас погонять на войну, в наступленье. Кто уж больно горазд наступать, пущай едет и нас там сменяет. Да и наступать ноне не с кем. Офицеры у нас, как телята безусые: сами только от титьки отняты. А ведь посмотришь: погоны надел и уже лается, как кобел, а сам даже куда ткать патроном — не знает. А как бой начинается, так бегают промеж нас, словно овцы в пожар. А в затишье — так все в наступленье! Не удержишь, куды там!.. Только и мы теперь не такие все олухи, какими были допреж. Сказали нам раньше: война, погнали нас, — мы и поехали. Каждый из нас думал так: ладно, двоих-троих там убью, да и — домой! «А ну, да как ежели вдруг тебя самого?» — говорили нам бабы. «Так меня-то за что?» И вот об этом самом «за что» мы глубоко, как след теперь пообдумали. Не зря три года воюем. Был, к примеру, раньше я вот плотник, а теперь я, выходит, уже третий год как солдат. Сижу это, скажем, в первой линии, а в окопах напротив меня, к слову, немецкий маляр али кровельщик, а то и запросто такой же, как наши рязанские, гужеед-пахарь, — одним словом, германский мужик.

И сидит он, как волк, насторожась. А мы это с винтовкой в руках караулим его каждый шаг. Помоги, мол, царица небесная! Чуть как высунулся, сразу— хлоп!.. Ну, а за что, по совести спрашивается, мы его? Или, к примеру, он вдруг целит по нас, ну за что?!

И Захаров судорожно рвет и теребит ободранный ворот своей фронтовой шинеленки, а зал слушает его, окаменев.

— И потому,— вдруг заканчивает он зловеще и грозно,—простоим мы, действительно, самое более с месяц, а там бросим фронт, так и знайте! Это общее наше постановление. И пойдем мы тогда целым фронтом в Россию с помещиками и буржуями воевать! Довольно они нашей кровушки попили! Будя!.. Пришел конец, братцы товарищи, — не обращая внимания на поднявшийся шум, потрясает Захаров костистыми кулаками,— пора покончить войну и рассчитаться вчистую со всеми, кто жирел и наживал здесь богатства на нашей крови и досель кто над нами здесь властвует!

Он пытается еще, этот солдат-фронтовик, горемычный окопник Захаров, развернуть и благоговейно прочесть весь измятый, протертый до дырок наказ, который густо усеяли своими нехитрыми подписями все его сотоварищи в том далеком,330 Златоустовском славном полку. Но приспешники хищников и богатеев не дают Захарову дальше заканчивать речь. Улюлюкание и крики злобного беснования, словно огненные языки враждебного пламени, силятся прорвать густой и тяжелый дым сосредоточенного и сочувственного подземного мужицкого раздумья, навеянного этой бесхитростной речью. Судаков, посинев от напряжения, изгибается через стол, изливаясь в жалком порывистом звоне. На сцене поднимается несусветная суета растерянности и бессилия. И тут негаданно подковыливает прямо к столу, еле держась на ногах, сам бывший начальник нашей учебной команды, сутулый небритый поручик Казаков. Он умоляюще смотрит на Судакова пьяными, набухшими влагой глазами, и подергивание его заросших щетиною щек выдает его внутреннюю непреодолимую муку. Заикаясь и икая, он просит себе тоже слова. Судаков с бешенством режет без звука, одним своим злобным отрывистым взглядом, этого незадачливого монархиста. Казаков никнет покорно, шумно вздыхает, медленно поворачивается и, опустив голову, невозмутимо шагает, вихляя коленками, словно они на шарнирах, прямо к рампе. На лице его, в густой поросли скул играет трусливая злоба. Должно быть, учуяв за собой быстроту чужих, его догоняющих ног, он неожиданно тут же падает на колени, простирает дрожащие руки к бурно спорящему, суетливо поднявшемуся, равнодушному к нему залу и плаксивым, раздавленным голосом вдруг гнусавит:

— Богоносцы!.. Страстотерпцы!.. Народ мой!..

Все томительно замолкают, кто с тревогою, кто с усмешкой, наблюдая этот непредвиденный балаган.

— Великороссия!.. — багровеет Казаков в пьяном реве. — Эх!.. — и дальше срамная разухабистая его матерщина хлещет всех по ушам, словно выплеснутое в лицо ведро нечистот.

— Господи мой, всеблагой! — не унимается Казаков, тычась с размаху носом прямо в пыльный, обшарканный пол, отчего на багровом запачканном лбу вздуваются синие жилы. — Боже, спаси Россию!.. Спасите Россию! — вдруг вопит он неистово-злобно, грозя кулаками и крючась на поднимающих его, подлетевших отовсюду, офицерских руках. — Спасите Россию!..

Митинг кончен. Судаков исчезает, захватив колокольчик. Казакова уводят. Кронштадтцы вместе с Рошалем спешат застать последний ночной пароходик. Они дружески с нами прощаются, условливаясь о дальнейшей взаимопомощи. Свежий ветер нагнал серые тучки, омрачившие белую ночь. В блеклом, призрачном сумраке тоскливо моросит мелкий северный дождь. Он заставляет всех нас поежиться, осыпая нам лица холодною мокрою пылью. Кирилл плотнее нахлобучивает шляпчонку свою на глаза и зябко кутается в куцый резиновый плащ.

— Это у меня от супруги самого нашего военного министра, мадам Керенской, драгоценный презент! — с шутливою гордостью хлопает он себя по груди. — Как выпускали нас в Феврале из царских тюрем, она патронессой тогда объявилась и снабжала освобождаемых кое-какой одежонкой. Мне и досталась тогда вот эта шляпуга и сей макинтош. Эх, кабы знала она, что большевикам помогает, поди, сама бы назад все повыцарапала!

Распростившись с кронштадтцами, я бреду мимо дач, за два километра, в Мартышкино.

Ветер ноет и плещет мне навстречу в лицо холодные брызги с пригибаемых мокрых ветвей. Слева глухо гудит беспокойный залив. Заснувшие домики в полутьме кажутся картонно-игрушечными, и только дальние скрипы и хлопанье непривязанной ставни выдают, что здесь где-то кругом притаилась сейчас еще сонная, но неизбежно готовая встать поутру жадная жизнь. Мои сапоги чавкают и шуршат по мокрому гравию, а я думаю о том искрометном богатстве наших горячих чувств и светлых мыслей, которые пронеслись в вихре отшумевшего митинга. Кто нам дал эти мысли и чувства? Их дала нам наша буйная жизнь. Статьи Ленина в «Правде» их уточнили, заострили. Да и сами мы многое дали друг другу хотя бы даже сегодня. Вот я шагаю и чувствую себя уже куда много сознательней и зрелее, нежели был я, когда мчался на этот же митинг из Питера. И сейчас, несмотря на усталость тяжелого дня, мои ноги упруги, а голова туго заряжена

острыми мыслями — доотказу. В самом деле, сколько крепких и боевых семян заронили мы в этот вечер в перепаханные сердца ораниенбаумских солдат! Резолюцию нашу не приняли. Но зато какой густой палисад смелых рук поднимался сегодня за нас, тогда как всего лишь четверо суток назад я был здесь же так беспощадно освистан!

Ветер дует в лицо, швыряет пригоршнями зябкие брызги. Мои сапоги жамкают по шоссе тяжело и в то же время уверенно прямо, потому что будущее наше так ясно, нужно и неизбежно. Его мы добьемся во что бы то нам ни стало. И вот в этой тьме я, одиноко шагающий, улыбаюсь. Чувствую я, — более того, я отчетливо слышу, — как шаги мои тонут в глухом дружном, размеренном грохоте мерно и грозно шагающих вместе со мной нога в ногу неисчислимых, простых, крепко заряженных рабочею волей к победе, веками страдавших и ныне неукротимо восставших решительных масс. Счастье мира, счастье будущего — за нами!

11. ФРИДРИХ АДЛЕР

Дни пластались, похожие друг на друга, как цветы распустившихся окрест черемух. Жизнь в учебной команде, как ручеек возле нее, журчала размеренно и однозвучно, начиная с каждодневных глубокомысленных расписываний Красниковым неосуществимых занятий и кончая солдатскими играми в городки и беседами политграмоты, которые я проводил неуклонно. Даже прапорщики примирились теперь с этим, и никто из них мне больше не мешал, быть может учитывая урок последнего ораниенбаумского митинга. Рыжий веснущатый Иловайский старался совсем меня не замечать, день ото дня все реже показываясь в команде. И только маленький, с кривыми, как у таксы, ногами, Застежкин с неистовым прапорщицким щегольством то-и-дело величественно оправлял у себя свою несуразно огромную шашку и никогда не упускал случая выпустить по моему адресу какую-либо очередную беззубую колкость.

— Зря вы не были в Ораниенбауме... — говаривал он насмешливо сидевшим с ним прапорам, завидев меня. — Уж вот-то наслушались бы там наших ленинских златоустов! Что и говорить: потомственные мозолистые пролетарии, только в поручичьих погонах...

И, когда видел, что острота на меня не действует и я сосредоточенно прохожу мимо, он принимался заносчиво напевать:

Интили-тили-тили...
Тили-тили-гентик...

Впрочем, дальше этих выпадов политические атаки его обычно не шли, и, осатанев за день от бессилья и безделья, тот же Застежкин улезал вечерами в собутыльную компанию Казакова.

— Клашка, — раздавался тогда из соседней дачи среди звяка стаканов и дребезжания гитары рев спившегося поручика, — спирту, стерва, гони!

Иногда на эти попойки офицеры приглашали и Ноздрачева. По крайней мере я встретил его однажды спешившим на этот бедлам вслед за прапорщиком Застежкиным. В этот вечер я торопился в Ораниенбаум на митинг протеста против осуждения Фридриха Адлера, и мне захотелось потащить Ноздрачева с собою.

На политбеседе Ноздрачева тоже не было видно: он был выборным судьею солдатского суда нашей команды и в этот день чинил в нем свой праведный суд и расправу. В команде передавали, что одному солдату он вынес общественное порицание за продажу казенной лошади. Другого солдата он осудил значительно строже, дав ему трое суток ареста за кражу жакетки у его возлюбленной, кухарки, и наложил обязательство материально возместить ей убыток. В команде сочувственно хохотали, узнав, что осужденный тут же выкупил злосчастную жакетку из залога и вернул ее своей Дульцинее.

— Насудился?! — шутливо окликнул я Ноздрачева. — За казенную лошадь что-то милостиво ты с субчиком обошелся, — продолжил я с недовольною полунасмешкой, и так как Ноздрачев ничего не ответил, то добавил: — По каким же это статьям ты судил, что удостоил его только общественного порицанья?!.

— А мы не по статьям судили, — снисходительно ухмыльнулся Ноздрачев. — Статьи-то все выкурили... Мы по переплету судили.

— Куда это ты сейчас подаешься? — укоризненно кивнул я ему на казаковскую калитку, заметив его нетерпеливое в эту сторону устремление. Али солдатские интересы на офицерское собутыльничество променял?!

— Питок я плохой, да и подносят тут мало, — невозмутимо отмахнулся солдатский судья Ноздрачев. — Они из-за песен меня приглашают. Захваливают меня, что горазд я жалобно их распевать. И они, вишь, довольны, да и у меня после песен словно как на сердце легче...

— А я было думал, что ты сознательный и нынче со мною на митинг пойдешь. Вопрос там стоит интересный, международный, насчет товарища нашего Фридриха Адлера... поди, слыхал, чать?.. что австрийским правительством на смерть осужден...

— Не верю я, господин подпоручик, — расслабленно и сокрушенно протянул Ноздрачев, — ни в Фридрихов этих международных, ни в нашу собственную народную сознательность, и

потому всякие там протесты — только лишняя одна трепатня. Не нужда будоражит народ, а зависть...

— Как кого, — повернулся я круто, — шагай, Ноздрачев, иди подпевай господам офицерам!

Митинг о Фридрихе Адлере оказался не менее многолюдным, чем и предшествующий митинг о войне. То ли наши политические схватки заинтересовали широкую солдатскую массу, то ли сверкнула героическим блеском в крестьянских умах сама личность этого потомственного социал-демократа, разрядившего свой пистолет в причесанную голову австрийского министра-президента и за это осужденного на смертную казнь, — но только ораниенбаумский театр гулом гудел от говора плотных солдатских рядов, словно улей перед роеньем.

Председательствовал, как и всегда, прапорщик Судаков. Когда я проходил мимо него за кулисы, он спесиво кивнул мне и с мягкой усмешкою снисхожденья понаблюдал, как я здоровался с нашим ораниенбаумским большевистским ядром. Увы, кроме Ильинского и меня ораторов на сегодня от нашей партии больше не было, и Судаков, должно быть, заранее смаковал полноту предстоящей эсеровской победы. Первым был выпущен подпоручик Пигаревич. Ощетинив над сплюснутым лбом колючую щетку волос, он рявкнул здравницу за террор. Смысл его речи был прост и заборист. По его мнению, Фридрих Адлер показал, что заграничные социал-демократы становятся теперь в борьбе со своим царизмом на тот героический путь террора, который всегда проповедывали эсеры. А посему-де да здравствует единственно правильная партия эсеров и ее славные вожди Чернов и Керенский.

Такое беззастенчивое толкование личности и поступка незадачливого Фридриха Адлера, повидимому, возмутило даже меньшевиков. Они зашушукались, и от их имени вслед за Пигаревичем вылез прапорщик Макрояни. Он стал разъяснять в кисло-сладких словах зевающим от скуки солдатским рядам о том, что террор — это, конечно, неправильный путь, но что Адлера они приветствуют как верного интернационалиста, поднявшего руку на гогенцоллерновский и габсбургский престиж.

— Поднимаем мы сегодня на щит этого Фридриха Адлера, а не верится как-то в революционность всех этих палильщиков, — задумчиво шепнул мне Ильинский. — Сегодня в сердцах он шпукнул в министра, а назавтра, глядишь, сердце отходчиво, и, чего доброго, он же другому министру и ручку пожмет. Кабы он сплачивал массы и подымал их на восстанье, тогда б дело другое.

— Глупости ты говоришь, — осадил я Ильинского. — Человек, сознательно идущий на смерть ради воссоздания нового ре-

волюционного интернационала, едва ли способен стать ренегатом, да и нечего об этом гадать, когда он накануне казни, если только мы своими протестами его не спасем. Надо брать сейчас факт, каков он есть.

— Будете выступать? — повернулся к нам Судаков. — По сегодняшнему вопросу, мне кажется, у нас не будет больших разногласий, да и все существенное уже сказано выступавшими. Поэтому, может быть...

Но мы решительно запротестовали, и после Макрояни слово было предоставлено мне. Я только вскользь посмеялся над меньшевистской боязнью королевских престижей и зло уколол желторотых эсеровских новобранцев, горделиво пищавших о героизме террора. Выстрел Фридриха Адлера знаменует совершенно иное. Подобно тому как и у нас эсеры и меньшевики пошли на союз с собственной буржуазией, чтобы, предавая интересы крестьян и рабочих, изнурять страну в бесполезнейшей бойне, так и в западных странах: Австрии, Франции, Германии и Англии — тамошние социалисты давным-давно переметнулись на сторону своих капиталистов и гонят трудящиеся массы на убой ради барышей своих хищных хозяев. Предательство меньшевиков и эсеров во всех странах мира укрепилось прочно. Но во всех странах мира рабочий класс начинает прозревать понемногу. Его лучшие, большевистские, силы все громче и резче заявляют свой гневный протест в защиту изнуренных рабочих, в защиту обездоленных хлебопашцев, за прекращение бессмысленной человеческой мясорубки. Здесь в России мы, большевики, всего более организованы, мы собираем и сплачиваем народные силы, чтобы повернуть историю на свой путь. В Германии большевик Карл Либкнехт поднял мощное движение среди солдат и рабочих и осужден за это на каторгу социал-демократами, работающими в правительстве Вильгельма. В Англии большевики брошены социалистическим министром Гендерсоном в тюрьму. В Австрии, где рабочее движение задавлено изменою руководителей и сам вождь социал-демократов, старик Виктор Адлер, помогает монархии Габсбургов, его сын, Фридрих Адлер, в порыве отчаянья пальнул в тамошнего главного министра в знак протеста против измены отца. Его пытались было признать сумасшедшим, чтоб помиловать и тем пощадить старческое сердце его папаши. Но Фридрих на суде дерзко сорвал эту рабью уловку и заявил, что его выстрел — это пощечина социалистам всех стран мира, продавшим трудовые интересы народа ради выгод своих кровожадных господ. Выстрел Адлера — это плевок в рожу и нашим меньшевикам и эсерам, гордящимся здесь своими министрами, Керенскими, Черновыми и Церетели, и гонящим нас в угоду Терещенок и Шингаревых на убой. Мы должны протестовать

против смертной расправы с Фридрихом Адлером. Мы должны взять его отчаянный жест под защиту, не как пример для нашей борьбы, а как исступленный крик изможденного нашего брата, которого социалисты, помогающие своей буржуазии, довели до беспомощного протеста. Руки прочь, меньшевики и эсеры, от Фридриха Адлера! Торгуйтесь и братайтесь в Стокгольме с его отцом, с Шейдеманами, Гендерсонами, Вандервельдами и прочей предательской нечистью, такою же, как и вы.

Говоря все это, я нисколько не думал о построении речи, мне запомнились только чванливые прыщи Пигаревича и холеная бородка Макрояни, и острая ненависть ко всем этим хитрым лицемерам клокотала во мне и нанизывала слово за словом. И видел я перед собою в вечерней полутьме огромного зала сплошное поле жадно внимающих глаз, доверчиво и горячо на меня устремленных. Это наполнило мое сердце воинственным жаром.

Особенно же меня вдохновило, когда я заметил, как на скамьи оркестра, и без того густо заполненные, залезают упрямо все новые и новые десятки солдат, приветливо улыбаясь мне своими бородатыми лицами, уже знакомыми мне по прежним митингам. «Вот они, наши новые кадры», — подумалось гордо про них, и желание как можно скорее вовлечь их всех в партийную нашу организацию удесятерило мою ораторскую убедительность. Вернулся я за кулисы довольным и уверенным в значимости сказанного мною. И только здесь, за кулисами, встретив гордо сияющие лица своих сотоварищей, Ильинского, Науменки, Племянникова и Батманова, я вдруг почувствовал, какой буйный, восторженный грохот еще несется вслед мне из зала.

Судаков растерянно бормотал после меня какие-то жалкие слова о незыблемой революционности своей эсеровской партии. Большевиков лягнуть он не посмел и ограничился предложением своей резолюции. От имени меньшевиков тусклую и туманную резолюцию огласил подпоручик Громыко. Большевистская резолюция в духе произнесенной речи уже была набросана предусмотрительным Ильинским. Мне оставалось ее огласить и предложить поставить на голосование. Ее содержание было настолько четким и резким, что в лагере социал-соглашателей начались суетливые переговоры, в результате которых Громыко огласил новую, соединенную резолюцию от имени меньшевиков и эсеров.

— Кто за эту резолюцию? — нервно выкрикнул Судаков, и поднялась частая поросль привычно голосующих рук. — Кто теперь за большевистскую резолюцию? — спросил Судаков уже успокоенно.

И с шумом встал густой лес рук, упрямых, солдатских, дерзко голосовавших теперь свое одобрение революционным большевистским путям.

— За нас большинство! — радостно переглянулись мы, вне себя от неожиданной победы.

— Кто воздержался? — проскрипел Судаков дрогнувшим голосом.

Поднялось два десятка разрозненных рук, и все с удивлением посмотрели на голосовавшего за воздержание, стоящего возле кулис, в эсеровской группе, молодого застенчивого поручика, высокого и смуглого Жендзяна.

— Ты воздерживаешься? — возмущенно одернул его один из его сотоварищей.

Но Жендзян ничего не сказал, и только задумчивая улыбка тихо бродила по его лицу.

— Большинством принята резолюция, предложенная большевиками, — еле выдавил из себя Судаков и принялся путанно объяснять на правах председателя, что это отнюдь не означает, что солдаты сделались ленинцами, просто-де они хотели более решительно...

Несколько быстрых практических мыслей мигом пронеслось в моей голове, и я устремился к группе местных эсеровских и меньшевистских вождей. Председатель местного совета, солдат Колыбин, с которым я сталкивался в Омске еще до войны как с чиновником, встретил меня враждебным насмешливым взглядом.

— Вот что, граждане, — обратился я к ним дружелюбно, — предполагаются ли у вас завтра какие-нибудь собранья в здешнем клубе?

Главари недоуменно переглянулись, и Громыко авторитетно ответил за всех, как ораниенбаумский комендант, что завтра день воскресный и собраний к клубе не будет.

— Наша здешняя большевистская организация, — произнес я важно, — устраивает завтра свое партийное собрание. Поскольку ваш клуб «Красное знамя» намечен для обслуживания здешних революционных организаций, нельзя ли будет воспользоваться на этот предмет залом заседаний совета, находящимся в этом клубе?

Колыбин и Бохановский нахмуренно переглянулись, но воспользоваться залом клуба разрешили.

Прежде чем Судаков успел закрыть митинг, я взял у него слово для внеочередного заявления и громогласно объявил, что завтра в пять часов дня собрание всех местных большевиков состоится в клубе «Красное знамя». Пусть приходят и все еще не успевшие записаться, а также и все сочувствующие.

Солдаты, уже поднявшиеся было, чтобы расходиться, внимательно выслушали меня, задержавшись. По их сосредоточенным дружеским взглядам и посыпавшимся затем переспросам, где и когда будет большевистское собрание и можно ль прийти на него еще не записавшимся в большевистскую партию, — можно было

судить, что завтрашнее собрание обещает быть наверняка многолюдным.

«Вот наконец-то она, долгожданная, указанная мне самим Владимиром Ильичом большевизация Ораниенбаума!» — подумал я с гордым удовлетворением.

Вся наша большевистская пятерка вышла с митинга взбодренной и окрыленной сегодняшним успехом и сопровождаемой десятком дружески заговаривающих с нами солдат. Лишь когда все они поотстали, мы впятером остановились в сторонке и условились, чтобы завтра уже с утра расклеить соответствующие объявления и на вокзале и на дверях солдатского клуба и чтобы собраться всем завтра в клубе не позже половины пятого для распределения между собою обязанностей. Ильинский с искренним сожалением предупредил, что завтра не сможет приехать. Завтра у них митинг в Питере в Первом пулеметном полку, и ему придется там выдержать жестокий бой с анархистами. Мы дружески с ним попрощались.

Мимо шли и раздраженно переругивались местные вожаки социалистических партий.

— Подумаешь, — утешал остальных уравновешенный говорок Судакова, — провели они там резолюцию! Ошибка наша в том, что мы чересчур понадеялись на тему митинга и не ожидали от них такого подвоха. Впредь надо будет...

— Боже мой, боже мой! — охал один из его спутников в золоченых погонах. — Какой тихою пристанью всем нам казался этот тенистый Ораниенбаум! Вот где, думалось, можно будет наконец отдохнуть от всех этих питерских политических свистоплясок. И все хорошо и спокойно так шло. И вдруг — нате вот вам, домитинговались! И здесь теперь такая же заваривается каша, большевистская склока и братоубийственная грызня... Нет, друзья мои, кто куда, а я буду хлопотать о переводе в Анапу. Там Черное море и юг благодатный, и безо всяких там Фридрихов Адлеров...

Когда я подходил к дому, майская белая ночь баюкала в кисее поголубевшие цветники палисадов. Только домик, в котором квартировал поручик Казаков, чернел под густою шапкою кленов в мрачной тени. Освещенное окошко его было открыто, и разносились оттуда аккордные всплески гитары, и грустным голосом заунывное что-то пел смеющимся господам офицерам солдатский судья Ноздрачев.

12. ПУТИЛОВСКИЙ ЗАВОД

Мысль, что сегодня к вечеру большевистская наша партия пополнится смелыми ораниенбаумскими пулеметчиками, и радовала меня и заботила. Радовала потому, что крепли от этого наши бое-

вые ряды. Заботила же тем, что надобно очень много опыта и усилий, чтобы из этих большевистских новобранцев от сохи и винтовки выковать крепких и надежных пролетарских бойцов. А такого опыта у нас, ораниенбаумских большевиков, почти не было, да и сил наших было весьма и весьма недостаточно. Поэтому намерение мое утром съездить в Питер и потолковать там на этот предмет в нашей военке было естественно и законно.

Я ехал в вагоне трамвая и видел по сторонам бесконечные вереницы хмурых людей, стоящих в очередях еще с ночи за получением по трети фунта печеного хлеба на едока. В злой, сварливой перебранке пассажиров трамвая было слышно только об этих зловещих хлебных хвостах.

— Из-за чего ж, господа, мы тогда Николая убрали?— раздраженно бурчал себе под нос обрюзгший чиновник в потертом кителе.

— Не ты ль, салопузый, его «убрал»? — насмешливо осадил его виснувший на подножке солдат.

На солдата озлобленно зашипели.

— Помолчали бы вы, горе-защитнички! — прошамкал язвительно осмелевший чиновник. — Придет она, настоящая власть. Она вас, голубчиков, зажмет в рукавицы!..

Массивный каменный Троицкий мост раскидисто горбился над синею ширью Невы. Все так же застыл в полете на колоколенном шпиле Петропавловской крепости заржавленный ангел. Толпились попрежнему будоражливые хороводы спорящих друг с другом возле особняка Кшесинской. Еще больше, чем прежде, были шумны и гулки его комнатки и коридоры. Большевистская гвардия повсеместно росла и все гуще звенела здесь голосами своих организаторов и делегатов.

Ни Подвойского, ни Невского в военке застать не удалось. Посетителей принимал бесконечно довольный собою щупленький и круглолобый Мехоношин. Сосредоточенно топорща мотыльковые свои усики и степенно поглаживая светлый пушок над величественно проясняющейся лысинкой, он добросовестно регистрировал вновь образующиеся в военных частях большевистские ячейки и с глубокомысленным важным видом выслушивал отчеты приходящих к нему сотоварищей о ходе нашей партийной работы в полках: Первом пулеметном, Московском, Гренадерском, Первом запасном, Павловском и в артиллерийской команде Михайловского училища, — словом, где наши связи были особенно прочны. В деле налаживанья новой организации Мехоношин, конечно, ничем бы не смог нам помочь.

Секретарь Петербургского партийного комитета, Глеб Иванович Бокий, бритый худой, изможденный студент Горного института, сидел в своем тесненьком полутемном кабинете. Неторопливый в уверенных движениях своих, он словно насквозь прощупывал при-

стальным взглядом каждого новичка, попадавшегося ему на глаза в куче толпившихся вокруг его стола нетерпеливых людей. Быстрым, цепким вопросом он словно выворачивал его наизнанку и, хозяйственно рассмотрев, либо милостиво отпускал: ладно, дескать, товарищ, погодите минутку, сейчас вот и с вами займусь, либо замкнуто поджимал свои губы и увесисто и спокойно бросал: «А ну-ка выйдите, товарищ, на секундочку из дверей, у нас тут есть разговоры, а потом я и вас позову».

Здесь толпились люди большею частью в поношенных, замасленных пиджаках. По их лицам, обветренным топочным жаром, и по их рукам, заскорузлым и грубым, было видно, что пришли они сюда на короткий деловой разговор от заводских масленок, от кранов, шкивов и трансмиссий, от супортов, печей и форсунок. И в ушах их, казалось, еще не затих перезвон стальных шрапнельных станков, визг брызжущих искрами пил, вой моторов и лязг остывающих в вишневой истоме раскаленных железных полос.

Вопросы, которые они здесь поднимали, были самого разнообразного свойства, но неизменно касались сколачивания и организации рабочих масс.

— Агитаторов!.. агитаторов!.. агитаторов!..

Агитаторы-большевики срочно требовались повсеместно. Протирали многотысячные рабочие массы с векового просонья глаза. Агитаторов нехватало. Поэтому везде по районам и даже на отдельных более мощных заводах большевистская наша партия организовывала свои школы агитаторов. За слушателями из рабочей среды недостатка не было. Но вот где найти руководов?.. И деловой озабоченностью долго постукивал пальцем о стол обескураженный Бокий.

— А что прикажете делать с нашей рабочею молодежью? Той, что кипит и клокочет и поперед отцов рвется в бой, у которой еще ломкие, хрупкие плечи, петушиные, срывающиеся голоса и легкий пушок паутинкой чуть вьется над верхней губой? Не в партию же их принимать, где требуется и выдержка и закалка!

— Товарищи, выход есть: организуйте их в боевые кружки Социалистического союза рабочей молодежи! — Взгляд у Бокия уверен, крепок и прям.

— А работниц? А куда же работниц, тех, что горою за нас, но еще не во всем разбираются?!. — настойчиво верещит въедливый женский голос.

— И о бабах твоих не забыли, — успокаивают ее мужики. — Свяжись поживей с Колонтаихой и варганьте вы свой женотдел. Дело новое, но полезное. Негоже и вам отставать.

— Ох, до чего народ обнаглел! — хлопает себя руками по ляжкам один из рабочих. — Наши ребята только что с фронту вернулись, увязаться с солдатами ездили, так там думский-то

тот монархист, Пуришкевич, — чтоб ему нож в печонки, — все окопы засыпал печатными своими прокламациями: бей жидов, дескать, и советы!..

— Не тревожься, — гудит мрачно Бокий, — фронтовики, брат, и сами, поди, накладут по шеям мракобесам.

— Эх, товарищ наш, Глеб Иванович! — скороговорочкой влезает в разговор нетерпеливый паренек в рыжей кепке. — И народ у нас будто есть, и еще поднаберутся ребята, да и винтовочек мы соберем, — за февральские дни немало их по рабочим рукам понахватано, — а вот инструктора у нас нет как нет. А военное дело — оно тонкое: дисциплина и понятие надобны, артикулы и построенья там разные... без них какой же ты боевик?!. Разыщи, Глеб Иванович, нам инструктора.

— А наверху ты, в военке, не спрашивал? — бросает ему тут же Бокий, почему-то задумчиво косясь на меня, пока рыжая кепка ему объясняет, что в военке все пришиты к своим частям, да и без того все в разгоне.

— Может, ты бы пошел? — неожиданно мечет Бокий свой острый взгляд мне в упор и, заметив мою оторопь, вразумительно продолжает:—Путиловцы, они от наших выборжцев здорово поотстали. Здесь-то у нас на всех заводах давным-давно Красная гвардия сформирована и обучается. А у них вот, даром что завод прегромный, а треплется там какая-то заводская охрана, да без смыслу она и без организованности. Вот ты б и помог нам взять в руки ее и направить.

— Что ж, милости просим! — приветливо подтягивает рыжая кепка, внимательно разглядывая меня. — Нам наши эсеры да меньшевики местные оченно тормозят. А то б мы и сами давно...

Но как ни заманчива была перспектива стать руководителем путиловских красногвардейских рабочих отрядов, однако мысль об ответственности за ораниенбаумскую организацию заставила меня решительно от этого отказаться.

— Жалко, — промолвил задумчиво Бокий. — Видишь: и у него, брат, целый пригород на шее висит, — сочувственно кивнул он на меня парню в рыжей кепке. — Что же вы не можете, что ль, в самом деле, у себя унтера подходящего приискать?!. — недовольно взглянул он еще раз на парня. — Что ж тебе посоветовать? — обернулся он снова ко мне. — То, что творится сейчас у тебя, происходит одинаково точно почти повсеместно, и сил наших нигде нехватает. Да и стыдно тебе поддержку просить: сам-то ты захотел бы, так смог бы еще и соседям помочь. Зря от путиловцев ты отмахиваешься. Лучше свяжись-ка вот с ними на всякий там случай. У них, кстати, сейчас начинается митинг. Надобно провести у них резолюцию с протестом против вступления членов совета во Временное правительство. На всех

это заводах мы провели, а тут вот... Язык у тебя, кажись, ладно подвешен, поезжай-ка сейчас, помоги им. Да и для себя пользу получишь у них. Чего у тебя в Ораниенбауме нехватает? Рабочей базы нет там у тебя. Варишься ты у себя в сплошном крестьянско-солдатском котле. А вот будь у тебя под рукой там рабочие...

Через десять минут я уже ехал вместе с товарищем в трамвае, торопясь на многотысячный рабочий митинг на Путиловский славный завод.

Мы быстро вошли в проходные ворота завода вместе с кучкой других торопящихся на митинг рабочих. И припомнился вдруг невольно тот февральский денек, когда в снежном хрусте тысяч солдатских сапогов и в замороженном визге пулеметных колесных станин серошинельная рать восставшего Ораниенбаума браталась здесь у ворот с засаленной в саже толпою заводских рабочих. Вот и теперь та же шеренга огромных закопченных каменных труб грозно сторожит за высоким мрачным забором красный порядок заводских каменных корпусов. Но где сейчас то былое, неуемное чавканье опьяненного «Марсельезой» оркестрика? Где щебечущий говор клокочущей радостью восстания огромной рабочей толпы? Поблекшие красные флаги возле ворот устало шевелят мотающимися концами, словно нехотя вспоминая о буйном восторге первых вьюжных надежд. И только заводский гудок, густой и ревучий, мрачно воет сейчас чугунным проржавленным воем, широко раздувая по воздуху призывное белое полымя пара.

Огромная столовая Путиловского завода была уже плотно набита толпою рабочих. День был воскресный, работа шла, повидимому, не во всех цехах, но чувствовалось, что много пришло сейчас на этот митинг и из отдыхающих рабочих, успевших умыться, побриться, почистить свои пиджачки, а кое-кто, особенно же из числа сидевших впереди, так даже поднацепили под галстучки упругие воротнички, предательски пожелтевшие от неисцелимых целлюлоидных трещин. Там, вдали на помосте, где стоял длинный стол и краснела в углу куча знамен и плакатов, синели спецовки инженеров, и учтиво друг другу раскланивались более сытые лица рабочих. Здесь можно было разглядеть кое-где даже настоящие крахмальные манишки, туго сдерживающие багровые от духоты толстые шеи, готовые вылезть и расползтись по воротничкам мясистыми, жирными студнями. Очевидно, то были представители заводской администрации, поддерживающие демократический контакт с руководящими политическими заправилами завода. Рабочие прибывали и прибывали, многие, очевидно, прямо с работы, все плотней набивая огромное помещение столовой и принося с собою махорочный дым и железистый запах окалин. Они рассаживались неповоротливо и тяжело, неуклюже шурша измазанными в масле и ржавчине заношенными кожухами. Кирпичные лица их, опа-

ленные жаром печей, с синими очками, сдвинутыми на потные лбы, еще, казалось, дышали грузом тяжелой работы и медленно застывали в тупом недовольстве судьбой.

— А ну-ка, кончай медократию!.. Пора начинать!.. — начали раздаваться нетерпеливые выкрики.

Чистенько одетый рабочий с прилизанными волосиками, юркий на глаз, объявил митинг открытым и предложил выбрать президиум. Согласованный хор прокричал несколько фамилий, затем — дружный взмах рук, особенно густой на передних скамьях, и после этого несколько степенных фигур чинно уселись за столом на возвышении. Прилизанный вертун остался председателем. Трескучей скороговорочкой он объявил, что надлежит обсудить вопрос об отношении рабочих завода к членам Питерского совета, социалистам, вошедшим во Временное правительство, и что от Петроградского совета выступят сейчас по этому вопросу: министр труда товарищ Скобелев и член исполнительного комитета совета, лидер социал-демократической партии товарищ Дан. Он подчеркнуто каждый раз верещал это слово «товарищ», очевидно, наперекор какому-то внутреннему противодействию у значительной части собравшихся слушателей, и эти старания его награждались подчеркнутыми хлопками его единомышленников.

— Надо подготовиться, — озабоченно шепнул мне спутник в рыжей кепке. — Пойдем к нашим!

И мы сторонкой пробрались на одну из передних скамеек, где в уголочке сидела местная большевистская группка. Несколько удивленно взглянув на мои офицерские погоны, они тотчас же приветливо мне откивали, заслушав объяснительный шопоток моего спутника.

На трибуне появился Скобелев. Встреченный бурными аплодисментами, он умиленно раскланялся, вскидывая зачесанным хохолком своих белокурых волос, и пушистые помпончики его шнуркового галстука весело прыгали под мягким клинышком его бородки.

— Товарищи, — робко начал он после того, как рукоплескания замерли, а повылезшие было из крахмальных ошейников жирные подбородки усердствовавших инженеров опять уползли во-свояси, — т-товарищи, — повторил Скобелев конфузливо заикаясь, — Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов постановил делегировать своих представителей в состав Временного правительства только для того, чтобы руководить революцией и продолжать ее до полного удовлетворения разумных требований рабочего класса.

— Ишь, «руководители» выискались!.. Знаем ваши «разумные» требованья! — раздались было насмешливые выкрики из нашей группы, но они были смыты ливнем рукоплесканий.

— И я и товарищи мои останемся на наших постах лишь до тех пор, пока демократия, пока вы — рабочая масса — нас поддерживаете и нам доверяете.

Вихрь аплодисментов был наградой за его учтивый поклон.

— Передо мной, как социал-демократом, как вашим министром труда, стоят сейчас огромнейшие по важности и трудности задачи. Распределение рабочих рук по отдельным отраслям производства, проведение восьмичасового рабочего дня, создание гарантий полной свободы коалиций и стачек, создание бирж труда и примирительных камер, введение социального законодательства, страхование рабочих от безработицы, охрана труда женщин и детей... — словом, как видите, все это такого рода мероприятия, которые не были под силу прежнему, буржуазному правительству и которые проведем теперь в жизнь с вашей помощью мы, ваши слуги и ваши избранники.

Тысячи взметнувшихся от наивного восторга ладоней наполнили огромное помещение бурным грохотом одобренья. Сидевший наискось от меня седоусый сутулый рабочий взволнованно повернулся к соседу, моргая покрасневшими веками, и, стыдливо крякнув, вытер с пергаментных щек непослушные слезы.

— Но для проведения в жизнь всех этих великих рабочих начинаний, — продолжал Скобелев с нарастающим воодушевлением, — необходимы, товарищи, нам ваше рабочее доверие и ваша единодушная товарищеская поддержка.

— Да здравствует Временное правительство наше! — юрко выкрикнул председатель, когда Скобелев после долгих поклонов, уже в затихающем шуме аплодисментов отходил от трибуны.

Поодаль кто-то хихикнул, но сощуренный глаз председателя угрожающе как бы распахнулся, и робкий смешок пропал в треске новых рукоплесканий.

— Просим слова! — веско и твердо поднял руку усатый плечистый рабочий из наших рядов и, выжидательно смолкнув, сурово насупил густой навес бровей.

— Погоди, дадим еще слово, — враждебно откивнул ему председатель и погладил прилизанный свой затылок. — Может, будут допреж этого какие вопросы? — обратился он к собранию.

— Есть вопросы!.. Есть!.. — поднялось сразу несколько рук.

— Ежли товарищ Скобелев говорят нам, что они в правительстве там за нас борются, — растерянно выскочил с места худенький рабочий с выщербленным зубом, — то пущай нам объясняют, по каким случаям они запрещают сейчас на фронте братанье?

— Правильно!.. Верно! — хором раздались согласные голоса.

— И еще пущай объясняют нам, до каких теперь пор будет у нас раззлосчастная эта война? — продолжал ободренный спрашиватель, высвистывая тревожный вопрос через щелястые зубы. —

Почему они договоров не публикуют, ежли министры теперь за рабочих?

— А еще хотелось бы знать нам, — поддержал его сосед, просивший только что слова, — когда удосужатся наши министры повысить на нашем заводе расценки? Ведь только путиловцы одни и остались неудовлетворенными.

— Верно!..Правильно!.. Куда это годится?!.Пусть обскажет!.. — гулом массовой настойчивости и тревоги вдруг налился последний вопрос.

Скобелев сосредоточенно подергал шеей и, выйдя вновь на трибуну, блеклым голосом залепетал, что братание было б возможно, когда б воевали только две армии, ибо тогда братание окончательно бы решало в отрицательном смысле вопрос о войне. А теперь-де, когда кроме немцев есть и турки, и англичане и французы...

— Громчее! — раздраженно выкрикнул кто-то с задов.

— И затем, такое братание, — откинул Скобелев свой хохолок, — когда революционная армия наша попадает в объятия Гинденбургу, я считаю абсолютно безнравственным и невозможным.

Тугие манишки и синие спецовки вызывающе зарукоплескали.

— Что касается опубликования договоров, — продолжал Скобелев, колыхаясь пушистыми помпончиками, — то это вполне возможно, и вопрос не только об их пересмотре, но и об отмене их — является лозунгом дня. Но мы обязаны еще подождать ответа на нашу ноту к союзникам. Из разговоров с послами мы убедились, что скоро получим положительный ответ на нашу ноту, и таким образом вопрос о пересмотре договоров вполне предрешен. Я вам заявляю, — гордо поднял Скобелев клинышек овсяной бородки, — что ни одна капля народной русской крови отныне не будет пролита за грабительские стремления как русских, так и иностранных капиталистов!

Он еще раз учтиво раскланялся и, сопутствуемый аплодисментами, покинул трибуну.

— А чего ж это ты про расценки смолчал?! — крученым голосом злобно выдрался из трескучего шума шепелявый.

— За чужою щекой, видно, зуб не болит! — словно медный осколок, звычно звякнул чей-то другой язвительный голос, брошенный в президиум из задних рядов, и взрыв задорного смеха приглушенно окатил зал.

— Прошу с местов не выражаться! — жестяным голосом обрезал смех председатель. — Чем с задов задирать, вылезай-ка вот сейчас на трибуну и говори, коли совесть чиста! — гневно выкрикнул он, сверля юрким взглядом синеватую мглу задних рядов.

— Ты лучше совесть не трогай! — мрачно отозвался задетый.— Это вот ты, как эсер, вечно мутишь в поганом ведре, а нюхать-то нам!..

— Вылезай! — взвизгнул тонким сорвавшимся голосом председатель, еще более усиливая этим смех.

— Ты не очень-то шебути! — огрызнулся тот с места. — Надо будет, я и отсюда скажу. Ишь, расколбасился как: подумаешь, начальство какое!

— Когда ж дадите мне слово? Я давно уж просил! — гневно сверкнул из-под мохнатых бровей горячими, как угли, глазами усатый рабочий в нашем ряду.

— Поспеешь еще наговориться! — досадливо отмахнулся от него председатель. — Вас-то мы понаслушались. От большевистской трепологии вашей инда оскоминой всем уши набило. А пущай-ка вот новый говорун вылезает, ежели он не шпион какой и не подкупленный провокатор! — с сердцем выкрикнул он.

— Это я-то тебе провокатор?! — подскочил тот, задетый за живое. — Хошь и с телячьим мы образованием, да не век, видно, и нам дураковать. Раз сам вызываешь, я те выскажусь, не обессудь! — уже угрожающе прохрипел он, поднимаясь и обводя с места зал насупленным острым взглядом. — Товарищи! Хоша по скромности моей выступлять...

— На трибуну! Ступай на трибуну! — зычно перебил его председатель, и зал повторными криками заставил его сойти с места.

— Сюдой проходи! Сюда шагай, дядя! — кто дружелюбно, а кто насмешливо подкрикивали ему со стороны, когда он шел на трибуну.

— Ладно, — деревянно согласился он, уже встав на трибуне. — Недавний я здеся рабочий, потому кузнечил допреж в кузнечном произведении я в Нижнем на Волге молотобойцем, однакож начинаем и мы сейчас разбираться промежду прочим, хоша б и министры зубы здеся нам заговаривали...

Легковесный смешок ветерком пробежал по рядам, а председатель тяжко и строго поглядел на оратора, но тот бесстрастно выдержал взгляд и сосредоточенно подтянул некрепкие свои штаны.

— Мы из бурлацкой породы, это верно, — сокрушенно вздохнул он, ссутуливаясь плечами, — приобыкли веками лямку тереть. Одначе не здря дедов наших давили шеями в царские вожжи и клали им на спины бубновые тузы. Мы ноне ихних тузьев перекрыли. И с каких бы вы теперя тузьев спротив нас ни ходили, все одно: мы и ваших тузьев перекроем! — задорно мотнул он пегой своей бородою.

— К делу! к делу! — закричали с досадой на него, а наши ряды бурно зааплодировали.

— Вы не ткайте меня! — осадил он противников густым медным басом, вытягивая вперед кряжистый черный кулак. — И без вас с огорченья печонка распухла. Капитализма, она, конечно, власть заедливая. Выдирать ее нелегко. Однакож кто ее выдирать собирается? Товарищи минестры, как они обещали все, это хорошо, но не в конечных целях, потому правильности в их вожжах нет. Какая же правильность у вас, ежели о расценках вы ни-гугу, а здесь кого спросишь, так чорт на Ваньку, а Ванька на чорта, — друг на дружку ткают, и концов не найдешь.

Одобрительный хохот и крепкие рукоплескания мятежною рябью вновь пролетели по скамьям. Председатель поднял левую бровь, позвонил и возмущенно пожевал губами.

— И насчет, к примеру, войны, — разошелся кузнец, — пущай там солдаты дерутся. Ежели и за буржуев, это их дело. А вот, грит, рабочие стараться должны на оборону. Чего ж это нам оборонять? Завод? А он чей?!.

Восторженные раскаты аплодисментов и гневные выкрики и свист сразу слились в ералашливую неразбериху.

— Кончай! — бешено стукнул колокольчиком о стол председатель, и примазанная прядь волос на затылке его вдруг встопырилась петушиным пером.

— Что ж, можно и кончить, — задумчиво переступил с ноги на ногу невозмутимый кузнец. — Только, где и что кончать? Революция вот, — это правильно минестры нам обсказали, она — нет, не кончилась... А вот вы, минестры, с этакими вашими речами, давно уж, по-нашему, конченые!..

— Вон!.. Долой!.. Позор!.. — поднялся вокруг бешеный топот и рев, и кузнец, снова поправив штаны, невозмутимо слез с трибуны.

Председатель звонил и усиленно взвизгивал, стараясь всех перекричать, но гомон не унимался, пока ковыляющей развязной походкой на трибуну не вышел широкоплечий полный рабочий в сером люстриновом пиджаке. Взмокший и посеревший от пота бумажный воротничок, перехваченный неотразимо радужным галстуком, подпирал его пышное, словно вымя коровы, лицо. Он погладил русый венчик пуха вокруг розовой лысины и, сложив руки спокойненько на животе, поиграл мясистыми, как сырые бифштексы, губами, дав залу вполне успокоиться.

— Това-а-арищи, — начал он вкрадчиво и нараспев, благодушно закатывая глазки, — товарищи наши, государственные министры, избранники наши, пришли к нам сюды поделиться своими планами, потолковать об наших великих задачах в нашей рабочей среде. И заместо того, чтоб... — тут оратор добродушно икнул и выпучил мышиные глазки, заплывшие от утробного удовольствия, — ...заместо того, чтоб... наших защитников поддержать, вылезают тут наши тюхи-матюхи...

Бритые рожи спецов расплылись масляной улыбкой, багровые шеи повыползли из-за манишек.

— ...тюхи-матюхи начинают вдруг здесь перед их благородным лицом необразованно и по-хамски...

Жесткий треск воинственных рукоплесканий президиума и окружающих скамей сочувственно подгвоздил ораторские слова.

— Об чем обвинял наш «оратель», — с уничтожающей усмешкой продолжал толстяк, разойдясь, — наших верных вождей? Что расценки нам не поднимают? Так, во-первых, наш товарищ министр, товарищ наш дорогой Скобелев, как старый социал-демократ, сам знает, когда их поднять...

— ... и кому их поднять! — выкрикнул кто-то сзади ссохшимся голосом, но на него ожесточенно зашикали.

— ... и в этом он нам здесь не отказывал. Не отказывал нам здесь в этом товарищ наш Скобелев, — продолжал оратор, уже наступая. Он словно почувствовал, что теперь ему необходим воинственный задор, убедительное воодушевление. Он должен быть больше подтянут, более напорист, и поэтому, хотя пот и струился по его рыхлому и красному, словно ошпаренному лицу, толстяк вызывающе засунул кулаки в карманы люстринового пиджака, оттянув их доотказа, и грозно притопнул ногой: — Кто в это страшное время, когда наши братья бьются на фронте, думает только о повышении расценок, те шкурники и пройдохи!

— А чем жить-то прикажешь?!

— Хорошо тебе на твоем-то разряде!

— Чего лисишь ты, толсторожий?! Сам, поди, о расценках всех больше драл глотку в цеху! — посыпались отовсюду насмешливые выкрики.

— Новое наше правительство, министры-социалисты, — продолжал тот, не смущаясь, — как отцы родные пекутся об нас. Говорили мы здесь о рабочем контроле, чтоб капиталистам не было больше потачки в самодурстве над нами. И что же? Создали наши министры Центральный комитет восстановленья и поддержанья нормального хода работ в промышленных предприятиях, и вошли в него представители всех общественных демократических организаций, начиная с исполнительного комитета Петроградского нашего совета рабочих и солдатских депутатов.

Рассевшиеся кругом инженеры подчеркнуто зааплодировали.

— И опять же насчет восьмичасового дня, — не унимался толстяк. — Если наши братья на фронте сейчас проливают остатнюю кровь, по месяцам не выходя из окопов, нам ли здесь думать о новых расценках или о соблюдении восьмичасового дня, когда враг, почитай, у самых ворот?! Немного-то в восемь часов наработаешь! Придется, быть может, нам и полсуток работать, чтоб помочь нашим министрам, членам и предводителям боевой нашей

социал-демократической партии, в их делах. Без нашей общей помощи и поддержки не достичь нам военной победы!

— Ну и побеждай на здоровье! Ишь, воитель какой!..

— Вона ряшку какую разъел!..

— Тебе лодырить хоша б и круглые сутки, — так тоже не в тягость...

Но толстяк старался упорно не слушать этих язвительных замечаний. Он закончил с самовлюбленным поклоном и уходил, сопровождаемый рукоплесканиями, вытирая грязноватым платком разопревшее лицо.

— Когда ж нам-то слово? — с непоколебимым упрямством прогудел все тот же усач по соседству.

А мой спутник, сдвинув рыжую кепку на лоб, пронзительно выкрикнул:

— Большевикам затыкаете!..

— Подумаешь! Испугались! — отозвался председатель с издевкою в голосе. — Давай выходи! Наворачивай здесь за пораженье! Знамо, победы рабочего класса вам не любы... — и, самодовольно оглянувшись на сахарный смешок окружающих, вызывающе кинул: — Выходи!

Хмурый усатый рабочий вышел, снял черную кепку, и темные кудри скатились по смуглым вискам. Многие рабочие зааплодировали, очевидно, зная его по предшествующим выступлениям, но большинство зашикало и зашипело, что, впрочем, ничуть не смутило рабочего-большевика. Сначала он очень спокойно и в то же время очень метко поиздевался над выступавшим до него толстяком, социал-демократом. Он по косточкам разобрал, чего стоит этот расхваленный им Центральный комитет так называемого «рабочего» контроля, только что испеченный меньшевиками из представителей от Государственной думы, от Союза земств и городов, от Съезда представителей промышленности и торговли, от Петроградского общества заводчиков и фабрикантов, от Военно-промышленного комитета, от городского управления, от Союза инженеров и даже от Совета офицерских депутатов, — словом, от всех осиных гнезд наступающей буржуазии, но только не от рабочих.

Кудрявый усач говорил не хитро и не много, но он упорно бил в одно место, словно хотел враз расклепать те болты наивного легковерия, на которых пока что еще крепко держалась массовая рабочая поддержка меньшевиков. Досталось от него толстяку и за его выпад против восьмичасового дня. Расправив усы, большевик цифрами доказал, как при двенадцатичасовом рабочем дне у них же на Путиловском заводе вырабатывалось всего два миллиона патронов, а при восьмичасовом — стали вырабатывать по два миллиона шестьсот тысяч. Как Сестрорецкий завод вместо

прежних четырехсот пятидесяти винтовок стал теперь вырабатывать пятьсот двадцать. Как Охтенский завод стал теперь поставлять вместо прежних восьмисот пудов пороху уже все девятьсот и процент брака упал до шестнадцати вместо прежних тридцати.

— Почему ж так умильно отговаривают нас меньшевики от восьмичасового рабочего дня? — мигнул большевик густой бровью в направлении президиума и, не обращая внимания на злобные вскрики одних и одобрительной рокот других, сам же ответил: — Потому, что при восьмичасовом рабочем дне у нас остается время на развитие и политическую организацию, а это для господ капиталистов, любезных для меньшевиков хозяев, — что острый нож в сердце. Вот их приказчики-то и стараются...

Средь нарастающего гама бешеных выкриков голос большевика крепчал, взвиваясь стальной полосой, и слова громыхали, как вальцы прокатного стана.

— И вот эти хозяйские прихвостни выходят сюда и заявляют нам, что они-де наши вожди! — тряхнул он мятежно кудрями в сторону стола, не обращая внимания на улюлюканье, свист и вой.— Не вожди вы, а покамест лишь вождики, и вождями у нас никогда вы не будете, хоть и норовите забрать рабочий класс себе в вожжи.

Неистовый грохот протеста, состязавшийся с рукоплесканиями и выкриками одобрения, уже не дал ему говорить. Он сурово собрал к переносью густые брови и, молча напялив на кудри замасленную черную кепку, двинулся с трибуны в наши ряды. И в звонком грохоте рабочих рукоплесканий, раскатившихся по всему помещению огромной столовой, казалось, слышался лязг стальных балок и громыхание подъемных цепей.

И только тогда выскочил на трибуну дотоле молчком сидевший в президиуме, рядом со Скобелевым вождь меньшевистской партии, сам хитроумнейший Дан. Кругленький, на коротеньких, щупленьких ножках, обутых в мягкие сапоги, он угодливо колыхнулся собранию пухлым своим животом, затянутым, словно пузырь, в военный докторский китель, и сощурил мышиные глазки, наслаждаясь приветственными аплодисментами. Самодовольные ямочки заиграли на его лоснящихся красных щеках, ущемивших черные хвостики свисших книзу усов. Большой острый розовый нос, казалось, вкрадчиво нюхал настроение собравшихся масс. Сдержанно и подобранно, словно поп в гостях на крестинах, Дан быстренько заговорил ласковыми, поглаживающими словами, цепко щупая пуговками глаз настороженное выражение нацеленных на него рабочих внимательных взоров. «Кто говорит об удлинении восьмичасового рабочего дня? Его партия так вопроса не ставит, — пожимает Дан наивно плечами. — И разве социал-демократы против увеличения расценок? О нет, социал-демократия всегда неизменно боролась и борется за улучшение жизни ра-

бочих, тем более что политически рабочему классу больше нечего и желать. Вот разве только злополучная эта война. Да, война сильно связывает дальнейшее развитие русской революции. — И Дан соболезнующе кривит голову набок, показывая глянцевый островок незапятнанной лысины. — Дальнейшее затягивание войны грозит даже убить революцию. Социал-демократия это отлично и давно понимает. Войну надо как можно скорее кончать, немедленно надо кончать. — И Дан, лицемерно потупясь, играет ямочками на пунцовых щеках, пока подкупленное его словами собрание восторженно ему рукоплещет. — Но односторонним требованием мира и даже братанием войны не кончишь. —Дан шумно вздыхает.— Увы, война — мировая, а этакий мир был бы сепаратным и потому гибельным для революции».

— Мы — интернационалисты! — взвизгивает Дан подконец, встав на цыпочки. — И потому нам надо бороться за мир в международном масштабе. Такой мир, мир крепкий и прочный, можно достичь только разгромом германского империализма. Именно ради этого рабочего международного братства наши товарищи, Скобелев и Церетели, и вступили в состав Временного правительства.

— Есть предложение: прения прекратить, — прозвенел довольным голоском председатель, дав оглушительным аплодисментам время смолкнуть, и прочно прислюнил к затылку непокорно торчавший вихор.

Утомленное затянувшимся митингом большинство охотно проголосовало за это предложение и так же дружно вскинулось тысячью рук за меньшевистскую резолюцию о полном доверии министрам-социалистам, «вступившим во Временное правительство ради спасения революции и возрождения мира всего мира и устроения демократической республики единого всемирного Интернационала». Резолюцию оглашал все тот же толстый меньшевик в несусветно радужном галстуке.

Мой сосед, паренек в рыжей кепке, пошептавшись с товарищами, запинаясь, прочел по бумажке с трибуны набросанную кем-то наспех нашу большевистскую резолюцию. Много рук поднялось за нее, но большинства она не собрала.

Гудки не гудели, когда митинг расходился и торопливые толпы текли через ворота на улицу. Некоторые рабочие степенно натягивали на себя измазанные сажей и ржавчиной драные брезентовые кожуха и молча шли в цехи на работу. И только в толпе, уходившей с завода, рокотал несмолкаемый говор.

— Жаль, товарищ, не довелось нам с тобой выступить. Ты в другой раз к нам приезжай,— утешала меня рыжая кепка, провожая до самых ворот. — Ну, а как же теперь с нашей Красной гвардией? Возьмешься, что ль, ее обучать?

Но от Красной гвардии пришлось отказаться. Для этого нужно было решиться на дезертирство из армии. К тому же организационно-партийная работа среди солдат Ораниенбаума, полная острой борьбы и сулившая более скорый успех, уже была для меня кровно сроднившейся и упоительно интересной.

— Не в пример вашим путиловцам, — кольнул я спутника,— наша ораниенбаумская братва, даром, что из крестьян, а, пожалуй, лучше начала разбираться.

— Не скоро, конечно, наш народ раскачаешь, — смущенно произнес он на прощание, — уж больно доверчивы наши к социалистическим этим вывесочкам. Видно, и впрямь: разберет баран новые ворота, когда лоб об них обобьет. Ну, уж зато ежели когда разберут, где как и что, уж тогда, брат, держись!

Я сочувственно улыбнулся, крепко пожав ему руку.

Мимо торопливо проходили последние, оставшиеся, группы.

— Вот заварили было большевики снова кашу! Когда им стали этак вдруг аплодировать, я уж было подумал... — откровенничал проходивший мимо нас молодой человек в фуражке инженера, доверчиво покосясь на мой офицерский погон.

— Пустяки, — лениво зевнул бородач в мягкой панаме. — Толпа, милый друг, что вода: пошумит, да и схлынет. Наш материк — капитальный, миллионами лет образовывался: никакими социалистическими ливнями его не размоешь.

Инженерик угодливо подхихикнул.

Стрелка часов показывала четыре. Надо было не опоздать на ораниенбаумское собрание, и я поспешил на Балтийский вокзал.

13. ЭСЕРОВСКИЙ КАПКАН

Поезд, на который я так спешил, уже ушел. Проверил свои часы. Они стояли. Отчаянная досада, что со следующим поездом удастся приехать в Ораниенбаум только к шести, взвинчивала меня и бесила. Мучительно тревожила мысль — как-то там обойдутся собравшиеся без меня? Кто сумеет взять на себя руководство? Ведь и Племянников и Батманов и Науменко — еще такие робкие ребята.

Мне казалось, что кондуктор назло мне медлит давать свистки, что поезд нарочно ползет, словно улитка, лениво посапывая на полустанках. В досадливом нетерпении я не знал, что делать с собой.

С ораниенбаумского вокзала я кинулся в гору бегом, чтоб хоть как-нибудь сократить свое возмутительное опоздание. Вон в конце густо обсаженной боярышником дорожки заветная дверь солдатского клуба «Красное знамя». Маячит на ней белый лист нашего пригласительного объявления. Но подбежав, я столбенею.

Объявление кричит о том, что в пять часов здесь собрание организации социалистов-революционеров. На повестке — доклад об аграрном вопросе.

А где же наше собрание?! Вконец взбешенный неудачами, открываю скрипучую дверь. Прохладный сумрак каменного вестибюля. Пустынная гулкость чугунной лестницы. И кругом ни души. Пустынна читальня с красными лозунгами по стенам. Лишь двое скучающих солдат лениво щупают на столе тоненькие эсеровские брошюрки. На верхней площадке, развалясь на большом деревянном диване, щурит мутные глазки плотный, как куль, эсер Баскирев. Ворот солдатской рубашки не сходится на его толстой шее, и оплывшее брюхо еле сдерживается кожаным обручем ремня. Мое появление выводит Баскирева из полудремоты. Он важно раздувает мясистые ноздри и топорщит щетину усов. Когда я вхожу в просторную проходную комнату с предлинным черным столом посредине, Баскирев нехотя поднимается и идет вслед за мной.

— Сегодня здесь должно было быть наше собрание большевиков? — спрашиваю я, стараясь не выдать волнения.

— А я почем знаю, — басит он лениво и чешет у себя подмышкой. — Должно быть, не состоялось.

— А здесь что? — киваю я на закрытую дверь в зал заседаний местного совета.

— Здесь наше собрание! — со спесивой издевкой подчеркивает Баскирев слово «наше».

Я молчу. Несуразные мысли роем вьются в мозгу. Где же наши? Что все это значит?

В злобном смущении открываю дверь в зал. Он полон народу. На трибуне стоит чернявый и тощий прапорщик Ярцев, монотонно что-то бубнит, то-и-дело косясь на бумажку. В президиуме за столом — прапорщики, эсеры. Только ни Судакова, ни Жендзяна не видно. Ряды стульев сплошь заняты, и еще много солдат плотной кучкою стоят позади. Вижу, как появление мое вызывает у многих злорадливое недоумение. Спрашиваю шопотом у дверей:

— А где же собрание большевиков?

Громкий ответ:

— Не состоялось.

— Но ведь оно было назначено именно здесь? И эсеры вчера мне обещали именно это помещение не занимать, — говорю я подавленно, но все так же вполголоса.

— Я не знаю, кто вам обещал. И потом: обстоятельства могли и перемениться. Да и вообще: в чем дело?! Не видите разве, что здесь у нас закрытое партийное собрание?

Ответ издевательский, наглый. Слышен злорадный смешок.

Вижу, что и президиум и докладчик, и весь зал напряженно слушают наш разговорчик. Вижу знакомые лица солдат, те безы-

менные лица солдат, которые я уже заприметил на ораниенбаумских митингах. Это они, — хорошо я запомнил, — торопливо пересаживались наперед всякий раз, когда я выступал. Это они со своими приветливыми и восторженными глазами служили могучим источником моей бодрости и ораторского вдохновения. Как бы их отсюда позвать? Да и как они вообще-то сюда попали? И зачем они здесь? Неужели они все эсеры?

Смелая мысль приходит мне в голову, я сдержанно прошу слова для внеочередного заявления. Торжествующее любопытство президиума накалено до крайности. Я один среди эсеров, почему б надо мной и не поиздеваться? Слово дают.

Потупясь, прохожу наперед и говорю под трибуной, обратясь к залу:

— Товарищи! извиняюсь, что пришел на ваше закрытое партийное собрание. Но в этом зале было назначено сегодня собрание большевиков, а, как видите, идет ваше. Собрание большевиков по случайным причинам в срок не началось. Однако я вижу здесь на эсеровском вашем собрании некоторых наших большевиков. Должен им разъяснить, что здесь закрытое собрание чужой партии и находиться на нем нам негоже. Собрание наше, с позволения вашего, начнется сейчас рядом, хотя бы в большой проходной. Прошу всех большевиков, попавших сюда по недоразумению, сейчас же отсюда удалиться.

Быстро иду к выходу средь всеобщего, внезапно упавшего зловещего молчания. По пути за мной поворачивает несколько солдат. Когда я выхожу с ними в соседнюю комнату, за нами с гулом и грохотом, очищая ряды стульев, лезет уже огромная толпа. Выходящих так много, что дверь в зал собрания эсеров вынуждена долго оставаться открытой, пока все желающие не пройдут, и мы слышим, как доносятся к нам оттуда злобные выкрики и перебранка.

Надо признаться, что подобного головокружительного результата я и сам не ожидал. В каком-то радостном полусмущеньи стараемся все рассесться вокруг большого стола. Догадливые товарищи сами тащат из соседней читальни длинные скамьи. Дверь из маленькой правой угольной каморки вдруг осторожно приоткрывается на наш шум, и оттуда удивленно выглядывают Племянников, Науменко, Батманов. С ними еще двое солдат. С радостным недоумением они присоединяются к нам. Теперь все мы в сборе. На-глаз — человек за сто. Выясняется, что эсеры сорвали наше объявление и наклеили свое, злополучную нашу тройку тотчас же по ее приходе засадили в маленькую комнатушку, а остальных приходящих солдат пропускали к себе. Капкан был устроен ими на-славу. Не беда, если теперь сами же они в него и попали.

— Сколько ж у них там осталось? — интересуюсь я, когда дверь за последним выходящим из эсеровского собрания закрылась.

— Да, почитай, не больше десятка...

Весело переглядываемся. Солдаты тоже обрадованно улыбаются друг дружке и на мой призыв неуклюже подсаживаются к столу поплотнее, с робкой застенчивостью новичков. Открываю собрание. Председателем выбирают меня, а писаря Науменко — секретарем. В порядок дня мы ставим два вопроса: об отношении к Керенскому и о нашей организации. Но прежде всего я требую, чтобы все участники по очереди и без шуму зарегистрировались бы у секретаря, называя свою фамилию и команду. Кто запишется, тот и будет считаться большевиком.

— А как быть, ежели я у них вот записан? — сконфуженно кивает на закрытую дверь в зал один из солдат. — Только я выйти давно уж хотел. Особливо после ваших речей. Уж оченно они с землей тянут. Посули они нам твердо землю, мы, ей-бо, одним махом взяли б Берлин.

Вокруг сочувственно хохочут.

— Вот и я тоже, — смущенно встает другой. — Уж больно врут они все про войну. Народ травят в драку, а генералам да помещикам смаку. Не согласен я больше с ними партейничать.

Оказывается, что солдат, записавшихся ранее эсерами, здесь не один десяток. Условливаемся, что, записываясь теперь в большевики, они подписывают одновременно коллективное заявление о выходе из партии эсеров. Это всех удовлетворяет, и мы начинаем беседу о только что опубликованной в газетах «Декларации прав солдата-гражданина», подписанной министром Керенским. Я зачитываю эту декларацию, разъясняя по пунктам полную неприемлемость ее для нас. Взять, к примеру, параграф третий: «Гражданскими свободами и правами военнослужащий пользуется только во внеслужебное время». Послан, скажем, солдат с фронта в Питер со служебным пакетом. Иль на фронте: стоит полк в резерве. Как тут: служебное иль внеслужебное время? И кто определяет его: служебное оно иль внеслужебное? Не те же ли царские генералы? Эти «определят»!.. Иль дальше, параграф четырнадцатый: «В боевой обстановке начальник вправе расстрелять неисполнившего его приказ». Понятие боевой обстановки — понятие растяжимое, особенно у господ офицеров. Затем право назначения командиров декларация оставляет бесконтрольно за прежним генеральским начальством. Получается не декларация, а кузькина мать для солдат. Хорош подарочек от нового военного министра, эсера Керенского!.. Просим солдат, если кто что не понял иль не согласен, высказаться без боязни и без стеснения. По-товарищески разберем.

— Правильно все объяснили! — гудят солдаты, уже освоясь.— Керенский, он, как здешний прапорщик Судаков, говорит красно и дипломатично, а мыслит черно и капиталистично.

— Это верно! — поддакивает смело другой. — Посадили свинаря замест царя, он и выкомудривает.

— А правда ль, что у Керенского перенюх большой? Марафетчик, сказывают про него: кокаинишку нюхает.

Солдаты покатываются со смеху.

— Устервился властвовать, идол! Вот и норовит, как бы солдат поприжать, — ворчит сердито четвертый.

В дверях с лестницы показываются сначала голова, а затем и пузо солдата Баскирева. Он внимательно вслушивается, сосредоточенно курит и злобно бегает по сторонам поросячьими глазками, выискивая повод для нападения.

— Да, в эту войну темны мы были. Застали они нас врасплох. А то б нипочем не пошли воевать, — сокрушенно вздыхает пятый.

Беседа принимает оживленный характер. Я начинаю рассказывать о своих личных встречах с Керенским, раскрывая контрреволюционную сущность этого болтуна.

— Это вы вместе с вашим Лениным контрреволюционеры, а не Керенский! — задирающе бросает Баскирев от дверей и, притоптав свой окурок, с заносчивым видом подходит к столу. — Чего вы слушаете его благородия?! — кивает он солдатам свысока на меня. — Не видите, как он вас за Вильгельма сбивает!

Требуем от этого идиота замолчать и не мешать нашей беседе.

— Ишь, при старом режиме командовали, да и нынче норовят всем рты позаткнуть! Имею я полное право здесь высказываться, потому что свобода.

Объясняем этому нахалу, что он нарушает свободу нашего закрытого партийного собрания, на котором ему не место. Пусть немедленно уходит к своим эсерам.

— А у вас здесь что за тайны?! — нагло накидывается он, чуть не тычась мне в нос щетиной табачных усов. — Ежели сейчас у нас свобода, не может быть никаких закрытых собраний, и я никуда отсюдова не уйду! Может, и я в большевики думаю записаться, почем ты знаешь?

Ясно, что наглый эсеровский держиморда идет на скандал, чтобы сорвать наше собрание. Предлагаем ему сейчас же оставить нас, угрожая в противном случае вывести силой.

Хулиган демонстративно садится на стол.

Я голосую предложение об его удалении. Все единодушно поднимают руки.

Баскирев раскатисто, нагло хохочет и обрушивает ворох неприличных и гнусных ругательств. Взбешенные солдаты стаскивают его со стола. Так как он сопротивляется и дерется, ему тычут ку-

лаками по шее и вышвыривают за дверь на лестницу. Активисты возвращаются красные, но удовлетворенные, и мы продолжаем собрание.

Переходим теперь к вопросу об организации. Устанавливаем, чтобы из числа записавшихся сейчас в партию один по каждой команде был бы за старшего. Он держит связь между большевистской группой своей команды и нашим временным организационным бюро, вербует новых членов партии в свою группу из числа честных и революционных солдат и следит за тем, чтобы вся его группа, при желательном участии всей команды, ежедневно бы читала и обсуждала нашу большевистскую газету—«Солдатскую правду».

— Правильно, — соглашаются солдаты, — газета, она настоящая: помогает нашему брату пошире глаза раскрывать, за солдатские нужды стоит крепко! Это не то, что здешняя ораниенбаумская газетенка «Красное знамя». Не красное это, а грязное знамя.

Попутно, однако, выясняется, что доставать нашу «Солдатскую правду» не так-то легко. Выписка ее через почту бесполезна: ведомство социал-демократа Церетели всячески срывает доставку солдатам большевистских газет. Зато кадетские и другие контрреволюционные газеты, как-то: «Речь», «Воля России», «Новое время» — доставляются в каждую команду аккуратно и, главное, совершенно бесплатно, хотя их никто не выписывал.

Постановляем, что все команды должны немедленно подписаться на «Солдатскую правду». При такой коллективной подписке газету нашу будут доставлять из Питера ежедневно специально выбранные нами для этого экспедиторы. Таковыми мы намечаем из числа присутствующих двух молодых солдат здешних кольтовских пулеметных команд: степенного, задумчивого Новикова с пухлыми, как у теленка, губами, и веснущатого Горшкова с бойкими лучистыми глазами. Они должны каждое утро привозить нашу газету на все подписавшиеся команды в Ораниенбаум, где наши старшие по командам должны наладить немедленную доставку их по местам. На организационные расходы все члены нашей организации должны внести: по полтиннику каждый солдат, и по пяти рублей — офицеры. Партийный комитет решили выбрать на следующем нашем собрании.

Наметив старших по командам, мы начали расходиться, довольные достигнутыми результатами. Комната быстро пустела, как внезапно дверь из зала эсеровского заседания с треском распахнулась наотмашь и оттуда стремительно выкатился к нам весь эсеровский штаб. Они разом обрушились на нас с выкриками и угрозами и подняли столь невообразимый галдеж, что первое время трудно было понять, в чем тут дело.

Наконец подпоручик Пигаревич встал впереди в грозную позу и нагло выпучил рачьи глаза:

— Мы вынесли сейчас постановление и требуем немедленно его обсудить и принять! Категорически протестуя против деятельности Тарасова-Родионова, раскалывающего ряды демократии, мы требуем от вас беспощадного осуждения его демагогического поступка, которым он переманил сейчас с нашего собрания многих солдат, социалистов-революционеров, к большевикам.

В наших рядах пронесся веселый смешок.

— Кроме того, — зловеще оскалясь, продолжает Пигаревич, готовый проколоть меня шильями своих взбешенных глаз, — мы категорически требуем от вашего собрания немедленного осуждения сегодняшней возмутительной статьи в вашей «Солдатской правде», где наша газета «Воля народа», орган партии социалистов-революционеров, названа черносотенно-эсеровским органом.

Мы вновь переглядываемся между собой с веселыми улыбочками.

— Всем известно, что такое «черная сотня»!.. — дико ревет Пигаревич, бешено топнув ногой. — Это гнусные банды, защищавшие царизм и травившие революционеров. И наша славная партия, доказавшая своей кровью...

— Хватит! — прерываю его раздраженно, раскусив политическую цель новой вражеской ловушки. — Никто вам не позволил вторгаться на наше собрание. Балаганного постановления вашего обсуждать мы не будет. Никаких демагогических сманиваний по отношению к вашим партийцам никто не проделывал. Это вы устроили гнусный капкан и, вопреки вчерашнему уговору, рассчитывали сорвать наше собранье, хитростью заполучив большевиков к себе. Я разъяснил им, и они ушли. Если с ними ушла и часть ваших эсеров, вините в этом свою тактику и программу, а не большевиков.

Бешеный вой поднимается среди эсеров. Они готовы кинуться на нас с кулаками. Притащившийся откуда-то Баскирев вопит, что его здесь избили. Жена прапорщика Сахарова, взбалмошная эсерка, вскакивает на стол и, колотя себя в грудь, неистово топает каблучками, истерически визжа:

— Итак, мы для вас черносотенцы?!. Стало быть, вы не отказываетесь?! Вы не желаете?!.

На поддержку ей следом вскакивает прямо ногами на стол и муж ее, прапорщик Сахаров.

— Так вы, презреннейший демагог, не отказываетесь?!. — ревет он неистово, наступая по столу на меня и хватаясь за эфес своей шашки. — Мы, социалисты-революционеры, мы знаем, как поступать с подобными господами!

— Террором! — исступленно рычат эсеры.

— Но прежде, — вскакивает на стол и сам Пигаревич, — мы обращаемся здесь ко всем честным солдатам. Мы просим их сейчас высказаться, можно ли безнаказанно называть славную партию

социалистов-революционеров, которая в самоотверженной борьбе за крестьянские интересы...

— Собранье закрыто! — смеемся мы. — Наши уже разошлись.

— Голосую! — дико ревет Пигаревич. — Кто за?..

Десяток эсеров воинственно взмахивает руками.

— Кто против?.. — не унимается подпоручик.

— Товарищи, не расходитесь! — словно прирезанная, верещит Сахарова, топая по столу ногою со сползшим чулком.

Но из наших, сгрудившихся в дверях, никто даже не оборачивается. И только трое, замешкавшихся позади, растерянно поднимают руки.

— Принята подавляющим большинством! — торжествующе кричит нам вслед Пигаревич, соскакивая со стола.

— Большевики сдались!.. Провалились вы, Тарасов-Родионов! Опыта у вас еще нет!.. Погодите, мы с вами еще не так посчитаемся! — кричат они сверху в бессильном ожесточении, в то время как мы спокойно спускаемся по лестнице.

14. МЫ РАСТЕМ

И Батманов, и Науменко, и Племянников были в общем славные ребята. Организация наша была теперь создана, оставалось только ее растить: и вот все трое энергично взялись за дело.

Я подолгу иной раз наблюдал за Батмановым. Молоденький, безусый прапорщик с серыми холодными глазами и застенчивой, мягкой улыбкой. Такой казался мало пригодным для наших большевистских напористых дел. Но то ли Племянников его подвинтил, то ли вдохновило его последнее наше собранье — только сам он вызвался понаблюсти, как работают наши старшие по командам, достаточно ли ширятся большевистские агитация и вербовка.

Многочисленные номерные команды пулеметного кольтовского батальона были разбросаны, словно грибы, средь тенистых садов Мартышкина и Ораниенбаума, позаняв и позапакостив все пустующие господские дачи. Да кроме кольтовцев и при самой офицерской школе было немало солдатских команд. И вот частенько приходилось встречать Батманова понуро бредущим от одной команды к другой. Завидев меня, он несмело останавливался, как-то бочком, и робко рассказывал, что в такой-то команде наш представитель оказался малодеятельным и потому-то его заменил другой. Батманов ли их сменял и инструктировал, или сами сменялись они, подсознательно проводя большевистскую линию боевого самоотбора, но только ячейки наши по командам ширились и росли, и наши старшие то-и-дело водили вновь навербованных новичков в канцелярию школы, где таинственно с ними шептался наш писарь Науменко.

Маленький красненький и кургузый, с лоснящимся носиком и с боковым зачесом черных волосиков, густо примасленных репейной помадой, он ретиво бегал веселыми глазками, словно щекотал оглядываемого шаловливою детской щекоткой. Новичок обычно смущенно ежился и улыбался. А Науменко, бойко глянув по сторонам, осторожно лез в ящик своего конторского столика, где под грудой казенных ведомостей, в соседстве со штопором и крошками табака, покоился заветный наш большевистский ораниенбаумский список. И, закусив нижнюю губку щеточкой черных усов и склонив набок головку, Науменко вдумчиво и любовно вписывал новое имя. Но стоило только где-нибудь вдалеке показаться какому-либо прапорщику или эсеру, — список стремительно нырял в ящик под низ, а Науменко холодно закруглял зоркие глазки и пискливо вскрикивал на стоящего перед ним:

— Ну, что же вы стоите, товарищ?! Видите: занят! Посидите вон там на скамейке, я вас вызову.

У Племянникова томный бритый овал лица и любознательные глаза, полные грустной усмешки. Когда встал вопрос о назначении его ответственным за снабжение Ораниенбаума «Солдатскою правдою», он поглядел было на нас нерешительно и плаксиво. Но ведь он и до этого вместе с Батмановым был связан с нашей военкой. Кому же, как не ему, руководить работою Новикова и Горшкова? Словом, пришлось ему отправиться туда вместе с ними. Проболтавшись добрых пол-дня в бывшей ванной комнате императорской содержанки, в этаком уютном зале с пышным шелком диванов вдоль стен и мраморным бассейном, где теперь среди веселого щебетания работниц, в скипидарном благоухании типографской краски тюковалась наша газета, и подзаправившись там же внизу рисовой кашей в организованной Подвойским столовке, — все трое приволоклись в Ораниенбаум уже под вечер, основательно нагруженные газетными тючками, но бодрые и предовольные от набранных там впечатлений. И Племянников словно ожил. Он тревожно забеспокоился отсутствием складочного помещения, откуда можно было разносить нашу «Солдатскую правду» уже по командам.

Вопрос о нашей партийной штаб-квартире, где бы мог поместиться и наш комитет, вставал все более настойчиво перед нами. В помещение совета, где находился и клуб «Красное знамя», мы решили—пока достаточно не окрепнем — совсем не обращаться из опасения неизбежных подвохов и провокаций со стороны эсеров и меньшевиков.

Для будущего нашего собрания мы временное помещение все же достали. Это была одноэтажная деревянная школа какого-то «Общества трудолюбия», стоявшая совсем на окраине, у залива. Раздобыл это помещение все тот же востроглазый неутомимый Ильинский. И мы тут же решили устроить назавтра общее пар-

тийное собрание. Чтобы порадовать друзей нашими успехами и вызвать их на подмогу, я решил немедля поехать в Кронштадт.

Лиловые волны дрожали, прижатые бетонными плоскими скалами серых фортов. А впрочем, это дрожал пароходик в такт биенью машины, и пели гулкие тросы ветровую песню морей.

«Опыта у вас нет», — вспомнились крики эсеров. «Это верно: опыта у нас нет, — подумал я, приятно ощущая горячий ветерок из машинного люка. — В революции мы все новички: и я, и Племянников, и Науменко, и Батманов, и даже Ильинский. Необстрелянные и наивные новички, взвалившие себе на плечи ответственные и тяжелые задачи. Но разве в других местах, во всех градах и весях России такой же кропотливой и вместе с тем важнейшей работой не заняты такие же, как и мы, малоопытные новички? Где ж раздобыть такое большое количество опытных, старых партийцев? Но пускай даже каждый из нас, взятый в отдельности, еще слаб: и я с наивными заскоками, напористый и легковерный, и вкрадчиво-робкий Племянников, озирающийся на нравоученья своего отца, уездно-чиновного эсера, и Науменко, почтительный писарек с ласковыми щечками и трусливыми глазками, и Батманов, белокурый несмелый тихоня, и даже запальчивый и вместе с тем крепкий Ильинский, смуглый чахоточный мальчуган, пришедший в армию с завода. Какой у каждого из нас опыт?!. Однако, втиснутые жестоким капризом банкиров в гигантскую мясорубку народов, мы в грохоте взрывов, среди штыков, кислосоленых от крови, дерзко подняли свой протестующий голос. Либо нас передушат, раздавят в человеческом крошеве, от которого золотою отрыжкой урчат банковские утробы на avenue de l'Opera или в Сити, и поползут тогда после нас плоские годы хищного обжорства паразитов и тупой придавленности и нищеты трудящихся масс. Либо наши дерзкие голоса поднимут весь мир угнетенных, и тогда могучим мятежным напором миллионов рабочих рук мы свергнем капитализм. Либо — либо. Третьего выхода нет. И что поделать, если пока у нас еще нет достаточного опыта. Ужасное бедствие войны, обрушившееся на все человечество, с неумолимою быстротой закаляет и учит нас. И мы спешим поскорее расти; десятки тысяч таких же, как я, как Ильинский или Батманов, упорно учатся и быстро растут в повседневной жестокой, непримиримой борьбе, двигаясь в дружных растущих рядах большевистского авангарда. Мы растем неуклонно, как неуклонно движется сейчас к нам навстречу, в дыму мастерских и военных судов, в грохоте кранов и лязге цепей, несокрушимый, мятежный Кронштадт».

Рошаля я отыскал в кабинете местного исполкома. Спущенные портьеры скрадывали яркий солнечный свет. Рошаль секретарствовал здесь, небрежно раскинув длинные ноги под большим старинным столом с инкрустациями и медной резною оправой. Одна из

вишневых портьер была полусодрана и пропускала в окно мглистый солнечный луч. По всему зданию на солнцепеке бурлили, гудя словно шмели, матросы, рабочие и солдаты, а здесь стояла тенистая тишина, еле нарушаемая журчанием сдержанного говорка деловых посетителей. Отпустив последнего из них, Рошаль в благодушной усталости потянулся и веселым взмахом руки сбросил со стола ворох окурков.

— Поздравь нас! — с задорной хвальбой подмигнул он и зажег новую папиросу. — Слыхал, что у нас заварилось?!

И с пылкой восторженностью Рошаль закидал меня ворохом новостей. Правительственный комиссар Кронштадта, кадет Пепеляев, вчера подал в отставку. Временное правительство назначило вместо него особого коменданта крепости и особого начальника порта. В связи с этим Кронштадтский совет подавляющим большинством — двести десятью голосами против сорока — постановил взять гражданскую власть в городе целиком в свои руки, сносясь с Временным правительством по делам общегосударственным только через Петербургский совет.

— Власть советам! — хлопнул задорно Рошаль меня по колену. — Сегодня было много хлопот: прибираем к рукам все, что пока еще не входило в ведение нашего совета. Только что издали специальный декрет, объявляющий пьяниц врагами революции, — а то избаловался очень народ. Имущество пьяниц будем конфисковывать, а самих их по вытрезвлении срочно — на фронт. Затем предлагаем сейчас Питерскому совету перетащить к нам сюда Николая Романова, а то он у них из Царского села, того и гляди, удерет к бранельнику, возлюбленному своему Георгу Пятому. А у нас здесь он сидел бы надежней. Мы ему целый Кронштадтский собор отвели бы, все равно ведь пустует. Эх чорт... — озабоченно взглянул он на часы, — сейчас у нас начинается митинг на Якорной площади. Пойдем сказанем что-нибудь нашей буйной кронштадтской братве!

И он молодцевато закинул окурок в голубую китайскую вазу в углу.

Дорогою я рассказал ему о наших ораниенбаумских достижениях и попросил приехать на наше собрание. Он решительно отговорился за недосугом, но взялся передать записку Кириллу.

— Откуда у вас здесь этакое единодушие? — спросил я его, досадливо вспомнив о последней нашей перепалке с эсерами.

— Умеем руководить! — горделиво улыбнулся Рошаль.

— А ваши эсеры?

— Что «эсеры»? У нас эсеры в своем большинстве за нами пошли. Как ни робки пока они, а, представь себе, выразили порицание своему ЦК за его прислужничество буржуазии. У них старик Натансон из-за границы приехал и повел эту новую линию. Заглянул и сюда, а здесь почва готова. Брушвит есть тут у них, лохматый та-

кой паренек; иной раз и ерунду загибает,— у эсеров без этого ведь нельзя, — но нам не перечит... Да что там эсеры! — воодушевился Рошаль. — Ты анархов у нас не слыхал? Услышишь сегодня. Вот путанные башки! С ними в тысячу раз здесь труднее. Упрямые демагоги. Взять хоть бы их Ярчука. Столько вздора наговорят: весь Кронштадт на дыбы, а ты потом тут расхлебывай!..

Площадь со всех сторон наполнялась шумными толпами подлинной боевой демократии. Возле помоста с дощатой трибуной, обтянутой кумачом, грудились наши комитетчики. Они жадно набросились на Рошаля с массой вопросов, касающихся руководства работой разных городских учреждений. В ожидании начала митинга я решил заглянуть в стоящий поодаль за трибуной Кронштадтский собор.

Вход был отперт. Тихий лязг ключей в руке сторожа еще более усугублял могильную тишину этого огромного гулкого склепа. Какой-то блуждающий офицер задумчиво ляцкал тяжелыми каблуками по мраморным плитам мозаичного пола с изображениями жирных рыб. Точеные, розового мрамора, мавританские колонны легко выбрасывали кверху резные бледножелтого мрамора хоры. Вишневая яшма и порфир сверкали по сторонам. Густо-зеленого малахита массивный косяк входной двери ярко лоснился среди матовой, серого камня, стены. Лазурные толстые стекла, вправленные в пол, прикрывали собой подземелье. Белые лица богов с византийскими зловещими взмахами иссиня-черных бровей бессильно глядели на нас с васнецовских иконостасов. Преогромнейший саваоф с растрепанной седой бородой, разрисованный в цвета синьки и шоколада, молчаливо раскинулся по вогнутому потолку. Все здесь застыло и окаменело в своей беззубо-злобной красе. Только мы трое: я, сторож и офицер — были живыми, мятущимися людьми, противопоставленными этому мертвому и никому здесь не нужному миру.

— Не придрались к вашим погонам? — кивнул мне на плечи офицер, когда мы вышли из божественного мрачного склепа на залитую вечерним солнцем паперть, перед которой бурлил и волновался живой тысячеголовый человеческий мир. — Ко мне было придрались, — усмехнулся он добродушно. — Они у себя здесь у всех офицеров золото с плеч поободрали в знак социального равенства. Но я объяснил им, что я фронтовик, и они оставили меня в покое.

— Фронтовик? Что ж вы тут делаете?

— Да приехал в Питер к семье на побывку; всюду гудят о большевистских зверствах в Кронштадте, будто гноят и мучают в тюрьмах арестованных офицеров, вот я и катнул сюда поглядеть.

— Ну и что же?

— Да ничего. Обошел все здешние тюрьмы вместе с каким-то заезжим французским корреспондентом. Видели всех арестованных наших коллег. Сидят, на пищу не жалуются, на обращение — тоже. А вот плачутся: сыровато у них! Ну, я знаете ль, не стерпел. «Эх, — говорю, — господа! Как посидели бы вы на наших местах в окопах третий год по колена в воде, да еще под немецким огнем, не то бы вы тогда запели! Давайте поменяемтесь местами. Я согласен в кронштадтской тюрьме отсидеть хоть до полной победы!»

— Большевик? — быстро спросил я поручика.

— Нет, что вы! Какой уж я там большевик! — запротестовал он настойчиво и убежденно. — Просто, знаете ль, нам в окопах виднее. И безнадежна и бесцельна война. И чорт ее знает, зачем у нас ее тянут!

Он откозырнул беспокойно и суетливо и скрылся в бурливой толпе.

На митинге мне дано было слово для приветствия от ораниенбаумского гарнизона. Сзади меня терпеливо теснились долговязый Рошаль, взлохмаченный Брушвит, юркий Ярчук. С высокой трибуны трудно глазами объять величественное море жадно повернутых к тебе плеч и голов. Ветерок шевелил мои волосы, а снятую фуражку я машинально мял беспокойной рукой. Чтоб услышали все, надо было кричать. Надо было кричать, чтобы знал весь многотысячный флотский Кронштадт, первый установивший у себя советскую власть, что теперь у него там вон, на берегу за заливом, уже есть такой же сознательный, день ото дня все растущий, революционный отряд надежных товарищей пулеметчиков, которые в нужный момент, в нужном деле завоевания всей власти советами поддержат кронштадтцев.

Солнце било в глаза. Под восторженный рев тысячи рук размахивали в воздухе матросскими бескозырками, и ленточки весело трепетали от ветра.

Гордая боевая самоотверженность кипела во мне и выливалась в задорно-уверенном крике:

— Товарищи!.. Мы растем!..

15. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НЕПОЛАДКИ

Помещение для партийного нашего комитета достал Науменко. То ли писарским своим положением при канцелярии офицерской школы снискал он себе авторитет среди ораниенбаумских трактирщиков, то ли сам бывал непрочь порою раздавить запретную сивушную красноголовку в укромном закоулке трактирных покоев и через то удостоился благоволения местных кабацких целовальников, — но только это он добыл для нас просторную комнату второго этажа, куда лестница вела из трактира. Он восторженно сооб-

щил нам об этом вечером в тускло освещенном бревенчатом зале, где мы устроили наше партийное собрание.

Пришло около двухсот солдат. Они со скрипом рассаживались за крохотными детскими партами, безуспешно пытаясь затиснуть в них свои неуклюже торчащие ноги.

Из Кронштадта приехал Кирилл с белозубым молодцеватым матросом Пелеховым. Здесь нам никто уж не мешал, речи наши звенели теперь бодро и победно. Ведь подумать только: мы, травимые всеми ленинцы, наконец-то сумели собраться здесь без помех на свое широкое организационное собрание. Выступали мы здесь все без смущения—и прапорщики и солдаты. Наши осмелевшие глотки настойчиво говорили о сплочении всех наших сил, об укрупнении и укреплении наших ячеек в командах, о необходимости самой энергичной, самой широкой и самой быстрой агитации среди масс.

Тут же мы выбрали и свой партийный комитет. Кандидатуры выкрикивались с мест самими солдатами очень продуманно и ответственно. Чувствовалось, что вся многотысячная солдатская масса Ораниенбаума, в лице самых сознательных своих представителей, выбирает здесь для себя надежнейших политических вожаков, строго взвешивая их преданность делу, твердость, сметливость и решительность.

Помимо нас, офицеров военного времени, Батманова, Племянникова и меня, остальные члены комитета были выбраны из солдат. Это были: Ильинский, Горшков, Новиков, писарь Науменко и писарь одной из кольтовских команд, некто Рубцов, человек спокойный и сосредоточенный, на все поглядывающий снисходительно-насмешливым взглядом. Перед голосованием каждый из кандидатов сообщал краткую свою биографию, и оказалось, что Рубцов Адриан — старый большевик, работавший еще на бакинских нефтяных промыслах, и мы тут же прониклись к нему большим уважением. Все кандидатуры были утверждены дружным взмахом солдатских рук, без единого воздержавшегося, и вот тут-то наш тихоня Науменко нечаянно предложил ввести в комитет и Филипповича. Над собранием нависло неловкое молчание, и мы в президиуме растерянно переглянулись. Нежданно и Рубцов поддержал эту кандидатуру голосом небрежным, но в то же время настойчивым.

«Что ж, — подумалось мне, — Филиппович — это хитрая шкура, да, авось, в нашем крепком ядре мы его обработаем».

Кое-кто из солдат с мест начал было заявлять отводы Филипповичу, ссылаясь на соглашательство его и прислужничество перед начальством. Тогда я выступил в защиту его, как старого большевика, и хоть незначительным большинством, но все же провели его в наш комитет. Науменко и Рубцов обрадованно при этом переглянулись.

По окончании собрания у нас было приподнятое настроение. Всем нам хотелось запеть что-нибудь торжественное, а что петь — мы сами не знали. Кирилл, одевая свой обдрипанный дождевик, затянул было «Интернационал», но ни слова его, ни мотив еще не были тогда нам известны, и потому разноголосое пение наше сорвалось и потухло, быстро сменившись мощным:

Смело, товарищи, в ногу!

И дружно рявкнули две сотни голосов:

Духом окрепнем в борьбе!..

Небо было мрачно от туч, моросило, залив ревел от ветра, и мокрые космы плакучей ивы осыпали нас крупным дождем. Но мы шли мятежной ватагой, довольные и ликующие, и сырая земля бодро чавкала у нас под ногами. Большевистский комитет выбран, теперь — за дело!

Собрание самого комитета состоялось у нас наутро. Мимо грязных столиков, за которыми потеющие извозчики медлительно прихлебывали чай, скрипучею темной лестницей, пропахшей керосином и щами, поднялись мы в просторную комнату, в которой были и стол и несколько скамей, а на прогнивших деревянных подоконниках прозрачно зеленели в горшках розовеющие бальзамины. Мы все были в сборе, кроме Науменки, которого дольше ждать не стали, и деловито уселись за стол, чтобы разработать программу наших предстоящих действий. Снизу доносились хриплые голоса, звяканье чашек, визг прибитой собаки.

— Кабак! — брезгливо потянул носом Племянников.

— Веселей будет жить, — насмешливо заметил Рубцов.

— Кабак-то — внизу, мы выше его непотребства! — шутливо ухмыльнулся веснушчатый лучеглазый Горшков. — А все ж, братцы, здесь куда лучше супротив того социалистического облизанного клуба с его эсеровским мошенством! — И он принялся поспешно развязывать только что привезенный им тючок со свежими номерами «Солдатской правды».

На заскрипевшей лестнице показалось личико Науменки, как всегда румяненькое и прилизанное, а из-за плеча его вдруг нежданно-негаданно глянул заостренный ус Филипповича. Тревожная неловкость овладела всеми нами, однако мы предупредительно подвинулись, предоставив гостю главное место. Филиппович, садясь, метнул по комнате быстрым взглядом, барственно потянулся, крутнул тонкий ус и словно нехотя процедил сквозь зубы:

— Ну, как-то у вас тут теперь?

— Вчера двести девятнадцать человек у нас было, — прощебетал Науменко, — да и это далеко не все еще собрались.

— Растут новые большевики, что грибы после дождя... — полунасмешливо обронил Рубцов и вопросительно взглянул на Филипповича.

— Не в количестве дело, а в качестве, — поморщился тот спесиво. — В партию вы принимаете или в кабак?! Тюх да Митюх понабрать недолго. Да что будет толку?!.

— Непримиримо воюя с вашими социал-приятелями, мы из Митюх выковываем неплохих большевиков, — срезал его Ильинский, от волнения залившись румянцем. — Что ж, ребята, — сверкнул он черными глазами, — намечайте-ка план наших будущих действий! Давайте прежде всего наладим в этом помещении планомерные пропагандистские беседы для крепкой большевизации наших ребят.

— Идет! — воодушевился Батманов. — Я берусь читать политическую экономию.

— Я, пожалуй, могу взять беседы о текущей политике, — робко предложил я, видя что все остальные жмутся и выжидают.

— Ну, а я смогу потолковать немного про аграрный вопрос и про войну, — смело добавил Ильинский.

— Только мы вот ничего пока еще не сможем, — по-девичьи застенчиво ухмыльнулся Горшков, выглянув из-за газеты, в которую он уткнулся вместе с толстогубым Новиковым. — Впрочем, мы вам к беседам свежие газеты представлять сюда будем.

— Не только представлять, но вы будете и зачитывать их здесь вслух на беседах и разбирать. Этак и сами-то вы быстрей понатореете! — ободрил их Ильинский. — Ну, а сейчас бросьте ваше чтенье. Над чем это вы там так скрючились?

— Песенку презабавную Демьян Бедный здесь пропечатал, вроде как «Барыню», — осклабился Новиков, — насчет братания с немцами. Горшков вот подзуживает разучить ее по всем нашим командам для хорового чтоб пенья.

Горшков ликующе фыркнул, а Филиппович презрительно на них покривился.

— Покажут нам немцы такое «братание», что как бы в ноги союзникам кланяться не пришлось, да, поди, будет поздно, — проскрипел он зловеще.

— Они нам покажут, а мы посмотрим, — с издевкой ответил Горшков. — Вот пишут в газете, что у них там и в Вене и в Будапеште большущие забастовки на мунициoнных фабриках начались. Будет дело!

— Мало ли что в «Правде» пишут, — натиленным голосом выдавил Филиппович. — Немцы не такие азиаты, как мы. Немцы — народ аккуратный. Если и сделают что у себя, то уж по-европейски. У них там рабочие в галстуках ходят и уж против хозяев своих ни-

когда и пальцем шевельнуть не посмеют. Они вашу демьяновскую «Барыню», поди, разучивать хором не станут.

— А не плоха Демьянова «Барыня»! — поддразнивающе хлопнул Горшков по газете. — Всенепременно разучим!..

— Бросьте-ка своих «барынь», делом пора заниматься! — огрызнулся на солдат Рубцов.

Организацию пропагандистских бесед мы поручили Батманову.

— Быть может, мы распределим сейчас меж собой и другие обязанности? — нетерпеливо заерзал Племянников.

— Кто будет, во-первых, председателем нашего комитета? — сумрачно обронил вопрос Рубцов и бегло взглянул на Науменко.

Тот покраснел и молча покосился на Филипповича, который с напускной озабоченностью разглядывал свои ногти. Но Филипповича никто не назвал. Все назвали меня, но я настойчиво провел Ильинского. Секретарем выбрали уж меня, а казначеем — Науменко. Племянникова сделали моим заместителем и, кроме того, поручили ему экспедицию газеты и связь с Кронштадтом. Рубцову дали задание связаться с местными железнодорожниками.

Науменко жалко покашливал.

— А что мы поручим Иосифу Владимировичу? — пропел он тоненьким голосом, заискивающе взглянув на Филипповича.

Все смолкли, потупясь.

— Мне с вами работать, товарищи, некогда, — высокомерно обронил тот и деланно позевнул, — у меня на плечах исполком...

Едва замяли этот неловкий вопрос, как Ильинского угораздило тут же предложить провести в ближайшие дни по нашим командам бойкот всех газет, кроме «Правды» и «Солдатской правды». Филиппович тоскливо поежился и решительно поднялся.

— Вы вообще-то напрасно выбирали меня в свой комитет, — проскрипел он раздраженно, — таким дикостям я не потатчик. Где, спрашивается, здесь принцип демократии?

— Прикажете из-за демократии вашей пичкать солдат этим ворохом вражьих продажных газетин, которыми бесплатно заваливают наши команды из помещичьих и банкирских редакций?! — озадачился вслух Новиков и сам тут же смутился своей смелости.

— Я не о кадетских газетах вам говорю, — с ненавистью огрызнулся Филиппович. — Но ведь заодно с кадетскими вы радехоньки похерить и все социалистические, близкие нам газеты: «Дело народа», к примеру, «Рабочую газету», «Новую жизнь», наконец даже наше местное «Красное знамя»! Ведь это ж поистине готтентотская мораль: чего, дескать, наша левая нога хочет. Тоже «леваки», прости господи!

— Про «Красное знамя» мы ничего не говорили, — смущенно обронил Племянников, уже готовый бить отбой.

— Конечно, нельзя этак с «Красным знаменем», это здешняя наша газета, — взволнованно проверещал Науменко, покраснев еще больше.

— Да его и так тут никто не читает, — как бы вскользь обронил Ильинский. — Но вот меньшевистскую и эсеровскую брехню, всякое это вытье империалистических подхалим, социал-оборонцев, мы, большевики, разумеется, поощрять здесь тоже не будем. Бойкот, так бойкот! Кто, ребята, за это?

Подняли руки все враз. Только Науменко конфузливо свою попридержал, увидав, что Филиппович вызывающе заложил руки в карманы, да Рубцов, уже вытянув руку, вдруг старательно стал дуть на нее, словно ее укусила оса.

— Желаю вам счастливо заворачивать вашей партийной дружиной, — язвительно прошипел Филиппович, презрительно кивнув и направляясь к лестнице. — Я, сами знаете, слишком занят. В исполкоме у меня столько дел!.. И посещать вас не обещаю. О тактике вашей поговорим в ЦК. В остальном — поступайте, как вздумается. — И он скрылся, брезгливо шмыгнув носом.

— И поглотил его трактир...—насмешливо произнес Ильинский.

— Обидели человека. Довели, что ушел! — со злобной укоризной кинул почему-то мне Рубцов. — Ежели он здесь работать не будет, то и я тоже для вас не работничек. Больно мне нужно валандаться с местной железнодорожной шпаной! — И он тоже решительно двинулся к лестнице.

— Куда ж это ты, Адриан?!. Ну как же это так, ей-богу! — растерянно залепетал Науменко, торопливо собирая со стола свои записочки и листочки. — Пойду-ка уговорю их! — погнался он вслед за ними, даже не оглянувшись на нас.

— Ничего из Филипповича не выйдет. Зря мы его выбирали! — веско отрубил Ильинский, закрывая наше заседание.

— Да и от Рубцова тоже толку жди мало, — обескураженно вставил Горшков, — в Февральскую революцию он, сказывают, в лес от нас убежал, лишь бы в Питер тогда не итти. А туда же теперь: «большевик», «большевик»! — сердито сплюнул он в сторону лестницы.

Всю дорогу до Питера беседовали мы с Ильинским обо всех этих организационных неполадках. Он спешил на крестьянский съезд, а я решил проехать в ЦК, чтобы потолковать там и о тактике нашей и о Филипповиче, да, кстати, порадовать Ленина нашими достижениями.

Строгое лицо Стасовой сделалось еще более строгим, когда, найдя ее в особняке Кшесинской, я заговорил с ней о Филипповиче.

— Филиппович — старый партиец, — прохладно, как льдинки, блеснули ее пенсне. — Нареканий на него до сих пор не было.— И она деловито закинула за ухо шнур.

Контакта с ним не получается,—протянул я обескураженно.— Спросите хотя бы Ильинского...

Взгляд ее серых глаз слегка потеплел, только губы ее были попрежнему тонки и сухи.

— Попробуйте поработать. Если будет вести себя не большевистски, тогда сообщите. Только пожалуйства конкретные факты.

Я смущенно мял в руках свою фуражку.

— Да и зачем, спрашивается, сидеть вам сейчас в своем Ораниенбауме? — в ее голосе послышались новые нотки. — Комитет у вас выбран. Работа, вы говорите, налаживается. Публика есть. Ильинский и один пока может там справиться. Какие места в России вам всего больше знакомы?—спросила она деловито в упор.

— Казань... Черниговщина... Омск... — стал перечислять я растерянно. — Только ведь я офицер. Меня не пустят отсюда.

— Отпуск возьмите. Пустят, — отрезала она непоколебимо. — И съездите в Омск. Очень все кстати. Там до сих пор объединенная организация. Варятся в общем соку с меньшевиками. У вас энергии много. Свезете литературу и положение наше им разъясните. К тому времени, глядишь, и склока здесь ваша уляжется...

— Склока?.. — обидчиво посмотрел я на строгую ее прическу.

— Ну, ладно, ладно, — заговорила она успокаивающе. — Вы ведь быстро вернетесь, и все образуется. Я сейчас же велю заготовить для вас эмиссарский мандат от ЦК. Литературу возьмите у Бокия.

Ильинского надо было повидать теперь спешно и во что бы то ни стало. Но не так-то легко было разыскать его среди сутолоки крестьянского съезда. Только что кончилось заседание нашей фракции, и фронтовики шумной вереницей тянулись в зал. Однако Ильинского среди них не было. Старая записочка Дербера пригодилась вновь. Меня пропустили.

Эсеровский птичий синклит попрежнему сонно громоздился в президиуме. Заплывший жирком Бунаков лениво пощипывал кудель своей бороденки, держась за председательский колокольчик. Хитроватые глазки его бегали, как мышки за щелкой. Он позвонил, поднял пухлую руку и объявил, что сейчас выступит бельгийский министр-социалист, вождь рабочего Интернационала товарищ Вандервельде.

Тщетно я рыскал глазами по притихшим рядам. Ильинского нигде не было видно.

Зал зазвенел от хлопков. К трибуне мячиком быстренько выкатился Вандервельде. Он резво сбросил пенсне со своего попугаячьего красного носа, вытянул вперед ручки и крикнул картаво:

— Comrades!..

Гусиные глазки его розовато зарделись, и в затихшем зале пустозвонно запрыгала напыщенная французская скороговорка.

— О-о-о! Как не приветствовать великий героический русский народ, распрекрасных русских крестьян и рабочих, сместивших своего царя, этого свирепого мирового жандарма, подавлявшего социалистический прогресс во всем мире! Лишь теперь наконец все народы свободны, чтобы развивать революционную деятельность внутри своих стран. Ужасный русский жандарм никому больше не страшен. О! Русская революция столь грандиозна, о! столь грандиозна — и по масштабам своим и по бескровности!..

Я вспомнил зверский февральский расстрел безоружной толпы на Невском, десятки багровых гробов, качавшихся словно пурпурные лодки на черных волнах беспредельной рабочей реки, заливщей в день похорон этих жертв все необъятное Марсово поле, — и горестно ухмыльнулся.

Вандервельде меж тем не унимался. Его лысина порывисто сверкала во все стороны. Когтевидным клинышком кургузой эспаньолки он словно старался вдолбить в эти тысячи доверчивых крестьянских голов веру в искренность своих восторгов и в святость своего мясницкого ремесла.

— ... Иностранные социалисты бесконечно рады, что русские революционеры, что вы, русские рабочие и крестьяне, вполне солидарны с ними. Кровожадный враг — на границе. Горемычная Бельгия им раздавлена. Жители разорены и лишены крова безжалостными тевтонами. О, верните несчастным свободу! О, мы верим! Да, мы надеемся! Ждем!.. Вы — нераздельно вместе с союзниками до полной, конечной победы!

Зал вновь разразился рукоплесканиями, когда Вандервельде, колыхаясь пузом, расшаркивался, высоко закидывая пятки. Речь его методично и плавно перевел барственно важный Авксентьев. Хлопки покатились, но жиже. Тогда Авксентьев мягко погладил лопаточку своей бородки и взял себе слово.

— Да, русский народ, ликвидировав царизм, приложит теперь все усилия, чтобы рука об руку, в единении с союзниками покончить и с тем ужасным внешним врагом, который кровожадно грозит свободе народов и который так грубо и бесчеловечно, вопреки всякому международному праву, вторгся и разорил маленькую несчастную Бельгию. Бельгию мы спасем беспощадным ударом по немцам!

Президиум свирепо загрохотал в ладоши. В зале его поддержали, заглушив взрывом рукоплесканий дерзкое шиканье, настойчиво несшееся из разных рядов.

Я вновь огляделся в надежде увидать Ильинского, но безуспешно.

Авксентьев сменил Бунакова, властно потряс колокольчик и величаво провел своей холеной тонкой рукою по осанистому лбу и волнистым прядям волос.

К трибуне подскочил невзрачный, серенький человечек в поношенном пиджачке и обдрипанных узких брючишках, еле прикрывающих у щиколоток облезшую резину порыжевших штиблет. Подслеповато поправив замотанные ниткой очки, он поежился, что-то шепнув на вопрос председателя, и Авксентьев сдержанно объявил, что слово имеет Абесгауз.

— Русский народ совершил революцию, — спокойно начал оратор, сосредоточенно почему-то уставясь на носки своих пыльных штиблет. — Он свергнул царя и устроит свою дальнейшую жизнь, как покажется ему лучше.

Авксентьев пытливо пронзил властным взглядом тщедушную фигурку оратора.

— Учредительное собрание, созываемое в ближайшее время, — продолжал тот, силясь теперь натянуть к кистям рук короткие рукава пиджачка, — установит форму правления и вырешит основы нашей внешней политики.

Авксентьев успокоенно кивнул головой и нежно разгладил лопаточку своей бороды.

— Реставрации мы не допустим! — подслеповато мигнул Абесгауз и хмуро уставился в зал. — Но русский народ удивлен, что министр Бельгии, виднейший социалист, глава Интернационала, и вдруг терпит там у себя в стране монарха Альберта! Мирится с конституцией вместо республики. Вместо сосредоточия законодательства и исполнительной власти в руках народа, представителем которого является «социалист» Вандервельде, он имеет еще и своего «социалистического» короля!

Весь президиум враждебно насторожился, и тонкие пальцы Авксентьева тревожно замерли на бороде. Другая рука цепко зажала резко звякнувший медный звонок.

— Войну до победного конца, — продолжал Абесгауз, спокойно поправив замотанные ниткой очки, — надо вести не только с тем врагом, что стреляет по нас из своих окопов из пушек и пулеметов, пускает газ или сбрасывает бомбы, — но в первую очередь с врагом внутренним. Если наш отсталый русский народ сумел сбросить царя, то как же культурные бельгийцы до сих пор своего еще терпят?! И было бы приятно, если бы Вандервельде вот с этой трибуны сказал нам: вот вы свергли царя своего, ну и мы своего короля тоже свергнем!

— Демагогия — эта речь! — закричал Бунаков, взъерепенясь, и ударил по столу кулаком.

— Провокация! — завизжал кто-то у него сзади.

Зал молчал.

— Альберт — демократический государь! — придушенно выхрипнул, что было силы, Чайковский.

— «Социалистический»! — звонко выкрикнул кто-то в зале, и мне почудилось, что то был Ильинский.

Раздался смех, заглушенный звонком.

— И при чем тут дался вам бельгийский король, когда речь идет о задачах нашей революции?! — шмякнул колокольчиком о стол Авксентьев.

— А вот при чем, — подслеповато оглянулся на него через очки Абесгауз. — В минуту опасности и наши «социалисты» тоже пробовали сплотиться вокруг царского трона. Иль забыли вы, как в четырнадцатом году, при объявлении войны, наши русские «социалисты» с благословения Плеханова и того же Вандервельде, как наши русские студенты, пошли с иконами и национальными флагами к Зимнему дворцу, где при появлении монарха упали перед ним на колени и приветствовали этого жандарма как верховного вождя нашей армии. Ведь это было такой же гнусной изменой, таким же подлым предательством... — и Абесгауз в негодовании потряс в воздухе чахлыми кулачками, — с какими сейчас «социалист» Вандервельде...

— Долой!.. Вон!.. Мерзавец! Прохвост! — взрывается бешеный рев в президиуме и в ближних рядах. — Стащите, сукина сына, с трибуны!..

— Насилье!.. Позор!.. Затыкаете глотку!.. — несутся дикие выкрики с мест.

Зал бушует. Абесгауз, махнув рукой, неуклюже сходит с трибуны. Авксентьев остервенело звонит.

— Объявляется перерыв!..

Рев и шум не смолкают, хотя все движутся к выходу.

— И за каким только чортом давал Авксентьев слово этому идиоту?!

Сюртук пожимает плечами:

— Организационные неполадки...

— Расейская некультурность: иностранного гостя, известного социалиста — и вдруг этак выругать с трибуны!

— Возмутительнейшая наглость!

— Должно быть, немецкий шпион!

— И фамилия-то у него этакая... Абесгауз.

— Ерунда. Уже девять лет вместе с братом моим на одном здешнем заводе работают.

— Хорош же ваш брат!

— А вы-то что, за Альберта?

— Клюнули на Виндервельду?

— А что ж, он — социалист. Из Интернационала!

— Мясники они! За нашим мясом сюда прискакали!

— Хватит!

— Бросьте!

— Ишь, петухи!

— А чего ж он Вандервельдою тычет? Знаем мы теперь их, Гендерсонов!

— Одно слово — вампиры!

— А ты Альберту Тома не видал? На прошлой неделе тут выступал. Ну и харя! Чисто что ж...! Носа меж щек не ущупаешь. И бородища снизу — что веер.

— Союзнички! Мать иху так. Налетели сюда — что на падаль.

— Товарищи, постыдитесь!

— А эсеры, вишь, за Альберту. Пареньку разом глотку заткнули.

— Ни черта не разберу: и Авксентьев и Вандервельде — одинаковые сволочи!..

Ильинского выискал я у самого выхода.

— Милый Ваня! ЦК меня посылает... Конечно, это не надолго. Но пока придется тебе одному... С Филипповичем держи ухо востро!

— Не проведет! — отвечает Ильинский задумчиво. Мысли его о другом. — Ты слыхал, как рабочий один отчебучил сейчас Вандервельде? И это — пока беспартийный! Эх, как растет в народе сметка! Нет, теперь уж не обморочат. В мясорубку мы не полезем. Интересно теперь, как в Германии там?.. Вот бы — враз!..

Я вернулся к себе в Мартышкино к вечеру. Мандат от ЦК за № 343 лежал в кармане. Хлопотать сегодня в Ораниенбауме об отпуске уже было поздно. Свежие гроздья пунцовой сирени убаюкивали тревожные мысли пахучим дыханием своим из поломанных палисадов. Солдатский гомон за одним из них внезапно сник, сменившись резкою тишиной, и стали слышны в нем визг стрижей и медленный шум деревьев.

— Начинаем! — весело прозвенел чей-то удивительно знакомый голос.

Гармонь бурно рванула густой, сочный аккорд и замерла на тоненькой нотке. И вдруг чей-то чистый, свеженький голос начал лукаво выводить в переплете с гармонью мотив «Дуни-ягоды».

— «Бойня на-ачата не нами, а царями да панами».

И грузно сорвался стройный громкоголосый хор:

— «Верно ль это, барыня? Верно ли, сударыня?»

— «За чужие ж дележи, — вылепливал голосистый певец дальше, — неча лезть нам на ножи...»

— «И эх! — грянул хор с присвистом,— ни к чему нам, барыня. Ни к чему, сударыня».

— «И у немцев, чаем, тоже выйдет дело с нами схоже».

— «С нами схоже, барыня! — всхрипнули враз с мехами гармони буйные солдатские глотки. — В самый раз, сударыня!»

— «Ходят к нам их ходоки, — изворачивался голосишко, — люд фабричный, батраки!»

— «Люд фабричный, — разом крякнули глотки, — барыня, батраки, сударыня!»

— «Мы к ним с братскими словами, — заливисто продолжал запевала, — дело, дескать, все за вами...»

Я стоял, облокотясь на изгородь палисада. Там, вдали у палевого марева Кронштадта, переливался в искристых струйках бурый Финский залив. Ведь если помчаться по этим волнам, приедешь в Киль, где в лязге и грохоте подъемных кранов свинцово застыл германский императорский флот. Неужели там все спокойно?

— «...Будет дело, барыня! — с непоколебимым упрямством ревели солдаты, перекрывая задохшуюся в хрипе гармонь. — Первый сорт, сударыня!»

— «Отвечают немцы: гут! — захлебывался певец. — И уж верно: не соврут».

— «Надо думать, — зычно рванул хор, — барыня! Не солгут, сударыня!»

— «Заварухе дай начаться, дай лишь немцу раскачаться!» — проникновенно убеждал звонкоголосый.

— «Раскачаться, барыня! — остервенело подхватили солдаты.— Ррраззойтись, сударррыня!»

— «Рассчитать все наперед: уж такой они народ!»

Гармонь, должно быть, неистово билась в руках гармониста, как озлившийся пойманный гусь.

— «Башковитый, — гаркнули разом солдаты, — барыня! Деловой, сударыня!»

«А лихо ведь разучили молодцы кольтовцы эту демьяновскую «Барыню», — подумал я горделиво. — Должно быть, это наш Горшков так старается. У этого, как видно, слово с делом никогда не расходится».

— «Дело сделают, — не унимался певец, — не скоро, да зато уж выйдет споро!»

— «Вот как споро, барыня! — ретиво затопали солдатские каблуки. — Начисто, сударыня!»

— «Дело немцы доведут, тут войне, глядишь, капут!» — неистово заливался звонкоголосый.

— «И айдате, барыня! — лихо расплясались солдаты. — По домам, сударыня!»

«Хорошо бы этак! — радостно подумал я, двинувшись к дому. — А вдруг да как нет?! — екнуло сердце. — А впрочем, революция — дело трудное и серьезное. Ноты для нее не написаны. И не все-то получается гладко и согласованно, как у этого спевшегося хора... Ну и галстуки, разумеется, немного мешают, — вспомнил я про Филипповича. — Словом, всякие организационные неполадки... Но — дело будет. Революция вспыхнет и там. Не может не вспыхнуть. Не может!»

16. СЛОВО ВОЖДЯ

Судаков проницательно посмотрел на меня, но ничего не отразилось на его холеном бритом горбоносом лице.

— Хорошо, отпуск вам мы дадим. Почему же только на две недели?

— Возможно, что я вернусь раньше.

— Нет, я говорю: почему не на месяц?

— На два и на три охотно отпустим, — цинично ухмыльнулся сидевший подле него подпоручик Громыко. — А должно быть, коллега, все же круто пришлось вам здесь в Ораниенбауме? Сознавайтесь. Не особенно-то клюет солдатня на вашу ленинскую демагогию. Поразвеяться теперь думаете на расейских просторах?

— Да, поразвеяться.

— Вам бы на фронт прогуляться неплохо. Вон прапорщику Семашке Судаков уже накатал предписанье — на фронт. Кстати, и вы б за компанию!

— Я здесь в кадре, господин поручик, — дерзко я посмотрел на его тупое лицо, — хотя понимаю, конечно, вашу готовность от нас избавиться. Меня, я так полагаю, не легко все же будет вам выкурить

— Посмотрим, — вызывающе протянул Громыко и закурил папиросу.

— Ладно, документы мы вам заготовим, — все так же официально и сосредоточенно продолжал Судаков. — Только прибыли-то вы к нам сюда из военной комиссии Государственной думы. Не может ли так случиться, что она потребует вас обратно? А вы вдруг в отпуске...

— Но ведь я ж из вашей части.

— Это правильно, а все ж нельзя ли достать от них справочку о неимении препятствий к отпуску?

Пожав плечами на вздорность такого требования, я принужден был, не откладывая дела, поехать в Питер.

В особняке Кшесинской я сообщил Стасовой, что еду. Внизу, в полутемном кабинетике Бокия, я добыл литературу: пятнадцать экземпляров резолюций апрельской конференции нашей, воззвания к солдатам воюющих стран и голубенькие книжечки десяти последних номеров нашего заграничного «Социал-демократа». Больше у Бокия ничего не было, да и некогда ему было со мной заниматься. В кабинетик его то-и-дело вбегали запыхавшиеся рабочие.

— Глеб Ваныч, слыхал?! Нас тож разгружают. Седни — приказ по заводу: собирать все монатки и готовиться куда-то на Волгу. А куды — и сами толком не знают. Станки и всякое оборудование — опять же оставляют здесь. Одношная цель: вышибить нашего брата из Питера. Все за то, что большевицкую резолюцию приняли.

Ребята теряются, что начать. Кто говорит: забастовку завтра объявим, а кто — так: выходи, дескать, прямо на улицу!

Рабочий то-и-дело отчаянно хлестал себя рукой по лбу, заламывая кепку все удалей и грознее.

— То ль бастовать нам, Глеб Ваныч, то ль впрямь на улицу выходить? Как ЦК рассуждает?

— Сейчашное положение су-урьезное, Глеб Иванович! — лихорадочно тряся седеющей головою другой подбежавший рабочий, и синие жилы вздувались шнурами на его изможденных бурых висках. — И нашим тоже нонче приказано выезжать. А ведь у рабочего, что у собаки на хвосту, нацеплено репья немало: и бабы тут тебе, и ребятишки, и сундучишки там разные. Рази можно враз подаваться, паралик их всех расшиби! Как теперь нам тут быть — смекать, Глеб Иванович, су-урьезно требовается. Углев у нас нет. Злоумышленно это они не закупали. Работать, сталбыть, нечем. Не поедешь — беспременно рассчитают. Беду нажить — не водички испить, примерить да помудрствовать надобно. — И старикан озабоченно поправил синие свои очки, самодельно окрученные медной проволокой, от которой у него и на переносьи и за ушами зеленели темные пятна.

— Слыхивал все это уже, ребята, — пасмурно ответил им Глеб Иванович, и его впалые щеки дрогнули мрачной судорогой. — Завтра будет специальное заседание ЦК по этому вот вопросу. Завтра же всех и оповестим. Собираться да выезжать из Питера рабочим ни в коем случае нельзя. Фабриканты согласованно бьют на закрытие и локаут. Министр Коновалов третьеводни подал в отставку, настаивая на решительном походе против рабочих. Кадеты норовят поскорее выкурить нас из столицы, чтобы крепче прибрать власть к рукам. Этого мы не допустим и дадим им отпор. На улицу выходить зря — не гоже, а что касается забастовки, то завтра мы все пообсудим и решим. Завтра к вечеру все и узнаете. Пока же, товарищи, по местам! Держи связь, и на выезды — ни в какую! Вот вам директива ЦК.

Рабочие слушали Бокия сосредоточенно. Только напористый, в кепке, хмуро вертел на столе спичечный коробок и в сердцах раздавил его пальцем. Коробок хрустнул, и спички яростно разлетелись на пол.

Полный комплект «Солдатской правды» я раздобыл в военке.

— Сааседушка! — ретиво окликнул меня сочный басок, и я увидал ершастую голову поручика Дашкевича. — Что ж, милок, в Петергоф к нам не заглядываешь? — приветливо осклабился он, зажав в кулак свою черную кудлатую бородку. — Мы комитет там свой организовали: я, Жарновецкий, Освальд Дзенис и прочая наша братва. Третий пехотный наш полк в Третий национальный переименовали. Сами заправляем теперь всеми делами. Беседы по

ротам проходят у нас там во-всю! Не закис ты еще в своем Ораниенбауме?

И я тут же отчетливо понял, что все, что делается сейчас у нас в Ораниенбауме, делается повсеместно по всей шири России: и в Петергофе, и в Стрельне, и в Красном селе, и в Самаре, и в Ряжске, и в Омске. Везде имеются свои Ильинские, свои Горшковы и, должно быть, везде существуют и свои Филипповичи. Но в ожесточенной борьбе с социал-предателями всех мастей всюду куется пролетарская большевистская организация. Мы крепнем и мы растем, преодолевая тысячи внутренних неполадок. Можно было б порасспросить сейчас Петю Дашкевича: как налажены у них там беседы, готовят ли они своих пропагандистов, каковы отношения с местным советом, как проходят чтенья газет. Но интерес к предстоящей поездке заслонил для меня все остальное. К тому ж по возвращении можно было б и лично заглянуть в Петергоф. А тут как раз подоспел прапорщик Дзенис. Круглолицый и юный, с желтым цыплячьим пушком на щеках, он задорно сверкал голубыми глазенками.

— Товарищи, валим разом в народный дом. Там сейчас на крестьянском Ленин выступать должен.

Все поднялись и зашумели. Послушать Ленина у крестьян было важно и интересно.

— Не пустят! — сокрушенно махнули иные рукой.

— Продеремся! — рявкнул Дашкевич.

В общей гурьбе, оставив свой тючок в военке, я помчался на Кронверкский.

В вестибюле была толчея. Весть о том, что сейчас выступит здесь сам Ленин, всполошила эсеров. Именитый их птичник засуетился и подтягивал сюда спешно все свои силы. Пропускали в зал со строгой проверкой. Пока наши спорили возле дверей, мне удалось прошмыгнуть и усесться в партере. Со мной рядом степенно сидел худощавый бородач в засаленной серой поддевке и презимистый рябой мужичонка в домотканном буром кафтане. Президиум уже восседал за столом в боевом чинном порядке. Прямой, словно жердь, Чайковский высоко взметнул седовласую голову и зловеще мерцал глазами сыча из-под густо нависших седых бровей. Хищным кобчиком возле его плеча крутил кубастенькой головенкой кургузенький Дербер. Бунаков, жирный, как пингвин, озирался вокруг неповоротливо и тревожно, то-и-дело что-то шепча дородному Авксентьеву, что, словно голубь грудастый, тихо с ним ворковал на своем председательском месте. Но ни Брешковской, ни Гоца, ни министра Чернова здесь еще не было. Чувствовалось, что президиум кого-то трепетно ждет. Кого-то, но только не Ленина. Он подошел, этот не нужный им Ленин, совсем незаметно, быстрой сутулой походкой, к их креслам сзади и произнес что-то, нагибаясь к Авксентьеву. Но Авксентьев еще издали увидал его приближение

и успел торопливо ткнуть Бунакова, и тот поспешною переваличкой уже семенил к трибуне. Ленин хмуро взглянул на часы и что-то сердито сказал Авксентьеву, резко взмахнувши рукой.

— Лидер партии социал-демократов большевиков, товарищ Ленин, — плавно поднялся Авксентьев, заставив тем Бунакова растерянно замереть на полдороге,—просит предоставить ему слово вне очереди: он настолько занят, что сможет выступить только сегодня.

— Просим! Просим! — настойчиво понеслись выкрики из рядов, все заерзали, повытянув шеи, и настороженная тишина взорвалась бурным грохотом рукоплесканий. Крестьянский съезд приветствовал появление невиданного бунтовщика.

Быстрыми шажками Ленин спешил к трибуне. Оба моих соседа нетерпеливо вытягивались, пытливо и сосредоточенно вглядываясь в коренастую его фигуру и высокий сверкающий лоб, низко склонившийся над разложенными листочками. Наконец Ленин поднял голову. Небольшие острые черные глаза его деловито сверкнули. Он отошел на шаг от трибуны и заложил руки в карманы брюк. Видно было, что он приготовился к большой речи.

— Ишь он какой! — с недоумением и восхищением кивнул на него рябой мужичонка соседу в поддевке.

— Товарищи! — начал Ленин деловою скороговоркой, мягко чуть-чуть картавя. — Резолюция, которую я от имени социал-демократической фракции большевиков крестьянского совета имею честь предложить вашему вниманию, отпечатана и разослана делегатам...

— Не получали мы! — беспокойно завертелся рябой.

— Должно, это тот самый листок его, что большевики надысь совали, — уравновешенно остепенила его поддевка.

— Если не все ее получили, — повернулся Ленин в нашу сторону, — то мы примем меры к тому, чтобы завтра же было отпечатано дополнительное число для раздачи желающим.

— Просим! Просим! — раздались пытливые голоса.

Пока Ленин объяснял, что ему придется сейчас ограничиться разъяснением наиболее важных и спорных пунктов этой резолюции и большевистской аграрной программы, приземистый мужичонка слушал все это с каким-то напряженным недоумением. Когда же Ленин сообщил, что товарищами его внесено в главный земельный комитет предложение о немедленном организованном захвате помещичьих земель в пользу крестьян, рябой мужичок встрепенулся и порывисто глотнул воздух, как рыба, выброшенная на берег. Он снова шумно вздохнул и растерянно схватился за ворот бурой своей домотканки, когда Ленин объявил, что земельный комитет в принятии подобного предложения наотрез отказал.

— Вы договаривайте: в чем отказал и почему отказал? — раздались ехидные выкрики из президиума.

И когда Ленин стал объяснять, что возражения в комитете были основаны на недоразумении и что он сам не защищает захвата этих земель в частную собственность, не защищает раздела этих земель, что земля эта должна быть взята местным крестьянством пока только под один посев, а окончательно передаст всю землю бесплатно в собственность всего народа только Учредительное собрание или Всероссийский совет советов, если таковой будет создан, — длиннобородая поддевка лукаво ухмыльнулась и легонько толкнула рябого соседа:

— Ловко гнет, инда заодно теперь с нами. А свое промеж тем в кажну строку встревает!

Рябой мужичок в домотканке ничего не ответил и продолжал растерянно слушать.

— ... Указывают, — рассуждал Ленин,— что земля в России распределена всюду неравномерно и если б местное население, не считаясь с волей помещиков, взяло землю сейчас в свои руки и при этом бесплатно, то неравномерность та осталась бы и была бы тем самым закрепощена. Но ведь пока Учредительное собрание или центральная государственная власть вообще не установит порядка окончательно, — взметнул Ленин рукой, — все равно—по-крестьянски будет решаться дело иль по-помещичьи — неравномерное распределение останется одинаково.

Рябой вопросительно покосился на поддевку, но та сосредоточенно разглаживала свою бороду.

— Клевета, будто мы — анархисты! — горячо продолжал Ленин. — Анархистами называются те, которые отрицают необходимость государственной власти, а мы говорим, что она безусловно необходима, и не только для России сейчас, но и для всякого государства, которое даже прямо бы переходило к социализму. Безусловно необходима самая твердая власть!

— Правильна! — поспешно рявкнула борода и повелительно дернула мужичонку за рукав.

Рябой растерянно замигал и бестолково захлопал в ладоши.

— Мы только хотим, — пояснял меж тем Ленин, — чтобы эта власть была всецело и исключительно в руках большинства, в руках рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

— Чего расхлопался, словно тетерев! — гневно ткнула тогда поддевка разошедшегося соседа. — Ишь, возрадовался! Надо ушми слушать, куда тот загибат.

— Если помещики задерживают в свою пользу земли или берут плату за них, вот это — самоуправство! — с предельной выразительностью подчеркнул Ленин. — А если большинство крестьянства говорит, что помещичья земля не должна оставаться у помещика, что ничего от этих помещиков, землевладельцев, кроме угнетения в течение многих десятков лет, в течение веков, крестьянство

не видало, это не есть самоуправство, это есть — восстановление права, — круто резал Ленин пространство рукой, — и с восстановлением права ждать нельзя.

— Вот до чего все правильно! — простодушно просиял мужичонка, вновь покосясь на поддевку, но та сидела, глубоко о чем-то задумавшись, и отнюдь не выражала своего восторга.

И еще больше проникся рябой беспредельным вниманием, когда Ленин стал разъяснять, как тридцать тысяч крупных помещиков владеют семьюдесятью миллионами десятин, по две тысячи десятин на брата, а семьдесят пять миллионов других десятин приходится на десять миллионов беднейших крестьянских дворов.

— И-эх! Как правильно все! — лихорадочно шопотком зачастил наш рябой, даже не взглянув на соседа.

— У нас до сих пор смотрели так, — произнес Ленин, подняв брови и взглянув на пол, где он пошаркал ногой, — что порядок и закон — это то, что удобно помещикам и чиновникам, а мы утверждаем, что порядок и закон — есть то, что удобно большинству крестьянства!

Робко раздавшиеся кое-где рукоплесканья вмиг слились в нарастающий шум ливня, и в президиуме раздосадованно переглянулись.

— Самоуправством мы называем то, — продолжал Ленин, — что один помещик, на основании старых, вековых прав, требует «добровольного» соглашения с тремя стами крестьянских семей, которые имеют каждая на круг семь с половиной десятин. Мы говорим: пусть решения принимаются по большинству; мы хотим, чтобы сейчас, не теряя ни одного месяца, ни одной недели, ни одного дня, крестьяне получили помещичьи земли!

— Тише! — настойчиво зашикали в президиуме и в первых рядах, ввиду того что рукоплескания вновь взвихрились в зале. Однако злобное это шипение их еще более усилило.

— ...Нам возражают: ведь если крестьяне-де будут сейчас захватывать землю, то, пожалуй, захватят более богатые, у которых есть скот, есть орудия и так далее, поэтому не будет ли это опасным с точки зрения именно беднейшего крестьянства? — откровенно озадачился Ленин.

Рябой хлебопашец в домотканном кафтане вдруг нервно схватился заскорузлой рукой за чахлую кудель своей бороденки и, тревожно прищурив глаза, настороженно покосился на сидевшую рядом поддевку. Но сухопарый крестьянин в сальной поддевке ничего этого не заметил, сведя к переносью сердитые брови, он буравил Ленина испытующим взглядом.

— Наша партия, — выразительно отчеканивал Ленин, — во всех решениях наших, программах и обращениях к народу заявляет открыто: мы — партия наемных рабочих и беднейших крестьян, их интересы желаем мы охранять, через них и только через

них, через эти классы, человечество сможет выйти из тех ужасов, в которые ввергла его эта война капиталистов.

Рябой мужичок одобрительно крякнул и нервно поправил кафтан.

— К таким возражениям, будто наши решения оказываются несоответствующими интересам беднейших крестьян, — назидательно продолжал Ленин, прищурясь, — мы очень внимательно присматриваемся... Ведь самая суть дела в том-то и состоит, — его выпуклый череп в ободке золотистых волос засиял напористо и убедительно, — каким образом интересы наемных рабочих, городских и деревенских, интересы беднейших крестьян можно отстоять в происходящей революции... каким образом можно и должно отстоять их интересы против интересов помещиков или богатых крестьян, тех же капиталистов.

Рябой хлебопашец со свистом втянул в себя воздух, не сводя с Ленина лихорадочно сверкающих глаз, что заставило теперь сухопарого в серой поддевке уже в свою очередь окинуть соседа недоверчивым, косым взглядом.

— Нам возражают, — снисходительно пожал Ленин плечами, — что если рекомендовать крестьянам немедленный захват, то захватит прежде всего тот, у кого есть орудия, скот, а бедные останутся не при чем. Я вас спрашиваю: а разве добровольное соглашение с помещиками поможет?

Одобрительный шопот пронесся по залу, и глаза слушающих солдат восхищенно сверкнули.

— Вы прекрасно знаете, — неуклонно развивал свою мысль Ленин, широко раскрывая свой прикрытый подрубленной щеткой усов крепкий рот, — что помещики неохотно сдают в аренду тем крестьянам, у которых нет копейки в кармане.

Рябой сокрушенно вздохнул.

— И, наоборот, прибегают к «добровольным» соглашениям, когда им обещан хороший платеж... При таких «добровольных» сделках с помещиками, — упрямо вдалбливал Ленин все ту же мысль, — именно богатые крестьяне выиграют больше, чем бедные, и наоборот: если есть возможность оказать ту же помощь бедному крестьянству, то только такою мерою, которую я предлагаю, именно: земля должна сейчас же бесплатно перейти к крестьянам.

— Неправильно! — выхрипнул длиннобородый в поддевке и сердито ткнул локтем мужичонку. — Аль не видишь, что сызнову бьет на раскол? Расклепать норовит хрестьянский наш мир.

— Помещичья собственность, — продолжал уверенно Ленин, не обращая никакого внимания на всхрипы и разрозненные возгласы недовольных, — была и остается величайшей несправедливостью. Бесплатное владение крестьянами этой землей не есть самоуправство, а есть восстановление права.

Новый грохот одобрительных рукоплесканий пронесся по залу, и рябой землепашец как-то кротко задумался, и мечты его унеслись куда-то далеко, должно быть туда, где, зажатая жирным, как черный творог, тучным грунтом господских земель, одиноко лысела его тощая и песчанистая полоса. И выцветшие его глаза, сощуренные в жесткой сетке морщин, сострадательно потеплели, и, вероятно, теперь остальные слова большевистского вождя уже скользили мимо его ушей, непривычных к таким продолжительным докладам. Только речь о войне и о фронте вновь вывела его из оцепенения.

— Говорят вот еще, — добросовестно выискивал все новые и новые возражения Ленин, — что если крестьянству рекомендовать брать немедленно помещичьи земли в свои руки бесплатно, то это вызовет неудовольствие, раздражение, опасение и, может быть, даже возмущение солдат на фронте, которые, может быть, скажут: «Если крестьяне сейчас землю возьмут, а мы должны стоять на фронте, то мы останемся без земли». Может быть, солдаты двинулись бы с фронта, и получились бы хаос и анархия. На это мы отвечаем таким образом: что это возражение нисколько не касается основного вопроса.

Солдаты в нашем ряду задвигались и зашептались.

— Почему солдат на фронте должен питать доверие к помещику, к «добровольному» соглашению с помещиком? — успокоил их Ленин. — «Добровольное» соглашение с помещиком солдат порядком не назовет, питать к этому доверия не будет, он скорее будет смотреть так, что продолжается старый, помещичий беспорядок.

Солдаты сочувственно закивали.

— Солдат будет питать больше доверия к тому, если ему сказать: земля переходит к народу, местные крестьяне арендуют и за аренду платят уже не помещику, а вносят в свой комитет на общеполезные нужды, на тот же солдатский фронт, но не помещику.

— Верна! — гаркнул один из солдат, и засаленная поддевка уставилась на него долгим враждебным взглядом.

— Никаких привилегий с тех дней, как свергнута царская власть, — власть царя, который был самым крупным помещиком, угнетателем масс, — никаких привилегий землевладельцам-помещикам не должно быть! — напористо рубил Ленин рукой. — С установлением свободы, с этого момента помещичья власть должна считаться свергнутой раз навсегда. От этого нисколько не проиграет солдат на фронте, а наоборот: у него будет гораздо больше доверия к государственной власти и спокойной уверенности за дом, что его семья не останется обиженной, беспризорной.

Солдаты обрадованно зааплодировали.

— Цыц вы! — сердито хрипел на них длиннобородый, грозя им костлявым жилистым пальцем.

Но тут Ленин перешел к рассмотрению того довода, что, дескать, при малокультурьи крестьянства обработка захваченной им помещичьей земли окажется хуже и не даст той хлебной продукции, в которой нуждается истощенная войною страна.

— ... Да, — развел Ленин руками, — у наших крестьян, в силу их задавленности, в силу векового угнетения их помещиками, обработка очень плохая, — и Ленин сокрушенно кивнул головой.

— Вот то-то тебе и оно-то! — удовлетворенно крикнула замасленная поддевка и торжествующе огляделась по сторонам.

— Конечно, в России страшный кризис, который обрушился на нее, как и на все воюющие страны, и России не спастись, если не перейти к лучшей обработке, к величайшей экономии человеческого труда.

— Высоко гусь летает, — хрипнул вполголоса сухопарый, насмешливо кивнув на Ленина и толкнув плечом рябого соседа, — а дальше болота не сядет.

— Но сейчас, на первый посев, — удивленно пожал Ленин плечами, — разве может что-нибудь изменить «добровольное» соглашение с помещиками? Что же, помещики будут лучше наблюдать за обработкой земли? Крестьяне будут хуже засевать землю, если будут знать, что они сеют не на помещичьей, а на собственной земле? — издевался он, уверенно буравя черными глазами насторожившийся зал. — Что если платят, то не помещику, а в свои крестьянские кассы?.. Это такая бессмыслица, — махнул Ленин рукой, — что я удивляюсь, когда слышу такие доводы; это совершенно невероятно и целиком представляет собой хитрость помещиков.

Тут он вновь заложил руки в карманы брюк и вышел из-за трибуны.

— Помещики поняли, что больше господствовать палкой нельзя, — это они хорошо поняли, и они переходят к тому способу господства, который для России новинка, а в Западной Европе, в западно-европейских странах, существует давно. Что господствовать палкой больше нельзя, у нас это показали две революции, а в западно-европейских странах это показали десятки революций. Эти революции обучают помещиков и капиталистов, они обучают их, что народом надо править обманом, лестью, надо приспособиться, — щелкнул Ленин в воздухе пальцем, — прицепить к пиджакам красный значок и — хотя бы это были мироеды — говорить: «Мы — революционная демократия, пожалуйста только подождите, и мы все для вас сделаем».

Стремительный грохот аплодисментов потряс зал, и в президиуме заворочались и защептались.

— ... Такой довод,— продолжал Ленин уже спокойно, — будто крестьяне хуже засеют землю сейчас, если они будут сеять не на помещичьей, а на общественной земле, есть именно насмешка над крестьянами, попытка сохранить обманом господство над ними.

— Уж вот как правильно, Трофим Егорыч! — восторженно всхлипнул рябой, конфузливо дернув поддевку за полу, и размашисто провел по глазам тыльной стороною ладони.

— Ты верь ему больше, он нам распишет! — с укоризненной насмешкой одернула его поддевка, и соседи мои раздраженно заспорили.

Меж тем Ленин вновь вернулся к трибуне и порылся в своих листочках.

— ... Я перейду ко второму вопросу, на котором следует остановить больше всего внимание, — широко оперся он руками в трибуну, втянув голову в плечи, — к вопросу о том, как же нам желательно и как в интересах трудящихся масс следует поступить с землей, когда она будет уже общенародною собственностью, когда будет уничтожена частная собственность. Этот час совсем близок в России.

— Ишь! — непроизвольно вырвалось у соседа в серой поддевке, и он непоседливо заерзал на стуле.

— Землю есть нельзя, — продолжал рассуждать Ленин вслух настойчиво и деловито, — а чтобы хозяйничать, нужно иметь орудия, скот, приспособления, деньги; без денег, без орудий хозяйничать нельзя.

— Это правильно, — полуудивленно, полуодобрительно кивнул рябому сухопарый в поддевке, не сводя с Ленина враждебно настороженных глаз.

— Мало одного хотения хозяйничать, — пояснил Ленин, — нужно и умение, но и умения мало. У всякого помещичьего батрака умение есть, но у него нехватает скота, орудий, капитала, и поэтому сколько бы вы ни постановляли, сколько бы ни говорили, — этим мы не установим вольный труд на вольной земле.

Рябой опять сокрушенно вздохнул и с какой-то робкой и смутной надеждой поглядел на крутой, крепкий нос соседа в серой поддевке.

— Если бы мы даже надписи повесили, — ухмыльнулся Ленин, — в каждом волостном правлении о вольной земле, дело бы от этого не улучшилось в сторону трудящихся; как в западноевропейских республиках, где в тюрьмах написано: «Свобода, равенство, братство», — тюрьмы от этого не перестают быть тюрьмами. Если на фабрике написать слова: «Свобода, равенство и братство», как в Америке, от этого фабрика не перестанет быть каторгой для рабочих и раем для капиталистов.

В президиуме нетерпеливо задвигались, и колокольчик в руке Авксентьева как бы случайно чуть звякнул. Ленин покосился назад и перешел к критике плана партии эсеров о двух нормах крестьянских земельных наделов: продовольственной и трудовой.

— ... План этот не может дать сколько-нибудь заметного облегчения в положении наемных рабочих и беднейших крестьян. План этот, если вы даже его признаете, останется на бумаге до тех пор, пока господствует капитализм, — выразительно подчеркнул Ленин. — План этот не помогает нам найти верную дорогу для перехода из капитализма в социализм... Существует власть капитала, власть денег, — неумолимо вразумлял Ленин. — Без денег на самой вольной земле, при каких угодно «мерках», хозяйства быть не может, потому что, пока деньги остались, остается наемный труд. А это значит, что богатые крестьяне, а их тут на Руси не меньше одного миллиона семей, угнетают, эксплоатируют наемных рабочих и будут угнетать их и на «вольной» земле.

— Ишь, куда гнет! — раздосадованно хлопнула себя поддевка по сальным коленям, растерянно посмотрев и на рябого и на меня.— Уж хрестьянство ему поперек горла встало. Допустимо ль то слушать, господин офицер?!

— Эти богатые крестьяне — постоянно, не в виде исключения, а по общему правилу — прибегают к найму рабочих: годовых, сроковых, поденных... — перечислял Ленин, — то есть к эксплоатации беднейших крестьян, пролетариев.

— М-да! — многозначительно крякнул рябой, не сводя с Ленина возбужденно сиявшего взора.

— А как же ты хошь без подмоги?! — раздраженно на весь зал выкрикнул сухопарый. — Ты и плуг-от отродясь, должно-ста, не видывал, — забурчал он под сердитое шиканье окружающих, — а туды ж, хозяйствовать учишь, проваленная твоя башка!

— А рядом с этим, — невозмутимо рубил Ленин, — имеются миллионы и миллионы крестьян безлошадных, которые не могут существовать, не продавая своей рабочей силы, не идя на отхожий промысел, и так далее...

— Пра... — захлебнулся восторгом рябой, хлопнув в ладоши, и закашлялся, тревожно покосясь на поддевку.

— Ты чего ему тут все подкаркиваешь? — злобно зашептала та, дернув его за рукав. — Ты смотри у меня, Митрич! Не для ентого тебя мир вместях со мною сюда выбирал, чтобы раздорам туто-ка промеж себя мы потакали. Не уважут тя дома за такое лукавство. Погоди, я им тама-тка все расскажу. И благотворение мое ты тоже, видно, запамятовал, как весною в ногах валялси. Ишь, хлопун какой ретивой!

— ... И вот почему для того, — впечатляюще выговаривал Ленин, — чтобы интересы крестьян неимущих и беднейших отстоять

в этом величайшем преобразовании России, которое вы теперь производите и которое, несомненно, произведете... потому что нет такой силы, которая этому бы помешала, — для того, чтобы отстоять интересы рабочих и беднейших крестьян, — вновь подчеркнул Ленин, — нельзя итти путем установления норм или мерок, нужно искать других путей!

— Каких же? Каких? — злобно завопили в президиуме, и авксентьевский колокольчик вновь обронил случайный звяк.

— Я и мои товарищи по партии, от имени которых я имею честь говорить, — взметнул Ленин сияющей своей головой, — мы знаем только два пути отстаивания интересов сельскохозяйственных наемных рабочих и беднейших крестьян, мы эти два пути вниманию крестьянского совета и рекомендуем...

— Большевистские рецепты! — проговорил кто-то насмешливо, но его сердито одернули, и зал налился неослабным вниманием.

— Первый путь, — решительно откачнулся Ленин рукой от трибуны, — это организация сельскохозяйственных наемных рабочих и беднейших крестьян. Мы хотим и советуем, чтобы в каждом крестьянском комитете, в каждой волости, уезде, губернии образовалась отдельная фракция или отдельная группа сельскохозяйственных наемных рабочих и беднейших крестьян, таких, которые должны себе сказать: если завтра земля станет общенародной, — а она станет такой безусловно, потому что этого хочет народ, — как нам быть? Мы, не имеющие скота, орудий, откуда мы их получим?

— Да, откуда? — зловеще проверещала замасленная поддевка.

— Как нам хозяйничать? Как мы должны отстаивать свои интересы? Как нам позаботиться о том, чтобы земля, которая будет общенародной, чтобы она не попала в руки только хозяев? — выпукло выделил Ленин два последних слова, сделав округлый жест рукой. — Если она попадет в руки тех, у которых будет достаточно скота и орудий, много ли мы выиграем?

— А голтяпе-то она на кой хрен? — внезапно подскочил мой сосед, закричав во весь голос, и беспомощно завертелся на все стороны.

Его растерянно с разных мест поддержали:

— Правильна-а!.. Хватит!.. Договорился!.. Инда уши болят!.. Ишь, хозяйственник какой выискался! Почище тебя есть, да не мудруют!..

Но настойчивое шикание всего зала и ожесточенные рукоплескания вмиг прибили все эти выкрики, как крупный дождь прибивает дорожную пыль

— ...Для того ли мы совершили этот великий переворот? — дерзко взмахнул Ленин рукою. — Это ли нам нужно было?!

И новым, живительным ливнем рукоплесканий зашумел настороженный зал.

— Для того чтобы выйти из-под ига капитализма, — поднял Ленин кулак, — для того чтобы общенародная земля перешла в руки трудящихся, — уже картавой, усталою хрипотцой протянул он это слово, — есть только один основной путь: это путь организации сельскохозяйственных наемных рабочих, которые будут руководствоваться своим опытом, своими наблюдениями, своим недоверием к тому, что говорят им мироеды, хотя они выступают с красными бантиками и называют себя «революционной демократией».

— Все рабочим да беспортошным, а про нас, про хрестьян, и запамятовал! — с суматошною злобой вновь повернулась поддевка к рябому.— Чего вперся в него, словно клещ в пса? — с ненавистью ткнул он его кулаком в бок. —Али по скусу пришелся? Смотри, буркалы сломишь!

— Только самостоятельная организация на местах, только учение собственным опытом научит беднейших крестьян, — еще раз повторил свою мысль Ленин. — А опыт этот будет нелегким, мы не можем обещать и не обещаем, что потекут молочные реки и будут кисельные берега...

— Знамо, не обещашь! — растревоженно пробурчал надоевший сосед мой в поддевке.

— Помещики будут свергнуты потому, что народ этого хочет, но капитализм остается, — предостерегающе протянул Ленин, — его свергнуть гораздо труднее, к свержению его ведет другой путь, — это путь самостоятельных, отдельных организаций сельскохозяйственных наемных рабочих и беднейших крестьян — вот что наша партия выдвигает в первую голову.

Ленин смолк, заложил руки снова в карманы и сделал несколько шагов вдоль рампы, сосредоточенно глядя себе под ноги.

— Второй шаг, который наша партия рекомендует, — остановился он, откинув полы пиджака и заложив руки в проймы жилета, — состоит в том, чтобы из каждого крупного хозяйства, из каждой, например, помещичьей экономии, крупнейшей, которых в России тридцать тысяч, образованы были, по возможности скорее, образцовые хозяйства для общественной обработки их совместно с сельскохозяйственными рабочими и учеными агрономами, при употреблении на это дело помещичьего скота, орудий и так далее. Без этой общественной обработки под руководством советов сельскохозяйственных рабочих не выйдет так, чтобы вся земля была у трудящихся.

Представлял ли себе в этот миг рябой приземистый мужичонка в домотканном буром кафтане, что настанет пора, когда сиротливая полоска его растворится в огромном бушующем море пышных нив коллектива и на хитроумно стрекочущей, громоздкой, ездящей фабрике он будет сам с восторженной жадностью убирать весь этот диковинный общественный урожай, — только лицо его, иссеченное

годами забот и лишений, в этот миг умилительно потеплело, и глаза его с простодушною пестринкой ярко вспыхнули острой, неистребимой любовью к собратьям.

— Конечно, общественная обработка — вещь трудная, — потупился Ленин и пошаркал левой ногой, — конечно, если бы кто-нибудь вообразил, что такую общественную обработку можно сверху поставить и навязать, — это было бы сумасшествием...

— Вестимо, — совсем невпопад раздраженно буркнул неугомонный сосед.

— ... потому что вековая привычка к отдельным хозяйствам сразу исчезнуть не может и потому что тут требуются деньги и требуется приспособленность к новым устоям жизни. Если бы эти советы, это мнение относительно общественной обработки, общего инвентаря, общего скота, с наилучшим применением орудий, совместно с агрономами, — если бы эти советы были выдумкой отдельных партий, дело было бы плохо, потому что по совету какой-нибудь партии какие-либо изменения в жизни народа не происходят, потому что по совету партий десятки миллионов людей не идут на революцию, а такая перемена будет гораздо больше революцией, чем свержение слабоумного Николая Романова. Повторяю, что десятки миллионов не идут на революцию по заказу, а идут, когда настает безысходная нужда, когда народ попал в положение невозможное, когда общий напор, решимость десятков миллионов людей ломают все старые перегородки и действительно в состоянии творить новую жизнь.

Затаивши дыхание, весь зал внимал речи сосредоточенно и благоговейно.

— Если мы советуем такую меру, — смело качнулся Ленин вперед, — советуем приступить к ней с осторожностью, говоря, что она становится необходимой, то это мы выводим не только из нашей программы, из нашего социалистического учения, а только потому, что, будучи социалистами и наблюдая жизнь западно-европейских народов, мы к этому выводу пришли. Мы знаем, что там бывало много революций, которые создавали республики демократические. Мы знаем, что в Америке в 1865 году были побеждены рабовладельцы и затем сотни миллионов десятин были розданы крестьянам даром или почти даром, и тем не менее там господствует капитализм, как нигде, и давит трудящиеся массы так же, если еще не сильнее, чем в других странах. Вот то социалистическое учение, вот то наблюдение над другими народами, которое нас привело к твердому убеждению, что без общественной обработки земли сельскохозяйственными рабочими, с применением наилучших машин и под руководством научно образованных агрономов, нет выхода из-под ига капитализма. Но если бы мы только основывались на опыте западно-европейских государств, — круто повернулся Ленин, — наше дело для

России было бы плохо, потому что русский народ только тогда способен сделать в своей массе серьезный шаг по этому новому пути, когда создается крайняя нужда. И мы говорим, — решительно рубанул Ленин рукою по воздуху, — пришло именно такое время, когда эта крайняя нужда для всего русского народа стучится в дверь. Эта крайняя нужда заключается в том, что по-старому хозяйничать нельзя! — с предельной выразительностью отчеканил Ленин. — Если мы будем сидеть по-старому в мелких хозяйствах, хотя бы и вольные граждане на вольной земле, нам все равно грозит неминуемая гибель, потому что разруха надвигается с каждым днем, с каждым часом. — В его голосе послышались зловещие нотки. — Об этом все говорят, это — факт, который вызван не злой волей отдельных лиц, а вызван всемирной захватной войной, вызван капитализмом.

Война уничтожила массу людей, — грозно сверлил Ленин глазами чутко замерший зал, — весь мир залит кровью, весь мир война привела к гибели. Это не преувеличение, никто не может ручаться за завтрашний день, все говорят об этом. Возьмите «Известия совета рабочих и солдатских депутатов», там все говорят: капиталисты прибегают к итальянской забастовке и локаутам. Это значит: нет работы, и капиталисты устраивают массовый расчет рабочих, — вот до чего довела эта преступная война не одну Россию, а все страны!

Вот почему мы говорим, — решительно развернулся Ленин всем корпусом, взметнув к залу обе руки, — хозяйство на отдельных участках, хотя бы «вольный труд на вольной земле», — это не выход из ужасного кризиса, из всеобщего разрушения, это не спасение. Необходима всеобщая трудовая повинность, — горячо выделил он эти слова, — нужна величайшая экономия на каждую часть человеческого труда, нужна необыкновенно сильная и твердая власть, которая была бы в состоянии провести эту всеобщую трудовую повинность: ее не могут провести чиновники, ее могут провести только советы рабочих, солдат и крестьянских депутатов, потому что это — сам народ, сами народные массы, потому что это не власть чиновничья, потому что они, зная всю крестьянскую жизнь, сверху до низу, могут установить трудовую повинность, могут установить то ограждение человеческого труда, при котором не расхищался бы труд крестьянина и переход к общественной обработке, таким образом, совершался бы постепенно и осмотрительно. Это трудное дело, — вновь покрутил головою Ленин, — но необходимо перейти к общественной обработке в крупных образцовых хозяйствах; без этого выйти из той разрухи, из того прямо-таки отчаянного положения, в котором находится Россия, нельзя, и было бы величайшей ошибкой, если бы кто-нибудь подумал, что подобное величайшее преобразование в жизни народа можно произ-

вести одним ударом. Нет, это требует величайшего труда, требует напряжения, решимости и энергии каждого отдельного крестьянина и рабочего у себя на месте, в том деле, которое он знает, в том производстве, которое он десятками лет ведет. Такую вещь нельзя сделать по какому-либо распоряжению, но такую вещь сделать необходимо, потому что захватная война привела все человечество на край гибели; погибнет еще больше от этой ужасной войны, если не напряжем все свои силы, если все организации советов рабочих и крестьянских депутатов не сделают общих решительных выступлений по пути к общественной обработке земли без капиталистов, без помещиков! Только этот путь даст действительный переход земли в руки трудящихся!

Ленин ожесточенно взмахнул рукой, вынул платок и стал отирать свое лицо, а зал взорвался и загрохотал неистовым громом аплодисментов. Все поднялись, все встали с мест. Рябой хлебопашец стоял зачарованный и умиленный, не сводя с Ленина вдохновенно сияющих глаз. И даже поддевка сконфуженно поднялась и бестолково переминалась с ноги на ногу. Гениальнейший вождь всемирного пролетариата просто подошел к трибуне, кропотливо собрал свои листочки и, не взглянув на президиум, той же озабоченной, сутулой походкой торопливо исчез за трибуной.

Казалось, что что-то бесповоротно пропало, когда он ушел. Меж тем зал все так же бурливо кишел растревоженною многоликой толпою, крестьянские депутаты неумолчно делились друг с другом впечатлениями, президиум лихорадочно суетился, спешно обмозговывая контрмеры. Но на всем этом: и на гулкой просторности зала, и на оживленных лицах участников съезда, и на ревнивой суматохе президиума вдруг легла безысходно тоскливая тень. Такой сумрачною, грустною скукой наливается обычно опустелое жилье, когда только что отыграют на косяке окна яркие лучи солнца и вечерние сивые тени вползают хмуро и неприглядно.

Ретиво выскочил и запрыгал вокруг трибуны горбатенький Дербер. Он крикливо заверещал, подскакивая и приседая, о том, что «большевики слегка поумнели. Вместо прежней программы об изъятии у помещиков только отрезков, Ленин советует теперь отобрать уже всю помещичью землю и немедленно ее объявить общенародною собственностью. Так, конечно, делать нельзя. Вот когда соберется Учредительное собрание, то оно пусть рассудит, как, когда и на каких основаниях...»

Слушатели замахали руками и, позевывая, густо двинулись к выходу, невзирая на призыв авксентьевского звонка.

— Ну, чо этого слушать?! — отмахнулся кудрявый дядя в холщевой косоворотке с глазетовым пояском. — Тупотливости много, а убедительности никакой!

— Говоря чисто, — добавил другой, — Ленин здорово разбирается в наших делах. Как он кулачков-от нажал!

— А зря Ленин ушел. Пущай бы потыркались. Он бы этому нахомутал!

— А чего хомутать? Тут, брат, просто: кто на ком сел верхом!

— Богатеи, известно, верхом ездить привышны!

— А ты у меня не разговаривай больно-то! Ишь, буркалы выпялил! Ты что, в закромах у меня считал?

— Да отвяжись ты от меня, окаянный! Я с тобой-от и до ветру на одном поле не сяду.

— Что вы на хозяйственных-то насели? Разве они в причине того, что другой лодырем на печке лежит?

— Ишь, беспричинные какие сыскались! — огрызнулся солдат. — С малых лет вот на вас спину ломаю, а до сих пор, как ни бьюсь, все беспортошный: в одном кармане — морковкины заговинки, а в другом — Иван Постный.

— А тебе бы землю враз вынь, да положь! — заревел на него жирный парень в лакированных пыльных сапожках. — Земля, она тебе, брат, не рота: простой команды не слушает!

— Глянь! Глянь! Петухи! — засуетился народ, расступаясь перед группой иностранных офицеров в серых мундирах и с кустами петушьих перьев на шляпах.

Берсальеры спешили на съезд.

— Итальянцы, слышь! — пояснил кто-то им вслед.

— Беспременно убеждать тоже прутся, чтоб воевать без конца...

— Все они — вандервельды, сучья их мать!..

Солнце пекло, и беспокойные воробьишки неугомонно трещали в свежей зелени скверов. У трамвайной остановки, в разношерстной кучке народа крикливо ораторствовал какой-то худощавый пожилой мужчина в чесучовом чистеньком пиджачке.

— Значит землю теперь делить?.. — Ловко!

— И фабрики тоже делить ?.. — Здорово!

— И банки — для всех?.. — Ну и комики!..

Мы взошли с ним вместе в один и тот же трамвайный вагон. Чесучовый пиджак долго взволнованно пыхтел и отдувался, и подмышки его были мокры от пота.

— Должно быть, вы землевладелец? — спросил я его осторожно, когда мы порядком отъехали.

— Буду землевладельцем, когда умру, — язвительно усмехнулся он нарочито громко. — Сразу три аршина земли получу в вечную собственность.

— Стало быть, вы фабрикант? — выспрашивал я его степенно.

— Да ну их к чорту, всех фабрикантов! Какой уж я там фабрикант!

— Ну, тогда вы, должно быть, банкир, богатей или, во всяком случае, вполне обеспеченный человек, — наседал на него я упорно, — иначе б вы не спорили там так рьяно, возле народного дома.

— Дай бог, чтобы все богатей были такими, как я, господин офицер. Не обидно было бы. Ни копья нет сейчас у меня за душой. Не везло, знаете ль, в жизни, — продолжал он, сходя вместе со мною с трамвая. — Но судьба, как говорится, индейка! Не везло, не везло, а вдруг да как повезет? Разве не смог бы я тогда на склоне лет купить себе дачку или именье, или даже фабричку там какую, а то можно и просто деньги в банк положить, а тут тебе вдруг...

— Братишки! — кричал возле другой остановки трамвая высокий костлявый матрос, — надобно, чтоб народ сам на себя взбунтовался и сверг бы нашу окаянную, подлую жисть!

17. «СОЦИАЛИСТЫ» ЗА РАБОТОЙ

Военной комиссии в Таврическом дворце уже не существовало. Оказывается, она перебралась в военное министерство и бесследно растаяла там в гулких сумрачных апартаментах этой новой вотчины Керенского. Соваться теперь в это логовище монархических генштабистских шакалов, «демократических» лис и шпорозвонных ищеек было бы наивно и дико.

Вечер уже надвигался вплотную, когда я, возвращаясь в Мартышкино, зашел мимоходом в военку.

— Пулемет! — неожиданно окликнул меня звонкий голос, и в приоткрытую дверь показалось озорливо смеющееся лицо Рошаля. За ним в коридоре стояли: застенчивый мичман Раскольников, плотненький солдатик Любович, являвшийся председателем Кронштадтского совета, а затем два матроса — широкоплечий молодец Пелехов и тихонький лысый Ульянцев.

— Куда же это ты, Пулемет? Что это у тебя за тючище? — закидал меня вопросами Рошаль. — Брось, зачем тебе ехать непременно сейчас в Ораниенбаум? Ужо мы вместе поедем. Катим, брат, сейчас с нами в Мариинский дворец. У нас там веселенький разговорчик предстоит с господами «социалистическими» министрами. Сегодня мы отдаем им, так сказать, по их приглашению, ответный визит, поскольку вчера они сами изволили к нам пожаловать. Ох, и баня ж вчера нам была! Слетелась к нам вся их головка: Церетели, Войтинский, Гоц, Либер, Анисимов, Скобелев. И уж как нас, брат, парили! Ты спроси-ка вот Федю! — шутливо мигнул он на потупившегося Раскольникова.

Предстоящая встреча нашей кронштадтской братвы с социал-министрами обещала быть столь интересной, что я снова оставил тючок свой в военке и присоединился к дружеской делегации.

— Ты за нашего, брат, сойдешь! Говори, что кронштадтец. А уж мы тебя, милый, не выдадим, — беззаботно куролесил Рошаль.

Площадь перед Мариинским дворцом была прочно оцеплена юнкерскими постами. К дворцу пропускали только по строгой проверке мандатов.

— Какие тебе еще там мандаты? Заткнись! — решительно свернул Пелехов в сторону какого-то ретивого юнкера.—Али не видишь: тут цельная тебе делегация прется от вольного советского Кронштадта! Само правительство нас к себе вызывает. Чего зенки расхлябил? Сторонись!

Чинные апартаменты Государственного совета сверкали мрамором стен и натертым паркетом, блестевшим как длинная желтая лужа вдоль широких и мягких ковровых дорожек. По ним уныло бродили вереницы скучающих депутатов. В одном из уголков коридора жалась скромная кучка людей в невзрачных пиджачках и черных косоворотках, судя по виду — рабочие. Они полусмущенно, полувосторженно рассматривали шелковые шторы, лепные потолки и пышно-хрустальные люстры.

— Ишь, какая краса! Что, брат, значит Государственный совет!

— Да, милок, Временное правительство всем членам Государственного совета и Государственной думы постановило — попрежнему выплачивать жалованье, а вот нашему совету рабочих депутатов и в ничтожной субсидии наотрез отказало. Средств, дескать, нет.

— Что ж, Васильич, переходи из рабочего совета в Государственный! — усмехнулся третий.

— Товарищи! довольно бродить! Заседание Исполнительного комитета советов уже началось! — летел коридором размашистый Гвоздев. — Занимайте скорей места!

— Ишь, суетится леший! — кивнули ему вслед рабочие. — Что значит товарищем министра труда заделался! У Эриксона работал, так скромненьким был. Не скоро теперь их, предателей, свалишь!

— Ну, а как с перевыборами нашего совета? — угрюмо спросил его первый. — Опять под сукно?

— Меньшевики с эсерами вновь заморозили! — с сердцем ответил третий. — «Ежели, — говорят,— мы не отражаем настроения Питера, да зато, дескать, мы созвучны стране!» Ну, только мы, парвиайненцы, покажем им скоро это самое их «созвучие». Так у нас «зазвучат», что только держись!

Кронштадтцы мои уже давно ушли всей гурьбой искать буфет: промочить горло чаем. Скучавшие депутаты потянулись теперь медленно в зал. Оставаться одному в коридоре показалось мне неудобным. Я уже тоже направился было в буфет, но в одном из проходных зал, где бродило несколько офицеров, меня невольно заинтриговала группа генштабистских полковников. Я узнал среди них

тучную тушу Якубовича, ставшего теперь товарищем министра у Керенского, затем — ершик Туган-Барановского и жиденький хохолок Балабина. Всех троих приходилось нередко встречать в пресловутой военной комиссии у Пальчинского. Сгрудившись возле окна, они с шуточками и прибауточками о чем-то расспрашивали неизвестного мне генштабиста. Тот сдержанно отвечал.

— Да ничего. Солдатня фордыбачит. Особенно за пресловутую эту декларацию. Но офицерство дружно берет на ура. А в общем сопутствовал нам сплошной триумф: что ни штаб, нас на руках всюду носили.

— Пойдут? — испытующе спросил Барановский.

— А чорт их там разберет! Да куда же им деваться? Наверно, пойдут. Были, конечно, случаи и демонстративных отказов от наступления и — представьте! — целыми даже полками. Но Александр Федорович молодец! Репрессии! Аресты! Расформирование! У Щербачева вот только, но это уже после нас, началось, говорят, на румынском... Ну что же? Придется кое-кого пострелять. И снова все образумятся.

— А где ему руку контузили?

— А это в Одессе! — шутливо усмехнулся полковник. — Дамочки так закачали в театре, что малость попортили.

— Смотрите, господа, докачаетесь, — предостерегающе просопел Якубович. — В Царицыне вон одного командира полка солдатня на штыках закачала. Кишки выползли.

— Агитацию за наступление и за дисциплину мы вели неослабно, — продолжал, нахмурясь, полковник. — Посмотрим, как покажет теперь себя пресловутый Брусилов. Напористость у него есть несомненно. Но, разумеется, нет той твердой руки, что была у Алексеева. Зря, конечно, мы старика отстранили...

— Поменьше сюда бы оглядывались, — насмешливо кивнул Балабин на двери в зал заседаний Исполнительного комитета.

— Ерунда, — снисходительно откивнулся полковник, — перейдем в наступление, тогда всех перечешем.

— А если немцы причешут? — шутливо мигнул Барановский.

— Не причешут. Они все теперь перебросили на Западный фронт.

— Сначала надо вычесать всю армию от смутьянов, — сипло хрипел Якубович. — Без восстановления во всей строгости воинской дисциплины мы не сделаем, господа, ничего! И прежде всего надобно самому офицерству с кровью почистить свои же ряды.

— Правильно! Правильно! — закивал головкой полковник.— Ставка все это осуществляет. В офицерских «Известиях» армии была даже напечатана соответствующая большая статья.

— Да не в статьях тут дело! — насмешливо перебил его Балабин. — Начинать нужно делом и с центра. Мало ли здесь офицеров гнездится в большевистской военке!

— Все это мелочь! Большевиков-офицеров переарестовать не стоит никакого труда, — пробасил внушительно Якубович. — Но вот пока Ленин у них гуляет на воле...

— Третьего дня офицерский съезд потребовал его ареста! — куражливо воскликнул Барановский.

— «Арр-реста»!.. — со зловещей насмешливостью промычал Якубович, исподлобья оглядываясь по сторонам и доверчиво скользнув взглядом по моим золоченым погонам.

— «Ареста»! — подмигнул Барановский.

— «Ареста», — ухмыльнулся Балабин, потупив глаза.

— Господа, где Александр Федорович? — ретиво подскочил к ним кругленький прилизанный брюнетик в солдатской форме Семеновского полка, адвокат Сомов. — Вы не видали?

— Как, разве Александр Федорович хотел быть здесь? — мгновенно засуетились полковники перед этим новеньким секретарем Керенского.

— Ах ты, батюшки! — грузно колыхнулся плетьми аксельбантов пузатый, как слон, Якубович. — А ведь здесь его вовсе не ждут!

Я протиснулся вместе с кронштадтцами в зал заседаний, когда он был уже полон. Все места за огромным длинным столом с зеленой суконной скатертью были также сплошь заняты членами Исполнительного комитета. Здесь присутствовали: и кудлатый и словно бы непроспавшийся Капелинский; и лоснящийся, как чернослив, морской инженер Филипповский; и задумчиво дремлющий рыжим утенком Суханов; и Дан — вертлявый коротенький жук с объемистым красным носом; и воинственно сверкающий стеклышками пенсне черный, румяный, чуть лысеющий Гоц; и смуглый низенький крутолобый с рачьими глазами Либер; и широкоплечий бородатый Стеклов в закапанном жиром жилете; и старый, облезший Чхеидзе с тощим клинышком темносеребреной бороденки, долго примащивающийся на своем председательском месте. Рядом с ним заняли кресла его заместители, ставшие ныне «социалистическими» министрами Временного правительства: серый кудрявый, как пудель, Чернов с алою пуговкой носа; мрачный, как грач, и худой, словно гладильная доска, сутулящийся Ираклий Церетели; и Скобелев — добродушный русак с просяным хохолком и овсяной бородкой, — словом, здесь собрался весь цвет меньшевистско-эсеровской «социалистической» знати. Этот цвет плотною клумбой уселся за стол и густо расползся по всем придвинутым к нему в два ряда креслам и стульям. Ближе к двери, отгороженные от стола резным барьером, сели те, кто не сумел сочетать своих пылких идей с чинной благонамеренностью буржуазно-министерского «социализма». Здесь были: Блейхман — косматый вождь анархистов, такой же раскидистый и близорукий, как и одичавшие его идеи; Луначарский — пламенный трибун «межрайонцев», пощипывавший эспаньолку, сосредоточенно

уткнувшись в свою «Новую жизнь». И уже совсем затиснутые куда-то под стенку, крепко жались друг к дружке большевики. Только рыжеусый Каменев и кудрявый Зиновьев несколько выдвинулись поближе к барьеру и, листая какую-то рукопись, деловито перешоптывались между собой. Конечно, им надлежало здесь быть на особом чеку.

Чхеидзе позвонил и, кряхтя, объявил заседание Исполнительного комитета открытым. Сутулясь и морщась, он проверещал, что вхождение в состав Временного правительства сотоварищей его: Церетели, Скобелева и Чернова, лишает теперь их возможности и фактически, и формально исполнить обязанности товарищей председателя исполнительного комитета Питерского совета. Он предложил выбрать им заместителей.

— Гоца! Дана! Анисимова! — хором раздались дружные, спевшиеся голоса.

— Почему же это только меньшевиков да эсеров?! — проскрипел из дальнего угла чей-то раздавленный голос.

— Большевиков у нас в рабочей секции совета, поди, поболе теперь половины! — обиженно поддержал его другой.

— Предлагаем ввести в президиум исполкома товарищей Зиновьева и Каменева! — выкрикнул кто-то фальцетом.

— Харяшо! — отрывисто хрипнул Чхеидзе и снисходительно подернул плечами. — Сейчас прагаласуем.

Цветник весело переглянулся.

— Я снимаю свою кандидатуру, — кособоко поднялся Зиновьев и, выдохнувши, сел, закатив устало глаза.

— Зачем он снимает? — тревожным шопотом бросил матросам Рошаль. — Вот чудак! Пускай бы даже его провалили. Было б тогда чем козырять!

— И я чрезвычайно сейчас перегружен, почему работать в президиуме не смогу, — смиренно потупив глаза, пробурчал себе в бороду Каменев.

— Какие же они большевики?! — презрительно сплюнул матрос.

— Астаются прежние кандидатуры! — отчетливо проскрипел Чхеидзе. — Галасую.

Молчаливый взмах дружных рук.

— Внеочередное сообщение! — вынырнул вдруг где-то из-за плеча Чхеидзе перепуганный Гвоздев. — Самозванный забастовочный комитет конторских служащих фабрик и заводов столицы сейчас нас извещает, что с завтрашнего дня они объявляют забастовку! Возмутительнейшее это решение... — свирепел Гвоздев с каждым словом, — уже тем незаконно...

Но кругом бурно задвигались и зашумели. Свежий порыв мятежного ветра уже колыхнул и встревожил весь этот мирно благоухавший «социализмом» цветник.

— Стачечный комитет, — верещал озлобленно Церетели, — нарушил кампетенцию всэго савэта. Мы прэдложим министэрству труда, — раздраженно кивнул он на растерявшегося Скобелева, — срочно учрэдить трэтейский суд с рэшением для абоих старон абсолютно абязательным.

— Просим! Просим! — понеслись обрадованные вопли, вмиг заглушившие нараставший было ропот из большевистских рядов.

Но в это время очень стремительно и шумно распахнулись сзади нас двери, и сквозь толпу попятившихся людей, под грохот взорвавшихся аплодисментов, властно прошла группа тех самых штабных офицеров во главе с самим Керенским. Он решительно остановился возле кресла Чхеидзе и, не глядя ни на кого, повелительно дернул рукой. Другая, в коричневой лайковой перчатке, болталась на груди на черной шелковой перевязи.

Чхеидзе, забывши сутулость, готовно вскочил и, выждав, когда рукоплескания притихли, объявил, что Керенский просит слова вне очереди.

Складки властного самодовольства, каких раньше, кажется, не было на его обрюзглом бритом лице, презрительно дернулись, когда он начал свою речь, тупо уставясь в стол бесцветными глазами.

— Во время моего отъезда, — высокомерно мотнул Керенский головой через плечо, — моя деятельность подверглась здесь пристальной критике. — Он беспомощно шевельнул подвешенной рукой. — Товарищ Церетели, — продолжал он, все так же ни на кого не глядя, — передавал мне о трех главным вопросах, поднимавшихся на прошлом заседании совета. Я говорю о финляндском вопросе и о двух, относящихся к военной области. — Он вздохнул и вновь шевельнул подвешенной рукой. — По отношению к «Декларации прав военнослужащих» мне предъявлены очень серьезные обвинения, — поморщился он надменно. — Но, товарищи, я должен вам прямо сказать, что в декларации этой мне не принадлежит ничего.

Он сделал самодовольную паузу и пытливо обвел мутным взглядом весь зал. Вдохнув покорное благоухание «социалистического» цветника, он продолжал смелей и уверенней:

— Текст ее являлся результатом работ особой комиссии самого же совета и совещания генерала Поливанова. Текст был выработан еще при бывшем военном министре, моем предшественнике, который совсем не хотел его опубликовывать, находя, что возвещенные там начала внесут в армию только дезорганизацию. Но как только мне представилась к этому возможность, — спесиво дернулся он плечом, повысив голос, — я утвердил эту декларацию и провел ее в жизнь...

— Благодарить, чего доброго, еще прикажешь?! — язвительно буркнул кто-то из наших матросов, но на него отовсюду сердито

зашикали, и я увидел вдруг устремленные на нас злобные взгляды неведомо зачем сюда притащившихся из Таврического дворца пресловутых офицеров-«социалистов», моих неприятелей еще с февральских дней.

— ... Затем мне говорили многие представители командного состава действующей армии, — с внезапной визгливостью выкрикнул Керенский, очевидно словив в этом шиканьи и бормотаньи чей-то скрытый протест, — что по опубликовании декларации этой они не будут в состоянии исполнять свои обязанности и вынуждены будут подать в отставку. Поэтому первым моим приказом по должности военного и морского министра, — чванно протянул он, обиженно вздохнув, — было: не подавать в отставку, и лишь после всех таких мер я уже обратился к армии с означенной декларацией.

Раздались подобострастные хлопки.

— Параграф четырнадцатый, например, — снисходительно пожал Керенский плечами, — он целиком выработан комиссией совета. Вообще обо мне говорят...

— Что вы, Александр Федорович!.. Помилуйте!.. Бросьте!.. Мало ли что враги демократии о нас говорят!.. — послышались угодливые выкрики.

— Нет, обо мне говорят, — продолжал Керенский с крикливым упрямством, — что мои взгляды на войну расходятся со взглядами большинства совета рабочих и солдатских депутатов. Но я совершенно не представляю себе, какие могут быть тут расхождения?!. Мой взгляд на войну — определенный, — пронзительно взвизгнул Керенский, — это ускорить мир, но не кустарным путем, а организованным, политически-государственным, — торопливо подбирал он необходимые определения, — дипломатическим, путем организации всей страны и армии. Я надеюсь, — нет — больше, — тут Керенский, высокомерно выпятив грудь, обвел всех заносчивым взглядом, и рука его, лежавшая на черной перевязи, самочинно полезла за борт френча, — я горделиво уверен, что дисциплинированная армия наша исполнит свой революционный долг не только пассивными, но и активными действиями.

Вихрь лакействующих аплодисментов окрылил его еще больше.

— Да, я верю, — взвизгнул он, поднявшись на цыпочки, — в величие разума русской демократии. И эту веру во мне еще более укрепила моя последняя поездка по России и по фронту...

Он устало тряхнул головой, спесиво выпустив нижнюю губу, и покорно застыл под дождем ожесточеннейших аплодисментов.

Но вот раздалось невнятное бормотание, все головы повернулись направо, хлопки начали быстро стихать. Это Каменев, тихо поднявшись, просил военного министра ответить на ряд существенных вопросов: как министр реагировал на речь верховного главнокоман-

дующего Алексеева на съезде офицеров фронта? Почему министр против братания на фронте? Каковы его взгляды на финляндский вопрос?

Керенский снисходительно смотрел на него своим тусклым свинцовым взглядом, пока тот методично шамкал свои вопросы сквозь нависшие усы и бородку. Насмешливый шопоток пробежал по меньшевистско-эсеровской клумбе.

— Что говорить о генерале Алексееве? — кичливо вскинулся Керенский. — Он мною смещен, и на его место назначен Брусилов. Что касается братания, — и на этом месте Керенский как-то замялся, — то армия на собственном опыте убедилась во вреде братания...

— Во вреде братания?! — с нескрываемым изумлением бесшабашно выкрикнул Пелехов.

Но на него мало кто обратил внимание, потому что в этот момент поднялся Луначарский. Можно было расслышать, что он критиковал тот параграф «Декларации прав солдата», где говорилось о применении военной силы в боевой обстановке, находя здесь возможность к возврату применения войск против народных волнений, как то практиковалось при самодержавии.

— Чепуха, — отмахнулся Керенский, стараясь кичливостью прикрыть нарастающее беспокойство. — Генерал Алексеев был уволен мною еще до начала всякой критики со стороны Каменева и совета, — и Керенский смерил Каменева уничтожающим взглядом.— Что касается слов «в боевой обстановке», то тут явное недоразумение и недопонимание со стороны критикующих. Чтобы не было никаких кривотолков, я даже согласен заменить эти слова словами «во время боя».

Пронеслись угодливые рукоплескания.

— Что касается Финляндии, — пронзительным, резким голосом выдавил из себя министр, — то русское Временное правительство не может ни фактически, ни формально признать независимость Финляндии впредь до Учредительного собрания, которое выскажет волю народа в этом вопросе.

— Опять жди учредительной бабушки, — забурчали матросы.

— Мы этого не можем сделать еще и потому,—оправдывался Керенский с нескрываемым раздражением, — что мы не считаем себя самодержцами, как это хотят некоторые показать, — презрительный жест в сторону Луначарского, — и в этом только, в этом пункте я уступить не могу. Моя «реакционность», — усмехнулся он высокомерно, — я это знаю, разделяется всей русской демократией, и я в этом отношении считаю себя правильно чувствующим ее пульс. Что касается этих бесконечных против меня выпадов...

— Плюньте, Александр Федорович!.. Бросьте!.. Не стоит обращать никакого внимания! — вновь загудел лебезящий цветник.

— Вы наш герой! Вы — бог революции! — благоговейно выкрикнули офицеры-«социалисты».

Кресла задвигались, все поднялись, и зал задрожал от грохота рукоплесканий.

Керенский самодовольно и властно направился к выходу, и за ним угодливо потянулся чинный хвост из генштабистов и восторженных прапорщиков. Меня и матросов, стоявших у самых дверей, вынесло движением из зала.

— Вот ты где! — дружески опустилась ко мне на плечо чья-то рука, и, обернувшись, я встретил приветливый взгляд поручика Петрова. Я сразу узнал гордый крутой постанов его головы, русый хохолок и впалые щеки.

— А ты теперь где? — спросил я его как-то растерянно, не зная, о чем говорить с этим худым статным парнем, в те мятежные дни Февраля самоотверженно бравшим во главе восставшей толпы правительственный арсенал, а затем превратившимся в убежденнейшего меньшевика.

— Да я у Керенского теперь адъютантом, — беззаботно ответил он. — И вот с бабушкой теперь хороводжусь, — снисходительно и добродушно кивнул он на Брешко-Брешковскую, окруженную в кресле лакействующей толпой. — Не пошла за ним в зал, говорит: душно. А таскается за ним теперь всюду, даже в Зимний дворец к нам жить переехала. В политике не разбирается ни черта. Докладывали как-то на-днях на заседании Временного правительства о растущих разгромах крестьянами помещичьих усадеб. Так она и выпалила: «Какие ж, — говорит, — это разгромы: ведь помещиков же предупредили, чтобы они уезжали. Громят-то ведь только тех, которые не хотят уезжать!» Вот и езди тут с этакой бабушкой по России!.. Ну, а ты как?

— Да так, — пожал я плечом неопределенно.

— Большевик?

— Большевик, — отрезал я, взглянув дерзко ему в глаза.

— Зря, — сказал он, потупясь. — Ты поезди-ка по России да погляди, что где делается. Живо дурь вылетит из башки.

— И поеду, и погляжу, — продолжал я упрямо, — но на ваш путь не встану.

— Ну, как знаешь, — покрутил он своим аксельбантом. — Коль захочешь когда со мной свидеться, загляни ко мне в Зимний дворец.

— Некогда, — отмахнулся я и вернулся с матросами в зал.

Должно быть, только что выступал Блейхман, потому что все насмешливо наблюдали, как он самодовольно садился, расправляя свою патлатую гриву.

За Блейхманом встал Каменев. Совершенно непостижимо он начал вдруг говорить, что он приветствует Керенского и желает ему успешной деятельности.

— Сдрейфил! — ухмыльнулись матросы.
После Каменева выскочил чистенький вольноперчик.
— Я делегат с фронта! — пронзительно выкрикивал он, дурашливо колотя себя в грудь. — Мы у нас в армии молимся на товарища Керенского!.. Если у нас и были некоторые недоразумения, то после объяснений товарища Керенского им нет больше места! Мы все пойдем туда, куда он нам скажет, зная, что это будет делом революции, потому что товарищ Керенский — это бог революции!..
Даже наиболее рьяные поклонники правительственного курса сконфуженно заулыбались, чувствуя, что мальчишка переусердствовал.
— Пэрэходым к абсуждэныю вапроса о кронштадтских сабытиях, — проскрипел сурово Чхеидзе.
Вся кронштадтская делегация потянулась ближе к барьеру.
— А вы это куда? — с ненавистью крикнул мне в ухо поручик Греков. — Товарищи, здесь есть посторонний!..
Опасаясь скандала, я стремительно повернулся и сконфуженно вышел из зала.
На площади перед Мариинским дворцом, несмотря на спустившиеся сумерки, все еще чернела за цепью юнкеров толпа народа. Должно быть, привлек отъезд Керенского.
— Я видал его, — сказал таинственно на углу один из праздношатающихся солдат другому, — глаза — мутные, словно свинцом налиты.
— Немудрено, — мрачно ответил ему другой. — Из царских подвалов, почитай, кажный день по дюжине шампанского хлещет. Не зря спать позалазил на царские кровати. Должно, шельма, сам в цари теперь метит.

18. ПРОЩАЙ, ПИТЕР!

Осложнений с отпуском не получилось. Я объяснил Судакову, что военной комиссии более не существует и справки достать мне неоткуда. Обошлось.
Ильинского в Ораниенбауме я не застал, а потому наутро передал свои обязанности Племянникову. Я долго и подробно его инструктировал.
— Активней, активней, дружок! — повторял ему я настойчиво, видя его нерешительность и беспомощность. — С пассивным своим созерцательством вам трудно сделаться ленинцем.
Теперь, кажется, все. Можно лететь в Мартышкино, собрать немудрящий свой багажишко, прихватив заветный тючок литературы, затем попрощаться с семьей и катить в Петербург на Николаевский вокзал, благо железнодорожный билет на Омск через Мо-

скву уже в кармане. Но мне не хочется сейчас отпускать уже давно интересовавшего меня эсера, поручика Жендзяна. Он ходит сейчас передо мной взад-вперед возле крыльца канцелярии школы, вдоль дорожки, густо обсаженной боярышником. Зеленовато-сизые простые солдатские шаровары заправлены у него в низкие грубые сапоги, в которых он выступает необыкновенно легко и свободно. На помятой выцветшей гимнастерке уныло висят поручичьи его погоны поблекшего щавелевого цвета. Затрепанная фронтовая его фуражка, небрежно сдвинутая совсем на затылок, открыла реденькую челку русых волос, нависшую над его небольшим и отлогим вдумчивым лбом. Смуглое худое его лицо, подернутое юношеским пушком, взволновано легкой игрою ноздрей тонкого с горбинкой носа. Он не опускает заложенных за спину длинных жилистых рук и только искоса поглядывает на меня при поворотах своими серыми внимательными глазами.

— Весь вопрос только в одном, — хотите вы или нет, — терпеливо ждать Учредительного собрания, — говорит он мне. — Если хотите, то контакт у нас с вами вполне возможен, и тогда я не понимаю только печальной этой заостренности всей вашей ленинской тактики.

— Давайте по-честному рассуждать, Жендзян, — перебиваю я его. — Мы всемерно за Учредительное собрание, но... кто и когда торопится его созывать? Уж не ваши ль эсеровские вожди — Керенский с Черновым?

— Вы не должны плохо говорить о Чернове, — вспыхивает Жендзян.—Я не поклонник Авксентьева и Бунакова. Они в своей «Воле народа» окончательно пошли за кадетами. Но Виктор Михайлович Чернов — это вернейший, испытанный вождь демократии!

— Какой демократии? Демократии ради чего? Не той ли, — тут я вспомнил речь Ленина! — что, навесив красные банты, вопит о скорейшем наступлении на фронте?! Где граница меж Керенским и Черновым? Ведь, кажется, оба эсеры?

— Керенский — путаник, — конфузливо мнется Жендзян. — Да и в партии он у нас новичок. Перешел из трудовиков только в марте. Но в партии нашей есть такие умные головы, как старик Натансон, или Камков, или Спиридонова, или Мстиславский, или тот же Чернов, который во многом колеблется, но в революционность которого я твердо верю.

— Вера без дел — мертва есть, товарищ Жендзян. Так гласит священное писание, — издеваюсь я.

— Я неверующий, — дружески смеется Жендзян, — хотя ксендз и рассчитывал, что из меня выйдет добрый шляхтич.

— Тогда сводите концы с концами, — крепко жму я ему длинную руку, и мы расстаемся.

«Если в Кронштадте эсеры уже раскололись, — думаю я дорогой, — и левые пошли за большевиками, то почему бы того же не сделать и в Ораниенбауме? Чертовски жаль, что я сейчас уезжаю. Над Жендзяном стоило бы поработать. А впрочем, вот завтра у них партийное собрание, а что бы я смог там поделать? Ничего!» — и новая острая мысль о возможности отколоть левых эсеров возникает в моей голове.

В Мартышкине на перроне меня встречает прапорщик Красников.

— Уезжаете, Асан Натич? — говорит он миролюбиво, ощупывая взглядом мой багаж. — Ну что же, и вам надобно отдохнуть. В команду, стало быть, не заглянете? Ведь к июлю-то мы наш состав выпускаем. Часть поедет на фронт, а часть хочу вот устроить в броневой дивизион в Петрограде. Не знаю, удастся ли.

Я пропускаю это мимо ушей. Ясно, что команду теперь расформируют, чтобы отделаться от меня, а Красников, будучи оборонцем, теперь ловчится, как бы самому не уехать на фронт.

— Забавные газетенки теперь пошли, — беззаботно щебечет он, покачиваясь на носках возле моего чемодана. — Читали «Маленькую газету»? Суворин ее издает. Сногсшибательно пишет. Наши солдаты зачитывают ее до дыр. Говорят, даже Алексинский там сотрудничает. Только не верится. Чересчур что-то нагло. На-днях, к примеру, печатают, будто Питерский исполком получил бумажку от какого-то их союза «Святая Русь» о том, «что этим новоявленным союзом приговорены к смертной казни Чхеидзе, Нахамкес, Розенфельд, Филькенштейн и другие. Приговоренные, мол, получат свой приговор каждый отдельно, с точной датой срока их смерти, и попытка избежать ее будет, дескать, бесполезна». Непонятно, как правительство терпит эту черносотенную травлю в печати.

— При вашей помощи, Красников, очевидно, не то еще будем терпеть! — срезаю я его мрачно и, когда поезд подходит, нарочно сажусь не в один с ним вагон.

Напоминание об Алексинском вызывает во мне брезгливость. В самом деле, как мог этак подло пасть человек, бывший некогда большевиком, депутатом Второй государственной думы! Я вспоминаю этого бритого и безбрового тонконосого горбуна с прической, похожей на жесткую щетку, и с тонкой, словно пергамент, сухощавой кожей. Он уже давно изменил прежним своим убеждениям и, выгнанный даже в Париже из всех порядочных мест, уже не брезговал сотрудничеством и в протопоповской «Русской воле». Вернувшись в Россию, он пытался примазаться к Исполнительному комитету, но потерпел неудачу и стал работать вместе с Плехановым в его газете «Единство». Ничего нет мудреного, что теперь он уже докатился до откровеннейшей черной сотни. Как может так пасть человек!

В Петергофе в вагон наш заходит чинный, напудренный юнкер.

— Господин поручик, разрешите присесть.

Даже обалдеваю от этой старорежимной манеры. Смотрю в бесцветное его лицо: Батюшки мои, да это мой Фенькин! Бывший мой вестовой, который до революции искал причины войны, а после революции пролез в петергофскую школу, чтобы заполучить прапорщичьи погоны.

— Полноте, Фенькин, садитесь. Что за дикий вопрос! Скоро будете офицером? Рветесь теперь воевать?

Фенькин садится, стыдливо осклабясь. Нет, офицером он будет только лишь в августе, да вот тяжело дается учение. Очень хотел бы попасть на фронт к румынам. Там, говорят, поспокойней. И вот опять он не понимает. Рассказывают, что воюем мы за славян, а на-днях как-то газета «День» напечатала, что Румынии мы обещали Трансильванию, Буковину, Банат, Добруджу, — словом, те земли, где живут, как говорят, сплошь славяне.

— Трудно все это нашему брату без привычки понять, господин начальник, — опечаленно морщит Никита свой веснущатый лоб.— Необразованность наша мешает.

По выходе из вагона он ни за что не хочет отстать и настойчиво мне помогает дотащить вещи до трамвая.

Перед вокзалом на площади, пахнущей как конюшня, шумел митинг. В центре — трое матросов. Обыватели их осадили.

— Отлагаться хотите от Расеи! Немцам окаянным себя продали!.. — брызгала слюнями дебелая торговка с рожей, красною, как морковь.

— Они и деньги свои у себя уже выпустили! Вот смотрите-ка, в газете и снимок с их бон уже есть! — размахивал плехановским «Единством» бритый низенький худой человек с ястребиным носом.

— Зачем деньги им, окаянным! — не унималась торговка, трясясь от бешенства своими расплывшимися мясами. — Они затем только в Питер и шныряют, чтоб кошельки у буржуев из карманов таскать.

— Они и царя Николашку к себе в Кронштадт перевезти норовят, чтоб на трон его там посадить, — надсаждался юркий человечек с золотыми зубами.

Высоченный матрос охрип от оправданий. Он неуклюже застыл посредине толпы, поводя по насевшим на него врагам блекло-синими усталыми глазами. Двое его сотоварищей надрывались в истошном крике и ругатне, опровергая ворох клеветнических выдумок, злостно распространяемых газетами буржуазии.

— Престолы это у вас в Питере здесь пооставались! — надрывался плотный, коренастый матрос. — Да не сядет на них ни одна

царская ж..., пока жив в Кронштадте хоть один большевистский матрос!

— И никаких денег мы своих не печатаем! — выкрикивал его смуглый худенький сотоварищ, напрягаясь тугим кадыком. — И бон у нас сроду не было. Бонны да гувернантки только у вас буржуйских детенышей здесь выгуливают.

— А пошто вы в Питере здесь околачиваетесь, а не на фронте? — с ненавистью мусолил его по-рачьи вытаращенными глазами толстяк в панаме и с обрюзгшим лицом. Прилипшая к толстой губе его папироска болталась, когда он говорил.

— А вы почему, господин, здесь, а не на фронте? — неожиданно срезала его женщина в дырявой косынке, с медными серьгами в ушах.

— А ты — немецкая шпионка! Шлюха ты! — свирепствовала панама, злобно сплюнув прилипший окурок. — Товарищи, я адвокат! — заискивающе обводил он толпу выпученными глазищами. — Наше сословие дало России Керенского.

— Вы не смеете ее оскорблять! — решительно вмешиваюсь я в грызню. — И чего вы все на матросов окрысились? Их флот в Кронштадте. Они здесь по делам.

— Знаем, по каким здесь «делам»! — огрызаются наиболее рьяные.

Но толпа начинает редеть.

— По таким же, видно, делам, что и ты! — несется издали мне вдогонку. — Ишь, революционерами какими заделались, лишь бы на фронт не попасть!

Мерзавец уже юркнул в толпу. Его не найдешь. Молча сплевываю свое негодование.

До отхода поезда еще далеко. Сдаю вещи свои на хранение и еду в военку, где встречаю бессменного и неутомимого ее работника, солдата Черепанова. Возле него целая ватага солдат из различных петербургских полков. Их расспросы и нужды настолько теперь мне ясны, что я мог бы их повторить здесь сейчас за любого.

— Ну, конечно, нет пропагандистов? Плохо налажена доставка партийных газет? Меньшевики и эсеры срывают наши собрания? — посмеиваясь, киваю я Черепанову.

— Нет, — озабоченно отмахивается он рукой, — дело несколько иной марки: в полки начинают проникать анархисты!

Анархисты? Но я не думаю сейчас об анархистах. Я озабочен задачей расслоения эсеров. Почин Кронштадта не дает мне покою. Почему бы не помочь этому делу со стороны? Не может ли Черепанов срочно связаться с Кронштадтом и направить оттуда назавтра в Ораниенбаум хотя того же лохматого Брушвита? У эсеров там завтра собрание, а Брушвит уже определился как «левый». К тому же и на Жендвяна он имеет большое влияние.

Черепанов внимательно слушает, видно, что он принимает мой план близко к сердцу. По его теплым, уютным глазам можно быть твердо уверенным: раз он обещал, значит сделает.

Но Брушвита мало. Какой он авторитет? Хорошо было б к ним затащить и старика Натансона. Но тут Черепанов беспомощен. Отправляюсь наверх, к Стасовой. Та удивленно вскидывает пенсне.

— Натансона? Эсерам? Но при чем же тут мы, большевики?

Убедительно все растолковываю, и Стасова сдается. Наверняка она не обещает, но примет все меры, чтобы Натансон назавтра был там. Теперь я спокоен. Лишь бы все удалось. Теперь можно и ехать. Но прежде чем уйти из особняка Кшесинской, я завертываю напоследок к Глебу Бокию.

День клонится к вечеру, и крохотный кабинетик секретаря Петербургского большевистского комитета набит рабочими. Они обступили Бокия плотной стеной и засыпают его ворохом боевых, неотложных вопросов.

— Ты говоришь вот — контроль, — размахивает жилистыми руками старик с сизым огрызком чахлой бородки.

— Конечно, контроль, — терпеливо внушает Бокий, нервно играя желваками потемневших и высохших щек. — Ваша ячейка должна биться, чтобы создать из рабочих представителей у себя на заводе контрольный совет, да так, чтобы следить не только за ходом работы по цехам, но и за всей денежной стороной предприятия. А то администрация — она, брат, обжулит... Таково, милый товарищ, решение ЦК, и наши ячейки по всем заводам его проводят.

— Да как же его проводить?! — вновь беспомощно вскидывается старикан, выражая крайнее возмущение на своем сморщенном, как рогожка, лице. — Как же его проводить, ежели администрация к своим книгам нас, к примеру, на версту не подпускает! «Работаем, дескать, в убыток, все из-за вашей вот лени и скоро совсем закроем завод, ежели вы не согласны переводиться вместе с цехами в другой, стало быть, город». Закрывать, ты понимаешь, подлецы, угрожают завод, только мы пикнули. А ты говоришь нам: контроль! Да они нас с этим контролем под зад коленкой в один момент!

— Чудак! — волнуется Бокий. — Если вас мало, конечно, вас вышибут на панель. А где сведения о вашем заводе? Ты принес? Каково у вас соотношение партийных сил? Чего спит, скажи ты на милость, твоя ячейка? Какие же вы после этого большевики? Ведь против эвакуации из Петербурга или против закрытия завода всех рабочих можно одним только словом враз поднять на дыбы. И никакие меньшевики и эсеры их не удержат.

— Ну, поднять! Ну, на дыбы! А дальше-то что? — резко наседает старик на Бокия, остро сверля его шпильками своих запавших

в орбитах глаз. — Ладно: подняли! А администрация-то нас не слушается! Хозяин нам кукиш покажет и закроет завод! Тогда, скажи, что нам делать?! Не к Скобелеву же бежать. Он многое вон набрехал, а сам теперь все дела побросал и — Кронштадт усмиряет. А закроют завод, тогда куда денешься? Ни хлеба, ни мяса, и сейчас в очередях не достоишься! Вот в чем гвоздик-то, милый ты мой! — и старик отирает бусы пота, выступившие на его пергаментном лбу.

— У нас в Донецком бассейне почище! — гудит на смену ему густой металлический бас.— У нас на Штеровке сами хозяева взяли да шахты и затопили. Приехал вот сюда ходоком. Наша думка теперь такая: хозяев за шиворот, а управление вести самим.

Бокий переводит усталые глаза свои с изношенных сапог шахтера на узловатые кисти рук его, вылезшие из заплатанных рукавов замазанной углем куртки и судорожно зажавшие плотный ситцевый узелок, потом на морщинистую трясущуюся шею углекопа и встречает боевой напряженный рабочий взгляд из-под изломанного козырька.

— Рано еще, товарищи, — говорит он, нервно худыми руками перебирая ременный пояс. — К сожалению, далеко еще не все у нас к этому готовы.

Я бреду вечереющим Невским проспектом, гудящим от автомобилей, жужжащим от разномастной толпы.

— «Житие блудного старца Гришки Распутина»! Только двадцать копеек! — настойчиво и монотонно верещит возле водосточной трубы небритый мужчина в засаленном картузе и грязном измятом воротничке, назойливо подсовывая прохожим веер из тощих брошюрок.

— «Тайна рождения бывшего наследника», издание Владыкина. Только двугривенный!..

— «За кем должен итти трудовой народ», сочинение Любарского с программами социал-демократов и социал-революционеров! Любая книга за двадцать копеек! Пользуйтесь случаем, господа граждане!..

— «Житие блудного старца Гришки Распутина»...

Тучная дама колыхается жирными складками тестообразного тела, грузно опираясь на дряблую руку сухонького господина в котелке.

— Mon cher, что это там за толпа?! Они движутся прямо на нас! — в испуге замирает она, подавляя отрыжку, и тревожно всматривается в туманную даль проспекта.

Да, действительно, от Знаменской площади движется навстречу нам в жутком молчании густая и мрачная масса солдат. Ни знамен, ни возгласов. Все это бородатые дядьки, понуро бредущие. Жидень-

кие полосы кумача и коленкора, распяленные на палках, коряво расписаны черной и белой краской:

«Наша земля не засеяна».

«Деревня без рабочих рук».

«Наши семьи голодают в деревне».

«Отпустите сорокалетних».

«Пускай сражаются молодые».

Они шагают в тугом, напряженном молчании, тяжелым шарканьем старческих ног сметая с панели суетливое жужжание уличных митингов.

Лица угрюмеют, и шеи вытягиваются навстречу им.

— Демобилизации требуют, — слышатся замечания в толпе.

Два господина со свежевыбритыми, багровыми, как мясо, лицами, скованные крахмальными воротничками, уже сидят в мягком купе вагона, когда я вхожу со своими вещами. Один из них в элегантном синем плотном костюме, на другом — серая люстриновая тройка.

Торопливо бьют последние звонки. Поезд медленно трогается. Плавно плывут перронные огни, проползая лучами через купе. Вокзальный гул быстро убегает вдаль. Отбарабанивают стыки стрелок, мигнув в окна зеленым лучом, и белесая летняя ночь щедро распахивает свое свежее северное покрывало.

«Прощай, Питер!» — думаю я, приветливо вспоминая Ораниенбаум, кронштадтцев, военку, Бокия, озабоченную ватагу рабочих и хмурых сорокалетних солдат на Невском. Лампочка начинает светить много ярче. Проводник, постучав, вносит для обоих господ заказанные ими постели. Мое место — верхнее, я поднимаю его, надуваю резиновую подушку, расстилаю шинель и ложусь.

— Чаю! — в один голос заказывают они проводнику, когда тот собирается уже уходить.

— И с сухариками, — добавляет пассажир в синем.

— Сухариков-с нет-с, — виновато кривится проводник. — Не могли здесь достать-с.

— Безобразие! — мычит серый.

— Да, — сокрушенно покачивает головой господин в синем, когда проводник выходит, прикрыв дверь. — Перевернулся наш Питер. Где теперь власть, и что нас впереди ожидает — сам чорт не разберет!

— В Петрограде работаете? — позевывая, спрашивает его серый.

— Да, я в правлении Коммерческого банка, — отвечает синий и достает тисненый серебряный портсигар.— Курите? — предлагает он серому, и тот, кивнув, медленно берет папиросу. — А вы где изволите?

— Я из Харькова, по углю работаю.

— Ну, и как дела? — знающе ухмыляется синий, сиесиво постучав папиросой о защелкнутый портсигар.

— Паршивые, — брезгливо морщится серый, — протягивая собеседнику зажигалку. — Огонь на мгновенье озаряет их щеки, упругие, как колбасы.—Надо быть хуже, да некуда. А у вас как?

Синий неопределенно подергивает плечами. Проводник в это время приносит и ставит перед ними на столик в мельхиоровых подстаканниках крепкий чай.

— Да, дела неважные, — мычит серый, уныло размешивая в граненом стакане серебряной ложечкой. — Не хотите ли коньячку? — и он лезет в свой чемодан за бутылкой.

— Благодарствую, — кивает синий. — А я, знаете ль, рому с собой прихватил. У Елисеева остаточки засекречены! — подмигивает он и щелкает толстыми пальцами. После этого на столике появляется и вторая бутылка с изображением негра.

— Занавесочку-то следует опустить на всякий случай, — поднимается серый. — А то эти арапы увидят, на скандал можно нарваться,—неопределенно кивает он головой на окно. После этого он смотрит вдруг на меня и о чем-то сосредоточенно думает. — А вы что рано легли, господин офицер? Не угодно ли рюмочку с нами? Докуда изволите ехать?

— Я и так уже сегодня много перепил, — нахально вру я. — Еду в Сибирь. Командировка. Кажется, для усмирения.

— Да-да-да, — озабоченно шамкает серый. — Это, наверное, у Михельсона на Судженских. Да там такая же, как и у нас, заваруха. Ну, вы представьте, — вскидывается он живо к синему,— как можно при таких условиях работать?! Повыбирали они себе какие-то там шахткомы, дисциплины теперь никакой, работают часов по семь, да и то через силу, а теперь вдруг начали совать нос в бухгалтерские наши книги: покажите, дескать, им, какая у нас прибыль? Прибыль! — взмахивает он пухлыми своими руками. — А им какое дело до прибылей?!

Вагон плавно покачивается, чуть-чуть погромыхивая на стрелках.

— ... Мы последовательно, но неуклонно свертываем производство. Под теми или иными предлогами, — мрачно продолжает серый. — Они вопят. Ну, и пусть повопят! — встряхивает он головою, наливая в чай душистый коньяк. — Пока мы их не раздавим окончательно и бесповоротно — работать так дальше нельзя.

— Не сладки дела, — поддакивает ему синий, отпивая свой пунш. — Россия стремительно катится в пропасть. За первые три месяца прошлого года дефицит в торговом балансе страны был двести шестьдесят два миллиона рублей, нынче за те же три месяца уже четыреста, и теперь с каждым днем катастрофически продолжает расти.

— Переводят много за границу? — озабоченно спрашивает его серый.

— Переводят,— деловито кивает синий. — Да и как не переводить?! — поощрительно улыбается он, обнажая неровные желтые, с золотыми заплатами зубы. — Живешь и не знаешь: у кого же, собственно, власть? Да, не сумели во-время прибрать их к рукам... Повсюду растут забастовки. Носков вот даже себе на дорогу не смог в Гостином купить. Изволите ль видеть: даже приказчики бастуют! Требования непомерные! Власти же над ними по сей день — никакой! Этот дурак, эсдек Скобелев, пробовал тоже демагогию им подпустить: урежем-де сверхприбыли заводчиков и фабрикантов. «Сверхприбыли»! Подумаешь!.. А ты, спрашивается, их считал? Да и когда наживать теперь эти прибыли, как не во время войны?! Коновалов вон терпел, терпел, да не выдержал, знаете ли, сбежал. Пускай сажают теперь своего, а мы им покажем «сверхприбыли»!

— Чего же вы покажете? — злобно подзадориваю его, спускаясь вниз.

Разговор становился весьма интересным.

— А Пальчинский решил их вышибить всех к чорту начисто из Петрограда. Перевести из Питера в провинцию срочно все заводы, — продолжает синий.—Чорт с ними, если и не сделаем в Питере в течение полугода ни одной пушки, ни одного снаряда. Англичане это время помогут. Плевать, если закроется половина заводов, все равно ведь работаем уже только наполовину. Мы давно не подвозим в столицу намеренно ни топлива, ни сырья... Так вот нет же! Уперлись. «Не поедем из Питера», — и ни в какую. Сволочи! — гневно сплевывает банкир на пол и доливает стакан свой ромом.

— О, если бы их высадили из столицы, гарнизон можно было б тогда отправить на фронт в двое суток. Генералы за это берутся! — удовлетворенно кивает он мне, помолчав. — И вот тогда мы бы с вами разделали тут дела! Неправда ль, господин офицер? Почему, чорт подери, вы не выпьете с нами рюмочку? На похмелье это к тому же чудеснейше помогает! — Он лезет в свой саквояжик за рюмкой, но я наотрез отказываюсь.

— Бесплодные мечты, — продолжаю я разговор с притворными вздохами. — А что вот теперь прикажете делать нам с ними?

— Это верно, так дальше продолжаться не может! — поддерживает меня серый, беспокойно забарабанив по столу пальцами, толстыми, как сосиски.

— Что дальше? — ухмыляется лукаво банкир и тревожно косится на дверь. — Дальше — выход один, — снижает он голос, — надо брать власть накрепко в собственные свои руки. Если эсеришки с этим Керенским нам здесь не помогут, мы переводим правительство в Москву. Не это, конечно, — снисходительно ухмыляется он,— а обновленное. Но об этом пока ни-гугу!

— А если рабочие и солдаты воспротивятся? — говорю я прерывистым голосом. — Если они вдруг восстанут?

— Эк, подумаешь! И пускай восстают. Пусть пропадает тогда весь Питер! — бесшабашно вскрикивает банкир.

— То есть как «пропадает»? — спрашиваю я леденеющим голосом.

— Сдадим немцам! — рубит он, взглянув на меня холодными, стальными глазами. — Или не надоело еще вам путаться с этой разнузданной солдатней?! — смотрит он мне в глаза цинично и нагло.

— На нашем съезде каде все это уже проработано, — нагибается он к серому через стол и глядит на него выпученными водяными глазами: полоса света пробегает по его серо-стальным волосам. — И с казачьим съездом это тоже вполне согласовано. Ставка тоже в курсе. Жаль, что немцы толкутся на месте: все рассчитывают, идиоты, на мир. До того присмирели, что посланник болгарский у них из Берлина, Ризов, даже письмо к нам с предложением мира прислал. Горький его у себя на-днях напечатал и назвал наглым и глупым. А генеральный штаб немцев, так тот осмелился запалить подобную же телеграмму прямиком в наш «рачий и собачий» совет: приостановим-де военные действия для предварительного открытия мирных переговоров. Но кому, спрашивается, охота кончать все вничью?! Даже совет — и тот отверг это с негодованием. Пусть немчики теперь потанцуют. А на-днях, — и тут он совсем переходит на хрипленький шопоток, — мы решительно наступаем. Французский штаб требует этого безоговорочно. И Лондон дьявольски жмет.

— А если нас разобьют и отбросят? — с замиранием выдавливаю я.

— Ну и что ж?! — ударяет банкир ладонью о стол. — Пускай забирают себе распроклятый наш Питер! Союзники, может быть, потом отберут.

— Прощай, Питер! — задорно подняв свой стакан, весело хрюкает углепромышленник в сером.

— Прощай, Питер! — воинственно звякает своим стаканом банкир.

«Так вот оно что», — выхожу я, подавленный, в коридор. Какой-то полковник, покачиваясь, молча курит возле дальнего окна. Я закрываю дверь в купе. Пускай сговариваются себе на здоровье. Омерзительные вампиры! Патриоты своих прибылей.

Швырком спускаю широкую раму окна, опрокидываюсь грудью и жадно вдыхаю хлестко мчащийся дымный сумрак.

— Прощай, Питер? — бормочу я, оглядываясь назад.

Ветер треплет волосы. На горизонте сверкают зарницы. Но Питера уже не видать. Поезд с гамом вызванивает что-то на стрелках. В стремительном беге крушит он и режет все ненужное, прелое, пережитое — все, что осталось в сердце от старых, обывательских дней.

— Нет, не прощай! — кричу я дико, высунувшись как можно дальше в окно и судорожно цепляясь за раму. — Мы тебя отстоим! Мы тебя отвоюем! Питер, Питер!

Мимо летят, покачнувшись, черные будки, испуганно шарахаются шумные ветлы, поезд гремит и грохочет, проносясь над мостами, и безудержно мчится в грозную даль.

19. РАСЕЯ

Москва промелькнула писаниной своих куполов, лязгом пролеток, визжанием трамваев. Здесь была пересадка с вокзала на вокзал через площадь на сибирский экспресс. Розовощекие девицы, лукаво нюхающие букеты пионов, сухие девы с челками и повязками Красного креста, желторотые гимназисты с припудренными прыщами, юные прапорщики, перетянутые ремнями, в фуражках, заломленных набекрень, потнолицые носильщики, перекрестные взгляды, подрагивающие бедра, бородатые солдаты, сплевывающие шелуху семянок, испитые, исстрадавшиеся лица беженцев — все это промчалось, толкаясь, шаркая и тараторя в сутолоке московских вокзалов. Среди Каланчевской площади,со сколоченной наспех дощатой трибуны какой-то низенький, плюгавый оратор убедительно призывал толпу доверять только левым эсерам.

— Черный рак, рак реакции тянет назад! — визжал он высоким фальцетом, встав на цыпочки и вытянув тонкую шею: — Щука соглашательства и оборончества лезет в воду, а белый лебедь, лебедь отчаянного большевизма фанатично и слепо рвет в облака. Граждане, что будет с возом!.. Только мы, мы — левая группа — на открывающемся сегодня в Москве Всероссийском съезде партии социалистов-революционеров покажем...

Солдаты и ломовые, привокзальные проститутки и зеваки скучающе слушали, что именно и кому покажет этот оратор.

Привокзальная суетня меня утомила. Я с удовольствием расположился в купе, как только поезд был подан. Вместе со мною уселись: сухощавый чиновник в белом кителе и форменной фуражке с коронованным судейским значком, его жена, довольно плотная дама в модной кокетливой шляпке с пером попугая, и добродушный толстяк в чесучовом пиджаке и панаме.

Ударили последние звонки, кто-то торопливо бежал по перрону. У окон коридора пассажиры помахивали провожающим вихлястыми руками. Поезд дернул, скрипнули буфера, змельками душные пыльные улицы московских окраин, интендантские склады, с шипом, лязгом и паром пронеслись какие-то заводы, платформочки дачных поселков с фланирующей толпой, — и поплыла мимо меня необъятная наша Расея: зеленые дали, волнистые нивы, пустующие поля, шумная прохлада лесов, кудрявые рощи, отцветающие сады, ску-

чающие городишки, посеревшие жалкие деревеньки с прогнившими крышами из досок, полуголые грязные ребятишки, изможденные босоногие бабы с лицами бурыми и испитыми, как старая, ссохшаяся картошка.

Я выхожу на встречных вокзалах, брожу по грязным, заплеванным, вонючим перронам, заваленным ожидающими отправок людьми. Здесь возле сундучков и котомок горбатятся плечи истомленно уснувших. Мятые лица храпят на вывороченных локтях. Ноги в дырявых лаптях, ноги, босые и грязные, в кровоподтеках, с облупившимися ногтями, скрючены к подбородкам или вытянуты возле самых дверей. Через них, спотыкаясь, шагают солдаты — солдаты в расхлястанных шинелях, солдаты в истоптанных сапогах, ссохшихся и одеревяневших от проселочной грязи, солдаты, заплевавшие щетину своих подбородков подсолнечной шелухой. С мучительно искривленными лицами волочатся на костылях забинтованные раненые. Маленькая девочка с тонкой косичкой играет с пискливым котенком, опаршивевшим на один глаз. Ее уставшая мать спит, склонясь над столом, промозглым от селедочной вони, и в растрескавшихся ее губах вскипают пузыречки слюны.

Названия станций вызывают во мне воспоминания, от которых теплеет на сердце. Поезд стучит и грохочет, лязгает буферами, я стою у окна в коридоре, туго прижавшись виском к косяку. Эти названия станций воскрешают минувшую юность. Вот под колоколом у станционных дверей горбится в полинялой тужурке начальник станции в ярко-красной фуражке. Длинные острые тучи серо-стального цвета вытянулись сзади на горизонте, они золотятся снизу, как острые лезвия сабель. Это вновь напоминает мне Питер и промелькнувшую ночь. Мои спутники весь день не выходят из купе. Лишь судейский чиновник степенно сходит на всех полустанках в поисках продажи жареных кур. Он возвращается злой и раздраженно ругает крестьянок, отказывающихся брать у него бумажные марки и требующих серебра. Толстяк, сняв панаму, не теряет зря времени; он настойчиво ухаживает за судейской женой. Оставив мужа за закрытою дверью купе, они вышли в коридор и примостились возле окна. В наползающих сумерках она улыбается толстяку кривою, надломленной улыбкой и позволяет легонько обнять себя за упругую талию. Но в это время дверь купе грохоча открывается, и они стремительно прядают друг от друга.

Уже давным-давно пора было бы пустить электрический свет, но света нет. Почесывающийся проводник идет и лениво ставит в запасные фонари толстые коротышки стеариновых свеч.

— Электричества не будет, — привычно бурчит он себе под нос, — что-то спортилось.

— Безобразие! — злобно скрипит судейский чиновник. — Везут чорт знает как: уже на пять часов опаздываем, нигде ни черта,

ничего не купишь, в станционных буфетах, кроме селедок и прошлогодней говяжей подметки, хоть шаром покати, и вдобавок — пате вам: не будет света. Я не знаю, куда только смотрит Временное правительство. Ведь этак, пожалуй, через какой-нибудь месяц все железные дороги у нас совсем станут.

Проводник за полтинник уступает им казенную стеариновую свечу, и теперь ее свет треплет по опущенным верхним постелям, по стенам купе и по потолку лохматые тени. Я залезаю к себе наверх. Судеец тоже забирается наверх, потому что жена его выбрала себе нижнее место. Но ему смертельно не хочется оставлять ее внизу с толстяком, который примащивает свою постель подо мною. Поэтому он время от времени свешивает свою дынеобразную лысеющую голову и ревниво поглядывает на постели жены и толстяка, разделенные узким проходом.

Под скрипучую песню осей, сопровождаемую щелканием стальных кастаньет, весь вагон очень скоро погружается в сон. Ночью слышу я погромыхивание вагонных цепей, чьи-то выкрики, ругань проводника, отгоняющего от вагона пытающихся проехать солдат, унылый звяк станционного колокола, трели кондукторского свистка и глухой взрывчатый грохот встречных мчавшихся поездов.

Утром солнце играет в окошке. Купе заперто, но прокурора нет в купе, он, должно быть, пошел умываться. Прокурорша кокетливо запахнув батистовый пеньюар, нежно улыбается поднявшемуся соседу. Ее лицо размято сном, сладкий, душный, уютный запах струится от ее мятых волос и от щеки, порозовевшей от крепкой подушки. Помещик что-то шепчет ей, задыхаясь, и его помочи бестолково болтаются у него позади. Он поровит к ней подсесть, его плотные колени уже прижимаются к ее необутым ногам, в ее глазах трепещут игривые огоньки, а его заплывшие глазки уже ткут приторную, душную паутинку вокруг ее тела.

В это время в купе возвращается прокурор. Он держит в руках зубную щетку, коробку, мыльницу, посыревшее полотенце. Его снежный сверкающий китель уже застегнут на все шесть золоченых пуговиц с царской короной и судейским столбом. Делать нечего, теперь помещик бредет умываться, а я, обув сапоги, выхожу вслед за ним.

За завтраком, который они достают из своих саквояжей, любезно потчуя друг друга, у них завязывается деловой разговор. Поскольку я держусь стороной, они на меня не обращают внимания.

— О нег, будьте уверены, — говорит прокурор, и зеленоватое лицо его кажется замороженным над тугим белым воротом кителя. — Я только что сам получил копию циркулярной телеграммы министра. Приостановка всех земельных сделок, начатых после первого марта, в настоящее время отменяется. Можете теперь продавать вашу землю свободно. Лишь бы только нашлись покупатели.

— Почему бы им не быть?! — захлебывается радостью помещик, раскачивая бутерброд с черной икрой. — Ведь у тех, кто приобретет землю сейчас, конечно, нельзя уже будет потом отобрать ее в пользу мужланов. Она перестает быть тогда родовой и становится благоприобретенной.

У помещика тяжеловатые челюсти, крохотные свиные глазки и пучечки черных усиков на губе. Когда он говорит, они забавно подрыгивают.

— Кто его знает, — медленно выцеживает прокурор, и улыбка чуть трогает его плотно сжатые губы. Он сидит рядом с женой напротив нас, высоко подняв одну бровь.

— Дьявол их всех подери! — ругается вдруг толстяк, отложив бутерброд свой на столик. — Никаких концов теперь не найдешь. В деревнях мужичье глядит на тебя бирюками, того и гляди — петуха пустят. Не жертвовать же, на самом деле, из-за этого даром им свои родовые владенья! Вот сейчас тащусь из Москвы, без заезда домой, прямо в Самару на съезд. Срочно организуем свой союз земельных собственников. Пора наконец и нам за ум браться. «Помещики всех уездов, соединяйтесь!»

— «В борьбе обретете вы право свое»! — в тон ему говорит прокурор, подняв свою бровь еще выше, что, повидимому, связано у него с появлением значительной мысли, словно он сам удивлен глубиною и тонкостью своего остроумия.

— Конечно, в борьбе! — вскипает толстяк. — Мы своего так не уступим! Не отдадим! В горло зубами вцепимся всем этим горе-министрам. Из паршивых эсеришек мы все жилы повымотаем! Не понимаю, чего церемонятся с ними наши каде?!. И Милюков и Шингарев — ведь это же умнейшие люди!

По щеке прокурора неуловимо проскальзывает одобрительная улыбка.

— Я пошутил, — снисходительно говорит он. — Землю можете продавать кому угодно. Частная собственность была, есть и останется неприкосновенной. Я подробно беседовал совсем недавно с нашим вице-губернатором. Он вполне меня успокоил и убедил. Никаких насильственных выкупных платежей, никаких государственных хлебных монополий дворянство российское никогда не потерпит! — Прокурор произносит все это четко и веско, и по тому, как нервно подергивается его холеная щека, видно, что он этим взволнован. — Отнюдь не случайно совсем недавно председатель Совета министров, князь Львов, разослал всем губернским комиссарам циркулярную строжайшую телеграмму, что, дескать, «ввиду поступающих сведений о случаях разгрома имущества, самочинного устранения от должностей управляющих фабриками и заводами, министр предлагает принимать самые решительные меры к ликвидации этих явлений».

— Что толку в этаких телеграммах?!. Кто и где слушается теперь этих новоиспеченных правительственных комиссаров, настряпанных на каждую губернию из мягкотелых земских слюнтяев?!. — упрямо не хочет сдаваться разбушевавшийся толстяк. — Тут требуется настоящая власть! Тут требуется крепкая власть! А губернских этих всех комиссаров у нас сплошь да рядом игнорируют даже паршивые местные советы из вонючей рабочей шпаны и солдатни. Настоящая должна быть создана власть, а не губернские комиссары!

— Да, губернские правительственные комиссары на местах — это слякоть, — без колебания соглашается прокурор. — Они сплошь и рядом апеллируют к местным советам о содействии, вместо того чтоб давно разогнать их втришеи. А в советах эта презренная чернь успела кое-где захватить в свои руки всю власть и не желает ее уступать, опираясь на бесчинствующую солдатню. Но так долго это все, разумеется, не продержится. Советы должны умереть естественной смертью — даже социалисты теперь с этим согласны — или они будут разогнаны силой!

Холодные длинные прокурорские пальцы судорожно двигаются в карманах его черных брюк.

— Что Чернов? Чернов — фитюлька! — снисходительно передергивается он затем. — Дунем мы — и не будет Чернова. Немедленных требований он не предъявляет, пускай пока что морочит крестьян. Вот председательствует он в Главном земельном там комитете, разве не опубликовал он немедленно же декларацию о недопустимости всяких эксцессов? О будущем землепользовании и землеустройстве он к тому же ни-гугу, и ничего, поверьте, не скажет и не сможет ничего он сказать, потому что иначе его вышибут. Чего же эсеров бояться?!. Власть здесь на местах, по сути дела, в наших руках.

— В наших, — иронически кивает помещик, понемножечку успокаиваясь, как поплакавшее дитя. Теперь он берет бутерброд, жует его и благодушно прищуривается на прокуроршу.

— Конечно, в наших! — уверенно подчеркивает прокурор. — Разве вице-губернаторы и прокуратура не остались все на старых местах? Разве испытанная наша полиция, то есть, как ее бишь там, милиция, — разве она не попрежнему в наших руках? Да, земские начальники по закону о местном суде лишены сейчас, к сожалению, судебных функций. Но разве и они все не остались на прежних местах? Разве они лишены чинов, орденов или содержания? Кликнуть клич — и они сразу же на прежних ролях! Ни в коем случае нельзя только допускать перевыборов местных советов. Оборонцы и сами решительно против этого, но большевики подзуживают развращенную чернь. Кое-где они угрожают взять верх. В Екатеринбурге, например, в совете — скандал. Говорят, в Царицыне тоже...

Прокурор останавливается и бледнеет. Его глаза вдруг злобно впиваются в толстяка.

— Большевикам мы свернем шею! — весело поддакивает толстяк, ничего не замечая, затем вытирает губы салфеткой и умильно глядит на прокуроршу.

— Оставьте, скот, мою ногу в покое!— неожиданно четко и длинно говорит прокурор, перегнувшись через столик, и строгое его лицо зеленеет. — Что вы жмете ее, как дурак?!

Скандала, впрочем, никакого не случилось. Помещик растерянно извинился и вышел в коридор. Прокурор с прокуроршей слезли в Сызрани, а толстяк, беззаботно посвистывая, доехал один до Самары.

В Самаре в купе сел дородный священник в дорогой соломенной шляпе и роскошной шелковой рясе. Это был отец-благочинный. Вторым к нам подсел акцизный чиновник в синих очках и, на удивление, с совсем белым носом. Уткнувшись в газету, он кропотливо вычитывает о новых служебных назначениях действительных и тайных советников. Он спрашивает, нет ли у меня свежих газет из Петрограда, так как почта теперь запаздывает возмутительно и газеты приходят сюда чуть ли не через неделю.

— Что там газеты! — взволнованно брызжет слюнями только что севший к нам третьим веснущатый молодой человек в бумажном воротничке и ярком лиловом галстуке бабочкой. Впоследствии выяснилось, что он пользуется отсрочкой по призыву в армию, числясь на службе в Союзе городов. — Что там газеты! — искренне возмущается он. — Письма идут целыми месяцами. У меня вот тетка скончалась в Белебее, так я телеграмму, изволите видеть, на пятые сутки только сейчас получил. Телеграмму! Еду вот сейчас, а ее, может быть, уже схоронили. Не вонять же ей, на самом-то деле, там пятеро суток. Совершенно не понимаю, чем, собственно говоря, занимается там наш почтовый министр Церетели? Неужели непременно ему нужно тратить столько драгоценного времени, чтоб уговаривать какой-то там препаршивый Кронштадт?!

— О, Кронштадт! — ахают они все в один голос и накидываются на меня с расспросами: — Правда ли, что в Кронштадте матросы распиливают живьем своих офицеров, что крепостью заправляет какой-то немецкий контрадмирал и они хотят итти теперь войною на Питер?

— В Кронштадте образцовый порядок, никаких пыток, хотя некоторые офицеры еще и содержатся в тюрьмах. Власть там держит совет.

— Совет?! — изумляются вдруг они. — Совет — и полный порядок? Что же там нет у них, что ли, большевиков?

— Как раз именно потому, что их там достаточно много.

Недоверчивые, иронические усмешки:

— Вы все шутите, господин офицер! Какой же может быть там порядок, если у власти стоит мужичье! Прославленный расейский мужик. Богоборец и богоискатель, в котором чуть ли не сам господь-бог своею персоною сидит. А по сути — это грязный хам, способный лишь щупать б....й, хлестать самогон и жечь культурнейшие помещичьи гнезда.

Толковать с ними не о чем! Тоскливо смотрю из окна коридора на степные пустоты, расстилающиеся до самого горизонта по широким холмистым увалам. Яровых засеяно мало. Помещикам было теперь не до хлеба, а крестьян они к земле не пустили. Над степями горит смуглый багровый сумрак, ночь могучим разливом надвигается прямо с востока, а поезд грохочет и скачет, и стальной его лязг безудержно бежит в сухую, пустынную степь. Ветер срывает мычанье коров и кидает его нам охапками в окна.

В Уфе я опускаю открытку. Здесь живет мой школьный товарищ, Юрьев Сережа, старый, испытанный большевик. Мне хотелось бы встретиться с ним и перемолвиться на обратном пути.

Поезд теперь пожирает прохладную глухоту темных липовых перелесков. Чем дальше мы мчимся к востоку, тем скорей догоняем убегающую весну.

— Сплю-сплю-сплю, крути-крути-крути! — доносится из кустов, из черных взлохмаченных лип, из серебристых трепещущих ив, с диким шелестом проносящихся вдоль полотна. Тра-та-та, тра-та-та, мы летим на восток.

Лунная ночь пахнет нивами, речкой, лесами. Всхлипы соловьев в сереброточащих тополях вдоль полотна. На мигающих мимо нас полустанках оглушительно пахнет сирень. На одном из них мы долго стоим. В ночной свежести тают усталые голоса. Уютно светятся вдали огоньки, доносится рваный собачий лай и скрип колодезного журавля. Я высовываюсь из окна и глубоко вдыхаю волнующую теплоту уходящего мая. Как непохоже все это на беспокойно-суетливую жизнь в Питере!

Неподалеку пыхтит остановившийся встречный поезд. Во мраке можно еще разглядеть черную тень огромного паровоза. Подставив под ветер горячую грудь, он нетерпеливо фыркает пламенем в звездную темень. Дым вырывается из его трубы бронзо-лиловыми клубами. На пути красный огонь перекидывается в зеленый. Звонит колокол медленно и лениво. Встречный поезд трогается, громко храпя, грохоча, скрипя и мигая освещенными окнами мелькающих мимо вагонов. Набирая скорость, он проваливается в темноту, покачивая убегающим красным фонариком, пришпиленным где-то сзади. Кого он везет? Куда-то он мчится? Не туда ли, в покинутый мною Питер?! Волнующие воспоминания об оставленной мною борьбе вновь ярко вспыхивают в моем сердце, и мне становится мучительно стыдно, как это мог я минуту назад так легкомысленно

обо всем этом подумать? Я сердито ловлю себя на том, что, как мальчишка, любуюсь природными красками, игнорируя сущность вещей. Что я, не видел сейчас за дорогу всех хозяев русской земли: промышленника и банкира, чиновников, помещика и попа? Не разглядел, чем все они дышат? Ожесточенный, я отправляюсь спать.

За ночь в вагон Уральские горы надышали прохладу. Мы едем уже за Челябой, и по сторонам, куда ни глянь, до самого горизонта расстилается ровная, гладкая пустынная степь с крапинками низкорослых березовых рощиц. Небо сегодня просто, как детство. Сверкает росой, точно усыпанная шрапнелью, трава. Ветер привольно играет в степи, морщит рябью солончаковое озерко, и зловеще гудит, как сигнальные трубы. Вагон вздрагивает, дзинькает и стучит, проносясь в нескончаемом жилистом и упругом воздушном потоке. Студеное звонкое утро расстилается в золотых беспредельных просторах Сибири.

В Омск мы приезжаем после полудня. На вокзале свободно толкутся пленные австрияки с голубыми, как льдинки, глазами, в сизых кэпи и куртках. За вокзалом митинг. Большая толпа досужих солдат. Поодаль к ним прислушиваются австрийцы. Солдаты спорят: надо или не надо им охранять теперь мост через Иртыш? И почему нельзя приспособить к этому делу пленных австрийцев? Спор едва не переходит в драку.

— Ты поперечь еще, я так и блябну по чавкалам! — гневно сжимает один из солдат волосатые кулаки.

— Я и сам тебя штавхану вот в затылок, — спокойно отвечает другой, старательно очищая заплеванную подсолнечной шелухой рыжую бороду.

— Так отмутую, что до морковкиных заговен не забудешь! — не сдается первый.

— А ты подь-ко поближе сюда, — угрожает второй, — на пару слов да на две оплеухи!

Следовало бы им разъяснить, но я для них — офицер: они не знают меня и не послушают. Кроме того, надо спешить: время давно уже заполдень. Из старых эсдеков я помню здесь только Попова да Суслова. Надо направиться к кому-нибудь из них. От станционного казачьего поселка до города несколько верст. Беру киргиза-извозчика, который расселся на козлах в широченнейшем стеганом випуне и в ярко-зеленом бархатном, с подкладкой на лисьем рыжем меху, ушастом расхлястанном малахае на голове.

Разросшийся Атаманский поселок задыхается в пыльной истоме. Из крохотных окошек одноэтажных белых мазанок сочится обывательское благоухание. Несет клопами, матрацами, сном. Из узеньких позеленевших сточных канав воняет кислым. Омска я не узнаю. Роща, где жил я два года назад в палатках простым солдатом,

как-то вся высохла и оскудела, да и самый город весь словно осунулся, похудел, посерел и стал еще пыльнее и грязнее.

Попова Константина Андреевича дома я не застаю. Он выехал в Петроград на Съезд советов. Вещи я оставляю в гостинице и иду разыскивать Суслова.

Суслов дома и очень мне рад. У него медлительные голубые глаза, белое одутловатое лицо и короткие золотистые волосы. Говорит он медленно, нараспев и со скрипом. По темпераменту он спокойнейший сибиряк. Мы с ним приятели сыздавна. Сейчас он очень спешит. Собирается итти на Атаманский хутор. Там, в клубе железнодорожников, сегодня общегородское партийное собрание. Как это кстати!

— Стало быть, ты большевик? — спрашиваю его.

— Зачем «большевик»? — смотрит он на меня оторопело. — У нас здесь организация объединенная. Мы все — социал-демократы и здесь живем дружно. Это только у вас в Питере Ленин склочничает. Да и большевиков-то в ленинском смысле здесь почти нет никого. Так: два-три, да обчелся. Я вот, к примеру, плехановец.

— Николай Николаевич! Милый друг! — потешаюсь я. — Повтори. Ты плехановец? За покорную дружбу с Антантой? За войну до полной гибели нашей России, или, как ты говоришь, до полной победы?

— Неужели ты ленинец?! — смотрит он на меня с диким ужасом. — Вот никогда б не поверил! А ведь раньше, мне помнится, ты был поумеренней. Во всяком случае, не кричал о желательности поражения... Массы — темны, — говорит он, нахмурясь, — их надо сдерживать и вести к победе. Да, — горделиво скрипит он, — к победе!

Ветер здесь резок, несмотря на накалившийся за день зной. Он несет по немощеным улицам тучи пыли и засыпает песком потрескавшиеся доски узеньких тротуаров. Лица прохожих смяты и серы, как покинутые ими подушки. Когда мы переходим улицу, по которой тарахтит извозчик-киргиз, во рту у меня вкус пыли, песок хрустит на зубах.

— Давай, если хочешь, разговаривать посерьезнее, — мычит Суслов, — меня демагогией не проймешь. Отвечай напрямки: на что вы рассчитываете? На социалистическую революцию? На восстание всемирного пролетариата? Это не осуществится. Немецкий рабочий класс, к примеру, весь поголовно в кармане у Вильгельма.

— А Меринг? А Либкнехт? А Люксембург Роза?! — вспыхиваю я с негодованием.

— Жалкая горсточка! — снисходительно скрипит Суслов. — Во время войны социалистическая революция невозможна. И если мы в России ее начнем, нас мгновенно раздавят!

Мы идем вместе с ним по окраине города, где пахнет с дворов кизяком, а на дощатых узеньких тротуарах валяются отбросы и ползают дети. Сдерживая свое раздражение, я торопливо шагаю по скрипучим доскам, все еще дожидаясь, не скажет ли Суслов наконец чего-нибудь путного.

— Ведь это же так ясно! — не унимается он. — Вы просто живете в каком-то условном, вами самими выдуманном для себя мирке. Вы надеетесь спасти страну в революционных судорогах всего мира. Это глупейшая утопия, милый друг! И вреднейшая при этом утопия! Слепой понимает и видит, что революции в Германии не бывать. Обеспеченный немецкий рабочий, как волк, грызется сейчас за капитализм и свергать его, раздумеется, никогда и ни за что не будет. А ведь вы кричите о мире во время ожесточенной войны! Вы гнусно разлагаете нашу армию. Вы толкаете родину в пропасть непоправимого, катастрофического военного разгрома. Кому это наруку? — спрашиваем вас мы. — Что, вы думаете, Ленин этого не понимает? А ведь он почему-то упорно продолжает творить свое мерзкое дело.

— Ну, вы — того, знаете ль, полегче! — вспыхиваю я, возмущенный. — Вы законченный защитник капитализма. Вы социал-империалистический бандит! Как смеете вы, ничтожество, пачкать Ленина?!

Суслов останавливается и краснеет.

— Это вы — немецкий бандит! — кричит он мне, пожирая меня остеклянелыми глазами. — Вы — Вильгельмовы слуги! Да не будет по-вашему! Мы сломаем вам шею, прежде...

— Ах ты, сволочь! — кричу я ему. — А ну, подойди! Вот как смажу сейчас по сусалам, тогда будешь знать...

Мы стремительно расходимся в разные улицы и идем на одно и то же собрание уже порознь.

Когда я прихожу в невзыскательный, скромный зал железнодорожного клуба, собрание идет в нем полным ходом. На скамьях, группами человек по десять — двадцать, сидят понурившиеся рабочие. Лица — мне не известные, раньше с ними я не встречался. Интеллигенции здесь — никого. Интеллигенцию в городе я всю знаю. Впрочем, сидит здесь один, ото всех на отлете, Гладышев. Низенький, щупленький. У него голубая крохотная рожица с кулачок, робкие глаза, посаженные близко к остренькому, как у пиголицы, носу, жиденький рот с усиками и реденькая черная щетинка на голове. Я знаю: Гладышев мой враг. У меня было когда-то здесь с ним столкновение, и поэтому он с давних пор на меня непримиримо сердит. Поэтому я к нему не подхожу. Я показываю свой мандат товарищу, отмечающему всех приходящих, и прошу его свести меня с кем-нибудь из президиума. Однако в президиуме нет никого. По сцене вдохновенно разгуливает бравый рабочий парень и о чем-

то пытается рассказать. Тем временем ко мне подходит смуглый сутулый рабочий из первых рядов, и я прошу у него дать мне слово для приветствия от Центрального комитета нашей партии. В зал входит Суслов и усаживается рядом с Гладышевым, озабоченно ему что-то нашептывая. Тот глядит на меня с ненавистью и изумлением.

Смуглый рабочий, подойдя к рампе, что-то шепчет оратору. Тот, мгновенно склонясь, пытливо окидывает взором зал и после этого торопливо заканчивает свой доклад, срывая несколько поощрительных аплодисментов. На сцену поднимается смуглый рабочий и объявляет, что дает слово приезжему эмиссару от Центрального комитета.

— У нас нет Центрального комитета, у нас есть ОК! — кричит напористо с места Гладышев. — Мы не признаем самозванного ленинского Центрального комитета! У нас организация объединенная.

По собранию пробегает растерянность. Все смотрят на меня с любопытством, и, очевидно, многим хочется меня послушать.

— Я просил дать мне слово для приветствия от имени Центрального комитета партии большевиков, от тех, кто борются во главе с товарищем Лениным, — произношу я с места. — Я полагал, что большевиков вы не исключаете, поскольку вы организация «объединенная», — насмешливо киваю я в сторону Суслова и Гладышева.

— Просим! Просим! — кричит собрание, и я выхожу на сцену.

Пока я произношу заученные слова приветствия, я вижу, как рабочие добродушно и вместе с тем с изумлением оглядывают гвардейскую мою шинель. Офицерский мой облик и мои политические взгляды представляются им трудно совместимыми. Это еще более разжигает их любопытство. Когда я рассказываю о том, что большевики во главе с Лениным ведут петроградских рабочих в бой за право на человеческий труд, в бой за мир, в бой за хлеб, и что мы самоотверженно боремся против сплоченной реакционной банды монархистов, кадетов и социал-оборонцев и рассчитываем в своей борьбе на поддержку и помощь всего российского пролетариата, а в том числе и омских рабочих, — зал сотрясается от рукоплесканий.

— Демагог! — кричит Суслов, но на него оглядываются неприязненно, не понимая, почему он так зол и неучтив.

Я остаюсь на сцене, и ко мне выходит предыдущий оратор и, обращаясь к собранию, велеречиво подтверждает, что омичи ценят приветствие Центрального комитета, возглавляемого товарищем Лениным, и готовы итти по этому боевому пути.

Дружные оглушительные аплодисменты подкрепляют эти слова. Тогда оратор спрашивает меня, нужна ли какая-нибудь резолюция? Если нужна, то он очень просит меня ее набросать. Они

простые рабочие и в резолюциях не сильны. Я заявляю, что резолюцией подытожить настроение собрания не вредно, и предлагаю записать в текст то, что он в ответ мне сказал. Набрасываю вместе с ним резолюцию, которая ставится на голосование.

Суслов и Гладышев гневно протестуют против голосования. Но собрание их не слушает. Голосуют все дружно за. Воздержавшихся нет. Против — двое: Гладышев и Суслов.

Они вскакивают, побагровевшие от злости, и сквозь шум рукоплесканий кричат, что после всего совершившегося они выходят из данной организации и просят на их помощь более не рассчитывать и членами «подобной» партии не считать. Они демонстративно уходят, и вздох веселого облегчения проносится по залу.

— Воздух теперь будет чище! — несется им вслед.

— Поскольку они — злостные плехановцы — вышли, — говорю я, — и поскольку собрание в своей резолюции единогласно само приветствует большевистский путь товарища Ленина, — почему бы вам сейчас же не объявить всю омскую организацию большевистской и не держать отныне тесную и постоянную связь с Центральным ленинским комитетом?!

Мое добавление принимается собранием восторженно-единогласно.

Рабочие просят меня сделать им сейчас же более подробный доклад о всех питерских делах и событиях. Я с восторгом соглашаюсь. Так как помещение клуба недостаточно, мы переходим в соседний сад, где к моим услугам предоставляется открытая музыкальная раковина. Посланные галопом обежали весь поселок, станцию и депо. Народ собирается, быстро заполняя весь сад, и плотно теснится перед эстрадой.

Я начинаю говорить. Рассказ веду с описания Февральской революции и самоотверженной роли в ней петроградских солдат и рабочих. Я вспоминаю последовательно все новые и новые подробности развития этой растущей борьбы, каждая из них кажется мне важнее предыдущей, и все-таки чувствую, что все это вовсе не то, о чем мне следует сейчас говорить. Затем я перехожу к тщательному разбору международного и внутреннего положения и боевых задач, стоящих перед рабочим классом.

Многосотенная масса людей слушает, как завороженная — без движения. Ни кашля, ни хрипа, ни вздоха, ни шевеленья. Молчание людей стоит вот прямо передо мной сплошной твердой стеною, кажется, что его можно даже потрогать. Оно мне ответно сверкает несчетными искрами восторженных глаз рабочих, готовых на жертвы и подвиги и в немом восхищении жадно внимающих каждому моему слову. Мне кажется, что даже сам этот надвинувшийся в пыльный сад ясный теплый степной вечерок встал здесь тихонько на цыпочки и сосредоточенно замер.

В заключение я касаюсь плехановцев и оборонцев. Я говорю, что мы, грешные люди, думаем, что надо нам, сознательным, итти во главе своих масс, учить их и, коли нужно, сдерживать на крутых поворотах, а плехановцы полагают, что надо трепаться в хвосте у народа и тащить его в жертву буржуазии. Кто идет на соглашение с этакими людьми, тот только вредит рабочему классу.

Наконец я смолкаю, совсем охрипший, проговорив, должно быть, часа три. Дружески оглушительно аплодируют. Задают много вопросов. Интересуются, как будут управляться рабочими железные дороги, когда власть перейдет в руки советов. Расспрашивают, долго ли здесь я пробуду, где я остановился. Не смогу ли я на заводе у Рандрупа повторить свой доклад. Они провожают меня черезъ весь поселок тесной толпою, а человек десять или двадцать по пути идут со мной вместе в город.

— Крепко вы нас покритиковали за соглашательство, — говорит смуглый рабочий. — Ну да, впрочем, это все ничего. На пользу!

— Как же вас было не критиковать? — шучу я. — У вас сдерживание революционных стремлений рабочей массы объявлялось чуть ли не партийною добродетелью. В слабости своей вы сами виноваты, товарищи. Ну, да ничего! Сегодня вы здорово выправились!

Условливаемся, что завтра я им в комитет принесу всю привезенную мной литературу. Обрадованные, они просят передать товарищу Ленину свой горячий рабочий привет.

Один из рабочих провожает меня до самой гостиницы.

— Это вы хорошо отчебучили их, — говорит он с благодушной усмешкой, — а то мы чувствуем все, что что-то у нас здесь неладно, а в чем — разобраться не можем. Они ведь, знаете, как тут до вас? — кивает он через плечо в сторону ушедших товарищей, — днем ругаются между собой, а вечером чай пить ходят друг к другу. Ну, да теперь плехановцы больше не сунутся. Получили по морде. Прощай, дорогой товарищ! Почаще нас навещайте!

Город уже вышел из власти заката и стремительно летел в темноту. Небо, простреленное звездами, глядело вдумчиво и благосклонно. Линолеум в коридоре гостиницы блестел под зажженными лампочками, как румяная корочка пирога, матовым теплым восковым блеском. В моем номере было скучно и мрачно. Одинокая лампочка сосала потемки. Пыльные шторы, чахлая кровать. На круглом столике — заплатанная скатерть и пузатый, сверкающий граненой пробкой стеклянный графин с мутной водой. В открытую форточку доносились разрозненные звуки духового оркестра. Чахлые нотки оборванных мелодий с надутым выхрипом подкидывались в синеющий воздух. Не хотелось оставаться здесь после столь боевого и удачного большевистского дня. К тому же вспомнилось, что сегодня с утра ничего не ел.

Я вышел на быстро темнеющую улицу, дребезжащую одинокими пролетками извозчиков, пахнущую пылью, речной влагой и степными сумерками заиртышских просторов. Я решил пройти мост через Омь, чтобы попасть в маленький куцый садишко, где помещался летний коммерческий клуб, играл военный оркестр и был ресторан.

Мне подали пожарскую котлету, сухую и поджарую. Крытая веранда была вся переполнена ужинающими. Какая-то пухлая дама, положив задумчиво вилку и ножик, сидела за соседним столиком, сжимая голубыми руками виски и скучающе наблюдая, как ходят плотные желваки тяжелой челюсти ее мужа. Вариации до боли знакомого вальса пузырили раздираемый медными трубами воздух. Худой, гладко остриженный лакей в белом фартуке и замасленном смокинге держал вытянутой рукой на весу тяжелый поднос с мельхиоровыми судками, похожими на церковные купола. Обессилевшая рука его уже дрожала, но дама на него не смотрела. Томно вздыхая, она наслаждалась музыкой.

Аллеи были залиты мраком и фланирующей толпой. Пахло пыльными листьями, растоптанною травою и приторным благоуханием дешевой рисовой пудры. Музыка не мешала беззаботному щебетанью девиц и заливистым взрывам смеха укромно подвыпивших здесь компаний. После сегодняшнего боевого собрания вся эта пошленькая толпа, копошащаяся в этом чахлом, скучном садишке, показалась мне настолько пустою и глупой, что я стремительно направился к выходу. С брезгливостью я посмотрел на карточный павильон, где мужчины, как мухи, облепили зеленые столики, потея над винтом и преферансом. Лица, лысины и подбородки колыхались там в синем табачном дыму, не рассеивающемся, несмотря на открытые окна. Возле самого выхода из сада мне попались навстречу двое прежних моих сослуживцев, местных низших судейских чинуш, которые узнали меня. Услышав, что я только что из Петрограда, они закидали меня кучей обывательских вопросов: насколько обаятелен Керенский? Какую теперь носит он форму? Устраивает ли он во дворце рауты или приемы? Куда делась сейчас балерина Кшесинская? — и бездну всякой другой, подобной чепухи. Я понял, что, заплесневев в своем убогом мирке, они жадно искали теперь во мне наиболее яркие для них отголоски того большого, опасного и блистательного, чего был лишен их затерянный в степях город. Я мог бы, конечно, им рассказать о тех чудеснейших впечатлениях, которые мне доставила здесь победа промелькнувшего бурного дня, но я посмотрел на их изжеванные пылью и скукой геморроидальные канцелярские лица, устало смял пустяковый, тянувшийся разговор и, простившись, вышел из сада.

Я вернулся в гостиницу, но спать не хотелось. Ночь была лунная. Я открыл окно, погасил свет и долго сидел на краю кровати.

С улицы доносилось шарканье шагов, хриплая ругань, лукавый смешок возвращавшихся домой парочек. Где-то совсем далеко деревянно болболкала колотушка ночного сторожа, и заунывно выли собаки. Я лег на спину поверх одеяла. В окно лезли кислые запахи от помойки и уличной пыли. Я лежал, уставясь в потолок, и сердце мое наполнялось тоской и тревогой. Пузыристый марш, обрывками долетавший в окно из заречного сада, напомнил мне об его обитателях. «Интеллигенция, — усмехнулся я, — соль России!» — «Какую теперь форму носит Керенский?» — «А ведь окончили университет!» И невольно всплывали в памяти образы рабочих. Пахнуло такой крепкой верою в силу этих новых, встающих людей, что покой и удовлетворенность, казалось, наполнили собою всю мою комнату, и я незаметно уснул.

Проснулся я поздно и, взглянув на улицу, дребезжащую сутолокой пролеток, поднимающих кромешную пыль, вспомнил, что надо снести в комитет литературу. Но прежде нужно побриться.

— Подравнять? — спросил парикмахер и стряхнул полотенце. — Приезжие? — полюбопытствовал он затем, вороша мои волосы пухлыми пальцами. — К родным изволили иль по делу? Ну, как вам понравился наш Омск, столица Сибири? Упоительный город! Житница-с! — его ножницы аккомпанировали его болтовне шмелиным жужжанием. — Прикажете вежеталь?.. Дашка, прибор! — крикнул он и встряхнул полотенце. Откинув спинку кресла, чтобы приступить к бритью, и вытянув шею, как кошка, когда ей чешут под подбородком, он умильно вздохнул: — Да, падает-с теперь наш городок. Участочки прекратились.

— Какие — участочки? — полюбопытствовал я, хотя все подноготная города давным-давно была мне известна.

— Земельные участочки здесь были в ходу, — причмокнул цирульник. — Хорошо ими до войны торговали. Иосиф Познер, к примеру, на Ново-Омске, Куломзине-с, так целое состояние здесь ими нажил-с.

Мыльная пена расползлась у меня по лицу, щекоча ноздри и забиваясь в рот.

— Конечно-с, теперь не те времена. С участочками теперь позатихло.

— Чем же живет теперь город? — выспрашивал я, притворяясь наивным.

— Пшеница-с, перерод, белотурка. Спрос огромный! Армии надо много. Военнопленных нагнали сюда вдосталь. Даровые рабочие руки теперь есть-с. Хорошо зарабатывают сейчас через это многие.

— Крестьяне? — спросил я, желая проверить его общественные симпатии.

— «Крестьяне», — снисходительно усмехнулся цирульник, — зачем — крестьяне? Крестьяне, они все на войне. Здесь земельные собственники крупные есть, просвещенные люди: Штумпф, Мазаевы, Рандруп...

Я полулежал, закрыв глаза, пока его скользкие липкие пальцы неопрятно трогали мой подбородок.

— У Рандрупа вот только рабочие сильно волнуются. Завод здесь есть у него, плуги делает. Но ничего, господин поручик, их скоро скрючат. Обещают прислать сюда с фронта полк миасских казаков. В гвардейском полку изволите служить? То-то я вижу по вашим петлицам. Да, неспокойно с рабочими здесь. Вчера, — мне сказывал сейчас один малый, — и он снизил таинственно голос, — какой-то центральный ленинский агитатор на Атаманский хутор приехал. «Так и так, — говорит, — поднимайтесь, делайте взрывные бомбы!»

— Что вы?! — озадачился я.

— Ей-бо-пра! — убедительно пожевал цирульник губами. — И почему их только не ловят? Я бы вешать приказал таких людей! Одеколончик позволите?.. Пожалуйте-с! — отер он мне щеки и настойчиво помахал полотенцем над самым носом.

«Ну и сочинитель! — подумал я, выходя на улицу. — Уже и бомбы придумали».

— Вот вам целый комплект «Солдатской правды», — сказал я в комитете, развязывая свой тючок, — затем резолюция конференции, воззвания к солдатам и наш заграничный «Социал-демократ».

— Как это все хорошо! — Восхищались оба комитетчика. — А «Правды» у вас с собой нет?

— Да ведь «Правду»-то вы, конечно, получаете почтой. Зачем же она еще вам понадобилась?

— Мы на двадцать экземпляров на нее отсюда подписались, но до сих пор ничего не получаем. На почте, говорят, ее конфискуют. Церетели хозяйничает.

— Эх вы, вчерашние объединенцы! — подтрунил я над ними.— Да ведь это же правоверный социал-демократ!

— А после вчерашнего неладно все ж получилось, — нахмурился один из них. — Сегодня про вас распространяют здесь такие гадости...

— Какие гадости? — озадачился я.

— Что будто бы вы служили до этого в здешней судебной палате.

— Что ж с того, что служил? Служил младшим кандидатом на судебные должности несколько месяцев сейчас же по объявлении войны. Переписывал в уголовном департаменте обвинительные заключения об изнасилованиях и убийствах. Но что же в этой службе гадкого? Иль контрреволюционного?!

— Право, не знаю, — нерешительно покачал головой комитетчик и степенно погладил русые свои усы. — Только агитация эта против вас пущена здесь во-всю. Очень обидно, что этакие помои на вас здесь льют.

— Какие же это помои? И почему вы не даете отпор клеветникам? Моя совесть совершенно чиста и морально и политически. Кто распространяет все эти сплетни?

— Суслов.

— Суслов? Мой старый приятель! Всегда так ко мне расположенный. И вчера сделавшийся заклятым врагом! Ну и ну!

— И вообще большие есть нарекания на вчерашнюю вашу тактику. Поскольку революция уже произошла, какие после этого могут быть споры в партийной среде? Большевики, меньшевики — все одинаково социал-демократы. Ведь рассказывают вот, что в Питере в марте был даже основан объединенный федеративный комитет, и от большевиков входил туда Владимир Залежский.

— Мало ли какие глупости делали мы в Питере в марте! И потом — время бежит, борьба развивается, пропасть растет.

— «Пропасть», — усмехается он. — Вот именно: пропасть.

«Что он хочет этим сказать?» Я смотрю на него с недоумением, а он пишет для меня бумажку в ЦК о сделанном здесь мною докладе. «Что дальше теперь предпринять? На поддержку здесь, в комитете, повидимому трудно теперь рассчитывать. Они сами в смущении. А опорочивание меня расползается. Не собрать ли в ближайшие дни у Рандрупа митинг рабочих? И не выступить ли у них начистую, коснувшись и личных вопросов? Но кто ж меня здесь у них знает? На кого опереться? Комитет может сдать. Устроить тогда решительный бой? Добиться перевыборов комитета? Одному! Обливаемому грязью! Да и помимо того, сколько бы времени на это ушло! Вот незадача».

— Чорт с ним! На вороту брань не виснет, — отмахиваюсь я и возвращаюсь в гостиницу.

Город кажется мне теперь пыльным, скучным и глупым, как никогда. От нечего делать я отправляюсь бродить по набережной Иртыша. Он плещется, широкий и мелкий, с чуть приподнятым голым берегом той стороны. Переполненный горькими думами, я незаметно дохожу до лесных складов на окраине города и до станции железнодорожной ветки, идущей к вокзалу. Там я выправляю обратный билет.

Уже темнеет, когда, выйдя из гостиницы, я беру извозчика на вокзал. Унылые одноэтажные серые домишки и длинные деревянные заборы однообразно тянутся мимо меня, как дни моей прежней, прожитой жизни. Но разве за это можно кидать в меня грязью?

Юрьев Сережа встретил меня в Уфе на вокзале. После всего, неприятно мною пережитого в Омске, так отрадно пожать худую и широкую большевистскую руку старого друга.

— Я остановлюсь здесь до следующего поезда, — говорю я, — ну как ты здесь поживаешь? Чем сейчас дышит ваша уфимская организация?

— Видишь ли, я от политики отошел, — говорит он угрюмо.

— Как «отошел»?! — изумляюсь я. — Ты? Сережка! Упрямый наш коновод большевизма в лихие годы студенчества! И вдруг — отошел? Помнишь, как после студенческой сходки во время университетского акта в тысяча девятьсот четвертом году нас вместе швырнули в тюрьму?

— Помню, — говорит он сурово. — Да вот видишь, учительствую здесь в коммерческом, обучаю ребят математике. Провинция заедает... А кроме того, я многое сейчас недостаточно себе уясняю. А без ясности как же работать?

— Это верно. Но в чем ты видишь неясность?

— Меня смущает наша тактика с Учредительным. Против него мы иль нет?

— Почему же мы против? — озадачиваюсь я вслух. — Нет, мы не против.

— Стало быть, мы за широкую демократию? А при чем же тогда власть советов?

— Как — при чем? Да ведь советы же и есть самая широкая демократия! С невиданным для истории широчайшим участием низовых трудящихся масс в непосредственном управлении государством.

— Нет, советы есть диктатура.

— Но ведь они же выборные!

— Что ж с того, что выборные. Они выбраны не на основе внеклассовой демократии. Они выбираются однобоко, принцип чистой демократии в них нарушен. Советы неизбежно столкнутся с Учредительным собранием, где классовый базис шире. И тут надо заранее сделать выбор.

— Какой ты мечтатель! — говорю я наивно. — Дойдет дело до практики, там увидим.

— Чтоб руководить, надо предвидеть, — серьезно замечает он.

— Ну и предвидь! — сержусь я. — А жизнь и борьба будут проноситься мимо тебя у тебя же под носом. Ты расскажи лучше, как течет у вас жизнь?

— Да как течет, — тянет он однотонно. — Наверно, так же, как течет и везде по России: пьем чай, хлеб жуем, скулим на войну, ругаем правительство и большевиков, цепляем красные банты, кажем кукиш в кармане и смутно ждем каких-то все перемен, а

каких, для чего, от кого? — мы и сами не знаем. Давай-ка пойдем ко мне чай пить.

Мы поднимаемся все время круто в гору. Проходим по грязной Базарной площади, где каждодневно муштровались новобранцы-башкиры, когда я служил здесь прапорщиком 103-го запасного полка в прошлом году. Сейчас эта площадь еще более грязна, но пустынна. Новобранцев больше здесь не муштруют. Мы поднимаемся дальше, мимо каменных белых казарм, в которых я проводил подневольные тусклые дни. Вот и церковка перед казармами с крохотной площадью, где иногда происходило учение. Но что это? На площади снова выстроены солдаты. Целая рота. В свежем обмундировании, в подсумках и скатках, с котелками, лопатами и мешками. Как маршевое отправление на фронт в те жуткие прошлогодние дни.

— Что это? — удивленно спрашиваю я у Юрьева.

— А это отправка пополнения на фронт! — безучастно ухмыляется он. — Эсеры у нас здесь за это круто взялись. Как видишь, этих обделали. Едут.

Солдаты застыли вытянутой безмолвной шеренгой, в старых грязных, истоптанных сапогах, но в новеньких, еще примятых от леясанья на складах фуражках, и солнце закатно искрится на их козырьках. Молоденький прапорщик в травянисто-зеленом свежем костюме, с красным бантиком на груди, весь перетянутый желтыми ремнями и, должно быть, очень гордившийся этим, браво откинулся перед солдатами посреди площади. Кучка провожающих роту теснится у церкви, и мы останавливаемся возле них.

— Товарищи! — кричит прапорщик зычно. — Перед нашей отправкой на фронт нас желает приветствовать здесь, как доблестных защитников родины, представитель здешнего исполкома, товарищ Сапожников. Предоставляю ему почетное слово! — галантно разводит прапор руками и кланяется невзрачному, маленькому человечку, живо вынырнувшему из нашей толпы.

— Вольно! — еще раз командует прапорщик.

Жидкие приветственные хлопки торопливо пропархивают над шеренгой. В нашей толпе кто аплодирует, кто молчит.

У курносого человечка лобастое лицо, перетянутое в одну сторону, и визгливый, заносчивый голосишко. Он одет в куцую серую курточку. На груди его красный бант пылает, как роза.

— Товарищи! — вскрикивает Сапожников тоненьким бабьим голосом. — Как представитель Уфимского исполнительного комитета и член партии социалистов-революционеров я счастлив приветствовать вас за то высокое политическое понимание, которое проявили вы, добровольно согласившись поехать на фронт.

— Ишь ты! — бормочет кто-то у нас сзади.

Оглядываемся. Это — солдат. У него широкое в рябинах лицо, заросшее рыжеватой щетиной. Измятый картуз сидит низко, почти на самых бровях. Короткие раструбы его сапог, очевидно, не помнят последней смазки. Они рыжи, как изнанка ольховой коры.

— Товарищи! — захлебывается оратор. — Наши геройские русские воины, защищающие революционную свободу от посягательства империализма, с нетерпением ждут вашей помощи, чтобы дружным натиском всей нашей армии немедленно припудить злобного врага к миру.

Видно, что соседнего с нами солдата всего дергает от нетерпения, кидает в сторону. Наша толпа меж тем все более и более прибывает.

— Отправляясь на фронт, — поет Сапожников, — вы должны помнить, что мы, остающиеся здесь в тылу, стоим свято на страже ваших крестьянских нужд и трудовых интересов. Всероссийский крестьянский съезд, заседающий в Петрограде, уже принял на-днях резолюцию о переходе всех земель в общее народное достояние для уравнительного трудового пользования безо всякого выкупа.

И толпа наша и солдаты в шеренге шумно захлопали.

— Заседающий сейчас в Москве съезд нашей партии твердо проводит свои решения. По линии обеспечения крестьянских нужд вам ничто более не угрожает. Временное правительство в наших руках. В него входят наряду с социал-демократами также министры и от нашей партии: товарищ Чернов, товарищ Керенский, Переверзев... Земля теперь ваша, товарищи-землепашцы, можете писать теперь об этом домой. И долгожданный мир уже не за горами! — пищит Сапожников с такой щедростью в голосе, которая ясно показывает, что на скорое получение земли и заключение мира нечего и рассчитывать. — Но не слушайте тех смутьянов, — переходит Сапожников в тон угрожающий, — которые подбивают вас брать землю немедленно. Только Учредительное собрание вправе передать эту землю вам по закону.

— Вот он куда поехал! — ухмыльнулся своей догадке солдат подле нас и, резко взмахнув рукой, крикнул: — Ждали мы землю, как христова дня, а дождались Ивана Постного!

Лобастенький оратор неодобрительно покосил в нашу сторону.

— Вы должны написать вашим домашним, — визгливо продолжал он, — чтобы они не принимали участия в крестьянских советах, самочинно передающих землю крестьянам, не дожидаясь Учредительного собрания!

— Да ведь ты же сам сейчас накалякал, что крестьянский съезд постановил! — с сердцем выкрикнул солдат рядом.

В толпе нашей и в шеренге тревожно задвигались. Прапорщик вытянул руки по швам и зло уставился на шеренгу.

— Видно, сопля разум ему перешибла, — ворчал солдат, надвигая фуражку на самые брови. — По языку он трех кобелей перебрешет.

— Не слушайте смутьянов-большевиков, дорогие товарищи! — вкрадчиво пищал Сапожников. — Это они главная опасность сейчас для России. Это через них сейчас отложился от России Кронштадт. Это они зовут вас к предательскому братанию на фронте!

— Нет, на шарап ты нас не возьмешь! Поумнели! — с гневом выкрикнул наш солдат, и все невольно на него обернулись.

— Я, товарищи, хотя еще только учащийся, — хрипловатым смеющимся голоском оборвал этот выкрик Сапожников, — но в политике хорошо разбираюсь и могу поучить ей любого.

— Где уж нам лезть сметану есть! — усмехнулся солдат и выставил вперед ногу. — Профессор кислых щей! Сочинитель ваксы!

— Я могу поучить всех этих шкурников, обывателей и мещан, — злобно хрипел раздраженный оратор, косясь на толпу выпученными глазками, что революция состоит в самоотверженном преодолении личных своих интересов. Революция состоит...

— Зачем ты в корень жизни, сопляк, не глядишь?! — гаркнул на всю площадь наш солдат, мощно поведя вокруг себя тяжелой ручищей. И взгляды всех стали острыми и тугими, как винтовочные штыки. — Твои есерские мнения наскрозь нам известны. Хотя вашинские вы газеты и бесплатно промеж нас шлете, но и до нас, темных, правда доходит. Покеда ты нас здеся землею приманивашь, ваши министры ее дочиста распродадут. Ты мозги наши здеся не обморочишь. Ишь, воитель какой выискался! Почему сам-от с ими на фронт нейдешь?!

— Смиррр-на-а! — вскричал прапорщик, подлетая к шеренге. — Ряды-ы вздвой!

Шеренга заколебалась. Кое-кто начал вздваивать ряды.

— Регонизуйтеся, товарищи! — бушевал меж тем наш солдат, возбуждая необузданное сочувствие окружающих. — Вы подумайте только, для чего вас сейчас туда гонят?! Для чего подымают наш честный ентузмиазмис?! Ежели эти господа контрофицеры и эти есеровские молявки...

— Я покажу тебе, шкурник, какие мы здесь молявки!.. — завизжал Сапожников на солдата и самоуверенно откинулся. Но пронзительный, охальный свист всей толпы, брошенный ему в лицо, заставил его зябко скукожиться, улыбочка на его обезьяньей курносенькой мордочке обернулась растерянной и побитой.

— Ша-гом арррш! — заревел прапорщик, повернувшись на каблуках и тряхнув красным бантом.

Вокруг солдата собрались сочувствующие, однако толпа начала расходиться.

— Что это, здешний эсеровский вождь? — спросил я у Юрьева.

— Сапожок-то? Ну, какой он тут вождь! — усмехнулся Сергей благодушно. — Так, из учащихся, балаболка! Эсеровские вожди все уехали сейчас на свой съезд. Так вот он за них временно здесь и заправляет...

Чай пить к Юрьеву я не пошел. Мы простились, и я вернулся к вокзалу.

«Какая разница у него с Юрьевым? — думал я о Сапожникове, дожидаясь поезда на вокзале. — Юрьев — старый, заслуженный большевик, сидевший в тюрьме, отбывший ссылку и ставший теперь в тупик так нелепо, но чистосердечно, перед вопросом о характере демократической власти. А этот? Заносчивый мальчишка, хвастун. Да и давно ль он сделался социалистом-революционером? Не иначе, как с мая, когда они пришли к власти. И этакие пустозвоны сейчас верховодят Россией! Ничего, поди, не будет мудреного, если такие попробуют переметнуться и к нам, если только когда-нибудь мы будем у власти. Сейчас вот он учится. Как знать, не рискнет ли он еще учить нас в будущем большевизму?!»

Мне скорее хотелось теперь попасть в Питер. Что там нового за это время? Уладилось ли дело с разгрузкой рабочих? Крепнут ли большевистские наши ячейки? Каково настроение гарнизона? Не рассыпалась ли наша ораниенбаумская организация? Каково поживает наш буйный Кронштадт?

Только и было теперь разговоров в пути, что о Кронштадте.

— Кронштадт откололся! Кронштадт отказался признать власть Временного правительства!

— Если нашему флоту не удастся за лето взять его с моря, — рассуждал один пассажир, то-и-дело встряхивая взмокший от вагонной духоты ворот своей манишки, — то зимой, когда все замерзнет, крепостные эти форты с дальнобойной тяжелою артиллерией и совсем немыслимо будет взять.

Потом перешли на союзников.

— Ответили наконец союзнички-то! Читали? И главное, все сразу. Не нравятся их ответы нашим «товарищам». «И мы, — грит, — тоже против аннексий и контрибуций. Мы, — грит, — бьемся за освобождение угнетенных врагом народностей! Мы, — грит, — только вернем себе раньше обратно разные прежние свои области да германские колонии отберем, да убыточки себе возместим. А что до аннексий и контрибуций, то — боже нас упаси!»

— Хитрые, черти! Обдурят теперь нас.

— Италия, та вон уже одну область себе «возвратила»! Албанию скушала и не поперхнулась.

— Ну, это даром ей не пройдет! Все союзники заявили протест.

— Это, милые, так, для отвода лишь глаз. Союзники и сами не дают маху. В Греции вон нынче — наверно, читали в газетах —

короля Константина арестовали и объявили туркам войну. В Афинах высадили французские и английские десанты. Поэтому и Италии все сойдет с рук, поверьте. Чихать ей на эти протесты... «Васька слушает да ест». Из горла не вырвешь. Это они только на нас, словно на греков, наседать, дьяволы, наловчились. А все из-за злосчастной революции нашей. На-днях вон в нью-йоркском «Таймсе» было, что Англия с Японией уже-де договорились, как понужнуть нас, если мы из войны выйдем.

— Зачем же нам из войны выходить? Керенский, говорят, не плохо на фронте теперь повел свое дело. Скоро, повидимому, в наступление мы перейдем.

— «Перейдете», как бы не так, когда солдаты вон целыми полками отказываются выступать на позиции, а один какой-то паршивый полчишко, так тот даже всех своих офицеров переарестовал.

— Ну, дожили, нечего сказать! А я-то, глупец, как ранее сочувствовал искренно революции! Разве наши хамы доросли до свобод? Ни к собственности, ни к культурным правам у них нет ни малейшего уважения. Это зверье! — Его нужно стрелять.

— И стреляем, не беспокойтесь. Генерал Щербачев вон телеграфирует, что волнение трех полков подавил. Арестовано более двухсот солдат-подстрекателей и среди них трое прапорщиков и какой-то подпоручик Филиппов, главный вожак. Подумайте только: какой позор! Офицер — и вдруг большевик! Не поздоровится теперь голубчикам. Генерал Брусилов отдал приказ: со всеми смутьянами, будь то офицер или солдат, поступать без колебаний по всей строгости военных законов! Добунтовались, паршивцы! Доотказывались!..

Затем разговор перешел на Питер.

— А в Питере-то, знаете, до чего солдатня обнаглела! На общеорганизационном собрании выносят резолюцию, что они, видите ль, против переформирования и против вывода гарнизона на фронт. Их, видите ль, не спросили. Генералы, вишь, не знают будто бы своего дела. А князь Туманов, товарищ военного министра, для них, видите ль, контрреволюционер! Наглецы даже требуют дополнительного вооружения их запасных полков пулеметами!

— Это еще что! Пулеметчики, так те откололи почище. Устроили, пишут, вооруженную демонстрацию по улицам Питера в честь отложившегося Кронштадта и против Временного правительства, подошли к гауптвахте и освободили дезертира, прапорщика Семашко.

— Какого Семашко? — не удерживаюсь я. — Разве он был арестован?

— А чорт его знает, какого! Мальчишка, пишут, какой-то. Должен был отправляться на фронт, улизнул, негодяй; посадили его на гауптвахту, а теперь—нате вот вам пожалуйста — на руках

вынесли со всенародным триумфом. Все это остается совершенно безнаказанным. Где же власть?! Нет, так дальше нельзя!

— А кем же их разоружать? Пишут вон, что Керенский женский батальон смерти у себя в Питере при дворце организует. Быть может, бабы потом помогут этому дураку.

— Уж и дурак круглый! Это верно. В Питере чорт знает что у него делается, а он в Москве по концерт-митингам шнырит, букеты цветов нюхает. И это — военный министр! На своем эсеровском съезде хвастался, что противопоставляет себя тем, кто хочет на развалинах революции видеть свое минутное торжество. Болтунишка! Фигляр! Граммофон! Главноуговаривающий. С ним, того и гляди, на развалинах великой России хамы будут справлять свое торжество...

После Москвы разговоры пошли еще интереснее.

— В Питере-то, читали? На выборах в районные думы большевики, сволочи, побеждают. По всему городу сто пятьдесят тысяч голосов посбирали, не меньше, чем все остальные партии, взятые вместе. По Выборгскому району — у них главное там гнездо — абсолютное большинство получили. И куда-то только мы сейчас с вами едем?! Приезжаем вот завтра — и вдруг нам — пожалуйте: в Питере-де у нас уже большевистское царство! Отложился же вот Кронштадт!.. Конференция вон, пишут, фабрично-заводских комитетов там также открылась, так большевиков туда чортова прорва привалила, требуют ввести повсеместно в промышленности рабочий контроль.

— Вот как не дать им, сукиным детям, хлеба, тогда узнают свой «рабочий контроль»!

— Не беспокойтесь, мой милый, и вводят. В Питере тоже, на Трубочном вон заводе, так рабочие там, говорят, всю администрацию на тачках за ворота вывезли.

— Это еще что! У нас в Туле они всю фабрику Баташева в свои руки забрали, — вставляет кто-то желчно со стороны. — Иди теперь, бедный хозяин, куда хочешь с сумой.

— Обнаглели, мерзавцы! У «Леснера», газеты пишут, резолюцию такую вон вынесли, что, дескать, Керенский — уже контрреволюционер, за то что расстреливает бунтовщиков на фронте, а кронштадтцы, так это герои, и Семашко, конечно, герой, а вот правительство, оно из буржуев, и поэтому его, значит, долой и да здравствуют, конечно, советы!

— Куда только катимся, куда только катимся!.. Пропадет Расея ни за полушку.

— Не пропадет. Франция в тысяча восемьсот сорок восьмом году тоже ведь не пропала. Провинция не дала Парижу хлеба, а пулями его накормил генерал Кавеньяк.

Туго стало на сердце. Казалось, какая-то огромная грозная тяжесть неотвратимо наваливается на Россию. В душном воздухе предгрозья зловеще запахло человеческой кровью. Что-то будет? Да, что-то будет?

20. КАДЕТСКИЙ КОРПУС

В Петербург я приехал в шумное утро. Столица встретила меня гулом перронной толпы, перецокиванием улиц, звонками трамваев, гудками авто. Я готов был уже сесть в трамвай, чтобы ехать на Балтийский вокзал, как вдруг сзади кто-то меня громко окликнул. Обернувшись, я увидел затормозившийся автомобиль и радушно улыбающегося мне Ручкина. С бурных мартовских дней я избегал встреч с этим самодовольным спекулянтом, который из монархиста и антисемита столь быстро распустился в махрового кадета. Совместная наша работа агентами по продаже книг в минувшие студенческие годы ни к чему меня не обязывала. Я и сейчас сделал было вид, что его не заметил, но он проворно выскочил из автомобиля и уже брался за мой чемодан.

— Любезнейший, куда и откуда? Из каких Палестин? Я и не знал, что вы уезжали. Позвольте, я вас докачу. Это бессовестно — столько времени не заглядывать к нам. Вы куда сейчас? — и он тащил мои вещи к себе в машину.

Принневоленный, я полез вслед за ним, сообщая, что спешу к себе в Ораниенбаум после поездки в Сибирь.

— На Балтийский вокзал? Да это же мне совсем по пути! Лечу взглянуть на один почти даром продающийся дом на Петергофском проспекте. Владелец перепугался путиловских рабочих. Хочу всучить этот дом одному богатому негоцианту. Были б деньги, ей-богу, сам бы купил! А вы в Ораниенбаум? Стало быть, опять теперь там? Ну, каково настроение сейчас среди вашего офицерства? — закидал он меня вопросами, пока авто мчал нас по Лиговке на Балтийский вокзал. —А впрочем, я позабыл: ведь вы левый! — добродушно сощурился он. — Такой деловой человек — и вдруг: левый! Нн-не понимаю я, батенька, вас. Быть деловым — значит предвидеть. А ведь песенка левых, любезнейший, спета. Спета бесповоротно! —восторженно хлопал он себя ладошей по коленке.— Наконец-то взялись за ум! Хватит вздохов и болтовни! Дело, дело и дело. Всероссийский промышленный съезд на фондовой бирже уже постановил: к чорту какие бы то ни было вмешательства со стороны рабочих в управление производством! К дьяволу всякие там контрольно-хозяйственные их комиссии, хотя бы даже назначенные и самим правительством. Частная собственность никаких вмешательств не терпит. Правительство или проявит немедленно полноту власти для поддержания в стране порядка, или его сметут!

— Ого, вы воинственны, как никогда! — улыбнулся я снисходительно. — На кого же этот поход?

— Как на «кого»? — простодушно откинулся Ручкин. — Конечно, на немцев. Перемирия больше не будет. Этого гнусного топтанья на фронте с братанием разлагающейся солдатни больше не будет. Керенский отдал приказ: за братание — высшая кара. Пусть это пока болтовня, на то он и Граммофон, но скоро все перейдет в крепкие руки. Будет срочно восстановлена смертная казнь. По требованию наших кругов, министр Переверзев уже восстановил сто двадцать девятую статью уголовного уложения. За малейший призыв к насильственным действиям или к неповиновению распоряжениям власти — тюрьма до трех лет, а военнослужащим — каторга. Попрыгают теперь леваки! Вчера в Таврическом под председательством Родзянки состоялось важнейшее совещание всех членов Государственной думы. Шидловский делал доклад о внешней политике. С громовыми речами выступали Шульгин, Маклаков, Милюков и Родзянко. Единодушие полнейшее. Больше топтаться нельзя. Фронт переходит в решительное наступление.

— Союзнички требуют? — усмехнулся я зло.

— Да, союзнички требуют, — протараторил Ручкин, нисколечко не смутясь, — и настойчиво, представьте себе, требуют. А на этот раз, в полном согласии с ними, мы и сами требуем немедленного и решительного наступления. Без наступления всякие там комитеты окончательно развалят армию. Без наступления нельзя покончить с растущей анархией и всеобщей распущенностью. Вы смотрите, как распоясались ленинцы! Надо спешно создать крутой перелом в настроении всей страны. Надо двинуть всех и вся на врагов и на тех, кто им здесь потакает.

— Кто ж это им потакает? — спросил я запальчиво.

— Как «кто им потакает»? — вскинулся Ручкин. — А всякие там солдатские комитеты, советы и прочие жидовские выдумки этих ленинцев? Всех разгонят! Все теперь уничтожат! — бушевал он. — Милюков гениальнейше прав: «Наступление будет — все остальное приложится, наступления не будет — всему конец».

— А если солдаты не согласятся? Если они не пойдут? И не дадут разогнать свои советы?

— То есть как это — не пойдут? Их заставят пойти! Повсеместно в тылу и на фронте срочно формируются ударные батальоны из надежнейших рядов и отборных офицеров. Пулеметами и артиллерией они стукнут в спину тем, кто осмелится не пойти. Нет, батенька мой, времечко для болтовни протекло. Организации по оздоровлению России растут и ширятся не по дням, а по часам. Всероссийский совет казачьих войск срочно мобилизует все свои силы. Да и весь офицерский корпус нашей армии, объединенный в союз офицеров при ставке, теперь вышколен и — на-чеку! Ленинцам перело-

мают хребет! Им покажут теперь все эти дурацкие контроли и комитеты! Момент наступает самый ответственный. Вчера напечатано во всех газетах срочное обращение Родзянки ко всем членам Государственной думы: «Из Питера не выезжать, а уехавшим срочно вернуться, чтобы быть на-готове и вместе, ибо когда и в какой момент их присутствие может вдруг оказаться настоятельно необходимым, установить сейчас невозможно; эти обстоятельстав могут возникнуть внезапно...»

— Заговор? — проскрипел я и зло ухмыльнулся. — Съезд советов этого не допустит.

— Съезд советов уже все это знает, — самоуверенно и спокойно возразил Ручкин, — он открылся вчера и против наших планов не возражает. Да и что вы, любезнейший, думаете? — откинулся он к кожаной спинке, с веселой усмешечкой взглянув на меня.— Советы будут теперь цепляться за власть? Никогда! Там фефелы и болтуны, но все же дальновидные люди: против рожна не попрут. Будут пищать одни леваки. Но их мы сотрем в порошок, а порошком этим будем чистить ваши офицерские сабли. Да здравствует офицерский корпус, милейший Александр Игнатьевич! Вот я вас и довез, — любезно открыл он мне дверку авто на площади Балтийского вокзала.

— Вернее, кадетский ваш корпус! — съехидничал я. — Однако я не завидую самоуверенности вашей. Кадетской партии победа все равно не достанется. Кадетский корпус обречен на крах!

— Последнее изумительно верно, — улыбнулся Ручкин. — Вы только, наверно, не знаете, что в Кадетском корпусе на Васильевском острове сейчас заседает как раз ваш Съезд советов. Адью! — помахал он приветливо шляпой. — Заезжайте всенепременно. Есть о чем нам побеседовать на досуге. — И он умчался дальше, к Нарвской заставе, уверенный и задорный, потряхиваясь в авто по выбоинам давно не чиненной мостовой.

Домашние, конечно, обрадовались моему столь раннему возвращению и рассчитывали, что я проведу весь этот день с ними дома. Однако непреоборимое желание поскорее узнать, как идут дела в ораниенбаумской организации, а также намерение сообщить сегодня же в ЦК о положении дел в Омске заставили меня немедленно двинуться в Ораниенбаум.

В комитете нашем я застал Батманова, Новикова и Горшкова, окруженных солдатами. Распределялась для разноски по командам только что привезенная из Петрограда «Солдатская правда».

— Во-время! Во-время! — восторженно заорали они мне навстречу. — Ох, и дела тут крутые заварились без тебя! Как ты только уехал, пошли по кольтовским командам упорные слухи, что хотят весь кольтовский батальон отдельными маршевыми ротами переправить на фронт. Брожение началось среди кольтовцев не-

сусветное. Какой-то солдат Алексеев, анархистски настроенный парень, тот самый, что однажды на митинге грозился побить морду самому Судакову, взбулгачил вмиг все команды. Все разом вышли на улицу и пошли по Ораниенбауму вооруженной демонстрацией против местного совета. Исполкомщики так растерялись, что на следующий вечер собрали гарнизонный митинг. Филиппович резко ругал кольтовцев и публично швырнул им свой, полученный когда-то от них, депутатский мандат в местный совет.

— Что ж, он вышел теперь из совета и исполкома?

— Какое там! Его тотчас же «кооптировали», и он попрежнему всем заправляет. Жалели мы очень, что тебя не было, когда вслед за этим примчались сюда старикашка Лев Дейч и Алексинский. Начальство устроило для них специальный гарнизонный митинг. Кто-то вырядил этих оболтусов в солдатское обмундирование, и оно болталось на них, как мешки на огородных пугалах. Именитые эти гости без смущения орали во всю глотку, чтобы мы поскорей наводили орудия на Кронштадт и проучили бы дерзких матросов за их «отложение». Мы отбрехивались против них сами, как умели, а подконец подоспел к нам Рошаль, срочно вызванный нами из Кронштадта по телефону. Ох, и крыл же он их здесь! Аж в пот, бедняжек, загнал. Свист и улюлюканье такое против них поднялось, что хоть разом сматывайся и лети назад в Питер. Напрасно Дейч козырял своим двадцатилетним тюремным сиденьем. Пришлось Судакову митинг спешно закрыть без принятия резолюции. Ненависть теперь у начальства против нас бешеная. Говорят, что дни и ночи сейчас совещаются, как бы нас расчехвостить. Хотели было применить против нас только что восстановленную Переверзевым сто двадцать девятую уголовную статью. Но кишка у них на это тонка. Кто же, спрашивается, призывал здесь к насильственным действиям одной части населения над другою? Мы или Дейч с Алексинским, подбивавшие нас в поход на Кронштадт? Так и пришлось Судакову с Громыко замять это дело. Теперь, говорят, у Науменки есть такие сведения, что в Питере решено и весь Первый пулеметный полк и весь наш батальон кольтовцев отправить на фронт. Надо ведь разгрузить Петроград от революционных солдат! Агитация за это, сам, наверное, читал, идет во всех газетах полным ходом. На-днях, к примеру, даже у Горького в «Новой жизни» напечатана была статья какого-то офицеришки из броневого дивизиона — В. Шкловского — о скорейшей отправке отсюда на фронт маршевых рот и пулеметных команд. Но солдаты, конечно, не поедут на фронт ни в какую. И кольтовский наш батальон и Пулеметный полк в Питере буквально кипят. У них там очень усиливается демагогическое влияние анархистов. Ильинский теперь сюда совсем не наезжает. Работы у него там в полку и без нашей полон рот. Слыхал, они прапорщика Семашко из гауптвахты освободили? Керенский, видишь ли, аре-

стовал его за отказ отправляться на фронт. Идут слухи из исполкомских здешних кругов, что будто бы решили и тебя отправить на фронт одиночным порядком. Вообще, начальство теперь начинает заворачивать с нами круто. Всякие отпуска прекращены. Увольнение сорокалетних замяли. Открыли среди офицеров запись в какие-то ударные батальоны. Повидимому, что-то, где-то готовят, а что и где — не поймешь. Кое у кого из наших солдат в связи с этим стали проскальзывать трусливые настроения, и мы сами не знаем, как их рассеять. Это очень хорошо, что ты раньше приехал. Надо нам здесь что-то срочное предпринимать.

Все эти сведения были тревожны, но отчаиваться еще не было оснований. Ясно, что враг к чему-то готовится. Поэтому ни в коем случае нам не надо зевать. Но прежде чем что-либо решить и предложить это решение нашему Ораниенбаумскому комитету, необходимо было предварительно поговорить обо всем поподробнее в своей военке, и я срочно помчался для этого в Питер. Однако ни в военке, ни в ЦК я никого не застал. Оказывается, все отправились на Съезд советов в здание Кадетского корпуса, где предполагается выступление всех лидеров. Заинтригованный этим еще больше, я немедленно поехал на Васильевский остров.

Огромное здание казарменного типа, рыже-красное и достаточно облезшее по фасаду, было мертвенно и казенно, невзирая на сновавшую перед ним толпу. Я показал свой партийный большевистский билет от военки, и меня пропустили. Коридоры, где, должно быть, еще столь недавно маршировали мальчишки кадеты, были сейчас тоскливо пустынны. Только одинокие, запоздавшие на заседание делегаты изредка пробегали по ним куда-то вдаль. Я побрел вслед за ними. У входа в зал заседаний стояло несколько юнкеров и члены мандатной комиссии, которые проверяли входные билеты. Я уверенно протянул им свой старый билет члена Петроградского совета, просроченный еще с апрельских дней. Юнкера не придали этой просрочке значения.

Когда я вошел, весь огромный зал, переполненный людьми доотказу, напряженно слушал речь Церетели, стоявшего на трибуне. Виднейший лидер меньшевиков, он же министр почт и телеграфов, жаловался аудитории на то, что война навязана русской революции прежним правительством, что война тесно переплела собой все вопросы как внешней, так и внутренней политики и что, пока не разрешен вопрос о войне, закрепить завоевания революции невозможно. Однако сепаратный мир и нежелателен и невозможен. При своих финансовых затруднениях, в случае изоляции от союзников, Россия была бы принуждена Германией вести войну на ее стороне. Поэтому рвать с союзниками невозможно. Навязывать им свою точку зрения на мир тоже нельзя, а потому надо верить, что впо-

следствии создадутся благоприятные условия, когда возможная конференция союзников пересмотрит старые договоры.

— Улита едет, когда-то будет! — сказал кто-то из публики, а другой дерзко выкрикнул от окна:

— А что будем делать пока?!

Церетели ничего не ответил. Надтреснутым, хриплым голосом он пытался опровергнуть обвинения в том, что форсирование Керенским наступления на фронте ведется лишь для того, чтобы сорвать борьбу за мир.

— Мы, министры, все ответственны друг за друга, — сказал Церетели, — и все мы считаем, что деятельность товарища Керенского укрепляет революцию и содействует нашему успеху в деле международных отношений и постановки вопроса о всеобщем мире на реальную почву.

— Вот те на! — заворчала часть публики, но на нее злобно зашикали все остальные.

— Бездействие, которое до настоящего времени наблюдалось на нашем фронте, — продолжал Церетели, — не укрепляло, а ослабляло и дезорганизовывало русскую революцию и армию, стоящую на позициях русской революции. Если бы удалось германскому генеральному штабу разгромить своих противников на Западном фронте, он не постеснялся бы перебросить войска на наш фронт и нанести нам сокрушительный удар. До настоящего времени армия революционной России не была так организована, так боеспособна, чтобы противостоять этому натиску, а поездка товарища Керенского была предпринята с тем, чтобы там, на фронте, делать то, что каждый из нас обязан делать здесь, в тылу.

Ретивые аплодисменты подковали сочувствием эти по сути легковесные и напыщенные слова.

— Нам тут говорят, — изощрялся Церетели на ту же тему, — «ведь вы знаете, что через два-три дня может быть предпринято наступление?.. что такой приказ уже отдан?» Я не знаю, отдан такой приказ или нет. Если мне, как члену Временного правительства, военный министр и сообщит, что он в такой-то день отдаст приказ к наступлению, я не выйду сюда и не скажу об этом.

— Браво! — рявкнули басовитые голоса.

— Решать вопрос о том, когда нужно наступление, должен сам военный министр в связи с теми обстоятельствами, которые ему одному известны, и в вопросе о наступлении должны абсолютно отойти на задний план всякие политические соображения...

— Договорился! — выкрикнул прежний мятежный голос возле окна.

— Тише вы, большевики! — одернули мятежника из первых рядов.

— Мы дадим только одно полномочие, одно указание Временному правительству и военному министру: революционная демократия желает, чтобы наша армия была приведена в полную боевую готовность, чтобы армия наша, если это окажется нужным по стратегическим соображениям, могла бы перейти в наступление.

— Стратеги, подумаешь! — не унимался упрямец, но его голос затерялся в вихре аплодисментов.

Далее Церетели похвастался небывалым успехом, достигнутым в области внешней политики и заключавшимся в том, что по настоянию совета и Временного правительства английское правительство соблаговолило наконец выдать паспорт на поездку в Россию великому социалисту Рамзею Макдональду.

— Такой же, как и вы, буржуазный холуй! — опять раздалось возле окна.

— Уймите пожалуйста большевиков! Распоясались! — закричали настойчиво из первых рядов.

Заседание происходило в огромнейшей аудитории с рядами черных парт, расположенными книзу уступами так, что даже сидевшим сзади всех было сверху и видно и слышно все, что делается впереди. Там, внизу, за длинным столом президиума, сидели: седеющий Гегечкори, вертлявый носатенький Дан, чернокудрый Гоц с белыми, как фарфор, зубами, сосредоточенный Борис Богданов, мечтательно подперший рукою одутловатое свое лицо, сутулый бундовец Брамсон, солдат Завадье и другие меньшевики и эсеры. Из большевиков в президиум были вкраплены Зиновьев и Каменев, затем рыжеусый плечистый товарищ, как мне потом указали, — Ногин, а также коренастенький круглоголовый, с чуть заметною проседью, низенький прапорщик с фронта Крыленко. От социал-демократов объединенцев, лукаво прищуриваясь словно сатир, сидел в президиуме Луначарский. Председательствовал седой вороненый, весь усохший Чхеидзе.

Церетели стоял за трибуной, плоский, сутулый и мрачный, и продолжал жаловаться на то, что существующий в стране экономический развал, невыносимые финансовые затруднения и продовольственная разруха, грозящая голодом, — все это наследство самодержавия и войны, с которым справиться русская демократия может только путем неслыханных жертв. Он говорил о том, что страна тратит в год шестнадцать миллионов рублей при доходах, не покрывающих это и вполовину. Жертвы, жертвы и жертвы — только в них спасение государства. Он упомянул также о необходимости установления государственного контроля над промышленностью, но такого контроля, который принимал бы во внимание заявления «организованных групп».

— Мы хотим обложить доходы промышленности, но мы не хотим разрушать промышленность! — сказал он гортанным голосом в ответ на выкрики, что он боится тронуть банкиров.

Далее он слегка коснулся вопроса о земельной реформе, сославшись на будущее Учредительное собрание. Похваставшись затем какими-то новыми законами о демократическом земстве, якобы проводящимися уже в жизнь, Церетели стал оправдываться по существу общей политики Временного правительства.

— Нам говорят, — криво и презрительно усмехнулся он, — вы, дескать, не дали нам ни коренных экономических преобразований, ни коренной финансовой реформы, ни коренного решения земельного вопроса, ни коренного решения международного вопроса о мире, — вы ровно ничего не дали нам. Но зато вы действуете очень решительно против тех, кто, по вашему мнению, совершает анархические выступления. Нет ни одного правительства, — гордо выпрямился Церетели, — которое, очутившись у власти, в один-два месяца выполнило бы то, что в настоящее время нужно России. Самые крайние левые наши критики, — махнул он рукою к окнам налево, — очутись они завтра у власти, вынуждены были бы точно так же засесть за работу. Россия, изнуренная войной, не может пускаться на рискованные эксперименты в какой бы то ни было области. Власть сможет справиться с возложенными на нее задачами, если будет чувствовать себя достаточно крепкой, чтобы справиться с дезорганизаторской внутренней борьбой, внутренними трениями и внутренней смутой. В настоящий момент, когда мы ведем международную политику за всеобщий мир, призываем подкреплять ее боевыми действиями нашего фронта, — сверкнул Церетели черными, как угли, глазами, — если в этот момент начнется распад государства, начнется по всей России в разных концах то, что недавно произошло в Кронштадте...

— Стыдно, министр! — раздался окрик с места.

— ... то есть отказ от признания единой революционной власти, — продолжал Церетели, не смущаясь, — объявление себя самочинной верховной организацией, — если это начнется и если власть не сможет с этим справиться, то все остальные будут сметены гражданской войной и развалом революции.

— Вон он куда теперь бьет, — зашептали кругом сочувственно. — Достанется, наверное, сейчас от него большевикам.

— Мы знаем, что в настоящий момент в России происходит упорная, ожесточенная борьба за власть, — зловеще гудел Церетели в чутко замершем зале. — В настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы: «Дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место». Такой партии в России нет.

— Есть! — сказал кто-то так уверенно, четко и внятно на весь зал, что головы всех невольно обернулись туда, к окнам направо.

Там, окруженный большевиками, сидел Ленин.

— Я заявляю, — поморщился насмешливо Церетели, стараясь скрыть за внешней ухмылкой внутреннее свое смущение, — что в настоящий момент сторонники захвата власти, и товарищ Ленин в том числе, заявляют, что они понимают эту борьбу как подготовку в среде демократии соответствующей организации, соответствующего сознания. Они говорят: «Когда мы станем большинством, или когда большинство станет на нашу точку зрения, тогда надо захватывать власть». Товарищ Ленин, вы так говорили? — вкрадчиво кивнул Церетели в сторону.— Да, они так говорят, и, во всяком случае, в официальных своих заявлениях так выступали товарищи большевики и в том числе товарищ Ленин.

— Заядлейший меньшевик, — ухмыльнулся рабочий, стоящий у самой стены, кивнув на Церетели, — а нашу большевистскую тактику начинает в понятие принимать.

— Слева, — продолжал объяснять Церетели, — были заявления о том, что они ведут работу для создания большинства в среде демократии, готового захватить власть в свои руки, и вместе с тем они считали возможным расшатать революционную власть, которая существует. Они говорили: это правительство буржуазное, правительство капиталистов. Нет никакого различия между политикой нынешнего правительства и политикой правительства Гучкова и Милюкова.

— Правильно! — дружно подтвердили направо от окон.

— ... и лучше было бы, — говорил Церетели, — если бы там не было министров-социалистов, потому что страна лучше бы увидела, что это правительство капиталистов, и сделала бы отсюда соответствующий вывод. Вот что мы слышали слева, — ухмыльнулся Церетели, кивнув на большевиков, но никаких возгласов не последовало, — и справа слышали то же, — добавил он. — Так что не было прямой борьбы за власть, — откачнулся он от трибуны и поднял тонкие черные дуги бровей, — там говорили: «Мы знаем, что мы не можем быть в настоящий момент у власти. Нам в настоящий момент страна не доверяет, а нынешнее правительство — это социалистическое правительство, и уж лучше пусть социалисты захватят всю власть целиком, пусть социалисты прямо объявят о введении социалистического строя». Это заявлял Гучков, заявляет Коновалов, и в скрытой форме заявляет и Милюков. В такой форме идет борьба за власть. Справа говорят: пусть возьмут власть левые, и затем страна и мы сделаем соответствующий вывод. Слева говорят: пусть возьмут власть правые, и затем страна и мы сделаем соответствующие выводы...

— Неправда!—раздались звонкие голоса со скамей большевиков.

— Под этим покровом, — продолжал Церетели, ничуть не смущаясь, — скрывается самая ожесточенная борьба за власть, ибо

каждая сторона понимает, что если бы осуществилось то, что они предлагают, то страна получила бы такой урок, после которого она шарахнулась бы в объятия к ним. Но мы также понимаем, товарищи, что не время, чтобы страна получала такие уроки. Чтобы сплотить все живые силы страны, власти нужно быть облеченной доверием демократии. Предоставляя полную свободу идейной пропаганде, предоставляя полную свободу организации и сторонникам своим и политическим противникам, власть в то же самое время должна быть достаточно сильной, если кто решается на эксперименты, опасные для судеб революции, на эксперименты открытого выступления против власти, отпадения от России, на эксперименты, сеющие гражданскую войну.

В словах Церетели зазвучали грозные нотки.

— Путь, на который вступил было Кронштадт, это выступление, не будь оно во-время остановлено, неминуемо должно было привести к гражданской, братоубийственной войне в рядах самой демократии. Под развалинами этого пожара погребена была бы вся революция, и тогда восторжествовала бы контрреволюция. И если бы мы разошлись с вами в сознании, что необходима твердая революционная власть, осуществляющая политику огромного большинства революционной демократии, тогда бы мы не могли быть вашими представителями, — галантно поклонился Церетели залу, закончив свой министерский доклад, и степенно сошел с трибуны.

Зал разразился бурными и продолжительными рукоплесканиями.

— Слово предоставляется товарищу Ленину, — холодно проскрипел Чхеидзе, дав аплодисментам улечься, и весь мгновенно смолкнувший зал с напряженным вниманием следил, как невысокая сутулая фигура большевистского вождя, быстро пробравшись между рядами кадетских парт, деловито встала за трибуной.

Ленин скороговоркою извинился, что краткий промежуток предоставленного ему времени позволит ему остановиться только на основных принципиальных вопросах, выдвинутых докладчиком.

— Первый и основной вопрос, — начал Ленин, заложив по привычке руки в карманы брюк, — это вопрос, где мы присутствуем, — он сделал внушительное ударение над словом «где», — что такое те советы, которые собрались сейчас на Всероссийский съезд, что такое та революционная демократия, о которой здесь так безмерно много говорят, чтобы затушевать полное ее непонимание и полнейшее от нее отречение. Ибо говорить о революционной демократии перед Всероссийским съездом советов и затушовывать характер этого учреждения, его классовый состав, его роль в революции, не говорить об этом ни звука и в то же время претендовать на звание демократов — странно! — пожал Ленин плечами.

Я вспомнил про свою недавнюю беседу с Юрьевым о демократии, и мне стало стыдно, что я не смог тогда ему этак все просто, по-ленински растолковать.

— Нам рисуют программу буржуазной парламентарной республики, которая бывала во всей Западной Европе, — продолжал Ленин, выйдя из-за трибуны. — Нам рисуют программу реформ, признаваемых теперь всеми буржуазными правительствами, в том числе и нашим, и нам говорят вместе с тем о революционной демократии. Говорят перед кем? — вынул Ленин руку из кармана и поднял ее, — перед советами! А я вас спрашиваю, есть ли такая страна в Европе, буржуазная, демократическая, республиканская, где бы существовало что-нибудь подобное этим советам? Нигде подобного учреждения не существует и существовать не может, потому что одно из двух: или, — на слове «или» Ленин вынул из кармана другую руку и поднял сразу их обе, — или буржуазное правительство с теми «планами» реформы, — ядовито усмехнулся Ленин, — которые нам рисуют и которые десятки раз во всех странах предлагались и оставались на бумаге, или... — и тут Ленин снова взметнул руками, — или то учреждение, к которому сейчас апеллируют, то нового типа правительство, которое революцией создано, которое имеет примеры только в истории величайшего подъема революций, например в 1792 году во Франции, в 1871 году там же, в 1905 году в России. Советы — это учреждение, которое ни в одном обычного типа буржуазно-парламентарном государстве не существует и рядом с буржуазным правительством существовать вместе не может. Это тот новый, более демократический тип государства, который мы назвали крестьянско-пролетарской демократической республикой, в которой единственная власть принадлежала бы советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Большинство депутатов снисходительно посмеивалось, слушая эту речь, и лукаво перешоптывалось, отчего по залу полз глухой и невнятный шум, заглушающий временами ленинские слова.

— А вот мы существуем рядом с правительством! — выкрикнул кто-то возле самого президиума.

— Напрасно оговариваются, — ухмыльнулся Ленин, пряча руки в карманы, — что сейчас того или иного рода учреждения существуют вместе именно с советами. Да, они существуют вместе, но именно это порождает неслыханное количество недоразумений, конфликтов и трений, и именно это вызывает переход русской революции от ее первого подъема, от ее первого движения вперед — к ее застою и к тем шагам назад, которые мы теперь видим в нашем коалиционном правительстве во всей внешней и внутренней его политике в связи с готовящимся империалистическим наступлением. Одно из двух, — развел он руками, — или обычное, буржуаз-

ное министерство — и тогда крестьянские, рабочие, солдатские и прочие советы не нужны, тогда они будут либо разогнаны теми генералами, контрреволюционными генералами, которые армию держат в руках, не обращая никакого внимания на ораторство министра Керенского, или они умрут бесславной смертью. Иного пути нет у этих учреждений, которым нельзя ни итти назад, ни стоять на месте, а можно существовать, только идя вперед. Вот тот тип государства, который не русскими выдуман, который выдвинут революцией, ибо иначе революция победить не может. В недрах Всероссийского совета неизбежны трения, борьба партий за власть. Но это будет изживанием возможных ошибок и иллюзий собственным политическим опытом масс...

Говор зала начинал сливаться уже в бесцеремонно мешающий слушать шум.

— ...опытом масс, — напрягал голос Ленин, — а не теми докладами, которые делают здесь министры, ссылаясь на то, что они вчера говорили, завтра напишут и послезавтра наобещают. Продолжать существовать так, как они существуют, советы не могут. Советы — это та власть, без которой не может быть победы русской революции в смысле победы над помещиками, в смысле победы над империализмом. Нам говорят, — сделал Ленин закругленный жест правой рукой, — что вот первое Временное правительство было плохо! А тогда, когда большевики, злосчастные большевики, говорили: «Никакой поддержки, никакого доверия этому правительству».

— Каменев был за поддержку! — выкрикнул кто-то снизу.

— ... сколько сыпалось тогда на нас обвинений в «анархизме»! — воскликнул Ленин, не расслышав враждебного выкрика. — Теперь же все говорят, что прежнее правительство было плохо, а что же, коалиционное правительство с почти социалистическими министрами, — язвительно усмехнулся он, — чем оно отличается от прежнего? Не довольно ли разговоров о программах, о проектах, не довольно ли их, не пора ли перейти к делу? Вот уже прошел месяц с тех пор, когда образовалось коалиционное правительство. Посмотрите на дела, посмотрите на разруху, которая существует в России и во всех в империалистическую войну странах. Чем объясняется разруха? Хищничеством капиталистов! Вот где настоящая анархия! — потряс Ленин руками, совершенно не обращая внимания на иронические улыбки и лукавые шопотки, которыми встречало его слова огромное большинство зала. — Нам говорят, — усмехнулся Ленин в свою очередь и снисходительно развел руками, — можно ли в России вводить социализм, вообще совершать коренные преобразования сразу? Это все пустые оговорки, товарищи, — решительно взмахнул он рукой. — Доктрина Маркса и Энгельса, как они всегда разъясняли, состоит вот в чем:

«Наше учение не догма, а руководство к деятельности», — процитировал Ленин убедительно, сощурив глаза. — Чистого капитализма, переходящего в чистый социализм, нигде в мире нет и быть не может во время войны, а есть что-то среднее, что-то новое, неслыханное, потому что гибнут сотни миллионов людей, втянутые в преступную войну между капиталистами. Вопрос идет не об обещании реформ, — это пустые слова, — отмахнул рукой Ленин, — вопрос в том, чтобы сделать тот шаг, который нам сейчас нужен. Если вы хотите ссылаться на «революционную демократию», — с колкой усмешкой подчеркнул последние слова Ленин, — то отличайте это понятие от реформистской демократии при капиталистическом министерстве, потому что пора наконец перейти от фраз о «революционной демократии», от поздравления друг друга с «революционной демократией», — Ленин иронически раскланялся с сердито взглянувшим на него Чхеидзе, — к классовой характеристике, чему нас учил марксизм и вообще научный социализм.

— Демагогия! — зашипели по залу.

— Гражданин министр почт и телеграфов, — с насмешливой напыщенностью произнес этот титул Ленин, — говорил, что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Я отвечаю, — гордо откинулся он, — есть! Ни одна партия от этого отказаться не может, и наша партия от этого не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком!

— Слушайте! Слушайте! Большевики-то!.. Ха-ха! — гулкий смех пронесся по залу, но дружно взорвавшиеся с краю зала рукоплескания вбили в этот расползавшийся смех крепкий клин.

— Вы можете смеяться сколько угодно, — невозмутимо окинул Ленин острым, уверенным взглядом весь зал, — но если гражданин министр поставит нас перед этим вопросом рядом с правой партией, то он получит надлежащий ответ. Ни одна партия не может от этого отказаться!

— Властители! — насмехался зал. — Да от вас вся Россия в полчаса разбежится! Что ж вы будете делать у власти?

— Наша программа по отношению к экономическому кризису, — разъяснял Ленин, — состоит в том, чтобы немедленно, — для этого не нужно никаких оттяжек, — потребовать публикации всех тех неслыханных прибылей, достигающих пятисот — восьмисот процентов, которые капиталисты берут не как капиталисты на свободном рынке, в «чистом» капитализме, а по военным поставкам. Вот, действительно, где рабочий контроль необходим и возможен! Вот та мера, которую вы, если называете себя «революционной демократией», — усмехнулся Ленин, — должны осуществить от имени совета и которая может быть осуществлена с сегодня на завтра!

Это — не социализм. Это — открытие глаз народу на ту настоящую анархию и ту настоящую игру в империализм, игру с достоянием народа, с сотнями тысяч жизней, которые завтра погибнут из-за того, что мы продолжаем душить Грецию, Армению, Персию и Финляндию. Опубликуйте прибыли господ капиталистов, арестуйте полсотни или сотню крупнейших миллионеров. Достаточно продержать их несколько недель, хотя бы на таких же льготных условиях, на каких содержится Николай Романов, с простой целью заставить вскрыть нити, обманные проделки, грязь, корысть, которые и при новом правительстве тысячи и миллионы ежедневно стоят нашей стране. Вот основная причина анархии и разрухи, вот почему мы говорим: у нас осталось все по-старому, коалиционное министерство не изменило ничего, оно прибавило только кучу деклараций, пышных заявлений...

— Регламент! — злобно выкрикнул нетерпеливый голос.

— Пускай выговорится начистую! — забормотали другие. — Здесь все свои люди: не страшно.

— ... Хищение народного достояния капиталистами продолжается, — возмущенно развел Ленин руками; — империалистическая война продолжается. А нам обещают реформы, реформы и реформы, которые вообще в этих рамках осуществлены быть не могут, потому что война все подавляет, все определяет. Какой класс продолжает быть хозяином, какой класс продолжает наживать сотни миллиардов на банковых и финансовых операциях? Все тот же капиталистический класс, и война поэтому продолжается империалистическая. И первое Временное правительство и правительство с «почти социалистическими», — горько улыбнулся Ленин, — министрами ничего не изменило: тайные договоры остаются тайными, Россия воюет за проливы, за то, чтобы продолжать захватническую политику в Персии, и прочее и прочее...

Возьмите то наступление, — возмущенно пожал Ленин плечами, — о котором так много говорят теперь Милюковы и Маклаковы. Они отлично понимают, в чем дело, они знают, что это связано с вопросом о власти, — с вопросом о революции. Нам говорят, что надо отличать политические и стратегические вопросы. Смешно так говорить. Кадеты прекрасно понимают, что ставится вопрос политический.

— Хватит! Довольно! — понеслось по залу.

— Да вы-то чего хотите? — выкрикнул кто-то сверху.

— Мы хотим единой и нераздельной республики российской с твердой властью, —жестко стукнул Ленин по кафедре кулаком.— Но твердая власть дается добровольным согласием народа. «Революционная демократия» — это большие слова, но применяются они к правительству, которое мизерными придирками осложняет вопрос с Украиной и Финляндией, не пожелавшими даже отде-

ляться, а лишь говорящими: не откладывайте до Учредительного собрания применение азбук демократии!

Мира без аннексий и контрибуций нельзя заключать, пока вы не откажетесь от собственных аннексий! — горячо воскликнул Ленин. — Ведь это же смешно, это игра, над этим смеется в Европе каждый рабочий. Он говорит: на словах они красноречивы, призывают народы свергать банкиров, а сами собственных банкиров посылают в министерство. Арестуйте их, раскройте проделки, узнайте нити! — Этого вы не делаете, хотя у вас есть властные организации, которым сопротивляться нельзя. Вы пережили и тысяча девятьсот пятый и тысяча девятьсот семнадцатый года, вы знаете, что революция по заказу не делается, что революции в других странах делались кровавым, тяжелым путем восстаний, а в России нет такой группы, нет такого класса, который бы мог сопротивляться власти советов. В России эта революция возможна, в виде исключения, как революция мирная. Предложи мир эта революция сегодня-завтра всем народам, путем разрыва со своими классами капиталистов, и в течение самого короткого времени и от Франции и от Германии, в лице их народов, получится согласие...

Гоц, распялив кастет своих белых зубов, многозначительно дернул Чхеидзе за локоть. Тот положил руку на колокольчик.

— ... потому что эти страны гибнут, — убеждал Ленин, — потому что положение в Германии безнадежно, потому что она спастись не может..

— Ага! — со злорадством кто-то выкрикнул в зале. — Вам ее жалко?

— ... и потому что Франция...

В это время Чхеидзе звякнул в звонок и проскрипел, обернувшись к Ленину, что его время исчерпано.

— Я через полминуты кончаю... — забеспокоился Ленин.

Возгласы с мест: «Просим!» — «Хватит!» — «Довольно!» — «Пусть продолжает!» — смешались с настойчивыми рукоплесканиями немногочисленных большевиков.

— Разве это собрание советов?! — возмущенно выкрикнул какой-то рабочий. — Это пленум кадетского съезда.

— Кадетский корпус! — подъязвил кто-то, и кругом рассмеялись.

Чхеидзе вновь позвонил и, пошептавшись с Даном, объявил, что президиум предлагает продлить срок речи оратора. Большинство высказалось за продолжение. Но шум после этого улегся лишь наполовину.

— Тише, кадеты! — выкрикнул прежний протестант из угла.

— ... Германия стоит на краю гибели, — напрягал голос Ленин, — и после выступления Америки, которая желает скушать Мексику, после этого выступления положение Германии безнадежно: ее уничтожат.

— Ишь, беспокоится как! — язвительно пробормотал кто-то рядом со мною.

— Франция, — продолжал Ленин, — менее голодающая, чем Германия, неизмеримо больше потеряла зато человеческого материала. Вы не рассматривали бы как победу, — насмешливо ухмыльнулся Ленин, отыскав перед собою глазами сидевшего в первых рядах Церетели, — выдачу паспорта Макдональду, который никогда революционной борьбы с капиталом не вел и которого пропускают потому, что он не выражал ни идей, ни принципов, ни практики, ни опыта той революционной борьбы против английских капиталистов, за которую сотни настоящих других английских социалистов томятся в тюрьмах и за что сидит наш товарищ Либкнехт, который посажен в каторжную тюрьму за то, что сказал: «Немецкие солдаты, стреляйте против своего кайзера!»

Вы запутались теперь, — с возмущением повернулся Ленин к Церетели, — когда обращались к народу с воззванием о мире четырнадцатого марта, говоря: «Свергайте ваших царей, ваших королей и ваших банкиров», в то время как мы, имея в руках неслыханную, богатую по численности, по опыту, по материальной силе организацию, как совет рабочих и солдатских депутатов, мы с нашими банкирами заключаем блок, учреждаем коалиционное, «почти социалистическое», — иронизировал он снова, — правительство и пишем проекты реформы, которые в Европе десятки и десятки лет писались. Там, в Европе, смеются над подобного рода борьбой за мир. Там поймут ее только тогда, когда советы возьмут власть и выступят революционно!

— Вон вы чего захотели! — злобно выкрикнул кто-то из центра.

— Да! — ударил Ленин кулаком по трибуне. — Совет наш рядом с Временным правительством обычного типа существовать долго не сможет. И он просуществует попрежнему лишь до тех пор, пока не осуществится этот переход к наступлению. Переход к наступлению есть перелом всей политики русской революции, то есть переход от ожидания, от подготовки мира революционным восстанием снизу, к возобновлению войны. Переход от братания на одном фронте — к братанию на всех фронтах; от братания стихийного, когда люди обменивались коркой хлеба с голодным немецким пролетарием за перочинный ножик, за что им грозят каторгой, — к братанию сознательному. Вот какой путь намечался! Когда мы возьмем в свои руки власть, — снова стукнул Ленин по кафедре, — тогда мы обуздаем капиталистов, и тогда это будет не та война, какая ведется сейчас, потому что война определяется тем, какой класс ее ведет, а не тем, что в бумажках написано. В бумажках можно написать что угодно.

— Это в ваших бумажках! — с бешенством выкрикнул кто-то. — Как же вы намерены окончить войну?

— Войну нельзя кончить иначе, — налег Ленин обеими руками на кафедру, — как только дальнейшим развитием революции. Если бы власть перешла к революционным организациям для борьбы против русских капиталистов, тогда трудящиеся иных стран вам поверили бы, тогда вы могли бы предложить мир. Тогда наш мир был бы обеспечен по крайней мере с двух сторон, со стороны двух народов, которые истекают кровью и дело которых безнадежно, — со стороны Германии и Франции. И если бы тогда обстоятельства нас поставили в положение революционной войны, — этого никто не знает, мы от этого не зарекаемся, — то мы сказали бы: «Мы не пацифисты, мы не отказываемся от войны, если революционный класс у власти, если он действительно устранил капиталистов от всякого влияния на постановку дела, на увеличение той разрухи, которая позволяет им наживать сотни миллионов».

Вопрос стоит так: итти вперед или назад! — четко рубил Ленин перед собою взмахами рук. — Стоять в революционное время на одном и том же месте нельзя. Переход власти к революционному пролетариату — при поддержке беднейшего крестьянства — есть переход к революционной борьбе за мир в самых обеспеченных, самых безболезненных, какие только знает человечество, формах, переход к тому, что власть и победа за революционными рабочими будет обеспечена и в России и во всем мире!

Ленин кончил и, скромно сойдя с трибуны, возвращался в ряды на свое прежнее место, сопровождаемый стойкими рукоплесканиями нашей большевистской депутатской когорты.

На трибуну неожиданно выпрыгнул Керенский, и зал раскололся от грома аплодисментов. Воинственные кадетские настроения, видимо, прочно засели в самой атмосфере этого кадетского зала и не могли не выявиться при появлении военного министра.

— Нам говорили сейчас о тысяча семьсот девяносто втором годе, о французской революции, о тысяча девятьсот пятом годе, то есть о первой русской революции, — вертляво начал Керенский с надменной усмешечкой, — но я спрашиваю вас, как кончился тысяча семьсот девяносто второй год во Франции? — Он кончился падением республики и торжеством диктатора. Чем кончился тысяча девятьсот пятый год в России? — Торжеством реакции. Задача наша, — горделиво вскинул он головой, — объединенных русских социалистических партий и русской демократии, задача наша заключается именно в том, чтобы не допустить такого конца, который был во Франции сто лет тому назад, чтобы закрепить за русской демократией те завоевания, которые мы сделали теперь, чтобы наши товарищи, которые были на каторге и вернулись, не вернулись бы туда обратно, чтобы товарищ Ленин, который был за границей, мог бы и дальше здесь говорить и не возвращаться к себе в Швейцарию.

Бурные хлопки всего зала наградили этого болтуна за его эффектный демагогический оборот речи.

— Нам указывают, — говорил Керенский, томно потягиваясь,— что нужно на деле показывать, что мы боремся с капитализмом. Какие же средства нам предлагают?—Арестовать русских капиталистов.

Нарочито громкий смех прокатился по передним рядам внизу.

— Товарищи, — лукаво скобенился Керенский, — я не принадлежу к социал-демократам, я не марксист, но я с глубоким уважением отношусь к доктрине марксизма и к первому учителю марксизма, Карлу Марксу, и его ученикам. Таких элементарных детских вещей никогда марксизм никому не предлагает.

— Правильно! — заревели внизу. И зал вновь взорвался от аплодисментов.

— Вероятно, сами марксисты забыли, что такое марксизм, — фиглярничал Керенский. — Социализм никогда не предлагал переносить вопросы экономической борьбы в плоскость, где пользуются рецептами азиатских деспотов: арестовывать людей. Что же вы, социалисты или держиморды старого режима?!

Керенский эффектно замер с поднятою рукой.

— Безобразие! Призвать к порядку! — шумно задвигались и завопили в большевистских рядах.

— Вы должны его призвать к порядку! — указывая на Керенского, обратился к Чхеидзе приподнявшийся Ленин.

Каменев и Луначарский стремительно потянулись к председательскому месту.

— Прашу сахранять тишину! — проверещал жестяным голосом Чхеидзе. — Таварищ Керенский, прашу вас выслушать, — обернулся он к Керенскому, заметив его недоумевающий надменный жест. — Нэкаторые из членов прэзидиума прэдлагают мне призвать к парядку аратора за дапущенное им выражэние «дэржиморды». Прэдлажение это вытэкает из полнаго нэпанымания значения таго выражэния, каторое упатребил таварищ Керенский...

— Правильно! Верно! — закричали с разных мест зала.

— ...выражэние это и литэратурное и парламэнтское, патаму это прэдлажение, сдэланное таварищем, я считаю неабаснованным и атклоняю его. Таварищ Керенский, — склонился Чхеидзе учтиво к трибуне, — можете прадалжать.

— Мы достаточно политически и научно образованы, чтобы разобраться в том, что является действительным социализмом и что является пародией на социализм, — заносчиво откинулся Керенский. — Но кроме нас есть еще массы, есть люди, которые благодаря темноте и невежеству, в котором держала их старая власть, в вопросах политических достаточно разбираться не могут.

— Непрошеные опекуны! Военные попечители! — послышалось из большевистских рядов.

— Они чрезвычайно элементарно понимают происходящие события и принимают лозунги, — с притворным соболезнованием продолжал Керенский.

— Почище тебя разбираемся! — рявкнули солдаты из угла.

— Эти лозунги предлагают расправу с нашими капиталистами, и могут найтись люди, которые пойдут за этими лозунгами, и вот для малых сих я это и говорю, — погладил Керенский ершик волос на голове. — Затем нам говорят, — встрепенулся он и, нахмурясь, мотнул обрюзглостью своих щек, — покажите, дескать, на примере собственного государства, что вы против аннексий, покажите сами внутри, что вы отказываетесь от завоеваний! Как же это мы можем сделать!? — беспомощно развел он руками.

— Не душите Финляндию с Украиной! —закричали из публики сверху.

— Нам говорят: вот военный министр Керенский ведет борьбу с Финляндией и Украиной, — спесиво вздернул он свой сочный нос. — Я пользуюсь парламентским выражением и говорю: это неправда. И в отношении Финляндии и Украины мы являемся горячими защитниками их автономии.

— Ох-ох-ох! — иронически заохал кто-то.

— На словах вы защитники, а на деле — душители! — выкрикнули из угла.

— Мы говорим только одно, — несколько замялся Керенский.— «Мы, как Временное правительство, не обладающее, не желающее иметь самодержавных прав, мы до Учредительного собрания не считаем себя вправе декретировать независимость той или другой части русской территории».

— Ишь, «правов не имеем, не самодержцы»! — закричал солдат возле стены. — А с солдатами расправляться в окопах да в наступление гнать, так-на то вы самодержцы!?

Упорный грохот аплодисментов заглушил, однако, протестующие эти слова.

— Какие же средства предлагают нам: арестовать собственных капиталистов, отказаться от аннексий в собственном государстве,— зло издевался Керенский. — Что же еще? Ах, да, — братание. Да, я рад и горд за русскую демократию, — надменно вытянулся он в струнку, — что она в огромном большинстве отвергла это средство «социалистической борьбы и торжества социализма».

Снизу обрадованно захлопали.

— Если мы пойдем по этому пути, мы должны признать величайшим борцом за социализм и демократию принца Леопольда Баварского, который в своем воззвании выставляет те же тезисы, которые защищаются и некоторыми социалистами. А почему же, я спрашиваю вас, в то время, когда офицеры германской армии являются брататься в наши окопы, они не братаются на французском

фронте? Кому же мы помогаем в этот момент: тем, кто сидит в тюрьмах, или тем, кого вы у нас предлагаете сейчас арестовывать?!

«Германия, Германия! — подумал я с неописуемой горечью, в то время как ливень новых аплодисментов взбрызнул эти демагогические извороты министра. — Почему у тебя вслед за Либкнехтом не видать вот сейчас тысяч и тысяч новых напористых, крепких большевиков?!»

— Почему эта политика братания так странно сходится с той линией германского генерального штаба, которую они проводят сейчас неукоснительно на русском фронте? — нагло съехидничал военный министр.

— Ишь, куда гнет, мерзавец! — проворчал кто-то гневно неподалеку.—Хочет нас записать в прислужники германского штаба.

— Если могут быть и такие наивные мечтатели, которые думают, что торжества социализма можно достигнуть арестом капиталистов, — продолжал плоско фиглярить Керенский, — то они могут также думать, что братанием отдельных солдат можно завоевать социалистическое царство в Европе. Но нам, товарищи, — язвительно осклабился он, дергаясь бритою верхней губою,— роскошь быть наивными не разрешается.

Он замолчал, томно вздохнув, и переждал, пока неутомимые хлопальщики угомонятся.

— За все время войны, — начал хвастаться он, — мы смело и определенно выдвигали лозунги, что первый враг есть царизм. Мы не заключали и не заключаем и сейчас ни с кем «бургфридена». С первого дня войны у нас не было колоссальных профессиональных организаций рабочих с миллионами членов и миллионами в кассах,— кичился он, намекая на германских социал-демократов и на руководимые ими профессиональные союзы, — которые во главе с генеральным секретарем Легином так решительно до сегодняшнего шли бы одной дорогой с империализмом!

«Гнусные социал-предатели, — подумал я злобно про них. — У нас даже такой фитюлька, как Керенский, может хвастаться, сравнивая себя с вами».

— Вы предлагаете итти путем, которым шла французская революция в тысяча семьсот девяносто втором году? — взметнулся Керенский по направлению к большевистским рядам. — Вы предлагаете путь дальнейшего разрушения. Из этого хаоса, как феникс из пепла, восстанет диктатор, — зловеще скрючился он. — Не я, — мотнул он разочарованно головой, — которого вы стараетесь изобразить диктатором, — и хлопальщики вновь занялись своим ремеслом. — А вот когда вы бессознательным, безумным союзом с реакцией уничтожите нашу власть, вы откроете двери подлинному диктатору, который вас арестует, и вновь мы останемся с разбитым корытом.

— Лукавство! — вскричал солдат от стены. — Это ты братаешься с генералами!

— Мы рады, — вновь закобенился Керенский, презрительно опустив верхнюю губу, — что против нас только те, кто в мечте, в неудержимом стремлении перескочить десятки лет, века, влекут за собой малосознательные элементы и неукоснительно прямо идут вместе с той буржуазией, которую, они говорят, мы поддерживаем. Нет, это вы ее поддерживаете! — изогнулся он вперед, показывая вытянутою рукой на скамьи большевиков.

Угодливые рукоплескания наградили его за этот актерский жест.

— Итак, — вновь откинулся он назад, изобразив на лице своем барственную брезгливость, — если вы хотите немедленного торжества рабочей, социалистической демократии в государстве российском, то имеются вот партии, которые готовы принять всю полноту власти, изложенной только что перед вами, и от вас зависит, товарищи, сказать, считаете ли вы эти средства борьбы достаточными для того, чтобы торжествовала революционная демократия в России, а затем и в мире. Я уверен, — спесиво развел Керенский руками, — что вы скажете: «Нет, мы еще не созрели для такой идеальной программы».

— Вот оно что, программа-то, оказывается, идеальна! — захохотали большевики. — Только вы, изволите ль видеть, до нее не созрели?!

Дружные аплодисменты заглушили эти насмешки с мест.

— Говорили еще, — не успокаивался Керенский, — что, объявляя и говоря о необходимости, чтобы армия была боеспособной, способной к наступательным операциям, — смелее поправился он, — мы якобы затрудняем, усложняем, затягиваем конец войны и идем на помощь интернациональным капиталистам. Это неверно, — воскликнул он с лицемерным пафосом. — Чтобы приблизить конец войны, нам нужно действительно показать интернациональному капитализму, что мы сила, а не бессилие, что мы воля! — истерически взвизгнул он, — а не разбитое, уничтоженное, распыленное стадо людей, не способное диктовать миру то, что оно хочет.

Хлопальщики вновь наградили его истеричный захлеб.

— Я был на фронте, товарищи, — принял Керенский свою излюбленную небрежно-надменную позу и оттопырил пробритую до лиловых теней большую верхнюю губу, — и рад засвидетельствовать, что вся новая организация армии, все союзы, комитеты, самоуправляющиеся организации — все стоят со мною, — гордо выпятил он грудь, ткнув за борт руку, — и с советом рабочих депутатов на одной точке зрения.

— Браво! — густо заревели его поклонники снизу, и зал вновь разразился овацией.

— Я должен с прискорбием сказать — с высокомерною снисходительностью растягивал Керенский слова, — что там, где кончается разум в армии, где много неграмотных, там где очень плохи пищевые и географические условия жизни, там торжествуют лозунги, которые зовут от риска самопожертвования во имя общих целей и задач, зовут к отходу, развязывают душу утомленным, дают ей лозунги, чтобы прикрыть весьма час о только трусость! — выразительно подчеркнул последнее слово министр.

— Врешь! Клевета! — закричали многочисленные солдаты.

— Это не мое мнение, — усмехнулся Керенский нагло, — это мнение фронта, мнение моих товарищей демократического государства.

Новая овация и крики «браво» наградили его за этот новый выпад.

— Мы, и я в том числе, — новые угодливые аплодисменты, — и на фронте защищали право вашей свободной пропаганды.

— Спасибо! — вскричал кто-то с горькой насмешкой, и вслед за ним понеслись сердитые выкрики:

— Будет врать-то! А кто поручика Филиппова арестовал? Кто запрещает читать «Окопную правду»?

— Когда мне один солдат сказал, — захлебывался Керенский от самоупоения, — «а плевать мне на вашу свободу, когда я сам земли не получу. Вы мне дайте землю», — я сказал полковому командиру: «Пусть он едет домой, дайте ему свободу». А вы знаете, чем это кончилось? — продолжал бахвалиться Керенский. — Солдат просил меня, чтобы я сделал ему милость и оставил его в полку.

Новая бурная овация.

— А в девятнадцатом корпусе, когда я спросил: «Кто здесь защищает братание?» — ни одного человека не выступило, а там было девятнадцать-двадцать тысяч человек!

— Испугались! — с предельною четкостью насмешливо произнес на весь зал один солдат.

— Испугались меня? — озадачился вслух Керенский. — Да, товарищи, — мгновенно принял он прежний заносчивый вид, — вы правду сказали: они испугались! Товарищи, здесь перед вами не доклад министра, я министр, — спесиво откинулся он, заложив руку за борт, — да, но я кроме того еще революционер и старый товарищ демократии русской!..

Продолжительные аплодисменты сопровождали его, когда он с победоносным видом сошел с трибуны и преувеличенно громко стал разговаривать с окружившими его, лебезящими перед ним депутатами. Чхеидзе объявил коротенький перерыв.

Толпа мгновенно хлынула бурным потоком в ярко освещенные электрическими лампочками длинные и широкие кадетские ко-

ридоры. Тут и там в сторонке у стен и возле дверей стали создаваться шумно-говорливые группы делегатов, ретиво куривших полученные здесь на съезде папиросы.

— Я не предполагал, что Ленин такой утопист! — воскликнул один, поправив на потной шее пожелтевший целлюлоидный воротничок и раскуривая свою папиросу, нагнувшись к соседу. — Еще Энгельс писал в «Крестьянской войне», — продолжал он, разглаживая свою хвостисто петушившуюся бороду, — «Для вождя крайней партии нет ничего хуже, как вынужденная необходимость взять в свои руки власть в эпоху, когда движение еще не созрело для господства его класса и для проведения тех мер, которые для этого господства необходимы». А тут и нужды-то никакой нет, а так, просто сам по глупости лезет к власти. — И бородач самодовольно стал кольцами выпускать дым к потолку.

— Что же мы, по-вашему, не созрели для власти советов? Для чего же мы тогда сюда собрались? Что мы здесь собой представляем, — насмешливо спрашивал худощавый, тщедушный человек в поношенном пиджачке, стараясь раскурить сломанную папиросу.

По чахлой его бороденке и впавшим щекам я сразу узнал в нем Попова из Омска.

«Как это кстати», — подумал я и стал дожидаться в сторонке, не желая мешать интересному разговору.

— Так неужели для введения социализма мы сюда собрались? — отбил все эти вопросы бородач, снисходительно взглянув на Попова красными петушиными глазами. — Когда-то Лев Тихомиров и другие народовольцы наивно ошибались, считая возможным совпадение у нас крушения царизма с социалистическим переворотом. И теперь большевики вновь воскрешают эту безграмотную ахинею. Надо бы знать этим горе-марксистам, — ах, как хорошо отчитал их сейчас Керенский! — что экономика наша для этого еще не созрела.

— Стало быть, продолжать старую, империалистическую политику? — подковырнул вопросом Попов, раскурив наконец свою папиросу и тщательно зажимая пальцем место ее излома.

— Болтовня, — отмахнулся тот, вновь поправив целлюлоидный свой воротничок. — Никакой империалистической политики мы не ведем. Трудность нашего положения состоит в том, что русский пролетариат вынужден сейчас строить буржуазное государство.

— Вот вы сами же говорите, что пролетариат, — поймал его на слове Попов. — Почему же вы тогда против власти советов? Почему вы тащитесь за буржуазией?

— Никто за нею не тащится, — нажиленным голосом ответил тот, окуная в бороду свое лицо. — Но нельзя же ее и отшвыривать! кем ее вы замените? Уж не рабочие ли наши, которые сквалыжни-

чают из-за надбавок, будут управлять производством? Вы хотите разгрома революции! — сверкнул он на Попова холодным, стальным взглядом врага.

— Нет, это вы ведете к разгрому революции, — закашлявшись, прохрипел Попов, раздраженно затаптывая свой окурок. — Теперь ясно, что вы эту проклятую коалицию не разорвете.

— Когда страна переживает столь глубокий хозяйственный кризис, — ответил уверенно собеседник, — необходима общенациональная власть всех живых сил, всех ответственных элементов общества, иначе страна неминуемо погибнет. Нечего нас запугивать империалистической буржуазией. Наша буржуазия бесхребетна и ничуть не империалистична. Пытаясь таковой быть, она только карабкается на ходули и, поверьте, гораздо скорей с них слезает, нежели многие наши доктринеры.

Разговор кончался сам собою, окружающие слушатели расходились, и я подошел к Попову. Бегло рассказав ему о своем посещении Омска и о том переполохе, который произошел в связи с этим в тамошней организации, я поинтересовался о соотношении наших сил здесь на съезде.

— Да что, — обескураженно потер Константин Андреевич худою кистью руки серую щетину втянутых щек, — на семьсот семьдесят делегатов нас, большевиков, набирается всего сто пять человек. Есть еще фракция объединенных интернационалистов во главе со Стекловым, Луначарским и Троцким, но их сущие пустяки, хотя они пробуют итти вместе с нами. А в общем из этого съезда едва ли что выйдет путное. Первый день проскандалили насчет безобразнейшей высылки Гримма, учиненной Скобелевым и Церетели. Они пытались было присобачить этого империалистического путаника к нам, большевикам. Сегодня все утро Либер и Дан распинались за коалицию, а сейчас изумительно четко обрисовал наше положение Владимир Ильич. Вы заметили, как выкручивался и паясничал Керенский? А впрочем, совершенно теперь очевидно, что здесь все заранее предрешено и главный удар направлен сейчас против нас, а не против буржуазии. Коалицию они не расторгнут. Родзянок они не разгонят, продовольственной разрухи и развала промышленности не остановят, восьмичасовой рабочий день не утвердят, землю от помещиков не отберут и пойдут воевать во славу проливов. Надо сматывать удочки и возвращаться к себе в Омск. Там работы, как сами видели, непочатый край.

Мы расстались, Попов пошел в зал, а я подошел к другой группе. Здесь возле двери стоял министр продовольствия, социалист Пешехонов. Я сразу узнал его по угластому простому лицу и небрежно щетинящимся наперед волосам.

— Уж какое там, прости господи сопротивление буржуазии! — тоскливо морщился он, отмахиваясь рукою от насевших на него

оппонентов. — Буржуазия нынче нам во всем уступает. Ее сопротивление давным-давно сломлено. Все трудности заключаются сейчас в преодолении психологии рабочих масс. Без решительного перелома в сторону самоотверженного и напряженнейшего труда, в сторону лишений и жертв — мы никогда из разрухи не вылезем.

— На рабочей спинушке выехать намерены? — подковыривал кто-то сзади.

— Товарищи!—подлетел к группе какой-то голенастый малец.— Кто здесь эсеры? Катите живее на фракцию! Там левые вместе с Камковым затевают скандал против Чернова из-за нероспуска Государственной думы.

Группа быстро растаяла, а Пешехонов мрачно побрел вдоль коридора.

— Мы против коалиции, — убеждал возле стены какого-то бровястого дядю Суханов. — Мы за власть социалистического большинства, но большинства объединенного.

— Без большевиков? — отрывисто спросил его собеседник, взметнув вверх взвихренными густыми бровями и не выпуская изо рта трубки.

— Почему—без большевиков? Большевики не помешают. Так мы скорее найдем с ними полный контакт, — цедил Суханов лениво сквозь зубы, искоса ворочая по сторонам сонными глазами утенка. — Такой же концепции придерживается со мной вместе и Троцкий. Это единственный путь к преодолению среди социал-демократии внутренних склок и споров.

— Ну, а если мы, социалистический центр, на это общение с большевиками ни в коем случае не пойдем? —свел собеседник свои лохматые брови совсем к переносью и деловито вынул трубку изо рта.

— На власть одних большевиков мы тоже ни в коем случае не согласимся, — уклончиво ответил Суханов, неловко подернув своей облезшею рыжеватою головой. — Это было бы утопическим бланкизмом.

— Ну, так не беспокойтесь, — собеседник вновь приподнял густые брови и удовлетворенно засосал свою трубку, — одобрение существующей правительственной коалиции здесь обеспечено,—кивнул он локтем в сторону двери в зал.

— Ну, знаете ли, совещание советов, бывшее в марте, тоже вотировало доверие правительству Гучкова—Милюкова,—небрежно поежился Суханов, — а через три недели питерские рабочие его взяли и свергли. Я боюсь, как бы и здесь также...

— Бросьте! — успокаивающе махнул трубкой бровястый.

У самой лестницы, идущей вниз, к чайному буфету и книжным киоскам, плотная толпа, мешая проходу, тесно обступила низенького коренастого прапорщика Крыленко.

— Чепуха! — раздавался его резкий, металлический голос. — Мы, большевики, не за войну, но мы не призывали солдат ко втыканию штыков в землю и к бегству с фронта! И никогда и нигде мы не пропагандировали непременного стояния на одном и том же месте. Подобной детской наивностью войны не кончишь. Но центральный вопрос любых военных действий это — кому будет принадлежать власть в стране.

— Друзья мои, кому бы вы власть ни передавали, — насмешливо возражал ему худой высокий унтер-офицер, пахнущий табаком и вежеталем, — надобно смотреть жизни прямо в глаза. Лишить войну империалистического привкуса невозможно. В этом Гоц тысячу раз прав. А раз так, то нечего требовать от союзников отказа от завоевательных целей. Нечего и вам, как дятлам, упрямо долбить о братании. Керенский молодец! Он своим строжайшим запретом братания крылышки вашей «Правде» подрежет.

— Значит, по-вашему, наступать? Так вы решили? — с зловещей яростью наседал Крыленко на унтер-офицера. — А против нас выпустите свои ударные батальоны из полупьяного сброда и офицерья?!

— Чего тут с ними калякать! — с усмешкою горького разочарования дернул Крыленко за рукав куртки рядом стоявший усатый солдат. — Как продавали нас при царе, так и теперь гуртом нас запродали на союзную мясобойню. Да еще наказывать нас будут за то, что иной раз мычим.

Из дверей настойчиво доносился председательский звонок. Все потянулись в зал. Поодаль, окруженный густою толпою, прошел Троцкий в сером модном костюме с преогромнейшим черным галстуком, еще более оттенявшим черный клинышек его бороденки, прилепившейся под плоским, словно придавленным подбородком и тонким, сплюснутым ртом. В дверях я столкнулся с долговязым общипанным Юрием Денике, которого я не видал с юношеских своих лет. Вспомнились его пламенные большевистские речи тысяча девятьсот пятого года, когда он, будучи студентом политехникума, приезжал к нам из Петербурга в Казань. Пахнуло таким мятежным, давним и бодрым, что я в порывистой радости судорожно сжал его руку.

— Юрий! — восторженно обратился я к нему. — Ты здесь? Откуда?

Он бегло взглянул на меня, и его глаза тепло засветились.

— Да вот здесь на съезде, как видишь, — добродушно обронил он, ответно сжимая мне руку и отходя со мною к сторонке.

— Большевик? — с восхищением спросил я его.

— Нет! — испуганно оборвал он, почти вырвав от меня мгновенно похолодевшую свою ладонь. — Нет, никогда и ни за что! — отрывисто прошипел он и, круто повернувшись, враждебно сказал: — Я — социал-демократ, меньшевик!

Луначарский только что начал говорить, когда я вошел в зал. Он очень учтиво предварительно оговорился, что не намерен затрагивать личности, что министры Керенский и Церетели — весьма уважаемые люди, но что он не может удержаться, чтобы кое в чем им сейчас не возразить. В частности, эффектные упреки, сделанные министром Ленину, что все мероприятия последнего сводятся к лозунгам: арестовать, разрушить, убрать — не вполне основательны. Ведь вот, например, Николай Романов арестован, кое-какие тюрьмы разрушены, старый порядок убран. Не назовут ли за это держимордами и теперешних представителей революции? — Сопоставление показалось залу удачным, и Луначарский был награжден хлопками.

— «Несчастие демократических партий, — привел Луначарский цитату из Маркса, — заключается в том, что они переполнены прекраснодушными разговорщиками, и в то время как они говорят красивые слова великодушия, реакционеры, которые являются людьми дела, под сенью их слабодушия готовятся свернуть им шею».

Такая цитата из Маркса не понравилась залу и аплодисментов не вызвала.

Но Луначарский не проявил особого огорчения, он заявил только, что спасение России, судьба революции и всего мира будут зависеть лишь от того, со сколь пламенной энергией будет развиваться наша революция дальше. Он зачитал затем проект резолюции, где наряду с упразднением Государственной думы и Государственного совета говорилось о передаче власти Исполнительному комитету Союза советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов при контроле Временного революционного парламента, выбранного в составе пятисот делегатов от настоящего съезда, от Петроградского совета и от Всероссийского крестьянского совета.

Большевики и объединенцы резолюции этой похлопали.

— Чего вы, собственно говоря, в резолюциях этих хотите? — полетели из зала недоуменные выкрики, очевидно, от тех, кто речи сейчас не слушал, а был занят болтовнею с соседом.

— Чего мы хотим? — благодушно усмехнулся Луначарский. — Мы хотим, чтобы вы взяли власть в свои руки.

— Спасибо! — удрученно кто-то вздохнул на весь зал.

Многие захохотали и захлопали.

— Это совершенно неправильно, — принялся оправдываться Луначарский, — будто кто-то такой стремится авантюристским путем, представляя собой меньшинство в стране, каким-то образом пробиться к власти.

— Ах, вон оно что! — насмешливо загалдели со всех сторон. — Почему же вы тогда против коалиции с буржуазией? Ведь за нее большинство! Почему вот вас не пугает коалиция пролетариата

с мелкобуржуазным крестьянством, которую вы навязываете нам под маркою власти советов?

— Буржуазная революция в России происходит вместе с демократическим переворотом, — стал добродушно объяснять Луначарский, — а после демократического переворота наступают уже меры полусоциалистического характера, и пролетариату поэтому приходится взять на себя единую организующую роль при самых невыгодных условиях, взять власть, опираясь, — на кого же? — сам он бессилен, — опираясь на революционную часть крестьянства, опираясь на революционную армию... И почему это крестьянину от земли, которой никто не хочет касаться, придет в голову захлеснуть морем черной сотни, о которой говорил товарищ Либер и министр Чернов, — захлеснуть город за то, что в городе его брат, рабочий, стремится к тому же, к чему он стремится в деревне?! Это неправильно.

Положение о союзе с крестьянством было разъяснено, таким образом, достаточно четко, но большинству съезда это тоже не понравилось.

— На какие вы денежки будете жить? — выкрикнул кто-то из зала.

— Нас запугивают, — расходился Луначарский все дальше и больше, — что сейчас же, стоит только английской буржуазии прекратить выдачу по текущему счету своих денег, русская революция тотчас обмякнет, как мокрая курица, она сразу окажется лишенной всех сил. Этою угрозой нас хотят гнать на немецкий фронт. Милюков говорил: «Рассуждайте сколько угодно о мире без аннексий и контрибуций, но на деле начните маленькое наступление, и мы будем очень довольны». Если это не издевательство над революцией, то это в крайней степени слабодушие тех пугливых министров, которым дали кусочек власти. Они так боятся, что рады, когда им говорят: после дождика в четверг мы потолкуем, а пока что — пожалуйте стратегическое наступление!..

Обещанная почтительность у оратора, видимо, испарялась. Большевики снова захлопали.

— Бис! — заорал кто-то со злою издевкой.

Время у Луначарского истекло, но его ему продолжили.

—... Как бы товарищи министры ни боялись, — подытоживал Луначарский свою речь, — как бы они свой карточный домик ни охраняли, но домик этот скоро рухнет, быть может, в результате того самого наступления, которое теперь выпускают «из правого рукава», но которое вернется очень большой катастрофой. Удаляя Государственную думу, удаляя Государственный совет, создадим революционный парламент и дадим возможность этому революционному парламенту создать революционную власть.

В заключение он выразил уверенность, что, когда соберется новый съезд, многие, которые теперь остаются равнодушными и

враждебными, тогда полевеют. Он кончил, сходя с трибуны под жиденькие хлопочки, и на смену ему поднялся министр Скобелев.

— Эволюция, — сказал кто-то в раздумьи, но я не понял, к чему он это сказал.

Я взглянул на часы: было поздно, и надо было спешить, чтобы не опоздать на последний поезд домой. Усталый, словно чем-то подавленный, я покинул это громоздкое облезшее здание с громким названием — Кадетский корпус.

21. БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ШТАБ

Рано утром ко мне на квартиру пришел солдат. Тощее бритое лицо его мне не знакомо, серые глазки, посаженные вплотную к острому, тонкому носику, бегают беспокойно, заплетающимся языком он называет себя Бровкиным, председателем солдатского комитета батальона кольтовских пулеметных команд.

— Мне передали, что вы только что приехали, — говорит он, словно выдавливая из себя слова и закатывая глаза. — Я тоже только что вернулся из отпуска из Москвы. У нас в кольтовском батальоне непорядок. Слыхали, какую они тут демонстрацию закатили без нас? Сбулгачил их тут один солдат, Алексеев. Называет себя эсером, а по сути — подлинный анархист. И вот вышли все на улицу демонстрировать против местного совета!

— Что же, лозунги какие были у них, плакаты?

— В том-то и дело, что никаких. «Долой местный совет!» — и более ничего. И ясно чувствуется теперь, что солдат нам не удержать. Они каждый день могут снова выйти на улицу. Нужны крепкие руки, а у нас командиров нет. Бывший командир батальона, полковник Шавердов, сбежал от восставших солдат еще в февральские дни. С тех пор и ходим мы без начальства. Не согласились ли вы б, товарищ поручик, стать у нас командиром? Все солдаты за вас. Выбрали бы единогласно. Вы б строевые занятия подтянули, а то уже давно никто ничего не делает.

Мы беседуем с Бровкиным полчаса. Оказывается, он беспартийный, но сочувствует меньшевикам-интернационалистам, охотно читает горьковскую «Новую жизнь». Большевиков он готов поддерживать во многом, но не разделяет лозунга о братании и не согласен, как он выражается, с «ругатнею» против эсеров и меньшевиков.

— Все же они, как-никак, социалисты, — говорит он с прихлебом, мигая серыми глазками и еле справляясь с непослушною нижней губой.

Я отказываюсь наотрез стать командиром кольтовского батальона, это отвлекло бы меня от партийной работы, а ведь теперь на моих плечах лежит весь наш ораниенбаумский большевистский штаб.

Я обещаю подумать и затем посоветовать взять им командиром какого-нибудь другого офицера, но ни Батманова, ни Племянникова на это дело ставить нельзя. Не говоря уже о том, что у них для этого еще недостаточно крепкие руки, все мы — большевики, а назначение командиром большевика сразу вызвало бы ликвидацию всего батальона. На просьбу Бровкина, стать у них командиром одной из пулеметных команд, я соглашаюсь. Это свяжет меня с кольтовцами потеснее. К тому же моя учебная команда скоро ликвидируется, и меня наверняка попытаются отправить одиночкой на фронт. Ехать туда я не хотел. Здесь фронт и важнее и серьезней.

— Такой огромный батальон, — разводит Бровкин руками, — четырнадцать тысяч вооруженных солдат, восемнадцать пулеметных команд, до двух сотен пулеметов — и вдруг — нате вам: против совета!

— А депутаты от вас в совете есть? — спрашиваю я.

— От кольтовцев должно было быть в совете тридцать депутатов, — закатывает Бровкин глаза, — но в свое время кольтовцы в совет почему-то не выбирали, ограничившись выборами своего батальонного комитета. На последнем гарнизонном собрании постановлено было эти выборы допроизвести, но у солдат настроение вялое, они в совет что-то не верят.

«Вот оно что, — думаю я, когда Бровкин уходит, обещав поговорить с 17-й пулеметной командой, которая расквартирована здесь в Мартышкине неподалеку и будет, по его словам, очень рада иметь меня своим командиром. — Вот оно что, — думаю я, — они еще не имеют своих депутатов в совете. А мы кричим: да здравствует советская власть!»

В Ораниенбаумском комитете я застаю только Батманова и Горшкова. Где Племянников? Почему его здесь не видно?

— Он организует здесь забастовку трактирных служащих, — отвечает Батманов. — Трактирщики не дают прибавки своим половым, вот он и помогает последним соорудить свой стачечный комитет. Хозяин здешний, — кивает Батманов на лестницу, идущую вниз, — теперь на нас рвет и мечет. Проклинает тот час, когда сдал нам этот сарай.

— Сколько числится теперь у нас большевиков в кольтовских командах?

Он называет цифру — не то сто, не то двести.

— А мы сидим сложа руки и не проводим их в здешний совет?! В чем же тогда заключается партийная наша работа, как не в борьбе за власть советов?!

Мне самому стыдно, что я натолкнулся на эту идею совершенно случайно, и поэтому, возможно, я несколько жестко подкручиваю остальных. Мы немедленно тут же намечаем и разрабатываем подробную директиву нашим партийцам о срочном проведении по коман-

дам довыборов в местный совет: где возможно—попытаться пройти самим, а где трудно — агитировать и голосовать за наиболее близкие нам кандидатуры из беспартийных, но только не за эсеров и не за меньшевиков. Срочно созванный тут же партийный актив наш ото всех команд толково одобряет все это и берется немедленно провести в жизнь. Мы тут же распределяем между собой все команды для предвыборных выступлений. Мне достается их пять. Дело не откладываем в долгий ящик. Большевистский штаб должен показать на деле свою организованность и свое умение. Выборы должны начаться сегодня же и закончиться самое позднее завтра.

В одной из команд я встречаю Жендзяна. Он здесь командир. Это меня несколько смущает. Его нужно проваливать: он эсер. Но наш большевик в этой команде — солдат за сорок лет, нестойкий и вялый, все время у нас хлопотавший, как бы ему поскорее демобилизоваться. По своему авторитету среди команды он значительно уступал Жендзяну. Как тут быть? Пока солдаты сбираются, я отвожу Жендзяна в сторону и прошу его рассказать мне о настроениях в его команде.

Ребята мои ничего, — отвечает он с похвальбой. — Я с ними почти каждый день беседую здесь о политике. Левеют теперь с каждым днем.

— Левеют? — гляжу я на него вопросительно. — Что же, делаются большевиками?

— Зачем — большевиками? — снисходительно ухмыляется он, опуская глаза. — Из них выйдут и неплохие эсеры.

— Эсеры? — усмехаюсь я. — Подручные для здешнего Пигаревича? Послушное стадо авксентьевской и бунаковской орды? Верные прихожане черновско-гоцовской церкви?

— Про Чернова вы это напрасно, — с раздражением бросает Жендзян. — Чернов никогда не был правым и правым не будет.

— Но ведь он министр коалиции и вместо земли мужикам кажет кукиш!

— Ему не дают развернуться. Он выжидает, и если ему не дадут провести в жизнь социалистическую нашу программу, он уйдет, и коалиция рухнет.

— Какая наивность! — качаю я головой. — Я думал, Жендзян, что вы старше.

— А с правыми и с Пигаревичем у нас нет больше ничего общего, — говорит он с ожесточением. — Дней десять назад мы чуть было здесь не подрались на нашем партийном собрании. Приезжал сюда Натансон и выступал за правильную линию интернационализма. Эти вороны накинулись было на него, но мы не дали старика здесь в обиду.

«Вот оно что, — ухмыляюсь я про себя, — Стасова не надула»!

Когда Жендзян открывает собрание и предоставляет мне слово, я говорю о предстоящей решительной схватке за мир, за землю, за раскрепощенный труд и за свободу, я призываю к сплочению всех боевых честных сил вокруг лозунга: «Вся власть советам» — и предлагаю выбирать в совет стойкого депутата, такого, как, к примеру, поручик Жендзян.

Жендзян и обрадован и смущен. Его кандидатура проходит единогласно. Он провожает меня до следующей, намеченной мною команды.

— Крепкое дело заколачиваем мы сейчас с вами, Жендзян, — хлопаю я его по плечу, — вот навыбираем теперь в наш совет большевиков и таких, как вы, смелых интернационалистов, левых эсеров. Там в совете нам надо будет создать между собою крепкий революционный блок. Ведь наши цели едины?

— Конечно! — ласково и добродушно улыбается мне Жендзян и жмет мою руку до боли.

И в остальных командах выборы протекают очень успешно. Только зачем же выбирать здесь эсеров, хотя бы и левых, если можно послать в совет более устойчивых большевиков!

В 17-ой команде меня поджидает сам Бровкин. Он же открывает собрание и всячески расхваливает меня солдатам.

— Знаем мы его не в первой день! — выкрикивают они с мест и смотрят на меня веселыми, приветливыми глазами.

Бровкин предлагает им выбрать меня своим командиром. Все руки поднимаются дружно и враз. И так же дружно выбирают они меня своим депутатом в совет.

— Постойте, — растерянно бормочу я, — ведь я же не изложил вам нашей программы.

— Знаем нашу программу — отвечают хором солдаты, — ты, чай, не одиножды разжевывал ее нам на ораниенбаумских митингах. Мы теперь за эту программу — все, как один!

На радостях после выборов они меня даже качают.

— Ну и я тоже выбран в совет, — довольный собой, улыбается Бровкин, провожая меня до квартиры.

— Послушайте, Бровкин, — говорю я ему, — а я ведь нашел вам самого подходящего батальонного командира.

— Кого же? — останавливается он возле палисада и, сгорая от любопытства, открывает свой рыбий рот.

— Поручика Жендзяна.

— А ведь и правда, — обрадованно кивает Бровкин.

Наутро я спешу проехать в военку, чтобы там рассказать о наших успехах.

На площади перед Зимним дворцом маршируют солдаты. Шаровары и гимнастерки пузырятся на них кошелями. Некоторые из этих солдат очень тонки, другие пузаты, и у всех у них какие-то

очень жидкие ноги. Ближе я замечаю, что все они как-то кургузы и большинство из них обуты не в сапоги, а в чулки и дамские ботинки. Батюшки, да ведь это женщины!

— Глянь-ка, бабский батальон смерти! — гогочут солдаты с тротуаров.

— Эй, Маруха, кальсоны свои из-под штанов подбери! Чего кружева, курва, выпустила.

Торопливо прохожу к набережной мимо этих навербованных Керенским «защитниц родины и свободы».

Возле особняка Кшесинской толпы народа. Что случилось? Сердце замирает и четко стучит. Уж не разгром ли? Оказывается, адвокат Хесин, толстенький и вертлявый, явился во главе отряда милиции выселять по приговору суда зловредных большевиков, захвативших дом императорской содержанки. Милиционеры, студенты и гражданские дяди с белыми перевязями на рукавах, вооруженные карабинами, чувствуют себя смущенно перед воинственно высыпавшими против них из здания солдатами-большевиками.

— А ну, попробуй-ка нас выселить! — кричат солдаты, щелкая затворами винтовок.

— Ребята, — кричит им с лестницы Мехоношин, — живо бегите в полки Московский, Гренадерский и Пулеметный! Пусть срочно сюда вышлют хотя б по одной роте. Не дадим разгромить большевистский наш штаб!

— Что за глупая декламация! Бросьте ваш анархизм! — сердито осаживает его, сбегая по лестнице вниз, секретарь ЦК Свердлов. — Из-за паршивого особнячишки вы хотитет затеять военную авантюру? Стыдитесь!

Мехоношин, смутясь, бьет отбой. Всякие вызовы рот на помощь он отменяет. А тем временем щупленький Свердлов наскочил во дворе на адвоката. Адвокат, уже и без этого перепуганный возможностью перестрелки, охотно соглашается ретироваться со всем своим милицейским отрядом, благо и Свердлов и солдаты обещают ему в недельный срок освободить особняк. Инцидент улаживается, к общему удовольствию, мирно. Милиция с адвокатом уходит, все остальные возвращаются в здание.

— Уперлись вот на этом проклятом особняке. Выкуривают нас отсюда начисто лишь за то, что мы большевики, — раздраженно ворчит, поднимаясь к себе, бессменный работник военки, солдат Черепанов. — На-днях вон нашего Харитонова, комиссара Московско-Нарвского района, в тюрьму законопатили за то, что передал какому-то профсоюзу пустующий особняк герцога Лейхтенбергского. А вон в Парголове во дворце Воронцовой-Дашковой все время жила безо всяких помех банда человек в полтораста, сформированная, как оказывается, самим генералом Корниловым

для неведомых целей из воров и убийц. Только на-днях ее переарестовали. И то из-за того лишь, что по всей округе житья не стало от их грабежей.

— А на Выборгской стороне, в даче бывшего министра Дурново тоже вон беспрепятственно проживают — почитай, уж полгода — разные профессиональные союзы и анархисты, — рассказывает на дворе окружающим один из солдат, — и ведь не трогают их!

— На одних только нас жмут за то, что мы большевики, — покачивает головою другой. — А может быть, потому, что уж больно мы смирны.

— Ну, и анархистам тоже теперь не сдобровать, — вставляет вихрастый солдат. — Видал, что вчера они делали? Собралось их, должно быть, человек восемьдесят, все вооруженные, и среди белого дня напали на типографию «Русской воли». Все выходы заняли, администрацию арестовали и давай с помощью рабочих печатать свои прокламации. Народищу кругом собралось — страсть! Две роты солдат против них вызвали, все кругом оцепили. Только когда со Съезда советов делегация к ним приехала, они сдались. Отвели, голубчиков, прямехонько в Кадетский корпус. А ловкие ребята, не то что мы! Сидим вот и нюхаем, как разные конторы гадят нам прямо под нос.

— Эх, и жмут, ребята, нашего брата нынче со всех сторон! Вон седни в газетах опять пишут: большевика, поручика Хаустова, что издавал на фронте «Окопную правду», на гауптвахту на Фурштадтскую улицу арестованного привезли и посадили.

— Вот и будет теперь на сухарях сидеть да на воде.

— Да, это тебе не царь Николашка. У того — намедни царскосельские солдаты сказывали — опять новый склад вин обнаружили, хотя до этого тридцать ведер вина и шампана в канаву спустили. И неведомо, как и откуда он, паскуда, ево добывает.

— Ох, братишечки, и наши офицера теперь на фронте тоже мертвую хлещут да с бабами фуртикулируют. А наш брат — без сапог, и хлеба теперь тоже не всяк день хватает. А на складах, слышь, сорок тысяч пудов недавно сгноили, помещики подмоченный продали. А скажи-ка про это хоть слово, сейчас же тебя за это под арест.

— У нас вон в полку на Румынском фронте, — рассказывает другой солдат, — офицеры до того перепились, что давай «Боже, царя храни» благим матом орать. И что ж, за такую контру их даже пальцем не тронули! Отчислили только с фронту в тыл. Они, кобели, вестимо рады. А заместо их новых офицеров пригнали, бывших жандармов. Вот тут и вою!

— А теперь, слышь, Керенский новый закон выпустил. Ежели у кого отлучка из части или там с немцем пошел в братание, сей-

час же лишают тебя дома земли и ссылают на каторжные работы. Вот тебе и свобода... Доосвобождались! Дальше некуда.

— И не пойму я наших товарищей, — кивает один из солдат на окна особняка, — чего они больно смирны стали? Чего молчат? Раз супротив нас заваривается такое, должны же и мы им отпор какой дать? Вот, к примеру, сейчас бы. Уж и набили б мы морду этому балерининому присяжному-то — поди, года на два харя опухла б.

— Не горюй, ребятишки, — таинственно произносит рыжий солдат, — намедни тут пулеметчик сюда приходил, так сказывал, что на этих вот днях все питерские полки, все как один выйдут на Дворцовую площадь Сашку Керенского и министров скидать. Вот тогда уж мы с ним рассчитаемся!

— Ничего себе настроеньице тут у вас среди солдат, — усмехаюсь я, поднявшись в военку. — Понаслушался я сейчас на дворе. Совершенно не чувствуется нашей руки и нашего партийного влияния. — И я рассказываю все, что слышал.

Меня обступают все плотной стеною. Здесь Черепанов и Мехоношин, и наш казначей — солдат Тобиас, и прапорщик Ильин-Женевский. Сюда же подходят озабоченный чем-то Подвойский и Владимир Иванович Невский, ясноглазый, с крохотным носиком на широком бритом лице, сияющем как молодая луна.

— Это еще что! — снисходительно пожимает Невский плечами, и пушистые помпончики его шнуркового галстучка потряхиваются благодушно. — Вы послушали б, что делается в других здешних полках! Волосы становятся дыбом. Ильинский вон у себя в Первом пулеметном совсем сбился с ног. Не полк, а вулкан. Да он сам сейчас придет сюда, порасскажет.

— А как же там прапорщик Семашко?

— Ну, что там Семашко! — удрученно отмахивается Подвойский.

Мысль, что я смогу сейчас здесь встретить Ильинского, несказанно меня обрадовала. Рассказав Подвойскому про ораниенбаумские наши дела и получив полное одобрение своим шагам, а также решительно отразив новую его попытку послать меня еще куда-то, я стал терпеливо дожидаться прихода Ильинского.

Мимоходом я заглядываю к Бокию, чтоб посвятить его во все омские дела, но он слушает меня очень рассеянно, озабоченно роясь в каких-то бумажках.

Затем я прохожу в комнату агитаторов, где сидит несколько человек, по виду — рабочих. Один из них, в мрачном пенсне, с низким лбом, весь заросший густым жестким волосом, рассказывает остальным про свои колпинские настроения. Исподлобья взглянув на меня, он спрашивает, кто я такой.

— Оставьте, — говорит ему с гортанным акцентом один из его собеседников, кивнув на меня. — Это — наш мужик: из военки. Я его знаю.

«Откуда он меня знает?» — удивляюсь я и пристально гляжу на него. И тогда я узнаю в нем товарища Сталина, которого в мартовские и апрельские дни встречал в Питерском исполкоме.

—... ну и требуют выхода всех нас, большевиков, из Колпинского совета, — продолжает рассказ волосатый в пенсне. — Рабочих на нас науськали, словно собак; те грозят расправиться с нами. Мы, конечно, отвечаем эсерам: поскольку, дескать, мы законные члены совета, никакими угрозами не заставите нас...

— Это еще что, Иннокентий! — перебивает его сутулый рабочий. — У нас, ты, чай, слыхивал, в Пороховском совете еще чище было. С ножом к горлу пристали, чтобы мы подчинились их оборонческой платформе совета, — одним словом, перестали бы быть большевиками, иначе-де они все уйдут из совета и пойдут в массы агитировать против нас. Ну, мы им, конечно: «Скатертью, мол, дорога», — и сами пошли агитировать по цехам. Третьеводни Охтенский пороховой наш завод уже принял постановление наше о бойкоте всех буржуазных газет, которые травят товарища Ленина. Вот как надо противодействовать!

— А в Невском районе и посейчас, — добавляет третий, — чуть выступишь на митинге и скажешь, что ты большевик, — истошно, канальи, свистят, рта открыть не дадут.

— У нас, в Московско-Нарвском, как будто бы ничего, — говорит четвертый. — «Скороход» намедни резолюцию вынес за власть советов. Ячейка там крепкая. А слыхали, ребята, Лангензипен-то уже закрыт! Рабочим объявлен расчет.

— Вот те на! Да ведь это ж явный локаут, — угрюмо скрипит Иннокентий. — Враг переходит в открытое наступление.

Сталин сидит на окне и молча посасывает свою трубку. На нем какая-то невзрачная, но аккуратно пригнанная солдатская куртка, на ногах плохо прочищенные сапоги. Его узкие смуглые щеки, небрежно опущенные небольшие усы и черная щетка волос на голове — неподвижны. Сначала кажется, что он задумался и не замечает кругом ничего. И только по глазам его, добродушно прищуренным, насквозь пронизывающим каждого говорящего, видно, что он не пропускает мимо себя ни одного слова, ни одного жеста.

— А все-таки нехорошее у вас всех настроение, — говорит Сталин с выразительным горским акцентом, прищурясь и вынув изо рта трубку. — Наши ячейки еще не подтянулись, и наши агитаторы спят. А они должны будировать массы. При таком вялом у вас настроении, — подергивает он плечом, — министры совсем обнаглеют и скоро подпишут нам смертный приговор. Так бороться нельзя.

Все молчат и не знают, что ответить на это. В это время в комнату поспешно входит Бокий и озабоченно протягивает Сталину какие-то бумаги.

— Насилу сыскал, — говорит он, облегченно вздыхая.

— Ладно, — говорит Сталин, смотрит бумаги, прячет аккуратно в карман и идет к двери.

— Как у вас настроение солдат, Родионов? — неожиданно спрашивает он, на ходу останавливаясь подле меня.

— Настроение у нас организованное и боевое, — несколько бахвалюсь я.

— А много ли у вас солдат? — по-деловому интересуется он.

— Всего в Ораниенбауме до тридцати тысяч, — отвечаю я.

— Не плохо, — смотрит он на меня глубоким, что-то продумывающим взглядом. — Крепкое настроение надо сохранить. Мы не знаем, что может нас ожидать даже завтра, — сдержанно произносит он.

Он уходит из комнаты вместе с Бокием, простой, решительный, требовательный и спокойный и весь словно светящийся изнутри непоколебимой верою в нашу победу.

Направившись после этого в военку, я вижу, что Бокий и Сталин поднимаются по лестнице туда же. В комнате военки они сразу подходят к группе товарищей, окруживших только что пришедшего Ильинского. Приветливо ему кивнув, я замечаю, что Ильинский за это время похудел, горячие глаза его ввалились, солдатская рубашка повисла на нем, как на вешалке, и торчит из нее на тоненькой, хрупкой шейке смуглявая головенка с бегающим под ней кадычком. Его внимательно слушают все наши военщики, а среди них и член ЦК, солдат Лашкевич, грузный, коренастый мужчина с одутловатым от сердечных припадков лицом.

— Вот послушайте, — перебивает Ильинского Невский, обращаясь к Сталину, — уж не только теперь пулеметчики, но и остальные полки бушуют. Мы связаны здесь с тремя четвертями всего питерского гарнизона. «Декларация прав солдата», приказ об отправке на фронт маршевых рот, разговоры о наступлении — все это чрезвычайно накалило солдат. Военка будет сегодня еще раз настоятельно требовать от ПК разрешения на устройство в ближайшие дни демонстрации.

— Как же пойдете вы без рабочих? Одни солдаты? — с усмешкою спрашивает его Сталин. — На заводах ведь настроение не столь боевое.

— Конечно, — вмешивается в разговор Подвойский, — у рабочих еще нет таких боевых настроений, как у солдат. В полках имеются конкретные причины резкого недовольства политикой наших министров, и солдаты теперь говорят, что ПК боится вывести их на улицу. Подвели-де к вопросу и спрятались, а конкрет-

ного выхода не даем. Ильинский прав, что мы этим играем только на-руку анархистам. Солдат бояться нам нечего. Министры не смогут повернуть эту солдатскую демонстрацию против нас.

— Но как же все-таки, чудак, без рабочих? — добродушно ворчит Лашкевич, оправляя на животе тугой обруч ременного пояса.

— Конечно, без рабочих нельзя, — говорит четко Сталин. — Пускай среди рабочих и нет пока такого брожения, какое имеем мы среди солдат. Мы должны звать массы на борьбу не только тогда, когда кипят страсти. — Горячий кавказский акцент его вырубливает каждое слово с предельною выразительностью. — Наша обязанность — будировать массы, чтобы они были всегда на-чеку. Солдатская демонстрация без рабочих — нуль. Рабочие помогут солдатам политически сформулировать их требования. Вот при виде такой демонстрации буржуазия будет значительно осторожнее! — Когда Сталин упирает на какое-нибудь слово, он крепко двигает в такт согнутым локтем руки, придерживающей его трубку. — А то каторжными своими законами и наступлением на фронте буржуазия совсем нас задавит. Будет ли армия разбита при наступлении, или она победит, все равно — результатом того и другого будет разгар шовинизма и поход на рабочих. Сегодня вечером будем отстаивать назначение демонстрации! Для сплачивания наших сил она необходима, как воздух.

Он отходит в сторону вместе с Лашевичем, Невским и Бокием, а я тем временем жадно накидываюсь на Ильинского.

— Что ты панику здесь разводишь? Кто у тебя там бушует?

— Эх, — удрученно машет Ильинский рукою. — В том-то и дело, что весь полк пошел ходуном. Началось с злополучного ареста Семашки. Ну, полк его освободил. Все это было бы хорошо, но теперь, что ни день, генерал Половцев шлет нам из штаба самые дикие требования и предписания. То отправить на фронт сразу целых десять маршевых команд, то передать куда-то на склад сто пулеметов, то отправиться по-батальонно в разные города. Разумеется, солдаты ничего этого не выполнят, но ведь это взвинчивает всех. Теперь уже перестали слушать мои успокаиванья. Выбрали своих представителей в какой-то вновь образованный «революционный», — Ильинский усмехнулся, — штаб анархистов на дачу Дурново. Там их уговаривают итти немедленно арестовывать все правительство, а заодно и большевиков. Определенно чувствуется, что работают тут какие-то темные силы, провоцируя нас на что-то. И как тут справиться, ума не приложу! Вот, не поверишь, уже неделя, как совершенно не сплю. Некогда: с ног сбился. И сейчас вот опять надо бежать. Буду обещать, что сорганизуем на-днях мирную демонстрацию.

— «Мирную», — подсмеиваюсь я, спускаясь с ним по лестнице.

— Ну, разумеется, мирную, Родионов! — горячо вскидывается он на меня, сверкая испуганными глазами. — Ни на какие провокации мы не поддадимся. Ни за что! И никогда!

Когда я наутро приезжаю в военку, Черепанов торжествующе мне сообщает, что на вчерашнем заседании ЦК и Сталин, и Ленин, и Свердлов высказались за демонстрацию. Точный срок ее поручили наметить созываемому на завтра партактиву от полков и заводов. Демонстрация должна быть организованной, но не вооруженной. Особенно возражали против демонстрации Каменев, Ногин и Зиновьев. «Проба сил, дескать, сейчас опасна. За нами еще нет большинства. Солдатское дефилирование ни к чему, а у рабочих нет рвенья к бою...»

— ...Ну, а в общем их все же покрыли, — говорит Черепанов с радостным вздохом. — Тебе надо готовиться, — понукает он меня деловито. — Сегодня среда, а демонстрацию Подвойский наметил — но это только пока между нами — уже на субботу.

«Уже на субботу! Уже на субботу! — торжествую я. — В субботу десятого июня ораниенбаумцы должны показать и покажут свою сплоченность, дисциплину и верность большевистскому штабу».

22. СРЫВ ДЕМОНСТРАЦИИ

Домашние уже уснули. В комнате душно. Мне что-то не спится. Я иду бродить в палисад. Молочно-белая ночь покрыла все прозрачною кисеею. Мартышкино спит. Чуть плещется о камни темный Финский залив. Кудрявые сосны стоят будто завороженные. Оглушительно дышат пряными острыми ароматами с клумб левкои и табаки. Устало сажусь на влажную от росы скамейку. Нервной дрожащей рукою трогаю раскаленные за день виски. Эти дни так быстро пронеслись. Нужно было свои задорные обещания Сталину претворить в конкретное дело. Нужно было во что бы то ни стало поднять на демонстрацию весь Ораниенбаум. После наших довыборов исполком упорно не созывает пленум совета. Большевистский комитет также не удалось целиком мне собрать. Батманов с Племянниковым по уши увязли в забастовку трактирных служащих. В местной газетке «Красное знамя» они печатают свои воззвания о бойкоте таких и таких-то гостиниц и чайных, воззвания о том, чтоб солдаты не нанимались штрейкбрехерами к трактирщикам и не поддавались бы на агитацию хозяйчиков расправиться с забастовщиками. Все это, разумеется, мелочь.

— Не время сейчас заниматься подковыванием блох! — кричал я в комитете. — Контрреволюция надвигается. Генералы наглеют. Министр юстиции Переверзев приказал в двадцать четыре часа выселить анархистов из особняка Дурново. В ответ забастовало двадцать восемь заводов. С анархистов реакция начинает,

чтоб обрушиться дальше на нас, на большевиков. Филиппов и Хаустов уже в тюрьме. В тюрьме же и большевик Харитонов, объявивший теперь голодовку. Все заводы и все полки десятого выйдут на улицу. Разобьемтесь сейчас же по всем командам, чтоб сагитировать их на демонстрацию в Питер! Срочно собрать для этого весь наш партактив!

И мы разлетелись вихрем по всем командам. Драли весь день охрипшие глотки о том, что царская Дума и Государственный совет, при поддержке министров-капиталистов, готовят наступление на фронте и разгром советов в тылу. Без власти советов нет выхода из локаутов фабрикантов и из каторжных деклараций о солдатских правах. Без власти советов не видать крестьянам земли. А потому все, как один, десятого утром организованно поездами — на демонстрацию в Питер!

Кое-где мы встретили упорные возражения и, как ни странно, первое противодействие оказал нам Жендзян.

— В нашей газете левых эсеров «Земля и воля» ничего не говорится о демонстрации, — гудел он. — Мы все за власть советов, но она дается не сразу. Демонстрировать сейчас не время. Землю крестьяне все равно скоро получат, Чернов обещал это твердо. Что касается Керенского, то на Всероссийском эсеровском съезде его неспроста не выбрали больше в наш партийный ЦК. На декларацию его можно начхать. Нам страшна сейчас только анархия. Если мы посидим десятого дома, будет лучше.

«Вот тебе и «союзничек»!» — бесился я, всячески уламывая его.

— Кулацкая партия! — кричал я ему. — «Моя хата — с краю»! А где же ваша прекраснодушная болтовня о вашем интернационализме?! В чем выражается ваш протест против готовящегося наступления? Керенского вы не выбрали только по причине его загруженности, да и то бабушка ваша, Брешко-Брешковская, бешеною слюной из-за этого изошлась, и Керенский до сих пор у вас ходит в министрах! Если вы не хотите, чтоб, как баранов, всех погнали на фронт, надо ехать в Питер и демонстрировать. Все представители районов, полков и заводов уже высказались за демонстрацию. Центральный совет фабзавкомов тоже к ней присоединился. Капиталисты наглеют. Казачий их съезд, созванный из той царской опричины, что порола рабочих нагайками, кричит о войне до победы, носит Керенского и Родзянку на руках, выбирает себе председателем черносотенного атамана Дутова и грозит расправиться с большевиками и советами по-своему. Как же мы можем сидеть?!.

Даже солдат Алексеев, огромный небритый детина в расхлястанной драной шинели и рыжих разболтанных сапогах, верный соратник Жендзяна, рявкнул басом за демонстрацию:

— На буржуазию так нажать надо, чтобы треснула стерва по швам!

Только высокий и смуглый, франтовато прилизанный и аккуратно одетый солдат Попеску, тоже левый эсер и член батальонного комитета кольтовских команд, высказался за Жендзяна.

— Не можем мы ехать на демонстрацию, если в самом левом лагере об этом единодушия нет. Левые эсеры воздерживаются, Луначарский тоже, говорят, против. А ведь он интернационалист!

Ряд команд отказался поехать. В других — настроение неустойчивое. И только за какой-нибудь десяток команд можно твердо ручаться, что выступят наверняка. В том числе и моя, семнадцатая. Я извинился перед своими ребятами, что буду редко их навещать, так как загружен по горло политическою работой. Все возложил на фельдфебеля, разрешив ему приходить ко мне на квартиру по срочным вопросам.

После этого мы у себя в Ораниенбаумском комитете кроили кусок кумачу на плакаты и, разостлав красные полотнища по скамьям, по столам и на полу, мазали по ним густыми клеевыми белилами наши мятежные лозунги. Мои синие брюки и коричневый френч испачканы краской. К утру надо почиститься. К утру надо быть по-боевому готовым. Что-то даст это утро?

Я сижу в сумрачной белесой прохладе. Ненарушимое безмолвие угнетает меня неизвестностью предстоящего дня. Призрачная серебристая пелена белой ночи все более и более прозрачневеет. На зелени предрассветного неба уже костлявее горбится крыша соседнего дома. Рассвет отчняется все настойчивей и яснее. Финский залив из мрачной дымки перекрашивается в цвет свинца. Рябина возле большого гранитного камня на берегу вырисовывается узорчатой и сочно-зеленой, и сам камень из черного сначала синеет, потом розовеет, все более сморщиваясь и отвердевая. В утренней свежести далеко где-то тают еще сонные солдатские голоса. У соседа во мгле огорода начинают светлеть голубою упругостью грядки еще хилой капусты. На лопухах у забора стали видны оловянные капли росы. На улице под чьими-то шагами хрустит гравий шоссе. Калитка ко мне в палисад осторожно скрипит. Оглядываюсь—передо мною фельдфебель.

— Думал, вы спите. Хотел разбудить. Так что не знаем, то ли нам ехать командой, то ли нет? Ночью получена из Ораниенбаума телефонограмма.

Жадно хватаю клочок бумаги. Еле разбираю заковыристую солдатскую карандашную писанину. Исполком Ораниенбаумского совета срочно сообщает, что распоряжением Съезда советов всякие демонстрации отменены. Солдаты должны оставаться в командах. Подписано: Филиппович.

— Угу, — бормочу я сначала что-то невнятное. — Оставайтеся дома и будьте готовы выступить по первому сигналу! — бросаю я ему, а сам, заскочив домой за фуражкой, стремительно несусь в Ораниенбаум.

«Вот так фунт! Что означает этот срыв демонстрации? Каково отношение к нему нашей партии? Вот досада, что нет под руками непосредственной связи с военкой. Придется дозваниваться в Кронштадт. К Филипповичу соваться нечего, ему на партию наплевать. К нам в комитет он и носа не кажет».

Солнце, лопнув сквозь тучи, брызжет лучами мне в спину и под ноги. Ивы лихорадочно шелестят бахромой своих узких листочков. Ветер бьется и прыгает между ветвей, как затравленный заяц.

В комитет к себе итти еще рано. Трактиришко заперт. Через заднюю дверь попасть можно, но что там делать, когда нет никого? Лечу прямо в канцелярию школы. К моему изумлению, Науменко уже на ногах, ретиво орет что-то по телефону.

— Вот видите, — говорит мне с добродушною укоризной, вешая трубку, — предупреждал вчера вас, что толку не будет из демонстрации вашей!

«Предупреждал»? — стараюсь я вспомнить. — Врет, ничего-то он вчера мне не говорил, а только прибежал, покрутил мимоходом своим розовым носиком, понюхал плакаты, постонал по-казначейски, что тратим так много материи, и тотчас же бесследно смылся».

— Соедините-ка меня с Кронштадтом, — прошу я его вместо ответа. — Надо знать, как относятся к этому наши партийные органы.

— А ночью была телефонограмма в наш комитет от военной организации из Петрограда. Демонстрация откладывается впредь до особого уведомления, — сощуривается Науменко.

— Где же эта телефонограмма?

— Я передал ее Филипповичу. Он же ведь член комитета. К вам в Мартышкино нести ее было б далеко.

— Почему не телефонировали ее для меня в мою команду? Ведь это же рядом!

— Не догадался. Потом, это было глухой ночью.

Я все же добиваюсь по телефону Кронштадта. Меня соединяют с его исполкомом. Отвечает Жемчужный. Все остальные пошли сейчас на митинг, который, наверное, скоро кончится.

— ... Демонстрация? Да, демонстрация отменена. Есть распоряжение ЦК.

Баста. Вешаю трубку. Мной овладевает тупая усталость. Лениво и сонно иду по улице. Какая-то странная мрачность вдруг лезет в глаза. Словно солнце свертывает свои лучи, ветер опять забивается спать под ивы, капустные гряды ныряют в лиловый

мрак, гранитные камни распускаются в темную мякоть, дальний залив покрывается мглой, и над миром вновь повисает трепетная серебристая сетка. Но к чорту подавленность! Надо взять себя крепко в руки.

Придя в комитет, где чинно стоят в уголке заготовленные накануне полотнища наших плакатов, спускаюсь по лестнице вниз и тороплю трактирщика открыть входную дверь. Вскоре ко мне поднимаются один за другим Горшков, Батманов, Племянников, Новиков, а также другие солдаты. Все слышали об отмене и интересуются о причине. Решаем послать Горшкова первым поездом срочно в военку за дополнительной информацией и газетами. На час дня к его возвращению назначаем заседание комитета. Все расходятся, а я остаюсь. Ведь я секретарь, должен быть на посту, и мне еще надо составить повестку. Солнце ярко светит в окошко. Лиловые стебли бальзаминов в горшках кажутся налитыми прозрачным сиропом, на зеленых листочках розовеют бантиками матовые цветы. Но голова моя тяжело опускается, опьянев от дум и бессонницы. Бессвязные мысли о ЦК, о Кронштадте, о ненужных плакатах, о носике нашего казначея Науменки, о бальзаминах начинают свой дурашливый путаный хоровод. Должно быть, я засыпаю. Затем кто-то усиленно трясет меня за плечо. Тревожно открываю глаза. Передо мною Кирилл и два незнакомых, хмурых матроса. Кирилл тотчас же опускается устало на табурет и снимает мятую кепку. Матросы осторожно садятся поодаль на лавку.

— Насилу тебя отыскал, — говорит Орлов, вытирая грязным платком пот с худенького своего лица. — Уф, ну и день! Чтобы чорт всех побрал! Вот была сейчас перепалка! Еле остался сегодня в живых.

— В живых? — переспрашиваю я, ничего еще не понимая.

— Не знаешь, что сейчас творилось в Кронштадте? — изнеможенно вздыхает Кирилл, опускаясь спиною к стене. — Мы сегодня с Флеровским всю ночь напролет готовили выступление кронштадтцев в Питер, подготовляли баржи и пароходы. Ведь агитаторы наши вот уже третьи сутки работают по полкам и фабрикам Питера по вызову нашей военки. Ладно, готовили. Вдруг по проводу из Питера от ЦК, часа этак в два: «Демонстрация отменена». Как тут быть? Сголашили-то мы весь Кронштадт. Ну, прямо хоть в землю проваливайся. А тут еще ночью какая-то сволочь расклеила по городу черносотенные прокламации, что будто бы я и Рошаль немецкие шпионы и нас надо немедленно арестовать и расстрелять. Ну, прокламации, где успели, содрали, а в части и на суда дали телефонограммы, что так-де и так: демонстрация отменяется. Только рано утром, глядим, на Якорной площади набирается народищу этак тысяч уже до сорока. Все в белых форменках. Лес красных знамен. Настойчиво, канальи, требуют отправки.

Матросы угрюмо сидят на лавке наискосок Кирилла и не сводят с меня недоверчивых глаз.

— Ну, конечно, я вылез, — конфузливо жмется Кирилл, не обращая на них внимания. — Вижу действительно народищу тьма. Зенки у всех злые-презлые. «Так и так, — говорю, — покажем, братишечки, дисциплинку, не дадим себя спровоцировать на неорганизованное выступление...» Куда там! Площадь ревет в бога и мать. Вылезает после меня Флеровский. Парень, знаешь, напористый. — Ни в какую! Грохот и свист, как от шторма в сто баллов! Ну, тогда кое-как начинает Ярчук. Мы уж думали, парень подгадит. Но — ничего. Через два слова в третье лепит: «я анархист» да «я анархист». Шум легонько стихает. Прислушиваются. И опять же он убеждает не выступать. Кончил. Говорок, конечно, гудет, но потише. Ну, думаем, успокоились. Вдруг выскакивает на трибуну какой-то матрос, хлястает себя, зверюга, по бескозырке. «Чего, — кричит, — вы их слушаете! Вас дурачат. Вожди продались контрреволюции и продали всех нас с вами. Сейчас, мол, приехавши сюда одна сестра милосердия и рассказывает, что в Питере уже льется рабочая кровушка, что на Марсовом поле братьев наших расстреливают, а в Ораниенбауме постреляли всех на заре. Здесь же вот нас силой задерживают определенные шпионы и провокаторы, каковых гадов требовается здесь же враз придушить!»

Матросы, уставившись на меня, стыдливо опускают глаза.

— Стоим это мы на трибуне, — щиплет куцую свою бороденку Кирилл, — я, Рошаль да Флеровский, и видим: десятки винтовок уже нацелены в нас. Ну, думаю, амба. Взлетаю, конечно, разом вперед на трибуну. Пропадать, так пропадать! Рубашку, значит, рывком на себе. И ору им, этим стрелкам, в их сумасшедшие зенки: «Мы вот умрем здесь сейчас от вас, сучьи лярвы, но ни один мускул у нас не дрогнет, потому что мы революционеры! Мы сделали все, чтобы только вас удержать от провокационного вызова со стороны Временного правительства. Мы все сделали, чтобы вас сохранить от ненужного и безвременного пролития крови. Никакой стрельбы в Питере нет. Агитаторы наши вернутся, так вам подтвердят. А нам смерть не страшна. Стреляйте, братишки! Но помните, что провокаторы здесь, среди вас... Куда сейчас подевался этот самый матрос, что вас всех взбудоражил? Кто он? С какого он корабля? Почему я ни разу до этого дня здесь не встречал его ряшки? А где эта сестра милосердия?!.» Переглядываются все и молчат. Ну, конечно, голубчики, скрылись. Я, разумеется, тотчас приказываю тут же арестовать всех провокаторов, которые только что в нас целились. Кто же, как не они, расклеивали ночью гнусную черносотенную брехню! Ну, тут по площади все задвигались, пошли аресты. Я разом предлагаю выделить делегацию для проверки

моих слов об отмене демонстрации и срочно направить в Питер и в Ораниенбаум. Выбирают: Флеровского с двумя матросами — в Питер, а меня вот с братишками — сюда. Субчиков тех, что заарестовали, мы тут же выяснили. Оказались какими-то чужими солдатами, переодетыми в матросскую робу. Мы их тут же утром и шпокнули. А потом вот прямо к тебе. Ну, как тут у вас, спокойно?

— Спокойно, — посмеиваюсь я благодушно, а сердце радостно скачет от сознания, что Кирилл, Рошаль и Флеровский спаслись от столь нелепого самосуда. — Демонстрация действительно отменена, — говорю я твердо. — Мы имеем телефонограмму от большевистского ЦК. Мы и сами готовились было выезжать, но после этого все отменили. У нас здесь спокойно, и из Питера ни о чем плохом тоже не слышали. В Питер послали за справками Горшкова. Он скоро вернется. Подождите, тогда все узнаем.

— Нет, куда уж нам ждать! — машет Орлов руками. — Нам Флеровский приедет, расскажет... Ну что, товарищи, убедились? — обращается он к своим молчаливым спутникам. — Теперь можно нам и во-свояси. У нас катер свой ожидает на пристани. Надо скорее обратно. Там ведь Рошаль один-разъединый остался...

— Не горюй, — говорит мне Орлов на прощанье, — держи связь с нами крепче. Еще будут дела впереди. Сейчас, брат, раскачивается вся Россия. Вон нам, балтийцам, всегда кололи глаза черноморским благонамеренным флотом. «Смотрите-де, какие они примерные, не чета вам, разнузданным горлопанам: начальство свое уважают, офицеров пальцем не трогают». А третьеводни, слышь, телеграмма в Питер из Севастополя: так и так-де, весь Черноморский флот взбунтовался против своего адмирала Колчака, офицеров своих обезоруживают. Словом, такая же заваруха, что и у нас, — если не чище. А ты говоришь: носы вешать!

Горшков приезжает в полдень с тюком наших газет. На передней полосе «Солдатской правды» вместо воззвания о демонстрации — зияющая белая пустота.

— Ну что там, — говорит он измученно, тяжело отдуваясь и колыхая рукою мокрую грудь потной солдатской рубашки, — демонстрацию действительно запретили. Рассказывают, что ночью на Съезде советов Гегечкори с Чхеидзе огласили наше воззвание и развели несусветную панику, будто-де завтра на улицах будет стрельба, потому что демонстрацией хотят воспользоваться контрреволюционеры. Кто-то пустил тут же слушок, что на демонстрантов нападут приехавшие с фронта казаки. Спросили Керенского: верно ль, что какие-то части идут на Петроград? Керенский отвечал, что на Петроград против рабочих никакие войска не идут и пойти не могут, потому что войска-де могут двигаться только на фронт! Словом, кто и как хочет напасть на демонстрацию, никто

толком ничего не сказал, но съезд они взяли на пушку. Перепуганные депутаты накинулись с руганью на большевиков. Всякие демонстрации запретили на три дня. Наш ЦК собрался срочно ночью и отменил вследствие этого выступление. Ночью вырезали из газет все воззвания. Сейчас там и ЦК, и ПК, и военка совещаются, а после разъедутся по полкам успокаивать. Съездовики тоже кинулись ночью по полкам и заводам. Дело, конечно, вполне ясное: соглашатели испугались народных масс, что пойдут под нашими лозунгами, и все наше дело сорвали, стараясь представить нас заговорщиками и пособниками черной сотни. Демагогия сейчас пущена против нас там во-всю. Нам надобно здорово быть здесь на-чеку.

Так вразумительно все разбирает простой веснущатый юный солдатик, бывший рабочий парень, еще безусый Горшков.

— Молодец, товарищ! — говорю я ему. — Сделаешь сейчас обо всем этом информацию в комитете.

Комитет собирается быстро. Приходят: и Батманов с Племянниковым, и Науменко вместе с Рубцовым, и Новиков. Нет Ильинского — он занят в Питере. И нет, как водится, Филипповича. Горшков предлагает Филипповича из состава комитета вывести, а Науменке напомнить, чтобы сдавал все партийные телефонограммы либо мне, либо Племянникову, как секретарям. Никто не возражает, только при голосовании вопроса о выводе Филипповича Науменко с Рубцовым воздерживаются.

— Переметные шкуры, — презрительно шепчет мне о них Горшков.

Затем он делает свою информацию. Но мало кто его слушает. Все успели узнать подробности из газет.

После этого Батманов ставит вопрос о работе лекционной комиссии. У него даже составлен план намеченных лекций, который мы утверждаем без особых прений.

Я поднимаю вопрос о пользовании страницами местной газетенки «Красное знамя». В ней напечатано несколько туманных статей с прозрачными намеками на какое-то темное прошлое у Рошаля, Раскольникова и меня. Я предлагаю этой клеветнической газетенке объявить в гарнизоне решительный и полный бойкот. Печатание в ней каких-либо наших воззваний, как это делали Племянников и Батманов, совершенно недопустимо.

Науменко густо краснеет и нервно теребит листок бумаги, на котором записывает протокол. Рубцов, злобно косясь на меня, заявляет, что бойкот неуместен, поскольку в газете активно сотрудничает сам Филиппович.

— Это только характеризует его, — бунчит в ответ Новиков.

Бойкот мы проводим большинством голосов.

Следующий вопрос о демонстрации. Она сорвана в Питере не по нашей вине. Но у нас-то она была уже полусорвана и до этого.

Был внутренний саботаж. Комитет наш не проявил нужной большевистской напористости и твердости линии. Нет надлежащего руководства нашими ячейками в командах. Я ставлю ребром вопрос о нашей внутренней дисциплине. Филипповича мы выкинули из комитета. Но мы выкинем вообще из организации всякого, кто проявит в этот момент хоть тень двурушничества или ослушания...

Науменко еще гуще краснеет, не поднимая глаз. Рубцов мрачно отходит к окну и начинает молча барабанить по стеклу пальцами.

— ... или лени, — добавляю я, взглянув на благодушно развалившегося Племянникова, который вмиг подтягивается.

В заключение постановляем: «Для укрепления наших сил повести в ближайшие дни агитационную и организационную работу среди новых довыборных депутатов совета, чтобы сколотить крепкий, дисциплинированный блок из большевиков, левых эсеров и меньшевиков-интернационалистов для борьбы с засильем в местном совете социал-соглашателей».

После этого мы расходимся. Я успеваю в киоске купить и пробежать мимоходом несколько сегодняшних привезенных газет, издаваемых социал-демократией. В «Рабочей газете» черным по белому ленинцы обзываются «раскольниками рабочего движения, провокаторами, пособниками охранки, изменниками и предателями революции».

Кто писал эту гнусную чушь? Либер? Дан? Церетели? Абрамович?

В газете «День» Потресов грозит, что Россия справится с Петроградом, если последний посмеет диктовать ей свою волю, вообразив себя революционным Парижем. А в общем «большевики — это коварные трусы, втайне оттачивающие нож, чтобы всадить его в спину демократии русской».

Когда я прихожу к себе домой и от усталости тотчас же засыпаю, несмотря на беганье и суетню моих ребят, мне и во сне все еще грезится этот большой и широкий изогнутый нож. Он оклеен золоченой бумагой, потому что внутри он картонный.

«А если он вдруг не картонный? — Дикая, трусливая, скользкая такая мыслишка начинает виться ужом в моей голове, лишь только я проснулся ранним утром. Что, если и в самом деле мы своей тактикой только губим общее дело революции? Может быть, мы чересчур горячимся? Ведь почему-то ЦК нашей партии согласился теперь с отменою ранее назначенной демонстрации! В чем тут дело? Но как разобраться во всем этом, сидя в Мартышкине или Ораниенбауме? Почему не съездить для этого в Питер? Момент ответственный».

Однако мне еще нужно все это утро провести в своей новой команде. Я знакомлюсь с солдатами, отвечаю на различные их

вопросы, помогаю писарю и фельдфебелю привести в порядок канцелярскую отчетность. Лишь после этого еду в Питер.

В трамвае я не обращаю внимания на женщин, простых женщин в дешевых платках, которые едут на митинг работниц в цирк Чинезелли. Какое мне дело, если они грозят там посчитаться с кем-то по-свойски за то, что с сегодняшнего дня выдача сахару уменьшена до полутора фунтов в месяц на душу в Питере и до пяти шестых фунта по остальной России? Подумаешь: нехватка сахара — в сравнении с другими бедами родины! И при сахаре-то не сладко.

Я направляюсь прямехонько на Съезд советов, чтобы здесь прощупать подлинные корни обострившихся распрей.

Видимо, только что кончилось дневное заседание съезда. Утомленные депутаты шумною вереницей спускаются в столовую. Всюду слышатся разговоры о сегодняшних прениях о войне.

— Вы подумайте, какая наглость! — возмущается один. — Приезжаю вчера на завод Парвиайнена выступать. Две тысячи рабочих. Обращаюсь по поводу демонстрации: «Товарищи!..» Нагло орут: «Мы вам не товарищи! Вы, дескать, гастролеры, налетчики» — и дальше самая отборная ругань. До чего развинтились! Говорю им: «Я приехал от съезда». Свистят, улюлюкают. «Вы, — кричат, — подкуплены помещиками и капиталистами!» Да что я деньги от них брал, что ли?! — с бешеным негодованием вскидывает плечами рассказчик. — Нет, друзья, здесь все в корне развращены большевизмом. Коалицию, кричат, долой! Министров-социалистов третируют, как изменников и негодяев. Ленинцы всех отравили преступной своей демагогией. Я не вижу буквально ни малейшего выхода из положения. Вчера мы демонстрацию отменили, но что их удержит завтра иль послезавтра?!

— Вы напрасно сгущаете краски, — раздается жеманный спокойный басок дородного штабс-капитана с расчесанною бородкой. — Не знаю, как у рабочих, а у солдат здесь в гарнизоне настроение к нам вполне благоприятное. Я, правда, не ездил вчера по полкам. Мне, офицеру, это, знаете ли, показалось как-то не очень удобным. Но вчерашнее совещание здешних полковых и батальонных командиров, на котором я присутствовал, меня вполне удовлетворило. Единогласно одобрили нашу политику и резко осудили всякие самочинные манифестации. А затем настроение самого Питерского совета...

— Ах, что там «настроение совета»! — кипятится низенький патлатый сутулый дядя с лицом, густо заросшим волосами. — Сегодня совет один, а завтра он может стать и другим. Они бешено всюду проводят кампанию за перевыборы! — шипит он, вытаращив глаза. — На «Вулкане» они уже перевыбрали. Прошло четыре большевика. На Лесснере — тоже. Даже надежный Обуховский завод высказался за контроль производства и власть советов.

А вон механический Шлиссельбургский, так тот просто-напросто взят самочинно в управление фабзавкомом. Хозяевам они, изволите ли видеть, выплачивают жалованье, словно служащим. А кто же будет кредитовать? Да ведь это же полнейший развал!

— Не отчаивайтесь, — не сдается басовитый штабс-капитан. — Питер еще не Россия и, во всяком случае, не фронт. Вы убедились сегодня, как мы, фронтовики, все как один, за исключением одного только Крыленки, с его липовыми демагогическими резолюциями, мы все выразили сегодня единогласную волю солдатских масс фронта. Мы — против братания, мы — за наступление, мы — за полное доверие коалиционному министерству! Ну, что сделает против нас, против всей армии, один Питер?!

— Это правда, — поддакивает ему другой собеседник в чесучовой вышитой косоворотке. — Какая-нибудь заплеванная наша Бугульма, ей-богу, вернее отражает настроение России, чем раззлосчастный этот Питер. И нам во всем надобно исходить из учета реального соотношения сил именно во всей необъятной российской провинции. Пускай нам кричат, что мы — мелкая буржуазия, что мы — представители лавочников. Да что ж, господа, эти десятки тысяч, эти миллионы несчастных провинциальных русских лавочников и ларечников, это что же, по-ихнему, этак — пуфф! фунт изюму? подсолнечная шелуха?! Нет, мы укажем Питеру его настоящее место.

— Голова здесь идет кругом, — разводит руками первый рассказчик, еще более ощетинясь рыжими щеточками усов. — Вот у себя в губернском городе я: и председатель совета и исполкома, и редактор местной газеты, и местный партийный лидер, и главный всему организатор, и единственный агитатор, и, вероятно, единственный кандидат в городские головы на предстоящих у нас выборах. Фактически я у себя и губернатор и начальник милиции, потому что без разрешения исполкома ни одно правительственное учреждение у нас и пикнуть не смеет. Казалось бы, что при такой суетне, кипя в этаком адском провинциальном котле, я имею все основания чувствовать себя перегруженным. Нет, клянусь вам, друзья, тысячу раз — нет и нет! Здесь сейчас в Петербурге я вспоминаю об оставленной мною работе, как о тихой нирване мирного, безмятежнейшего жития. В сравнении со здешним бедламом, в котором даже уснуть спокойно нельзя, с этим вечным дерганием нервов — моя провинциальная работа — рай. Я не знаю, господа, как там ваши, но мои нервы не выдерживают здешней температуры. Я сплю и вижу, я жду не дождусь, как бы скорее вернуться к родимым пенатам.

— Да, — шумно вздыхает весь хоровод его слушателей, погружаясь в задумчивое молчание.

— Не началось ли у нас заседание? — устало спрашивает один, хмуро взглянув на свои часы. — Говорили, что в пять. Даже пообедать из-за этого некогда.

«Какое у них сейчас заседание? Ведь сейчас же идет перерыв? Заседание, наверное, начнется по регламенту, как и в прошлый раз, не раньше восьми». Недоумевая, я бреду вслед за ними.

Встречные мне не интересны, но этот высокий мужчина с приветливым взглядом и бородкою клинышком невольно приковывает мое внимание. Где я его раньше встречал? Он тоже нерешительно смотрит на меня, но готов пройти мимо.

— Альберт? — шепчу робко. — Альберт Петрович? Пинкевич?

Он радушно улыбается. Да, это он. Но он пока не узнает меня. Тогда я называю себя.

— О, в этом революционном котле, — смеемся мы, — неизбежно сталкиваются и встречаются все те овощи, что когда-то вместе росли на одном огороде.

Я с восхищением смотрю на него. Вот он, старый, несокрушимый большевик, самый резкий и непримиримый ленинец в наших юных рядах, еще только что складывавшихся тогда, в девятьсот пятом году, в захолустьи одного приволжского города.

Крепко тискаю его руку.

— Где вы работаете?

— Секретарствую в «Новой жизни», — приветливо кивает он. — Там у нас прочная и деловая компания: Горький, Суханов, Луначарский, Базаров.

— Как?! — заплетается мой язык. — Вы, в-вы сссейчас не большевик?

Он отрицательно крутит головой.

— Нет, не большевик.

И это без вздоха, без сожаления. Как будто бы того, героического прошлого не было вовсе.

— Нельзя сейчас быть во всем согласным с большевиками, — говорит он тоном уверенного оправдания. — Взять, к примеру, хоть эту злополучную демонстрацию. Ну куда они лезли?!

«Они»? «Лезли»?.. — поражаюсь я про себя, и снова глухая тоска наполняет сердце. Разговор наш вянет сам собою. Пинкевич тактично откланивается и уходит своею дорогой.

«Что за дикое совпадение?! — терзаюсь я тайною думой. — Вот сейчас одного за другим я встречаю былых сотоварищей, старых подпольщиков-большевиков. Тех, которых я знал лично сам непосредственно по работе, которые были в известной степени моими не только соратниками, но и учителями. И что за диво! Все, как назло, порвали сейчас с большевизмом. Сережа Юрьев запутался в понимании «демократии». Другой, — Юрий Деннке, превратился в воинствующего меньшевика. Третий, Альберт Пин-

кевич, доволен кисло-сладким болотцем «Новой жизни». Нехватало б еще встретить в меньшевиках тихого Фортунатова или расчетливого «Купца» — Бакинского — или узнать, что и сам председатель нашего комитета, длиннущий, как жердь, Кока Дамперов, тоже покинул стан большевизма. Что ж это, участь интеллигентов? А может быть, все это действительно из-за пресловутого того ножа, который мы, сами того не сознавая, занесли кому-то здесь в спину? Я смотрю на эти широкие, узкие, худые и плотные спины, торопливо ныряющие в какую-то дверь. Возле двери тщательно проверяет у них билеты сам товарищ министра труда, Кузьма Антонович Гвоздев. Он — пылкий, воинствующий меньшевик, он, конечно, меня не пропустит.

— Вам нельзя туда, Родионов, — рубит он грубо и хрипло, встряхивая со лба нависшую копну черных волос. — Там сейчас совместное заседание Исполнительного комитета, президиума съезда и всех бюро съездовских фракций. Вам туда абсолютно нельзя.

Он глядит на меня зло и уничтожающе.

— Вы знаете, Кузьма Антоныч, — говорю я ему почтительно и учтиво, — что я свободно входил в февральские бурные дни на все заседания Исполнительного комитета, и вы не считали это тогда помехой. Очевидно, когда вам нужно было кого-то послать на опасное дело ликвидировать побег Николая Романова за границу, тогда Родионов был вам пригоден. Ну, а теперь что ж? — иронически передергиваю я плечами. — Теперь можно мне дать и пинка от дверей.

— Идите! — толкает он меня раздраженно прямо в дверь. — Идите, но только — цыц! Сидите молчком и сзади.

Я увидел огромную комнату, беспорядочно сдвинутые ряды стульев и около сотни красных, взволнованных депутатов. За столом перед аудиторией сидели: Гоц, Либер, Дан, Церетели, Чхеидзе. Наш тихий Каменев, наш скромный Каменев, стоял у стола понуро и скорее не говорил, а что-то сипло шептал депутатам. Отовсюду с мест, из рядов с треском отодвигаемых стульев к нему устремлялись назойливые, злые, враждебные лица, неслись возгласы и вопросы, полные ненависти, бешенства и огня.

— Ага, вы хотите уверить теперь, что сами вы были против демонстрации?!

— Зачем лгать так нагло в глаза?! А какие лозунги вы писали?!

— А кто пустил агитаторов по полкам и заводам?!

Каменев шумно вздыхает и вновь начинает лепетать какие-то опровержения...

— Хватит! — брякает костлявой рукою о стол, зловеще выпрямляясь, Церетели. Он берет себе слово вне очереди, и Каменев, покосившись на него, умолкает.

— Прэкратыте вапросы! — рубит слога Церетели весь побледнев и сверкая черносливами впалых глаз. — Дело сейчас не в мелких фактах. Резолюция Дана сейчас не нужна! — хрипло, отрывисто каркает он с резким гортанным акцентом. — Не этакие резолюции теперь нужны! — со зловещей брезгливостью отмахивается он рукою, кривя свой желтый горбатый увесистый нос. — То, что произошло, является ничем иным, как заговором! — кричит он, яростно поднимая кулак, и лиловая жила жгутом набухает на его плоском желтеющем лбу, — заговором для низвержения правительства и захвата власти большевиками, которые отлично знают, что иным путем эта власть им никогда не достанется. Заговор был обезврежен в тот момент, — спускается он до жуткого шопота, — когда мы его раскрыли. Но завтра он может повториться опять! — с криком бьет кулаком в стол Церетели. — Говорят, что контрреволюция подняла голову, — усмехается он, раздув ноздри. — Это неверно, контрреволюция не подняла голову, а головою поникла, — с явным сожалением произносит он, горестно ухмыльнувшись. — Контрреволюция может проникнуть к нам только через одну дверь: через большевиков! — с наглым выкриком властно тычет он рукою на Каменева. — То, что делают теперь большевики, это уже не идейная пропаганда, — шипит он ядовито. — Это — заговор! — выхрипывает он, что есть силы, и жила на его лбу багровеет. — Оружие критики сменяется критикой оружием, — с непередаваемым озлоблением сверкает он гневно углями глаз. — Пусть извинят нас большевики, — шепчет он, давясь от ненависти и злости, — теперь мы перейдем к другим мерам борьбы. У тех революционеров, которые не умеют держать в своих руках оружия, это оружие нужно отнять, — он впивается в большевиков мутным бешеным взглядом, и пальцы его крючатся в когтистой спазме. — Большевиков надо обезоружить. Нельзя оставлять в их руках те большие технические средства, которые они до сих пор имели. Нельзя оставлять в их руках пулеметов и орудий! Заговоров мы не допустим...

Я не слышу, что он еще говорит. Я только вижу впившийся прямо в меня этот зловещий, отточенный взгляд заклятого взбешенного врага. Врага, который в диком остервенении сумасбродно приписывает нам несуществующий заговор.

— Зачем он это делает?! — хриплю я, поднявшись, и цепко хватаюсь за стулья.

Я дрожу, и стулья дрожат, и, видимо, вся комната встает и бурно дрожит, потому что кругом шум и крики и многие с тревогою озираются на меня. Должно быть, и я что-то кричу, потому что мне говорят:

— Успокойтесь! Дайте ему, ради бога, воды! Сядьте!

Но как же сесть, если до этого такой тихий Каменев, взметнув теперь головой и раздувая бородку свою и усы, судорожно тянется через стол к Церетели и бьет себя кулаком в грудь.

— Гражданин министр! — вопит он чьим-то чужим, совсем не присущим ему резким голосом. — Если вы не бросаете своих слов на ветер, гражданин министр, вы не имеете права ограничиться речью! Арестуйте меня и судите за заговор против революции!..

Тот молчит. Он зловеще молчит, Церетели, не сводя с нас черных осатанелых от бешенства глаз.

— Да как же вы смеете в нас бросать?! — вновь дергаюсь я, и вновь идет дрожь по стульям.

Кто-то крепко и бережно уже держит меня под руки. Кто-то ведет меня к двери. Жесткий ненужный стакан колотится о мои зубы. Вода плещет мне в губы и в нос. Мы выходим. Кто-то сажает меня на подоконник.

— Успокойтесь!

Ах, чудаки. Да разве можно сейчас успокоиться?! После столь чудовищного оскорбления!.. Нас предлагают обезоружить?! Нас, которые жизнь готовы сейчас положить за нее, за революцию!

Я сижу и трясусь. Постепенно успокаиваюсь. Только там, за дверями, попрежнему шум и какие-то выкрики. То-и-дело туда и обратно уходят и входят. А теперь поспешно выходят оттуда Крыленко, Каменев, Зиновьев, Ногин, и кто-то еще, и кто-то еще. Все пять или шесть большевиков, которые там были.

«Их выгнали? — думаю я. — Или они сами ушли? Что там случилось? Что там такое теперь происходит?»

Я осторожно спускаюсь на пол, но ноги дрожат, и я еще долго стою, прислонясь к стене. Окончательно передохнув и оправясь, я смело отворяю туда дверь и вхожу.

Луначарский стоит, склонясь над столом и непримиримо уставясь на кургузого, маленького большеголового человечка, который на цыпочках прыгает перед столом и что-то кричит. Это член ЦК социал-демократов Либер. У него рачьи, вытаращенные глаза и огромная лысина среди жидких кудрей. Кругом стоит шум, скрип стульев, шарканье сапогами. А он подскакивает, как злобный гном, как въедливый молюск.

— ... самые решительные меры!.. Обуздать!.. — прорываются его пискливые резкие выкрики. — ... Искоренить!.. Наказать непокорных рабочих всеми средствами!..

— Мерзавец! — увесисто и смачно раздается по комнате, как оплеуха.

Все ахают и замирают. И даже Либер, выпучив один глаз, замирает, оставив распяленный рот и застыв на носке. Все глаза с ужасом и изумлением обращаются на худого сутулого низко-

лобого Мартова, трясущего узенькой бородою и сверкающего гневом очков.

Поднимается шум, галдеж, вопли, звонок председателя.

— Что же, стало быть, мы здесь — мерзавцы?!.

— Он крикнул «версалец»! Он крикнул только «версалец»! — успокаивает кто-то всех остальных, сам захлебываясь от надрыва.

Толпа с шумом валит в коридор.

— Ага, «версальцы»! — ну это еще ничего, — решают они все, облегченно вздыхая.

«Версальцы?! — молнией проносится в моем мозгу. — Вот они, живые озлобленные версальцы, готовые зонтиками и карандашами выколоть нам глаза. И как я мог еще колебаться?!.»

Когда я ночью возвращаюсь к себе в Мартышкино, в палисаднике на скамейке меня ожидает мой фельдфебель.

— Тут странная какая-то бумага к нам седни в команду пришла, товарищ поручик, — протягивает он мне какой-то листок. — И, главное, за казенной печатью.

Я прохожу к себе. Все домашние спят. Зажигаю лампу. Читаю.

«Резолюция общего собрания солдат и офицеров 2-го дивизиона 1-й запасной тяжелой артиллерийской бригады». Это совсем здесь неподалеку. Но в чем дело? «Приветствуем общеказачий круг в лице Всероссийского съезда доблестного казачества... заявляем со своей стороны о своей готовности с клятвенным обещанием, ввиду грозной опасности гражданской войны, к коей призывают безответственные и политические авантюристы в лице приверженцев ленинизма и большевизма, защищать до последней капли крови Великую Свободную Россию...»

Подписи: «капитан... секретарь... Верно: полковник такой-то».

— Можете итти спать, товарищ фельдфебель. Это никчемная бумажонка.

Теперь меня больше ничто не колеблет, ничто не смущает. Я вижу теперь этот кривой, настоящий, отточенный нож, нож, занесенный Версалем над нами. И я знаю, кто клевещет на нас. Это кадетская партия, партия Рябушинских, Коноваловых, Милюковых, партия промышленных воротил, пузатых магнатов, банковских скорпионов и сладкоголосых профессоров. С громаднейшим интересом я поглощаю теперь по утрам огромные простыни их воющих злобой газет. «Речь», «Воля России», «Биржевка» не сходят теперь у меня со стола. Но в этих брызжущих черной пеною злости клеветнических строчках не все высказывается начистую, не все откровенно обнажено. «Свобода, свободе, свободой», «народ, о народе, народу», — склоняется здесь на каждой строке. А где же сведения о прибылях? Где хищные планы удушения солдат и рабочих? Мучительно хочется взять все это на ощупь, заглянуть в глубину бездонных вражеских глаз, чтобы потом обо всем этом

поведать всем угнетенным трудящимся. Но как это сделать? Не идти же к кадетам шпионить? И тогда я вспоминаю о Ручкине, о слюнявом восторженном патриоте, с простодушною жадностью набивающем свой карман. Он ко мне расположен, он многое знает, он о многом может мне рассказать.

Алексей Финогеныч встречает меня очень радушно, он даже несколько удивлен, что я почтил его своим визитом. Судя по прошлой совместной работе в качестве агентов по распространению книг, он считает меня способнейшим коммерсантом, и вот, окончится только война, он и я, мы могли бы... Он сейчас благодушно все это бормочет, очевидно припоминая те жирные сверхпроценты, которые он наживал на моей студенческой беготне. Сейчас он никуда не спешит. У него в кабинете сидит клиент. Интереснейший тип, с неплохим состоянием, нажился на резине, деньги падают, хочет купить на островах особняк. Предлагала ему свой балерина Кшесинская, но он не хочет связываться с грязным путаным делом. Извольте кого-то там еще выселять! Он меня сейчас с ним познакомит! Полезнейший человек!

«Полезнейший человек», аккуратно одетый, с лицом белым, тугим и блестящим, как стеариновая свеча, сидит в кожаном кресле и, прищурив глаз от дымка папиросы, которую держит в углу крепкого рта, с улыбкой читает «Маленькую газету».

— Извиняюсь, — говорит угодливо Ручкин, вводя меня, — это мой старый товарищ по университету, ныне защитник родины, офицер-пулеметчик.

«Полезнейший человек» подает снисходительно руку, не расставаясь с веселой усмешкой, навеянной ему чтением газеты. Его рука суха и властолюбива.

— Заамме-ечательно орудует этот Суворин! — хлопает он по газетке, лоснясь от восторга. — Ну и придумал же, сукин сын: «независимый социалист»! Вот закручивает он им мозги! Вы послушайте: «Долой, — пишет, — мазуриков-капиталистов!»

— Как «мазуриков-капиталистов»?!—вертит Ручкин в руках незажженную папиросу, и весь табак из нее высыпается ему на колени.

— Ах, чудак! — благодушно смеется клиент, откидывая газету, и массивные камни перстней играют красными и синими искрами у него на руке. — Что же вы хотите, чтобы он писал «да здравствуют капиталисты»? Кто б его тогда стал читать?

— Но это все же рискованно, — крутит Ручкин недоверчиво головою.

— Ни малейшего риска! — уверенно улыбается «полезнейший человек», прижимая в пепельнице окурок, от которого льстиво струится последний дымок. — «Капиталистов долой», но как и когда — неизвестно. А вот Сашку Керенского долой — это сейчас и конкретно.

— Сашку Керенского? — озадаченно переспрашиваю я.

— Ну да, Керенского! — поднимает клиент на меня тонкие, косо поставленные хищные брови. — А вы разве его поклонник?

— Боже меня упаси! — отвечаю я вполне искренно.

— Ну да, Керенского и этого дурака, князя Львова, — нежно и успокоенно улыбается «полезнейший человек». — Молодец наш Суворин, в точку бьет. Вы послушайте только, как он пишет!

И клиент жадно схватывает газетку и с захлебом ее читает:

— «Арестованного дезертира Семашку полдюжины солдат-пулеметчиков самовольно освободили с гауптвахты и остались безнаказанными... У тебя украли армию, о, Россия! и теперь доканчивают ее... Для победы нужна железная рука, которая держала бы оружие государства, как грозный меч, а не как кухонную швабру. Пусть князь Львов уступит место председателя в кабинете министров адмиралу Колчаку. Это будет министерство победы... Мы диктатора не хотим, пусть это сделано будет народом и через народ! Пусть крестьяне и казаки приступят немедленно к решению этого дела. Пусть все, сердце которых жжет боль об армии, будут завтра на улицах! Если Петроград нас не поддержит, пусть едут в Москву. Москва их поддержит, а Петроград пусть провалится! Да здравствует социализм! Долой мазуриков-капиталистов!»

Ручкин мелко смеется и кашляет, отирая веселые слезы. «Полезнейший человек» тоже заливается смехом, обнажая малиновые десны.

— Подумаешь, нашли кандидата в диктаторы! — ворчу я иронически. — Какого-то вышибленного адмирала!

— И вовсе не вышибленный адмирал! — останавливает клиент жесткие серые свои глаза прямо на мне. — Керенский сам его сюда вызвал. А если б вы знали, как героически стойко он держал себя там, в Севастополе! Озверевшая толпа матросни взбежала к нему на капитанский мостик дредноута, требуя, чтоб он сдал им оружие, и намереваясь его убить. Как бы струсил другой на его месте! А Колчак гордо к ним обернулся, отцепил преспокойно золоченый свой кортик и произнес: «Не вы это оружие мне вручали. Его мне дал государь-император. Не вам его у меня отбирать!» И швырнул у всех на глазах, под исступленный вой, кортик в море. Вы только вникните: какая дьявольская сила воли! И после этого остался жив-невредим. Пальцем не тронули. А вы говорите, плох диктатор?!.

Прислуга вносит поднос с тремя стаканами кофе, белым хлебом и всякой снедью. Забыв про адмиральскую кандидатуру, «полезнейший человек», окончательно повеселев, намазывает себе бутерброд с икрою.

— Конечно, Москва крепкий город, — замечает клиент, — там промышленники под председательством Третьякова уже по-

становили закрыть с пятнадцатого на три месяца все фабрики и заводы. Якобы для заготовки сырья и топлива. За это время все кончится.

— Что кончится? — холодно и враждебно спрашиваю я.

— Ну, весь этот ералаш, — устало машет клиент рукой на окно. — К этому времени все утрясется и остепенится.

Полдневное солнце прорывает пыльным потоком грязные кружевные занавеси окна, барахтается в синих розах вытертого ковра, наполняет ручкинский кабинет теплыми пятнами и бликами.

— Три месяца — срок не малый, — говорю я. — У промышленности нашей едва ли хватит средств при существующем кризисе просуществовать четверть года без прибыли.

— Без прибыли?! — заливается клиент лукавым смешком. — А вы знаете ли, какие прибыли сейчас получают? О, вы просто наивны, господин офицер! Ведь теперь же война! Заработать сейчас менее ста годовых процентов всякий счел бы глупостью и растратой. Вот вам примеры: Кольчугинские меднопрокатные при капитале в десять миллионов рублей заработали в прошлом году тринадцать миллионов двести тринадцать тысяч рублей чистой прибыли. Бакинское нефтепромышленное общество при капитале в восемь миллионов заработало десять. Коноваловская мануфактура в Москве с капиталом в семь миллионов заработала столько же. Даже наш «Треугольник», который чертовски переплачивает на импортной резине, заработал на капитал в двадцать один миллион целых двенадцать чистеньких миллионов! А вы говорите — не выдержат!

Ручкин учтиво хихикает, пододвигая клиенту икру, и глаза его блекло-голубые смотрят на него с сочувствием.

Я гляжу на потолок, где черные мухи упрямо описывают восьмерки вокруг пыльной бронзовой люстры с бахромою засиженных стеклянных висюлек.

— Почему же тогда кругом публикуют усердные призывы о подписке на заем «Свободы»? — хмуро выдавливаю я вопрос. — Если денег кругом так много...

— Ну, какой же расчет коммерсанту давать деньги на этот заем? — обменивается клиент снисходительною улыбкой с Ручкиным. — Пускай на заем дают деньги наивные люди.

— И все-таки прибыль вам не поможет, — говорю я раздраженно, — рабочих вам не сломать.

— Не сломать?! — вспыхивает дотоле благодушный клиент, и стеариновое его лицо покрывается красными пятнами. — Да знаете ли вы, что питерские заводчики уже создали здесь боевой синдикат?! С круговою порукой, с железной дисциплиной, с гарантией в виде выдачи предварительных векселей на случай самочинного нарушения договора. Никаких больше уступок рабочим!

Через неделю-другую все заводы и фабрики Питера будут закрыты. И вот мы посмотрим тогда, — поднимает он из-под бугров лба холодные злые глаза, — вот мы посмотрим тогда, как будут пищать здесь ваши рабочие без работы и без хлеба!

Ручкин растерянно мне мигает испуганными голубыми глазами. Но зачем мне его щадить?

— Вы не задушите голодом революционных рабочих, — выпаливаю я спекулянту в упор, — они вас опередят и, установив власть советов, свергнут буржуазную кабалу.

— Вон вы что! — изумляется он до немоты. Его хищные брови ползут вверх вместе с белою кожей лба. Лицо сереет от злости, и закованные в перстни пальцы судорожно мнут недоеденный бутерброд. — Это еще мы посмотрим! — шипит он.

Ручкин глядит на меня, испуганно прикрыв рот рукой.

— Да, мы посмотрим, — встаю я, кидая усмешку в лицо «полезнейшему» клиенту. — Оружие-то в наших руках. Мы посмотрим, что вы будете делать там, завтра на улице!

— А-аа, — беззвучно давится он, щелкнув перстнями о стол и багровея.

Мне безразлично, как они потом будут объясняться. Я прямехонько еду в военку. Надо срочно предупредить здесь о завтрашних планах врага. Но на дворе у дома Кшесинской столпотворение. Сваливаются на грузовики папки бумаг, табуреты, пишущие машинки. Деловитый, живой Свердлов, в расстегнутой кожаной своей тужурке, распоряжается этой погрузкой. Оказывается, ЦК выезжает отсюда.

— Ну, а ПК как? — спрашиваю я у Бокия, хмуро наблюдающего за этим переселением. — Имейте в виду: Кшесинская пытается продать особняк в другие руки.

— Формально выезжаем и мы, — усмехается Бокий лукаво. — Но куда теперь выедешь? Помещения нет. Наш тютя, Федоров, все прозевал. Все равно здесь еще остаются солдатский клуб имени «Правды» при броневом отряде и наша военка. Так что временно, на правах бедных родственников, и мы возле них как-нибудь проживем.

В военке — один Черепанов. Пишет какие-то бумажонки и озабоченно покачивает головой. Остальные все заправилы в разлете. Поехали агитировать по полкам, оправдываться в отмене сорванной демонстрации. Полки — Пулеметный, Московский и Павловский — до сих пор рвут и мечут. Орут, что мы струсили перед прихлебателями буржуазии. В общем весь Питер кипит, как в котле. Местные полковые комитеты, еще нигде пока не перевыбранные, собираются сегодня к Керенскому на какое-то совещание. Ну и пусть он их там обрабатывает. Все равно мы их сменим. И рабочие, и солдаты рвутся на улицу, дай только знак.

— Но мы их удерживаем, — с железным упрямством говорит Черепанов, — и мы их сдержим.

— Сдерживать — преступление! — накидываюсь я на него. — Ты знаешь, что завтра вся черная сотня собирается выйти на улицу?! Ты читал сегодня суворинскую погромную газетенку?

— Не читал эту гнусь и читать не намерен, — отрезает он преспокойно. — И никто завтра не выйдет. Кому у них выходить! Где у них силы? Биржевики? Офицерье? Эти одни выходить не любители. А народа у них нет. Лавочники и казаки? Но их несколько сотен. Они знают, что против них — наших тысячи. Стало быть, они тоже не выйдут. Но им хочется во что бы то ни стало вызвать нас на стихийное выступление и воспользоваться этим для новых репрессий. Мы сейчас не пойдем! — твердо нажимает Черепанов на ручку, и осколки стального пера разлетаются по письму. — Мы сейчас не пойдем, как бы нас ни провоцировала черная сотня и безголовые анархисты, засевшие в особняке Дурново. А вот восемнадцатого мы пойдем! — сверкает он воинственно глазами. — Восемнадцатого Съезд советов призывает к торжественной мирной манифестации солдат и рабочих по всей России. Их хотят нашпиговать соглашательскими лозунгами воинствующих оборонцев. Мы посмотрим еще, под чьими лозунгами они пойдут! Вон наша «Солдатская правда» вся полна резолюциями полков против «Декларации прав солдата». Сейчас рабочие и солдаты приносят нам последние свои гроши, чтобы купить типографию для «Правды», иначе она может закрыться. Этого энтузиазма масс им не расколотить, — отчеканивает Черепанов. — А ты пугаешься, Родионов, — усмехается он, — какой-то там черной сотни!

— Ничего-то я не пугаюсь. Программа у нас тоже тверда и ясна. Поскорее укрепить настоящую, советскую власть в Ораниенбауме, а восемнадцатого вывести в Питер весь наш гарнизон. Посмотрим, как они теперь сорвут демонстрацию!

Я остаюсь на вечернее заседание ПК. Сюда собирается весь штаб большевизма: почти весь ЦК, представители всех районов, весь президиум нашей военки, секретари заводских ячеек, делегаты от полков. В просторной комнате становится тесно, накурено, душно.

— Гляди, — говорит мне Ильинский, показывая «Новую жизнь», — сегодня милюковская «Речь» хвалится, что Николай Романов тоже подписался на заем «Свободы», а вот глупая эта газета печатает воззвание об этом займе во всю полосу.

«Опять засыпался чудак Пинкевич», — с горечью думаю я.

Когда появляется какой-то худенький юноша с быстрыми, живыми глазами, все его шумно приветствуют и жмут руки. Оказывается, это только что выпущенный из тюрьмы Харитонов.

Затем открываются бурные прения, как держать себя по отношению к новоиспеченному анархистами «революционному комитету» в особняке Дурново. Дело в том, что многие полки и заводы, недовольные нашей выдержкой, послали туда своих представителей, и есть опасность провокации преждевременного выступления, намеченного анархистами на завтра с целью захвата типографий и дворцов.

Залуцкий и Томский предлагают игнорировать анархистов, чтобы резче от них отмежеваться. Однако Сталин советует срочно послать туда делегацию с целью сорвать готовящуюся против нас западню и открыть там делегатам полков и заводов глаза на опаснейшую демагогию анархистов. Делегацию посылают, выбрав туда двоих: один из них — белокурый прапорщик Сахаров из военки.

После этого Зиновьев делает информационный доклад от ЦК. «Да, прогулки по полкам и заводам слегка отрезвили съездовиков. Церетелевские угрозы признаны речью русского Галлифе. Решили, что большевики — люди дрянь, но расстреливать их не дело съезда. Сорванная демонстрация ударила по коалиции. Назначение манифестации на восемнадцатое число — уступка нам. Скобелев на закрытом заседании рассказывал ужасающие вещи. Страна накануне банкротства и аннулирования долгов. Наша задача задавить буржуазию, нажимая на мелкобуржуазный Съезд советов. Он отчетливо проявил свою сущность. В истории с демонстрацией вчера он качнулся к бирже, сегодня — после полков и заводов — метнулся к пролетариату. Еще удар, и с проклятием, но он придет к нам. До перехода власти в пролетарские руки еще далеко, но переход власти даже к этим советам — вполне назрел. Мы должны восемнадцатого вывести массы под этими лозунгами и заявить резкий протест против попыток обезоружить солдат и рабочих».

Его слушают с неослабным вниманием. Глаза всех сверкают боевою готовностью претворить эту речь в живое героическое дело. Кто ж эти слушатели? Да большею частью рабочие. Но такие рабочие, которые сумели объединить вокруг себя десятки и сотни других своих сотоварищей у себя на заводах и в мастерских. Это не рядовые большевики, это рабочие вожди, это предводители большевистских заводских ячеек. Там, по заводам, за ними — за их спиною — стоят колоссальные кадры остальных членов партии, из которых каждый в свою очередь является и агитатором, и защитником, и вождем уже для остальных несметных рабочих масс, масс инопартийных и беспартийных, масс, еще недостаточно разобравшихся в сложной механике жестокой классовой борьбы. И этот горячий актив Питерского большевистского комитета, так жадно воспринимающий каждое слово одного из представителей своего ЦК, является вместе со своим ЦК боевым

мозгом всего рабочего класса, мозгом, движущим весь огромный классовый организм к великим боям и славным победам.

Кто-то догадался открыть окно. Со двора потянуло прохладой белой, северной ночи. Дрогнули и закрутились под люстрою космы табачного дыма. Потные, разгоряченные люди расстегнули вороты своих рубах. Разминая затекшие мускулы, откашливаясь и сморкаясь, приступаем к выработке резолюции:

«Да, контрреволюция перешла в наступление, готовя разгром революционных сил Петрограда. Главные ее удары нацелены на пролетариат, на его авангард — на большевистскую партию».

«Съезд советов, во главе с министрами и Исполкомом, признав наличие контрреволюционных организаций, способствует им, ведя против нас дикую травлю».

«Организация активного отпора надвигающейся контрреволюции требует спокойного, вдумчивого учета всех обстоятельств и наибольшей сплоченности всех наших сил. Все должно быть организовано и готово к решительному выступлению против реакции».

«Всякие разрозненные действия отдельных частей солдат и рабочих наносят глубочайший вред революции, почему без призыва ЦК, ПК и военки — какие бы то ни было выступления безусловно недопустимы. О каждом шаге контрреволюции сообщать срочно в ПК!»

Резолюцию голосуют. Руки дружно поднимаются кверху. Я вижу сырые от пота рукава черных и синих рубах, залатанные локти засаленных пиджаков и курток, которые, ниспадая, обнажают волосатые кисти узловатых, жилистых рук. В этих непреклонных и стойких, нахмуренных заботой глазах столько выдержки и стального упорства, столько готовности на борьбу и лишения, столько веры в свою победу, в освобождение всего угнетенного рабочего мира, что огонь этих пламенных чувств заряжает меня кипучею жаждой самоотверженно драться в этих честных рядах до последнего своего вздоха, до последней своей кровинки, до остатнего своего человеческого конца.

Демонстрацию нам сорвали. Нас подуськивают и вызывают. Но железною нашей стопою мы наступим вампирам на горло. Выдержку, братишечки! Погодите! Мы еще услышим их предсмертный хруст...

23. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СМОТР

В той же мрачной бревенчатой школе «Трудолюбие» собралась ближайшим вечером вся наша большевистская ораниенбаумская семья. Залив сверкал, как сине-стальной ствол винтовки. Далекий Кронштадт догорал в последних лучах солнца, становясь из розового лилово-коричневым. Ветви береговых ив вырисовы-

вались черными гирляндами на багрянце неба. Стрижи с визгом дописывали в воздухе свои лихие восьмерки. Из далекого сада с горы доносились песни солдат и рулады гармоньки. А на отлогий болотистый берег, в приземистое здание школы торопливо стекались вереницы ораниенбаумских большевиков. Так набралось сюда человек до трехсот, и воинственная гордость расцвела у всех на лицах. Значит, время не тратилось зря, и ячейки наши росли и крепли по всем пулеметным командам.

Комитетчики наши тоже собрались в полном составе. Разумеется, не было Филипповича, но уже для всей организации была ясна его органическая к нам неприязнь, и появление его здесь вызвало бы разве только всеобщую тревожную настороженность. Сегодня не место таким настроениям. На повестке три важных вопроса: предстоящая демонстрация восемнадцатого июня, затем организация большевистской фракции в местном совете и, наконец, выборы делегатов на открывающуюся завтра в Питере Всероссийскую конференцию большевистских военных организаций. И все три вопроса неизменно вертятся вокруг главного и основного, вокруг вопроса борьбы за власть.

Задумчиво я гляжу на этих усатых и безусых, спокойно уверенных и любопытствующих, сосредоточенных и внимательных солдат-пулеметчиков, с шумом и треском залезающих за детские парты. Обдумывая свою предстоящую речь, я вижу за этой чащобой человеческих лиц, потонувших в сизом табачном дыму, силуэты тех основных классовых сил, в борьбе которых должен в ближайшие дни разрешиться основной наболевший вопрос.

И вместе с тем я вспоминаю локаутчика-углепромышленника в покачивающемся вагонном купе, задорно поднявшего стакан горячего пунша за сдачу немцам мятежного Питера. Утробно ему подхихикивает резиновый спекулянт, клиент Ручкина, вздыбивший острые брови на стеариновом своем лице, жадно смакуя военные прибыли и мечтая о диктатуре Колчака. А багровая жила, гневно надувшаяся на желтом, мертвенном лбу Церетели, и этот когтистый жест его меньшевистской руки, протянутой к большевистскому горлу, — разве все это не явления одного и того же порядка?! И что противостоит всем этим силам? Смелый, уверенный поворот головы того сутулого усатого путиловского рабочего, который на заводском митинге вдребезги разнес елейную болтовню Скобелева. А упрямый, настойчивый взгляд исподлобья того донбасского ходока, что предлагал Бокию немедленно забирать угольные шахты в рабочие руки! Да, это стержень. Это рабочий стержень из заводской стали, закаленный в большевистской печи. Я вспоминаю минувшее собрание ПК и дружный взмах узловатых, жилистых рук, голосующих за спокойный и решительный отпор наступающим на нас врагам. Да, это стержень! А мы?

Внимательно и любовно оглядываю я плотно усевшиеся ряды наших товарищей солдат, собравшихся здесь ради объединяющей всех нас революционной идеи. Пусть всем нам здесь еще свойственны заблуждения, сомнения, колебания. Зато твердо все мы знаем одно: да, мы не хотим излишне заострять предстоящее столкновение, почти все мы надеемся на мирное завоевание власти нашими советами, как о том разъяснял на Съезде советов Владимир Ильич. Но уж если враги перейдут против нас в подготовленное ими наступление, то и наша рука не сорвется и не дрогнет, нацеливая прямо в сердце им наш ораниенбаумский пулемет.

Открывая собрание вступительной речью, я чувствую, как уверенно, легко, свободно льются мои слова. Ведь здесь передо мною простые сердца, бьющиеся нуждами нищей деревни. Столько горечи в них накопилось, что многое понятно им с полуслова.

Разве нужно им объяснять, почему князь Львов никогда не будет согласен отдать им помещичьи земли?

Разве им не понятно, ради чего генералы стремятся толкнуть армию в наступление, пытаясь и нас всех отправить отсюда на фронт?

Разве не ясно, что затевает под командой Родзянки царская Дума?

И разве есть иной путь для спасения всех народов нашей страны, помимо упорнейшей борьбы за переход власти в руки рабоче-крестьянских советов?

Все это понятно и ясно. Все это накипело у всех в сердцах. Звонкие и хриплые солдатские глотки с надсадным упорством долбят про одно и то же.

На демонстрацию восемнадцатого июня в Питер поедут все команды. Наша организация обязуется всех сагитировать. На конференцию нашей военки выбираем трех делегатов: Горшкова, Новикова и меня. Большевистскую фракцию в местном совете немедленно же создаем вокруг нашего ядра из вновь выбранных депутатов. В ближайшие дни наладим контакт с Бровкиным и Жендзяном, чтобы создать единый фронт интернационалистов против засилия шовинистически настроенных социал-соглашателей. Наша задача — выбросить из исполкома всех этих прохвостов. Мы предлагаем поэтому всем депутатам совета остаться сейчас же после собрания для оформления фракции.

Кто-то тревожно спрашивает, как быть с украинцами. Вернулся на-днях из отпуска с юга прапорщик Алексеенко. Теперь он, собрав вокруг себя других офицеров-украинцев, агитирует по всем здешним командам за выделение пулеметчиков-украинцев в особые национальные команды и за отправку их в Киев в распоряжение украинской рады. Кое-кто из солдат, боясь отправки на фронт, спешат записаться теперь в украинцы. Как тут быть? Как нам, большевикам, держаться в этом вопросе?

По правде говоря, никто из нас не может членораздельно что-либо тут посоветовать. Решаем: подробнее выяснить к следующему нашему собранию политические цели этих формирований и в зависимости от этого решать основной вопрос.

— По-моему, и расследовать-то тут нечего, — ворчит кто-то, когда собрание уже расходится. — Надрать бы хохлам чубы, так разом забыли б про Киев.

— Дурный, дурный! — укоризненно стыдят его сотоварищи украинцы. — Таж родина, для якого схочешь, она ж така сама, як ридна ненька!..

— «Рыдна ненька», — передразнивает его другой. — Как будут заправлять ею всякие ваши Терещенки, она злющей мачехой так и останется, а не ненькой.

— От для того, щоб Терещенки нас не мордували, и треба нам, украинцам, объеднаться тай и дать усим панам по потылице...

Большевистских депутатов нашего совета мы насчитали теперь два десятка. Часть из них работала в совете еще с весны, например Рубцов и Науменко, остальные были проведены на последних довыборах. Согласованно намечаем нашу будущую тактику: сколотить вокруг нашей фракции более широкий блок интернационалистов, добиваясь создания в совете численного превосходства над социал-соглашателями; аннулировать права членов совета и исполкома, кооптированных при содействии соглашательской верхушки; переизбрать исполком из своих людей; решительно сопротивляться попыткам отправить нас на фронт. Переговоры с Жендзяном и Бровкиным поручаются мне. На этом мы и расходимся, обязав комитет наш совместно с активистами обеспечить стопроцентное участие ораниенбаумцев в питерской демонстрации. Наши депутаты, солдаты Молоканов, Гаврилов, Белов и прапорщик Батманов, рьяно берутся за это дело.

Наутро я, Новиков и Горшков едем в Питер на открытие Всероссийской конференции наших военных организаций. У Апраксина рынка на Садовой огромнейшая толпа мешает движению трамвая. Громят продовольственные склады местных торговцев. Слышны крики, грохот и треск выволакиваемых на мостовую и разбиваемых ящиков. Из подвала вышвыриваются наверх тяжелые мешки с сахаром. Женщины, ремесленники и солдаты жадно набрасываются на них и разрывают, пригоршнями запихивая сахар в карманы, в фуражки и просто за ворота рубах. Какой-то унылый военный чиновник в полинялой шинели и позеленевших от плесени погонах пробует усовестить толпу.

— Чего ж нам глядеть? — злобно огрызается на него дебелая молодуха, шагая в грязных ботинках прямо по кучам белоснежного кускового сахара, рассыпанным по мостовой. — Милые мои! — голосит она на всю улицу среди всеобщего гама и ругани. — Про-

давать они не продают. Обманывают, что, дескать, нет. А сами же им спекулянтят.

Унылый чиновник кончает тем, что сам начинает стыдливо набивать сахаром свой портфель.

Уличные митинги бурлят повсеместно. Возле Троицкого моста, неподалеку от особняка Кшесинской, встав на тумбу, говорит чистенько одетый солдатик с упругим брюшком, хитроумно прикинувшийся простачком.

— Что земля, — тянет он, поблескивая сизым глянцем пробритого подбородка. — Надо спервоначалу заставить супостата на мир пойти, а уж потом и землю делить. Земля, она матушка, небось, круглая, вокруг себя спокон веков крутится, никуды от нас не убежит, а совет и Временное правительство и в жисть никому без нас земли не отдадут.

— «Не отдадут!» — язвительно перебивает его наш Горшков.— Пока ваш Чернов по губам нас землею мажет, помещики ее всю начисто кулачью да иностранцам распродадут.

Окружающая толпа солдат сочувственно крякает. На чистенького агитатора поглядывают уже искоса.

— А вы не слушайте крикунов! — с деланным возмущением вскидывается на Горшкова лукавый оратор. — Это крикуны только повыдумали, что землю всю распродадут, да и натравливают народ, чтоб самочинно ее забирал. Уж очень смуты им хочется! — ухмыляется он злобной издевкой. — А как же можно сейчас без солдат землю делить?! Солдат на фронте свободу защищает, ему, стало быть, и надел первый будет. Так и совет и Временное правительство порешили.

— Где ж и когда это все так порешило Временное твое правительство? Чего ты народ здесь морочишь?! — кричим мы оратору под сочувственный галдеж остальной толпы.

— Нет, вы посмотрите, как крикуны на Временное революционное наше правительство нападают! — нагло изворачивается демагог. — По-ихнему, оно, вишь, неправильно дела народные решает! А вот съехались сейчас народные депутаты советов со всей России, все дела обсудили и постановление такое вынесли, что, дескать, правильно наше правительство все дела решает и крепко за свободу стоит. Поэтому депутаты со всей России и резолюцию такую на съезде своем приняли, — козырем вертится нахал во все стороны, сверкая начищенными, как стекло, хромовыми сапогами, — чтобы все энергично поддерживали Временное правительство и всем распоряжениям его свято подчинялись. А раз за Временное правительство весь народ горою стоит, — выпучивает оратор для убедительности воровские свои глаза, — то, где весь народ, там, братцы, и правда!

— «Правда», «Правда»! — не выдерживает наконец один из окружающих его солдат. — Наладил свое, словно дятел: «народ»

да «народ», — передразнивает он оратора. — Где земля-от? И насчет замирения — опять же ни хрена! А в наступление гоните?! — начинает он наседать на демагога.

— Тише, тише! — спесиво осаживает его ладонью вертлявый проходимец, кичливо вздыбливая брови. — Горлопанов да ругателей против Временного правительства много теперь развелось! — лихо повертывается он в другую сторону, рассчитывая там вернуть утраченное сочувствие все более и более возрастающей вокруг нас толпы. — Да всем горлопанам цена — ломаный грош в базарный день. Видно, народная власть не по вкусу им, братцы, пришлась! — скоморошествует он, вызывая легкомысленные усмешечки у подошедших зевак. — Только крикунов-горлопанов слушать мы не горазды: кто много кричит, тот мало дела делает. При царе, вишь, молчали, а теперь вдруг закричали: знать, к старому клонят, хоть и орут-то по-новому. Недаром их Ленин за германского кайзера горою стоит!

— Мы вот сейчас те покажем, кто за кого здесь стоит! — кидаемся мы на наглеца, но он одним махом слетает с тумбы и бесследно ныряет в толпу под незлобивый смех большинства.

— Не из простых, — размышляет вслух Новиков, когда мы подходим к дому нашей военки. — Рожа бритая, пальчики тоненькие, сроду, подлец, винтовки в руках не держал!

Конференция большевистских военных организаций открылась в особняке Кшесинской, в том большом розовато-белом мраморном зале, где еще так недавно императорская содержанка устраивала пышные интимные рауты для своих голубокровых любовников. Внешней пышностью наша конференция не отличалась. Плотные ряды разнокалиберных стульев, снесенных сюда со всех комнат, длинный стол президиума, покрытый зеленым бархатом содранной портьеры, наши простые красные знамена в углу — все это было более чем скромно. Собрались на боевой слет со всех концов фронта и тыла представители той части замордованной генералами «солдатни», которая твердо для себя осознала неотвратимую необходимость с оружием в руках самоотверженно биться за право всех трудящихся всего мира быть самостоятельными хозяевами своей жизни.

Наши питерские верховоды военки, основные ее столпы: суматошливый Подвойский, лучезарный Невский, молчаливый Сергей Сулимов, и солдаты: крепкий улыбчивый Черепанов, гривастый и очкастый Беляков, застенчивый Тобнас, пытливый Мехоношин — все они потонули сейчас в говорливых кружках делегатов. Даже те из нас, что волею судьбы должны были носить золоченые офицерские погоны: кряжистый поручик Дашкевич, степенно крякающий в свою черную кудлатую бородку, зажатую в крепкий кулак, и наши прапорщики: кучерявый задумчивый Сахаров, два длинных Аякса — Куделько и Коцюбинский, черноглазый тер-Арутюнянц,

розовощекий Дзенис, стыдливо мигающий глазами Ильин-Женевский, широкоплечий Занько, настороженный Вишневецкий, сосредоточенный Рудник — всех их поглотила шумная, многоголосая приезжая солдатская масса. Нас, питерцев, было на конференции человек пятьдесят, приезжих же было более сотни и среди них изрядное количество фронтовиков. Руководил ими прапорщик Крыленко. Одетый в полинялую кожаную тужурку, он так бойко повертывал свою круглую, гладко остриженную, уже седеющую голову и так напористо звенел на весь зал своим металлическим голосом, что окружающая его группа слушателей непрерывно увеличивалась. Спор шел вокруг вопроса о сепаратном мире. Худой невысокий костлявый солдат Первого пулеметного полка Жилин отстаивал возможность его заключения.

— Почему бы нам и в самом деле с немцами самим по себе не замириться?! — восклицал он. — В «Правде» вон пишут, что в Берлине будто бы решили совсем против нас не наступать. Опять же австрийцы официально нам мир предлагают. Могут и союзники с нами заодно с ими мир заключать. И ежели мы хотим против своих буржуев воевать, почему б нам на фронтах и не замириться?!.

Мысль о возможности сепаратного мира наполняет не одного меня трепетом обывательского ужаса. С негодованием гляжу я на Жилина.

— Чепуха! — отрывисто звякает голос Крыленки. — Разве сепаратный мир выход? Войну можно кончить только революцией и у немцев и у союзников. Наше братание зажжет всемирный пожар. О, только б власть перешла поскорее к советам!

— Вы скажите-ка лучше, товарищи, чего ж вы тут в Питере с правительством все еще возитесь?! — загорается вдруг один из приезжих солдат. — Ведь у нас, на фронтах, давно другая война началась. В прифронтовой полосе мужики все поголовно отказываются убирать хлеб у помещиков. Генералы наши, конечно, всегда непрочь подзаработать себе в карман, и посылают они наши полки из резерва на уборку сена или хлебов в господские экономии. Только солдаты живо столковываются там с тамошними батраками, и тогда, ну ничегошеньки иной раз от экономии не остается,— словно немец прошел: и скот делим, и экипажи, и хлеб, и утварь там разную...

— Не знаю, как это там у вас, — сокрушенно крутит головою другой солдат, — а у нас вон в Казани приказано было начальством обоим нашим полкам на позиции отправляться, ну и что ж тут поделаешь, куда пойдешь, кому скажешь?.. Поехали...

— Ну и дурачье! — насмешливо разводит руками Жилин. — Вот смотри-ка ты, к примеру, как у нас в Первом пулеметном...

— Да что ты всех тычешь своим Пулеметным? — шутливо обрывает его один из солдат. — Провинция наша, она тебе, брат, не Питер! Все дело теперь у вас за властью. Вот выберем здесь нашинский боевой комитет, заберем через него всю власть, а тогда и...

— Какой — комитет?! Какую — власть?! — с раздражением обрушивается на спорщиков невзрачный солдат, тощий, небритый, в какой-то, на удивление, обдрипанной старой шинеленке. — Какой еще такой «нашинский боевой комитет»?! Разве у нас нет руководящего всей нашей партией Центрального комитета?! И разве не советы должны брать власть?! Для чего ж мы тогда и добиваемся в них своего большинства?!

— Ну, да ладно тебе, Каганович! — укоризненно замахал на него один из наших питерских ребят. — Чего ты так обрушился на случайное это словцо?

«Далеко не случайное, — подумал я, зная наши питерские солдатские настроения. Хотя, конечно, при всей своей правоте Каганович далеко еще не указ нам. Что-то скажет еще сама конференция?»

Звякнул звонок, и широкоплечий приземистый улыбчивый Невский, попросив всех занять места, открыл конференцию приветственным словом от имени президиума нашей военки. Как только он кончил, зал взорвался от буйного грохота двух соединенных военных оркестров — Московского полка и кронштадтских матросов, — пышное выступление которых было еще настолько в диковину для наших партийных собраний, что все сидели, разинув рот от восхищения. Величественная мелодия, которая гремела по залу, повидимому так подействовала на сидящих в первых рядах, что они поднялись.

— Встаньте! — крикнул неожиданно и нам Подвойский. — Ведь это же гимн мирового пролетариата — «Интернационал»!

Торжественно поднявшись, мы, казалось, с жадностью впитывали в себя каждый аккорд этого гимна. «При чем тут Казань, при чем тут Питер? — думалось нам. — Весь мир воспрянет под призывными трубами этого международного революционного гимна!» Слов «Интернационала» тогда мы еще не знали, но мелодия окрылила нас и бодрила сильнее всяких слов.

Оркестры сверкнули серебром своих труб, и звуки с дребезгом смолкли. Для нового приветствия взял себе слово представитель ПК. Это был худощавый глазастый юноша с большим кадыком на длинной шее. Одет он был в настолько куцый поношенный серый костюмчик, что тощие руки его торчали из рукавов почти по локоть. Некоторые звуки он произносил с легким и своеобразным иностранным акцентом, что, однако, ничуть не снижало пламенной убедительности его уверенной речи. Он привел выражение Лассаля о том,

что образование даже самого крохотного союза рабочих для человечества неизмеримо значимей любой из величайших исторических битв. Это было сказано крепко, и весь зал восторженно следил за этим юношей, всем своим обликом напоминавшим Лассаля.

— И конференция ваша, — порывисто взмахнул кулаком оратор, — будет иметь значение куда во много раз большее, чем бой под Верденом или битва на Марне!.. Когда по окончании работ вы разъедетесь, — заключил он свою речь, зардевшись румянцем,— вы расскажете там, на местах, что близок час социалистической революции!

— Крепко, брат, Володарский-то наш говорит,—указал мне на него восторженно наш Черепанов. — Даром, что такой молодой!

— Ну, насчет Марны, это он, поди, слишком, — сказал я тогда с нарочитою степенностью. — А вот насчет социалистической революции... — и я задумался. «Социализм или не социализм то свержение буржуазной власти, к которому мы стремимся? Как будем налаживать мы наше хозяйство при рабоче-крестьянских советах? Неужели на правах частной собственности? На буржуазный манер! Да, ликвидация помещичьего землевладения в интересах крестьянства, а также установление восьмичасового рабочего дня, конечно, еще далеко не социализм. Но разве можно сейчас осуществить эти неотложнейшие задачи, не шагая решительно дальше и не свергая господства буржуазии? Разве перед нами не единый фронт Шульгина—Милюкова—Чернова?!. Хотя Чернов, быть может, от них еще и отойдет... Итак, все же — к социализму? В обнищавшей земледельческой стране!.. Но разве мы одиноки? Разве «Правда» не печатает о начавшихся революционных волнениях в Германии?»

В столь воинственно приподнятом настроении мы и выбрали президиум. Сюда вошли: Ленин от ЦК партии, хотя Ленина в этот день на открытии не было, Володарский, выступавший сейчас от ПК, и столпы нашей военки: Невский, Подвойский, Беляков, Черепанов и многие другие с мест и от фронта и, конечно, Крыленко, который успел завоевать всеобщие симпатии конференции.

Остальной вечер был посвящен делегатским докладам с мест. Это были пламенные речи простецких людей, кровно болевших за все неполадки в развертывании классовой борьбы внутри нашей армии. Мы поняли из этих речей, что наша нетерпеливость передается другим, она все шире и все глубже захватывает и провинцию и фронт. На фронте положение, конечно, более серьезно. Генералы уже открыто готовят наступление. Всех, кто осмеливается протестовать, разоружают, раздевают и гонят в рубищах в тюрьмы. Солдатские комитеты всех рангов заполнены офицерьем, эсерами и меньшевиками и не перевыбирались еще с марта. Если бы не их

угодливая поддержка начальства, да если б не боязнь за прорыв фронта, солдаты давно бы переарестовали всех своих генералов. Волнуют фронтовиков не только эти угрозы о готовящемся наступлении, но и злые слухи об усиленном спешном формировании ударных батальонов, которое поручается генералами только самым надежным и проверенным офицерам. Какой-то ретивый штабс-капитан Муравьев, приехавший в ставку с письмом от самого Керенского для формирования ударных частей, тем не менее получил от генералов самый решительный отказ. Даже Керенский уже не авторитет для этих, затевающих что-то зловещее, монархистов. Гроза надвигается, над фронтом блещут зарницы.

Впрочем, уже на следующий день в докладах делегатов с мест постепенно зазвучали и другие ноты. Бодрое настроение фронтовиков относилось, пожалуй, лишь к Северному фронту. Здесь стояли большевистско-настроенные части из латышских рабочих и батраков. Здесь издавалась «Окопная правда». Зато чем дальше к югу, тем настроение фронтовых частей было все более и более отсталым, а с Юго-западного и с Румынского фронтов на конференцию не прибыло ни одного делегата. Правда, и там нелады с прифронтовыми помещиками наблюдались почти повсеместно. Солдаты стойко заступались за местных батраков и крестьян, которых помещики пытались сгонять силой на уборку своих лугов и полей. Однако в области понимания внешней политики чувствовалась отсталость. Братание было сорвано генералами угрозой артиллерийских обстрелов. Да и немецкое командование жестоко наказывало своих солдат за попытки братания. Шовинизм подогревался с обеих сторон всеми способами. «Ну что ж, подай тогда, господи, победить нам теперь врагов внешних, — покорно говорили теперь многие солдаты. — А уж зато потом мы примемся и за внутренних, за помещиков!» Генералы лукаво улыбались. О, только б солдаты пошли в наступление, а после им уж не выбраться из цепких тенет дисциплины! Сотни милитаристических союзов и обществ с каждым днем все туже и туже опутывали армию:

Союз офицеров действующей армии и флота,
Военная лига,
Союз воинского долга,
Союз чести родины,
Союз добровольцев народной обороны,
Союз спасения родины,
Георгиевский союз белого креста,
Республиканский центр, и прочие и прочие.

Генералы улыбались. Офицерство приосанилось, солдаты понурили голову. И далеко не случайно из Казани безропотно покатили на фронт целых два запасных полка. Тихой сапой помещики и фабриканты прибирают «Расею» к рукам. Недаром в Москве на

последних городских выборах эсеры собрали подавляющее большинство голосов.

Вечером от имени ЦК приветствовал конференцию Сталин. Худой и смуглый, он казался чем-то озабоченным. Да, завтра должна состояться общенародная политическая манифестация. Под чьими лозунгами будут шагать завтра на улицах? Уже и так полконференции не присутствует. Местные делегаты все заняты у себя в полках.

А внизу, рядом со столовой, неистово суетится Подвойский. Здесь кроят кумачевые полосы, малюют на них лозунги и прибивают к древкам. И вот сюда совсем неожиданно заходит вдруг Ленин.

— Сколько лозунгов вы заготовили?

— Какие полки выступят на нашей стороне наверняка?

— Кто отвечает по районам за планомерное выступление колонн?

— Все ли снабжены нашими лозунгами?

— Сколько выставлено от нас ораторов?

— Налажена ль безотказная связь с полками?

— Не следует ли «Солдатской правде» уделять еще больше места корреспонденциям с мест?

— Каково настроение провинциальных делегатов?

— Что рассказывают фронтовики?

Он в какие-нибудь пять минут закидывает нас массой самых разнообразных вопросов, торопливые ответы на которые выслушивает чрезвычайно внимательно и сосредоточенно, то-и-дело бросая нам короткие практические указания. Его прищуренный взгляд скользит по нас любознательно и деловито. Ясно, что не праздное любопытство привело его сюда. Он по-боевому горит предвкушением завтрашнего революционного смотра и, как главный его руководитель, он хочет лишний раз все проверить, все наладить, всех подбодрить, всем помочь.

— Ну, а как ваш Ораниенбаум? — обращается он вдруг ко мне. — Как велика и сильна теперь там наша организация? Провели ли вы перевыборы вашего совета? Каковы результаты? Каковы теперь ваши планы?

Меня бросает в жар от этих метких вопросов. Как, он так отчетливо помнит весь прошлый наш разговор? Невольно краснею от массы устремленных на меня взглядов. Конфузливо бормочу, что положение и влияние организации упрочилось, довыборы в совет проведены успешно, но исполком саботирует созыв нового пленума. Думаем создать на нем свое большинство, сблокировавшись с левыми эсерами и новожизненцами на платформе борьбы с оборонцами.

Ленин внимательно слушает, одобрительно кивая головой и пронизывая меня насквозь своими карими глазами.

— Обязательно сообщайте мне непосредственно о всяких переменах у вас, — говорит он приветливо и подшмается теперь наверх, в зал конференции.

Сулимов обращается к нему на ходу с горькой жалобой на то, что на заводах нехватает агитаторов:

— Где их взять? Кирилл прислал кронштадтцев, но они уже все использованы!..

Со снисходительной дружескою усмешкой берет Ленин Сергея за плечо, поворачивает лицом к двери в зал конференции и задорно кивает на делегатов:

— А это вам чем не агитаторы? Эти, брат, лучше нас с вами расскажут рабочим всю правду о фронте... Почему вы их сейчас же всех не используете?..

Мысль, что и мы из-за конференции что-то не доделываем у себя в Ораниенбауме, заставляет нас тут же поспешить во-свояси.

У мальчишек-газетчиков всегда отчаянно пронзительные голоса. Но особенно режут слух эти нелепые выкрики о какой-то «диктатуре адмирала Колчака». Мы молча проходим через площадь Балтийского вокзала, мы отлично знаем, что монархический орган «независимой социалистической мысли» погромщика Суворина все еще из кожи лезет вон в упорной пропаганде этого кандидата в диктаторы.

Три офицера сидят в вагоне вечернего поезда, отходящего в Ораниенбаум. Они сидят впереди нас, спинами к нам, и чрезвычайно увлеклись своим разговором. До меня долетают обрывки их беседы:

— Едва хитростью выцарапали пять тысяч штук, все остальное не выпустили из типографии эти синеблузые черти.

— Как же вы нарвались на такой камуфлет? А еще, с позволения сказать, Военная лига!

— А чорт их там знал! Фирма «Каспари» издает «Родину», казалось бы, направления патриотического. Да хозяин и сам сейчас чуть не плачет, проклиная свою большевистскую банду.

— Как же теперь? Неужель им удастся без помех провести свою завтрашнюю демонстрацию? Тоже, «революционный смотр», подумаешь!..

Молчание.

— Ох, какой безнадежный дурак этот Церетели! Разрешил завтрашнюю демонстрацию, «чтоб померяться, видите ль, силами с большевиками в честном бою».

Тугое, подавленное молчание. Поезд трогается.

В Мартышкине я сразу же отправляюсь в свою команду, чтобы проверить, как идут приготовления к завтрашнему выезду в Петербург.

— Так что... не поедем, — мрачно басит фельдфебель. — Опять вот ихинская телефонограмма...

Неровные писарские буковки прыгают на мятой бумажке:

«Поскольку революционная демонстрация назначена ЦИКом советов повсеместно по всей России, исполком Ораниенбаумского совета постановляет: командам в Петроград не выезжать, всем организованно принять участие в демонстрации по городу Ораниенбауму, для чего к 7 часам 18 июня выслать для связи в канцелярию Офицерской стрелковой школы»...

Подписи неразборчивы.

Кто это состряпал? Судаков? Пигаревич? Филиппович? Или все вместе, дружной саботажной семьей?

Стремительно мчусь по шоссе в Ораниенбаум, в наш комитет. Но и здесь растерянность полная. Удар нанесен так неожиданно! Что делать? Экстренно, несмотря на поздний вечер, созываем спешное заседание нашей фракции Ораниенбаумского совета. Приглашаем сюда и Бровкина с Жендзяном. Они тоже сумрачно хмуры. Самозванное решение исполкома всех одинаково бесит. Но открыто нарушить нельзя. Решаем: местную демонстрацию использовать всесторонне, вывести на нее под нашими лозунгами все команды. В Питер все же послать на демонстрацию особую делегацию от Ораниенбаума в сто человек, хотя бы по два человека от каждой команды. Во главе ее поедут Племянников, Бровкин и Жендзян. Возможно, что и я к ней примкну, но позднее, наладив демонстрацию в Ораниенбауме. Постановили также категорически потребовать от местного исполкома, чтобы делегации этой был предоставлен местный оркестр.

По правде говоря, ораниенбаумская демонстрация мало меня интересовала. Какое значение имела она? Лишний раз подразнить большевистскими лозунгами Пигаревича и Судакова? Игра не стоила свеч. То ли дело в Питере, где решаются судьбы правительства, судьбы всей революции! Поэтому, наспех наладив ораниенбаумское шествие и поручив это дело довести до конца Батманову и Горшкову, сам я покатил в полдень в Питер, хотя наша делегация уже уехала туда еще утром.

Я боялся, что приеду, когда манифестация уже окончится, но все же надеялся, что еще застану там хотя бы митинг. Но каково было мое изумление, когда я увидел густые ленты рабочих колонн, все еще движущиеся по улицам без конца и начала. Трамвай не ходил, извозчиков почти не было. Пришлось приналечь на собственные ноги. День выдался яркий и солнечный. Бездонное небо полыхало своим бирюзовым пологом. Колонны двигались дружно и бодро вдоль улиц, в гаме задорных, воинственных криков и в звонком грохоте оркестров. Солнце смеялось в начищенных медных раструбах и, казалось, стекало капельками с солдатских глянцевых козырьков. Бесконечные черные заводские колонны рабочих чередовались с зеленовато-серыми многотысячными колоннами полков,

и повсюду — красные пики знамен, всюду — распростертые полосы красных лозунгов, на которых ярчайшие буквы кричали черною, белою, золотой, синею краской:

«Долой министров-капиталистов!»

«Вся власть — советам!»

Обливаясь потом, обгонял я колонны одну за другою, хотя им сегодня, казалось, не будет и конца. По улицам с наглухо запертыми магазинами, с тротуарами, густо заполненными праздною любопытствующей обывательскою, а местами и резко враждебной толпой, раздавалось гулкое чавканье тысяч и тысяч марширующих упрямых подошв, треск полковых барабанов, грохот сотен оркестров и нескончаемый крик:

— Вся власть советам!

— Долой капиталистов из состава правительства!

— Пора кончать войну!

Все это уже было сотни раз тут же написано на алых полотнищах, растянутых поперек шагающих смелых шеренг. Пестрели и такие лозунги:

«Долой анархию в промышленности и локаутчиков-капиталистов!»

«Да здравствует рабочий контроль и организация промышленности!»

«Пересмотреть «Декларацию прав солдата»!

«Отменить все приказы против солдат и матросов!»

«Мир — хижинам, война — дворцам!»

И над всеми, как главный, всех чаще трепетал и ширился лозунг:

«Хлеба, мира, свободы!»

Правда, три-четыре колонны повстречались и с несколько иными лозунгами.

Казачий полк ехал насупясь и закрывши чубами носы. Нерешительный, куцый лозунг: «Доверие совету!», растянутый на пиках, убого потрюхивал над ним впереди. Сзади покачивалось более смелое: «Доверие Временному правительству». Улюлюканием и пронзительным свистом встречает этот лозунг рабочая толпа.

— Долой! — воинственно кричат вдруг из заводской колонны, стоящей на перекрестке, и вот черная лавина рабочих пиджаков налетает вихрем на хвост казачьего полка. Казаки оскалили зубы, схватились за шашки, пришпорили своих лошадей, но пика уж вырвана из рук одного из них, и вот толпа под радостный рев «ура!» уже тащит к себе и дерет на клочки ненавистный ей лозунг.

Густая масса рабочих Обуховского завода идет под лозунгом: «Доверие совету!» — и более ничего. Понимай кто как хочет.

Вот маленькая группка плехановцев в сюртучках и котелках, во главе с желтогривым старичком Львом Дейчем, тоже было попробовала развернуть белое знамя с вышитым по нему лозунгом о

доверии правительству. Знамя мгновенно было разодрано налетевшею колонной рабочих. И, повидимому, больше не нашлось охотников заикаться в этот солнечный, ликующий день на улицах Петербурга о доверии правительству.

А колонны все идут и идут. Усталый и взмокший, я достигаю наконец Марсова поля, обогнав бесконечные тысячи марширующих. Широчайшая площадь между казармами Павловского полка и Летним садом вся гудит, как встревоженный улей, и по ней бесконечною лентою колышутся друг за дружкой с музыкой и знаменами колонны полков и рабочих. Широкая трибуна возле могил схороненных здесь жертв революции обита красной и черной материей. Ведь Чернов, Керенский и Церетели надеялись, что на этой, милостиво разрешенной ими, манифестации послушные массы придут сюда на могилы, чтобы дать здесь клятву поддержки буржуазной власти советом.

Трибуна переполнена сейчас вождями всех партий. Крайним слева, свесив усы и по-ястребиному исподлобья оглядывая марширующие мимо колонны, стоит сам Плеханов. О чем думает сейчас этот, когда-то всесильный вождь социалистической молодежи, ставший теперь предводителем старческой банды погромщиков-шовинистов? Проходящие мимо колонны торжественно склоняют перед трибуной свои алые революционные знамена. Музыка оркестров, только что гремевшая «Интернационалом» и «Марсельезой», теперь рыдает тягучими аккордами «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Обнаженные головы проходящих понурены, знамена опущены. Но вот толпа поворачивает головы к трибуне. Здесь ведь «вожди».

— Долой министров-капиталистов! — чей-то звонкий, напористый голос мятежно сверлит упругую голубизну теплого летнего дня.

— Урра-а-а! — подхватывает и разливает по всей необъятной площади этот дерзкий возглас толпа.

— Мира. Хлеба. Свободы! — вновь выкрикивают голоса.

— Мира! Мирррра-а-а! Уррра-а-а! — подхватывает площадь.

Плеханов ежится, длинные кисточки его рысьих бровей чуть шевелятся, и по-ястребиному кругло и хищно мигает его старческий глаз.

— Вот вам и пресловутое «единство демократии»! — со злобной издевкой шипит кто-то в твердой соломенной шляпе возле трибуны, сбрасывая сердитым жестом с носа пенсне. — Ни одного лозунга за коалицию! Кто же за нас?!

— Уррра-а-а! — гремит снова по площади.

Черною стройною массой маршируют рабочие. Праздничные, незамасленные пиджаки, лица умыты, но корявые руки грозно сжаты, а в глазах затаенная подозрительность, недоверие и озлобленность. Но какой образцовый порядок! Какое равнение по рядам! Какой выверенный, четкий шаг!

— Какой это район?

— Разве не видите? Раз так образцово, значит Выборгский! Большевики!

Идут длиннейшей колонной завод за заводом, завод за заводом. Неизменно всюду большевистские лозунги.

Вконец устав и проголодавшись, я забрел в особняк Кшесинской. Здесь, в подвале в столовке, Подвойский радушно угощал делегатов рисовой кашей и чаем. Было шумно и весело. Фронтовики делились своими впечатлениями от демонстрации.

— Чорт подери! Куда же подевались сегодня все ваши здешние меньшевики и эсеры? Ведь ни одного соглашательского лозунга! Всюду только одни наши, большевистские.

— Ну, нет, брат, Семеновский полк шел под лозунгами эсеров.

— Какие же это эсеровские лозунги? Эсеры, должно быть, тогда преотчаянно струсили, если вышли сегодня даже с такими плакатами, как: «Долой империалистов всех стран!» — или: «Да здравствует 3-й Интернационал!»

— А денек-то какой расчудесный сегодня! Должно быть, и солнышко нынче за большевиков. Кто ж в такую погоду усидит дома? Демонстрантов сегодня было никак не менее четырехсот тысяч.

— Нет, братишечка, еще подкинь-ка! Считанных прошло через Марсово поле полмиллиона!.. Вот это победа! Вот это смотр!..

— Товарищи! — вдруг испуганно кричит влетевший в столовую с блуждающим взглядом бородатый солдат. — Товарищи! Огромнейшая толпа во главе с вооруженными анархистами поперла сейчас громить тюрьму «Кресты»! Как тут быть? Там ведь и наших ребят много сидит. Освободить было б неплохо. Но, конечно, это будет уже прямым наскоком против правительства. Как, — может быть, малость еще рановато?

— Чего ты так трусишь? Правильно!.. Верно!.. Валимте, ребя, на помощь!..

— Опомнитесь!.. Провокация!.. — мигом разноречиво загалдела вся столовая.

Все повскакали судорожно с мест. Многие пылко выскочили наружу.

— Уж больно вы тут осторожны! — махнули они рукой на оставшихся. — «Правительство»!.. Какое — правительство? Чего с ним еще церемониться?!.

«Пожалуй, что оно и так», — думаю, поздно вечером возвращаясь к себе в Мартышкино.

24. НАСТУПЛЕНИЕ

«Если вчера все меньшевики в столице попрятались, — думаю я, едучи утром в Питер на конференцию, — если вчера эсеры выну-

ждены были прикрыться большевистскими лозунгами, не означает ли все это, что соглашатели уже пошли теперь на уступки перед столь явно выраженной волею широких трудящихся масс? Ведь не зря же они на всех перекрестках постоянно кичатся своею демократичностью? То-то будет сюрприз, как приеду я сейчас в Питер, а там мальчишки-газетчики уже выкрикивают: «Отставка Временного правительства!! ВЦИК принял на себя всю полноту государственной власти!!» — Как это все было бы хорошо, а самое главное — все так безболезненно, без зубодробительных перепалок, без кровопролитных восстаний!.. А и в самом-то деле, почему бы так и не случиться? Ведь говорил же Ленин о возможности безболезненной смены власти!»

Настороженно выхожу на площадь. Тихо. Никаких газетчиков нет. Впрочем, сегодня ведь понедельник, день послепраздничный, утренних газет совсем нет, а вечерние еще не вышли. Весьма вероятно, что перемены в правительстве, конечно, уже совершились, но только население еще не смогло быть так скоро о них оповещено. Ну, да ничего, на конференции все разузнаю. Торопливо сажусь в трамвай.

В вагоне трамвая настроение у пассажиров зло-подавленное.

— И много их, матушка, перебили? — спрашивает одна старуха другую.

— Скрозь всех, милая, перебили. Сколько их было тама-тка, анархов этих самых, всех перебили. Казаки о полночь весь Дурновский тот замок как есть кругом обложили и почли тогда, милая, по им стрелять. Ни один, стерьва, не вылез оттеда живьем.

— Заткнись-ка ты, старая чертовка, — гневно обрывает ее рабочий, — если куриными своими мозгами не можешь ворочать...

«Перебили?.. Кого?.. Когда?.. Зачем?..»

Почти бегом примчавшись в военку, разузнаю здесь все подробности. По требованию толпы, предводительствуемой анархистами, администрация тюрьмы освободила вчера вечером из «Крестов» семерых заключенных, в том числе и нашего большевика, поручика Хаустова, арестованного Керенским за редактирование «Окопной правды». На этом, быть может, все бы и кончилось, но начальник пересыльной тюрьмы, прослышав о том, что из «Крестов» уже освобождают, и опасаясь, как бы толпа не пришла и к нему, не стал дожидаться развития событий, и сам, по собственному почину, выпустил до пятисот уголовных преступников. Тотчас же был пущен слух, что преступники скрылись у анархистов, проживающих на давно уже ими захваченной даче-особняке бывшего министра Дурново.

Рассказывающий это рабочий бледен от волнения и гнева.

— Я не беспочвенный сумасброд какой-нибудь, — говорит он, хватаясь трясущимися пальцами за измученное свое лицо. — Я по-

нимаю, что без создания нашей собственной крепкой власти мы не сможем вышибить у хищной буржуазии ее ядовитых клыков. Анархистом никогда я не буду, да и товарищей своих сколько раз убеждал не связываться с ними, если когда кто любопытствовал заходить туда к ним, в Дурново. Демагоги они преотчаянные! — горько усмехнулся он, снисходительно сощуривая свои серые усталые глаза. — Но вот нынче ночью, часа этак в три, — а какие сейчас ночи? так — одни зеленые сумерки, — слышу вдруг с улицы какие-то крики. Живу-то я на окраине Выборгской стороны, от Дурново это неподалеку. Место у нас вроде как глуховатое, так я значения спервоначалу не придал. Потом вдруг слышу — выстрелы. Ну, тут я, конечно, вскочил, мигом — в одежду, шпалер — в карман картуз на затылок и — вон за дверь. Гляжу, ан туда уже много наших заводских ребят бежит. Только вот подбежали-то мы уже с кое-каким запозданием. Дача эта самая — Дурново — вся изнутри освещена, а кругом в улицах да за каменной оградою сада и солдат и казаков преогромное множество притаилось. При офицерах. Да и давай тут они лупить из винтовок по даче почем зря. Там только стекла из окон наружу сыплются, и крик истошный стоит. Глядим, еще новые сотни казаков спешиваются, и броневики по мостовой вокруг лязгают и гудят, как жуки. Ну, солдаты, конечно, лупят это по даче, ан смотрим: и оттуда отвечать им вроде как начали. Пуля нет-нет, да и цокнет где рядом о стену. Трое шикарных штатских господ за угол дома со страху попрятались. Двое из них в котелках. Один — низенький такой толстячок, — как сказывали нам потом солдаты, — прокурор судебный палатский, Каринский, а другой, что повыше и суше, — сам министр Переверзев. Вот этот министр подманил к себе генерала в черкеске, да как крикнет: «Долго ль вы будете тут еще канителиться?!. Приказываю вам немедленно взять их штурмом сейчас же живьем или мертвыми на ура!» Ну, тут, конечно, офицеры побежали к солдатам и те... ну, словом, — ура! Бросились, стало быть, напрямки к даче. Влетели они внутрь здания, должно быть, как бешеные волки. Слышим только — там изнутри грохот и треск. И вой такой, словно кишки из людей живьем выдирают. Понемногу потом все затихло, только свет изнутри все горел, хоть на улице уже совсем светло стало, небо зеленое, и розовая заря занялась. И стали их всех оттуда, сердечных, поодиночке тогда выводить. Все в синяках, а у кого так и кровь изо рту хлещет. Должно быть, человек шестьдесят оттуда их всех так выволокли. Посадили на грузовики, оцепили казачьим полком, — шашки у всех наголо, — и в тюрьму повезли. Глядим мы потом, вытаскивают офицеры из дачи еще одного, только уж мертвенького, холодные руки обвисли. Хотели было они его тоже на автомобиль свалить и куда-то везти, но уж тут наших ребят много сюда подошло, мы напрямки во двор кинулись и тело это у них

отняли. Прокурор этот, толстенький, в котелке, яростно этак кричит нам: «Отдайте его; нам, — дескать, — надобно его сейчас вскрыть! Без судебной медицины ни в коем-разе нельзя!» Ну, а мы, конечно, говорим ему: «Вы его здесь прикончили, так здесь же его и вскрывайте, чтобы весь народ видеть мог, до какого безобразия вы здесь дошли!» — «Никакого здесь безобразия нет, — отвечает министр. — Мы здесь только оборонялись. Анархисты в нас три бомбы здесь бросили». — «Какие же это такие бомбы, — спрашиваем мы его тут тогда, — ежели никаких здесь взрывов мы не слышали?» — «А мы, — грит — не ответственны, что взрывов не было. Стало быть, не взорвались». Ну, долго мы этак вздорили, но только мертвого так и не дали им увезти, тут же при нас на дворе они его и вскрывали. Парень-то еще совсем молодой, солдатская пуля в затылок ему угодила, и еще штыковая рана в груди. По документам в кармане — Аснин фамилия ему будет.

— Аснин? — невольно вскрикиваю я. И вспоминаю: огромная площадь Кронштадта. В бликах весеннего солнца трепещут и вьются ленточки тысяч матросских бескозырок. На грубой дощатой трибуне — он, смуглый, косматый, в ярко-красной рубахе, живописно прикрытый складками черного плаща. «К восстанию!» — кричит он, сверкая глазами из-под надвинутой на лоб широкополой поярковой шляпы. — К восстанию! К чорту советы! Долой всякую власть! Я вырвался сейчас из Франции. Я брат ваш, Аснин...»

Да, это он, Аснин. Теперь Переверзев его доконал.

— Какие ж это полки там расправлялись? — с возмущением накидываемся мы на рассказчика.

— Позор! — негодуют наши товарищи по военке. — Ведь это непосредственно вслед за вчерашней, столь единодушной нашей демонстрацией!..

— Какие полки? Вестимо, откуда же взяться другим? — семеновцы да преображенцы, известные царские опричники! — брезгливо кривится рабочий. — Те самые, что вчера перли под эсеровскими плакатами... А как они дачу-то всю изнутри там начисто разгромили, если б только вы видели! Все было до этой ночи в порядке, дача — как дача, и в саду с утра до ночи наши детишки со всей этой окраины там играли. Внутри же те, хоть и анархисты, и свои черные флаги у себя кругом поразвесили, но порядочек и чистота соблюдались у них тоже во как! Паркет блестит, шелковая мебель там разная — все было в полном аккурате. Ну, а как сегодня утром взошли мы туда краем глаза взглянуть, — ничего не узнаешь: все перекобенено, переломано, — словом, как есть Мамай воевал!

И вот смотрите, — продолжает рассказчик, все более горячась. — Ведь там у нас из-за этого здоровая мура сейчас затирается. Три завода сейчас уже стали. Боюсь, что следом и весь наш Выборгский район сейчас забастует. Не из-за анархов, конечно. Некоторое

сочувствие к ним кое-где было, но никто все же всерьез их не брал. Так, мол, ребята потешные и горласты всякую демагогию подпускать. Но когда правительство, когда социалистический министр над ними такой зверский разгром учиняет, куда же дальше итти?!.

Рабочий достает папиросу, но она ломается в его судорожно трясущихся пальцах и падает на пол. Тогда один из солдат готовно протягивает ему свою.

— И как это наши товарищи здесь, — качает солдат укоризненно головою, — как они так проглядели, чтобы здешние полки и вдруг могли пойти на такое каиново дело?! Как же теперь взглянет на все это ВЦИК?

— Из районного нашего совета да и со всех наших заводов выбранные ребята поехали сейчас целой делегацией туда. Пусть срочно расследуют все это гнусное нападение. Погромщикам не место у власти!

— Товарищи! Победа за нами! — внезапно вбегает к нам наивно ликующий Мехоношин. — В редакции «Правды» получены телеграммы, что повсюду: в Москве, в Киеве, в Харькове, в Екатеринославе, Иваново-Вознесенске, Сормове, на Урале, — словом, везде демонстрации вчера прошли под нашими лозунгами! Вы подумайте: вся страна!..

— «Вся страна», — горько передразнивает его рабочий. — Что — страна? Видишь: власть без бою сдаваться не хочет!..

«Без бою? — пожимаю я молча плечами. — Но ведь у власти Керенский, Церетели! Конечно: буржуазные прихвостни они, лизоблюды, предатели, — все это верно. Но одно все же существенно: они, как и мы, — демократы. Нет, против столь явно выраженной воли народа они, разумеется, не пойдут! С анархистами, это верно, расправились они, слов нет, омерзительно подло. Но и сами-то анархисты — тоже ведь не ягнята. Зачем им было лезть силою освобождать из тюрьмы? И кого они там навсвобождали? Если не считать нашего Хаустова. Во всяком случае, это — темное дело».

Так простодушно размышляю я, и вера в то, что теперь, после вчерашних демонстраций, все образуется благополучно и власть безболезненно перейдет к совету в ближайшие дни или часы, эта наивная вера наполняет мое сердце демократическою усладой и успокоительною надеждой.

В зале конференции уже началось заседание. Но не съездить ли на минутку на Невский за газетой? Наверное, «Вечерка» уже вышла.

Два солидных господина крепко жмут руки друг другу на площадке трамвая. Не иначе, как друзья детства и давно не встречались. Их лица радостно взволнованы, и глаза возбужденно блестят.

— Пошли-таки? — ликующе подмигивает один другому.

— Поперли! — восторженно кивает ему другой. — Куда сейчас, не на Невский? Там, говорят, уже началась сейчас манифестация.

«Неужели все из-за анархистов? Какая такая манифестация? — размышляю я озадаченно. — Кого это там поперли? Или, быть может, это кадеты устраивают сегодня контрманифестацию как реванш за вчерашнее?»

— А приказ Керенского читали? Красота! — слюнка смачно пузырится у него в углах губ.

— О, крепко написано!.. Говорят, что будто бы уже есть телеграммы о первых наших успехах? Будто бы взяли много пленных, трофеев? Ничего не слыхали? — глаза готовы выскочить от любопытства.

Поспешно спрыгиваю на углу Невского. Они соскакивают тоже и, обогнав меня, мчатся к Адмиралтейству. В ту сторону уже валит народ. Мальчишки-газетчики истошно орут:

— Наступление русской армии!

— Неприятельский фронт прорван!

— Приказ по арррмии товарища Керенского!

— Наступление рус...

Газету берут нарасхват. У накрашенных дамочек умиленные глазки.

— O mon Dieu! Неужель это правда? Вы слышите, Петр Петрович?!.

Но Петр Петровичи уже хорошо все это расслышали. Элегантные светлосерые пиджаки, белые разутюженные брючки, тросточки с набалдашниками из серебра и слоновой кости, стэки, мягкие панамы, соломенные тазики твердых шляп, сверкающие монокли — все это уже несется вперед по панелям Невского к Адмиралтейству, чуть ли не приплясывая в кровожадном веселом угаре. Да и как не плясать? Русская армия наконец-то брошена в наступление.

— О, кто б мог подумать? Вчера, в тот самый час, когда здесь эта проклятая чернь... Петр Петрович!.. Ведь это же чудо!

На углу Невского и Михайловской, неподалеку от Европейской гостиницы, где обычно живут иностранцы и богачи, штабс-капитан Измайловского полка стоит на тумбе и с хриплыми выкриками что-то читает окружающей его толпе:

— «Воины! Отечество в опасности...»

Слушатели вокруг налезают один на другого и давят друг другу ноги.

— «Свободе и революции грозит гибель!» — продолжает лейб-гвардии офицер.

— ...революции грозит гибель... — машинально бормочет вслух «Лошадиная челюсть» в золотых очках, сочувственно кивая в такт. Жемчужная булавка готова выскочить из нежно-бирюзового шелкового галстука.

— «Время настало, и армия должна выполнить свой долг! — азартно выкрикивает гвардеец. — Верховный главнокомандующий ваш, овеянный победами вождь...»

Тут офицер пробует сделать широкий жест рукой в воздухе и, потеряв равновесие, изгибается, но дружная толпа его поддерживает.

— «...признает, — рявкает гвардеец удовлетворенно, — что каждый день дальнейшего промедления только усиливает врага...»

Дамочка, достав зеркальце и подпудриваясь, убежденно кивает в такт речи головкой. Зеркальце ее дрожит, и солнечный зайчик прыгает у Лошадиной челюсти на воротнике.

— «...и что лишь немедленным, решительным ударом мы можем разрушить его планы! — крякает офицер. — Поэтому, в полном сознании великой ответственности перед отечеством, — заливается гвардеец дальше, — я, от имени свободного народа... — здесь голос штабс-капитана несколько вибрирует, — ...и его Временного правительства, призываю армии, укрепленные силой и духом революции, — это гвардеец произносит залпом, — перейти в наступление!» — Стремительное ударение.

Толпа восторженно рукоплещет.

— «Пусть все народы знают, — надсаживается офицер, — что не по слабости говорим мы о мире... Пусть знают, что свобода увеличила нашу мощь. Офицеры и солдаты, знайте, что вся Россия благословляет вас на ратный подвиг!»

Офицер торжественно взмахивает газетой.

— «Во имя свободы, во имя светлого будущего родины...»

— Уррра! — вдруг бесновато взрывается Лошадиная челюсть, надсаживая кадык и опасливо хватаясь за свою жемчужную булавку.

— Ура-а-а! — пронзительно визжит дамочка.

— Урра-а-а-а! — с выхрипом подхватывают окружающие.

— «...приказываю вам — вперед! — заливается офицер, силясь перекричать этот непредвиденный спазм общего восторга. — ... Подписал военный и морской министр Керенский».

— Уррраа-а-а! — беснуется ликующая толпа. — Уррра-а-а-а!! Качать господина офицера!..

Прижав обеими руками к затылку фуражку вместе с газетой, штабс-капитан мгновенно взлетает на воздух, подкинутый десятками пухлых рук в тугих белых манжетах.

— Уррра-а-а! — неуемно гремит и несется по панелям Невского проспекта.

Уже видно, как повсюду собираются и суетятся радостно возбужденные группки людей. Из писчебумажных магазинов спешно приносят портреты Керенского, тут же запихиваемые в золоченые рамы. Наспех откуда-то, — должно быть, у дворников за щедрые чаевые, раздобываются припрятанные еще с Февральской революции трехцветные царские флаги. Впрочем, это многих несколько смущает. Горячо, но вполголоса спорят. Наконец большинство этих национальных флагов возвращаются дворникам обратно; оставлены

лишь одни древки. Стремительно привязывают или пришпиливают к древкам белые широкие атласные платки или полотнища, и вот — шествие в честь наступления двинулось. Эти кучки орущих, кричащих, поющих и приплясывающих франтих и франтов, почтенных купчиков, шпорозвонистых офицеров, старух с лорнетками — уже движутся с воинственным гамом по Невскому, покачивая портреты военного социал-министра и размахивая белыми, а кое-где и трехцветными флагами.

— Какая благодать! — глядя на шествие, цедит сквозь зубы, зажав в них сигару, досиня бритый обрюзгший брюнет в котелке. — Можно наконец-то передохнуть от этих вчерашних красно-тряпочных вакханалий! — Он умиленно защуривает черный жир своих глаз и сдвигает котелок на затылок. — Взгляните-ка! — вдруг оживляется он. — А это еще что там за клоунада?

От Казанского собора к нам приближается с пением и криками забавная толпа. Пожилые мужчины в пиджачках и поношенных сюртучках, несколько прапорщиков в фуражках, ухарски сдвинутых набекрень. Они окружают что-то белое на колесах, не то катафалк, не то колесницу. Витые колонки этой повозки украшены гирляндами зелени и пучками длинных красных, зеленых и розовых шелковых лент. Посреди этого катафалка, в сусальной просторнейшей раме трясется портрет. Жиденький ершик волос, увесистый нос над надменно насупленной верхней пробритой губою, бесцветный бессмысленный взгляд. Таков герой сегодняшнего буржуазного торжества. За портретом на колеснице стоит сам Лев Дейч, выцветший и пожелтевший от моли и табака патлатый седой старикашка. Он зачарованно машет сухонькими ручками, поет и приплясывает, выкрикивая что-то толпе. Большое белое знамя из шелка, с золотым шитьем по нему лозунгов плехановской группы «Единство», лениво развевается над этой едущей Невским проспектом балаганной эстрадой.

— Урррa-а-а-а! — восхищенно встречает плехановцев обалдевшая от восторгов панель.

— Ура-а-а-а! — взвизгивают дамочки.

— Урррра! — рявкают прапора.

Плетущиеся старички только сопят и слезливо подкашливают.

Итак...

Что — итак? Надо живее ехать в военку!

Он подсел ко мне с легким стоном на жесткую скамью вагона, этот заросший бородою прапорщик и, колыхнув забинтованной в марлю куклой ноги, бережно положил рядом с собой костыли. Это было уже вечером, когда я поездом возвращался домой.

— Вот, — сказал он устало и, откинув голову, закрыл глаза, — вот и опять наступление.

Было неясно, с каким настроением он это сказал, и я смолчал.

— И про Стокгольм теперь никто ни-гугу, — продолжал он с тенью легкой насмешки.

И опять не было ясно, рад он этому или нет.

— Что значит: ни-гугу? — решил я его выпытать. — Возможно, что Стокгольм еще и соберется, — сказал я с желчной насмешкой.

— Не соберется, — безнадежно вздохнул прапорщик и пошевелил свои сложенные костыли. — Некому там собираться. Французы? Но они у себя даже тройную цензуру ввели теперь на все заграничные телеграммы. И теперь, когда мы уже перешли в наступление, какой же дурак поедет у них в Стокгольм?.. Может быть, англичане? Эти спят и видят те барыши, которые они собираются драть с нас торговлей, если расколотят Германию. Некому ехать! — уже с явно выраженным сокрушением вздохнул он.

В вагон вошел и сел напротив нас прапорщик Громыко. В полумгле он сразу меня не узнал. Но вот поезд тронулся, свет вспыхнул ярче, и тогда мы молча и сухо раскланялись друг с другом.

— Немцы, скажете вы? — тянул дальше раненый, словно в бреду, все так же не открывая глаз. — Но ведь все эти их Давиды и Зюдекюмы по сути своей продажные шкуры. Кайзер всех их купил оптом через Парвуса. Очень возможно, что они поэтому и поехали б в Стокгольм, но вот теперешнее наше наступление здорово подольет масла в их шовинистический пыл. Однако допустим, что они все-таки приехали б в Стокгольм. Но ведь такого рода переговоры всякий предпочтет вести непосредственно с самим хозяином, а не с дежурными его курьерами. Всякие же разговоры с кайзером исключены! — стукнул прапорщик в пол костылями. — И в этом, — снова вздохнул он, — вся безвыходность нашего положения.

— Никакой безвыходности нет! — сурово буркнул Громыко. — Наступающая наша армия пробивает сейчас нужный нам выход из создавшегося положения.

Раненый открыл глаза, грустно поглядел на Громыку, но ничего не ответил.

— Должно быть, и вы тоже из большевиков? — уколол его тот презрительным тоном вопроса. — Уж очень о немцах вы осведомлены!

— А... — ухмыльнулся раненый болезненною, кривою улыбкой и вновь пошевелил свою куклу. — Вы заключаете так по моим рассуждениям о немецких эсде? О, нет, — усмехнулся он снова, — к сожалению, я не большевик. У них все чересчур как-то ясно, прямолинейно, ну, а я вот во многом еще сомневаюсь, или уже сомневаюсь, — подчеркнул он насмешливо, — для меня многое еще очень неясно. Кроме того, я, как видите, грущу о Стокгольме. Словом: я — типичный эсдек, натуральный эсдек, не из вновь

испеченных, а уж успевший прокиснуть на плехановских старых дрождях. Да и куда б я годился в большевики? — мотнул он забинтованною ногою. — Им нужны боевые, энергичные, уверенные люди, а я что?..

— Ну тем более, если вы плехановец, вам нечего сожалеть о Стокгольме, — приосанился теперь Громыко. — Вы ведь тоже не можете верить в наивные сказочки о революционном братстве рабочих?

Раненый, устало закрыв глаза, кивнул головой.

— Его нет! — гудел Громыко. — В таком случае теперь, когда наша армия пошла в наступление, чего еще надо?

— Наступление? — болезненно проскрипел раненый. — Но с чем же пошли мы теперь в наступление?! Вон на Западном фронте, в Бельгии, возле Ипра, писалось это недавно, для отражения немецкой атаки на малюсеньком участке у американцев сразу вылетела целая эскадрилья в триста пятьдесят аэропланов. А у нас? А у нас, дай бог, чтобы десятка три аэропланов набралось на всем наступающем фронте. А наша артиллерия? Пушки разболтаны с самого начала войны. Ступки или мешалки какие-то, а не пушки. А те новенькие, что шлют нам теперь союзнички-англичане, это такая образцовая дрянь, что через два дня стрельбы совсем выходят из строя. И вы говорите после всего этого: наступление?! — горячился раненый все больше и больше. — Да ведь это же мясорубка! Ведь это ж безумие! —потряс раненый возбужденно руками, и костыли его беспомощно упали на пол.

Я их поднял.

— Сегодня мы, целая группа офицеров-фронтовиков из команд выздоравливающих, — полушепотом продолжал прапорщик, с трудом приоткрывая глаза, — во главе с председателем офицерского союза Новосильцевым ходили в ЦК кадетской партии. Ведь это же их рук дело! И там мы, мы, офицеры русской армии, — прохрипел раненый, опасливо оглянувшись по сторонам, — ведь можем же мы в своей среде с глазу на глаз сказать всю правду начисто? — Там мы по-честному заявили, что наступление неизбежно кончится самым скандальным провалом. Будут только перебиты самые лучшие, самые устойчивые, самые честные части!.. И что ж нам ответили? Нам ответили, что наступление — либо сейчас, либо никогда. А как же, дескать, никогда, если фронты с каждым днем обольшевичиваются, если Питер закатывает вон какую демонстрацию, если мы уже банкроты, а союзнички неистово стучат нам в спину?!.

— Какие нелепые, детские рассуждения разводите вы здесь, прапорщик, — взорвался Громыко, — а еще фронтовик! Просто стыдно нам, офицерам, вас слушать. Я не говорю про подпоручика, — кивнул он презрительно на меня, — он еще чище может

сказать. Но ведь этак вы прямешенько скатываетесь к преступному большевизму. Разве мы одиноки? Разве мы изолированы? Разве вся наша Антанта не огромнейший синдикат? Если одному из пайщиков этого концерна и приходится, если на то уж пошло, продавать свой товар ниже себестоимости и вылетать из-за этого даже в трубу, разве синдикат выкинет его, как банкрота? Разве не вознаградят нас за жертвенность путем братского дележа верных будущих прибылей?!.

— Продавайте вместе с Керенским русское мясо оптом и в розницу! — вскочил я, не выдержав. И сплюнул в сторону Громыки.— Палачи!

Был Петергоф. Здесь — лазареты. Раненый прапорщик, повиснув плечами на костылях, молча, скрививши от боли лицо, сползал здесь со ступенек вагона. Даже Громыко ему подсобил.

На перроне в Мартышкине, при свете яркого станционного фонаря какой-то акцизный чиновник читает вслух окружившей его толпе текст приказа Керенского о наступлении. Толпа слушает его молча и мрачно. Шепелявый восторг чиновника ее не воодушевляет.

— «Офицеры и солдаты, знайте! — тычет чиновник указательным пальцем в темное синее небо, в бездонной глубине которого безнадежно далеко сверкают светлые, чистые звезды. — Знайте, — сипло надсаживается чиновник, — что вся Россия благословляет вас на ратный подвиг...»

— Благословляет... — так явственно шамкает вдруг в этой настороженной тишине старуха в поношенном сером платочке. Ее сухое, желтое, сморщенное лицо внезапно делается еще уже, еще более сморщивается и сыреет. Будто бы кто-то старается туго-натуго выжать этот крохотный рыхлый комочек. — Толенька! — вдруг взвизгивает она, разражаясь плачем навзрыд.— То-о-оленька! Сыночек родименький мо-о-ой! Один на всем свете у меня ты остался-а-а. Убили ведь Бореньку-у. Уби-и-или. То-о-оленька, го-олу-убчик, остатний мой, ро-одненький! Неужели... бо-оженьки, бо-оженьки!.. Последне-ева-а сы-ына-а!.. По-о-оследне-енькава-а-а, роди-и-име-енькоу-уо-о... боо-о-оженьки-и!.. — и старуха беспомощно-жалобно воет истошным, по-пчелиному тоненьким ноющим голоском.

Молчит толпа. Молчат мохнатые черные лиственницы. Чиновник сконфуженно застывает с поднятым кверху перстом. Далекие чистые звезды молча мерцают, и темное небо молчит.

Особняк Кшесинской гудел и бурлил, как кипящая сталь в раскаленной мартеновской печи.

— Наступление?!. Там, на далеких полях, генералы гонят сейчас густые полчища полувооруженных забитых людей в кро-

мешную пропасть адова крошева взрывов, крови, мяса, железа, огня! Где же спасение? Что делать?..

Крыленко быстрым прыжком вскакивает на трибуну. Нервно подергивает рукой, крепко держащей листочки бумаги. Голос звенит, как клинок. Глаза сверкают серым отточенным блеском.

— Какие глупости — думать, что англо-французских кровососов можно убеждениями оторвать от полюбившейся им войны! Пока железные руки всего мирового пролетариата дружно не схватят вампиров за горло... И какая трусость — вопить о мире во что б то ни стало! К прежнему нет возврата! Разве можно оставить в порабощении десятки и сотни мелких народов, угнетаемых всюду?!. Мир компромиссный будет передышкой до следующей еще более гнусной, еще более ужасной бойни. Наш призыв: революция во что б то ни стало, революция до полного, всеобщего удушения мирового капитализма!

Речь горяча и крепка, но делегаты досадливо пожимают плечами.

— Ты про наступление, ты про фронт нам сейчас обскажи! Как теперь тамо-тка нам поступать?..

В этот момент, должно быть, звенит у них в ушах вой артиллерийских снарядов и грохот взлетающих вверх вместе с землею бревенчатых взорванных блиндажей.

Товарища Крыленко на трибуне сменяет миловидная стройненькая Розмирович. У нее белокурая наивность кудряшек, тихая голубизна глаз, нежная розовощекость. Этакой Гретхен цветочки бы где-нибудь разводить, а она — на вот поди — здесь выступает. Да и как выступает! Снисходительные недоверчивые улыбочки мигом сползают с лиц всех солдат. Она говорит о наступлении.

— Мы против какого бы то ни было участия в драках и войнах господ империалистов!..

Одобрительный, нарастающий гул всего зала:

— Правильно!!

— ... Но мы и против дезорганизации фронта!.. Мы против военных катастроф и бесчисленных жертв, которые может повлечь развал фронта...

Недоуменно вытягивающиеся лица. Раздраженное переглядывание. Шум нетерпения.

— Так как же теперь? Наступать?!

— Вопрос о наступлении решается не втыканием штыков в землю, а захватом государственной власти! — дерзко кричит Розмирович, вся порозовев.

— Ладно!.. Все это сами мы понимаем! — ширятся выкрики с мест. — Ты скажи напрямки: как теперь нам там быть? Наступать?!.

— Нет! — решительно режет все эти выкрики ее голосок. — Мы отвергаем приказ правительственной власти о наступлении...

Грохот рукоплесканий.

— ... Но, товарищи, сами судите... как можем мы не пойти в наступление, как можем открыто восстать против исполнения боевого приказа, если за нами нет полной поддержки ну, по крайней мере одной целой армии?!. Что вы хотите, — кричит она уже гневно, — отдельных расправ над нами? Чтобы наших товарищей расстреливали поодиночке?!.

Она решительно встряхивает своими кудряшками и сходит с трибуны.

Шумные вздохи. Вздохи безвыходности и разочарования. Шум, переходящий в гул мелких, отрывистых споров.

— ... Наступать!.. Да как же его наступать? Голым пузом переть против его орудий?! Вон у наших союзничков, у них это дело не так. У них солдаты сидят себе преспокойненько в земле в бетонных квартирах, кофеек с коньячком попивают и ждут, покеда их артиллерия все немецкие блиндажи дочиста вместе с землей перекрошит и раскидает. Тогда — ручки в бочки, ружьишко подмышку и — вперед! А у нас?!. Где наша гвардия?!. Где лучшие наши стрелки?!. Своими мясами разве вышибешь немца?!.

— А по-моему, так: ежели где на фронте какая часть есть за нас, тогда не наступать, а пойти вперед и — брататься!..

— А ежели вас от суседа артиллерией за это грохнут?..

— Артиллерией пужать нечего, у нас и своя в этом разе найдется.

— Это, брат, складно! Коль вперед, так вперед! Только заместо штыков — прямо объятья!.. «Guten Genossen!» дескать, так и так...

— На кого напорешься. Другой тебе такую «геноссу» покажет!..

— Ну, и наш брат — тоже не все заодно. Вон полячишки теперь там у нас в какие-то свои полки обособились, разные ихние генералы ими там заправляют, шуруют ими так, что только держись! Рта разинуть не смеют. Братайся вот рядом с ними!

— А хохлы, к примеру, опять же теперь! Тоже свои армии строят. Своих отовсюду к себе скликают.

— Какие ж они тебе «хохлы»? Украинцы!

— А не все одно?

— По-моему бы — всю эту чухну с татарвой, да...

— Тише! Тише!.. — Подвойский звонит в председательский колокольчик.

На трибуне стоит Сталин. Прямой, сухой, смуглый, сосредоточенный.

— Мы, большевики, — с кавказской резкостью четко звучит его голос, — должны выжечь каленым железом малейшие нотки шовинистических буржуазных великодержавнических настроений.

Временное наше правительство, как и всякое любое правительство империалистов, разжигает национальную рознь, чтобы сеять раздоры в наших рядах. Наша задача — ударить его по рукам. Финляндия десятки лет уже имела свою автономию. Она пожелала теперь ее оформить. Правительство наше встало против этого на дыбы. Украинцы захотели вполне законно тоже провозгласить свою национальную автономию. Правительство бешено противится этому, кивая на Учредительное собрание. На польскую автономию правительство лицемернейшим образом согласилось, поскольку ведь Польша теперь занята немцами. Но вот украинцам и финнам правительство твердо решило никакой автономии не давать. Что эти действия вызывают? Бешеный рост крайних сепаратистских буржуазных стремлений и в Финляндии и на Украине. В наших ли это, товарищи, интересах?— поднимает Сталин свой спокойный, уверенный взгляд. — В интересах ли это международного революционного пролетариата? В интересах ли это рабочих и крестьян всех наций?!.

Весь зал слушает Сталина, не шевелясь, с неослабным вниманием. Путаница с формированием украинских частей, должно быть, у многих засела в печонках. Никто не кашлянет, стулом не скрипнет никто, пока Сталин зачитывает тут же проект резолюции по национальному вопросу:

— «... Да, право национальностей на самоопределение должно заключать в себе и право на формирование национальных своих полков и даже право на государственное отделение».

Когда Сталин кончает, снова тревожный шелест недоумения и недбвольства проносится кое-где по затихшему залу. Этот шелест разрастается в гул перебранки и споров.

— Да как же это можно им разрешать формировать собственные их части?!.

Подвойский звонит.

— Если есть споры, откроемте прения.

Ораторы записываются и выступают один за другим. Солдату, с детства привыкшему дома в деревне трястись за благополучие обособленной своей хатенки, за свою нивку, свою скотинку, за свой скарб и свой навоз, свойственно с недоверием относиться не только к татарину или «хохлу», но даже и к закадычному своему соседу. Откровенно этого никто из них, конечно, не скажет. Но:

— ... Как же можно им разрешать теперь формировать свои части, ежели, к примеру скажем, батарея. Ежели украинцы с пушкой от нее уйдут, полной батареи уже не получится...

— Товарищи, дело не в этом! Вы подумайте: кто формирует эти части?.. Если б это было требованием всего их народа! А то — украинское офицерье, украинские паны-помещики!.. Как же можем мы...

— ... Или вот пример вам: польский корпус! Во главе его — паны-магнаты. Своих «хлопов» зажали в кулак. Что ж, вы хотите...

Сталин выступает опять и уже со снисходительной, мягкой, но все так же уверенною улыбкой:

— ... Да, шовинистическая буржуазия этих народностей больше всех ратует за формирование своих национальных частей. Но кто же может верить серьезно в буржуазный патриотизм?! Разве во время Парижской Коммуны французская буржуазия и французские генералы не обращались за помощью к немцам, против них в тот момент воевавшим, чтобы общими силами подавить восстание французских рабочих?!. Легко может настать такой момент, когда русские помещики и капиталисты заодно со своими генералами нарочно сдадут неприятелю Ригу или Петербург, чтобы избавиться от революционных полков и революционных заводов. Разве некоторые генералы не советовали в Феврале Николаю открыть немцам фронт?!. Национальному патриотизму любой буржуазии — грош цена. Если украинские помещики агитируют сейчас за формирование национальных частей, они думают этим путем удержать своих рабочих, крестьян и батраков у себя в повиновении. Они запугивают их гнетом великорусской державности. Кто же у нас им помогает? Тот ли, кто этот гнет путем всяческих запрещений по отношению к ним продолжает, или тот, кто решительно рвет всякие цепи национального угнетения и призывает трудящихся к братству и к совместной борьбе против общего классового врага?!

Зал глохнет от бурных рукоплесканий.

Кто-то еще выступает. Но интерес к этим выступлениям падает — все стало ясным.

А в коридорах шум. Делегаты один за другим, любопытствуя, уходят из зала. Что ж там такое?

Высокий, рыжебородый, не то солдат, не то рабочий, — по простецкому костюму сразу не разберешь. Краснощекий. Открытый лоб. Голубой глаз чуть-чуть скашивает. Окружающие называют его кто «дядей», кто Лацисом. Говорит с прибалтийским акцентом. Должно быть, латыш. Вокруг него плотная масса слушателей из делегатов и подошедших рабочих. Голос у него крайне взволнованный

— Рэбята! Уже вчера у нас стали четыре завода. Сегодня ж, оказывается, «Розенкранц» разослал своих дружинников по всем полкам: кто из них выступит вместе с рабочими. Московский полк тут же решает: «Да, ждать дольше нельзя!» Я еле его убедил не выступать, пока не позовут центры. Еду оттуда в Первый пулеметный. Оказывается, розенкранцевцы успели побывать и там. Полк уже выступает. До хрипа кричу им: «Надо ожидать распоряжений из центра! Иначе будем разбитыми по частям». Тут подъезжают

два представителя от съезда или ВЦИКа и ставят солдатам вопрос в упор: выступит ли полк за анархистов? Ну, конечно, солдаты отвечают, что они не за анархистов, но разгромов таких не допустят и выйдут на улицу, когда позовет большевистский ЦК. Одного из вциковцев взорвало: стал восхвалять начавшееся наступление. Бывшие тут же анархисты воспользовались. «Смотрите, — кричат, — вам уже накидывают петлю, в бойню толкают! Не медлите, братья! Выступайте, пока вы в силах!..» Солдаты заколебались. Еле-еле отговорил их отсрочить до завтра. Завтра-де привезу им решение ЦК. А что будет завтра? Наверняка знаю, что завтра станут еще «Рено» и «Лесснер». Даже такой отсталый завод, как Кенига, и тот не дал сегодня говорить у себя вциковцам. Рэбята!— утирает Лацис платком пот с высокого лба, и голос его дрожит, — рабочая масса сейчас бурлит и бушует, я это и в ПК сейчас расскажу. Мы ее пока еще держим, но ее могут вызвать на улицу совсем помимо нас в любой момент. Тогда что нам делать? Оставить на улице на произвол или руководить? И то и другое страшно! Рэбята, остается одно: срочно требовать от Всероссийского съезда: «Берите, дьяволы, власть в свои руки, или мы не ручаемся за то, что произойдет!..»

— Правильно!.. Верно!.. — дружный хор окружающих голосов. — Нечего там канителиться! Надо гнать из дворцов всю эту жирную сволочь и захватывать власть самим!

— Товарищи, и наш Гренадерский тоже горит. Уже вчера вылезали на улицу. Я еле усовестил. Чтоб других пообождали. Но ежели вдруг кто пойдет? Ни за что тогда не удержишь!

— А чего ж еще ждать?! У нас, на «Франко-русском» заводе, вчерась в один день к нам в партию две сотни новеньких записалось. Народ теперь к нам валом валит, все видят, где правда. Чего ж еще ждать?!

— У-у-у, ребятишки, — подпрыгивает откуда-то взявшийся Кирилл Орлов. — В Кронштадте у нас сейчас все матросы на рожон лезть готовы. Зачем нашего Железнякова у анархистов тогда арестовали! Если правительство его не отпустит, штурмом пойдут на Питер.

— Товарищи! Я говорю от имени Первого пулеметного... — какой звонкий тоненький голос! Ну да, так и есть: безусый прапор Адам Семашко. — ... Я говорю от лица Первого пулеметного, и нам нельзя не выступать. Правительство потребовало от нас сегодня срочной отправки нами на фронт тридцати пулеметных команд. Это равносильно расформированию всего полка. Мы на это пойти не можем, и хоть мы и обещали давеча Лацису, но... Да и кто против нас? Лишь семеновцы и преображенцы! Волынский, Егерский и Литовский полки уже поколеблены и против нас не пойдут. Да и те, когда увидят...

— А Измайловский? А Кексгольмский?!. — Шум предостерегающих голосов.

— Да и путиловцы тоже, брат, не очень-то...

— Врешь! Путиловцы теперь все за нас, как один! Им правительство до сих пор прибавки не дало, а ты видишь: вся жизнь теперь — что ни час — дорожает! Сегодня там опять съестные лавки громили.

— Товарищи! Куда ж это вы все поуходили? Так нельзя! — растерянный голос прибежавшего сюда же Подвойского. — Скорее в зал! Сейчас с докладом о текущем моменте выступит Ленин!..

Споры прекратились. С шумом поспешно все валят в зал.

На трибуне угловатый солдат Антон Чугурин. Грозно хлопает по столу тяжелой мужицкой ладонью так, что стол трещит и трясется.

— Мы должны взять власть немедленно, безо всяких там разговоров! Вся масса требует! — Заключительный удар рукой по столу. Мрачно сходит.

Зал бешено рукоплещет.

И вот на трибуне, при напряженном внимании всех, появляется наконец Ленин. Горячие приветственные аплодисменты потрясают зал. Многие из делегатов видят его только впервые.

Легкий простой говорок. Шутливо прищуренный взгляд, кажущийся таким беспечным. Он закладывает руки в карманы брюк.

«Да, мелкая буржуазия, не будучи социалистической, может действительно оказаться настроенной весьма демократично. Пример этому эсеровские и меньшевистские массы. Но этого уже никак не скажешь об их вождях. Эти растеряли не только всякое подобие социализма, но и последние остатки демократичности. Особенно наглядно видно это на трех самых важных жизненных вопросах момента.

Первый — земля. Разве не разошлись эти социал-вожди с широкими массами крестьянства, оберегая от них помещичьи земли?

Второе — местное самоуправление. Местная власть и подавно должна быть выборной. А сейчас? Эти бесконечные распри и конфликты Временного правительства с местами!..

Третий — наступление. Ведь «социалист» Керенский добился того, чего не смог добиться явный империалист Гучков.

Что же делать нам, революционерам рабочего класса? Настойчиво и беспощадно разоблачать империалистическую сущность этих бывших социал-вождей. Глубже рыть между ними и массами пропасть».

Ленин как будто кончает. И чувствуется, что весь зал несколько разочарован этой стройною речью. «Рыть пропасть между массой и соглашательскими вождями?» Да кто же этого раньше не знал? Но разве сейчас вопрос в этом? Разве сейчас из-за этого один за

другим останавливаются все заводы и полки рвутся выйти на улицу? Разве социал-буржуазная власть не плюет сейчас всем нагло в лицо? Разве не беснуется сейчас по Невскому торжествующая буржуазия?!

— Уклоняется! — полунасмешливо кивает на Ленина стоящий рядом со мною прапор Адам Семашко. — Про мелкую буржуазию много наговорил, — шепчет он мне снисходительно, — а вот про всемирную революцию и немедленный захват власти — ни звука! Хитрый мужик, зубы нам заговаривает.

Не знаю, сейчас ли интуитивно понял Ленин это нараставшее в зале обывательски радикальное настроение, или таков был заранее обдуманный ход его доклада, но вот он внимательно смотрит в зал и говорит:

— Многие сейчас, даже здесь среди нас, заявляют о необходимости срочно взять правительственную власть в свои руки. Такие «советчики» сами не понимают, на что хотят они нас толкнуть.

Зал слушает эти слова с тревожным недовольством.

— Мы должны быть особенно внимательны и осторожны, — хитро прищуривается Ленин, — чтобы не поддаваться провокации. Один неверный шаг с нашей стороны может погубить все наше дело.

В зале нетерпеливое и недовольное движение. Слушатели смущены.

— Сейчас наступление, — мрачно басит с места солдат Чугурин, — а против всякого наступления надо переходить в решительную контратаку.

— Не всегда, — благодушно ухмыляется Ленин и поднимает бровь. — Надо сначала подтянуть все резервы. Давайте, товарищи, — сбрасывает он с себя все благодушие и становится сразу серьезным. — Давайте подробнее разберем теперешнее соотношение борющихся классовых сил. Что мы имеем в настоящий момент по сравнению с апрелем? Да, массы уже разуверились в буржуазном кадетском правительстве... Но они еще идут за соглашателями, за эсерами и меньшевиками. Не качайте пожалуйста головою. Результаты только что закончившихся выборов в районные думы наглядный тому пример... Что имеем мы даже здесь, в самом центре революции? За наш список подано всего сто пятьдесят тысяч голосов, и лишь одна из двенадцати районных дум нами завоевана. Что это значит? Это значит, что если бы и удалось сейчас взять власть, то наивно думать, что, взявши ее, мы сможем ее удержать.

Зал угрюмо, настороженно слушает.

— Возьмем другой показатель, — настойчиво продолжает Ленин. — Мы не раз говорили, что единственно возможной формой революционного правительства являются советы рабочих, солдат-

ских, крестьянских и так далее депутатов. Посмотрим теперь, каков же удельный вес наших фракций в советах? Даже в советах обеих столиц, не говоря уже о других, мы в меньшинстве. А что показывает этот факт? Нельзя от него отмахнуться. Он показывает, что массы в большинстве своем колеблются и еще верят эсерам и меньшевикам. Это — основной факт, и он определяет поведение нашей партии. Как можно толкнуть мелкую буржуазию к власти, если эта мелкая буржуазия теперь уже может, но вот не хочет брать эту власть!..

Нет, чтобы серьезно, не по-бланкистски итти к власти, — погрозил Ленин пальцем, — пролетарская партия должна бороться за влияние внутри советов, терпеливо, неуклонно, изо дня в день разъяснять ошибки масс, их мелкобуржуазные иллюзии.

И вот эту нашу правильную линию хотят во что бы то ни стало сорвать контрреволюционеры, — рубит Ленин в воздухе кулаком. — Они всяческими средствами пытаются спровоцировать нас на преждевременное, сепаратное выступление. Но мы на эту удочку не пойдем, — хитро прищуривается Ленин. — Нет, мы не доставим им этого удовольствия! — весело покручивает он головой. — А когда массы увидят, что соглашательское правительство их обманывает, так как находится всецело в руках российской и союзнической буржуазии и пляшет под ее дудку, а события последних дней, это начавшееся наступление, как нельзя лучше разоблачают этот обман, то массы придут к единственно не скомпрометированной партии, к большевикам...

Не нужно только предупреждать событий, — оглядел Ленин строгим прищуренным взглядом весь зал. — Выжидательная тактика — наилучшая сейчас. Время работает за нас неуклонно.

Он кончил. Дружный грохот аплодисментов. И все облегченно вздохнули. Мы конфузливо улыбались друг другу в глаза, стараясь не вспоминать, что за полчаса до этого говорили. Все ясно, как чистое стеклышко. Нет, теперь-то мы себя уже сдержим. Ай да Ленин! Так вот он какой, этот Ленин!

— Резолюцию! Резолюцию!

— Кто за?

Все руки разом рвутся ввысь.

— Кто против? Воздержавшиеся?.. Принято единогласно.

Оглушительные рукоплескания.

— Ай да Ленин! — восторженно выражают свое удовлетворение речью солдаты, выходя из зала на двор.

Ленин спускается по лестнице вместе с нами. Его провожают некоторые из членов президиума.

— Настроение вполне объяснимо, — продолжает оправдываться перед ним в чем-то Подвойский. — На что у рабочих потребовались годы последовательного развития от верноподданнических адресов

к царю до восстания, то у солдат уложилось всего лишь в три месяца. А это ль не успех нашей работы?! Наша «Солдатская правда» разносит большевизм в самую толщу народных масс. Жаль вот только, что у нас теперь уже нет больше денег. В типографию сегодня печем платить, а уж свою покупать и подавно не на что.

— Денег нет? — благодушно ухмыляется Ленин. — Такой, хвастаетесь, организованный аппарат, а не можете собрать себе денег?!. Почему ж вы не кликните клич к своим массам? Взяли бы вот сейчас грузовик, наклеили б плакат: «Сбор на типографию «Солдатской правды». «Жертвуйте, товарищи солдаты, судьба вашей газеты в ваших руках!» — да и поехали б сейчас же в объезд по всем полкам. Не сомневаюсь, что быстро бы на типографию денег набрали.

— А и верно, — растерянно сознается вслух Сулимов. — Чорт подери, давно бы так следовало сделать! Володька, Сацков! Звоника живей в Первую запасную автороту! Вызывай-ка оттуда товарища Киселева. Пусть мчится сюда поскорей на пятитонном грузовике. Плакаты-то мы живо сейчас заготовим!

Закатные лучи солнца золотятся в окошках верхних этажей соседних домов, когда мы выходим на двор. «Надо спешить в Ораниенбаум, — думаю я, — я и так уж запустил там все дела. Совет надо брать в свои руки. Только этим путем мы осуществим свои цели. И — выдержка, выдержка прежде всего!» — вспоминаю я слова Ленина.

— А все-таки у него узковатый подход, — спесиво кривится прапорщик Адам Семашко, догнав меня во дворе и кивнув вслед уехавшему сейчас Ленину. — Ну, что он тут наговорил нам с три короба о соотношении внутренних классовых сил? Разве сейчас в этом дело? Сейчас важно соотношение классовых сил во всемирном масштабе!.. Знаешь, на-днях я совершенно случайно прочел одну поучительную брошюрку. «Программу мира» Троцкого. Написана им уже здесь. Вот где ширь! Вот где глубина! «Национальные государства уже изжили теперь себя. Движение нашей революции, движение русского пролетариата мы не можем ставить в зависимость от настроений нашего крестьянства или мелкой городской буржуазии, или интеллигенции. Движение наше мы подчиняем задачам и целям всего европейского пролетариата. Мы ставим ставку на интернационализм!» Там нас немедленно же поддержат, и все дело тогда в шляпе! При чем же тогда вся эта нудная болтовня о том, сочувствует ли еще наше мужичье и обыватели эсерам и меньшевикам?!. Ну и чорт с ними, пускай их сочувствуют!.. Да, Троцкий — вот это ум! Даром, что еще не большевик! Он еще многому нас поучит!

Серые глазки Адама Семашки хлопотливо моргают. Птичий носик вздернут задорно. Забавный он человек. Но кто его знает, быть может, он по-своему отчасти и прав...

— Ленин напрасно лавирует, — говорит он мне, покровительственно берясь за пуговицу моей гимнастерки, — массы уже достаточно сознательны, уже достаточно кругом созрели. Возьми, к примеру, хотя бы наш полк. Нет, наших, когда они захотят выйти, им ни за что не удержать! Да и удерживать было бы преступно. Так что, милый друг, будь на-чеку! — подмигивает он мне воинственно.

«Вот чудак! Сумасшедшая голова! — думаю я про него беспокойно. — А впрочем, ничего он не сделает. У него там наш Ильинский. Он его обуздает».

Большой грузовик, весь наполненный рабочими, с грохотом подъезжает к нашим воротам. Один из рабочих, поправив куртку, быстро соскакивает с него вниз и бежит к нам в калитку.

— Ребята! — кидается он к нам, сурово насупя глаза. — На Невском сейчас — толпа буржуев так и валит. Портреты, оркестры, царские флаги. Настроение там такое, что — скажи, что ты большевик, — разорвут. Ребята! Вам надо быть здесь на-стороже! Все может случиться. Так чтоб не врасплох. Ребята! Мы снова сейчас туда поедем. Если что, — так мы сразу сейчас же примчимся сюда...

— Захватите меня с собой, товарищи, — упрашиваю я их. — Да, может быть, потом при случае подкинете к Балтийскому вокзалу?

— Ну, что ж, садись! А там видно будет. — Взоры сосредоточены, но добродушны.

С лязгом и грохотом переезжаем Троицкий мост, Марсово поле, Садовую... Вот и Невский...

Да, туда вдаль, к Казанскому собору, уходит большая толпа. Открыто, не так, как вчера, веют над нею трехцветные флаги. Поблескивают золотою парчей церковные хоругви. Дальнее гуканье труб оркестра доносится еще оттуда. Здесь же на углах тараторят летучие митинги. Рабочие останавливают свой грузовик и некоторые из них сходят и снуют возле него, делая вид, что ищут в нем неполадки. Я иду на угол. Здесь, на тумбе, стоит солдатик. Штаны продранные и запачканные. Лицо худое и изнеможденное. Должно быть — выздоравливающий раненый, фронтовик. Кучка барынек, купчиков и фланеров сочувственно окружает его.

— Мы приветствуем и присоединяемся! — сладкогласно выкрикивает солдатик и усердно кланяется на все стороны. — Мы приветствуем этот святой зов генерала, нашего главнокомандующего: «Война до победы!», «Да здравствует наступление!»

Толпа восторженно аплодирует.

— Да здравствует наступление! — еще сильней надсаживается ободренный вниманием солдатик. — Наши там истрепались, а другие сидят вот здесь, прикрывшись законом старого режима и ка-

питала! — сердито сверкает он серыми глазами из-под густых бровей. — Они здесь сидят и блаженствуют! — выкрикивает он гневно, не замечая растущего недоумения толпы. — Немедля таковых надобно вместе с жандармами, стражниками и полицейскими гнать к нам в окопы! Пущай-ка они идут сейчас там в наступление!.. А тех, кто кровь свою лил, кто много страдал, того — в Россию, на их места...

— Завираешься, братец, — осаживает его один из молодых щеголей, нервно играя тростью по упругой ляжке своей ноги. — Все сейчас должны итти в наступление. Армия, а не полиция. Жандармы, милый, тут ни при чем. Наступать должны вы, солдаты!

Толпа разочарованно расходится. Обескураженный солдат слезает с тумбы.

— Милый барин, да мы нешто против? — оправдывается он перед хлыщом. — Мы и все рады бы разом кровопролитье это приступпуть! Да вот шибко ужасно помирать при таких открытых дверях в России. Уж очень мы рады теперь все этой свободе. Каждому солдатику теперь охота посмотреть на светлую, милую теперешнюю жизнь, которую триста лет мы-тка ждали!.. Милый барин, да нешто мы против наступления?!.

Его робкий, просительный голос тонет в жужжании и шуме фланирующей толпы.

— Долой врагов капитала!! — вдруг грозно рявкает на всю улицу громоподобным басом какой-то бритый обрюзгший субъект с противоположного нам угла.

Публика шарахается и остолбеневает.

— Какая наглость! Что он кричит?!

— Ничего плохого я здесь не кричу, — дребезжащей октавою вразумительно объясняет субъект. — Мир держится на капитале. У него сейчас есть враги. Вот я и кричу: долой его врагов.

Кругом облегченно и задорно хохочут.

— Долой бандита Ленина! — грохочет он снова басом пропойцы на весь перекресток. — Арестовать Ленина!! Ленина надо немедля схватить!..

«Что он кричит?! На что зовет?! Как он смеет?!» — с внутренним возмущением вспыхиваю я и уже готов кинуться к этому негодяю.

— Осторожней! Не ввязывайтесь! — хватает рабочий меня за рукав и шепчет на ухо: — Изувечат. Здесь повсюду шпики. Министру Переверзеву правительство отпустило срочно сто тысяч на организацию его «контрразведки». Поспокойней! Решается дело не сейчас и не здесь...

«Да, он прав. — Залезаю на грузовик. Едем к Лиговке. — Так вот против кого обрушивается воинствующая буржуазия! Против Ленина! Против того, кто так настойчиво и убедительно предосте-

регал нас против каких бы то ни было выступлений сейчас. Неужели именно этим Ленин для них так опасен?!.»

Перед Владимирским проспектом навстречу снова толпа. Большая, понурая, мрачная. Солдаты. Бородатые, сгорбленные, пожилые солдаты. В передней шеренге уныло мотается красный плакат:

«Хлеба просили засеять побольше, так дайте ж его нам и убрать!»

— Настойчивые старички! — сочувственно шутят рабочие. — Только вряд ли Керенский теперь их отпустит. Вишь, в наступление попер!

Больше нет ни малейшей охоты прислушиваться к обывательским разговорам и сплетням в наших пригородных поездах. Ну, какое мне дело, что все сегодняшние газеты в один голос трубят, будто бы воскресная большевистская манифестация провалилась с позором и что на питерских крикунов и уличных демагогов не стоит тратить внимания, поскольку за Временное правительство твердо держится и ему доверяет Всероссийский съезд всех советов! Ну, какое мне дело, что Чернов с Церетелли произнесли вдохновенные большие речи, прославляющие наступление!.. Какое мне дело, что Керенский наградил наступающие полки красными шелковыми знаменами и присвоил им наименование полков «18 июня»!.. Да, они наступают. И пусть себе наступают. Выдержка, выдержка и еще десять раз неуклонно упрямая, большевистская выдержка!

25. ВЫДЕРЖКА

В Ораниенбауме жизнь не стояла. Уходящий июнь опьянялся медовой сытью липового цветения, шумел зелеными ворохами мартышкинских пышных садов, звенел нарастающим буйством дерзких солдатских глоток:

— Эй вы, советчики! Что ж вы совет-от не собираете?! Смотрите, опять демонстрации дождетеся супротив себя!..

А разухабистый солдат-растрепа, не то эсер, не то анархист, Алексеев, мотаясь, невзирая на зной, в зимней драной шинеленке, орал во все горло по всем осовевшим от летней жары ораниенбаумским перекресткам:

— Ей-бо-пра, они дождутся! Собственноручно вот харю набью хотя б и самому Филипповичу, ежели он, сука, к завтрашнему совет не соберет!

Из Питера ползли зловещие слухи. Демонстрации барынек, столичных хлыщей и лоботрясов беснованись на Невском в течение нескольких дней. Члена нашей военки, солдата Елина, продававшего «Солдатскую правду», толпа выволокла из трамвая и зверски

избила. Парня с проломленною головою отправили тут же в больницу. Едва ли, бедный, выживет. Ну как же после этого не вскипеть?!. Но мы говорим всем упрямо: «Товарищи, выдержка!» Об этой мучительной выдержке изо дня в день настойчиво нам трубят большевистские наши газеты. А военка, так та прямиком публикует: «Арестовывайте всякого, кто придет вызывать вас на улицу!..»

А тут все наши команды облетела свежая новость. В Петергофе юнкера с солдатами подрались. Юнкера местных школ прапорщиков тоже решили по примеру Питера отпраздновать наступление. Раздобыли, как водится, портреты Керенского, трехцветные флаги, намалевали плакаты с цветистыми надписями: «Долой большевистских шпионов!», «Да здравствуют Керенский и Брусилов!» — и под лязг духового оркестра пошли маршировать по тенистым улицам Петергофа. Поровнялись с казармами Третьего полка. Солдаты четвертого батальона с любопытством высыпали им навстречу. Посмотрели на портреты «наступателя» — ухмыльнулись. Прочитали плакаты — нахмурились.

— Это кто же у вас шпионы-то эти самые, уж, часом, не мы ли?

— А хотя бы и вы!..

— Ах, так?!!

И поехало. Завертелась всеобщая свалка со скуловерчением и крошением зубов. Пятеро юнкеров оказались крепко избитыми, с десяток полетели с моста в овраг и поплатились за свой воинственный пыл вывихами и ушибами. Клочья разодранных флагов, прорванные ногами портреты, переломанные рамы и древки остались на месте следами битвы.

Вечером приковылял к нам в Мартышкино один из пострадавших, бывший наш пятивзводник, сынок псковского лабазника, рыжий веснущатый Анисимов. Шея его была старательно запакована в густое марлевое ожерелье, а под правым затекшим глазом переливался желто-сиреневой радугой вспухший багровый синяк.

— Ну и разукрасили ж тебя, милок! — шутливо встречали его наши мартышкинские солдаты. — Нелегко, знать, приходится зарабатывать офицерскую звездочку?!.

— Мы им покажем еще! — петушливо вскидывался Анисимов. — Делегация наша сейчас поехала в Питерский исполком. Мы добьемся во что б то ни стало, чтобы паршивый этот полчишка немедленно же расформировали.

Рано утром во всех командах была получена телефонограмма: «В 10 утра созывается Ораниенбаумский совет. Всем депутатам прибыть аккуратно».

А наутро, лишь встало солнце, все наши большевистские депутаты уже были собраны нами в канцелярии штаба кольтовских пулеметных команд. И здесь мы решили: не зная повестки текущего дня, выступать обдуманно и согласованно, четко следуя поведению

своего лидера. Лидером они единогласно избрали меня. Уговорились: сплоченною гурьбою сесть на передних скамьях налево. На самой передней будем — Горшков, Племянников, Батманов и я. Этой же дружной ватагой мы и ввалились в зал заседаний советов. Мы пришли аккуратно, но и в зале уже было полно. Намеченные нами места оказались занятыми другими.

— Потеснитесь! — сказали решительно мы. — Пересядьте отсюда на другие места, а здесь сядет сейчас большевистская фракция.

— Большевистская фракция?!. — шопотливым говором это крылатое слово вмиг всполошило весь зал.

Места нам уступили.

Председательствовал омич, солдат Колыбин. Он сурово и пренебрежительно взглянул на нас и предложил повестку дня. Прежде всего: выборы двух секретарей совета. Затем обсуждение петергофских событий.

Мы выжидали, молчаливо нахмурясь под вопросительными взглядами остального зала. Порядок дня был утвержден. Неожиданно сбоку подсел ко мне поручик Жендзян.

— Моих ребят, левых эсеров, здесь со мною человек восемнадцать. Я очень прошу поддержать сейчас в секретари одну нашу кандидатуру. Прапорщика Ярцева. Вот он сидит там, худой, черный, высокий.

— Почему б и не поддержать? — отвечаем мы.

В это же время поднимается Судаков и предлагает в секретари разбитного солдатика Болотина.

— Да ведь он же не член совета! — кричит ему с места один из наших солдат, Белов.— Его наша команда не только не выбрала, но и решительно отвела!

— Нет, он — член совета, — упрямо твердит Судаков. — На прошлом нашем заседании мы его кооптировали. И он незаменимый секретарь!

— Кто за? — сурово басит Колыбин.

Я руки не поднимаю, и все большевики — тоже. Но остальной зал вскидывает руки единодушно.

— Как же вы голосуете за? — накидываюсь я на Жендзяна. — А сами же только что предлагали голосовать нам за вашего Ярцева!

— Так я же не знал накануне, что вы будете голосовать за него, — отвечает Жендзян, виновато потупясь, — мне пришлось поэтому договариваться с исполкомом, что мы будем голосовать за их Болотина, если они проведут нашего Ярцева.

— Вот оно что! Комедия, оказывается, разыгрывается у вас здесь, как по нотам! Ну, знайте, Жендзян, мы не будем голосовать за вашего Ярцева, если по всем остальным вопросам вы не будете голосовать вместе с нами.

Жендзян обещает. Мы голосуем и проводим Ярцева, хотя треть зала голосует против него. Жендзян смущен и взбешен.

— Вот любуйтесь, Жендзян, как они вас надувают!

После выборов секретарей Колыбин переходит к петергофскому вопросу.

— Вам уже, наверное, известны те печальные события, которые произошли там третьего дня, — говорит он. — Один из юнкеров, бывший раньше солдатом нашей учебной команды, передавал нам кошмарные подробности этой гнусной большевистской расправы над беззащитными...

— Если угодно вам обсуждать этот вопрос, — прерываю я его с места, — то давайте его обсуждать во всей полноте, в тесной связи с объявлением наступления на фронте и готтентотскими вакханалиями на Невском проспекте, где сейчас избивают до смерти большевистских солдат. Я предлагаю...

— Прошу мне не указывать! — дерзко обрывает Колыбин. — Здесь пока я председатель. Я предлагаю совету прений не открывать, а заклеймить позором гнусные действия петергофских большевистских солдат. Я предлагаю...

— Напредлагался! Хватит! — рявкает вдруг сзади нас басом неистовый Алексеев. — Очченно жалко, что заодно с юнкерами и вам всем там в Петергофе не наклали по шее.

— Позор!.. Вон!.. Долой!.. — поднимается рев в правой части совета.

— Мы голосуем против предложения Колыбина, — поднимаюсь я. — В Петергофе была обоюдная свалка, подогретая наступлением, и выносить порицание одной стороне — преждевременно.

Колыбин настаивает на голосовании. Около полусотни рук воинственно поднимаются за.

— Кто против?..

Голосуем мы, затем Жендзян со своими и Бровкин.

— Большинство! — торжествующе гремит Алексеев.

— Пересчитать... Подсчитать!..

Подсчет обнаруживает, что у нас действительно большинство в пятьдесят пять голосов. Перевес всего лишь в пятерке, но предложение Колыбина отклонено.

Восторженные наши рукоплескания закрепляют такую победу. Теперь мы задорно оглядываемся и смелеем, но еще не знаем, с чего начать. Бровкин, преодолевая волнение, предлагает сейчас утвердить нового командира кольтовских команд, выбранного всем батальоном. Я дополняю вопросом о перевыборе депутатов в Петроградский совет. Батманов ставит вопрос об отмене запрещения отпусков. Колыбин вынужден все это поставить на голосование. Напрасно выкрикивает нам с места угрозы разъяренный Баскирев. Тщетно брызжет слюной взбешенный Пигаревич, а по-

зеленевший от злости Громыко готов всех нас сожрать глазами. Наше сплотившееся большинство дружно проводит все, что мы выдвинули. Командиром утверждаем Жендзяна, в Петроградский совет выбираем наших большевиков, солдат Новикова и Белова, предоставление отпусков постанавливаем возобновить.

Подобный успех нас окрыляет, и я предлагаю теперь же произвести перевыборы исполнительного нашего комитета, состав которого не отвечает требованиям депутатов. И вот тогда лишь, откуда-то из-за спин президиума, появляется и сам Филиппович. С вкрадчивою улыбочкой он предлагает перенести этот вопрос на ближайшее заседание совета, назначив его дня через три.

— Я старый большевик, — произносит он важно и уравновешенно, — и просто не понимаю мальчишеской поспешности в столь серьезных делах. Кандидатуры в исполком надо предварительно обсудить всесторонне.

Спокойный тон, козыряние своим большевизмом производят на нашу фракцию впечатление. Я вижу нерешительность в глазах многих товарищей. Да и по существу—он прав. Поэтому мы не возражаем против переноса этого дела на ближайшее заседание.

«Куда они от нас денутся? — торжествующе ухмыляемся мы про себя. — Ведь и так первое же наше выступление в совете сплотило наши ряды и дало нам полную победу. Совет теперь в наших руках, теперь он завоеван нами прочно».

— Вот теперь-то мы им покажем! — шутливо грозит Бровкин назад кулаком, когда мы все вместе выходим на улицу. — На следующем заседании надо первым поставить вопрос о лишении депутатских полномочий всех этих накооптированных ими членов. Поди, больше половины голосовавших сегодня против нас совсем не депутаты, а липа!

Конечно, Бровкин прав, как прав и Жендзян, предлагающий устраивать для всего нашего блока интернационалистов предварительные совместные фракционные совещания накануне заседаний совета. Все это надо осуществить непременно, но все это мелочи. Основное, главное нами уже сделано: совет теперь наш. Разве это не подлинное осуществление на деле нашего большевистского демократического завоевания власти, к чему ежедневно всех нас призывает «Правда»?! Разве это не выполнение задач, непосредственно данных мне Лениным?! В таком мальчишеском горделивом ликовании я решаю—назавтра же рано утром поехать к Владимиру Ильичу. То-то он будет рад!

Хорошо раннее летнее утро в Мартышкине. Тенистые клены, раскидистые черемухи, узорно-перистые рябины таят в своей зеленой глуши душистую свежесть земляники. Простодушные зяблики прыгают с ветки на ветку, рассыпаясь заливистой незатейли-

вой песенкой. Золотистые солнечные зайчики стайками бегают взад-вперед по упругим песчаным дорожкам. В мареве розовой дымки замер сиреневый Финский залив. Какая разлита повсюду мирная тишина! Только изредка прохрустит по шоссе солдатская двуколка каптера, и дробно разносится тогда по окружным встревоженным папоротникам стук копыт мохноногой каурой лошаденки. Да где-то там, за выщербленным частоколом убогого палисада, на утонувшей в деревьях дальней даче, слышны солдатские полусонные голоса... Но вдруг... Что это?.. Да, так и есть: стрекочущий звонкий грохот стреляющего пулемета. Что б это значило? И как будто бы в моей 17-й пулеметной команде! Поспешно устремляюсь туда. Стрельба стихла так же внезапно. Как срезало. И какая мертвая наступила тишина! Ни зябликов, ни хруста двуколок. Даже солнечные зайчики, казалось, замерли на дорожках... Но нет! Бешеный грохот новой стрельбы... Бегу в проломанную щель палисада, мимо дачи команды, прямо к заливу. Здесь на берегу, возле кустов, как пойманный дикий гусь, неистово бьется в руках у солдата нацеленный на спокойную водную гладь кольтовский пулемет. Окружающие его трое солдат быстро вскакивают при моем появлении.

— Товарищи, что вы тут делаете? — сдавливаю я в своем голосе беспокойство.

— Так что пробуем, товарищ начальник, — приветливо, но как-то сконфуженно, отвечают солдаты и затем уверенней добавляют: — Это, чтобы совсем нам не разучиться стрелять.

— Стрелять, товарищ начальник, не сегодня, так завтра, а придется нам во всяком разе! —спокойно поднимается с земли наводчик и отряхивает с колен приставшую вместе с песком сухую листву. — Без пулеметов никак не вышибешь проклятых буржуев из позасиженных ими дворцов! — кончает он решительным жестом и веселым внимательным взглядом следит исподлобья за мной.— А насчет порядка вы не сумлевайтесь, — улыбается он радушно.— Мы кажный день чистим свои пулеметы... Ежели что или как, так мы — в любой момент!.. — Он гордо встряхивает рябоватой своей головой, и фуражка его воинственно съезжает на самый затылок. — Мы, товарищ начальник, — добавляет он настороженным полушопотом, — кажный день, кажный час здесь ждем, когда вы нас позовете...

Что им ответить? Что им сказать? Ребята по своей собственной воле и сознанию стараются быть на-чеку: тренируются в стрельбе, начищают свои пулеметы. Встревоженный блеск пробегает искрой в насупленных их глазах. Неумолимо и жестко сжимаются в этот миг их крепкие челюсти. Как бы не вспыхнул от этих искр тот преждевременный пожар, которого все мы так опасаемся. Впрочем, здесь, в Ораниенбауме, где совет уже в наших руках...

Ленин встретил меня приветливо и вместе с тем деловито все в том же сером и пыльном узеньком коридорчике в угловом доме на Мойке, где помещались теперь и редакция «Правды» и руководящее бюро ЦК.

— Помните, Владимир Ильич, — начал я несколько торжественно, — как месяц тому назад вы мне дали задание сделать Ораниенбаум большевистским? Тот Ораниенбаум, — продолжаю я хвастливо, — в котором тогда встречали большевиков неистовым свистом!.. — Тут я делаю самодовольную паузу. Глаза Ленина, быстрые, карие, внимательно ощупывают меня всего. Какая-то смесь радушия и снисходительного любопытства притаилась в его коротко подрубленных рыжеватых усах. «Он еще не знает о моих успехах, и отсюда его снисходительное настроение», — думаю я, и мне хочется длительно предвкушать удовольствие предстоящего полного моего торжества. — Так вот, Владимир Ильич, — говорю я наконец нарочито скромно, — ваше задание мною выполнено теперь целиком. «Почему именно — мною? — одергивает меня внутренний голос. — Разве ты работал там над организацией только один?» Но этот голос и робок и мимолетен. «Дело не в этом», думаю я и продолжаю: — Большевистская наша организация охватила в настоящий момент своими ячейками все команды, партийный наш комитет проводит твердое руководство и может смело сказать, что массы теперь там — за нами. Смогут выступить вооруженными по первому нашему зову! — говорю я с задором, вспомнив про утреннюю пулеметную стрельбу.

— Лишь бы без зова не выступили! — шутливо кивает мне Ленин, и лицо его вдруг становится сосредоточенным и серьезным.— Нетерпение и горечь, накопившиеся у солдат и рабочих, конечно вполне понятны. Но надо теперь нам во что бы то ни стало удержать их от всяких уличных выступлений. Нам еще предстоит пройти целый этап революции. Социал-соглашатели потерпят крах неизбежно в самое ближайшее время. Это сразу отбросит от них к нам огромные массы. Надо только сейчас суметь переждать терпеливо настоящее тяжелое время... Ну, а как ваш совет? — недоверчиво прищуривается Ленин, роняя этот вопрос как бы вскользь. Однако в голосе уже чувствуется мягкость.

— Совет? — переспрашиваю я. — Мы выполнили все указания нашей партии касательно переизбрания совета, — начинаю опять я бахвалиться. — Правда, мы не добились его полного обновления, — глотаю я эти слова, — но дополнительными довыборами и проведением на них депутатами наших солдат-большевиков мы достигли теперь там у себя подавляющего большинства, и Ораниенбаумский совет отныне всецело в наших руках!

Взор Ленина сразу светлеет, возбужденно-радостно искрится, горячие его лучи глубоко проникают в мои глаза.

— И каково же теперь соотношение сил в вашем совете? — уже совсем по-иному, с задушевной заботливостью начинает расспрашивать меня Владимир Ильич. — Каково деление партий?

— Меньшевики и эсеры попрежнему против нас, резко враждебны, но несколько смущены неожиданным нашим успехом. Нам удалось там отколоть от них к себе в блок десятка два левых эсеров да троечку интернационалистов-меньшевиков.

— Превосходно! — с восхищением хлопает себя Ленин руками по брючным карманам. — Это вы молодцом!.. Ну, и каков же партийный состав вашего нового исполнительного комитета?

— Нового исполнительного комитета? — растерянно переспрашиваю я. — Видите ли, нового-то мы еще не выбрали. У нас еще пока старый, меньшевистско-эсеровский, оборонческий исполнительный комитет. В последний раз мы еще не успели его переизбрать, но вот завтра иль послезавтра...

— Зачем же тогда приходите вы ко мне с прекраснодушною интеллигентскою болтовнею?! — неожиданно вскидывает Ленин руками, и взгляд его гаснет, твердеет и становится матово-черным. — Неужели вы, серьезный человек, не можете уберечься от этих хвастливеньких побасенок?!. «Не успели переизбрать», — извольте ль видеть! — «Мы, дескать, завтра иль послезавтра», — передразнивает меня Ленин с нескрываемым раздражением. — Да завтра иль послезавтра, а быть может, еще и сегодня они сами, любезнейший мой, находясь еще у руля власти, покажут вам всем там такую кузькину мать!.. Как же это самое главное, а вы вдруг так проглядели?!. Прохлопали!.. Ничего вы, голубчик мой, основательного, решительного в Ораниенбауме еще не сделали, — говорит мне теперь Ленин укоризненно и сурово. — Начали вы все очень правильно, а до конца ничего не доделали, и судьба вашей организации пока еще в руках вашего классового врага. Вот когда переизберете вы свой исполком, посадите туда верных и твердых своих людей, когда вырвете власть из лап меньшевиков и эсеров, вот тогда приходите ко мне и бахвальтесь сколько угодно, что вы то то и то то там сделали. Тогда это будет законно. Тогда это будет соответствовать фактам. А теперь?.. Что теперь?.. Теперь пока до свидания!.. — снисходительно и благодушно он трясет мою руку. — Вот тогда приходите немедленно и всенепременно! — взмахивает он мне на прощание рукой, как всегда озабоченно и торопливо уходя к себе в кабинет.

«Вот тебе фунт! Вот тебе и торжество! — язвительно посмеиваюсь я над собой, спускаясь по тусклой каменной лестнице вниз. — И чего это он так на меня раскипятился? Подумаешь, в самом деле, не успели переизбрать исполнительный комитет! Вот на послезавтра назначено новое заседание, тогда мы его и переизберем. Экая, поди, невидаль! Так это он, зря на меня почему-то накинулся.

20*

Послезавтра приду, посмотрим тогда, как будет стыдно ему за эту вспышку».

Машинально направляюсь к нашей военке. Ведь нельзя ж не зайти. Надо узнать, чем закончилась конференция. Да, кроме того, могут быть еще и другие новости.

Возле Троицкого моста меня встречает Рошаль.

— Брось, не ходи туда, — начинает он меня уговаривать, — власти опять сейчас выселяют там наш злополучный ПК. Бокий бегает, как угорелый. Достали ему четыре комнаты на Галерной улице, да разве в них разместишься?!. Вот военка, так та решила нипочем не выезжать. Впрочем, там сейчас и нет из военщиков никого. Конференция еще вчера кончилась. Сегодня с утра все делегаты — у нас, в Кронштадте, в гостях.

— Свежий выпуск! «Маленькая газета»!.. арестован!.. Ленин должен быть арррестован! Над большевиками будет начато следствие! — с гнусавою монотонностью выкривает у Летнего сада газетчик.

— Слышишь? — брезгливо кивает Рошаль в его сторону. — Черносотенцы действительно что-то готовят. И, быть может, не впустую. Массы накалены всюду до крайности. Ты знаешь, я ни за что бы не приехал сегодня сюда, да вот приходится, чорт подери, расхлебывать этот дурацкий ералаш с анархистским погромом. В Кронштадте у нас из-за этого, знаешь ли, дым коромыслом. Затесался, видишь ли, тогда у Дурново к анархистам один наш матрос с «Пересвета», Железняков. Его там вместе с другими и арестовали. Теперь у нас все матросы разъяренными медведями ревут, требуя его освобождения. Грозят всей оравой итти на Питер, если правительство его не выпустит. Еле мы их уломали ограничиться делегацией. Выбрали семерых, в том числе: меня от большевиков, Брушвита от левых эсеров и Ярчука от анархистов. Третьего дня мы уже были в министерстве юстиции, на горло брали, чтоб освободили тех анархистов, которые ни в чем не повинны, и в том числе Железнякова. Переверзев сослался на противодействие преображенцев. Мы пошли тогда в полк. Оказалось — утка. Тогда мы снова к министру уже с бумагой от преображенцев. Покривился, поморщился Переверзев, но обещал освободить в трехдневный срок. Сегодня вот срок истек, а они все еще сидят. Нынче ночью все команды линкоров хотели сниматься с якоря и итти в Питер громить Зимний дворец. Еле-еле опять удержали. Ты представляешь, что бы тогда здесь творилось?! Вот и пришлось нам сегодня снова приехать сюда, в Питер. Иду вот сейчас в министерство. Ярчук с Брушвитом меня там уже дожидаются. Будь так добр, пойдем сейчас вместе с нами! Все-таки ты офицер. Этим зубрам золотые погоны, знаешь ли, импонируют...

— Что за вздорное предложение! Какое имею я отношение к вашей кронштадтской делегации?

— Брось, парень, ломаться! Ведь ты же из Ораниенбаума, а это рядом. Мы тебя сейчас же кооптируем в состав нашей делегации как представителя от Ораниенбаума.

— Вот чепуха! Какой же я представитель? Кто меня уполномочивал?

— Что ж, не могла бы, скажем, уполномочить тебя ваша партийная организация? Да можно и безо всякого представительства. Так, за компанию с нами. Неужели ты отказываешься нам помочь?! Ведь не в вертеп же мы тебя тащим в конце-то концов, а в самое, что ни на есть, законнейшее министерство!

Внизу — почтительнейшие старички-швейцары. Подозрительно покосились на обдрипанные внизу до бахромы, заплатанные рошалевские брюки. Однако пропустили. Вот сверкающая мрамором ступеней лестница. В приемной, той самой приемной, через которую когда-то я проходил к двурушному Керенскому, теперь действительно дожидались Рошаля, мрачно понурясь, коренастый патлатый Брушвит и рыженький, словно гусенок ощипанный, низенький юркий Ярчук.

— Мы тебя не дождались и уже были у Переверзева, — кинулись они оба к Рошалю. — Этот иезуит повторяет, что принципиально против освобождения Железнякова на поруки он теперь не возражает, но вот практически это-де надо провести через прокурора палаты Каринского. Мы решили дождаться тебя. Что они нас посылают от Понтия к Пилату?!

— Ладно, идем, — решительно буркнул Рошаль. — Знакомьтесь вот, это — ораниенбаумский наш товарищ, — кивнул он на меня. — Ну, а где ж здесь берлога этого самого Каринского?

Курьер проводил нас до дверей его кабинета и впустил туда, предварительно доложив прокурору, что явилась к нему кронштадтская делегация. Каринский, плотный, лоснящийся, круглый, лысеющий господин, затиснутый в крахмальные оковы манжет и воротничка, оглядел нас всех внимательным, настороженным взглядом и после этого холодно предложил сесть. Сели.

— Чем могу?..

— Как — чем могу? Разве Переверзев ничего вам не сообщал? Ведь мы только что от него, и он обещал сейчас же звонить вам...— Брушвит сердито взмахивает своей гривой. Загорелое, темное лицо его покрывается красными пятнами раздражения. — Ведь речь идет все о том же Железнякове и о тех анархистах, в отношении которых непричастность к побегу арестованных из тюрьмы установлена вами же полностью.

— Видите ли, — поднимает Каринский лукаво свои круглые брови на упитанном и масляном лбу, — видите ли, следствие по этому делу полностью далеко еще не закончено...

— Но было же постановление ВЦИКа закончить следствие в трехдневный срок! — не унимается Брушвит.

— Чем же мы виноваты, — нагло ухмыляется Каринский, — если часть арестованных до сих пор не открывает своих имен и отказывается от показаний?!

— Да, но те, на освобождении которых мы так настаиваем, — судорожно поднимается теперь Рошаль, — они-то давно уж открыли вам свои имена и дали подробные показания! Почему ж вы их до сих пор...

— Какие вы простаки! — шутливо пожимает округлыми плечами прокурор и, косясь глазом, начинает тугим толстым пальцем скоблить какое-то пятнышко на шелковом отвороте своего черного сюртука. — Как вы не понимаете, что их освобождение задерживается незаконченностью следствия у остальных. Вот если бы они согласились назвать имена этих упорствующих своих сотоварищей...

— Как вам не стыдно?! — гневно вспыхивает Рошаль. — Вы хотите подбить их на провокацию! Даже в жандармских застенках царского режима — и то, знаете ли...

— О жандармах мы помолчим! — злобно багровеет Каринский. — При старом режиме я, как защитник политических обвиняемых, немало спас от ссылки и каторги...

— Так как же вы теперь предлагаете такую гнусность?! — размахивает Рошаль руками перед его лиловым носом. — Одного вы при аресте уже ухлопали!..

— Никто никого не ухлопывал, — сдавленным голосом выжимает из себя прокурор, — Аснин покончил тогда с собой сам, самоубийством...

— Но теперь-то разве вы не понимаете, что держа за решеткой ни в чем не повинных арестованных, вы подливаете масло в огонь уже и так еле сдерживаемых низовых масс? — кипятится Рошаль. — Что ж, вы не знаете, какое брожение разрастается сейчас в Кронштадте?!

— В Кронштадте... — спесиво ухмыляется сочными губами Каринский. — Ведь вы же там у себя самостийность уже развели! Какое же вам теперь дело, кронштадтцам, до остальных наших русских дел?!

— Я — анархист! — вдруг вытягивает свою тонкую шею Ярчук, взволнованно бегая по сторонам выпуклыми голубыми глазами. — Но я до сего времени самоотверженно сдерживал массы. Теперь же, после ваших издевательских слов, нет, пусть идут они теперь к вам сюда, эти массы! Вы крови их жаждете! Крови! — вскакивает он со стула, и стул падает, задетый ногой.

— Нехорошие слова наговорили вы здесь, господин прокурор, — поднимаюсь теперь и я в свою очередь.

— А вы кто такой, господин офицер? — разъяренный, пронзительный взгляд вновь багровеющего прокурора.

— Ораниенбаумец я, и должен по чести вам засвидетельствовать, что такое же всеобщее народное возмущение вашей политикой и поведением наблюдается сейчас и в нашем Ораниенбауме. Гарнизон наш не мал, и волнуется, как и в Кронштадте, неимоверно, и наши солдаты уже и сейчас с грозным умыслом чистят свои пулеметы. Неужели так жаждете вы братоубийственного кровопролития?!

— К чему этот тон и все эти угрозы? — спокойно откидывается в своем кожаном кресле упитанный прокурор. — Поверьте, я и сам заинтересован в скорейшем освобождении всех анархистов. Я сейчас же освободил бы всех их сам, если б только это зависело от меня одного. Сами судебные власти, закончив все следствие, поставят вопрос об изменении мер пресечения. Пожелаю вам всего доброго!

Он встает, этот грузный, шарообразный блюститель демократического правового порядка, и строго кивает нам своей лысиной.

— Ну их всех к чортовой матери! — гневно сплевывает в приемной Рошаль на вощеный начищенный глянец паркета. — Никогда в жизни ни один чорт не затащит больше меня к этим откормленным живодерам!..

Они все уходят, а я остаюсь. Я остаюсь один в министерстве. Для меня все теперь ясно. Власть, в лице министерства юстиции, сознательно хочет сейчас спровоцировать массы. О, как они были бы рады увидеть вот здесь, на улице за окном, на этих сухих и горячих от вечернего солнца каменьях, разъяренные черные толпы выведенных из терпения людей и кровь, разбрызганные по панели мозги! Они с нетерпением жаждут этого кровопускания. Выдержку — нам упорно советовал Ленин. О, эти здесь тоже знают отлично, для чего и на что они нас зовут!.. Но где же, какие можно найти сейчас средства, чтобы этому безумию помешать? Я вспоминаю, что здесь же когда-то работал при Керенском Данчич. А что, если он еще здесь?.. Курьер почтительно склоняется при этом имени, когда я его называю.

— Секретарь его высокопревосходительства господина министра? Вторая дверь по этому коридору направо.

Действительно, Данчич сидит в этом проходном кабинете, склонясь над письменным столом за чтением каких-то бумаг. Он мало сейчас изменился, хотя я около трех месяцев его не видал. Такие же сметливые серые глаза, скромно подстриженные волосы, уравновешенность и радушие во взгляде. Только появившаяся округлость его юных щек свидетельствует о росте его спокойствия и довольства. Он сейчас любознательно удивлен моим появлением и приветливо встает мне навстречу.

— Данчич! — крепко, по-дружески жму ему руку. — Все, что делается сейчас здесь у вас, Данчич, — безумный кошмар! — говорю я с дрожанием в голосе и, порывисто сев рядом с ним, торопливо стараюсь ему передать разговор с Каринским. — Да, я большевик! — говорю я с горячим апломбом. — Я не верю в социал-соглашательский выход из этого тягчайшего кризиса всего мира. Но кем бы я ни был, мы зовем массы только к мирному завоеванию власти через усиление наших фракций в советах путем перевыборов. Но скажите мне, Данчич, куда толкаете теперь эти массы вы?.. Контрреволюция, махровая черная контрреволюция взбесившихся помещиков и буржуа, вакханалии которых вы можете сейчас видеть на Невском, — вот что начато вами сейчас этим походом на анархистов, которых вы сознательно продолжаете морить за решеткой.

— Это неверно! — начинает горячо возражать Данчич, порывисто схватив меня за руки. — Уверяю вас: все это неверно! — а сам тревожно оглядывается на двери.

— О если бы вы были правы! — с горечью усмехаюсь я. — Я пришел к вам, Данчич, потому, что вас знаю. Знаю за честного и искреннего человека. Я ни за что не хочу верить, Данчич, чтобы вы были на стороне тех, кто лелеет сейчас подлую мысль учинить кровопускание революции и готовит ей гроб.

— Что вы?! Господь с вами! — машет Данчич руками.

— Почему ж вы тогда держите анархистов? Держите за решеткою даже тех, которые уже заведомо ни в чем не виноваты!

— Дорогой мой! — тревожным шопотом объясняет мне Данчич. — Прежде всего успокойтесь. А потом уж давайте об анархистах. Ни Переверзев, ни Каринский, поверьте мне, здесь ни причем. Делом этим ведает непосредственно Совет министров. Следствие ведет самостоятельно товарищ прокурора палаты, Иван Павлович Бессарабов, такой же в прошлом маленький адвокат, как и я. Конечно, можно было бы заподозрить, что ради карьерных своих соображений он немножечко тянет и раздувает все это дело, но уж я-то, во всяком случае, этак не думаю. А впрочем, он должен сейчас ко мне сюда притти сам, и таким образом вы непосредственно убедитесь в справедливости моих слов.

Через минуту действительно сюда входит моложавый, неопределенного цвета мужчина с красноватым помятым лицом, одетый в модный, но тоже помятый и давно уж не чищенный синий костюм.

Ну, как, Дмитрий Дмитриевич? — обращается он к Данчичу, устало зевая. — Что новенького за сегодняшний день на наших юридических горизонтах? Я вот только что выбрался со Съезда советов. Наконец-то, слава богу, закрылся. Тощища такая, что я несколько раз засыпал и чуть не свалился со стула. Выбрали -

они там сейчас новый ВЦИК из трехсот членов. Большевиков прошло всего только тридцать пять да десятка два всяких там левых интерлациоланистов. — Язык у вошедшего явственно заплетается. — Остальные все — наши: социалисты-революционеры и меньшевики. Слыхал, как большевистский трубадур Демьян Бедный теперь их прозвал? «Либер-дан-овцы»! Ха-ха-ха! Ты подумай-ка, в самом деле: либердановцы-белибердановцы! Ловко! Уестествил их, мазурик!

— Постой ты, — смущенно берет его Данчич за пуговицу, — вот знакомься. Это мой хороший приятель, ораниенбаумский офицер-пулеметчик. У него, видишь ли, имеются серьезные опасения, что твоя волынка с неосвобождением этих твоих анархистов может вызвать...

— Ерундистика! — невозмутимо отмахивается Бессарабов, стараясь пошире распялить свои сонно смыкающиеся глаза. — Мне вон доктор Манухин тоже все утро надоедал, чтобы я срочно выпустил из Петропавловки всех арестованных там старорежимных сановников, в противном-де случае их тамошний гарнизон укокошит. А что же, спрашивается, если я их выпущу, там на улице их завтра же не перекокошат? Не по Невскому же в манифестациях они будут все время гулять! Ерундистика, мои милейшие! Надо знать, кого и куда выпускать. Я вот взял да и перевел их всех сегодня из крепости на Фурштадтскую улицу, в помещение бывшего жандармского управления. И спокойно им теперь и комфортабельно, и никто их там кокошить не будет. Не знаю вот только, куда теперь девать все новых и новых переводимых сейчас сюда из тюрем Кронштадта морских офицеров. Фурштадтская теперь, выходит, в доску забита. Не скоты же они, на самом-то деле, а люди!..

— Об этом ты, милый, потом мне расскажешь, — одергивает его, хмурясь, Данчич. — Ты вот лучше выслушай-ка все же поручика, он много важного имеет тебе сообщить.

— Может быть, завтра? — еле поднимает усталую, сонную бровь Бессарабов. — Мы всю эту ночь у меня до утра проваландались, все, понимаешь ли, вспрыскивали вольноперские погоны нашего новопреставленного преображенца, сукиного сына Милицына. Башка сегодня трещит — просто страх!

— Чепуха! — сердито морщится Данчич. — Здесь и разговору-то на пять минут, а дело важное! — наседает он на него. — Откладывать это нельзя. Только идите беседуйте, мои други, где-нибудь не у меня. Сейчас может вернуться министр, и было бы неудобно...

Мы выходим с Бессарабовым в приемную, посторонних здесь никого нет, мы садимся с ним в угол за круглый мраморный стол с золочеными ампировскими ножками.

— Ну? — буркает Бессарабов мне недовольно, скучающе разглядывая свои грязные ногти.

И я принимаюсь взволнованно сызнова излагать ему весь ход наших сегодняшних разговоров с Каринским и глубину охватившего меня отчаяния перед неотвратимо надвигающимся на нас кровавым столкновением.

— Вы только подумайте, — взываю я к нему, стараясь быть как можно более убедительным, но чувствую, что суть моих слов Бессарабов воспринимает весьма равнодушно, а горячность моя его, пожалуй, лишь развлекает. — Нет, вы вникните, на что вы идете! Я не обманываю вас. Десятки тысяч наших пулеметчиков, десятки тысяч кронштадтских матросов, сотни тысяч здешних солдат, все заводы Выборгской стороны...

— Вы и путиловцев сюда прибавьте! — с циничной издевкой вставляет Бессарабов. — Путиловцы тоже бурлят. Им, видите ли, жалованья не прибавляют! Но при чем тут, скажите на милость, мы, министерство юстиции?!

Я умолкаю. Умолкаю, потому что меня всего трясет. Еще секунда — и я брошусь на этого негодяя.

Бессарабов со снисходительною усмешкой сонно уставился на меня.

— Хорошо, — говорю я, взяв себя в руки. — Вы это поймете. Но уж только не сетуйте пожалуйста на судьбу, если поймете вы все это слишком поздно. Да, масса восстанет, но вы ни за что не справитесь с нею, и тогда вас всех уж больше не станет в живых. Так вот чего вы теперь так хотите?!. Крови?!. Крови!!.

Я сижу и дрожу, и что-то шепчу, и больше не в силах сдержать волнения. Крутые горькие слезы самовольно бегут по моим щекам.

— Успокойтесь! — взбудораженно вскакивает Бессарабов и, весь посерев и нахохлившись, убегает куда-то.

Он возвращается тотчас же с Данчичем.

— Он думает, что я его ложно предостерегаю, — сокрушенно киваю я на Бессарабова, стыдливо вытирая глаза.

— Нет, он не думает так, — принимается успокаивать меня Данчич, — он взволнован всем, что услышал. Он хочет посоветоваться теперь с министром, и надо думать, что...

Я смотрю поочередно в их глаза. Пустые, бесцветные их глаза, глаза исполнительных пешек. Чего ради я перед ними так распинался? Вот идиот! Одернув свой китель и смущенно простившись, схожу вниз по мраморным ступеням.

К вечеру на следующий день я собрал в саду кольтовского батальона нашу фракцию. Сидели в тени лип, на траве. Обсудили план наших завтрашних выступлений в совете. Наметили из своей

среды состав будущего исполкома. Конечно, и левым эсерам и Бровкину дали там место.

— Насчет лишения прав кооптированных большой отпор они нам готовят, — лукаво сообщил Науменко. — Ведь у них, почитай, не менее половины все кооптированные.

— А что это сегодня в газетах пишут про нас? — с простодушною озабоченностью обратился ко мне Рубцов и протянул номер «Новой жизни».

Я бегло прочел заметку. В ней сообщалось, что «представители Ораниенбаума, посетившие вчера министра юстиции с просьбой об освобождении анархистов, заявили ему, что гарнизон их взволнован и чистит уже пулеметы».

— Вон оно что, — улыбнулся я, — это, должно быть, они про меня. Я действительно был там и так говорил, но не с министром, а с прокурором, но говорил не как какой-нибудь представитель. Случайно затащил меня туда Рошаль вместе с кронштадтцами...

До квартиры меня провожает Племянников. У нас многое есть, о чем следует поговорить. Партийная наша работа в Ораниенбауме не останавливается ведь ни на минуту.

— Знаешь, что я случайно услышал? — говорит он мне вдруг, таинственно оглядываясь по сторонам. — Будто бы наши ораниенбаумские исполкомщики какую-то бумажку на-днях раздобыли против тебя. Был у тебя в прежней команде какой-то Анисимов? Так вот он будто бы написал им про тебя, что ты раньше бил своих солдат.

— Не разживутся! — усмехаюсь я благодушно. — Выдумка не стоит и выеденного яйца. Хоть учебная команда теперь и расформирована, но часть солдат ее все еще здесь, а часть перешла в Питер в броневой дивизион. Они в два счета опровергнут единодушно эту гнусную ложь пострадавшего теперь петергофского юнкера, кабацкого сына...

И вот настает этот день, когда Ораниенбаумский исполком становится большевистским. Все силы стянуты. С Жендзяном и Бровкиным полная договоренность. Первым должен выступить Бровкин с предложением об отмене полномочий кооптированных депутатов. Совет должен быть только выборным. После этого я немедленно предложу выбрать мандатную комиссию для проверки состава совета. Жендзян огласит в заключение список нового исполкома. Вот когда Владимир Ильич убедится, что он зря меня распекал!.. Ах, какой сегодня чудесный день!.. Солнышко, птички!.. Мы сидим на своих левых скамьях у раскрытых окон. С веселой усмешкою наблюдаем, как председательствующий Судаков сумрачно роется за столом в бумагах. Зал сегодня набился полнее обычного.

Особенно на их стороне. Что же это, тоже депутаты? Или они их за эти дни «накооптировали»?

— Порядок дня?..

Извольте. У нас уже заготовлен порядок дня. Наш Белов его оглашает. Среди правых шум и движение. Превосходно. Сейчас битва начнется.

— Прошу слова для внеочередного заявления! — неожиданно грозно с места вскакивает прапорщик Пигаревич.

Судаков кивает ему, и он, топорща щетину усов, с воинственным видом встает на трибуну. В трясущихся его руках какие-то листочки, газеты.

— Я считаю своим нравственным долгом сообщить совету, членом исполнительного комитета которого я состою, о нижеследующем возмутительном инциденте!..

Обрюзглые щеки этого пьяницы нервно дрожат, а глаза вытаращены, как у рака. При настороженном внимании всего зала он зачитывает уже известную нам заметку из «Новой жизни».

— Естественно, что первым нашим шагом... — брызжет слюной Пигаревич.

— Чьим это «нашим»? — дерзкий возглас с наших скамей.

— Людей, дорожащих честью нашего гарнизона! — бешено хлопает прапорщик рукой о пюпитр.—... И вот мы выяснили путем беседы с самим прокурором судебной палаты, что означенным самозванным ходатаем являлся Тарасов-Родионов. Этот гнусный тип с темным прошлым, который в царское время бил солдат...

— Ложь! — в гневе срываюсь я с места и кидаюсь на негодяя.

— Ложь!! — неистовый крик и стук в пол ногами всей нашей левой.

— Мерзавец! Прохвост! Клеветник!—налетаю я на Пигаревича.

Сцепившись, мы оба сваливаемся с трибуны. Нас разнимают и крепко держат в руках. В зале переполох, крики, гам, суматоха. Страсти накалены так, что сейчас вот-вот все передерутся.

— Требую слова! — кричу я и, вырвавшись, вскакиваю на трибуну. — И мордобой и темное прошлое — все это наглая клевета! — кричу я на весь зал, чтобы перекричать протестующий грохот справа. — Я требую, чтобы негодяй Пигаревич был предан суду за эту гнусность! Ложь и то, что в министерстве я выдавал себя за представителя от Ораниенбаума. Я разговаривал там как частное лицо. Выбирайте комиссию, пусть расследует...

— Лжет! Выкручивается! Мазурик! — несутся неистовые вопли справа.

— К порядку! Тише! — кричат наши ребята.

— Товарищи! — вкрадчивым голоском выступает тогда, откуда-то появившись, Филиппович. — Прежде всего — спокойствие и тишина!.. — и зал стихает.—Я, товарищи, большевик, —

лукаво щиплет он свою эспаньолку, — но от «чести» состоять в здешней организации категорически отказываюсь...

В зале движение. Справа аплодисменты. У многих из наших солдат смущенно-растерянные взгляды.

— ...После того, что мы здесь только что слышали и что наблюдали, решение напрашивается только одно: Тарасова-Родионова надо вывести из состава совета.

Грохот аплодисментов справа. Протестующие крики с наших скамей:

— А Пигаревича?!. А как же комиссию!?.

— Пигаревича вон!!! — гремит вся наша левая.

— Я не возражаю, чтобы одновременно вывести и Пигаревича, — снисходительно кривится Филиппович. — Что же касается комиссии, то я не понимаю, к чему она? Ведь у Пигаревича имеется на руках документ от прокурора Каринского, где тот пишет, что Тарасов выдавал себя за ораниенбаумского представителя.

— Это ложь! — кричу я с места. — Пусть комиссия убедится, что это ложь!

— Хорошо, — лукаво соглашается Филиппович, — выберемте комиссию. Состав?

— Судакова! Филипповича! Баскирева! Рыбкина, Романовского! — наперегонки выкрикивают справа.

— Какой же я расследователь? — улыбается Филиппович. — Нет уж, меня увольте. Моя специальность: инженер-химик.

— Жендзяна! Ярцева! Батманова! Бровкина! — кричат наши.

Наконец после жарких споров дело решается так: выбирается комиссия из трех человек на началах третейского суда: от меня — Племянников, со стороны Пигаревича прапорщик Рыбкин. Они двое тут же сговорились на третьем: на солдате Попеску. Им поручается разобрать все это дело в трехдневный срок. Но впредь до результатов их заключения ни я, ни Пигаревич из совета не отводимся. Это решительно отстоял наш блок.

Но заседание сорвано. Ничего намеченного мы не осуществили. Расходимся по домам подавленно, хмуро. Неужели где-то поют еще птицы? А разве это на небе солнце? Так, какой-то нелепый, расплавленный блин... Племянников и Батманов молча смотрят в глаза мне грустно и вопросительно. Неужели и они во мне сомневаются?..

— Ловко они все это заранее подстроили! — панически шепчет мне Бровкин. — Вот вам и перевыборы исполкома!

О, лучше бы и не вспоминал!

— По поводу «мордобоя» у них действительно есть письмо от Анисимова, — говорит через день мне Племянников, — но так как все остальные солдаты это опровергают, они это обвинение

теперь сняли. О «темном прошлом» они также только сболтнули. Получено, говорят, Колыбиным какое-то ругательное письмо про тебя из Омска от какого-то Суслова, но ничего определенного в нем тоже нет. Остается Каринский. С ним дело хуже. Прокурора этого Пигаревич, должно быть, настропилил показать, будто ты выдавал себя за официального ораниенбаумского делегата. Завтра утром мы все поедем к нему это проверить.

— Никакого не было бы греха, если бы я и называл себя представителем, — отвечаю ему я сердито. — Разве я не представитель нашей здешней организации? Но в том-то и дело, что таковым я себя не называл. Совершенно не понимаю, как это может лгать прокурор? Ведь у нас же были свидетели! А впрочем, вы работайте своим путем, я буду действовать своим...

Прежде всего я немедленно еду в Кронштадт. Тугой гул стоит над Кронштадтом. Броненосцы разводят пары. Правительство предписало им итти для летних якобы занятий в Бьерке и Трансунд, как будто бы заниматься возле Кронштадта нельзя! Площадь бурлит и клокочет нескончаемым митингом. Кирилл Орлов уже охрип от каждодневных речей и теперь только сипит и вращает глазами. Рошаля я застаю в совете.

— Чорт с ними! — кричит он. — Сматывай удочки! Никуда не поедете! Таково решение совета. Летние занятия больно им нужны, подумаешь. Просто-напросто пытаются обессилить Кронштадт... Не дадут продовольствия?!. Дудки! Муки и консервов у нас года на два...

Я ловлю здесь — поочередно — Рошаля, Брушвита и Ярчука. Все трое подписываются охотно, подтверждая точный смысл моего разговора с Каринским. После этого я прямиком еду к Каринскому в Питер.

— Вот, — показываю я ему то, что мне написали кронштадтцы. — Вот точное изложение нашего с вами, господин прокурор, разговора. Откуда же вы потом взяли и передали нашим ораниенбаумцам, что будто бы я выступал перед вами, именуя себя представителем?

Стою перед прокурором настойчиво, даже грозно, моя рука лежит на револьверной кобуре.

— Вы садитесь пожалуйста! — с приветливейшей учтивостью кивает мне Каринский на кресло. — Может быть, вы курите? — раскрывает он пухлыми пальцами свой толстый серебряный портсигар. — Ах, не курите?.. Так, видите ли, я вовсе не говорил, что вы определенно называли себя представителем. Я только передал вашим коллегам, что у меня создалось тогда полное впечатление, что вы говорили как представитель от Ораниенбаума, поскольку все остальные были представителями от Кронштадта. Вот и все... Но, боже мой, ведь это же сущие пустяки!..

«Хорошенькие пустяки, нечего себе сказать! — думаю я, направляясь от него к Данчичу. — Переизбрание исполкома и чистка совета из-за этого ведь у нас теперь сорваны! За что-то пушил же меня Владимир Ильич! Ох, как он был предусмотрительно прав!»

Данчич внимательно и предупредительно выслушивает мой подробный рассказ. Дружески жмет мою руку. О, он всегда засвидетельствует где угодно, что ни у него, ни у Каринского, поскольку последний ему все это рассказывал, я никогда себя чьим-либо представителем не именовал. Он напишет об этом и по адресу нашей комиссии, если она к нему сама не зайдет.

«Восхитительно, — думаю я, направляясь в военку. — Посмотрим, как попрыгает теперь Пигаревич!»

— ...Победоносное наступление русской арррмии!.. Повышение русских бумаг на парижской бирже!.. — неумолчно трещат газетчики на перекрестках. — Взятие города Галича! Генерал Корнилов на путях ко Львову!..

— Что это, действительно наши наступают успешно? — спрашиваю я в военке у Мехоношина, подавляя в себе неопределенное чувство горделивого любопытства и в то же время злобной подавленности.

— А пес их там разберет! — отвечает мне Мехоношин скучающе равнодушно. — Газеты трезвонят вон, что успешно, а сенатор Соколов вернулся третьего дня обратно с фронта весь перевязанный в марле, как турок в чалме. Его солдаты в 703 Сурамском полку на позициях касками исколотили за то, что «на помещика очень похож» и призывал их итти в наступление. Дивизия гренадеров вон тоже отказалась наступать. Так Керенский чехов ей поставил в затылок. Не знаю, что теперь там и будет...

— А вот что будет, — говорит ворвавшийся в комнату пулеметчик Первого полка Жилин. — То и будет, что уже нет больше нашего, братцы, терпения! Ведь это что же?! Ведь это же прямая издевка! Неделю назад Керенский от нас потребовал срочно отправить на позиции пятьсот пулеметов с маршевым пополнением. Мы это выполнили. Третьего же дня эсер Парчевский усердно уговаривал нас выдать на фронт еще триста восемьдесят восемь пулеметов. Выставили мы его с треском. Сегодня же Половцев требует сызнова приготовить для отправки тридцать маршевых рот. Ведь даже младенцам теперь ясно, что теребят-то они нас лишь для того, чтобы этим путем раскассировать ненавистный им полк! К чорту! К дьяволу! Ни у кого больше выдержки, товарищи вы мои, уже нехватает!..

— Недостойная речь, — поднимается вдруг от стола, за которым он что-то писал, долгошеий худой Володарский, и кажется странным, что до этого никто его здесь не заметил. — Мы не можем

проявлять подобное сумасбродство! — говорит он с размеренным иностранным акцентом.— Мы должны быть сдержанными до конца.

— Спасибо вам за совет! — запальчиво кричит ему Жилин.— Пожар революции разгорается, а вы приказываете его тушить?!.

— «Тушить»? — озадаченно поправляет свои очки Володарский. — Ладно, пусть будет так; пусть — тушить! И будем тушить, когда от малейшего неосторожного нашего шага зависит судьба всей мировой революции! Вот если путиловцы выйдут на улицу, тогда — дело другое. Тогда, пожалуй, будет выгоднее принять бой, нежели из-за налета на Дурново. Посмотрим также, что скажет теперь Всероссийская конференция профсоюзов. Милютин как будто бы хорошо агитирует там за введение производственного рабочего контроля.

— Братишечки! — врывается растерянно в комнату какой-то рабочий. — Где наш ПК?!. Где же Бокий!? Переехал, говорите вы? Куда переехал? Как же теперь быть?!. Вы знаете, Финляндская железная дорога сейчас забастовала! И Николаевка, говорят, тоже встанет сегодня. Все из-за отмены министром Некрасовым восьмичасового рабочего дня. Тоже — «социалист», чорт бы его разорвал!.. Но вы понимаете, что все это значит?!. Всеобщая забастовка железных дорог!!

— Ох, и не знаю, что теперь будет! — ворчит испуганно в трамвайном вагоне усатый старик в котелке и в запачканном потертом жилете соседу своему, уныло вертящему золотую цепочку своих часов. — Слыхали? В Москве-то! Гужон свой завод закрывает. Сегодня оттуда в наше правление по телефону звонили, что, наверное, встанут и Бари, и Бромлей, и Динамо. Говорят, двадцать пять текстильных фабрик тоже объявили рабочим о полном расчете. Что ж это будет?!.

— Нам ничего с вами плохого не будет, — с сонливой уравновешенностью отвечает его сосед, соскабливая приставший к цепочке сургуч. — Хозяева просто-напросто понимают теперь отлично, что управлять государством по воле невежественной черни дольше нельзя. Москвичи, те народ самый сметливый и толстосумный. У них Третьяков, Рябушинский, Коновалов... Ну, закроют на две, на три недельки. За это время без коренных перемен в министерстве не обойтись. Ну, а потом уж, глядишь, и за работу. Зато тогда уж без всяких помех!..

В Ораниенбауме вновь созываем широкое собрание нашей фракции. Широкое, потому что на него приглашаются от всех команд и весь наш партийный актив. Я и Племянников вместе сообщаем о предварительных, полученных расследованием, результатах. Теперь для всех нас становится ясным, что победа несомненно будет

за нами. Вот теперь уж вся правая свора держись! Но только и нашему брату надо быть теперь особенно стойким и выдержанным, как никогда. Ни на какую новую провокацию не поддаваться! Надо быть непоколебимым в своих убеждениях и решениях.

— А то прошлый раз, — говорю с горечью я, — у многих из нас были уж очень растерянные, перепуганные лица. Лучше тому совсем не касаться политики, кто способен на трусость или на измену партийным рядам!

Все задумываются и молчат. Возможно, что каждый из нас в этот миг в глубинах собственного сознания старается выкорчевать у себя малейшие возможности колебания.

26. ВЗРЫВ

В открытое окно мирно летит пух с тополей. Сероватыми хлопьями мягко стелется он по подоконнику, скапливаясь в легкие кучки, чтобы затем шаловливым порывом соскользнуть на паркет и крутящимися волнами стремительно нестись по полу до самой эстрады. На эстраде, за длинным столом с зеленою скатертью чинно восседает Ораниенбаумский исполком: Филиппович, Макрояни, Громыко, Бохановский, Колыбин. В середине — председательствует прапорщик Судаков. Вот сейчас будет доклад комиссии, расследовавшей причины моего столкновения с Пигаревичем. Пигаревич пыхтит в первом ряду справа, раскрасневшись от водки, летней жары и ожидания неизбежной для него головомойки.

Материалы, добытые комиссией, будут явно не в его пользу. Прокурор Каринский, правда, снова переметнулся и показал комиссии, что представителем себя я все ж называл. Но против этой прокурорской брехни показывают и все кронштадтцы и Данчич. Секретарь министра! Это не шутка. Лица у сидящих в президиуме какие-то сонно-хмурые и растерянные. Посмотрим, как потанцуют сегодня все эти социал-господа! Депутаты совета сегодня все в сборе, и наша фракция, да и весь наш блок интернационалистов, тоже на-чеку. Порядок дня принят большинством наших сплоченных голосов. Сначала мы выбрали комиссию для проверки всех депутатских мандатов. Затем солдат Попеску, третий член расследовательской комиссии, должен сделать доклад о результатах ее работ. Затем был поставлен нами вопрос об отмене всех кооптированных мандатов. Если и это пройдет, то мы сегодня же переизберем исполком. Советская демократия восторжествует.

Пигаревич все это чувствует и раздраженно пыхтит. Сумрачно сверкает косым взглядом прапорщик Рыбкин. Нахохлившись, сидит за длинным столом исполком. Чтобы хоть как-нибудь оттянуть неприятный доклад Попеску, Колыбин только что упросил совет рассмотреть сейчас какой-то внеочередной, не терпящий яко-

бы никаких отлагательств, вопрос о потраве лугов. Чьи луга? Кто их потравил? — никто толком не понимает, но желчный задира, воинствующий эсер солдат Головизнин покорно встает на трибуну и неутомимою скороговоркой однотонно лепечет про косьбу, про луга, про каких-то казенных — кольтовских команд — лошадей. Только Жендзян, сосредоточенно его слушая, что-то записывает к себе в блокнот. В остальном зале сонная одурь и позевота.

Бездонное голубое небо за открытым окном пылает жаром летнего полдня, и густым нескончаемым роем тихо влетает к нам в зал пепельный пух тополей. Он невольно напоминает о том, что вон поблизости, за тополевой тенистой аллеей, зеленеет солнечная лужайка. Золотистые одуванчики на ней давно уже отцвели и запушились прозрачно-седыми помпончиками. Горделиво топорщится возле них желтый медвяно-пахучий донник, и кивает розовато-пунцовыми головками липкая смолка. Вот где было б неплохо растянуться устало сейчас на траве и, закрывши глаза, сонно слушать треск ошалелых кузнечиков и трепетный лет стрекоз. Право, куда это и отрадней и интересней бесконечного журчания Головизнина о каких-то там сенокосных потравах. И когда же наконец он замолкнет?!

Чтоб как-нибудь занять себя, снова развертываю на коленях еще не дочитанную до конца новую ленинскую брошюрку: «К пересмотру партийной программы». Какие здесь дерзкие и вместе с тем необычно четкие мысли! Советы, как выборные и административные и организационные штабы, ведущие в бой рабочих и крестьян завоевывать их человеческие права... Выборное советское чиновничество, всегда зависимое от народа... О, тогда не будет этих Каринских!.. Вдумчиво перелистываю страницу за страницей.

Большая синяя муха внезапно со звоном влетает в окно и смаху садится на подоконник, мгновенно стихнув и застыв. Но вот окружающие ее тополевые хлопья чуть-чуть пошевеливаются, колеблемые знойным потоком со двора. И муха так же внезапно, с резким звоном взлетает и исчезает в окно. И опять тишина. Однотонно скрипит Головизнин. На дворе, в куче пыли трепыхается курица. Петух важно уселся рядком, сонно сомлев от жары. О, чорт подери! Да скоро ли выдохнется этот докладчик с несносным своим сенокосом?!

Вдруг вбегает в зал через заднюю дверь, запыхавшись, юркий кургузенький писарь Болотин, недавно выбранный здесь секретарем. Переводя дух и утирая потную рожицу грязным платком, он стремительно пробирается прямо к президиуму и, перегнувшись через стол, как вытянувшийся червяк, порывисто шепчет на ухо Филипповичу. Филиппович настораживается, бросает свою эспаньолку и тревожно шепчет что-то Колыбину и Судакову. В президиуме растерянность и движение.

— Товарищи! — поднимается Судаков, разом заставив умолкнуть Головизнина с его сенокосом. — Президиум вынужден сейчас обратиться со срочным внеочередным официальным запросом к блоку интернационалистов, — язвительный поклон в нашу сторону. — Пусть скажут открыто, что они затевают?

Все недоуменно переглядываются, и мы в том числе.

— Не понимаю, о чем вы нам говорите, — поднимаюсь я преспокойно. — Как видите, мы ничего не затевали и не затеваем. Все затеи шли только от вас.

— А вот товарищи сообщают, — не слушая меня продолжает Судаков, — что в третий батальон Первого пулеметного полка приехал сюда из Питера сейчас солдат со срочным предписанием немедленно выступить в Питер. Там уже, дескать, началось. Что там началось? Чей это приказ?

Глаза всего зала вмиг с пытливой тревогой устремляются на меня. Сдержанно я отвечаю, что наша партия никого никуда сейчас не вызывает и вызывать не намерена. Сейчас в Питере как раз заседает наша общегородская партийная конференция. Я был на ней, а также в нашей военке всего только вчера, и таковы последние партийные наши директивы...

Легкий вздох облегчения проносится в зале.

— Что же это тогда, провокация? — озадачивается вслух Филиппович.

— Возможно, что и провокация, — пожимаю я плечами. — Во всяком случае, это надо проверить, а посланного из Питера немедленно задержать.

Мой голос уверен и властен. По моему предложению советом тут же направляются три депутата срочно разыскать этого солдата. Вопрос о сенокосе уже сам собою покончен, и совет теперь вынужден перейти к разбору обвинений, выдвигавшихся Пигаревичем против меня.

Статный франтоватый солдат Попеску с нафиксатуаренными волосами цвета воронова крыла докладывает от имени всей комиссии. Хотя Попеску и состоит в нашем блоке интернационалистов, входя во фракцию левых эсеров, однако сейчас он старается цинично угодить и той и другой стороне. С одной-де стороны, и кронштадтцы и Данчич подтверждают мое показание, с другой — и Каринский настаивает на своем. Данчичу верить особенно не приходится, так как сам он не присутствовал при разговоре и судит о нем по пересказу того же Каринского. Кронштадтцам верить нельзя, ибо все они заинтересованы в моем оправдании. Но и показание Каринского тоже недостоверно. Теперь он говорит уже менее определенно, чем раньше, а вот Данчичу рассказывал уже совсем по-иному. Где ложь тут, где правда, — понять очень трудно. Словом, какой-де вы хотите, такой вывод и делайте...

Заключение такого рода, которое делает сейчас Попеску, конечно, выдает меня исполкому на расправу. Пигаревич с Громыкой, разумеется, не дремлют и тотчас же накидываются на меня с прежними обвинениями. Однако исполком осторожно молчит, а косясь на него, и вся правая часть депутатов проявляет странную сдержанность. Все чаще оглядываются они на входную дверь, ожидая возвращения посланных. Так вот почему они сейчас все так ко мне снисходительны... Поднимается Костя Батманов и начинает стыдить Пигаревича и Громыку, вскрывая политическую подоплеку всех поднятых ими против меня лживых кляуз. Пигаревич после этого начинает оправдываться, но в тоне своем заметно сдает. Да, посланные в батальон за солдатом что-то подозрительно долго не возвращаются.

— Ладно, — брюзжит Пигаревич, косясь на дверь, — допустим, что представителем он себя и не называл. Но какое имел он право говорить, что у нас в Ораниенбауме чистят пулеметы?!

— Милые вы мои, да разве не чистим мы своих пулеметов?! — кричат ему с мест наши солдаты.

— Чистим, конечно. Но для чего? — язвительно кривится Пигаревич.

— Для этого самого! Для того!.. — с воинственным задором выкрикивают ему из рядов.

И как раз в этот момент в зал вбегают... нет — врываются, влетают посланные нами в батальон делегаты Первого пулеметного полка. Запинаясь от беготни и волнения, они наперебой выхрипывают о том, что действительно сейчас сюда приезжал представитель их полка из Петрограда, но задержать его уже не удалось. Согласно привезенному приказанию батальон готовится сейчас немедленно грузиться и ехать в Питер, так как правительство приказало их полку расформироваться, а на это никто не пойдет. Солдаты требуют немедленной передачи власти советам.

Железная тишина леденеет в зале, и взоры всех обращаются теперь на меня.

Но что я могу сказать нового? Еще раз подтвердить, что всякие выступления сейчас отвергаются нами? А что, да если за эту ночь там действительно произошли головокружительные перемены? Конечно, горячку пороть не надо. Никаких выступлений или погрузок отсюда разрешать, конечно, нельзя, но надобно экстренно сейчас же съездить в Питер.

— Просим! Просим! — единодушно кричит мне весь зал.

— Однако как же мне ехать, — жеманюсь я, — если клеветник Пигаревич все еще продолжает...

— Ах, боже мой, какие это все пустяки! — нервно кривясь, встает Филиппович. — Дело это уже разобрано, и все обвинения с вас теперь сняты. И надо же понимать, что эти новые, тревожные

вести поважней всех здешних склок! Я только что распорядился по телефону, чтоб немедленно подали нам сюда машину начальника школы. Сам я сейчас же еду в Питер и рад буду подвезти вас и ваших товарищей, чтоб вы срочно смогли выяснить там на месте причины этой тревоги.

Раздумывать долго нечего. Мы едем. Я, Новиков, солдат моей команды, Гаврилов и меньшевик-интернационалист Бровкин. Отведя в сторону Батманова, Племянникова и Горшкова, я наказываю им держать всю нашу организацию в сборе и на-стороже, ожидая моих сообщений. После этого Филиппович галантно усаживает нас во вместительный открытый авто, и мы срываемся с места. Филиппович колышется на подушке сидения рядом со мною. Он изысканно вежлив и заискивающе услужлив:

— Не пылит ли на вас, дорогой мой? Вы сели с краю. Не угодно ли, я с вами поменяюсь?..

Кудрявые шумные липы испуганно прядают на нашем пути. В какой-нибудь час мы пролетаем Петергоф, Стрельну, Лигово, окраину Путиловского завода. О, если вспомнить, как медленно мы проходили этот же путь в памятную морозную ночь Февраля, а ведь тогда мы тоже очень и очень спешили. Мы тогда вышли вечером, а пришли в Петроград только к полдню. И какая колкая морозная стыль стояла тогда, как скрипели солдатские сапоги в серебристом снегу! Как шипели колеса пулеметных станин! Как восторженно встречали нас вот здесь, у завода, мятежные толпы путиловцев!.. И, как тихо сейчас здесь. Ворота завода полуоткрыты. Трубы лениво дымят. Одиночками сонно бредут усталые рабочие из ворот. Розоватое солнце никнет к закату. На спокойные летние улицы косо вползают палевые тени вечера. Мы едем городом. Мирные толпы прохожих, досужие митинги по углам. Нет ничего необычного, ничего, что могло бы тревожить. Филиппович все это видит и холодно приосанивается. Он ссаживает нас возле Троицкого моста.

— Ведь вам, наверное, сюда? Ну, а мне придется проехать в Таврический. Справлюсь там во ВЦИКе, что предпринять против всех этих безответственных подстрекателей! — Покровительственное пожатие одетой в перчатку руки.

— Адье! — смеемся мы ему вслед на мосту. — Кати, любезный, справляйся!

В особняке Кшесинской заметно смятение. Из-за дверей, где заседает сейчас общегородская партийная конференция, то-и-дело озабоченно выскакивают один за другим спешащие делегаты. Взволнованно и торопливо проходят в ту же дверь и те, что стекаются сюда со всех районов города. У дверей в зал заседания скапливается группа людей.

— Безобразие! — возмущается только что примчавшийся откуда-то Лацис. — Подъезжаю сейчас на грузовике к Московскому

полку, — хрипит он, разглаживая рыжие свои усы, — кидаю им воззвания ЦК на то, что выступления запрещены. И подумайте! Рвут наши воззвания на части, нас на грузовике арестовывают и отправляют в Первый пулеметный полк. Приезжаем, конечно, туда, а там, пожалуйте, уже все готово: полк выступает!

— И ты не смог удержать?! — с упреком накидывается на него грузный Лашевич. — Горячие головы надо было остудить, — брюзжит он, сурово насупясь одутловатым лицом и взволнованно поправляя ворот своей потертой солдатской гимнастерки. — Нельзя попадаться на удочку контрреволюции!..

Однако его ворчание постепенно замирает, как уползающий гром, обнаруживая готовность мириться с уже совершившимся фактом.

— А зачем их было сдерживать?! — близоруко мигает розовыми глазами белесый Смилга, ловя руками в воздухе соскочившее с носа и раскачивающееся на черном шнурке пенсне. — До каких это пор мы все будем их сдерживать?!. И что это еще такое за «удочка контрреволюции»?!. Кадетские министры всем скопом поперли в отставку. Разногласия кабинета касательно автономии Украины — пустой предлог. Просто-напросто они улучили момент, чтобы выкинуть фортель и поставить социал-соглашателей перед собой на колени. «Или-де вместе давайте раздавим всякое движение слева, или-де покидаем вас одних на произвол судьбы в обстановке начавшегося наступления на фронтах. К тому же и денежек вам союзнички без нас тоже теперь не дадут ни сантима!» В этом вся их кадетская программа! И сейчас, когда Церетели раздумывает в Таврическом дворце, какой ему сколачивать теперь кабинет, именно сейчас-то как раз и необходимо всемерное давление масс за немедленный переход всей власти к ВЦИКу советов!

— Но сегодняшнее решение ЦК!.. — мрачно осаживает его Лашевич.

— Что — ЦК?! Кто в ЦК?! — горячо вскидывается Смилга. — Ленина сейчас в городе нет. Он в Мустамяках. А этот «смиренномудрый» Зиновьев!.. Нет, вы подумайте только: массы бурлят, как в раскаленном котле, а он предлагает топить эти смелые революционные силы и чувства в холодной пучине партийной премудрости. Смотрите, голубчики, перемудрите! — Он поймал наконец пенсне и гордо вскинул его на свой воинственно вздернутый нос.

— Конечно, преступно сейчас останавливать! — с негодованием потрясает руками уже седеющий космач солдат Беляков. — Правительственный приказ о расформировании Сто восьмидесятого и Первого пулеметного полков преступен и противозаконен. Еще в Февральскую революцию Временное правительство обязалось перед советом не расформировывать и не выводить питерский гарнизон из столицы. А теперь это что?! Ведь это же подлейшее нарушение! Ведь это же наглая контрреволюционная провока-

ция, санкционированная пудушкой Керенским!.. Наша обязанность: срочно разъяснить все это массам, и пусть протестуют они перед ВЦИКом. Стремление Лашевича потушить этот законный протест — заранее обречено на полный и повсеместный провал. И мы не пожарные, а рабочая партия! Мы должны вести народ, а не сдерживать его!..

Беляков горячится все больше и больше. Его усы, прокопченные табаком, раздуваются, как паруса, а седеющая грива прядает, как пенистый вал за кормою.

— Эге, — киваю я своим сотоварищам, — настроеньице-то вон оно каково!

И Новиков и Гаврилов сосредоточенно серьезны.

— Оно так получается, что и нам, ораниенбаумцам, выходит, надо быть здорово наготове! — заключают они.

Только Бровкин смущен:

— Как же так? Надо б все же спросить кого здесь у вас поглавней об окончательном мнении, — заикается он, растерянно мигая.

Забавный чудак! Разве мы сами об этом не знаем? Следовало бы прямо пройти сейчас на конференцию, но как-то неудобно бросать его здесь одного в коридоре. Кстати, из зала, где идет заседание, выскакивает сам Подвойский. Мы набрасываемся на него, скороговоркой сообщая о полученных нами призывах и нашем недоумении.

— Конференция сейчас решила, — сухо скрипит Подвойский, хмуро оглядываясь на дверь в зал, откуда уже высыпает в коридор целая ватага делегатов, — конференция вот решила не допускать никаких выступлений и разослать половину своего состава немедленно по полкам и заводам, чтобы сдержать. Чтобы сдержать!..— повторяет он голосом, полным такой тоски и такой издевки, что явно чувствуется, как мучительно трудно ему мириться со столь суровым решением.

А меж тем толпа делегатов уже спешит к выходу. Шумные толки. Обрывки недоговоренных речей.

— Никуда я сейчас не поеду! — с раздражением выкрикивает на ходу приземистый худощавый человек, держа голову набочок.— Ежели они по-свински так поступают и прут теперь, как бараны, на улицу, на рожон, не слушаясь директив, не ставя в грош свои советы, то — дудки теперь! Сейчас я к ним не ходок! Пускай расхлебывают теперь всю эту кашу сами. Они увидят теперь, чем кончится это их выступление! Отвечать же за все эти преступные глупости нам, большевикам, не с руки. Авантюристам мы не потатчики, а разубеждать болванов — бесполезная трата времени. Не согласны? Езжайте с богом! А вот я не поеду. Да-да, не поеду!

— Полноте, Томский, ломаться! Ишь, какую амбицию распустил! — сурово одергивает его широколицая курносая белокурая

девушка в очках. — Да, заводы сейчас плохо нас слушают, и полки сдержать трудно. Но что же из этого? Раззнакомимся? Ишь, гонор какой у тебя! Ручки в брючки и стать в сторонку? Эх ты, политик!..

Они расходятся. Не уезжать ли теперь во-свояси и нам?.. Коридор быстро пустеет. И Подвойский куда-то исчез. Новиков заглядывает в зал конференции. Половина делегатов там еще осталась. Идут какие-то прения. Возможно, что вопрос окончательно еще не решен. Надо все это точно узнать. Надо ждать перерыва. И вот мы терпеливо слоняемся по коридорам. Неожиданно возле двери мы видим фигуру Сталина. Он стоит в своем сером холщевом кителе, глубоко о чем-то задумавшись. Тень озабоченной усмешки иной раз пробегает по смуглому его лицу.

— Чего вы здесь ждете? — обращается он к нам. — Выступать? Нет, никаких выступлений! — голос его спокоен, тверд и решителен. Затем, почувствовав, видимо, необычность нашего молчания, он еще более убедительно продолжает: — Авантюра на фронте неизбежно должна скоро крахнуть. Наступление ждет провал. И если мы сейчас преждевременно выйдем на улицу, то во всех будущих бедах враги обвинят только нас. Если же мы усидим сейчас преспокойно, мы наверняка выйдем политическими победителями! Стало быть, надобно усидеть.

«Надобно усидеть!» Просто и ясно. Мы умиротворенно переглядываемся между собой. Конечно, Сталин прав. Других директив ждать больше здесь нечего, после этих слов члена ЦК. И мы поспешно выходим, думая лишь о том, как бы скорее добраться до Ораниенбаума. Но на улице... мерный грохот дружного солдатского марша. Из дымки Каменноостровского проспекта с развернутыми знаменами, в стройном порядке к особняку подходит полк. В первом ряду преогромный плакат: «Долой министров-капиталистов!» Оркестр с дребезгом выдувает какой-то марш.

— По-оо-олк, стой! — командует офицер. — На-лее-во! Вольно! Вниманье! — козыряет он по направлению к нашим воротам.

— Вся власть сове-ее-стам! — рявкают первые ряды солдат.

— Советам!! — ответно гремит весь полк.

— Куда вы идете? — выскакивают к ним из ворот Мехоношин и Черепанов. — Какой это полк? Сто семьдесят шестой? Первый запасный?

— На Невский! На Невский! Нет, к Таврическому! — вразнобой галдят солдаты.

Балкон у дома Кшесинской наполняется людьми. Все окна тоже открыты. Вся конференция с тревогою смотрит на это непрошеное выступление.

— Товарищи! — гремит с балкона голос Лашевича. — Вы показали свою сознательность и организованность. Вы пришли сюда

к нам стройными рядами. Но положение таково, что сейчас более, чем когда-либо, нужна выдержка. Покажите вашу революционную сознательность и дальше: возвращайтесь немедленно же к себе в казармы!

Что это? Улюлюкание, свист, пронзительные крики «долой»— заглушают последние его слова Ого, полк настроен организованно, но непоколебимо

— Товарищи! — сменяет на балконе Лашевича солдат Кураев. — Товарищи, распоряжением ЦК нашей партии всякие выступления сейчас в корне запрещены, как вредящие делу проле...

— Долой! Позор! Ликвидаторы! Вы здеся перетрусили! Штаны посменяйте! — возбужденно и злобно выкрикивают солдаты.— Веди нас дальше! — кричат они своему офицеру, но тот проявляет сейчас растерянность.

— По-оолк, смирно! — выскакивает тогда наперед какой-то солдатик. — Напра-а-во! — командует он. — Ша-агом аррш! Музыку!

Полк повертывается с дружным грохотом тысяч сапогов. Оркестр взрывает нависшую тишину и заглушает мерно нарастающий гул уверенных тяжких шагов. Полк уходит от нас на Троицкий мост, к центру, быть может к Таврическому дворцу, быть может на Невский. Тяжелое чувство сжимает наши сердца. Оставшись здесь у ворот, мы растерянно глядим друг на друга. Но вот справа новый грохот шагов, новые крики, новые лязги оркестра. Какой-то другой полк подходит сюда же с Каменноостровского проспекта. Полковое знамя колышется впереди, но его перекрывает широкое алое полотно, где по красному шелку узором серебряного позумента вышито: «Вся власть советам!»

— Никак, Сто восьмидесятый? — вглядываясь, бормочет Мехоношин. — Ну, так и есть: и тер-Арутюнянц здесь и Куделько. Вон они — впереди!

Шеренги надвигаются на нас все ближе и ближе, с воинственными криками, в гаме оркестра. Громыхающие грузовики с оружцими что-то рабочими один за другим лихо обгоняют полк, пролетая на Троицкий мост, вызывая ответный восторженный рев солдат.

— Ну, братцы, прорвало! — с благодушной безнадежностью машет нам рукой Мехоношин, и все мы торопливо возвращаемся теперь внутрь здания. Интересно, что решит сейчас после всего этого конференция?

У дверей в зал заседаний снова давка. Здесь Невский, Подвойский, Беляков и Лашевич. То-и-дело подлетают сюда прибегающие с улицы.

— Товарищи, на Выборгской уже не остановишь! Все заводы пошли. И слушать не хотят нас!..

— А Первый пулеметный тоже выступил весь целиком и в строю и на грузовиках через Литейный мост прямиком к Таврическому...

— Ребята! Путиловцы строятся. Весь завод выступает сейчас на улицу с женами и детьми. Я думаю, у них будет тысяч семьдесят. Понапрасну я только драл глотку перед ними. Куда там! Ни в какую. Пришлось не перечить и выступление одобрить.

— Без санкции ЦК?! — возмущенно таращит на него глаза Лашевич.

— Ну да, без санкции ЦК! Что ж ты поделаешь? Народ сдержать больше нельзя, да и незачем больше сдерживать. Коль прорвалось, пущай идет! Пусть знают кадеты и вся их социал-лакейская сволочь, чего хочет рабочий народ!

Лицо Невского плавает сейчас в довольной ухмылке, как румяный блин в растопленном масле. Глаза Подвойского тоже заискрились воинственным восторгом.

— Нет, товарищи, необходимо остановить, — все еще не сдается Лашевич.

— Ну, зачем мешать? — накидывается на него Беляков.— Пускай выступают, пускай докажут, что мы еще живы! А то нас мухи скоро засидят в нашей непротивленческой тактике.

Грохот оркестра и громовое «ура» гулко врываются сюда с улицы.

— Ну как же теперь быть нам, ораниенбаумцам? — вновь пристаем мы к Подвойскому, сгорая в лихорадочном нетерпении. Грохот полков, вести с улицы все более и более волнуют нас.

— Как вам быть? — лукаво подмигивает Подвойский. — Разве сами не видите? Надобно выступать. Но только, чур, организованно! Держите теснейшую связь со мной!

— Но куда выступать? Когда выступать? Не забывайте, что мы в Ораниенбауме...

— Ах да, вы ведь в Ораниенбауме... Ну так что ж? Через сколько времени сможете вы прибыть сюда в мое распоряжение? Какова ваша численность? Сколько у вас пулеметов? Есть у вас артиллерия?..

— Какая — артиллерия? — удивляюсь я вслух. «Что он затевает?» — терзаюсь я в тайном недоумении.

К нашей группе медленно подходит Сталин.

— Впрочем, — оглядывается на него Подвойский, — вы все ж погодите! — кивает он нам. — Надо дождаться санкции от конференции. Без этого все ж неудобно. Что-то скажет теперь она?

Все поспешно вновь уходят на заседание, которое, наверное, там кипит под бурные выкрики с улиц. Сталин, посасывая свою трубку, тихо проходит в дверь вслед за ними. Тогда мы опять выходим на улицу. Полк замер в стройных батальонных колоннах, неистово взрываясь дружным «ура» в ответ говорящему с балкона Кураеву.

— ... идите... — слышится хрип с балкона, — ... мирно... организованно... Покажите...

— Урра! — гремит и сотрясается вся набережная от мечети до Петропавловской крепости.

— Чорт нас всех подери! — раздраженно сплевывает Гаврилов. — Надо ехать! Что мы здесь околачиваемся? Чего тут еще ждать? Все ясно.

— Постой, все же надо... — сдерживает его Бровкин.

И мы опять возвращаемся внутрь. Никого в коридорах, только медленно из дверей вновь появляется Сталин.

— Что ж, и нам выступать? — спрашиваю я его.

Он смотрит на нас молча, каким-то далеким, сосредоточенным взглядом.

— Выступать? — машинально и спокойно переспрашивает он, и затем прищуривается. — Что ж, приходится, пожалуй, и выступать.

Да, дело ясное. Весь рабочий и солдатский Питер вылезает на улицу. Неизвестно еще, во что это выльется, но надо быть всем вместе. Организованней. На-чеку.

— Мы будем здесь, товарищ Сталин! Всем ораниенбаумским гарнизоном. Партия может твердо положиться на нас! — восторженно рапортуем мы ему и поспешно выкатываемся на улицу, чтоб скорее исполнить наш долг и наши самые искренние и пламенные обещания.

А улицы меж тем уже кипят в людских стремительных потоках. Через Троицкий мост со звоном грохочут грузовики, переполненные рабочими. Удалые солдаты с ружьями на ремнях, лихие матросы, придерживающие у поясов грузно мотающиеся револьверы, напористые рабочие в трудовых, замасленных блузах, рабочие, еще не успевшие смыть заводской ржавчины с рук и бурой копоти с морщинистых лиц, — все это бурной лавиной несется через мост туда, на Марсово поле, и дальше — на Садовую, Невский, в центр или же к Таврическому дворцу, где заседает Исполком советов. Большинство этих людей едва ли осознает сейчас цель и программу своего устремления. Но ведь повседневная жизнь сперлась для всех такою жуткой духотой, и столько раздражения накопилось у всех в гневных сердцах, что сейчас лица у всех стали молоды, оживленны и мятежно сияют. «Эх, что бы там ни было впереди, а по-старому больше жить не хотим, жить дольше у бар в кабале невмоготу!» — вот что отчетливо написано у всех на лицах. И беззаботные барыньки, трюхавшие с Невского к себе домой в будуары, и сосредоточенные чинуши в котелках или жестких соломенных шляпах, сползшие с департаментских новорежимных седалищ, чтоб размять по дороге к семейным своим очагам старорежимный свой геморой, — вся эта самодовольная чванная накипь расейской столицы, — с какой растерянностью и беспомощностью прядает

она сейчас тревожно в сторону, провожая испуганными глазами несущиеся мимо них чумазые толпы!

А эти толпы становятся между тем все смелей. Вы подумайте, уже нельзя проехать по улице на автомобиле! Десятки растопыренных поперек улицы рук и две-три винтовки наперевес — останавливают любую фешенебельную машину. «Эй, вылазь! Засиделся! Поездил!..» Обомлевший толстяк, тяжело отдуваясь и боязливо хлопая глазками, безропотно выкатывается из автомобиля, судорожно прижимая к дрожащему пузу украшенный монограммой портфель. «Что это? — думает он, уползая поспешно в сторону и отирая душистым платком крупный пот, выступивший от страха на лбу. — Что это? Февраль?!»

Да, выходит, что это Февраль. Как и тогда, очищенные от седоков автомобили вмиг занимаются вооруженными людьми. Сверкающие ручки у дверец захватываются неумытыми мятежными ручищами. Лакированные кузова лимузинов трещат от напора туго набивающейся в них солдатни. В фацетных изломах зеркальных окошек двоятся патронные ленты, намотанные в спешке через плечо. Лежат по бокам на передних крыльях машины ощетинившиеся винтовками солдаты, готовно сжимая пальцами боевые курки. Ну, чем не Февраль?!

Но нет, это уже не Февраль. Вон вдали стройно и грозно проходит, сверкая штыками Егерский полк. Над ним колышутся полотнища ярко-алых плакатов, на которых белым жирно и четко: «Вся власть советам!» Да, это уже не Февраль. Это новая революция, продвигающая всю страну на новую, уже социалистическую ступень. Так, или приблизительно так, думаем сейчас мы, ораниенбаумцы, попавшие в мятежную сутолоку улиц и мечтающие лишь о том, как бы скорей примчаться к себе, чтоб успеть оттуда всем гарнизоном прибыть сюда же в решающий час.

— А что, ежели железные дороги уже забастовали и никакие поезда больше не ходят?..— озадачивается Гаврилов.— Вот затрет нас, товарищи, тут...

— А как вы насчет того, чтобы нам тоже забрать один автомобиль? — предлагаю я вместо ответа, и все это одобряют. Но, спрашивается, как забрать, если они уже кругом все позабраны и с лихими криками проносятся мимо, ощетинясь штыками, как стальные ежи? Впрочем, мы останавливаем один лимузин. Это элегантная и мощная машина. Она набита матросами доотказу. В глазах у шофера испуг, но он охотно тормозит на мой жест, видя во мне офицера.

— Вам придется, товарищи, сейчас же уступить нам эту машину, — обращаемся мы к матросам.

В ответ — злобные взгляды, улюлюкание, свист.

— **Как же**, держи карман шире! Так мы тебе и уступим! Мы забрали, мы и поедем! Катись на своих к матушке в тартарары. Не

засть дорогу, а то вот!..— и рука отстегивает револьверный кобур.

Но я показываю свой партбилет. Печать воспки. Попутно я объясняю, что машина нужна, чтобы привести сюда весь Ораниенбаум. Тысячу пулеметов!

— Слазь, братва! — громогласно рявкает их коновод, и все матросы с треском и грохотом вылетают из автомобиля. — Братишки-то — нашинские, — кивает он им участливо на нас, — у них поручение важное. Машиночку треба отдать... Не горюй, милки!— лихо вскрикивает он, заметив тень недовольства, скользнувшую по некоторым лицам.— Другую сейчас раздобудем, не хуже!.. Амба!..

Мы залезаем в авто, и я усаживаюсь рядом с шофером. Он нам рад бесконечно, хотя и надо гнать за сорок километров, в Ораниенбаум.

— Хоть к чорту, но лишь бы выбраться из этого пекла. Здесь машину искалечили бы в два часа.

— Чья ж это машина?

— Его высокопревосходительства, господина министра почт и телеграфов, — высокопарно растягивает титул шофер, — товарища Церетели.

Сотоварищи мои, услышав это, принимаются хохотать:

— Не беда, пускай он походит теперь пешочком. Авось, прислушается, о чем думают и говорят простые рабочие и солдаты. Может, и выйдет из этого прок.

— Что ж, вы тоже, как и он, меньшевик? — оглядываю я с любопытством бритые губы шофера и аккуратно подстриженный его бакенбард.

— Я социал-демократ. — Конфузливая льстивая улыбочка. Повидимому, он ничего не понял из нашего разговора с матросами и продолжает принимать меня за контрреволюционера.

Машина его мчится лихо: он рад услужить. Мы минуем одну за другою шумные улицы, клокочущие толпой. С треском и грохотом опускают купцы над зеркальными витринами магазинов железные шторы, спеша поскорее убраться домой. Мы пролетаем Вознесенский проспект, Обводный канал, минуем арку Нарвской заставы и сразу же врезываемся в огромнейшую густую толпу, двигающуюся Петергофским проспектом нам навстречу во всю ширь сплошной, безграничной лавиной, которой не видно конца. Упрямо и плотно плывут мимо нас бесчисленные шеренги рабочих кепок и картузов. Приходится то-и-дело тормозить машину, беспрерывно гудя и размахивая руками, чтобы проложить себе дорогу вперед. Но они словно не слышат или не замечают нас, упоенные своим грозным движением. Они громко поют, колыхаясь мимо беспредельными рядами, крепко держа друг друга за руки, под

густым пологом вздымаемой ими пыли, рыжей в лучах заходящего солнца. Их запыленные и затертые масляной сажею лица и пиджаки, побуревшие в отблеске пунцового заката, кладут на всю эту ползущую, сплоченную массу печать какого-то титанического геройства и нерушимого братского единства. Среди движущегося леса алых знамен одиноко мелькают два-три черных флага анархистов. Несомненно, все идущие здесь — путиловцы, вылезшие, должно быть, все до одного из своих литейных, формовочных кузниц и мастерских и захватившие с собой из старых сырых дырявых лачуг в этот великий поход даже жен своих и ребятишек. Много здесь и бородатых стариков, успевших сгорбиться у хозяйских станков. Светлые кофты жен и работниц, звонко поющих в этой пыли своими сочными голосами, вкраплены в эти бурые колыхающиеся ряды мужей, отцов и братьев жизнерадостными гирляндами свежих цветов. Иногда какой-нибудь загорелый парень с волосатою грудью, виднеющейся из-под расстегнутого ворота черной сатиновой рубахи, машет шляпой, оборачиваясь назад, и мягкими его волосами шалит ветерок. Тогда остальные ряды отвечают дружным, мощным, решительным криком, который все же не в состоянии заглушить бурные переливы могучего пения других колыхающихся рядов. Много рабочих идет вооруженными в цепочках или сплоченными группами. Они решительно останавливают нас, к великому перепугу шофера, и, враждебно косясь на мой офицерский мундир, строго требуют документы и пропуска. Однако лица их приветливо светлеют при чтении наших мандатов. Пропуская нас, рабочие восторженно машут нам вслед заскорузлыми своими руками.

— Езжайте, товарищи! В добрый час. Поскорее валите сюда с Оренбама.

Один даже вскакивает к нам на подножку, чтоб проводить через всю бесконечную эту толпу и предотвратить от всяких дальнейших задержек. Лавине же нет конца.

— Милый друг, неужели все это только путиловцы?

— Знамо, путиловцы. С бабьем здесь, поди, тысяч семьдесят понабралось.

— С чего ж это так дружно подались вы все зараз? — любопытствует у него Бровкин.

— Конечно, заварилося все сперначалу из-за заработной платы. Всем заводам кругом понабавили, а вот нам — хоть бы что, наотрез! У всех министров мы пороги пообивали, затем бастовать было собирались. Ну, а потом в понятие, конечно, взошли. Какая польза теперь с того, ежели и набавят? И хлеб, и припасы всякие, и квартира — все дорожает теперь день ото дня. Никакой прибавкой за ими не угонишься. Тут без рабочего контроля за всяким производством и хозяйскими прибылями ничего поделать никак

невозможно. Ну, а какой же тебе будет контроль, ежели, скажем, без власти советов?!. Сейчас туто-ка к нам члены ВЦИКа, эсеры, приезжали, — ухмыльнулся рабочий, помолчав, и поправил винтовку за плечами. — Все усовещивали нас не выступать. Ну, да разве нас теперь сдержишь? — отмахнул он рукою. — Прогнали мы их к чортовой матери.

— Правильно. Молодцы! — крепко жмем ему руку при расставании.

В сумраке густых лип и пышных лиственниц Петергофа мы на секунду останавливаем машину. На углу, в деревянном домишке помещается здешний большевистский наш комитет. Необходимо с товарищами сговориться, чтобы провести предстоящее выступление согласованно... Но в комитете пусто. Нет ни Булина, ни Дзеписа, ни Дашкевича, ни Жарновецкого, — кто в Питере, а кто в полку. Только один юнец дежурит у телефона. Узкое личико, черные маленькие глазки, гимназический пушок на губах. Оторвался сейчас от трубки, — разговаривал с Кронштадтом.

— Там все спокойно. С ними говорил недавно Каменев. Категорически подтвердил от ЦК, чтобы никаких выступлений...

— Как — никаких выступлений?! Да ведь уже все полки, все заводы... — Впрочем, что тут его агитировать. — Ну, вы здесь как хотите, но только Дашкевичу срочно прошу передать, что мы, ораниенбаумцы, немедленно же выступаем.

Солнце уже совсем гаснет, утопая в багряном мареве туч, когда мы шумным вихрем по хрусткому гравию тенистых аллей влетаем в Ораниенбаум. Машину оставляем внизу у городских ворот на шоссе, а сами поспешно карабкаемся по садовой тропинке в гору, где в просторнейшей серой даче помещается штаб кольтовского батальона. Мы не ошиблись, — здесь все в сборе: и поручик Жендзян, и представители нашего объединенного блока интернационалистов, и среди них наш Племянников, и Горшков, и Белов, и Миронов. Все стоят в большой пустой комнате вокруг стола, освещенные электрической лампочкой, и ожидают нас с нетерпением. Взволнованно и жадно смотрят они на меня, ожидая, что я скажу.

— Ура, братцы! Питер выступил. Все полки и все заводы... Ну, а как настроение здесь?

Жендзян даже подпрыгивает от радости и весело потирает руки.

— Что, я вам говорил?! Говорил?!. — торжествующе накидывается он на остальных. — Ведь у нас все команды не спят, — оборачивается он ко мне, — никто не ложится. Все ждут, что вы привезете из Питера. О том, что полки там выступили, сюда уже докатилось. Я приказал по всем командам загодя приготовить кухни, чтобы в случае чего, еще ночью успеть пообедать, если с утра придется выступать.

— Выступать! Высту-упа-ать! — обалдело орет Алексеев, кружась на одной ноге и восторженно потрясая волосатыми кулачищами. — Вот когда с Пигаревичем-то я рассчитаюсь!..

Но этот крик как-то расхолаживает Жендзяна. Во взгляде его, пытливо устремленном на меня, пробегает настороженность, граничащая с сомнением.

— Но как же будем мы выступать? — начинает растягивать он слова. — По чьему приказу? А как смотрит на это сам ВЦИК советов?

— Как смотрит ВЦИК, мы не знаем, — пожимаю насмешливо я плечами. — Да и как он, спрашивается, еще может смотреть, если массы прут на улицу с лозунгами: «Вся власть советам!» — то есть ему же власть. А по чьему приказу?.. Ну, я, право, не знаю, чей вам нужен приказ. С вашим Черновым и Керенским мы не успели, знаете ли, встретиться, и посему эсеровских приказов я не привез, — издеваюсь я, — а вот от нашей большевистской военки и нашего ЦК у нас есть приказ, и согласно ему уж мы-то выступим! — отрубаю обидчиво и горячо.

— Да, приказ такой мы получили, — поддакивает мне Бровкин, заикаясь от волнения, — и я тоже высказываюсь за выступление. — Но... — он тут же стыдливо спохватывается, не проявил ли он чересчур излишнюю смелость, — но только провести это надо, конечно, легально, обязательно через наш совет...

И насмешливые мои укоры и необычный задор, проявленный всегда таким нерешительным Бровкиным, все это, видимо, сильно смутило Жендзяна. Он чувствует, что политическая правда и необъятная сила народного движения неотвратимо на нашей стороне.

— Хорошо! — хлопает он ладонью по столу так, что чернильный пузырек подпрыгивает и ручка скатывается со стола. — Хорошо. Я, конечно, не большевик, но, поскольку мы уж все здесь в одном блоке, я не имею права не доверять политическим советам вашей партии. Коль большевистский ЦК и военка велят выступать, мы выступим вместе, товарищ Тарасов, все — как один. Вот тебе на это моя рука!

Глазищи у Жендзяна сверкают, как угли, а ручища его судорожна и крепка.

И мы тут же на ходу решаем: оповестить сейчас же все наши команды, чтобы были наготове, депутаты же должны немедленно собраться на экстренное заседание совета.

— Вот попляшут теперь исполкомщики! — ребячески потешается Племянников. — Выступление наше будет им как снег на голову. Воображаю теперь, с какою лимонною рожей будет сидеть Пигаревич, да и Громыко...

— Дело не в рожах, — предостерегаю я.. — Громыко пока что комендант гарнизона.

Весьма вероятно, что вся эта свора, пронюхав, в чем дело, просто-напросто не допустит заседания совета. Надо будет их предупредить.

— Вот именно, вот именно! — тревожится Бровкин. — Я только что хотел об этом сказать.

— Их надо взять на особое попечение, — мудро изрекает Жендзян.

И, склонясь за столом, мы втроем тотчас же сочиняем приказ. Я диктую только общие положения.

«Питер выступил. Мы не можем оставить его без поддержки. Всем командам готовиться к выступлению. Все прежние караулы: на телефонной станции, телеграфе, пороховых погребах, ружейных складах и комендантском управлении — срочно сменить новыми караулами».

Жендзян тотчас же распределяет этот караульный наряд по наиболее надежным нашим командам. Комендантом гарнизона мы назначаем в приказе Жендзяна. Он — старший в чине. Заместителем его — меня и Бровкина. Приказ срочно множится и карьером развозится по всем командам одновременно с запиской о созыве экстренного заседания совета. Вновь назначенному дежурному по гарнизону Жендзян тут же приказывает:

— Смотри, поставь караул понадежней к комендантскому управлению, чтоб Громыко против нас что-нибудь не наделал.

— Слушаюсь! — послушно козыряет прапорщик. — Два пулемета с прислугой поставлю против его дверей! — лукаво подмигивает он.

Теперь нам подают верховых лошадей, и мы все вместе едем к зданию совета. Лошади то-и-дело спотыкаются в темноте по крутым садовым тропинкам. По дороге к совету мы обгоняем тени торопливо идущих туда же депутатов-солдат.

— Я один караул назначил и сюда вот, в совет, — шепчет мне Жендзян на ухо уже возле крыльца, соскакивая с коня и передавая его вестовому. — Алексеев пошел сюда с ним. Пусть пока попридержит исполкомщиков под караулом, а там, глядишь, и совет соберется, тогда-то они уже не опасны.

— Смотрите, как бы чего не вышло! — беспокоится подслушавший нас Племянников. — Ведь это же арест самого исполкома!

Торопливо поднимаемся кверху.

Зал собраний совета тускло освещен одной лампочкой. Депутатов пока еще мало. Те из них, что уже собрались, оживленно толкутся в передней большой проходной комнате, где когда-то устраивал я организационное большевистское наше собрание. А в полусумраке зала, в углу — накаленная злобою перебранка. Солдат Алексеев приставил вооруженных солдат к дверям в комнату исполкома, куда, оказывается, собралась заранее ночью вся

исполкомовская головка. Здесь и Колыбин, и Судаков, и Бохановский с Баскиревым, и Гегечкори с Пигаревичем и Громыкой. Они тоже просовещались о чем-то всю эту ночь. И вдруг, на вот тебе: у дверей караул.

— Это что же такое?! Нет, я настаиваю на точном ответе! Потрудитесь прямо ответить! — горячится обычно спокойный Судаков. — Ведь это что же? Наш арест?!

Алексеев невнятно что-то мычит, однако из дверей комнаты никого из них упрямо не выпускает.

— Жендзян! Товарищ Жендзян! — кричит ему хором вся эта свора, завидев его издали в зале. — Это вы приставили к нам караул? Это вы арестовали нас?!.

— Я знаю, что я делаю, — бурчит невнятно Жендзян. — Никакого тут ареста нет. А караул я к вам приставил. Вам же спокойней!

— Негодяй! По какому же это праву?!—ревут взбешенные голоса.

— По праву революции, — обрывает их твердо Жендзян. — У нас все согласовано с большевистским комитетом.

— А-аа-а!!! — несется из-за дверей исступленный рев, но Жендзян, махнув рукой, быстро выходит.

— Ага, значит, это ваши проделки!! — ревут они теперь уже на меня злобно, бешено, стараясь вырваться мимо сдерживающих их солдат. — Докатились до ареста демократии?!. Валяйте дальше, мы с вами еще рассчитаемся!..

— Какой арест? Какие проделки? — подхожу я с наивнейшим видом. — В чем тут дело? Зачем вы их держите тут, товарищ Алексеев? — стараюсь я взять притворно-грозный тон. — Никто вас, господа, не арестовывал, — говорю я им преспокойно, оглянувшись на зал и найдя, что он уже достаточно наполняется депутатами. — Вы можете располагать собою совершенно свободно. Алексеев, уберите отсюда своих солдат!

Алексеев чертыхается и плюется, но караул свой снимает, и члены исполкома лавиною вваливаются в зал. Пигаревич моментально бежит в переднюю комнату, где в отдельной кабинке помещается междугородный телефон, но часовой, предусмотрительно поставленный нами в кабинке, преграждает ему туда путь Новый взрыв возмущения и ругатни. Однако на этот раз я непреклонен. Никаких сношений с внешним миром, пока наш совет н примет то или иное решение.

Я сам закрываюсь в кабинке и вызываю Кронштадт. Отвечает Рошаль. Сообщаю ему, что мы выступаем, и прошу пособить нашей переброске в Питер предоставлением нам пароходов или шаланд.

— Шаланды, конечно, дадим. Однако зачем же вы выступаете?— удивляется наивно Рошаль. — Мы вот воздерживаемся от выступления согласно директиве ЦК. Весь день сегодня драл глотку об этом на Якорной площади. Еле-еле сдержали. Кипят.

— Кто вам дал подобную директиву?

— Товарищ Каменев по телефону.

— Ну, а мы вот сейчас выступаем, — обрываю его я сердито, — потому что имеем более позднюю и совершенно иную директиву ЦК. Милый доктор! —меняю я искренно тон на самый дружеский.— Вас кто-то намеренно водит там за нос. Неужели ты мне-то не веришь? Умоляю тебя, срочно снесись с Питером еще раз! И немедленно же решайте там у себя всемерно поддержать питерское выступление. Нельзя же бросать наших питерских сотоварищей без защиты, если на них обрушатся силы притаившейся контрреволюции!

— Хорошо, — примирительно картавит Рошаль, — я верю тебе и передам все это ребятам. Попробуем также еще раз вызвать Питер. Он что-то упорно не отвечает.

Меж тем зал быстро наполняется и гудит, как электрический цех с сотней жужжащих динамомашин. Весть о питерском выступлении уже всех облетела, всех зажгла, окрылила, и все со злорадной насмешкой поглядывают теперь на членов исполкома, понурых и злобных, нехотя залезающих за свой длинный, залитый чернилами стол. Негодование против них настолько сильно, что мне стоит труда убедить выбрать председателем собрания все же Судакова. Он смущенно сжимает теперь колокольчик, не зная с чего ему начать. Впрочем, он берет тон примирения, оробело оглядывая своих сотоварищей, среди которых нехватает сейчас одного, Филипповича. Он до сего времени из Питера еще не вернулся. Весь наш блок интернационалистов и меж ними большевистская наша фракция вся здесь в сборе, все на местах, и все воинственно ждут бурного развития прений. Приказ о назначении комендантом Жендзяна тоже ходит у всех по рукам. Он попадает каким-то путем и в президиум, и там читают его растерянно и пугливо.

— Кто созывал этот кагал? — вызывающе гремит Пигаревич. — Зачем понадобилось кому-то тревожить людей среди полночи? Почему это не было согласовано с исполкомом?

— Угу, думаешь сорвать это собрание?! — грохочет ему в ответ Алексеев. — Помалкивай, ежели твоя пьяная рожа покамест еще цела!..

Бурный хохот и шикание заглушают дальнейшие его слова.

— Что значит: «кто созвал собрание»? — мигая глазками, вкрадчиво лепечет Бровкин. — Это мы созвали собрание. Ведь сами же вы посылали нас в Питер! Вот мы и сочли своим долгом срочно доложить совету о результатах нашей поездки.

По залу бежит веселый смешок, и ясно, что сочувствие почти всех присутствующих на нашей стороне. Судаков все это быстро учитывает, оглядывая зал исподлобья. Он предлагает в пререкания с нами не вступать, а прямо заслушать мое сообщение о результатах поездки. И я поднимаюсь тогда на трибуну. Стараясь

быть сдержанным и спокойным, я рисую картину выступлений полков и Путиловского завода. Поскольку народные массы уже вышли на улицу демонстрировать под лозунгом: «Вся власть советам!», нам не гоже отсиживаться. Мое предложение: всем гарнизоном, под теми же лозунгами, при оружии — мало ли что может случиться? — с рассветом выступить на мирную демонстрацию в Питер.

Громыко пробует после меня возражать. Зачем-де отправляться всем гарнизоном да еще при оружии, когда можно ограничиться небольшой выборной делегацией от всего Ораниенбаума, человек в пятьдесят, если это вообще так уж необходимо.

— Все пойдем! Все!! — возмущенно орет на него весь зал. Алексеев волнуется больше всех и неистово барабанит о пол каблуками.

Громыко зеленеет от злобы бессилия и, подавленный, сползает с трибуны. Его сменяет косоглазый худой прапорщик Рыбкин. Он тоже пробует отговорить от похода, ссылаясь на то, что к выступлению этому ни одна из политических партий не призывает. Жендзян, вскочив на трибуну, грозно бьет в пюпитр кулаком. Он говорит, что он честный вояка и революционер и потому товарищей в беде никогда не оставит.

— ... Раз полки и заводы поперли, мы со своими несметными пулеметами обязаны их поддержать. А что касается одобрения партий, то... — и он вопросительно останавливает взгляд свой на мне.

Судаков тоже сосредоточенно поднимает на меня свои овечьи глаза и предлагает мне сообщить, как относится к выступлению наша партия.

Какое им дело до нашей партии, которую они всегда так высмеивали и третировали? Но если им это угодно, то вот решение нашей военки и конференции: движение это поддержать и придать ему максимальную организованность и порядок.

После этого поднимается сам Судаков. Скрипучим встревоженным голосом он заявляет, что он эсер и всегда был против беспочвенных выступлений, но сейчас, сейчас... когда, повидимому, действительно решается судьба демократии, когда лозунг «вся власть советам» является знаменем всей выступившей демократии, он, Судаков, против демократии не пойдет и будет демократически голосовать за мирное и организованное демократическое выступление.

Гром взорвавшихся аплодисментов покрывает его слова. Теперь он удовлетворенно садится, кокетливо приосаниваясь. Вопрос о немедленном выступлении ставится им на голосование, и все руки дружно и прямо рвутся ввысь.

— Кто против?

Ни одной поднятой руки.

— Кто воздерживается?

Только Рыбкин и Пигаревич робко высунули возле позолоченных своих погонов конфузливо прижатые ручки. Презрительный хохот пронесся по залу.

— Кронштадт выступает! — кричит на весь зал вбежавший Племянников. — Меня только что вызывали сейчас к телефону. Они решили сейчас, глядя на нас, тоже выступить в Питер всем своим гарнизоном и сообщают, что вследствие этого уже не могут, к великому своему сожалению, предоставить нам своих шаланд. Самим, дескать, нехватает. Ехать поэтому придется нам только поездами.

— Урра-аа-а!! — гремит зал.

Итак, решение наше санкционировано, теперь — за дело. Мы распределяем обязанности между собою. Племянников должен мобилизовать все железнодорожные составы, чтобы, начиная с восьми часов утра, успеть перекинуть до десяти часов весь гарнизон в Петроград пассажирско-товарными поездами. Товарные платформы необходимы, поскольку в Питер идут до полутысячи пулеметных двуколок при лошадях и прислуге. С первым эшелоном едет Жендзян. Он будет распоряжаться приемкой команд там, в Петрограде, на площади Балтийского вокзала. Погрузкою здесь будут ведать Племянников с Бровкиным. Войскам собраться на площади перед вокзалом при своих офицерах. Обязателен полный порядок без единого выстрела. За стрельбу арестовывать и сажать. Руководство всей операцией этого похода возложено на меня.

Солнца нет, но воздух уже серебрится прозрачною сизою дымкой. В клумбах сада сине-лиловые георгины наливаются понемногу сочной пунцовой окраской. Теплая светлая прозелень тянется по горизонту. Свежим, волнующим запахом дышат цветы. Я привязываю упарившегося коня возле изгороди у своей квартиры. Торопливым стуком в дверь поднимаю заспанного вестового. В нашей комнатке еще полумрак. Дети спят в тишине. Разбуженная жена, вскочив с постели, смотрит на меня испуганными глазами.

— Что случилось? — ее голос дрожит тревогой. — Где ты был всю эту ночь? Мы все здесь за тебя так беспокоились!..

— Поздравляю тебя с третьей, окончательной революцией! — говорю я ей с восторженной лаской и крепко жму ее теплые руки. — Отныне будет народная власть крестьян и рабочих. Ради ее торжества не страшно, милая, и умереть. Я сейчас еду в Питер. Вместе с войсками. Ведем весь Ораниенбаум. Что там будет, не знаю, но мы готовы на все. Революция, во всяком случае, обязательно победит. Радуйся вместе со мною и дай мне ручонку на прощание и на счастие!

Едва ли что понимала тогда спросонья жена в этом восторженном и напыщенном моем лепетании. Острой тревогой за мою судьбу светились испуганные ее глаза. Она молчала, не зная, что мне ответить, и наконец с мольбою во взгляде кивнула на спящих в постельках наших ребят.

— Хоть ради них, заклинаю тебя, будь осторожней!..

«Хоть ради них...» — усмехнулся я этим словам, поспешно выходя обратно. Что значит: «ради них»? Разве «они» не более широкое понятие, нежели эти двое спящих моих малышей? А вот те, что, быть может, в это же самое утро там, на дальних равнинах Галиции, умирают сейчас неведомо ради чего, конвульсивно цепляясь скрюченными пальцами за ворох окровавленных своих кишек, вывернутых снарядом... эти что ж, уж не «они»? И затем, почему «ради них» должен я быть осторожней? И как понять это самое «осторожней»? Не лезть туда, где будет опасность? Предпочесть направлять в опасность других? А самому прятаться за их спинами?! До какой наивной преступности может, в самом деле, дойти привязанность и любовь!.. И мне хочется, мучительно хочется немедленно же высказать все эти мысли о революции, которые не уяснила сейчас моя жена, высказать их тем, в ком они вызовут ответный пламенный отклик. Но кому их сказать? Моей пулеметной команде? Но она сейчас почти вся в караулах, а те, что остались незанятыми, наверное уже подходят сейчас к ораниенбаумскому вокзалу. И взор мой невольно останавливается на темном кудрявом ворохе лип, окутывающих дачу моей старой учебной команды, что напротив на горке. Ведь когда-то я с этими солдатами мчался отсюда в таком же воинственном упоении в морозную лунную ночь Февраля. Как жаль, что теперь, после выпуска, они почти все разлетелись. А быть может, кто из них и остался? Торопливой походкой карабкаюсь вверх по тропинке. Кругом — перяшество и пустота. Какие-то бутылочные осколки звенят в траве, пожелтевшие бумажные лоскутья старых газет возле дачи, поломанная и выщербленная, как старушечья челюсть, деревянная изгородь. Дверь не заперта. Никаких дневальных. Поднимаюсь знакомой скрипучею лестницей наверх. Отворяю одну из дверей. Пустой пыльный класс. Открываю другую. Старые, до лоска затертые деревянные нары. На их необъятном просторе спит, укрывшись одеялами, человек пять солдат. Осторожно заглядываю одному в лицо. Широкие мягкие безусые губы. Тонкий, чуть приплюснутый нос. Ну, конечно, так и есть: Ноздрачев.

— Ноздрачев, — бужу я его, — вставайте!

Он фыркает, повертывая голову, и сонно открывает еще мутные спросонья глаза.

— Поздравляю, друг, с революцией в Питере! — обращаюсь к нему, весь сгорая от внутреннего восторга.

— Ну... — мычит он недоуменно, лениво показывая белки своих телячьих глаз, и так же лениво поворачивается на другой бок и натягивает себе на лицо одеяло.

Кругом храп. Тяжелая духота висит в комнате.

Пришпорив с досады коня, резво мчусь рысью в Ораниенбаум, с наслаждением подставляя лицо порывам встречного ветра. Солнце искристо брызнуло из-за лесов и золотит впереди верхушки садовых деревьев и казарменные здания города. У железнодорожного переезда приходится задержаться. Шлагбаум закрыт, и, лениво посвистывая, грохочет по железным путям воинский поезд. На открытых платформах мохнатые лошаденки у пулеметных двуколок с упоением жуют овес. Солдаты сидят где попало, благодушно болтая ногами, и весело щурятся от ярких лучей. Из раскрытых дверей товарной теплушки залихватски гудит гармонь. «Должно быть, это Жендзян поехал с первым эшелоном», — думаю я и с завистью смотрю вслед убегающему поезду. Теперь я скачу уже много быстрее, стремясь поскорее попасть на погрузку. Что там, в Питере? Что делается там сейчас в этом бушующем революционном горниле всей нашей страны? Может быть, там уже торжество: ВЦИК советов взял власть в свои руки, а быть может, там сейчас льется кровь?!

Свою лошадь я сдаю в штаб батальона и пешком спешу на вокзал. Солнце уже достаточно поднялось, горячо обливая лучами июля сотни пулеметных двуколок, запрудивших всю привокзальную площадь. Говор сгрудившихся здесь тысяч солдат-пулеметчиков, стук повозок, ругань возниц, фыркание лошадей, лязг вагонов, гудки паровозов — все это сливается здесь над вокзалом в деловой, бодрый гам.

За углом я неожиданно сталкиваюсь лицом к лицу с Филипповичем. Он в том же брезентовом своем балахоне, в котором ехал с нами вчера; должно быть, только что из машины: дорожная серая пыль густо запорошила все складки его одежды, фуражку, морщины у глаз и усы. Он минул сейчас бурную площадь вокзала, и в глазах его играют зловещие огоньки. Но меня это все забавляет: «Беснуйся теперь сколько угодно, давясь от бессилия!» — думал я про него.

— Что нового в Питере? — спрашиваю я его благодушно.

— А что это творится у вас здесь?! — не в силах он сдержать своего негодования.

По злобно замкнутому лицу прапора Рыбкина, молчаливо сопровождающего его, я догадываюсь, что Филипповичу уже все известно.

— Как видите, грузимся, — отвечаю я ему с добродушной усмешкой.

— А вы это читали? — багровеет он от приступа злости и протягивает мне печатный листок.

Черные, жирные буквы танцуют у меня перед глазами:

«...Неизвестные лица, вопреки ясно выраженной воле всех без исключения социалистических партий, зовут вас выйти с оружием на улицу... Выступление в защиту расформированных полков есть выступление против наших братьев, проливающих свою кровь на фронте. Напоминаем товарищам солдатам: ни одна воинская часть не имеет права выходить с оружием без призыва главнокомандующего, действующего в полном согласии с нами. Всех, кто нарушит это постановление в тревожные дни, переживаемые Россией, мы объявим изменниками и врагами революции...»

Дата: 4 июля, и внизу из жирного жирным: «Всероссийский центральный исполнительный комитет Съезда советов рабочих и солдатских депутатов и Исполнительный комитет Всероссийского совета крестьянских депутатов».

Листок трясется у меня в руке, буквы прыгают в какой-то неистовой чехарде, когда я пытаюсь их снова прочесть. «... изменниками и врагами революции...» — беззвучно шепчу я про себя.

— Что, не по шерстке? — ехидно прищуривается на меня Филиппович. — Да, сударь, вам придется теперь сурово ответить перед органами демократии за все это, что вы здесь заварили, — злобный всплеск рукою в сторону площади, — и за все то, чем все это еще окончится там! — еще более зловещий бросок рукой в сторону рельсов, уходящих на Питер. — Очаровательно! — издевается Филиппович, наслаждаясь моей полной растерянностью. — У вас, кажется, и лозунги уже здесь заблаговременно заготовлены: «Вся власть советам!» Восхитительно! А вот советы, батенька мой, видите ли, поумней вас. Советы, дорогой мой дружок, этой власти брать не желают. Да, вот представьте себе: так-таки и не желают. Вы им подсовываете, а они не хотят. И будут жестоко карать всякого сумасброда, который посмеет насильственно навязывать им эту власть... Что же теперь думаете вы предпринимать с этим вашим кагалом? — презрительно кивнул мне Филиппович на площадь, немного помолчав.

— Власть демократии, — начинаю я, заплетаясь, — власть демократии для меня, товарищ, закон. Высший закон, — добавляю я нерешительно. — Против решений ВЦИКа, за передачу власти которому мы так ратуем, мы не пойдем, я не пойду, — поправляюсь я. — Это для меня — высший закон, — повторяю я уже убежденней, а сам думаю: «А как же партия? А если партия велит мне сейчас выступать?! Нет, не может этого быть, чтобы партия пошла против ВЦИКа, — пробую я сам себя успокоить. — Просто, вышло вчера досаднейшее недоразумение. Мы не смогли сдержать масс и вынуждены были возглавить их выступление. Но сегодня... Да, сегодня, наверное, все это уже отменено, как была отменена нами демонстрация десятого июня». — Да, товарищ Филиппович, —

отрубаю я ему уже твердо вслух, — мы были здесь в невольном, но в самом искренном заблуждении. Ничего плохого или незаконного мы здесь не наделали. Сейчас я приму все самые решительные меры, чтобы это движение остановить. Я не сомневаюсь, что это мне вполне удастся.

Филлипович еще раз язвительно покривился и, молчаливо повернувшись, торопливо пошел по направлению к исполкому.

На площади, возле сгрудившихся команд я нашел в сборе и Племянникова, и Бровкина, и Науменко, и Рубцова. Все были подавлены, и у всех на руках были те же, очевидно розданные Филипповичем, листки ВЦИКа. Взоры всех растерянно и вопросительно остановились на мне.

— Надо будет все отменить, — буркнул я глухо и мрачно, и мне показалось, что вздох облегчения вырвался у всех.

Я вскакиваю на первую попавшуюся на дороге пулеметную двуколку. Так же, как и тогда, в Феврале. Но как это все теперь стало непохоже. Тогда я порывисто звал всех спешить в Петроград. С неохватною радостью я ловил тогда искры готовности в устремленных на меня солдатских глазах, брызжущих отвагой дерзания. Плечами, развернутыми как упругие крылья, мы ломились тогда в морозную ночь, чтоб победить иль умереть. А теперь? А теперь я стою, жалко ссутулясь, и как-то обиняками пробую убеждать, что сейчас получено новое распоряжение, что выступление отменено, что ехать в Питер не надо, что задача наша уже выполнена... и чувствую, что я лгу. И я отчетливо вижу, что все эти тысячи сгрудившихся вокруг меня внизу голов отличнейшим образом сейчас понимают мою фальшь. С тяжелым, подавленным недоумением они вглядываются теперь в меня. Лишь немногие жалкие, трусливые команды, команды не пулеметчиков, а кашеваров, химиков, хлебопеков и прочей обозной шпаны, окопавшейся при школе и настроенной посему неизменно противобольшевистски, — только эти команды с удовлетворенной поспешностью заворачивают оглобли обратно и начинают быстро расползаться по домам. Остальных же охватывает темная злоба.

— Что вы чешете нам ерунду, подпоручик?! — кричат мне враждебно со всех сторон. — Что так скоро вы к социал-холуям переметнулись? Да здоровы ли вы, или вас кто сейчас подменил? Опомнитесь! Что вы сейчас нам городите?!.

Эти выкрики меня бесят и делают жестким. Я твердо продолжаю убеждать, что дальнейшее движение на Питер сделает нас врагами всей демократии и поставит всех нас под расстрел.

— Ишь, чего испугался! — кричат мне. — А почем ты знаешь, может быть наша кровь там уже льется? Что ж ты хочешь бросить братьев рабочих и другие полки на произвол?!. Не запугивай

больно-то нас, — наступают солдаты со всех сторон на меня. — Едем, товарищи, в Питер! Чего его слушать! Горяча каша до еды, а есть почнешь, то и не заметишь. На то, братцы, мы и солдаты!

Смущенно я сползаю с двуколки. «Чорт побери, как они дьявольски в общем правы! По-своему, конечно, правы, но тем более надо удержать их от этого бессмысленного сейчас и бесполезного выступления». Вместо меня карабкается на повозку Племянников. Его взгляд сейчас робко бегает по сторонам. Он пробует повторить мои мысли, но только в других выражениях. Голос его срывается и скрипит. Его уже никто не слушает. Улюлюкание, свист, враждебные выкрики несутся против нас со всех сторон.

— Какая гадость получается, — шепчу я на ухо трусливо мигающему возле меня Бровкину. — Жендзян-то уже уехал с первым эшелоном. Надо будет срочно звонить ему в Питер, чтобы вернуть.

— Нет, Жендзян не уехал, — заикаясь, трясет шеей Бровкин. — Жендзян намеревался ехать со вторым эшелоном, но сейчас, прочитав эту листовку, бросил все и помчался на пристань, чтобы ехать в Кронштадт. Просто живот у него сейчас заболел с перепугу, — пробует Бровкин пошло пошутить.

Речь Племянникова тоже никакого успеха не возымела. Толпа солдат кругом нас быстро рассасывается, брезгливо переставая нас слушать. Все гурьбой устремляются сейчас на открытый перрон и с поспешным остервенением, с треском и гамом приступают к самочинной погрузке в поданные составы. Прежний порядок быстро исчезает. Ругань, гомон, лязг сталкивающихся повозок. И глупые одиночные ружейные выстрелы начинают то-и-дело вспарывать эту шумную кутерьму.

— Ну их всех к чорту, — с захлебом выдавливает из себя Бровкин. — Мы не можем за них отвечать, если они отказываются сейчас нас слушать. Пускай сами едут в Питер. Если что, то их там теперь так встретят, что живехонько образумятся и сами вернутся назад.

— Правильно, — поддакивает Рубцов.

Поезда насвистывают и уходят теперь один за другим с гиком, песнями и стрельбой.

— Нет, — говорю я, — так, братцы, тоже негоже. Нельзя же, на самом-то деле, их так оставлять, если сами же мы их всех взбаламутили. Я должен буду с ними поехать туда, чтобы на месте взглянуть, что ж там творится.

И я вскакиваю уже на ходу в одну из теплушек. Солдаты кричат мне «ура».

— Конечно, мы знали: вы же с нами, товарищ подпоручик!

27. ДОЛОЙ КАПИТАЛИСТОВ!

Дощатый дебаркадер Балтийского вокзала внабой загроможден пулеметными двуколками. Поезда прибывают из Ораниенбаума один за другим, выкидывая на привокзальную площадь боевые наши команды. Они строятся здесь походной колонной, готовясь к движению в центр. Поручик Жендзян поддерживает порядок, — он здесь вместе с ними, Бровкин напрасно на него клеветал. Здесь же и Новиков и Горшков, а попозже подъезжает и Бровкин. Из других ораниенбаумских вожаков здесь нет больше никого.

Солнечное утро сверкает спокойною синевой в окнах домов. Мирно зеленеют купы деревьев в садах. Но весь этот внешний летний покой не привлекает сегодня внимания. В чему эта тишь, если она коварно сейчас прикрывает хищный оскал подкравшихся врагов революции!

Грозные грузовики, ощерясь штыками, переполненные матросней, то-и-дело подлетают откуда-то к нам на площадь. Грозные грузовики с ревом и грохотом зовут нас немедленно же броситься бурным потоком вперед. По городу всюду стрельба. Стреляют на Лиговке, стреляют на Невском, на Садовой стрельба, стрельба у Литейного моста. Стреляют из окон, стреляют с крыш, стрельба ведется из слуховых окошек. И цель выстрелов одна — тысячные колонны двигающихся к Таврическому дворцу демонстрантов.

Внезапно вдали, возле самого вокзала, толпа взволнованно расступается. С трепетом шелковых алых знамен, со звонким грохотом сверкающего на солнце оркестра, четко держа под музыку шаг, стройно щетинясь штыками, спускаются по ступенькам на широкую площадь шеренги только что прибывшего полка. На распростертом багровом плакате величественно колышатся яркие слова: «Долой правительство капиталистов!» Впереди несколько грузно вышагивает коренастый чернобородый очкастый поручик.

— Дашкевич! — обрадованно вскрикиваю я при его приближении. — Дашкевич, ты идешь?

— Третий национальный всегда выступает, когда того требует революция, — с полушутливою гордостью приветливо выкрикивает он нам. — Стройся за нами! Ораниенбаум всегда за Петергофом.

— Что ты, — испуганно взмахиваю я руками. — С нашими-то пулеметами?! Мы ведь такое крошево разведем, если выступим...

— Ну, как знаешь, — снисходительно кивает он. — По-оолк! — кричит он при смолкшем оркестре. — По-батальонно... шеренгами по отделеньям...

Оркестр снова грохает бравурным солнечным маршем, и развернувшиеся колонны величаво плывут с площади на Обводный.

— Стано-ви-ись! — летит самовольный крылатый приказ и по нашим командам. — Походной пулеметной колонной! Справа по-взводно, правое плечо вперед, марш!

— Стой! Постойте! Отставить! — кричу я вне себя, лихорадочно вскарабкиваясь на двуколку. — Товарищи, разве нам можно равняться с пехотой?! У них ружья, выстрелил — и на плечо, а у нас пулеметы. Меньше ленты не выпустишь. А по кому?.. Куда мы пойдем?.. Знаете ли, что означало б наше сейчас выступление? Стрельба в городе грохочет повсюду. Мы пойдем, нас обстреляют. Разве мы будем молчать?

— Нет!! — ответно грозно рявкает вся наша пулеметная масса.

— Ну, конечно же, мы не смолчим. А что это значит? Мы развернем свои пулеметы и откроем вдоль улиц такой ураганный огонь, что на версты сметем с них все живое. Где уж будет тогда разбираться, кто тут бьет и кого! Мы перекрошим массу своих, мы заварим кровавую кашу, а кто будет расхлебывать ее потом? Питерские рабочие своей многострадальной спиной! А затем какова же будет боевая цель нашего выступления? Есть ли у нас план боевой операции, охвата, или наступления?.. Чепуха! Ничего этого пока у нас с вами нет. Есть только один горячий порыв и горячий пехотный пример, а для нас всего этого мало. Мы не дети, и такие вещи не делаются так, наобум. Я предлагаю, нет, я требую, — начинает железом греметь по площади мой надсаженный голос, — я требую, чтобы все вы, все до одного, оставались бы здесь на своих прежних местах. Я же с несколькими товарищами захвачу сейчас автомобиль, и проедем к Таврическому дворцу. Там сейчас решается судьба создания новой власти, там же и все наши вожди. От них я получу самый точный, разработанный приказ о наступлении. Я немедленно же его сюда привезу, и тогда мы тотчас же двинемся, имея уже определенные задания и планы. Правильно ли я говорю?

— Верно! Правильно! — рявкают тысячи глоток, хотя в иных рядах и замечается протестующее, не согласное со мной движение.

— Мы поедем и вернемся назад при одном только условии, — продолжаю я непреклонно. — Вы дадите сейчас же мне честное слово революционеров, что без нас никуда вы не двинетесь, несмотря ни на какие призывы. Командиром при вас остается поручик Жендзян. Знайте, что среди тех, кто будет вас подбивать наверняка могут быть провокаторы. Не давайте им разрознить себя. Стойко держитесь все, как один, и дожидайтеся нас. Да здравствует, товарищи, власть советов!

— Ур-рра-а-а! — гремит площадь.

Теперь можно ехать спокойно. Один из мелькающих мимо авто уже перехвачен, случайные пассажиры его высажены на мостовую. Я захватываю с собою Новикова и Бровкина, и вот мы летим,

Лиговка. Магазины все заперты, трамваи не ходят. Широкая улица словно выметена. Одиночки жмутся в нишах дверей и в подъездах. Зловещим клекотом грохочет вдоль мостовой гулкое пулеметное стрекотание. Пули лупцуют по низу домов, сковыривая штукатурку, и с визгом щелкаются о края панелей. Какой-нибудь злобный мерзавец не иначе бьет, как из подвала. Но из какого? Откуда? Улица длинна, широка и пустынна. Благополучно проносимся дальше. На Невском вдали виднеются движущиеся колонны демонстрантов. По черно-белому их обличию нетрудно даже издали признать в них матросов. Молодецкий Кронштадт, стало быть, тоже уже приехал. Мы сворачиваем и мчимся Знаменской. Здесь сравнительно тихо, лишь на углу Кирочной, где стоит 6-й Саперный батальон, — огромная беспорядочная толпа солдат, обвешанных пулеметными лентами. Они воинственно потрясают винтовками и кричат в открытые окна казармы:

— Вылетай! Вылетай! Вылетай!!!

Мы огибаем церковку Косьмы и Демьяна. Что это? Пули просверливают в нашей машине стекло. Стремительно вглядываемся в ту сторону, откуда раздался выстрел. Голубой выбритый мужчина, в разутюженных серых брюках и такого же цвета жилете, в крахмальной сорочке, стоит на цыпочках на подоконнике за рамою нижнего этажа. Он высунул в открытую форточку свой револьвер и, прищурившись, целит в нас. Подлец не захотел стрелять через стекло, он, видите ли, печется о целости и комфорте своей барской квартиры. Можно было б, конечно, остановиться и в две секунды распатронить этого вылощенного негодяя. Но мы стремительно проносимся дальше, — необходимо спешить...

На Шпалерную нам не проехать, она вся битком забита колоннами демонстрантов. Здесь сплошное море черных и синих рабочих блуз и пиджаков с распростертыми над ними на древках пурпурными плакатами: «Долой министров-капиталистов!» Судя по надписям и эмблемам на алых знаменах, сюда сгрудились почти все заводы столицы: здесь и Лесснер, и Парвиайнен, и Айваз, и Балтийский, и Невский судостроительный, и Треугольник, и даже рабочие-оружейники из Сестрорецка поднаперли сюда издалека изрядной толпой. Словно зеленовато-серые реки, к этому черному фабричному океану вливаются наши большевистские полки, алея плакатами, блестя остриями штыков и пружиня летнюю духоту гамом оркестров. Они запрудили все переулки и залили Кирочную, Сергиевскую и Фурштадтскую. Здесь — Московский, Пулеметный, здесь Кексгольмский, Егерский и Гренадерский, Первый запасный и 180-й. Даже группа безропотных сорокалетних, что с таким смиренным упорством демонстрировали все эти последние дни на Невском проспекте, просясь в отпуск к родным деревням на полевые работы, — даже эти бородатые дядьки, в стоптанных сапо-

гах и в драных рубахах без поясов, млели сейчас в солнечной духоте, обливаясь потом в своих зимних косматых папахах, и стойко держали развернутый полотняный плакат: «Мира, хлеба, свободы».

Пробираться к дворцу приходится через Кирочную кругом. Но и здесь, возле ограды огромного дворцового парка, все пространство занято путиловцами. Они оставались здесь с вечера со своими женами и детьми, ночуя либо тут же на улице, либо перебравшись через ограду под тенистые деревья парка. Необозримою сплоченной массой они все еще ждут здесь чего-то настойчиво и терпеливо. Их мрачный табор угрюм и грозен, как угрюмы и грозны свинцовые тучи, в душной тяжести заволакивающие сейчас небосклон. Мы останавливаем свою машину на Таврической улице, у боковых ворот дворца, в которых застрял сейчас грузовик, пытавшийся выехать с тюками какой-то бумаги.

— Что везете? Что нового? Давайте нам! — кричат запрудившие собой весь проезд рабочие прилизанному солдатику с университетским значком, копошащемуся над тюками. Когда он разгибается, мы узнаем в нем румяного, словно яблочко, Сомова, адвоката, пристроившегося солдатом в Семеновском полку и попавшего теперь к Керенскому в адъютанты. Пока шофер его гудит и скрежещет мотором, пытаясь раздвинуть толпу, он поспешно раскидывает сверху листовки. Сотни протянутых рук ловят их на лету и тут же начинают читать их вслух.

— «... преступные личности, всякие проходимцы, освобожденные уголовные, бывшие городовые и жандармы, немецкие шпионы...» — с жадностью читают все, удивленно раскрывая глаза. — Да это кто ж? Про кого ж это? — шепчут они, останавливаясь. — «... эта преступная банда прикрывается «Правдой» и «Солдатской правдой»...»

— Угу! — мрачно рявкают про себя десятки добровольных чтецов, и сотни слушателей сурово нахмуриваются.

— «... которая тоже изо дня в день натравливает солдат против правительства и советов, против социалистических партий, против всех выборных органов демократии...»

— Чего они врут-то?!. Кто пишет?!. Какая это гадина этак заливает?!. Ведь мы же все за советы!.. Только спротив капиталистов!!. — грозно нарастает протестующий гул рабочей толпы. Многие комкают листовки и с негодованием швыряют их под ноги.

— «... опираясь на «Правду», новоявленные «большевики» из агентов контрреволюции делают свое темное, предательское дело...» — не унимается какой-то чересчур ретивый чтец, и голос его нестерпимо свербит в протестующем гуле.

— Кто это у них контрреволюционеры?!. Кто предатели?! — свирепым ревом взрывается вся толпа. — Это мы-то?!.

Грохот, свист, грузовик трещит под напором десятка цепких, корежистых рук. Чистенький, холеный Сомов живо стаскивается со своих тючков наземь, где, жалостливо скривив мордочку, пискливо пробует было оправдаться:

— Товарищи! Ведь это же прокламации ВЦИКа!..

Толпа безжалостна и сурова, он бежит от нее во дворец, трусливо согнувшись и получив две-три затрещины в шею. Тюки же листовок дружно сошвыриваются с грузовика тут же на мостовую, поспешно обливаются выпущенным из машины бензином, и вот длинные рыжие пряди огня, извиваясь черными космами дыма, уже пляшут в веселом и пламенном танце над этой белой и плотной, быстро обугливающейся кучей.

Боковой вход во дворец оказывается уже кем-то предусмотрительно запертым. Нам приходится обойти ко дворцу со Шпалерной, но и тут двор битком переполнен рабочей толпой. Сквозь нее не протолкнешься.

— Церетели! Подать сюда Церетели! Пусть к нам выйдет министр Церетели! — упрямо настаивает толпа. Кто-то бегает там вдали на ступеньках у колоннады, но Церетели почему-то упорно сюда не выходит.

— Церетели!! — уже грозно рявкает двор.

Видно, как на ступеньки у колоннады, из-за плотных рядов сгрудившихся людей торопливо выскакивает Зиновьев. Его широкое бритое остроносенькое лицо всем знакомо. Он без шляпы. Поднимающийся ветерок играет его кудрявыми волосами.

— Вы просите Церетели, — шутливо улыбается он, — а вот вместо него вышел я.

Незлобивый, приветливый хохоток пробегает волной по толпе. Зиновьева, видимо, рады послушать. Пока он высоким, заливистым голоском произносит горячую речь, рабочие сочувственно и деловито прислушиваются, лишь изредка перешоптываясь меж собой. Он говорит о разрухе, о голоде, о том, что большевики в Петербургском совете с самого начала высказывались против всякого блока социалистов с буржуазией. Большевиков тогда не послушали, и вот теперь плоды налицо. Он говорит о борьбе за улучшение жизни рабочих и землепашцев, он говорит о светлом пути к социализму.

— А Церетели почто к нам не выходит! — нетерпеливо выкрикивает кто-то.

Тогда Зиновьев пытается несколько разрядить накопившуюся у всех досаду на Церетели и пробует взять его под свою защиту. Внимание всех тотчас же холодно настораживается.

— Церетели, — заливается фальцетом Зиновьев, — лично безусловно честнейший человек. В создавшемся положении виноваты

отнюдь не отдельные лица, не отдельные социалистические министры, из которых Церетели наилучший.

— «Наилучший»! — с презрением в голосе вскидывается возле нас рабочий с женским пальто подмышкой. — Обманщики они и предатели, а вы говорите нам: «наилучший». Почему ж они цацкаются с буржуями?!

Зиновьев секунду испытывает замешательство. Он крутит головой, оттопыривая рукой воротничок, будто он ему тесен.

— Мы не о политике, а о личности говорим, — пробует он оправдаться. — Мы предостерегаем вас от всяких эксцессов и просим теперь, после того как вы уже выявили здесь свою волю, мирно разойтись по домам.

Он кончает под аплодисменты и, удовлетворенный, уходит, но толпа и не думает расходиться. Между тем воздух становится сжатым и душным. Быстро несутся свинцовые тучи, курясь седою крутящейся дымкой. Внезапный порыв сквозняка поднимает пыль и песок, швыряя прямо в глаза, и кружит над толпой занесенный сюда черный рой бумажного пепла. Вдруг ослепительной огненной жилой трескается и раскалывается серое небо и с грохотом рушится наземь громадой шипящего ливня. Все кругом разом темнеет. Люди бегут кто куда, пытаясь укрыться от беспощадной сечи дождя. Многие кидаются к подъезду дворца, под колоннаду, но там и без того уже целая свалка, и хлещут по ней с крыш пенистые потоки, переполнившие сточные жолоба. Многие спасаются в сквер и мокнущими кучами никнут под сень кустов. Многие порывисто жмутся к окнам и стенам дворца, пытаясь хоть здесь сколько-нибудь спрятаться от косых, беспощадных плетей ливня, завернув себе на голову незатейливые свои пиджаки, с которых вода стекает ручьями. Дети судорожно ревут, хватаясь за намокшие юбки своих матерей. Некоторых малышей мы укрываем в своей машине, а сами пытаемся пробраться к главному подъезду дворца. Однако протиснуться внутрь оказывается и здесь невозможным — так много промокших людей — и нам остается досадливо наблюдать, укрывшись под колоннадой, как пузырятся по двору лужи, словно от тысяч выскакивающих из них гвоздей. Угрюмо стоят под дождем у правого портика сгрудившиеся здесь броневики.

Но вот сквозь надоедливый шум дождя слух ловит все более и более нарастающий мерный грохот, все чутко прислушиваются, и вот мы видим, как по мокрой, поредевшей от толпы Шпалерной быстрым шагом к нам приближаются колонны матросов. Белые намокшие бескозырки обвисли на головах кошелями, белые форменки кажутся розовыми, прилипнув к горячим плечам, отяжелевшие черные брюки мотаются, как мешки, но поступь колонн четка и упряма, и руки крепко придерживают ремни у карабинов. Даже дождь, словно смутясь смелостью моряков, с приходом

их быстро стихает. Ветер порывисто рвет клочья трусливо убегающих туч, морщит рябью присмиревшие лужи, люди начинают выползать из-под укрытий, и солнце, радостно вырвавшись на голубую проталину неба, искрометно сверкает на мокрых камнях мостовой, на тугих вороненых стволах карабинов, на позолоченных пуговицах белых, как сахар, кителей морских командиров. Матросы преогромнейшею толпой все плотней и плотней заполняют весь двор и сквер перед дворцом, забиваясь и под колоннаду. Сюда протискивается и группа их вожаков, среди которых мы узнаем и розовощекого, застенчиво озирающегося мичмана Раскольникова, и худого, как жердь, Рошаля, и серенького кругленького Кирилла Орлова в неизменном его макинтоше и в обвисшей, как гриб, намокшей шляпенке. Мы приветливо жмем друг другу руки.

— Вот, глядишь, мы и здесь, — самодовольно улыбается Рошаль. — Сейчас нас сам Ленин напутственной речью сюда проводил с балкона Кшесинской. «Так мол и так, — говорит, — больше выдержки, стойкости и бдительности. Лозунг наш — за власть советов! — неминуемо победит». Словом, «дуйте, ребята, к Таврическому, но только чтоб тихо и мирно и с сугубой выдержкой».

— «С сугубой выдержкой», легко это было сказать! — вскидывается Орлов. — А на деле-то как? Вон на Литейном сейчас какая-то сволочь из пулемета по нас чесала. У нас четверо уже есть убитых да с десяток тяжело раненых...

Матросы продвигаются совсем вплотную. Морские оркестры возле ворот грянули «Интернационал». Воздух налился торжественностью и отвагой.

— Ну, а где же твоя знаменитая пулеметная гвардия? — снисходительно любопытствует Федя Раскольников, защищая слова от трубного гула. — Или вы все еще ждете наших шаланд? — смеется он. — Но, друг, ты знаешь, мы сами-то еле-еле сюда приволоклись. Даже учебные суда из Бьерке и Транзунда пришлось вызывать для нашей сюда переброски. — Он благодушно выкрикивает обо всем этом прямо мне в ухо.

— Благодарствую, обошлись и без шаланд, — отвечаю я удрученно, чувствуя подступающую глухую тоску. — Остановились сейчас у вокзала. Дальнейшее наше движение при уличной этой стрельбе совершенно бесцельно. Да и спрашивается: ради чего?..

— Как это — «ради чего»? — трунят они разом все надо мною. — Вот и привел бы их тоже сюда всех сейчас, как и мы.

— А что дальше?

— Как — «что дальше»? — шутливо переглядываются они между собою. — Ты взгляни-ка на наших: молодец к молодцу! А каковы лозунги! Поглядим, как-то теперь удастся Церетели сосвататься с буржуазией.

Оркестр смолк, и трубы, отпрянув от губ, сверкнули солнечным жаром.

— Вся власть советам! Урра-а! — гремела толпа.

— Долой капита-а-али-истов! — выводил чей-то пронзительный голос.

— Доллой!!! — рванула эхом вся масса.

— Керенского! Керенского! Керенского сюда подавай! — заскакали требовательные выкрики из сгрудившихся матросских шеренг. — Пускай он нам начистую все объяснит, для ча он повел наступленье?!

— Керенского!! — заревела толпа, и окна дворца зазвенели.

— Товарищи, Керенского здесь сейчас нет! Керенский еще вчера выехал к действующей армии! — старается перекричать весь этот гам чей-то охрипший голос из-под колоннады.

— Ишь, перевертень, успел улизнуть! — летят хлесткие возгласы из толпы.

— Кого другого тогда подавай! Пущай кто другой выйдет сюды из социалистов! Пущай Церетели выходит сюды! — напористо наступают матросы под колоннаду. — Церетели сюды, Церетели!..

Бурный рев становится все настойчивей и грознее. Раскольников внезапно бледнеет, потом вспыхивает, как пион. В серых его глазах бегает тревожное беспокойство, на подобный разгул страстей он, видимо, совсем не рассчитывал.

— Товарищи! — пробует он унять бушевание. — Товарищи!.. Послушайте-ка, товарищи! — беспомощно взмахивает он руками.

Но в это время на ступенях колоннады, пробившись сквозь толпу, появляется из дворца Чернов. Он без котелка. Седоватые его кудри лоснятся на солнце. Глаза сощурены и тревожно бегают по сторонам, словно мыши.

— Товарищи! Граждане! С вами будет сейчас говорить социалистический министр земледелия, товарищ Чернов! — вызванивает из-за спины министра чья-то надтреснутая фистула.

Шум затихает, убегая все дальше и дальше, и теперь продолжает ворчать только улица, как дальний гул морского прибоя. Чернов пощипывает свою эспаньолку, ободренно шмыгает розовой луковкой носа.

— Товарищи, — елейно зажмурясь, приступает было он к своей умиротворительной речи.

— Чего там — товарищи! Какие уж вы с нами товарищи?! — срываются недружелюбные возгласы из толпы. — Супротив товарищей своих с буржуями не снюхиваются! В товарищей своих с чердаков из пулеметов не лупят! Ты ответь-ка лучше нам напрямки, сколько ты войску против нас с фронтов гонишь?! — нарастают выкрики все дерзостнее и враждебней.

— Братва! — хлопает один из матросов себя кулаком по груди, изукрашенной синим драконом. — Провались я сичас на этом месте, ежели он сам не стрелять по нас сичас сюда вышел! Ты глянь вон, какую он пушку в карман себе запичужил!

Как ни нелеп был этот злобный выкрик, толпа настороженно загалдела, и первые ее ряды с проказническими криками «обыскать», «обыскать» потянулись было к Чернову. Тот, видимо, сильно струхнул перед столь неожиданным оборотом и, несмотря на то, что Раскольников и Рошаль мигом бросились к нему на выручку, попробовал было юркнуть назад, чтобы сбежать от толпы во дворец. Однако вход был забит вылезающими оттуда людьми, да и сами матросы разом почувствовали несусветную глупость последнего выкрика и потому, сердито одернув забулдыгу-матроса с синим драконом, упросили Чернова продолжать свою речь.

Потупив глаза и шмыгая носом, Чернов секунду стоит в нерешительности, затем распяливает заискивающую улыбку, встряхивает, словно пудель, пепельной головой и льстивым голосом заводит свой лепет. Он подобострастно расшаркивается перед столь внушительной массою слушателей, сознательных слушателей, — старательно подчеркивает он, — пришедших сюда из казарм и заводов к своему совету, чтоб поддержать его в момент кризиса правительственной власти. Глаза Чернова заплывают при этом ласковым сладким жирком. О, кризис власти! Они, представители чистой демократии, всегда предупреждали партию кадетов, во главе с Милюковым, о том, что... Но разве кадеты проявляют сознательность? Срывать демократическую коалицию из-за какой-то вздорной придирки в пустячном вопросе об Украинской раде? Срывать коалицию власти в столь серьезный момент, когда на фронте... О, кадеты достаточно себя изобличили как враги демократии. Отныне с кадетами не может уже быть никаких разговоров! Кадеты —это...

Матросы слушают всю эту крикливую болтовню против кадетов недоверчиво и нетерпеливо. По рядам проносится настороженный говор, в рядах заметно движение.

— Про кадетов, паря, мы и без тебя вдосталь кумекаем, — раздается четкий голос одного из близстоящих матросов. — Прослышаны, — ухмыляется он снисходительно, почесывая непробритую щеку. — Ты вот у них министром над землею сидишь, над землею кадеты министром тебя посадили. Расскажи-ка ты нам сейчас лучше, почему ты вот землю-то до энтих пор крестьянам задорживаешь?

Вопрос прям и остер. Сгрудившаяся во дворе многотысячная матросская масса подкрепляет его сочувственным галдежом.

— Тт-т-това-рищи, — губы Чернова воровато прыгают, — нн-но нельзя же, тт-т-товарищи, делить сейчас землю, когда столько крестьянства сейчас в армии и столько во флоте!..

— Так ты помещикам ее оставляешь? Почему в крестьянские комитеты ее не передаешь?! — выкрики становятся требовательнее и жестче.

— Тт-т-товарищи, — испуганно бегает глазками «социалистический» министр земледелия. — Как же можно говорить о создании крестьянских комитетов, когда самая лучшая часть крестьянства сейчас на фронтах! Вот когда мы закончим войну, когда демократия своей победой...

— Эге! А-а-а! Вон чего он захотел! Старые кадетские песенки! — взрывается ревом вся масса. — Сам ты поди повоюй, а нас в пекло не суй! Да и для ча нам, братцы, сражаться, ежели кадетские холуи для помещиков землю попридорживают! Лиса ты, Чернов, от земли нас думашь отжать да помещикам силу дать?!

— Долой усех капита-ли-истов! — неистово ревет на весь двор ни с того ни с сего все тот же несуразный матрос с синим драконом на груди.

— Сто-ой, братва! — решительно и веско перекрывает весь этот гам высокий небритый матрос, и жилы с натуги набухают жгутами у него на висках. — Сто-ой, братва! Министр Чернов нас приветствовал здесь как демократию, как поддержку советов. Правильно?

— Прррравильно! — гремит дружно двор.

— Так пущай же теперь министр Чернов, ежели он и впрямь социалист, а не кадетский прихвостень, сейчас же нам здеся афициально объявит, что вся казенная и церковная и вся помещичая земля отныне вот становится общекрестьянской.

— Прррра-а-авильно! Верррна! Урра-а! — оглушительно вопит вся масса, и стекла дворца дребезжат испуганным звоном.

Чернов делает конфузливый поворот, Чернов подскакивает на следующую ступеньку у колоннады, Чернов пробует незаметно втереться плечом в окружающую его сзади толпу, пытаясь юркнуть в людскую гущу, чтоб удрать во дворец.

— Постойте! Куда ж это вы, гражданин? — срываются отовсюду возмущенные крики, и десятки протянутых рук уже не пускают Чернова назад. Бритый матрос широким прыжком подлетает к нему и бережно берет незадачливого министра под руку. Под смех и улюлюкание всего двора Чернова сводят на мостовую и усаживают в открытый кузов автомобиля, затертый тут же сбоку у колоннады.

— Пущай здеся министр покеда у нас посидят, вроде как гость наш, — лукаво расшаркивается перед ним бритый матрос, с широким гостеприимством разводя перед его красненьким носом загорелой мускулистой рукою. — Авось, и полезные мысли к министру в голову позалазють, ежели он туто-ка нас малость послушает. Глядишь, мы об земле полюбовно и дотолкуемся!

Незлобивый хохот всей флотской массы сочувственно подкрепляет столь самочинный поступок смельчаков из Кронштадта. Чернов сидит теперь в автомобиле молчком, как истукан, и потерянно хлопает глазками. Новый взрыв смеха еще больше его обескураживает. Раскольников мнется под колоннадой, не зная, что ему теперь предпринять, он то бледнеет, то вновь наливается малиновой краской, невиданное приключение с министром, повидимому, сильно его беспокоит, и он готов уже было сам спрыгнуть к автомобилю, как вдруг для всех неожиданно из толпы, сгрудившейся под колоннадой, выскакивает группа лиц, и среди них взволнованный Троцкий. В разутюженном сером костюмчике, порхая пышным черным бантом, кокетливо повязанным на шее, посверкивая пенсне, он стремительно прыгает по ступенькам крыльца к автомобилю и, перемахнув в его кузов одною ногой, на мгновение замирает и обводит весь двор острым, пронизывающим взглядом. Все настороженно чутко молчат. Троцкий встряхивает черным хохлом головы и скрипучим, режущим голосом начинает выкрикивать велеречивые похвалы кронштадтским матросам.

— Вы, смелые альбатросы, вы прилетели сюда, бравые красные кронштадтцы, лишь только услыхали о том, что революции здесь угрожает опасность. Вы — сознательны, вы всегда на-чеку! — вызванивает он, сверкая стеклышками пенсне и словно заклинивая вкрадчивые свои слова клеваньем своей остренькой черной бородки. — Да, красный Кронштадт опять показал себя здесь передовым бойцом за дело всего пролетариата. Да здравствует красный Кронштадт, слава и гордость революции!

Льстивая речь прострелила морские сердца и взметнула вихрь рукоплесканий. Троцкий самовлюбленно вскинулся хохолком головы и, украдкою покосясь на беспомощно сникшего Чернова, встал теперь во весь рост на передок машины. Взор его воровато снова скользнул по толпе. Сорванные аплодисменты явно его не удовлетворили. Вся его медоточивая речь явно была рассчитана на более дальний прицел.

— И вот, товарищи, совсем непонятно, — вновь заскрипел его голос, — зачем это вы здесь задержали, к примеру, товарища Чернова. Ведь товарищ Чернов, как социалист...

Но дальний прицел дал осечку. Распахнувшиеся было на его елейную речь сердца моряков сразу же жестко замкнулись, как люки при шторме, лишь только Троцкий осмелился произнести столь умильно имя Чернова.

— Какой он «товарищ»?!. Какой он «социалист»?! — возмущенно загалдела толпа.

— Пущай маленечко среди нас посидит, авось задница не прокиснет! — с грубоватой непримиримостью вставил бритый матрос, усевшийся на дверце автомобиля.

Троцкий испуганно смолк и ошеломленно на него покосился.

— Товарищи храбрецы, удалые кронштадтцы! — вновь залилась, как бубенчик, его подслащенная речь. — Вы пришли теперь все сюда, чтоб объявить всенародно свою пролетарскую волю, чтоб показать своему совету, что рабочий класс больше не хочет видеть у власти буржуазию.

— Правильна! — отрывисто поддакнули ближайшие голоса.

— Так зачем же тогда, красные удалые кронштадтцы, — снова вкрадчиво задребезжал Троцкий фальцетом, — зачем вам мешать своему же делу? Зачем затемнять и путать свои позиции мелкими насилиями над отдельными случайными людьми?..

— Какие ж это «случайные»? Чай, это земельный министр! — пронеслись протестующие выкрики. — Да и что ему здеся сделается, коль маленечко среди нас поприсутствует! Земельный вопрос, он, братцы, для нас вопрос сурьезный!

Больше всех горячился бритый матрос. Ударом ладони заломив на самый затылок мокрую свою бескозырку, он порывисто соскочил со своего неуютного места и, грозно заслонив спиною Чернова, принялся обиженно что-то выкрикивать о земле, о помещиках, неистово размахивая перед Троцким руками. Но Троцкий, приняв вдохновенную позу, сделал вид, что совершенно не слышит всего этого гама.

— ... Отдельные люди просто-таки недостойны вашего внимания, боевые красные кронштадтцы! — с назойливым скрипом резал всем уши его голос. — Каждый из вас уже доказал свою преданность революции! Каждый из вас, я это знаю, готов сложить свою голову за нее! — взмахнул он театрально рукою, желая избавиться как-нибудь от сердито наседающего на него несговорчивого матроса. — Дай мне руку, товарищ! — вдруг цепко схватил он его за надоедливую руку. — Дай руку, брат мой! — звякнул он металлическим голосом, насильно прижимая дергающуюся матросскую руку к своему жилету.

— Чего ты нас за руки ловишь?! Чего ты зубы нам заговариваешь?! Зачем об земле мешаешь нам здесь покалякать?! — разозленно выхрипнул бритый матрос и с таким остервенением выдернул наконец свою руку, что не смог устоять на ногах и упал навзничь на сидение к Чернову.

Троцкий стремглав весь перегнулся и, подхватив Чернова под локоть, мигом вывел его из автомобиля.

— Дорогу! — властно проскрежетал он, тряхнув пышным бантом, и толпа растерянно расступилась.

— Соглашатель! Прощалыга! Изменник! — взметнулся им вслед негодующий рев голосов.

Кое-кто из матросов кинулся было за ними, потрясая в воздухе кулаками. Моряк с синим драконом на открытой груди, все еще

мокрой от ливня, швырнул им вдогонку осколком щебня. Осколок яростно просвистел над толпой вдоль колоннады и щелкнулся в раму дворцового окна. Кусок стекла вылетел и со звоном разбился.

— Тоже, развел он тут нам свою шарманку: «пролетарии, пролетарии», а мы и уши развесили,—злобно издевался бритый матрос возле опустевшего автомобиля, под одобрительный смешок окружающих. — «Дай мне руку, брат мой!» — язвительно передразнил он Троцкого под дружный взрыв смеха. — «Вы голову сложите, я это знаю!» А кто, спрашивается, он это самое «я»? До сих пор вон говорят, все с большевиками торгуется, на каких, дескать, почестях допустят персону его в свою партию. А по мне бы, так раз он в такой самый горячий момент не дал нам об земле здесь с самим министром дотолковаться, так, по мне бы...

Но каково было заключение этого расходившегося кронштадтца, дослышать нам не удалось: воспользовавшись всеобщей сумятицей и галдежом, мы протиснулись под колоннаду и пробились наконец к главному выходу, ведущему во дворец.

В коридорах дворца была суматоха и беготня. Низенький тощенький Капелинский с пышной черною шевелюрой, напоминающей жесткий войлочный ком, должно быть позабыл сейчас весь свой стойкий былой меньшевизм, наглядевшись на мощь народных величественных демонстраций. Он порывисто схватил на ходу Церетели за его нежно-кремовый чесучовый пиджак.

— Товарищ! — защебетал он умоляющим голоском. — Наш час пробил: демократия должна взять власть в свои руки.

— Дэмакратыя?! — грозно каркнул на него Церетели, настойчиво высвобождая полу своего пиджака. — Дэмакратыя далжна вэсти вайну, дарагой таварыщ Капэлинский. Хатэл бы я пасматреть, как вы адни павэдете эту вайну!

Пола была выдернута бесповоротно. Министр телеграфов исчез молнией в шумной дали. Понуро прислонившись к стене, кудрявый секретарь исполкома беспомощно глядел ему вслед, безвольно опустив руки. Впрочем, у Капелинского всегда неизменно поднятые в застывшем удивлении брови.

— Пришли ли броневики? Я спрашиваю: пришли ли броневики? — нервно скороговоркой спрашивал на бегу взъерошенный господин другого, рыжего и щетинистого.

— Ну, что ж с того, что пришли? — желчно отрезал ему щетинистый рыжий, спеша куда-то резвой припрыжкой. — Что ж, вы пустите их против всёх этих банд без всякой поддержки?! Да и захотят ли они еще выступать при столь невыгодной перспективе! Выдержка, выдержка, мой милейший! — просипел он, пренебрежительно повернувшись к спрашивавшему, и по бегающим серым глазам и рыжей щетине в нем нетрудно было сейчас признать Войтинского.

«Хорош бывший «большевичок»! — подумал я с колкой досадой. — Он уже подготовляет расстрел неугодных ему рабочих». И едкая ненависть ко всей этой двурушничающей «социалистической» мрази вмиг закипела во мне.

— Угу, и вы здесь! — глядя на меня исподлобья, мрачно пробасил поручик Греков, загораживая мне дорогу.

— Почему б мне и не быть здесь?! — смерил его я презрительным взглядом.

— Нн-да, конечно... — протянул он зловеще. — Сейте ветер, кто-то будет жать бурю? Поверьте, мы еще все это вам припомним.

— Греков! — распахнув дверь, растерянно выскочил к нему в коридор прапорщик Синани. — Полюбуйся, что выделывает «хваленая» демократия! Она бьет сейчас окна своего же совета, которому штыками навязывает власть. — Синани ткнул пальцем в глубь комнаты, должно быть показывая на разбитое дерзким матросом злополучное свое окно.

— Пускай бьет! — язвительно отмахнулся Греков.

— Но ты же комендант дворца, а они там на дворе чуть не растерзали сейчас Чернова!

— Что ж могу я поделать с бешеной чернью, особливо при наличии у нее вот этаких коноводов! — ядовито прошипел он, кивнув на меня. — Авось, к вечеру подойдут здоровые революционные части с фронта. Только тогда мы восстановим порядок. Керенский выехал туда неспроста. Большевистская ваша авантюра даром вам не пройдет! — разъяренно сверкнул он глазами, взглянув на меня. — Вот было бы великолепно, если б Александр Федорович принял наконец на себя диктатуру, сколько уже раз это ему предлагали! — всплеснул он мечтательно руками.

— Версальцы! «Социалистические» живодеры! — швырнул я им желчно и двинулся с товарищами дальше. Нашим общим нетерпеливым желанием в этот момент было — отыскать во что бы то ни стало сейчас же кого-нибудь из нашего ЦК. Пусть дают нам немедленно боевое задание. Мы вмиг развернем все пять сотен своих пулеметов, мы сможем стремглав оцепить все здания правительственных учреждений, все их штабы, все их змеиные гнезда. Если на то уж пойдет, мы в какой-нибудь час сумеем переарестовать всю эту заговорщицкую гнусь.

Мы мечемся, как угорелые, из комнаты в комнату в бесплодных поисках кого-нибудь из ЦК. Куда подевались все наши товарищи? Неужели все в доме Кшесинской? Досадно, что мы не сумели добраться к Зиновьеву, когда он появился у колоннады.

Наконец, к великой радости нашей, мы видим в закоулке одной из проходных комнат сидящими у круглого столика Сталина и Лашевича. Их лица совсем не встревожены. Они спокойно погля-

дывают на окружающую их беготню и на громоздящиеся за раскрытыми окнами дворца несметные толпы рабочего люда.

— Мы прибыли сюда, товарищ Сталин, — рапортую я ему твердо и четко, — как мы вчера обязались. — О том, что в последнюю минуту я всячески срывал это самое наше прибытие, я постыдно замалчиваю. — В вашем распоряжении сейчас, таким образом, до десяти тысяч пулеметчиков при пятистах пулеметах. Каковы будут нам боевые задания ЦК?

Лашевич с насмешливым недоумением оглядывает нас, оправляя широкий ремень на животе, да и у Сталина пробежала в глазах шутливая улыбка.

— Какие-такие «боевые задания»?! — удивленно глядит он на нас. — Какие могут быть боевые задания, если мы только демонстрируем.

— Демонстрируем? — бормочу я, переминаясь с ноги на ногу. — Нам, пулеметчикам, демонстрировать в такой обстановке никак невозможно. Вот пока мы только сюда ехали сейчас с вокзала автомобилем, мы и то уже дважды были обстреляны на улицах. А ведь мы не пехота с палилками на плечах. Ей, конечно, что! Ее обстреляли, она тоже пощелкает — и на плечи, да и шагом марш дальше. Если по нас будут стрелять, команды ни за что не утерпят, чтобы не развернуть своих пулеметов, и уж так по улицам чесанут, что всему городу станет жарко! Стрелять же без плана нет никакого расчета. Давайте точное боевое задание, и оно будет выполнено без задержки, а пока что мы стоим в ожидании на площади у Балтийского вокзала.

— Может быть, нам вернуться в Ораниенбаум обратно? — робко спрашивает из-за плеча моего Бровкин.

— Зачем же ворочаться? — ухмыляется Сталин. — Если демонстрировать не хотите, то уж оставайтесь там на всякий случай и только держите с нами тесную связь. Только, я думаю, — обращается он спокойно к Лашевичу, — они все же не посмеют открыто сегодня напасть на народ, — кивает он на соседние комнаты.

Мне хочется тут же порывисто пересказать товарищу Сталину о всех тех кознях врагов, о которых мы сегодня уж вдосталь наслышались, но по спокойному и уверенному взгляду его я вижу ясно, что и без меня ему все здесь давно известно, и потому я степенно звякаю шпорами.

— Мы останемся на Балтийском вокзале до темноты, если не случится чего-либо срочного. К телефонам будут поставлены дежурные для связи с вами. В крайнем случае нас можно вызвать и автомобилем.

После этого мы спешим поскорей к своим, которые, наверное, заждались. И каково же было наше удивление, когда в Екатери-

нинском зале мы видим возле дверей группу наших солдат. Мы не знаем этих солдат, они все беспартийные, но тут же вместе с ними и двое офицеров, оба эсеры, один — Пигаревич, другой прапорщик Сахаров. Офицеры горячо что-то рассказывают возле дверей, и юркий штатский толстяк, слушая их, взволнованно и радостно потирает пухлые ручки.

— Восхитительно! В наше распоряжение?!. Наконец-то! Говорите, полтысячи пулеметов? Как это кстати! Вы и не представляете себе, что у нас тут в Питере сейчас творится. Вы поглядите!— с брезгливою миной машет он ручкой в сторону раскрытых окон, через которые смотрят в зал десятки сгрудившихся в саду солдат и рабочих. — Ах, эти проклятые большевики! Ну, да теперь ничего, вы погодите пожалуйста здесь минутку, сейчас к вам выйдет один руководящий товарищ, за ним сейчас побежали.

Ликующий толстяк с нетерпением поглядывает в открытую дверь, ожидая кого-то. Офицеры почтительно козыряют, не оглядываясь на свою беспартийную свиту и не замечая, что и мы уже стоим тут же, затаив злорадную усмешку.

Дверь распахивается, и оттуда выскакивает Гоц. Да, это Гоц, член эсеровского ЦК. Крутой лоб ярко сияет в черном венчике кудрявых волос. Обойма начищенных крепких зубов блещет своей белизной. Пенсне молниеносно сверкает на гордом носу. Порывисто кидается он к пулеметчикам:

— Где же они? Ах, вот эти! Сколько оружья? Где вы сейчас? Откуда?..

Пигаревич воинственно щелкает шпорами. Пигаревич держит руку пружинно у козырька. Фуражки он не снимает: ведь он в боевой здесь готовности, грудь перевита ремнями.

— Ррраз-решите вам доложить, — рявкает он с захлебом, порачьи тараща глаза, — что ораниенбаумские пулеметные команды Кольта прибыли в ваше распоряжение и ждут ваших немедленных боевых распоряжений!

— Что он мелет?! — кидаемся мы к нему разом, но беспартийный солдат, стоящий с ним рядом, нас предупреждает.

— Правильно! — басит он вдохновенно. — Мы ихние делегаты и приехали мы в Питер защищать вас, чтоб вся власть была теперь только ваша, советская. Это мы в Аренбаме еще решили все, как один, и вот понапрасну покеда стоим все на Балтийском вокзале. Мы стоим там, вожаки наши поразъехались, что вокруг деется, ничегошеньки не понимаем, и приехали сюды вас спросить, кто в вас тут стреляет и кому за это нам нужно глотки рвать?

Гоц злобно сплевывает и, круто повернувшись, так же стремительно исчезает, хлопнув бешено дверью и оставив солдата с разинутым ртом. Пигаревич в диком негодовании уже готов было

чуть не с кулаками наброситься на солдата, но, увидав нас, мгновенно столбенеет и молча пучит на нас глаза.

— Кто вас сюда послал? Зачем вы приехали? — накидываемся мы с вопросами на солдат.

— Ведь мы уже посланы сюда делегатами и все разузнали. Нам приказано оставаться на вокзале до вечера. А вас кто сюда притащил? — косимся мы на офицеров, которые с напускным безразличием благодушно снимают теперь свои фуражки.

Солдаты смущенно переглядываются и объясняют, что наши команды без нас уже хотели было выступить в город, нас не дождавшись, и что поэтому Жендзян не препятствовал поездке новой делегации в Таврический дворец с поручением разыскать нас.

Офицеры тем временем злобно перешептываются между собой, они, не предупредив нас, прямиком лезут в зал вцпковских заседаний. Нам надо бы поспешить на вокзал, но как же оставить здесь этих «социалистических» проходимцев: ведь они чорт знает что могут тут от нашего имени нагородить!

— Эй, постойте!

Но Пигаревич с Сахаровым не обращают на нас внимания. Втесавшись в густую шеренгу вооруженных винтовками рабочих, устремившихся сейчас в зал заседаний, они пробираются туда же напролом. Конечно, мы не отстаем, чтобы заставить их сейчас же вернуться.

Громаднейший зал с амфитеатром темных пюпитров под матовым светом стеклянного потолка набит доотказа. На высоком резном председательском месте, нахохлившись и ссутулясь, восседает Чхеидзе. Над ним громоздко распростерлась пустая золоченая рама, все еще остающаяся здесь от вспоротого и выброшенного в февральские дни императорского портрета. В эту раму виднеется теперь потолок и часть большущих окон, за которыми синеет небо и качаются зеленою тенью деревья. А здесь внизу, под Чхеидзе, на величественной дубовой трибуне, нервно щиплет в руках фуражку худой, сухощавый рабочий.

— ...рищи! — трогательно дрожит его голосишко, и жилы на шее багровеют жгутами с натуги. — Вы ж видите ясно, что написано на наших плакатах. И мы, специальные выбранные к вам делегаты ото всех вышедших сегодня на улицу питерских наших заводов, мы говорим вам здесь напрямки: таковы единодушные наши решенья, окончательно вынесенные всею рабочею массой. Голодом угрожать нам мы нашим хозяевам не позволим. И мы заявляем вам вполне ясно: освобождайтесь от министров-капиталистов! Мы доверяем только совету, но ни в какую не можем верить мы всяким там паразитам, которым доверяется наш совет. Просто стыдно министрам-социалистам соглашательствовать с капиталом и в лепешку для него расшибаться, не разбирая, что там злейшие

наши враги. Мы решительно требуем: чтоб земля была передана трудящимся тотчас же, чтоб немедленно учредить над всею промышленностью рабочий контроль, мы требуем беспощадной борьбы с надвигающимся на нас голодом. За власть советов, товарищи! К чорту капиталистов! Спасение даст лишь советская власть!

Набившиеся в проходах амфитеатра толпы солдат и рабочих восторженно рукоплещут. Но большинство зала зловеще молчит.

— Слэдующий, — устало верещит сверху Чхеидзе.

— Что ж это такое, товарищи? — обиженно разводит с трибуны руками следующий поднявшийся туда рабочий, и кажется, что даже белые частые пуговки на вороте его черной рубашки выражают непреодолимую скорбь. — Что ж это, в самом деле, такое? Демократия вы или не демократия? А ежели вы демократия, то чего ж вы потакаете хищным буржуазным трутням и доводите до последнего отчаяния весь рабочий народ?! Для чего вы тычете в нос крестьянам Учредительным вашим собранием, лишь только заводится речь о земле?! Почему не даете землю крестьянству без промедленья? Неужто вам жалко помещичий класс?! Неужель вы заботитесь о капиталистах, о захребетниках трудящихся масс, которые наступательной своей политикой ведут к гибели всю страну?!

— Правильна-а-а! — неистово кто-то вопит на весь зал, и буйный грохот рукоплесканий в клочья рвет настороженно нависшую было тишину.

— Довольно, товарищи, вам кормить народ утешительными словами, — с отчаянием в голосе надрывается рабочий с трибуны.— Дело теперь уже не в словах, а только в действиях, которые сегодня вы видите и которые назрели уже давно. Эти действия у нас происходят, но, к сожалению, совет ничуть не прислушивается к тому, что творится сейчас там, на улицах за стенами. Вам, конечно, отсюда не видно, как господа капиталисты стреляют сейчас по всем улицам в ничем не повинный народ. Мы, выборные делегаты от пятидесяти четырех здешних заводов, присланы к вам сюда срочно с решительным требованием, чтобы советы взяли немедленно власть в свои руки. Землю отдайте народу сейчас же, без всяких там Учредительных разных собраний. Терпенье, товарищи, лопнуло. Хватит кормить нас обманчивыми словами!

И все забитые людьми проходы, и тенистые хоры, и даже часть зала взбудораженно теперь рукоплещут, но Чхеидзе раздраженно звонит в колокольчик и бросает с досадливым скрипом:

— Слэдующий! Пажалста паскарэе.

Но и без его понуканий плечистый парень в рабочей засаленной кепке стремительным взмахом взлетает теперь на трибуну, не выпуская винтовки из рук. Его коротковатая синяя блуза не подпоясана, ворот расстегнут, смуглые щеки блестят, не то от пота,

не то от ливня, и губы подергиваются и нервно дрожат от жгучего возмущения.

— Товарищи! — гневно кричит он на весь зал, судорожно потрясая винтовкой под самым носом Чхеидзе. — Вы скажите, товарищи, нам напрямки, долго ли нам, рабочим, терпеть предательства здешние ваши?! Вот вы все собралися тут, рассуждаете промеж себя, заключаете гешефты с буржуазией и помещичьим классом. Но ведь массу-то вы не надуете! Масса давно уже отчетливо видит катастрофическое положение нашей несчастной страны!.. Последний раз вам говорим: не занимайтесь гнусным предательством рабочего класса!.. Вы не думайте, что перед вами сейчас кем-то подстроенный бунт, нет, перед вами сегодня стихийно-сознательное всенародное выступленье!..

— «Всенародное»! — раздаются язвительные выкрики с мест.

— Да, всенародное!! — грохает о пол прикладом оратор.— Да, ради неотложнейших своих интересов вышел на улицу весь народ. Мы требуем конфискации всех царских, дворянских и монастырских земель в пользу крестьянства! Мы требуем полной отмены генеральских приказов, изданных против революционных солдат! Мы требуем жестких мер против локаутчиков и саботажников, против наших промышленников и капиталистов! Пока вы якшаетесь с буржуазией, не может быть никакого спокоя в стране. Довольно отогревать этих гадов за пазухой! Сейчас, когда кадеты бросили вас, мы вас спрашиваем наконец, с кем же еще вы попробуете теперь торговаться?! Мы решительно требуем здесь от вас полной власти советам! Ваших дальнейших предательств рабочие больше уже не потерпят!.. Нас вот тут тридцать тысяч путиловцев, окромя жен и детей, и все мы здесь до одного...

Винтовка неистово пляшет в его гневных рабочих руках. Голос хрипит, слова вырываются изможденно.

— ...мы здесь все до одного!.. Мы здесь у вас своей воли добьемся! В тартарары капиталистическую власть!.. Вся власть должна быть только советам!.. Винтовки у нас еще крепки в руках... Ваши Керенские и Церетели, дудки-с, больше нас не надуют!.. Мы все...

— Таварыщ! — сосредоточенно перегнувшись, спокойно сует ему сверху в руки Чхеидзе какой-то печатный листок. — Вот вы вазмыте пажалста, прачтытэ. Тут сказано все, что нада вам дэлать, и вашим таварыщам путиловцам. Пажалста всэ это прачтытэ и нэ нарушайтэ больше пажалста наших занатий. Там тэпэрь сказано все.

Расходившийся парень, невольно опешив, робко принимает сверху листок, не выпуская все же из рук винтовки. Он даже пробует этот листок тут же наивно зачесть, но зал тотчас же наполняется неистовым криком и шумом. Раздраженные руки уже хватают и сдергивают парня за куцую его рубаху книзу с трибуны.

— Мы папросым всэ дэлегации тэпэрь нас аставыть. Пусть раздадут всэм им листовки, — сиплым голосом трещит Чхеидзе, чуть-чуть приподнявшись.—Ныкакых чтоб пастаронных, ачистытэ пажалста праходы. Дэмакратыя пэрэходит к парадку дня!

Бурно клокочущим, шумным потоком все рабочие делегации нехотя сейчас покидают столь негостеприимное для них святилище «по охране капиталистической власти». Мы все, и эсеровские офицеры в том числе, высыпаем в Екатерининский зал вместе с ними. Нам щедро суют на ходу соглашательские листовки. Мы пробуем было их тут же прочесть, но, просмотрев уже несколько строк, досадливо усмехаемся, засовывая их в карманы. Ведь из текста этого вновь испеченного вциковского произведения явствует только то, что сие высокое учреждение «организованной демократии» уже занято разрешением вопроса о власти, и только «несознательные элементы, желающие оружием навязать ему свою волю, в означенном тяжком труде ему непрошенно помешали, а посему-де все, стоящие на-страже революции и ее завоеваний, отныне обязаны сидеть смирно дома и терпеливо ждать соответствующих решений полномочных органов демократии».

— Н-да, — говорим мы насмешливо, — домой не домой, но к вокзалу надо поехать как можно скорее.—И мы поспешно разыскиваем наши автомобили.

Двор и сквер перед дворцом уже значительно опустели. Кронштадтцы куда-то ушли, пока мы канителились в дворцовых покоях, да и путиловцы тоже, видимо, поубавились. В сизой дымке зеленого парка видны уже уходящие отсюда народные толпы. «Демократии» никто не хочет мешать, лишь бы только теперь она беспрепятственно и поскорей сконструировала здесь новую, для всех желанную советскую власть.

Нашу машину, видимо, кто-то угнал, и потому мы усаживаемся все вместе в ту, на которой сюда прикатили Пигаревич с Сахаровым и солдаты. Дробный топот ног за углом, сухая команда и неожиданные шеренги солдат, устало вваливающиеся в ворота, заставляют нас против желания временно задержаться. Оркестр, колыхаясь медью труб, разряжается «Марсельезой». Мокрое красное знамя кажется вишневым от дождя. Офицер в еще сыром макинтоше командует остановку. Измученные солдаты, гремя болтающимися у поясов лопатками и котелками, составляют в козла винтовки, изможденно стаскивая со скользких плеч намокшие шинельные скатки.

— Что за полк? Что за полк? — раздаются встревоженные голоса выбегающих из дворца любопытных.

— Сто семьдесят шестой запасный полк, расположенный в Красном селе, прибыл в полном своем составе боевым походным порядком в распоряжение совета для защиты революции! — приклеив

руку в перчатке под козырек, отчеканивает рапорт прибытия офицер подбежавшему к нему Дану.

Лидер меньшевиков обрадованно глотает воздух, умиленно хлопает глазками, ликующе шмыгает носом и, воинственно подбросив руками свой круглый животик, сейчас же поспешно семенит на тоненьких ножках самолично расставлять по дворцу караулы от вновь прибывшего полка. Пигаревич, сидя в нашей машине, завистливо морщится. Но ворота теперь свободны, и мы выкатываемся со двора. Вспарывая фонтаны брызг в еще не высохших лужах, мы несемся вдоль улиц с мятущеюся на них толпой. Вдруг близкий грохот орудийного выстрела и внезапный треск винтовочной перестрелки задерживают нас у Сергиевской на углу.

— Казаки, казаки! Стреляют казаки! — перепуганный крик бегущих из-за угла женщин с детьми.

— Урра-а! — мощно рявкает дружно и обрадованно толпа за углом, и успокоившийся людской поток вслед за утихшей стрельбой опять устремляется дальше.

Повидимому, казаков прогнали, и наш робкий штатский шофер начинает осторожно заводить машину. В подъезде ворот возле нас толпится кучка людей. До нас доносятся обрывки их разговора.

— Ни-ичево-во, им еще седни пропишуть! — с злорадством в голосе изрекает дворник в парусиновом фартуке, почесывая кудлатую бороденку. — Енерал Половцев еще с утра приказал все ворота держать на запоре, потому седни войска должны прийтить с фронту. Они порядочек здесь понаведуть, все жидовье в один час пришпандорят.

— Ох, и волюшку, ироды, взяли! — подперев обвислую щеку пухлым перстом, сокрушенно покачивает намасленной головой в черной косынке дебелая круглая женщина. — Которые ежели и русские туточка трутся, ну, скажи, хуже нехристей! Им осподь с неба и ливнем и громом разойтись приказует, а они себе по панелям да лужам хлясь да хлясь, — как им обуви своей не жалко! — жеманно покачивает она бедром, выставив ногу в лакированном ботинке и белом чулке. — И все ко дворцу, и все ко дворцу, и все с ружжами, с ружжами, золотые мои. Ну, беспременно это Вильгельм им состольку, иродам, ружьев наприсылал.

— На Сенной их седни, слышь, много наколотили, — злорадно и трусовато подхихикивает серый картуз, озираясь. — Только, грят, покажется какая их шествия, а по ним тут же враз с колокольни — господи благослови, — да с пулемета! Ну, вестимо, летят с копыток кто куда, как бараны! — заканчивает он с захлебом к вящшему удовольствию всей этой обывательской заговорщицкой кучки.

Кто они? Ущемленные обесценением денег местные лавочники, которым революция мешает попрежнему наживаться, прогораю-

щие спекулянты, приживалки, лакеи, поварихи, дворники, кучера? Вся эта старая, заплесневелая барская челядь, которой пьяные господа по гвардейской традиции мажут при случае рожу горчицей, а смилостивившись, допускают к своей благородной ручке и щедро дают на чаи... Ради чего она брызжет сейчас ядовитой слюной на возмущенные массы честных рабочих людей?.. Там, за каменными стенами высоких красивых домов, за зеркальностью окон, сейчас занавешенных плотными сукнами штор, ехидно прижались теперь по углам на диванах трусливые выхоленные людишки, те, что вылизывают сладости жизни в потном, чавкающем чревоугодии и в похотливых утехах ползучей слюнявой любви. Как, должно быть, сегодня смертельно их испугала тяжелая дружная поступь нескончаемых тысяч дерзких чумазых гостей, так непрошенно вдруг понацезших сюда, в фешенебельные их кварталы!

— Н-да, — усмешливо кривится Пигаревич, — еще поглядим, во что выльется ваша сегодняшняя рррреволюция!

— Эх вы, «социалисты-ррреволюционеры»! — с такою же ненавистью обрываю его я. — От революции вы падаете в обморок, а социализм для вас допустим лишь в облаках!

Наша машина летит по Литейному. Где-то невдалеке гулко грохочет ружейная перестрелка. На одном из углов густая толпа. Привстаем на сиденье, чтоб разглядеть, что творится. Трое матросов крепко держат за плечи среди панели сухого высокого генерала.

— С чердака сейчас выволокли! — возмущенно кричат прохожие. — За пулеметом, стерва, сидел.

Мчимся дальше. По Невскому беготня. Кто-то, держа папироску в зубах, истошно вопит возле запертого магазина о том, что в Гостином засели казаки, у самого же рожа спокойная.

— Панику сеет, мерзавец! — не сдерживается даже Бровкин.

Проносимся вихрем по Лиговке, сворачиваем на Обводный. А вот и наш долгожданный вокзал. Но желанного спокойствия здесь попрежнему нет. На площади шум и гам бестолкового митинга. Больше того, многие команды уже выстроились походной колонной, чтобы вот-вот двинуться в город. Не выходя из машины, вскочив на сидение, дерем мы охрипшие глотки, пламенно убеждая их оставаться в полной боевой готовности на местах.

— Зачем оставаться?! — с возмущением вопят нам солдаты, даже наши же большевики. — Не так давно из нашей военки было передано сюда приказание — немедленно выступить на Петроградскую сторону в распоряжение Подвойского. Он стягивает туда все силы.

— Отставить! — орем мы пересохшими глотками. — Отставить и оставаться здесь на местах! Таково распоряжение ЦК.

— Братишечки, чегой-то вы афицерей своих слухаете?! — заливается, вертясь мелким бесом, юркий матросик с подлетевшего

на площадь грузовика.—Аль не видите, что нынче усе большевички штаны свои спортили? — презрительно сплевывает он в мою сторону, услыхав солдатские возгласы о том, что я большевик. — Ковайте железо, поки горячо. Вони ж чистые провокаторы, ей-богу. На вулицу вас повызывали, а теперичка вертають домой. А на Невскому, там кров рабочая и матросская льется. Да разве ж могим мы оставить нашу братву без подмоги?! Мы одну типограхфию тамо-тка вечор уже забрали, «Анархический вестник» на ей будем шлепать. Хадымте, братки, гуртом туда все зараз, у вас же туточка пулеметов — господи ты мой — воп сколько! Одним духом вызволим нашу братву от нещадного кровопролитья!..

— Хватит! Гоните с глаз непрошеного подстрекателя! — горланю я благим матом на всю площадь.— Сеют панику и разводят стрельбу только подобные безответственные призывы. Мы имеем твердый революционный приказ: оставаться здесь в распоряжении ЦК!

— В распоряжении ВЦИКа! — вдруг непрошенно рявкает с места злобствующий Пигаревич.

— Ну да, ВЦИКа, — поправляюсь я смущенно. — Мы не противопоставляем один другому.

— Ах, какие, подумаешь, стали вы «демократы»! — в язвительном бешенстве дрожит его красная, оплывшая рожа.

— Выставить сейчас же на вокзал к телефонам надежных дежурных! — кричу я Жендзяну.

— Уже есть, — снисходительно отмахивается тот рукой. — Давным-давно уже дежурят, но без толку. Никто нас не вызывал, кроме вашей военки, а по городу кругом стрельба.

— Ну чего же, скажи ты на милость, нам здесь ёще ждать?! — час от часу настойчивее, нетерпеливей и злобней наступают теперь на меня из нашей толпы беспокойные дерзкие голоса. — Чего ты нам кишки мотаешь? Просто ты переметчик и такой же, как они, соглашатель. Ежели наших там бьют, чего мы тут будем сидеть?!

— А вы думаете, мне не муторно здесь без дела торчать вместе с вами? — убеждаю я их, чуть не плача. — Контрреволюция затевает сейчас открытое против нас наступление. Перестрелочка с чердаков, генералишки при пулеметах, спертых с фронта, — это только цветочки. Ягодки будут горьки, если прибудет сюда артиллерия и еще те войска, которые сюда вызваны с фронта для расстрела народа! И тогда вот, товарищи, святым нашим долгом...— но и сам я в душе совершенно не верю, чтобы нас вызвали к бою даже тогда. Во всяком случае, путем невероятнейших усилий, снося ругань и унижения, я удерживаю до конца наш большевистский клокочущий пулеметный вулкан. Мы остаемся на вокзале.

Солнце заходит. С вокзала телефонисты доносят, что принято из Таврического дворца телефонограммой распоряжение от Цен-

трального комитета большевиков всем демонстрирующим частям немедленно мирно разойтись до домам. Спускается сизая тьма, и на глубокое синее небо величественно выплывает луна. Истомившиеся без толку наши команды с досадливой руганью грузятся теперь во-свояси. Паровозы высвистывают один за другим, увозя эшелоны в ночную тьму на Ораниенбаум.

— Правильно, братишечки, поступаете, — настороженно озираясь, кивают на нашу погрузку двое запыхавшихся, прибежавших откуда-то матросов. — Вот и мы с вами, братишечки, подъедем. А наших там, должно быть, ущучили, — сокрушенно крутят они головами. — Хорошо, ежели только всех перепишут, а должно, что и все оружие заберут да и самих за решетку рассадят. А все, спрашивается, через что? Вернулись назад мы к военке, ну и пошли, конечно, в Петропавловку переночевать...

— Долой гадов капитали-истов! — прорезает нависшую тьму истошный, одиноко воющий голос откуда-то из-за вагонов с путей.

А по улицам, голубым и широким, заливаемым лунной волною, все еще движутся по направлению к окраинам неуемные черные толпы. Слышны возгласы женщин, щебетание детей, и рушится о мостовую тяжелая, гулкая поступь угрюмо молчащих мужчин. Вдалеке только где-то, нет-нет, да вдруг заливисто и загогочет непримиримая трель злобно ощерившегося вражеского пулемета.

Весь разбитый, я возвратился поздно ночью домой.

— Ну, как революция? — с заботливостью и тревогой спросила жена.

— Революция? — переспросил я, проводя рукой по лбу и уже ничего от усталости не сознавая. — Революция?.. Ах да, революция! Революция — тяжелая вещь! — прохрипел я с преотчаянной горечью в сердце.

Горло сжалось судорожной, нестерпимой болью и, бессильно упавши ничком, я уткнулся головой поглубже в подушку.

28. СМЯТЕНИЕ

Утро сияло переливами лучей, порхающих по стене, когда я проснулся. В раскрытые окна тянуло душистою свежестью леса и острой пряностью от левкоев перед окном. Рулады иволги и зябличьи трели наполняли воздух жизнерадостным щебетанием. И ясно представилось, что рядом вот тут же, в нескольких шагах от тебя, за отцветшей кудрявой рябиной, мирно плещет в гранитный валун спокойный и теплый Финский залив, бисерно серебрясь безбрежною гладью. Там вдали, в лиловой мгле горизонта, дымится трубами своих мастерских и линкоров неугомонный Кронштадт. Кронштадт! — и разом острым ножом врезался в память прогре-

мевший в криках и выстрелах весь вчерашний питерский день. Вот — бушующее море промокших под ливнем матросов, и потонувший средь них взъерошенный жалкий Чернов, и Троцкий с пышным бантом и черным хохлом, величественно простерший к нему спасительную длань. Вот — оскаливший желтые зубы хищный Гоц, весь в сверкашиях пенсне, и длинноносенький хитренький Дан, расставляющий караулы, и неистовый парень из путиловской сталелитейки, потрясающий гневно винтовкой перед носом прижавшегося к трибуне Чхеидзе. И взгляд Сталина, такой же уверенный и спокойный, как уверенны и спокойны были стройные черные толпы рабочих, гулко шагающих по мостовой в синюю лунную ночь. И все это было всего лишь вчера! А сегодня?

Молниеносно одевшись, спешу в Ораниенбаум: надо срочно созвать наш комитет. Солнечные зайчики от листвы мирно играют по песчаной дорожке. Тонко тянет гвоздикой с большой круглой клумбы. Мои мальчуганы уже бегают вокруг нее с палочками на плечах.

— Ты будешь кадет! Ты будешь кадет! — кричит младший старшему. — А я — большевик! Я буду ходить димаслировать, а ты будешь стрелять. Только чур! — палкой в глаз не бросаться. У той скамеечки будет дом.

«Ну и ребятишки!—думаю я о них любовно.—Уже подцепили!»

За калиткою, на шоссе, меня окликает Застежкин. Давненько я его не видал. Он стоит красный курносенький влево поодаль, расставив воинственно ножки в сапожках и с прапорщицким фанфаронством откинув небрежно длинную шашку. Фуражка заломлена набекрень. В руках он держит развернутый лист газеты. Его пуговичные глазенки брызжут ликующим, неуемным злорадством.

— Подите-ка сюда, подпоручик! Эти новости вы не читали? Что-то скажете вы теперь на все это?! — торжествующее похлопывание рукой по газете.

«Наверное, какой-нибудь очередной пасквиль на нас», — думаю я, нехотя подходя, и сердце наливается мрачною злобой.

— «Новости»? — хмыкаю я пренебрежительно, искоса пробежав название газеты. — Вон оно что! «Живое слово», погромный бульварный контрреволюционный листок! Какие ж там «новости» он вам подносит?! Питайтесь им себе на здоровье. Мы из помоек не пользуемся.

Круто повертываюсь обратно, смерив Застежкина презрительным взглядом. Пусть бесится и торжествует злобствующий недоносок. В Ораниенбауме ждут дела поважней.

— Эге, вам нечего больше сказать, продажные гады, шпионы!

— Продажные гады? Шпионы?! — мгновенно повернувшись, спешу я гневно к нему. — Мы — шпионы?!

— Шпионы! — кричит он испуганно на всю улицу, как будто его кто режет. — Вильгельмовские шпионы!.. Теперь-то вы разоблачены! И Ленин ваш — вон кто! На вот — прочтите!..

С остервенением рву из его подлых рук пакостную газетенку. Стремглав пробегаю глазами кричащие, наглые строчки:

«...прапорщик Ермоленко, перекинутый немцами к нам на фронт из германского плена, показал... офицеры германского генерального штаба Шидецкий и Люберс ему сообщили, что агитацию в пользу скорейшего заключения мира в России ведут агенты германского штаба Скоропись-Иолтуховский и Ленин. Ленину германским штабом поручено стремиться всеми силами к подорванию престижа Временного правительства в народе... Деньги на агитацию получаются через Свентсона, служащего в Стокгольме в германском посольстве. Деньги и инструкции пересылаются через доверенных лиц... таковыми являются: в Стокгольме — большевик Яков Фюрстенберг, он же Ганецкий, его родственница Суменсон, а также Парвус, а в Петрограде — член ВЦИКа адвокат Козловский... Военной цензурой установлен непрерывный обмен телеграммами денежного и политического характера между германскими агентами и большевистскими лидерами...»

Да кто ж преподносит всю эту гнуснейшую мерзость?! Читаю подписи: «бывший втородумец Алексинский и старый шлиссельбургский сиделец, ныне эсер Панкратов».

— Уж эти-то врать не будут! — заносчиво подкалывает Застежкин, неослабно следя за моим чтением.

— Это Алексинский-то врать не будет?! — брезгливо бросаю я. — Кому ж и врать-то, как не ему, заслуженному клеветнику, изобличенному еще в Париже! А впрочем, о чем нам разговаривать! — сплевываю я ожесточенно.

— Но Панкратов! Панкратов! — кричит он мне вдогонку, видя, что я ухожу. — Ведь это же шлиссельбуржец! Это — народоволец! Ему зачем врать?! Ага, бежите?!. Погоди, мы и тебя тоже выведем на чистую воду, вильгельмовское охвостье! Провокатор! Шпион!..

Он верещит неистовым голосишком на всю округу. Жадные рожи любопытствующих кумушек уже показываются в калитках. Квартирохозяйка моя, горбунья-старуха из императорских фрейлин, баронесса фон-Шпулькопф, тоже выбежала и трясется отвислыми складками шеи, смакуя столь острый скандал. Что мне делать? Вернуться? Догнать Застежкина, чтоб набить ему морду? Но разве этим поможешь? Разве опасность нависла сейчас не над всей нашей партией? Нет, скорее, скорее в Ораниенбаум! Скорее, скорее созвать комитет.

«И нашли же, действительно, кому дать подписать всю эту лживую галиматью! Алексинский, подумаешь!» — возмущаюсь я желчно, торопливо вышагивая по шоссе. И вспоминаю: Вторая дума. Ноч-

ной обвал потолка. Наутро тревожное заседание в круглом розовом зальце. Слово — депутату Алексинскому! Выбегает низенький юркий горбун с длинноносою узкою головой. Серенький выутюженный пиджачок, актерские жесты. Дребезжащим фальцетом звенит в сумраке зальца о том, что лишь в департаментах полицейской охранки потолки отменно прочны. Тогда он числился большевиком. Потом падали крутые годы, и круто падал все ниже и ниже этот бритый хвастливый горбун. Докатился до контрразведки и парижской Sureté Générale. О, теперь-то он уж доподлинно изучил, насколько крепки потолки во всех этих охранках. Самовлюбленное ничтожество, омерзительный провокатор!

«Но Панкратов?!. Да, Панкратов. Кто он такой? Шлиссельбуржец, народоволец. Из тех, что, опоясав сюртук свой веревкой, самообреченно ходили в народ. Этакому-то зачем клеветать? — и жуткий холодок пробегает по телу. — Не иначе, как какой-нибудь старый шептун, выживший из ума в императорских казематах. Этакий со-слепу может кинуться, куда его ткнут».

И затем: что это за дикая галиматья? Какой-то Скоропись-Иолтуховский. Что общего имеет с ним Ленин? Потом: Парвус, Ганецкий, неведомая Суменсон. О каких деньгах идет речь? Как все это похоже на 1905 год, когда черносотенный клеветник Череп-Спиридович объявил рабочую демонстрацию, расстрелянную девятого января, подкупленной на японские миллионы. А разве кадетский борзописец Колышко не писал накануне Февраля в протопоповской «Русской воле» о том, что бастующие рабочие подкуплены немцами за два миллиона рублей! Затасканные рецепты контрреволюционных фальшивок, кого они совратят?!.

За Горшковым и Новиковым я зашел в их команду, и они тотчас вышли за мной. Я им ничего пока не сказал, и они всю дорогу хмуро молчали. За остальными пришлось посылать, и комитет наш собрался не сразу. Племянников и Батманов явилися вместе и уселись рядком угрюмо и молчаливо возле окошка, на котором сочно прозрачневели в глиняных банках зелено-розовые бальзамины. Для всех неожиданно появился вдруг и Науменко, все такой же напомаженный и надушенный, только глаза его бегали вкрадчиво и беспокойно. Больше никто не пришел.

— Положение тугое, — вздохнул Новиков, оттопыривши губу.— Вчерась я этого ни в коем разе не чаял. Препаршивая газетенка сегодня уж больно на Ленина налегла, а читают ее взасос. Большое расстройство через это по командам пошло. Опять же вчерашнее поведение наше...

— Сейчас возле вокзала мы встретили только что приехавших из Петрограда, — закашлялся Племянников, обводя всех растерянным взглядом. — Рассказывают, что по улицам хлещет стрельба, и уже якобы отдан приказ об аресте Ленина.

— Об аресте Ленина?!. Что за чушь! — дергаюсь я. — Кто мог дать подобный приказ?!. Эти слухи безусловно провокационны. Этого ВЦИК никогда не допустит! — И я порывисто разъясняю клеветническое существо алексинских информаций.

— Когда мы прочли, то я тоже этак подумал, — удовлетворенно кивает Горшков. — Разве можно этому Ермоленке верить, ежели немцы ему про Ленина наговорили еще в те поры, когда Ленин еще и не приезжал сюда! И опять же: набрехал свое показание Ермоленко в мае, чего ж эту брехню целых два месяца они под спудом держали?

— Это еще неизвестно, товарищи. Нам надо быть осторожней! — лебезит слащаво Науменко, заливаясь румянцем. — Ничего еще не известно. Может быть, власти это время доследовали все дело.

— Заткнись! — грозно обрывает его Горшков. — Ишь, доследователь какой отыскался!

— Дело ясное, — решаем мы все, — против омерзительной клеветы на Ленина немедленно надо начать широкую разъяснительную пропаганду.

— Только нам это все ничуть не поможет, — ноюще тянет Племянников, тревожно поглядывая в окно и нервно теребя сорванный листочек бальзамина. — У Громыки сегодня с утра секретное совещание. Там: Судаков, Пигаревич, Колыбин, Бохановский, — словом, вся свора, а вдобавок, кажется, и наш Филиппович. Меня и Батманова они уже припугнули. Но ведь мы-то в демонстрации не участвовали! А вот против вас они, должно быть, готовят реванш.

Я куражливо передергиваю плечами:

— Пусть готовят.

— Не надо нам было вчера с оружием выступать в Питер. Совершенно другое впечатление было б, — смотрит Племянников на меня укоризненно и печально. — Ведь все равно, только зря у вокзала там проболтались.

— Выйти с оружием — была директива ЦК! — обрываю я его.

— Не знаю, конечно, насколько то правда, но нынче вот многие говорят, — вкрадчиво лепечет Науменко, словив на столе муху и косясь на меня, — что будто и в Цеке почти все были против этакой демонстрации. Товарищ Каменев, к примеру, еще и вчера, говорят, всех убеждал сидеть дома. Ежели б только, передают, не Сталин, да Ленин... — замолкает он вдруг, подняв бровь и сжав свои красные губы.

— Ну, что Ленин?!. Доканчивай! — вскрикивает Горшков, готовый прыгнуть ему прямо в глаза. — Когда я был простым пастухом, то и то, чай, был поумнее тебя, эх ты, писарь!

Науменко краснеет до самых ушей. Уши красны всегда у него и без этого.

— Чего ты взъелся? — бунчит он полуобиженным тоном, обрывая пойманной мухе крыло. — Теперь дело прошлое, назад вчерашнее не воротишь, а только умные речи вождей надобно слушать. Особливо ежели кто нам про них вчера замолчал...

Науменко трус: он явно метит в меня, но боится и глаз приподнять от своей мухи.

— Не понимаю, к чему тут горячиться, — бормочет Батманов, укоризненно взглянув на Горшкова. — Вообще-то, разве кто думал вчера из большевиков о вооруженном восстании?!

— Разумеется, нет, — кивают все, и только Новиков с затаенной усмешкой взглядывает на меня.

— Власть демократии для нас высший закон, — начинаю я тоном непринужденного самооправдания. — Поскольку демократии могла вчера угрожать расправа военщины, мы были вправе с оружием защищаться. Наш лозунг всегда неизменен: «Власть—советам!»

— Почему неизменен? — насмешливо спрашивает чей-то тихий, многозначительный голос.

Мы все поднимаем глаза. У перил лестницы стоит Ильинский. Он в мятой выцветшей гимнастерке и пыльных обмотках. Чахлая его фигурка, кажется, сделалась за это время еще худосочнее и хилее. Потные пряди черных волос выбились из-под фуражки. Обветренное смуглое его лицо сверкает углями впалых глаз. И бродит по нему неизменно приветливая товарищеская улыбка.

— Ильинский! — вскрикиваем мы обрадованно все в один голос. — Откуда ты? Что в Питере? Как в Пулеметном?

Ильинский садится за стол, порывисто тиская каждому руку.

— В Питере сейчас дело худо, — судорожно передергивается он плечами. — Редакция «Правды» разгромлена на рассвете. Все поломано и перебито. Точно так же разгромлена и типография. Сейчас только что перед моим отъездом сюда в полк звонили, что громят и ПК.

— Кто громит?! — вскрикиваем мы с яростным возмущением.

— Кто громит? — насмешливо дергается Ильинский. — Солдаты же и громят, юнкера... конечно под предводительством офицеров. Чего ж вы удивляетесь? Ведь вчера ни измайловцы, ни семеновцы, ни преображенцы, да и многие роты других полков, в демонстрации не выступали. Сегодня все они под командою офицеров явились сначала в Таврический к Дану и Гоцу, а затем оттуда к генералу Половцеву в главный штаб. Он и дал им задания: вот и громят.

Виснет долгое и тягостное молчание.

— Правда ли, что Ленин уже арестован? — потерянно спрашивает Племянников.

— Арестован? — удивленно переспрашивает Ильинский. —Нет, до этой гнусности еще никто не дошел. Но возможно, что и дойдут,—

машет он сокрушенно рукой. — Собачья эта газетка «Живое слово» сейчас выпустила экстренный листок, будто бы у Ленина на текущем счету обнаружено два миллиона. Вы не можете себе и представить, какая там травля сегодня против нас поднялась! — вздыхает Ильинский, вытирая пот грязным платком. — На Невском сейчас хоть не показывайся. Барыньки эти и вся чиновная свора с пеной у рта скачут, как бешеные, арестовывая одиночных солдат, как шпионов. В газетах уже опубликованы циркулярные депеши князя Львова о наведении порядка в столице при содействии войск. Кронштадтцев, я думаю, сегодня же разоружат. Половцев отдал приказ о занятии дома Кшесинской. И все это, заметьте себе, совершается с прямого одобрения ВЦИКа, — горько усмехается он.

— С одобрения ВЦИКа? — растерянно бормочу я. — Не может этого быть.

— Да, это власть д а н н ы х советов! — продолжает издеваться он надо мной. — Ведь ты только что говорил, что лозунг наш неизменен? Так вот под защитою этого лозунга за его проведение в жизнь нас «волею демократии»—быть может, завтра же— всех упрячут в тюрьму.

— Не может этого быть! — гневно хлопаю я о стол рукою.— Нас здесь не за что арестовывать! И нечего тебе панику сеять.

— Панику? — ехидно прищуривается Ильинский. — Мне панику сеять совсем не к лицу. Но Половцев уже отдал приказ: наш полк разоружить, а всех «зачинщиков» переарестовать. Прапорщик Семашко сегодня сбежал.

— Как — сбежал?! — вскакиваем мы все тревожно.

— Ну, чорт его знает как, — хладнокровно разводит Ильинский руками. — Только взял и сбежал.

Гробовое молчание сковывает нас как цепями.

— Гнусность! — взрываюсь я. — Революционер перед лицом демократии не может бежать. Я уже давно подозревал, что у него что-то не чисто. Сбежать от демократии?!.

— «Демакра-демакра, кра-кра», закаркал своей демократией, как ворона перед дождем, — злобно передразнивает меня Ильинский. — Что у тебя за позиция такая сейчас? Поясни, сделай милость. На соглашательской своей кобылке ты в политике далеко не уедешь.

— Что значит «соглашательская кобылка»?! — гневно набрасываюсь я на него. — Мои принципы неизменны. Ты, знаешь ли, милый, полегче!

Старая дружба, совместная политическая борьба, общность революционных наших задач — все это забыто мною сейчас. В запальчивом раздражении я вижу в Ильинском не прямодушного рабочего большевистского парня, а развязного выскочку и врага. Скандал готов вот-вот вспыхнуть.

— Кто ж это осмелится вас разоружать? — с насмешливым недоверием спрашивает его вдруг Племянников. Явно поддерживая меня, он этим вопросом заминает скандал и в то же время подсмеивается над Ильинским. — Где ж у них эти силы! Уж не семеновцы ли с преображенцами пойдут атакой на ваши пулеметы?

— О, они предусмотрительней! Гоц с Церетели заблаговременно вызвали с фронта новые силы, а Керенский их, конечно, срочно отправил. Тяжелая артиллерия уже пришла. Прапорщик Кучин, приехавший с фронта, уже лобызался сегодня утром с Чхеидзе.

— Значит, все это правда? — растерянно шепчет Племянников. — И Керенский!.. Керенский, который клялся, что он никогда и ни за что не вызовет фронтовиков в тыл на усмирение, что движение на фронте — только вперед!..

— На то он и Керенский, чтобы клясться и врать! — устало усмехается Ильинский. — Впрочем, генералы, повидимому, уже прибрали сейчас прочно к рукам эту вертлявую балаболку. С генералами теперь придется нам иметь дело! — решительно заканчивает он.

— Но что ж теперь делать нам? — слышится жалобный шопот Племянникова.

— Что решила сейчас наша военка? — спрашиваем я и Новиков в один голос.

— Ничего пока не решила, — отмахивается Ильинский, — сегодня будет решать. Подвойский, я слышал, будто бы за то, чтоб не итти ни на какие уступки. Подтянуть к дому Кшесинской наши войска. В Петропавловске, дескать, и без того наши кронштадтцы. Коль генералы полезут на нас, дать им бой.

— Правильно! — вскрикиваем дружно враз я и Племянников. — Дать им бой!

— Нет, не правильно, — с развязностью, которая меня начинает бесить, спокойно возражает Ильинский. — Глупенькая авантюрка получится, а не бой, — ухмыляется он. — Надо только подумать: фронт прислал против нас тяжелые пушки. Ведь они ж нас в какие-нибудь десять минут в лоск раскатают. Кроме того, с фронта посланы еще и другие войска. А полки из других городов, не говоря уже о здешних: Семеновском, Измайловском и Преображенском! Что ж, утопить неизбежную победу рабочего класса в его же крови, когда страна еще не готова?!. Покорнейше благодарим! — с издевкой раскланивается он передо мною.

— «Страна не готова», «страна не готова»! — дразню я его, уже не сдерживая своего негодования. — Меньшевистские отговорочки, сказочки для умиротворения трусов и дурачков! Ах, как жаль, что вчера мы не переарестовали правительство! — с досадою грохаю я о стол кулаком.

— Интеллигентская трескотня! — презрительно возражает Ильинский. — Это вроде как Троцкий. Вчера, говорят, ахал и охал,

зачем большевики вышли с оружием, а сегодня жалеет, почему мы вчера не устроили переворот...

— Может быть, он и прав! — обрываю его я запальчиво.

— Так же прав, как вон, должно быть, Богдатьев с Смилгою, пока их не одернуло нынче ЦК. Они сегодня с утра уже гоняли по Выборгской. Призывали заводы к стачкам и баррикадам.

— Правильно! — кричу я в исступленьи. — Это настоящие революционеры. Момент назрел. Рабочий класс должен взять немедленно власть!

— А солдаты? — с ехидством прищуривается Ильинский.— Мужики-то еще не больно за нас. Что ж, поднимешь рабочих и попрешь их супротив фронта, против Москвы, против всех городов и деревушек необъятной России? На кого ж мы тогда здесь обопремся?

— Узколобый ты счетовод, а не рабочий! — гневно наседаю я на него. —Пугаешь нас мужиком и солдатом, когда дело вовсе не в них. Что солдат?! Что мужик?! Дай им немедленно барскую землю — и пока дело в шляпе. Дело все в западно-европейском рабочем. Возьми-ка мы сейчас власть в свои руки, и взрыв революции моментально свергнет Вильгельма. Ты трусишь, Ильинский, ты панику сеешь, ты робко оглядываешься по сторонам вместо того, чтобы...

— Погоди ты, Тарасов, — с необычайным спокойствием и дружелюбием берет меня за руку этот солдат. — Погоди, я совсем не за этим приехал сюда, чтобы разводить тут с тобой сейчас глубокие споры. Революция на Западе неизбежна, но она не обязана приходить так мгновенно. Революция — сложная штука, не папироса, спичкой ее не зажжешь. Нам действительно нужно думать сейчас о с е б е, чтоб здесь у нас это всемирное рабочее дело не проворонить. А время сейчас наступило такое, что тут-то и требуется весь наш большевизм. ПК срочно послал меня к вам сюда — проведать о настроениях. Вся организация наша должна быть сейчас на-чеку и в чортовой выдержке. Ни на какие провокации не поддаваться! И вот, вместо того чтобы по большевистски, как велит нам Ленин, взять себя в руки и стойко выдержать этот тяжелый нажим, ты, ты — вождь ораниенбаумской нашей ячейки — ты трещишь галиматью о немедленном взятии власти, о войне с целым фронтом, о мгновенном взрыве Вильгельмова трона... Что с тобой? Кто тебя подменил?

Он смотрит пристально на меня без тени высокомерия или злорадства. Худое смуглое его лицо уставилось на меня с таким тревожным участием, что вся вскипевшая неприязнь мгновенно гаснет во мне и тает бесследно, как клок мыльной пены в чистой воде. Мне только стыдно, мучительно стыдно, что я, именно я, вызвал его справедливейшие упреки. Впрочем, в этот момент я даже не

осознаю, насколько они справедливы. Мне только досадно, очень досадно, что меня, образованного человека, учит политике юный рабочий парнишка, простой пулеметчик, солдат. Конечно, досадно. Но он послан ПК. Он повторяет ленинские слова, — о, я их запомнил!—о выдержке. О выдержке крепкой, революционной. И в самом-то деле, откуда взялась у меня вся эта глупая вспышка, весь этот взбалмошный порыв лезть на рожон, напропалую, когда заранее вполне ясно, чем бы все это кончилось?..

Батманов закуривает папиросу. Племянников заботливо переставляет на подоконнике, ближе к солнцу, горшок с бальзамином. Науменко бросил общипанную муху и чистит свои лиловые ногти пальмовым гребешком. Горшков углубился в какую-то газету. Новиков хмуро молчит, выпятив губы и уставясь в пол.

— Ну, ладно, — говорю я примирительным тоном. — Споры сейчас действительно надо отставить. Итак, товарищи, закроем собранье. Все сейчас — по командам! Агитация, агитация и агитация. За дело!

— Молодец! — шепчет Ильинский мне на ухо, когда мы выходим. — Сейчас я заверну на минутку в свой батальон, и тотчас же надобно мчаться обратно. Полк-то ведь остался там почти без руководства, а мужицкой анархии в нем еще сколько угодно. На тебя я теперь здесь надеюсь! Прощевай!

Мы расходимся все по разверстанным сейчас меж собою командам. Лишь Науменку мы к строевым не пустили.

— Пусть идет обрабатывать кашеваров, — нехотя обронил себе под нос Батманов, а погодя, оставшись один-на-один, мне добавил: — Не доверяю я нынче что-то ему.

Никогда не приходилось переживать столь трудного дня в политических наших беседах с солдатами. В 17-й своей команде еще все обошлось более или менее сносно. Правда, и здесь тоже были угрюмые взгляды, то недоверчиво следящие за тобой исподлобья, то уходящие сосредоточенно и сурово в себя. Порою слышался здесь протестующий ропот: «Зачем-де было нас канителить вчера, если все дело свелось к топтанью сапог на вокзале?..» Однако несогласия с основным положением, которое я защищал, не было здесь. Лозунг «вся власть советам» признавался как неизменно правильный лозунг, которого нам надо держаться и впредь и соответственно этому поступать.

Но в команде, от которой прошел в совет Бровкин, уже возникли более серьезные затруднения. Большевистская наша ячейка оказалась здесь слабой. Самого Бровкина здесь не случилось, солдаты были в разброде, а те, что собрались на беседу, проявили себя далеко не дружелюбно.

— Не надо было совсем нас булгачить, — кричали они, не скрывая досады, — если сам ВЦИК высказался супротив вас!..

Что значит такое: «Власть советам»?! А ежели сами советы этого не хотят?!. Не хотят, и баста! Может быть, не ко времени этот лозгун?.. И нечего, сталбыть, было нам рыпаться... Тоже странно вот очень, откуда взялись в банке у Ленина целых два миллиона?! К тому же — сношенья с Стокгольмом!.. И опять же Керенский: ведь он-то социалист!.. Кто знает, может он что и даст нам...

— Даст прикладом по шее! — буркнул кто-то вполголоса, но на него все раздраженно затюкали и загалдели.

Беседа была скомкана, смята, ничего определенного, положительного провести не удалось. В тягостном размышлении шагал я устало домой, обойдя этак еще две-три команды.

Кто подменил наших людей? Не они ли всего лишь вчера рвались разрядить свои пулеметы по зеркальным окошкам ненавистных им питерских барских квартир? Кто сломил упрямые эти сердца, с детства привыкшие острой сохой настойчиво резать непокорную твердую землю? Легендарные два миллиона золотых кругляшков, подсунутых вражеской клеветою, жадно вспухли у них перед глазами тяжелым, окованным сундуком, о котором скаредно мечтает почти всякий крестьянин, ревниво оглядывая домашний свой скарб, сколько бы ни был он мал и убог. Конечно, эта клевета разоблачится. Но что делать дальше? Как, в самом-то деле, быть дальше с лозунгом «власть советам»? Почему над ним так потешался Ильинский, и почему я об этом его не расспросил? «Конечно, — решаю я про себя, — Ильинский путаник и растяпа. Во всем ему верить нельзя».

Уже ночь поднялась над Мартышкиным. Смолкли птицы. Деревья сгрудились и почернели. В темносиней бездонности неба замигали золотыми ресницами звезды. Наивные, быть может, они из своей недосягаемой вечности простодушно пытаются своим хитрым подмигиванием поколебать и смутить нас, слабых поденок-людей?!. А впрочем, какое дело до нас им, далеким, холодным и глупым? Если б знали они все, частотою своей ослепившие небо, каким огнем исполинской борьбы и гигантских дерзаний переполнены здесь человеческие наши сердца! Как знать, не доведется ли людям, после того как освободятся они от жадных собственнических предрассудков, перестроить заново не только свою заскорузлую землю, но и весь этот легендарно далекий, в синей зыби мерцающий, звездный мир. Пусть же плывет он сейчас мимо нас в безмолвной, размеренной лени, искрясь тысячами холодных огней. Мы копошимся здесь на земле в судорожных, цепких усилиях разбить и разорвать тягчайшую, сковавшую все человечество цепь. Цепь из звеньев: паразитизма, личной корысти, наглой тупости, жадности и ханжества.

И вот здесь, в маленьком темном Мартышкине, о чем думаем мы, горсточка большевиков, глядя в бездонное небо северной ночи?

Не о далеких холодных мирах, и даже не о жгучей тревоге, закравшейся в наши сердца от поднятого против нас воя злобы и клеветы. Нет, мы думаем только о том, как дрожит и трясется сейчас вся наша планета от громовых вулканических извержений из пороха и чугуна, созданных самими же людьми себе на погибель. Мы видим хищный оскал отточенных стальных клыков и мокрые от сукровицы губы, дергающиеся от наслаждения на жирных, трясущихся харях земных всемогущих владык. Тягчайшие кованые сундуки служат этим вампирам подножием. С омерзительным сладострастием толстые жадные лапы хватают пригоршнями миллионы людей, безжалостно сдавливая их в скрежете, хрусте и визге, густые багровые капли сочатся меж пальцев и безмолвно падают вниз. А там—кругом тишина: ведь на звездах этого ада не слышно.

Но вы, люди, разве вы не слышите весь этот ужас?! Люди, живые люди, в ком еще сохранились рассудок и сердце, разве вы-то не слышите этой кошмарной жути?! Вы — напрягающие мышцы, покрытые потом и копотью, до отупения в ногах простаивающие возле машин; вы — с перекошенной от изнеможения спиной долбящие черную мокреть глухих подземелий; вы — тупо бороздящие землю плугами, закидывающие грузные сети или лениво пасущие в равнинах стада; даже вы — сидящие у жестких, бездушных конторок, слышите ли вы вот все это?! Если же слышите, то почему до сих пор вы молчите? Вы — настойчивые, трезвые немцы, вы — горячие сердцем французы, вы — англичане, с холодной усмешкой на упрямом лице, и вы — пока еще рабски безмолвные желтые и черные расы, столетиями приобыкшие к жуткому звону своих цепей, — почему до сих пор все вы молчите?! Что вы медлите?! Ведь мы-то здесь одни-одинешеньки. Как знать, быть может, нас уже завтра затопчут в крови и грязи...

Ночь. Прозрачная синяя ночь... Оглохшая тишина.

29. РАСПРАВА

Возможно, что утром я заспался. Наконец просыпаюсь и удивленно смотрю: у изголовья стоит Племянников. В руках целая пачка газет. Глава бегают озабоченно.

— Вставай-ка, вставай! Сейчас в Ораниенбауме назначен экстренный митинг, начало в девять утра. Телефонограммы по командам Судаков разослал глухой ночью. Живо вставай, а то мы опоздаем!

— Газеты! — выхватываю я у него пачку, стремительно вскакивая с постели.

— Некогда! Ты одевайся, прочтешь после. Да и нет ничего интересного. А утешительного и еще того меньше: везде один сплошной бешеный вой.

Все же, натягивая брюки, я успеваю бегло прочесть самое злобное — «Живое слово». «Опровержение, которое ничего не меняет», — нагло кричит теперь один из его заголовков, и под ним сообщается, что «у Ленина в банке никаких двух миллионов не оказалось, а оказалось всего двадцать тысяч, и то не у него, а у адвоката Козловского. Сам же Ленин работал-де в пользу немцев вполне бескорыстно».

— Ну и мерзавцы! — бормочу я, умываясь. — Ну и прохвосты! И это означает «свобода печати»?!

— Ты что, с неба, что ли, свалился? — недоумевает Племянников. — Ты сегодня другие газеты еще не читал. Теперь все они: и кадетская «Речь», и «Воля России», и эсеровское «Дело народа», и меньшевики — одинаково взъелись на нас, изощряясь в самой злобной лжи и клевете.

— Да и все положение вообще плоховато, — говорит он, когда мы торопливо выходим с ним на шоссе. — Разгром партии—полный. Я и третьеводни ясно предчувствовал, что дело так просто не обойдется. А сейчас вот вернулся из Петрограда Горшков. Я его чуть свет за газетами посылал. На всех перекрестках, рассказывает он, расставлены драгуны при пулеметах и пушки. Все это прибыло за ночь экстренно с фронта по вызову ВЦИКа. Петропавловка нами очищена. Кронштадтцы полностью разоружены. Либер и Гоц вместе с Зиновьевым приезжали для этого вчера в военку. Подвойский, говорят, сейчас рвет и мечет. На Выборгской стороне мы хотели было устроить всеобщую забастовку, но Ленин, как передают, отменил: «надо-де выждать полного разоблачения соглашательских партий, которые неизбежно и окончательно себя опозорят провалом начатого наступления».

— Провал наступления? — машинально переспрашиваю я, но Племянников не слышит. — Ну, а как теперь с властью? — интересуюсь я.

— Чего уж там — с властью! — безнадежно отмахивается он рукой, кисло скривившись. — ВЦИК требует ото всех беспрекословного себе подчинения!

— Так ведь это уже и есть советская власть!

— Какая там власть?! — с желчной горечью подергивает он плечами. — О власти они будут решать лишь на пленуме ВЦИКа недели так через две, и в Москве; в Петербурге, вишь, атмосфера для них неподходяща. Так диктаторски всем объявил почтовый министр Церетели. Он требует также кровавых репрессий против всех нас, обзывая нас темною шайкой. Все случайные и неслучайные жертвы на улицах этих дней — все приписано теперь нам. По городу идут поголовные аресты. Вчера, говорят, арестовали даже, представь, Луначарского. Прапорщик Семашко, я теперь вижу, совсем не напрасно бежал. Нам тоже, — тут он тревожно огляды-

вается во все стороны и шепчет мне порывисто в ухо: — Нам тоже придется, быть может, сегодня бежать.

— Бежать?! Да ты очумел?!

Мы идем переездом железной дороги. Шлагбаум открыт. Всюду тихо. Только щебень шуршит под ногами возле шпал, да на верхушке ветлы неугомонно стрекочет сорока.

— Слушай, рано утром сегодня я был в совете, — нежно берет Племянников меня за плечо, — и видел там Филипповича. Он все ж не такой уж плохой человек, каким мы его себе представляли... За демонстрацию он, конечно, нас пожурил, а о тебе сказал так: «Я по-дружески посоветовал бы ему на это время немедленно скрыться. Каждый день нам приносит ворохи самых ужасных и сногсшибательных разоблачений, еще неизвестно, как отнесутся к ним массы. Возможен антибольшевистский погром. Почему бы ему это время где-нибудь и не отсидеться?!»

— Разоблачений?! — с негодованием вскидываюсь я. — Чего нам бояться?! Наша совесть чиста. Можешь ему передать: я никуда не сбегу. Да и тебе, — оглядываю я Племянникова подозрительно, — и тебе я советую поменьше сплетничать с этим типом.

Остальную дорогу мы враждебно молчим и с таким настроением приходим на митинг.

Этот каменный затхлый вертеп уже полон. Солдаты набились в него вплотную и настороженно молчат. На пыльной дощатой сцене, под лохмотьями жалких кулис топчется весь исполкомский синклит. Только Судакова здесь что-то не видно: с ораниенбаумской сцены исчез Судаков, председательствует вместо него почему-то Громыко. Костлявый кулак, деревянный обрубок белесой тупой головы, неуклюжие, резкие фразы:

— ...презренная авантюра... подлые, темные шайки... несчастные трупы расстрелянных большевиками казаков... бог не потерпит!.. возмездие демократии падет на головы предателей и шпионов острым мечом!..

Он кончил, но жалко вспархивают и тотчас же падают аплодисменты. Манеж подавленно молчит.

Пигаревич, расправив щетину усов, дико вращая выпученными глазами и выскочив к рампе, начинает кричать, что и здесь в Ораниенбауме темные личности и авантюристы подбивали гарнизон на кровавое выступление. Но он-де рад, что затея эта у них сорвалась, что гарнизон, прибыв в Петроград, оставался весь день на вокзале, предоставив себя в полное распоряжение ВЦИКа, о чем он, Пигаревич, лично докладывал Гоцу. Все это тотчас же надобно подтвердить принятием соответствующей резолюции, осуждающей большевистское выступление и целиком поддерживающей решения демократии.

— Долой шпионов-большевиков! — нагло вскрикивает этот хам, топая о пол ногой.

— Какие такие решения демократии? — несмело несется откуда-то с мест, и угрюмая настороженность нависает над всеми.

Может быть, Пигаревич этого не почуял, самодовольно приосанивая сь возле кулис, не почувствовал этого и Громыко, воинственно звякающий в колокольчик, но зато Филиппович, хитренько выглядывавший все это время из-за линялого холста с голубоватой березой, тотчас же это настроение учел и быстренько засеменил к председательскому столу, нервно одергивая свою гимнастерку. Когда ему дано было слово, он начал вкрадчиво объяснять, что надо проводить разницу и между большевиками.

— Я никогда не был ленинцем, дорогие товарищи, — ехидно усмехается он, расправляя шильца усов. — Я всегда так же, как это знаете, держался в стороне и от здешних ораниенбаумских горе-большевиков, — презрительный жест в мою сторону, — а нынче официально должен всем заявить, что я, старый, заслуженный большевик-интернационалист, ничего общего не имею и иметь не желаю с этой темною бандой, которая называет себя ораниенбаумской организацией большевиков. Вообще для расследования тех художеств, которые они здесь натворили, наш совет примет срочные меры.

Он все время по-иезуитски кивает на меня, а я стою у всех на виду возле кулис один-одинешенек: нет никого возле меня, даже Племянников куда-то исчез. А надо немедленно, сейчас же ответить этому вероломному пройдохе!

— Аресты членов местного исполкома даром им не сойдут, — злобно шипит Филиппович, — разве только они раскаются здесь сейчас же публично во всех содеянных преступлениях. Шутить мы им более не позволим, момент наступает ответственнейший. Я предлагаю немедленно проголосовать резолюцию за полное и беспрекословное подчинение всем последним распоряжениям ВЦИКа, сколько бы они ни казались нам суровы. Если мы этого не сделаем, ваша вчерашняя вылазка в Петроград будет истолкована как бунт против власти, вся наша школа будет немедленно расформирована, а все команды срочно поедут на фронт. Вот ленинцы пусть теперь и решают — за демократию они или против нее?

Никогда не приходилось прежде видеть Филипповича столь взбешенным и столь наглым. Так вот когда наконец прорвался этот двурушник! И он еще смеет называть себя большевиком?!. Я тороплюсь взять себе слово, но меня опережает Науменко. Он выходит к рампе, поскрипывая сапогами и стеснительно хлопая глазками. Что ж он хочет сказать? Сумеет ли он как следует ответить?.. Науменко конфузливо мнет свой кушачок и начинает

что-то шептать настолько невнятно, что даже первые ряды шумливо вытягиваются вперед, чтобы его расслышать.

— Громче! — гудит манеж нетерпеливо.

— ... точно так же должен сказать, что со здешней большевистскою организацией и я с этого дня порываю... — не верю своим я ушам, слыша это трусливое бормотание. — ... В поездке я не участвовал, за Лениным никогда я не шел, и вообще от политической жизни я навсегда отхожу! — Науменко глотает эти слова с таким страхом в голосе и глазах, что все с жалостью и презрением глядят на него, и он уходит со сцены при полном молчании, словно побитый.

Вслед за ним слово предоставляется мне. Выйдя к рампе, я растерянно топчусь на месте, совершенно не зная, с чего начать. Но ехидный взгляд Филипповича, мельком брошенный на меня сбоку из-за кулис, сразу же приводит меня в равновесие и наполняет буйной решимостью как следует отчитать сейчас этот отщепенца. Однако о чем говорить?

— ... Мы знавали этаких «старых большевиков-интернационалистов» вроде Войтинского, которые переметнулись теперь к генералам и вызывают броневики для расстрела рабочих. Ну что ж, их полку прибыло: Филиппович им будет под масть...

Солдаты сочувственно гогочут на эти слова, но раздаются шипение и свист.

— Науменко? Ну что ж, политика для Науменки действительно совсем не к лицу. Пусть помадит теперь свой пробор и ваксит сапожки безо всякой политики. Наша организация об этом не пожалеет.

Новый взрыв смеха.

— Что же касается нас, большевиков-ленинцев, то нам каяться не в чем. На демонстрацию мы выступили отсюда согласно решению нашего совета, а не самочинно. В этом преступного нет ничего.

— Верно! Правильно! — гудит манеж.

— Лжете! ВЦИК был против этого выступления! — громогласно обрывает меня Громыко.

— Третьего июля, — продолжаю я, не смутясь, — запрещений со стороны ВЦИКа не было. Когда же четвертого утром мы об этом запрещении узнали, мы тотчас же подчинились, и я первый всех убеждал в Питер не ехать.

— «Подчинились», а сами поехали в Питер?! — вызывающе рявкает Пигаревич.

— Товарищи! — обращаюсь я к собранию. — Мы поехали в Петроград, чтобы еще раз подтвердить, что мы неизменно за власть советов, за власть подлинной демократии! Пусть другие каются в этом, нам покаяние не к лицу.

Манеж гремит рукоплесканиями.

— Вы лучше ответьте-ка нам, господа большевички, — неожиданно слышен насмешливый выкрик самого Филипповича, когда гул утихает, — вы ответьте-ка нам напрямки: присоединяетесь ли вы сейчас ко всем решениям ВЦИКа, за власть которого вы на словах так распинаетесь, присоединяетесь ли вы, или нет? Поддерживаете ли вы все его мероприятия, или не поддерживаете? Вот что нам надобно знать.

Подчеркнуто злобствующий вихрь аплодисментов несется тотчас же со стороны кулис и подхватывается передними скамейками манежа. Но я растерянно молчу. Я совершенно не знаю, что тут ответить. Разумеется, это ВЦИК вызвал сюда войска с фронта против рабочих; точно так же с ведома ВЦИКа произведен разгром «Правды» и наших партийных организаций. Да и паршивое «Живое слово» не смогло бы выпустить без согласия ВЦИКа свою наглую клеветническую утку о большевистских шпионах. Но разве можно все это одобрить?! Однако ВЦИК — это высший орган советской власти, а мы-то как раз боремся за полную власть советов. Как тут теперь быть? Я молчу. Стою как истукан.

— Спросим вас проще, — нагло ухмыляется Филиппович, уже уверенно вставший рядом со мной, — будете ли вы, ленинцы, голосовать сейчас за резолюцию, которую я предложу, о полном доверии всем мероприятиям ВЦИКа? Будете или нет?

Оглядываюсь искоса по сторонам и не вижу здесь никого из нашего комитета. Неужели все перетрусили и исчезли, бросив меня одного?

— Мы будем сейчас голосовать здесь за вашу резолюцию, господин Филиппович! — скрежещу я сквозь зубы, и краской стыда и досады заливается мое лицо. — Если ВЦИК принимает сейчас, быть может, и непоследовательные решения, мы все же будем ему подчиняться, и я призываю к этому всю нашу организацию. Советская власть — выборная власть, а поскольку она выборная, неизбежно должно случиться, что и ВЦИК этим путем в конце концов тоже придет к большевизму.

— К шпионажу?! — оголтело вопят мне из-за кулис.

— Гнуснейшая клевета! — вспыхиваю я. — Ни один порядочный человек никогда не поверит мерзавцу Алексинскому, что будто бы мы связаны со шпионажем и наша партия...

Но тут дикий рев, поднявшийся за кулисами и подхваченный на скамьях манежа, совершенно лишает меня всякой возможности продолжать речь.

— Призываю всех наших товарищей голосовать за единую резолюцию! — жалко выкрикиваю я сквозь этот гам и, как оплеванный, схожу с трибуны.

Филиппович провожает меня взглядом ненависти и торжества. Он остается стоять перед рампой, сразу приняв горделивую коман-

дирскую позу. Растягивая и смакуя слова, он зачитывает свою хитроумно составленную резолюцию, раболепно склоняющуюся перед ВЦИКом. Победоносно ухмыляясь, вся соглашательская шайка нагло выползает теперь на сцену из-за кулис.

— Кто за? — рявкает лихо Громыко.

И вот, все они, и весь манеж, как по команде, поднимают вверх руки и все глядят на меня. И тогда я ошалело поднимаю свою. «Мы сломлены окончательно и бесповоротно!» — с отчаянием думаю я. «Вот и весь тут наш большевизм! — желчно подкалываю я сам себя беспощадным, ядовитым упреком. — Полюбуйся на жалкие результаты всей твоей здешней работы! Стоило только подуть встречному ветру, как и ты сам первый свернул боевые паруса большевизма, а за тобой и все остальные с удовлетворением сели на мель. По вожаку и организация! Какая пошлая действительность! какой позор!»

— Кто против? — осклабясь от радости, машинально басит Громыко, дав аплодисментам время улечься.

Прикрыв безнадежность растерянною ухмылкой, я искоса взглядываю на манеж. Кто же будет голосовать теперь против? Разумеется, никого. Впрочем, нет. Вон рука. А вон и другая! А там вон вдали даже целая грядка дружно выросших рук. Да, эти руки — там вдалеке, по углам, возле стен, но зато весь манеж эти дерзкие руки отчетливо видит. И жгучая краска стыда вновь заливает мгновенно мое лицо. «Ты смотри-ка, нашлись товарищи посмелее тебя! Что ж это ты сейчас сдрейфил?!»

— Сколько же это? — растерянно давится вмиг позеленевший Громыко. — Один, два, три... ого!.. девять, десять, одиннадцать. Выходит: одиннадцать, — заключает он, кривясь от ненависти и досады.

— А здесь, а здесь! — кричат ему с другого конца манежа.

— Как, есть еще?!. Двенадцать, тринадцать... шестнадцать. — Ладно, так и запишем — шестнадцать! — прошпиливает он смельчаков зловеще отточенным взглядом. — А кто воздержался?.. Никого. Ум-гу... воздержавшихся, стало быть, слава богу, нет никого, — растерянно мнется он, очевидно придумывая, как бы это замять столь нежданный результат голосования и одним взмахом похерить все эти шестнадцать бунтовщиков.

— Что ж это? Шестнадцать нашлось здесь против?!. — ехидно поет Филиппович, коварно крадучись к рампе. — Кто же эти шестнадцать наших противников? А ну-ка пожалуйте-ка сюда на сцену, молодцы дорогие. Приведите-ка нам ваши мотивы, почему это вы голосуете против? Выходите-ка, выходите сюда!

Но никто и не думает двигаться с мест, и манеж с беспокойством оглядывается назад.

— Не желаете? — злорадно роняет Филиппович. — Как вас понять? Изволили передумать? Ну, что же, проголосуем тогда еще раз. Итак: кто теперь против?

Но, должно быть, уже не шестнадцать, а рук так двадцать иль более упрямо поднимаются одна за другою.

— Почему ж это вы сюда не выходите? — с бешенством бегает вдоль рампы Филиппович.

— Не жалам! — с отрывистой прямотой рявкает чей-то бас из дальнего угла. И весь манеж напряженно молчит. Поставь-ка теперь Филиппович еще раз свою резолюцию на голосование, кто знает, не оказалось ли бы против нее уже целой половины манежа? Но Филиппович хитер, он все это учитывает, и потому, с деланным пренебрежением махнувши рукой, он закрывает собрание.

— В семье не без урода, — морщится он брезгливо. — Во всяком случае, весь остальной многотысячный наш гарнизон сознательно и единодушно высказался за неограниченное доверие ВЦИКу. Об этом я сочту своим долгом лично немедленно же передать ВЦИКу. О последующих его решениях будет доложено депутатам вашим сегодня же вечером на экстренном заседании совета в пять часов.

Митинг закрыт, все расходятся поспешно и хмуро, как обычно расходятся с похорон.

«Итак, сегодня совет! — думаю я без отрады и без воодушевления. — И неужели вот в этом — торжество «демократии»? — желчно спрашиваю я себя, уныло направляясь домой. «Демакра-демакра, кра-кра-кра», — вспоминается мне Ильинский, — «клекот ворон в ожидании трупов!» Холодок жутких предчувствий ледяною струйкою бежит по спине.

— Ишь, запугивать стал! — раздраженно бормочут между собою солдаты, которых я обгоняю. — Все одно их благородиям всех нас не перебить, мы мужики аржаные, нас земля-мать рожает...

В благодушном смешке уже успокаиваются эти простые, незлобивые сердца.

— Постой-ка, товарищ поручик! — окликает меня один из этих солдат, которого я как будто мельком видывал на одном из наших партийных собраний. — Постой-ка, — останавливает он меня порывисто, но дружелюбно. — Зря ты им седни все наши позиции сдал! — смотрит он мне в глаза с легкою укоризной. — Самое главное: на карачках не ползать. Упал, — вскочи на ноги, а на карачках не ползай! Заклюют тебя вороги, ежели ты перед ними и вдруг на карачках, вот как седни!..

— При чем тут карачки?! — высокомерно передергиваю я плечами и чувствую, что краска стыда новой волной заливает мое лицо. Порывисто дергаюсь и стараюсь уйти от солдат как можно скорее.

— Погоди! — бегом догоняет меня уже Племянников, только глаза и у него стыдливо опущены теперь вниз. — Знаешь ли, Филиппович сейчас велел тебе передать, что если ты где-нибудь сегодня не скроешься, тебе может грозить даже арест.

— Поблагодари его пожалуйста, эту гадину, за столь трогательную обо мне заботливость, — язвительно обрываю его. — В запугивания его я не верю, ареста не боюсь, да и скрываться нам, друг мой, не от чего. Ты скажи-ка лучше, кто вот эти шестнадцать отчаянных смельчаков, что сейчас так геройски голосовали против всех нас?

— Почем я это знаю? — бормочет нехотя Племянников, попрежнему не поднимая глаз на меня. — Должно быть, простые солдаты из каких-нибудь наших ячеек... Впрочем, кажется, Новиков был там среди них, — досадливо кривится он, — а может быть, и Горшков.

Разговор после этого положительно не клеится.

— Ты будешь сегодня вечером на совете? — интересуюсь я.

— А ты? — поднимает наконец он глаза.

— Ну, конечно, приду! — говорю я, оглядывая его удивленно.

— И я, — отвечает он с каким-то унынием.

Говорить больше не о чем, и мы расходимся с ним по домам.

— Постой! — он вновь беспокойно догоняет меня. — Как ты думаешь, а вот мне не стоит ли на время куда-нибудь, знаешь ли, скрыться?

Тебе? Зачем?! — с недоумением оглядываю я его. — Откуда вся эта паника? За что им тебя арестовывать?

— Ну, знаешь ли, Науменко мог им теперь многое разболтать!

— Чудак! Что ж он может такое им наболтать, за что возможен был бы наш арест?

— Конечно, такого нет ничего, — в раздумьи соглашается он, — а все-таки, знаешь ли, в такое опасное время...

Снисходительно улыбнувшись, молча подаю ему руку, чтобы расстаться. Он подавленно принимает мою усмешку и, безмолвно простившись, уходит, теперь уже не оглядываясь и не возвращаясь.

«Какие жалкие мы людишки! — желчно думаю я про себя. — Столкнули нас, как вечером кур, с привычных насестов, вот мы и летим беспомощно вниз...» «Нет, все это глупости!» — силится решительно протестовать во мне какой-то другой, упрямый и холодный голос. — Наш лозунг: демократия. Советы являются высшею формой народовластия. Поэтому, если ВЦИК советов решает...»

Придя домой, я брожу по комнате из угла в угол, не находя ни занятия, ни места. Гнетущею тяжестью налито сердце. Жена с беспокойством украдкой поглядывает на меня, но я ничего ей не сообщаю. Зачем ее пугать преждевременно? Может быть, еще ничего не случится. Ребятишки сидят на полу, разглядывая какие-

то цветные картинки. Временами они тормошат меня за ноги, чтобы я что-то им объяснил. Но мне теперь не до них. Ведь то, что случилось сегодня и что вообще происходит, куда поважнее всяких семейных дум и утех. Мне становится хоть и грустно, но одновременно и легче, когда я наконец ухожу палисадником к розовому валуну на берег залива. Одинокий гранит, тихие камыши, серебристая рябь воды. Корюшка пугливыми стайками бегает вдоль берегов. Так сижу я, должно быть, часы, погрузившись в мрачные думы. Тоска и безволие овладевают мной беспредельно. Когда меня кличут обедать, я отказываюсь, не чувствуя ни малейшего аппетита. Лишь когда солнце никнет к закату, я, спохватываясь, гляжу на часы: да, скоро пять, надо итти. И вот я бреду опять в Ораниенбаум все так же подавленно и уныло.

Зал заседаний уже наполовину заполнен, когда я туда прихожу. Солдаты сидят группами, беседуя друг с другом вполголоса. Мне чудится, что они настороженно умолкают, лишь только я к ним подхожу. Я сажусь в сторонке смущенно, украдкой оглядываясь и горестно убеждаясь, как мало здесь сейчас депутатов из нашего интернационального блока. Не видно Жендзяна, да нет и очень многих наших солдат. Повидимому, это я своим позорнейшим выступлением отбил у них всех нынче охоту к исполнению ими общественного долга. Только вон Новиков с Горшковым сидят там поодаль с пятком наших солдат. Да и поглядывают-то они на меня с сочувственным сожалением, и хмуро топчутся возле них Племянников и Батманов. А скуластый плечистый солдат Алексеев, заложив руки за спину, задумчиво и непринужденно шагает за стульями из угла в угол, грохая по паркету тяжелыми сапогами. И каких-то новых, совсем не знакомых солдат я также вижу в совете на этот раз. Неужели все это вновь «накооптированные» Филипповичем солдатские «депутаты»? Помимо этого целый ряд стульев посредине занят какими-то вновь прибывшими штатскими. Они сидят обособленно и смущенно, перешоптываясь между собой, и с любопытством оглядывают остальных депутатов, прикрывая ладонью глаза от рыжих лучей заходящего солнца. Только когда Колыбин, насупив безбровый свой лоб, берет председательский колокольчик, они разом подтягиваются, принимают благообразнейший облик и умиленно следят, как Филиппович, шмыгнув озабоченно носом, выскакивает на трибуну. Он лихо и самовлюбленно расправляет шильца своих усов, как исправник у попа на именинах: вот, дескать, посмотрите, какой я удачливый хват и какой я всесильный владыка!

— Прежде всего, — приосанивается Филиппович, — позвольте приветствовать мне настоящий совет уже не как солдатский гарнизонный совет, а как Ораниенбаумский совет рабочих и солдатских депутатов. Ныне присутствуют здесь представители рабочих близ-

лежащего Ольгинского завода и других лесопилок, которых мы рады наконец увидеть в своей депутатской среде.

Зал аплодирует, и мы в том числе. Рабочие, занимающие целый ряд, польщенно зажмуриваются и благоговейно муслят после этого Филипповича елеем своих растроганных взоров.

— Наряду с обновлением и расширением нашего совета нам надлежит, — продолжает оратор, грозно сдвигая тощие брови,— также очистить наш демократический состав от тех элементов, которые в течение долгих месяцев своею преступной анархической пропагандой вносили гибельное разложение в наш сознательный гарнизон. Для этой цели я предлагаю сейчас же арестовать...

Зал судорожно затихает, слышно, как случайно залетевший шмель гулко звенит, щелкаясь о потолок. Рабочие растерянно переглядываются между собою, а солдаты ждут напряженно, кого это он назовет. И он называет меня, Бровкина и Жендзяна.

Бровкин давно уже подсел рядом со мною. Глаза его сейчас испуганно стекленеют, губы складываются то в одну, то в другую гримасу, силясь что-то произнести, но язык непослушен, и Бровкин с глубокими вздохами лишь проглатывает свои слюни.

— За что ж это их арестовывать? — с неожиданным возмущением гудит зал, хоть и робкими, но озлобленными голосами.

— Они подстрекали наш гарнизон на противозаконное выступление, они арестовывали некоторых членов нашего исполкома, наконец так решил наш исполнительный комитет! — все более и более горячится взбешенный Филиппович.

— Исполнительный комитет?! — рявкает басом из задних рядов Алексеев. — Ежели б он был исполнительным ваш комитет, то исполнял бы он только нашу, советскую волю, а теперь получается, что не исполнительный, а приказательный у вас комитет, потому что не спрашивает нас ни о чем, а все только нам приказывает! — заканчивает он под одобрительное гоготание зала.

— Голосуйте! Ставьте на голосование! — раздаются настойчиво крики.

— Господа, — Филиппович становится в спесивую позу,— я не хотел преждевременно этого вам объявлять, но позвольте в таком случае зачесть вам немедленно тот мандат от Всероссийского ЦИКа, которым я, за подписью Чхеидзе и Церетели, назначен правительственным комиссаром Ораниенбаума и облечен диктаторской властью...

— Ого! — гудят раздраженно солдаты. — Ты бы с этого даве и начал, а то «обновленье и расширенье совета»! Подумаешь, обновитель какой!

— Поэтому, — продолжает Филиппович невозмутимо, — я даже не вправе ставить этот вопрос об их аресте здесь на голосование, я просто вам сообщаю исключительно для информации, что члены

Ораниенбаумского совета: Тарасов-Родионов, Жендзян, Бровкин и Алексеев объявляются арестованными для препровождения их в распоряжение Верховной следственной комиссии, срочно созданной ВЦИКом из авторитетнейших представителей демократии для расследования событий третьего — пятого июля.

— А зачем же ты еще приплел сюда и Алексеева? — вопят возмущенно из задних рядов. — Ведь это ж трусливое сведение личных счетов!

— Я правительственный комиссар! — с хрипом взвизгивает Филиппович, — и я знаю, что я делаю и что говорю. Замолчать! Если и вы, там позади, не желаете быть тоже немедленно арестованными...

Зал умолкает. Я встаю и растерянно прошу слова. Стараясь быть сдержанным, я убеждаю совет проявить выдержку и спокойствие и не усматривать в нашем аресте каких-либо козней. Мы не виновны ни в чем, и органы революционной демократии, конечно, немедленно же нас отпустят.

— Да здравствует власть советов! — растроганно и наивно заканчиваю я.

— Эй, комендант! Приставьте-ка к ним надежный конвой! — властно командует Филиппович. — К этим троим. Жендзяна, оказывается, здесь еще нет, да, говорят, он и дома не ночевал. Но если б даже он и сбежал, мы его на дне моря отыщем!

«Так вот почему он так упорно советовал через Племянникова мне бежать! — мелькает в уме острое подозрение. — Ну и провокатор!»

— Какой там конвой?! Зачем им конвой?! — гневно гудит взбудораженный зал. — Чай, и так отсюда не убегут!

Заседание сорвано. Депутаты подавлены и, бросая на нас взгляды, полные сожаления, с возмущением толкуют о нашем аресте. Пока Филиппович отдает распоряжения о подаче автомобиля для отвоза нас в Питер, я отвожу в угол Племянникова и глазами подзываю сюда же Новикова и Горшкова. Торопливо шепчу им советы, как сохранить им здесь нашу организацию от окончательного разгрома и как продолжать работу в подполье. И Новиков и Горшков слушают с глубочайшим вниманием, и боевою готовностью пожертвовать всем ради партии горят их честные молодые глаза. Племянников сообщает, что Жендзян поехал в Кронштадт, и Горшков немедленно же соглашается тайком помчаться туда, чтобы предупредить его об аресте, а кстати порассказать Кронштадтскому большевистскому комитету о наших печальных делах.

— А ты, Новиков, может быть, съездишь сейчас же в военку? Отыщешь Ильинского. Надо там срочно предупредить о нашем разгроме.

Оба они тотчас же отправляются, по-товарищески взглянув мне в глаза и крепко пожав на прощание руку. Один за другим они выходят ленивой, беспечной походкой, стараясь не выдать себя и свое боевое решение.

Машина подана. Об этом сурово нам сообщает Рубцов. Он сам будет конвоировать нас до Петрограда: так приказал Филиппович. Он достает из кармана наган и вертит его барабаном. Рубцов, большевик, член нашего комитета, и вот он же — наш конвоир?! Может быть, все это снится? В безысходном смятении я готов ущипнуть сам себя. Нет, это не сон. Мы спускаемся лестницей, сопровождаемые Баскиревым, Головизниным и Громыкой, а Рубцов, помахивая наганом, спускается у нас впереди. Автомобиль шестиместный. Сзади усаживаются Бровкин и Алексеев, с ними садится с винтовкой солдат. Рубцов поднимает сидение впереди, властно указывая мне на него, и сам садится рядом со мной на другое.

— Зачем ты ко мне товарища с винтовкою посадил?! — возмущенно орет и чертыхается Алексеев. — Что он со мною рядком винтовкою может поделать? Ежели честью, то мы и так не сбежим, а ежели на озорство, то вот как садану тебя по уху сзади, так ты и покатишься к чортовой матери со своим леворвертом, а этому смердяку и винтовка его не поможет!

После некоторых пререканий солдата с винтовкою убирают. Рубцов поверил нам на-слово, что мы не сбежим, и я сажусь сзади, вместо солдата. Рубцов один примащивается перед нами бочком, и все же не выпускает из рук нагана. Мы трогаемся. Сумерки наползают в улицы и сады маленького городка лиловыми полутенями. Едем в тоскливом молчании. Что-то нас ждет впереди?

У железнодорожного переезда поднят шлагбаум. Товарный поезд проходит медленно и скрипуче. Плакучие ветлы колышут над нами свои длинные космы.

— Да, Рубцов, — говорю я в сумрачной тишине, — случалось, конечно, и раньше бывать арестованными. Только тогда нас отвозили, как знаешь, жандармы. Но чтобы нас арестованными отвозил свой же товарищ по партии и по комитету, такой гнусности еще, должно быть, не видывал мир. Предатель ты, Андриан! Гнуснейший и подлый предатель.

Рубцов надменно глядит на меня, сжав револьвер, но ничего не отвечает. Шлагбаум поднят. Мы въезжаем в Мартышкино. Хрустит под шинами гравий шоссе. Из палисадов волнами веет благоухание цветов. Утихомиренно засыпают деревья. Вон налево моя 17-я команда. Пулеметчики высыпали на шоссе, окружив усевшегося на скамейке своего незатейливого гармониста. Наш мотор делает перебои. Шофер останавливает машину и прочищает свечу. До нас явственно долетают сейчас переливы гармоньки и веселые выкрики запевалы:

— «За чужие-д дележи неча лезть нам на ножи!..»

— «Ни к чему нам, барыня, — залихватски подхватывают остальные солдаты, — ни к чему, сударыня!»

— «... И у немцев, чаем, тоже, — надсаживается теноришка, — выйдет дело с нами схоже».

— «С нами схоже, барыня, — дружно рявкают остальные, — в самый раз, сударыня!»

— «Дело сделают не скоро, — не унимается запевала, — да зато уж выйдет споро».

— «Вот как споро, барыня, — убежденно подхватывает вся команда, — начисто, сударыня».

Сердце судорожно замирает. «Вот она, нутряная народная мощь! — думаю я о солдатах. — Только, конечно, они здесь неправы. Если нас сейчас здесь разобьют, революция во всем мире задержится на долгие годы. Поэтому международный пролетариат не допустит нашей погибели. После того, что с нами здесь сейчас вытворяют, революция в Германии вспыхнет немедленно и неизбежно!»

Шофер исправил мотор, мы едем дальше. Когда пролетаем мимо команды, некоторые из солдат, должно быть узнав меня, приветливо и удивленно что-то кличут мне вслед. А что, если им крикнуть, что я арестован, выстрелить в затылок Рубцову, схватить за горло шофера? Через минуту мы были бы все на свободе... Ну, а потом?.. Я не оглядываюсь и не откликаюсь. Мы мчимся дальше.

Вон впереди, под соснами палисадника, домик, в котором живет моя семья. Неужели мы промелькнем и здесь мимо, и я не смогу даже весточки дать о себе?

— Стойте! — порывисто дергаю я испугавшегося Рубцова. — Здесь на секунду надо остановиться. Я здесь квартирую и должен с собой захватить мыло и полотенце.

Тон мой настолько решителен, а взгляд мой так властен, что Рубцов смущенно велит тотчас же остановить машину. Он идет неотступно следом за мной, но, увидав, что на стук мой испуганно выбежала моя жена, которая тревожно бросается мне на шею, смущенно поворачивается и прячет свой револьвер в карман.

Я прохожу с женой в комнату.

— Лампы не зажигай! Я на минутку. На тебе мой пистолет, — вынимаю я из кармана свой браунинг, — спрячь его на это время подальше. Время сейчас неспокойное: может быть обыск. Дай мне скорей полотенце и мыло! Я сейчас еду в Питер. То есть, вернее, меня везут. Но, разумеется, это не арест, а глупое недоразумение. Завтра, или самое позднее дня через три, я возвращусь. Будь это время достойной подругой революционера. Выдержка и хладнокровие! За ребятами присмотри! До свидания!

Мы обнимаемся. Она судорожно дрожит.

— Милый, зачем ты обманываешь меня? Ведь ты арестован?! Зачем тебя увозят? Быть может, тебя расстреляют?!. — ее плечи трясутся в горьком, безудержном плаче.

— Дуреха, какие глупые страхи! — одергиваю я ее с нарочито грубоватой беспечностью. — Я сказал, что вернусь очень скоро, еду я в комиссию ВЦИКа. Демократия ни за что не допустит расправы над нами.

Мне хочется также поцеловать на прощание и детей, но они уже спят мирно рядком на диване. Я только ощупываю дрожащей рукой их потные лобики. Слышно, как скрипят ступеньки крыльца под тяжелой непрошеною ногою: должно быть, это нетерпеливый Рубцов.

— Я иду! — бросаю я ему с раздражением в сени, наспех беру полотенце, зубную щетку, мыло и стремительно выбегаю к автомобилю. — Едем, новоиспеченный жандарм! Как видите, я не сбежал.

Жужжа проносится шоссе под нами, мелькают и прядают в сторону с шумом черные липы и ели задумчивого Петергофа. Фонари нашей машины выхватывают из темноты то плечо гуляющего солдата, то яркий платочек его девицы. Проблескивают мимо нас огоньки Стрельны и Лигова. Темной, ветвистой аллеей подъезжаем к городу. Вот деревянные мрачные рабочие казематы, где ютятся путиловцы. Пустынно сейчас возле них и глухо. Разве не те же путиловцы всего лишь третьего дня шли здесь с песнями и знаменами многотысячною воодушевленной толпой?!. Наше авто проносится гулкими, безлюдными улицами. Наконец мы выезжаем и на Шпалерную. Немолчный цокот тысяч подков о мостовую наполняет всю улицу гулким треском, это медленно движутся вдоль по ней нескончаемые колонны кавалерии. Керенский выполнил свое клятвенное обещание: «войска с фронта направляются только вперед!» Да, для него враг только здесь, в казармах и на заводах... Обогнав вереницу лязгающих и грохочущих батарей, мы подъезжаем к Таврическому дворцу. Сейчас здесь пустынно, и у каждых ворот и дверей мрачно замерли караулы. Рубцов нас сдает коменданту дворца. В небольшой сумрачной комнате сидит за столом поручик Греков.

— Вот, — говорит ему Рубцов, протягивая какую-то бумагу, — это арестованные наши зачинщики из Ораниенбаума. Примите.

Греков устало зевает и скучающе смотрит на нас, стоящих в тени у дверей. Внезапно глаза его загораются острым, мстительным огоньком. Он быстро вскакивает и подбегает ко мне.

— Как, и вы здесь?! — обрадованно всплескивает он руками. — Да, вас-то мы ожидали, — говорит он злорадно, развалкой возвращаясь к столу. — А этих зачем вы нахватали? — бросает он Рубцову упрек, указывая на моих незадачливых спутников. —

Ведь это же пешки, простые солдаты! Ну, куда я их дену? Если бы мы здесь в Питере у себя и таких субчиков арестовывали, то нам полстолицы пришлось бы переарестовать, а у нас и без того уж все тюрьмы и все гауптвахты битком забиты. Куда я их дену? — морщится он брезгливо. — Эй, Стрижак! — кричит он, распахнув дверь в коридор. — Проведи-ка эту кобылку в полутемную, там наверху! Ну, а с этим я сам подзаймусь.

Когда вольноопределяющийся, румяный и бравый, с черными усиками на пряничном лице и с пробором, отлакированным словно сапог, уводит Бровкина и Алексеева, Греков подписывает какую-то расписку Рубцову, и тот все так же молча выходит, конфузливо откозырнув. Меж тем комната наполняется прапорщиками, еще с Февраля отбившимися от своих частей. Должно быть, Стрижак им сейчас сообщил, что меня привезли: вот и сходятся все они, чтоб посмотреть на такого опасного зверя. Первым влетает сюда, как всегда порывисто и тревожно, Синани. Следом за ним кичливо вышагивает длинноногий Любарский. Вязальщиков влезает, подтягивая спадающие штаны. Затем заходят еще какие-то трое, которые мне совсем не знакомы. Но разве здесь дело в фамилии, а не в классовой сущности этих людей?! Все они усаживаются вдоль стен на столах, пытливо оглядывая меня.

— Садитесь! — высокомерно кивает мне Греков на стул перед его столом. — Предъявите ваши документы. В чем вас сейчас обвиняют?

Трясущимися от волнения руками я вытаскиваю на стол кипу всяких бумаг, свидетельствующих случайно о том или ином поручении, которые в Февральскую революцию приходилось мне выполнять. Все это я захватил с собой из дому еще утром, чтобы с гордостью предъявить перед лицом демократии в случае моего ареста. Синани подскакивает к столу и вместе с Грековым просматривает эти бумаги.

— Вы их отбираете? — тревожусь я, видя, как после просмотра Греков прячет их к себе в стол.

— Они будут пронумерованы и приобщены к делу, — отрубает он холодно и самодовольно. — Больше у вас нет ничего? — и уже лезет руками обшаривать мои карманы. — А это что? — нагибается он и поднимает с полу возле стула, на котором только что я сидел, какие-то бумажные лоскуточки. — Порванная записка? Интересно. Сейчас мы рассмотрим! — раскладывает он лоскутки на столе.

— Это не моя, — говорю я, бледнея.

— А это мы увидим, — усмехается он ядовито. — «Батарей сорок две, линейных — четыре, полевых трехдюймовых — восемь, пулеметных команд «Максима» — тридцать шесть», — читает он нараспев. — И вы еще уверяете после этого, что эта записка не ваша?! — рявкает он на меня, ударив что было силы о стол кулаком.

— Вы можете делать со мной что угодно! — вскрикиваю я в порыве отчаяния и гнева. — Меня везли сюда для передачи следственной комиссии ВЦИКа, якобы по приказу которой я и арестован, а вместо этого сдали вам.—Я—в ваших руках, сводите теперь со мной счеты. Можете меня расстрелять за то, что я большевик! Но никаких фальшивых бумажек мне не подсовывайте, негодяи!— кричу я на них вне себя. — «Демократические» негодяи!

— Замолчать! — хватается Греков за шашку.

Вязальщиков, ковыляя, спешит к столу.

— Ну, так я и думал, — ворчит он простодушно, — ведь это ж реестр прибывших сейчас к нам с фронта войск, о которых только что говорил нам здесь приехавший капитан.

Греков сконфуженно умолкает и, насупясь, садится за стол.

— Все равно! — нервно хрипит Синани. — Вы заговорщик и от кары своей не уйдете. Если б вас ораниенбаумцы не арестовали, мы б и отсюда достали вас. Вы — подлый шпион и провокатор!— прыгает он передо мной, тряся кулаками.

— Шпион и провокатор? — вскидываюсь я на него, обомлев.

— Да, шпион! — спесиво процеживает сквозь зубы Любарский и, потягиваясь, встает со стола.

— Шпион! — яростно наступает Синани. — А кто требовал третьего дня из Кронштадта шаланды для высадки здесь у нас неприятельского десанта?! Вы полагали, что мы этого здесь не узнаем?!.

— Они обалдели, — шепчу я растерянно. — Какой десант? Какие шаланды? Шаланды предлагал мне Кронштадт для доставки на демонстрацию в Петроград нашего гарнизона. При чем здесь неприятель?!

— Не хитрите! — заносчиво басит Греков. — Вы попали теперь в надежные руки: вас по косточкам здесь разберут.

— А по-моему, нечего тут и разбирать! — неистовствует Синани. — Шпионов, пойманных с поличным, расстреливают на месте без суда! — и он гневно уходит, хлопнувши дверью.

Следом один за другим выходят и остальные, оглядывая меня с молчаливым презрением.

— А это вы не читали? — с коварной усмешкой протягивает мне Греков печатное воззвание ВЦИКа.

Отупело гляжу я на зловещие черные, жирные буквы:

«... вооруженные толпы взбунтовавшихся солдат вместе с тайными черносотенцами и изменниками в течение нескольких дней расстреливали безоружных мужчин, женщин и детей. Они оскорбляли министров-социалистов, производили вооруженные нападения на заседание совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и силой оружия пытались навязать свою волю избранным вами представителям...»

Эх, стоит ли дальше читать?! Руки никнут безвольно, и бумажка выскальзывает беспомощно на пол.

— Стрижак! — кричит властно в дверь Греков. — Где ты пропадаешь? — И когда тот появляется на пороге, он кивает ему на меня: — Уведи-ка и этого молодчика туда же, да приставь караул понадежней. За ним нужен глаз да глаз.

Стрижак ведет меня сумрачным коридором, потом по лестнице куда-то наверх. Там, на площадке у низенькой двери, стоят часовые.

— Зря, подпоручик, вы спутались с Лениным, — говорит он сочувственно мне. — Вон прапорщик Яглонский тоже спервоначалу его защищал, а нынче нет.

— Прапорщик Яглонский? — хватаю я его за руку. — Скажите, где он?

— Они нынче назначены здесь помощником коменданта, — поясняет Стрижак, — но сейчас они очень заняты: за сегодняшнюю ночь столько волокут сюда арестованных!

Часовой отпирает нам дверь. Длинная, узкая низкая комната с большим полукруглым черным окном. Стол, диван, обитый клеенкой, пара стульев. На диване, понурясь, сидят Бровкин и Алексеев.

— Стрижак! — умоляю я провожатого на прощание. — Вы знаете немного меня. Я так несчастен! Упросите Яглонского во что б то ни стало притти ко мне хотя б на минуту!

Стрижак соглашается передать эту просьбу, но не ручается за ее осуществление. Яглонский сегодня так занят!

«Не может этого быть, Яглонский, конечно, придет», — утешаю я сам себя, нервно комкая в руках полотенце. И я вспоминаю, как еще в Феврале Яглонский держался честно и объективно, когда эти же прапорщики пытались меня оклеветать. А разве не было случаев после, когда Яглонский себя проявлял честным и вдумчивым революционером? Конечно, Яглонский немедленно же придет.

Бровкин предлагает мне спать на диване. Сам он с Алексеевым думает лечь на полу. Алексеев не вмешивается в наш разговор. Он, грозно нахмурясь, шагает по комнате взад-вперед, ворча себе что-то под нос и зверски ругаясь.

— Хочу жрать! — останавливается он вдруг перед нами. — Хочу жрать. Что ж это, голодом, что ли, думают они нас здесь морить, подлецы? Какой это субчик нас сюда провожал? Быть может, покладистый парень: не офицеришка, а вольнопер. Не принесет ли он нам пожрать? — Он круто повертывается и направляется к двери. — Жрать хочу! — кричит он, грохая в дверь сапогом.— Эй вы, караульные остолопы! Чего вы стоите здесь, как истуканы, а не видите, что ваш же брат здесь с голоду подыхает!?

Часовой тревожно отпирает к нам дверь. Выслушав новый взрыв алексеевских просьб и ругательств, он запирает нас снова на ключ,

обещав обо всем доложить по команде. А вот Яглонский, однако, нейдет. Минут через десять солдаты приносят нам огромную миску гречневой каши, котелок с водою, три ложки и хлеб. Алексеев жадно все это хватает и, усевшись за стол, начинает уплетать за обе щеки.

— Ну, а вы то чего ж? — кивает он нам.

Бровкин нехотя несколько раз прикладывается к миске своею ложкой, но тотчас же отстает, скорчив опять страдальческое лицо.

— За что это нас? — ноет он то-и-дело тоскливо и с немым, беспощадным упреком исподлобья глядит на меня.

Мне есть совершенно не хочется. Какая уж тут еда, когда вон какая ужасная жуть так нежданно нависла над нашими головами! Я — и вдруг: шпион! Шаланды?!. Угроза расстрела!.. А ведь Яглонский нейдет и нейдет.

Алексеев, доев почти все без остатка, за себя и за нас, благодушно растягивается теперь на полу без шинели, послав громогласно всех и вся ко всем чертям. Уже через минуту слышен его густой, сокрушительный храп. Бровкин, вздохнув тяжело, примащивается на диване: я решительно отказался лечь спать. Мне остается теперь сидеть на стуле, устало глядеть, не мигая, на лампу и ждать. Да, я жду терпеливо, но Яглонский упрямо нейдет. Неужели Стрижак обманул? Наконец вон и Бровкин уснул. Сон мягко и вкрадчиво заползает в нашу неприветливую обитель. Но как можно сейчас уснуть, когда мне так зловеще и вздорно враги пришивают шпионаж и угрожают расстрелом?! Я начинаю тревожно метаться по комнате, бережно обходя разметавшиеся во сне волосатые руки храпящего Алексеева. «Какой бесславный конец! — с ужасом передумываю я происшедшее. — А главное, за что же? За что?!. Я ль не служил так честно и самоотверженно идее народовластия?! Что теперь будет с товарищами, которых я втянул в это дело, что теперь будет с семьей?!. Все пропало теперь ни-за грош. И никто никогда не узнает, что я не виновен! Что же делать?!» Желчный клубок отчаяния и обиды горько сжимает горло до спазм. Нет больше силы сносить столь неопределенное положение, я иду к двери и стучу. Бровкин испуганно открывает глаза, Алексеев, сопя, перевертывается на другой бок. Тишина. Неужели и часовые заснули? Повторяю настойчиво стук и прошу часового срочно вызвать караульного начальника. Когда тот приходит, я спрашиваю у него бумажку и карандаш и поспешно набрасываю записку:

«Яглонский! Придите сейчас же, пока не поздно. Дальше я ни за что не отвечаю».

— Передайте, — говорю я, — немедленно эту записку помощнику коменданта и тотчас же принесите ответ. Если этого не исполните, я перебью здесь все стекла и вышибу дверь. Можете тогда в меня сколько угодно стрелять! Так ему и передайте.

Минут через пятнадцать караульный начальник возвращается и предлагает мне следовать вместе с ним. На всякий случай я захватываю с собою фуражку, мыло и полотенце. Меня приводят в небольшую, ярко освещенную комнатку, в которой возле стола, понурясь, сидит на подоконнике прапорщик Яглонский. Его узкое лицо выглядит бледным, глаза впали, круглый лоб блестит мертвенным блеском.

— Что это ты там за страхи такие разводишь? — соскочив с подоконника ко мне навстречу, обращается он с добродушным упреком, слегка пришепетывая.

— Как, разве ты не знаешь, что я арестован?

— Нет, это я знаю.

— А разве Стрижак не передавал тебе мою просьбу о немедленной встрече с тобой?

— Передавал, но, как видишь, я занят.

— Синани и Греков сейчас мне грозили расстрелом. Сначала пытались приплести какую-то подметную записку, а когда это все сорвалось, пришивают неведомые шаланды. Они обвиняют меня в шпионаже! Ведь ты только подумай: какой это ужас!

— Н-да,—вздыхает Яглонский,—твоего дела я, конечно, не знаю. Им займется прокуратура. Без следствия и суда, будь спокоен, расправы над тобою не будет. Но это большое несчастие, что ты связан был с Лениным. Его песенка теперь окончательно спета.

— «Песенка спета»? Какие гнусности ты говоришь! В чем обвиняешь ты Ленина? Неужели и ты, осторожный, но честный революционер, каким я тебя до сих пор знаю, неужели и ты поверил во все эти клеветнические выдумки мерзавца Алексинского?!.

— К сожалению, все, что писалось в газетах, правда, — вздыхает Яглонский. — Более того: по распоряжению Керенского, опубликована только ничтожная часть документов. Но те, что еще не опубликованы, куда поважнее, и они бесспорно разоблачают службу Ленина германскому штабу.

— Образумься! Какие ужасы ты говоришь?! — хватаю я его за руки. — Скажи, ты сам все это видел? Своими глазами?

Яглонский секундочку думает.

— Да, своими глазами, — кивает он головой.

Руки мои тяжело опускаются, ноги подкашиваются, и я инстинктивно цепляюсь за стул, чтоб не свалиться. Голову заволакивает туман.

— Сядь, — ласково говорит мне Яглонский. — Ты, возможно, и не так уж виноват: многие из вас были введены в заблуждение. А теперь, как видишь, пришел час народной расплаты. На улицах сейчас противобольшевистский погром. Сегодня вон на Шпалерной толпа в клочки растерзала солдата, продававшего подпольно изданный большевистский листок.

— Солдата? Как его имя? Не Ильинский?

— Нет, не солдата, а рабочего. Фамилия его, кажется, Воинов. А сколько ведут сейчас к нам сюда арестованных с разных концов! Кого доводят сюда, а кого, знаешь ли, и не доводят...

— Ужас! — передергиваюсь я. — Достукались! Контрреволюционный погром!

— При чем здесь контрреволюция? — смотрит он на меня наивно-честными глазами. — Это — власть демократии! И это возмездие тем, кто хотел демократию эту предать на расправу германскому империализму. Сегодня днем на Дворцовую площадь был выведен и с ошельмованием разоружен весь Первый пулеметный мятежный полк. Петропавловка и дворец Кшесинской сегодня заняты самокатчиками, прибывшими с фронта. А ты посмотрел бы, что делалось на Невском! Требуют ареста не только Ленина и Зиновьева, но уже Церетели и Чернова. Вот до чего довели вы народ! Правильно вам предсказывали, что контрреволюция может въехать лишь через ваши ворота!

— Мы довели народ? — передергиваюсь я зябко плечами.

— А то кто ж, как не вы? Довели и сбежали. Прапорщик Семашко первым сбежал, Ленина тоже до сих пор не разыщут.

— Как?! Министры-социалисты хотят их арестовать?!

— А то что ж? Не арестовывать же всю вашу толпу? Ты бы видел, с какою позорною трусостью разбегалось в эти дни ваше тупое и дикое стадо!

Горло схвачено спазмой, я молчу. Молчит и Яглонский.

— Ну что ж, иди, — говорит он устало. — Правда, сегодня Временное правительство издало постановление, по которому виновным в публичном призыве к неисполнению распоряжений властей грозят три года тюрьмы, а военнослужащие наказываются как за измену.

— Расстрел? — шепчу я беззвучно.

Яглонский снисходительно кривится:

— Ну кто ж, милый мой, в этом теперь виноват? Надо было быть до этого менее легковерным. А впрочем, я думаю, что ты особенных глупостей не натворил, так что отделаешься дешевле... Караульный начальник, проводите арестованного обратно!

Я возвращаюсь к себе. Мои сотоварищи спят. Окно мутно светлеет. Я сажусь на стул перед ним. От ужасных вестей словно пулей прострелено сердце, и кошмарные мысли жалят мозг остро и зло, как по осени осы. Помутившимися глазами я часами гляжу перед собой в одну точку. Какое мне дело теперь, что уже рассвело, что Бровкин и Алексеев встают и конвой водит их на умыванье! Потом приносят хлеб и кружки с дымящимся чаем. Алексеев громко чавкает, когда жует, и громогласно все еще о чем-то рассуждает. Бровкин хмуро и озабоченно собирает пальцем крошки в рот со

стола и беззвучно шевелит посиневшими губами. Какое мне дело до всего этого, что еще называется жизнью! Все теперь кончено для меня: партии нет, она рассеяна, распылена, а я — обесчещен: ни назад, ни вперед пути больше нет. Ведь не верить Яглонскому-то нельзя! Иногда судорожная горечь схватывает меня за горло, тогда я бросаюсь ничком на диван и беззвучно впиваюсь в угол скользкой, холодной клеенки зубами. Жить после всего этого я не хочу. Эх, поскорей бы расстрел!

Днем к нам приводят Жендзяна. Он захватил с собою шинель и какие-то книги.

— Здрасте! — кивает он глухо и бросает в угол свой тючок.

— Читали сегодняшние газеты? — спрашивает он мрачно и выкладывает из кармана на стол пачку газет.

Это несколько пробуждает меня снова к жизни, я с жадностью хватаю одну из газет. Страницы пестрят сообщениями об арестах и прибытии новых войск. Арестованы: Козловский, Суменсон и масса низовых партийных работников из районов. Многие полки разоружены, другие покаялись. Резолюции их с проклятиями против «зачинщиков мятежа» напечатаны здесь одна за другой... А вот и прибытие новых войск. Пришли полки: «177-й Изборский, 14-й Донской казачий, Драгунский, Малороссийский, Митавский... Их приветствовали на Дворцовой площади министры-социалисты Скобелев и Чернов. А вот и ответная речь командира этого сводного отряда, поручика Мазуренко, к своим солдатам:

«... граждане воины, высший орган революционной демократической власти призывает вас поддержать и утвердить торжество революции и свободы... Мы, пришедшие с боевого фронта, обязаны избавить столицу революционной России от безответственных групп, которые вооруженною силой стараются навязать свою волю большинству революционной демократии, а собственную трусость и нежелание итти на фронт прикрывают крайними лозунгами и творят насилие, сеют смуту в наших рядах и проливают кровь невинных на улицах Петрограда...»

— Н-да... — многозначительно тяну я. — Откуда ты, из Кронштадта?

— Был в Кронштадте, — хмуро бросает Жендзян, — ездил к Брушвиту, да твой Горшков ночью примчался и сообщил об арестах. Я, конечно, сейчас же в Ораниенбаум. На пристани меня и схватили... Ты знаешь ли, что они теперь вытворяют? — загорается он лютою злобой. — Они послали третьего дня в Гельсингфорс адмиралу Вердеревскому приказ — потопить наши боевые броненосцы, если только посмеют они выйти в Питер демонстрировать за власть советов. Ведь это ж чистейшая измена! Ведь это ж безумие!

— Кто же отдал такой приказ?
— Говорят, что по распоряжению Авксентьева и Гоца.
— Ну что ж, твои эсеры! — ухмыляюсь я.
— Ну, и ты тоже своими не хвастайся! — осаживает он меня задорно.
— Что ты хочешь этим сказать? То, что пишут теперь против Ленина...
— Насчет Ленина я, конечно, не верю, но все эти разные Суменсон... все это весьма подозрительные экземпляры... А потом вся эта последняя демонстрация... Кто ее вызвал? Кто ее начал? Без участия черной сотни тут, конечно, не обошлось!
— Ты знаешь отлично, кто ее у нас вызвал и начал, — говорю я с горечью жгучей обиды, — что ж, по-твоему, и мы — черная сотня?!.
— Я не о нас говорю, — кривится он. — В Питере было дело не чисто. А впрочем, следствие все теперь выяснит. В комиссию ВЦИКа по разбору наших дел введены Авксентьев и Гоц, Скобелев и Чернов... А про тебя ужасы разные теперь говорят, — бросает он отрывисто, помолчав и глядя в угол. — Рассказывают, что якобы имеются документы, свидетельствующие о твоих сношениях с германским штабом.
— Я?!. в сношениях?!. — хватаюсь судорожно за клеенку дивана, но пальцы скользят.
— Что ж тут невозможного? Ведь ты ж пораженец!
— Милый друг! Жендзян! — вскакиваю я растерянно и, простирая руки, устремляюсь к нему. — И ты?!. и ты?!. усомнился?!. Ты ли не видел всю работу мою в Ораниенбауме с первых ее шагов?!. И ты мог усомниться в моей политической честности, безупречности и чистоте?!. Пусть ты эсер, но ведь ты же честнейшая личность!..
Дальше я ничего не могу произнести. Слезы комом душат меня, и позорные, непроизвольные рыдания потрясают все мое существо. Я кидаюсь ничком на диван и изливаю свое отчаянное, безысходное горе в раздавленном, воющем стоне. Да, я здесь одинок, впрочем я одинок теперь и во всем мире. «Партии, — думаю я в этот момент, — больше не существует: она разгромлена извне и изнутри! Ну, как же не верить Яглонскому?!. Впереди — бесчестие и расстрел!» Мещанское, интеллигентское неверие в мощь и разум рабочего класса, позорно закравшееся сомнение в честности партийных вождей отравляют мое сознание. Откуда я знаю, что Яглонский все «шпионские» ужасы ложно мне наболтал?! Что там делается в данный момент на заводах, — мне неизвестно! Каково настроение казарм, — для меня безразлично. Фронт, приславший сюда войска для наших расстрелов, воочию показал всю неустойчивость наших темных солдат, мобилизованных преимущественно из крестьян. Почему в бешеной злобе рыщут сейчас

по городу остервенелые банды офицерни и, обшаривая каждую щель, кровожадно вопят: «Ленина! Ленина...» — в этот тяжелый момент все это для меня непонятно и неизвестно. Я, как раздавленный хлюпик, беспомощно вою ничком на диване: «Поскорее бы смерть! Эх, скорее бы смерть!»

30. ОХРАННАЯ ГАУПТВАХТА

Два дня протащились в томительном напряжении. Никто к нам не заходил, никто нас не вызывал. Можно было б подумать, что о нас совершенно забыли, если б не было аккуратнейшей смены часовых за дверьми, пытливо оглядывающих нас зоркими глазами. В полдень к нам приносили солдатский обед, но так как у Бровкина и Жендзяна аппетит был плохой, а я почти совсем к пище не прикасался, то его пожирал за всех нас, громко чавкая и сопя, благодушествующий Алексеев. Когда по утрам и вечерам приносили к нам дымящийся чайник с жестяными кружками и нищенскими кусочками сахара, Алексеев неистовствовал, оглушительно грохая в дверь, и вытребовал себе сахарную добавку.

Дни тащились, и ночи ползли, тягостные, полусонные ночи. Я просиживал их напролет возле окна, распахнув форточку и вдыхая ночную свежесть уходящего лета. Мертвенно стыли желтые звезды в высокой густой синеве. Иногда далекий сухой треск ружейной стрельбы и пулеметного грохотания бороздил заснувшую тишину. Кто стреляет? В кого?.. Ночь не давала на это никакого ответа. Глухая, далекая перестрелка стихала так же внезапно, как и возникала. Но порою другие, еще более тревожные шумы зловеще врывались в ночное окно. Тогда доносился сюда душный, взволнованный говор разгоряченной толпы, жесткая, остро кричащая чья-то речь, бурные шквалы разгневанных воплей. Очевидно, внизу шло пленарное заседание ВЦИКа, оно затягивалось далеко заполночь, и через раскрытые от духоты окна зала плескались вскипавшие страсти. Кто это там говорит?.. так громко и резко... Церетели? Я становился ногами на стул и вытягивал голову в форточку, пытаясь уловить долетающие обрывки жалких фраз. Да, это говорил Церетели, говорил взвинченным жестяным фальцетом, а бурные крики зала то-и-дело заглушали его слова, мешая их разобрать.

— Вы ответите! Вы ответите! — отчетливо врезался чей-то выкрик, яростный и безнадежный.

Но кто ответит, за что ответит, — ночь ничего не сообщала. С бледным сизым рассветом кидался я на пол возле окна и засыпал на какой-нибудь час, весь измочаленный и разбитый.

Дни тащились безотрадно, и в тревожной горести плыли тяжелые ночи. На четвертый день нашего заключения поутру карауль-

ный начальник неожиданно приказал Бровкину и Алексееву собираться.

— Нечего здесь с господами офицерами прохлаждаться, — буркнул он им, хмуро покосившись на нас, — поедете сейчас в Кресты. Там вашего брата напихано сейчас вдосталь.

— В тюрьму? — пискнул Бровкин и беспомощно сложил ижицей тонкие губы.

— Их благородиям и здесь привелигия! — сплюнул в нашу сторону Алексеев, рывком поднимая с грязного пола свою шинель.

Тщетно мы с Жендзяном упрашивали унтер-офицера оставить солдат с нами или забрать вместе с ними в Кресты также и нас. Унтер был непреклонен: такова была воля его начальства.

— Вы не тревожьтесь, — кидал он нам со скупой снисходительностью, — заберут отседа скоро и вас. Не для того мы здеся приставлены, чтоб арестантские ваши вши караулить.

После обеда, который оказался теперь почти не тронутым, к нам явился Яглонский.

— Приказано, — сказал он грудной хрипотцой, не поднимая на нас глаз, — очистить Таврический дворец от арестованных. Вас перевезут сейчас на гауптвахту... Не беспокойтесь, на благоустроенную гауптвахту, — поспешно добавил он, участливо поднимая на меня серый выпуклый взгляд. — Это здесь неподалеку. Я очень рекомендую...

Мы покорно пожали плечами.

— А когда же нас выпустят или допросят? — нервно вскипел я. — Ведь четвертые сутки... Где ж та комиссия, которая должна была...

— Ничего я не знаю, — отрезал он очень холодно и сухо. — Общее положение сейчас обострилось и резко ухудшилось, — протянул он со зловещей таинственностью, — противник прорвал наш наступающий фронт.

— Прорван фронт?! — разом вскрикнули мы и мигом замерли.

— Из-за вас!.. — язвительно бросил Яглонский, брезгливо метнув на нас злобный взгляд.

— Вот письмо, — робко протянул я ему конверт. — Это жене. Я успокаиваю ее сообщением, где я, и прошу меня навестить. Оно нарочно не запечатано, вы проверите. Может быть, вы затем опустите его?..

Сердитым рывком он взял письмо.

— Там посмотрим. — Крутой поворот, и мы вышли следом за ним. — На Фурштадтскую 40! — сказал он шоферу, сажая нас в автомобиль. — Ты, Стрижак, довезешь их и сдашь там Наджарову под расписку. Конвой вам, конечно, не нужен? — ухмыльнулся он покровительственно и сурово. — Трогай!..

Нет, это не была казенная, казарменная гауптвахта. Это был благоустроенный дом с барским парадным на улицу. Юркий кругленький прапорщик, иссиня бритый, с ленивыми жестами матерого кавказца и плутовскими масляными глазами, принял нас от Стрижака и повел по лестнице на третий этаж. Там, на площадке, устланной мягким ковром, стоял часовой-преображенец. Прапорщик вошел в коридор и толкнул ногой дверь в первую комнату.

— Пажалте! — подчеркнуто хрипнул он нам со спесивой насмешкой. — Патэснитесь, гаспада афицеры! — надменно кивнул он обитателям комнаты. — Высыледствие прамелкнувших пэрэд вами сабытий, вынуждэн врэменно вас уплатнить. Матрацы бэрыте вон из угла, — бросил он нам высокомерно, — бэлья для вас нами нэ прыпасено, а кравать ымеется только адна. Как хатыте, так ее и дэлите. Кто старший по комнате? Сматрыте за ными в оба! — он вышел, спесиво хлопнув за собой дверь.

— Большевики... — злобно зашипела вся комната. Все стены ее были заставлены рядами кроватей, чистенько прибранных, с беленькими пуховыми подушками и мягкими шерстяными одеялами. На кроватях сидели молодые морские офицеры. Темносиние плотные кителя резко подчеркивали розоватую пухлость их гладко выбритых щек. Отсутствие погон на плечах указывало, что это кронштадтцы.

Мы в нерешительности остановились посреди комнаты возле большого стола, ища глазами место, где можно было бы расположиться. Но, увы, кровати были все заняты и людьми и вещами, и расставлены так тесно, что между ними оставались только узенькие проходы.

— Большевики? — с издевкою в голосе спросил нас сухой сутулый мичман, кособоко поднявшись с постели и сверля шильями налитых ненавистью зеленых глаз.

— Нет, я — эсер, — с каким-то злобным смирением ответил Жендзян, застенчиво переступив с ноги на ногу. — Однако где же это нам можно будет приткнуться? — вздохнул он, оглядывая кровати.

— Видали этих молодчиков! — раздраженно обронил мичман, и желтое костлявое его лицо вмиг потемнело от злобы, — устроили вместе со своим Лениным тарарам и стрельбу на весь Питер, а когда их теперь хватают за шиворот, они пробуют корчить из себя невинных эсеров.

— Виновные мы или невинные, то разберет комиссия, — невозмутимо обронил Жендзян, — а раз я эсер, значит — эсер. Которая же здесь койка у вас свободна?

— Вон та. Сегодня одного выпустили, — нехотя мотнул головой один из мичманов на соседнюю с ним кровать и убрал с нее свой саквояжик.

— Сногсшибательно! — не унимался худой желтый мичман. — Эсеры эсеров пошли хватать... Ну, а вы тоже теперь, конечно, эсер, любезнейший подпоручик? — с ненавистью вонзил он в меня колючий свой взгляд.

— Нет, я... я — меньшевик, — буркнул я через силу, запнувшись, и покраснел от стыда и досады.

— Слышали вы? Меньшевик! — глумливо протянул мичман, дурашливо повертываясь на каблуке. — Видали вы этакий маскарад, господа? — гневно кивнул он своим сотоварищам. — А нам, милые субчики, — круто повернулся он снова ко мне, — нам в высшей степени наплевать, эсеры вы или меньшевики. Вы — социалистическая сволочь. Вот вы кто! Арестовывайте сейчас друг дружку на-славу. Перегрызайте горло один другому. Режьте друг друга. Жидовскому вашему бедламу все равно будет очень скоро конец. Мы, законные господа всей страны, придем неминуемо к власти снова, и вот тогда!.. — он стригнул серым глазом и гневно взмахнул жилистым кулаком, беспомощно захлебнувшись в предвкушенном восторге чаемых своих побед.

— Брось, Андреев, — конфузливо поморщился из угла смуглый стриженый мичман. — Надоели твои декламации, — сверкнул он ровным оскалом белых зубов. — Вот когда нас освободят, тогда и размахивай сколько влезет руками. А пока...

— Что — пока?! — вскинулся на него позеленевший от озлобления Андреев. — Если эту большевистскую сволочь, которая так издевалась над нами в Кронштадте, которая нас гноила в сырых казематах, которая готова была живьем нас сожрать... если эту сволочь теперь зачем-то, видите ли, суют к нам, выходит теперь — и слова против нее сказать здесь не моги?!.

Сидевшие на своих кроватях офицеры пытливо разглядывали тем временем нас, пуская дым папирос и молчаливо переговариваясь меж собой понимающими полувзглядами. Наше присутствие их несомненно стесняло.

— А мне где прикажете расположиться? — протянул я с напускною развязностью, робко оглядываясь по сторонам.

— Берите вон у двери тюфяк, — покровительственно осклабился все тот же смуглый мичман из угла, — да и кладите его меж кроватями в любом месте. На день, разумеется, придется вам его убирать.

Взяв тюфяк у дверей и свернув его, я направился к той кровати возле окна, на которой сумрачно и тяжелодумно восседал какой-то круглоголовый, гладко остриженный белесый армейский капитан-артиллерист. Итти к Жендзяну не захотелось: там пугал меня сумасбродный мичман Андреев. Отрекомендовавшись артиллерийскому капитану, я попросил разрешения лечь на ночь на полу возле него.

цам Петрограда. Революция задушена в самом сердце окончательно и бесповоротно. А на фронте?.. Бегущее стадо обезумевших от бесконечного ужаса наших темных солдат и грозно прущие на нас тучи железных колонн, преданных кайзеру социал-демократов, знающих, как надо сражаться, чтоб иметь право на жирные горы сосисок, кисейные занавески и пианино в углу. Так, значит, этот фарфоровый изверг цинично прав?! Мечты о всемирном братстве рабочих — пустые дурацкие сказки, пущенные в оборот хитрым врагом?!. Что мне делать?» — Меня затрясло всего, как в лихорадке. Все горькие переживания последних дней вдруг разом хлынули на меня.

— Слушай, этого еще нехватало, — с неожиданною тревогой шепчет Жендзян, незаметно нагнувшись. Он тычет меня локтем в бок, подсовывая мне угол своей газеты. — Ты смотри-ка, о нас уже все пропечатано! Будто мы подняли там восстание, — дрожит его охрипший голос. — И даже приказ наш в выдержках приведен. А как это все здесь разрисовано! Будто бы мы хотели перестрелять весь Исполком...

— Нна-на-на! — неожиданно вскакивает Некрасов, изумленно впиваясь глазами в свою газету. — Вот те на! Вон оно что!.. Как ваша фамилия, подпоручик? — бешено поворачивается он сразу ко мне. И все с враждебною настороженностью взглядывают на меня.

Сухим, сдавленным голосом я называю себя.

— Так!.. — яростно вспыхивает он. — А ваша, конечно, Жендзян? — с неукротимою ненавистью глядит он на него. — Хорош, нечего сказать, «эсер»!.. Нате, читайте, — небрежным, заносчивым жестом кидает он свою газету на соседнюю кровать в ответ на обращенные к нему с вопросом взгляды.

Как стадо голодных собак, все накинулись на газету. Чтение идет беглой, урчащею скороговоркой. И разом все поднимаются, красные от озлобления.

— Так вот вы кто?! — хором рычат они, впиваясь в нас мутным взглядом.

— «Невинные птички»! — сатанински прищуривается фарфоровый лейтенант.

Жендзян, неловко поежась, встает, весь побледнев, и легким шагом травимого зверя молча отходит к стене. Я остаюсь сидеть один, подавленный и разбитый. Никаких мыслей больше нет в голове.

— Так вот, оказывается, кто поднимал на восстание весь ораниенбаумский гарнизон! — шипит, кровожадно подергиваясь губами, Андреев и вкрадчиво приближается прямо ко мне. — А еще корчил здесь из себя меньшевика! — вдруг взрывается он гневным криком.

— Нож в спину армии он всадил! — ледяным, отточенным голосом врезается лейтенант.

— Это еще суд рассудит, — поднимаюсь я робко со стула и пячусь к стене, — поднимал я восстание или его останавливал.

— Молчать!! — в сумасшедшем неистовстве подпрыгивает Андреев. — Какой тут тебе еще суд?! Раздавим сейчас здесь тебя, как сса-баку! — И он остервенелым прыжком кидается на меня.

Его пальцы костяной хваткой уже стискивают мое горло. Я шатаюсь. Острая, дикая ненависть ко всем этим гадинам огнем вспыхивает во мне. Мои разъяренные руки хватают Андреева за лицо. Скрюченные злобою пальцы мои царапают ему рот, неистово лезут в глаза. Мы оба летим. Удар затылком о стол на миг оглушает меня, но в озверенья я не чувствую боли.

— Палачи! — кричу я с яростью. — Это вы — изменники, палачи! Это вы топите, сволочи, наши честные броненосцы!

Мы катаемся по полу, урча и хрипя, вцепившись друг другу до крови, словно клещи, совсем обезумев от гнева и боли. Я чувствую, что сдаю. Враг сильнее. Мне кажется, что горло мое ломается и плывет. Глаза заволакиваются туманом. Не отпуская своих скрюченных пальцев от шеи врага, я судорожно дергаюсь и немею.

Тогда я слышу кругом отчаянный, взбешенный крик. Мои руки кто-то сильно вывертывает, и вслед за этим мое горло освобождается от смертельных клещей. Только тогда я чувствую острую, нестерпимую боль в горле, тупую, горячую боль в затылке и теряю сознание.

Очнулся я на тюфяке Миллера возле стены. Рядом на стуле сидел, склонившись надо мною, Жендзян и нервно похрустывал пальцами. Должно быть, это было тут же вскоре, потому что возбужденно-бранчливый разговор в комнате все еще не ослабевал.

— Нельзя так, — горячился, упорно убеждая кого-то, Некрасов. — Ведь все же здесь люди. Мы не звери, а люди! — надсаживался он. — Ну, убьете его, а что потом?

— А убьем, так еще такая заваруха может подняться, — степенно рассуждал капитан Альмквист, — что снова сможем увидеть Кронштадт. Еще неизвестно, как все обернется. Не надобно забывать, что мы здесь все еще в заключении.

— Руки пачкать не стоит об эту мразь, — сквозь зубы процедил лейтенант. — Все равно никуда не уйдет. От петли иль пули — теперь не отвертится.

Андреев лежал плашмя на своей постели с мокрым компрессом на рыжей клочкастой голове. Его лицо, желтое и худое, походило темными своими пятнами на хлебный колос, сгнивающий на корню.

— А я где ж лягу сегодня спать? — гундосил Миллер, держа в руках надувную свою подушку и сверкая клейким лаком своих

сапог и пробора. — Ведь он всю постель мне своею кровищей испачкал. Ну, хорошо, так я лягу теперь на его постель. Пусть он там теперь и остается.

Жендзян сидел молча, холодным задумчивым взглядом уставясь в окно. Там, на улице, плыл июль: в цоканьи проезжавших извозчичьих кляч, в гудках проносящихся изредка автомобилей, в криках разносчиков и воркованьи голубя, цепко гуляющего по карнизу. Мой затылок был налит свинцом, и через горло нельзя было глотать без тупой, едкой боли. Я чувствовал и понимал, что отныне вся эта здешняя свора больше уже не заденет меня. Однако сознание это не приносило мне ни малейшего внутреннего облегчения. «Пережить полный разгром всего великого честного дела?! Зачем дальше жить? Почему они сейчас не доканали меня? Ведь все равно — дальше тупая, неразумно заслуженная мною смерть. Большевиков больше нет, меньшевики — мразь и сволочь, и Троцкий — пустой и глупый фразер. И вообще — ничего впереди нет. Жить больше не стоит; да, жить больше не стоит!..» До этого я чувствовал здесь себя каким-то заброшенным и одиноким. Мысль, что где-то на воле остались соратники, что ненависть и клевета вокруг нас все же рассеются, что мы выйдем в непродолжительном времени на свободу, — все это сильно окрыляло меня. И присутствие со мной Жендзяна ослабляло тоску. Но теперь?.. «Зачем он торчит на стуле здесь надо мною, задумчиво холодный, не понимающий вокруг ничего и чужой?! Как избавиться сейчас от него, и вообще от всех людей, от всего презренного, пошлого мира?!»

Мне мучительно захотелось полнейшего, ненарушимого, вечного одиночества. Захотелось с безумною силой исчезнуть с этой пакостной, гиблой, дурацкой планеты, где миллионы людей прозябают и мрут, как слепые марионетки, в руках циничной и ненасытной судьбы.

И с жалким брезгливым презрением обернулся тогда я на весь свой жизненный пройденный путь. «Неужели все предыдущее было жестокой ошибкой?» — безмолвно спрашивал я сам себя с замиранием сердца. И отвечал: «Да, ошибкой. Ни одной минуты из пережитого нельзя уже больше вернуть, чтоб прожить как-то иначе, по-правильному, совсем по-иному. Но как прожить? И ради чего?! Чтобы в хриплом остервенении душить повседневно себе подобных ради сосисок, занавесочек и пианино? Душить безжалостно тех, кто слабее, и в свою очередь быть неизменно задушенным потом теми, кто с фарфоровым блеском в глазах обладает разбойничьим правом на жизнь?!»

Перестав думать о жизни, я нашел чрезвычайно забавным, что я только что перед этим так волновался последними событиями: разгромом партии, прорывом фронта, жестокостью собрав-

шихся здесь палачей. Мне даже стало удивительно как-то легко и беззаботно, что отныне я больше жить не хочу и не буду. И, пожалуй, одна только мысль занимала меня: «Как бы все это скорее осуществить?»

Солдаты внесли и поставили на стол медный бак с супом, громыхнули грудой тарелок, рассыпали по столу скрежещущий ворох ложек, вилок, ножей. Офицеры, захватив с собой стулья, сосредоточенно потянулись к столу.

— Может быть, встанешь? — холодно протянул мне свою волосатую руку Жендзян.

— Нет, — улыбнулся я приветливо и спокойно, — нет, не встану. Есть не буду и не хочу.

— Что же это такое за обед, ну, какой же это обед?! — суетился и плакался за всех Миллер.

Он вообще стал нетерпимо назойлив, как овод в часы полдневного отдыха на сенокосе. Да и прежнее беззаботное жужжание офицерья теперь вновь загудело за столом. Андреев поднялся с постели при помощи Альмквиста, с легким стоном, и, как оплеванный, сел за стол против Жендзяна. Последнего словно никто и незамечал.

Я перевернулся лицом к стене и постарался было заснуть, но это мне никак не удавалось. Запахи вываренных макарон, петрушки и сельдерея щекотали мое обоняние своей ненужностью и суетой. Их сменило потом сладковатое луковое духанье принесенных жареных мясных котлет. Вызволенных из тюрем Кронштадта черносотенных морских офицеров «социалист» Керенский кормил здесь сытно и вкусно.

В конце концов я все же уснул и когда снова открыл глаза, на занавесках уже красновато желтело вечернее солнце. В комнате было душно и сухо, как в духовой печи. Над объедками, оставшимися кое-где на столе, кружились весело мухи. Офицеры попрежнему занимались шопотливыми разговорами. Только в углу на кровати Некрасова азартно резались в очко. Карты шлепались и взлетали с ухарством и задором. Больше всех суетился и здесь, разумеется, Миллер, но его почему-то не принимали в игру. Лейтенант аккуратно и сосредоточенно прочищал никелированным инструментиком свою трубку. Альмквист спал, лежал и Андреев. Жендзян сидел с книгой у отворенной двери балкона.

И вчерашний день и сегодняшнее кошмарное утро вспомнились тотчас же так, точно они случились со мною лет десять тому назад, не меньше. Правда, горло еще саднило невыносимо, и шеей двинуть было нельзя. Но, однако, я встал и прошелся к балкону. Я смело теперь заглянул в дверь, и никто не сказал мне на это ни слова, лишь с любопытством все покосились на меня.

Улица была в эти часы тиха и пустынна. Одинокие пешеходы гулко нарушали вечернее ее спокойствие, отчеканивая шаги по

плитам панели. Большие высокие каменные дома сплошною белой стеной бежали вдаль, чтоб уткнуться там в пыльную зелень Таврического парка. Напротив нас в палисаднике хохлилась мрачная бурая церковка, похожая здесь на догнивающий старый гриб, затерянный меж домами. Возле нее прикурнула поперечная уличка, упирающаяся в высокое здание белой казармы, где помещался 6-й Саперный полк. Это здесь в буйные июльские дни громогласно гремели солдатские глотки: «Вылетай, вылетай, вылетай!» А налево за церковкой на углу распростерся большой серый дом. С его окна бритый выутюженный господинчик в крахмальной сорочке и серых брючках стрелял тогда через форточку в нас.

Я гляжу вниз, на панель. Под нами крыльцо. Возле него стоит часовой. Другой безмолвно прогуливается перед домом. То ль сторожат, то ль охраняют. «А что, если спрыгнуть отсюда с третьего этажа прямо к нему на штык? Пожалуй, не угодишь, изувечишься, зря будешь мучиться и страдать». Возвращаюсь в комнату и снова ложусь на тюфяк, отвернувшись к стене и стараясь сосредоточиться в думах о смерти. Терпеливо жду, когда все наконец-то угомонятся и лягут спать. «Тогда надо будет покончить с собой». Но сегодня они, как нарочно, так долго разглагольствуют меж собой и нескончаемо суетятся. Когда наконец открывают свет, я встаю, чтобы взять одеяло со своей прежней постели. Но Миллер прыжком подскакивает ко мне и выхватывает одеяло из рук.

— Одеяло это принадлежит данной постели! — нахально кричит он. — Не сметь его трогать! Если вы перекочевали на мой тюфяк, так и спите там себе без одеяла.

— Одеяло это с моей постели, — хмуро отзывается Жендзян.— Это я ему его дал. Вы не смеете отбирать.

— Отбирай! — рявкают в один голос лейтенант и Андреев.— Раз он отдал, значит уже не его.

Миллер нагло рвет одеяло из моих рук. Я отпускаю. Опять молча ложусь на тюфяк и терпеливо погружаюсь в раздумье.

Все те путаные и надоедливые мысли, которые родились во мне за последнее время, приобрели теперь мучительную яркость и остроту. Я вдруг ясно почувствовал, как обманывал себя в своей прежней жизни, и все прошлые мои колебания встали вдруг теперь передо мною в совершенно новом виде. Я вдруг ясно припомнил, как настойчиво и упрямо воздействовал на тактику партии в сторону осмотрительности и осторожности тишайший Каменев, предостерегая нас от социалистических заскоков Ленина. «Как жаль, что партия за Каменевым не пошла. Тогда был бы установлен общий фронт социалистических партий. Советами можно было б при случае и пожертвовать. Зато партия была бы цела, не было бы разгрома и не было теперешней катастрофы на фронте. Мы б не пустили к себе воинствующих подлецов, кайзерских социал-демо-

кратов, прущих к нам сюда за хлебом, сосисками и тряпьем. Мы сами пошли бы тогда на Берлин пошарить кое-что и у них в шкафах и карманах... Пошарить в шкафах и карманах?!. Фу, какой позор!.. Нет, лучше — смерть».

«Досадно вот, что оставил дома браунинг. Чем буду кончать?» Я оглядываю комнату: нет ли крючьев? Петлю можно сделать из обрывков белья. Но крючьев нет...

Офицеры один за другим раздеваются и ложатся спать. Сейчас погасят свет. Я иду тихонько к Жендзяну и прошу у него перочинный нож. Жендзян глядит на меня дремучим, испытующим взглядом.

— Зачем тебе нож?

— Чинить карандаш.

Он дает. Я раскрываю его и возвращаюсь к себе. Пробую его на ощупь, он достаточно длинен и остер. «Надо только целиться повернсй, чтобы всадить не в ребро, а прямехонько в сердце». Ложусь на бок лицом к стене и поднимаю до горла рубашку. «Сейчас погасят свет. Итак?..»

Но кто-то властно хватает внезапно меня за руки.

— Отдай нож! — хрипит Жендзян испуганно в ухо. — Я тебе говорю, отдай нож! Что ты задумал? Что ты шатаешься сейчас, как маятник какой?

Он свирепо вырывает свой нож из моих стиснутых пальцев. «Что делать? Какой позор!» Кое-кто из офицеров эту сцену заметил, и со злорадствующим любопытством смотрит на меня. Горечь бессильной обиды сжимает горло. Я становлюсь на карачки и с размаху бью головой прямо в стену. «Почему она не разлетелась? И так больно!» Я делаю попытку размахнуться затылком еще раз. Грубый толчок бьет мне в спину. Я падаю на тюфяк. Надо мною снова Жендзян.

— Перестань безобразить! — шипит он растерянно и сердито.— Перестань, говорю я тебе. Куда ты спешишь? Надо будет, так и без твоей просьбы тебя расстреляют.

Некрасов гасит свет. Жендзян остается рядом со мной.

— Ляг и спи, — успокаивает он меня, — да подвинься немного. Я тебя сейчас не оставлю.

Мучительный стыд от ужаснейшей боли в голове и неудавшейся попытки найти смертельное успокоение так нестерпимо сжигают меня, что я не могу больше сдержаться. Чтобы не стонать, я вгрызаюсь в лежащую под головой гимнастерку зубами и бьюсь над нею всем телом, как зарезанный гусь. Совсем обессилев, я незаметно уснул.

Когда я проснулся, было светло, и Жендзяна не было возле меня. Вероятно, он пошел умываться. Стояло серое утро, офицеры вставали. Голова была тяжела, словно налили ее свинцом, а в гор-

ле резало, как от застрявшей огромнейшей кости. Пошатываясь, я поднялся, чтобы итти умываться. В коридоре, проходя мимо зеркала, я машинально заметил свое качающееся изображение и не узнал себя. На меня глянула землистая серость лица, точно подернутого паутиной.

Возвратясь с умыванья, я молча сел на стул у стены, неподалеку от двери балкона, и стал безучастно смотреть на тусклое свинцовое небо. Жендзян и офицеры снова принесли газеты, снова пьют чай, Миллер снова капает из своей банки себе в кружку и на сапоги, бестолковая и циничная болтовня продолжается... Но какое дело до всего этого мне? Под ложечкой у меня сосет, а на сердце так горько, что ни пить, ни есть я совсем не хочу.

И не интересно мне слушать это злорадство окружающих по поводу газетных новостей.

— Эге, — кричит Мышь, — это здорово! Господа, радуйтесь! Смертная казнь для военнослужащих восстановлена! Вот постановление Временного правительства. Подписал сам Керенский, как министр председатель. По телеграфу вводятся всюду военно-революционные полевые суды.

— Вот видите, я вам говорил? — торжествующе подкалывает лейтенанта Некрасов. — А вы все твердили, что Керенский шляпа.

Лейтенант лежит с брезгливой гримасой и упорно молчит. Он углубляется в газету.

— Вы лучше прочтите, какой ужас творится сейчас под Тарнополем, — отрезает он желчно. — Ведь вся наша вшивая сволочь бежит! Позорно бежит, даже не видя врага, а только пугая друг друга. А враг, умный, образованный враг, с неудержимою планомерностью и быстротой занимает своими железными полчищами беспрепятственно открывшееся перед ним пространство. Докуда теперь он дойдет?! Погибло все! Все погибло!

Лейтенант вскакивает и в бешенстве рвет газету свою в клочки.

— Смертная казнь?! Расстрелы?!. Четвертовать всю большевистскую сволочь живьем, так и этого будет мало!

— Все образуется, — уравновешенно успокаивает его Альмквист. — Все придет в свою норму.

— Конечно же, все образуется, — поддакивает Миллер, — и каждому воздастся по заслугам. А что за себя, так я спокоен.

— Молчи, трус! — цыкает на него лейтенант. — Все вы шкурники здесь и трусы! Поокопались в тылу и корчите из себя большевиков. Изменники вы, шпионы и трусы!

— Ну вы, полегче, — ворчит себе под нос Миллер.

«Я трус? — думаю я про себя. — Неужели я трус? О нет, я бы показал им себя, если б очутился на фронте. Это они все здесь — окопавшиеся стервецы, которые орали о патриотизме, а сами отсиживались от боев вместо действующего флота в замерзшем Крон-

штадте, пока р волюционные матросы не выковыряли их там из теплых щелей».

Я сижу неподвижно на стуле и задумчиво смотрю поверх крыш. Они хмуро блестят от дождя. Я пытаюсь теперь взять себя в руки, сосредоточиться на чем-нибудь определенном, практически необходимом. Однако мысли мои сбиваются и путаются, глаза застилает туман, и странные образы, обрывки воспоминаний и смутные ощущения воображаемого и действительного клубятся передо мною беззвучным, бесплотным, беспрестанно сменяющимся роем. Мне чудится, что это не мокрые крыши передо мною, а бесконечная тусклая, жесткая и сырая пустыня, и я брошен навеки в эту пустыню совершенно один.

Неожиданно появляется комендант. Чопорный, гладкий, он спесиво потряхивает на руке своей золотою браслеткой. Он приказывает Миллеру собрать свои вещи и сойти с ним вниз. Там ждет его мать. Она принесла предписание: отныне он на свободе.

— Что я вам говорил! — козлом скачет Миллер и уже по рублю двадцать копеек спешно тут же распродает все оставшиеся у него банки.

Он уходит, провожаемый завистливым ворчанием других.

Опять вносят обед. Разливается борщ. Голод начинает давать себя чувствовать. Сев на место Миллера, я съедаю полтарелки, но глотать больно, горло саднит, и я вновь возвращаюсь на свое одинокое место у двери балкона.

Внезапно меня окликают. В дверях стоит унтер-офицер, преображенец, караульный начальник. Я должен спуститься сейчас в приемную комнату на втором этаже. Ко мне пришли на свидание.

Я стремительно вскакиваю сам не свой. Кто пришел, с какими вестями пришел? Мои щеки мгновенно краснеют и нестерпимо пылают огнем. Не помню, как сбежал вниз, обогнав унтер-офицера. Угадкою сворачиваю коридором в большую комнату налево. Голубые обои, вдоль стен ряды стульев. С одного из них возле двери поднимается моя жена.

При виде меня она судорожно вся трясется, лицо ее докрасна набухает, слезинки прыгают неудержимо, и, стараясь сдерживать всхлипы рыданий, зажав рот платком, она беспомощно опускается снова на стул. Я бережно увожу ее в уголок, в глубь комнаты к окнам, и участливо сажусь рядом с ней. Приветливо глажу ей руки.

— Ну, будет, будет... Чего ж ты разрюмилась? — пытаюсь я пошутить. — Перестань. Успокойся. Видишь, я здоров, невредим. Устроился здесь прекрасно. Скоро меня освободят.

— «Освободят», — с горькой усмешкой проглатывает она всхлип. — Ведь это ужас, ужжжас, — жилится она в спазме горького плача, — ужжас, что везде происходит!

— Но что ж происходит?

— Оо-о, жжжить больше нельзя! — и она снова никнет лицом в руки, а плечи ее содрогаются ходуном от глухого, сдавленного рыдания.

Я нежно глажу ее виски, крепко тискаю руки, стараюсь быть внешне веселым и беззаботным, шутливо прошу ее обо всем рассказать. Должно быть, это немного помогает. Всхлипывания становятся все реже и реже, затем жена с усилием вытирает глаза. Она смотрит на меня с горчайшей привязанностью и любовью. Срывающимся, сдавленным голосом она торопливо рассказывает мне о своих злоключениях.

Наутро после ареста, не сомкнув всю ночь глаз, она отправилась в Ораниенбаум прямо к коменданту Громыке. Прапорщик был жестко холоден, но учтив. «Назад не вернешь. Ваш муж, должно быть, уже расстрелян». — «Как —расстрелян?..» Бросила все и побежала обратно, чтоб ехать в Питер. Но дома скандал. Хозяйка квартиры, старуха-фрейлина, урожденная фон-Шпулькопф, выскочила в палисадник и сзывает народ бить и громить «большевистское семя шпионов». Сбежались местные кумушки и торговцы. В ребят моих полетели камни. Они со страху забились под крыльцо. Кто-то палкою запустил к нам в окно. Старуха визжит и плюется. Только кто-то из солдат заступился и пригрозил старухе помять ее горб, если она не уймется. — Поехала в Питер. Торкнулась в комендантское управление. «Нет, такого здесь нет». Пошла в Кресты. И там не оказалось. «Так дайте же мне хотя бы его труп!» Вернулась ночью домой. Что пережила, трудно представить. Кой-как успокаивала ребят. Старуха с утра начала охальничать и придираться. Подняла крик, чтобы тотчас же мы съезжали, хотя заплачено было ей за три месяца вперед. «Шпионские деньги назад не возвращаю». Так разозлила она меня, что я придавила ее в сенях дверью. Заевала, что будто бы ее режу и хочу застрелить. Снова сбежался народ. Выручили снова солдаты, — такие славные есть из твоей команды. «Чего, — говорят, — он не закричал нам, как ехал. Мы бы его отбили». Просила их покараулить ребят, а сама снова сюда. Кинулась в Таврический дворец. «Да, привозили, — ответили, — сюда. Но куда его дальше определили, не имеем права сказать. За ним важное государственное преступление. Можете успокоиться: вы теперь, так сказать, уже одной ногою его вдова, — нагло смеется офицерье, — вы лучше, дескать, расскажите, сколько немецких денежек он вам передавал?» Плюнула я им в бестыжие зенки. Так ни с чем и вернулась. А тут получила твое письмо. Мигом снова в Таврический. Нашла прапорщика Яглонского. Он все рассказал. Тогда я сюда. Не пускают. «Нужен-де пропуск от прокурора палаты». Кинулась быстро туда — уже поздно. «Прием до двух». Сегодня забралась

туда спозаранку. Дождалась. Принял. Грузный, гладкий, плешивый. Фамилия его — Каринский. Сначала казался учтивым. Но как только услышал твою фамилию, позеленел. «Ни в коем случае! — закричал. — Он величайший преступник. Такому не будет ни-малейшей пощады! И никаких свиданий до самого его расстрела!» Я разрыдалась. Он вытолкал в дверь и пнул меня ногой. Что тут делать? Сошла я вниз, села рядом с швейцаром и безудержно плачу. Идет невзрачный такой, тихонькой молодой человек. «О чем, — говорит, — женщина, плачете?» Я рассказала. «Хорошо, — говорит, — пойдемте за мной. Дам вам пропуск на все время. Только прокурору вы об этом не говорите и не попадайтесь больше ему на глаза». Привел в какую-то комнату, где машинистки. Велел нащелкать. Тут же подписал и выдал мне. И вот я здесь... Эх, Шура, Шура! Нет, не жалеешь ты меня. Не любишь семью. Если б жалел и любил, не довел бы всех нас до этаких мук. Ну вот, тебя расстреляют, куда я теперь с детьми денусь? За июль ты жалованье не успел получить. Я спросила Громыку. Наотрез отказал. «Арестантам жалованье прекращается». Чем же жить? Потом, надо куда-то теперь переехать. Оставаться у старухи нельзя. Эта стерва устроит погром. Но куда переехать? С каким паспортом? Ведь если узнают... Твоя фамилия теперь там словно жупел. «Ах, — говорят, — это известный шпион?» И где деньги, чтоб переехать?

Я понуро раскачиваюсь на стуле, как можно крепче сдавив свои скулы, чтоб ни единым движением не выдать того, что происходит во мне.

— Ах, какие все ложные страхи и пустяки, — говорю я. — Тебя только зря напугали. Никто не расстреливает меня и расстреливать не за что.

— Но вот смертная казнь...

— Меня это совсем не касается.

— Но в газетах сказано сегодня, что даже за агитацию против войны и за подстрекательство к восстаниям...

— За агитацию?.. За подстрекательство?.. — растерянно бормочу я. — Чепуха! Я ни в чем не виновен!

В комнате одна за другой появляются пышные дамы. Должно быть, настал час свиданий. Они с сумочками и со свертками. Рассаживаются, степенно поджидая своих мужей.

— Денег нет? — вполголоса говорю я жене. — Продай ковер. А затем, я ведь скоро освобожусь. Тогда получу сразу жалованье.

— Милый Шура! Скажи мне, я никому не расскажу, — шепчет она, нагнувшись ко мне. — А ты, ты... не шпион?

— Что?! — откидываюсь я опрометью. — Что ты мелешь?!

«И это — моя жена, моя подруга, смогла... так во мне усомниться?!» — думаю я, и кровь снова кидается мне в лицо, и я весь дрожу, как в ознобе.

— Ну, прости, — вновь беспомощно плачет она, прижавшись к моему плечу. — Но об этом теперь мне все уши кругом прожужжали. Где ж мне все знать?.. О, милый, молю тебя, заклинаю: освободись! Ведь мы ж без тебя там пропали. А тебя ведь все знают. Ты сколько работал для революции! Тебя все так жалеют! Мне Яглонский много хорошего о тебе говорил. Разве он не мог бы теперь что-нибудь такое для тебя устроить?..

— Ну, что там — Яглонский! — морщусь я. — Здесь люди нужны посолидней... Да, хорошо... Я сейчас напишу несколько писем. И попрошу тебя непременно сегодня же сдать их заказными на почте. Ты меня здесь подождешь?

Возле дам уже сидят их мужья. К пухлой черной, седеющей женщине в шали сутуло подходит мрачный бородатый старик в темных очках и сюртуке. Он здоровается за руку и принимает от нее бутылку с молоком. Благодарно что-то бормочет.

Молоденькая вертлявая блондинка играет глазками рядом с Некрасовым. Тот задорно в ответ скалит зубы.

Какая-то блеклая дамочка, с подведенными голубыми бровями и с глазами, сладкими, как леденцы, лукаво сощурясь, умильно что-то нашептывает рыжему толстому, уже знакомому мне жандармскому генералу. Комиссаров склонился над ней и сопит, расправляя клочья своей бороды. Когда я прохожу, он кивает мне через очки. Дамочка, бросив косой взгляд на меня, мигом взбивает кокетливо челку своими тонкими пальцами, так густо унизанными плитками изумрудов и солитеров, что они кажутся замороженными в грудах разноцветного толченого льда.

Мне омерзительна вся эта свора. Я достаю наверху у себя почтовую бумагу и конверты и быстро сбегаю вниз. Присев у ломберного стола, неподалеку от жены, макаю перо в чернильницу, в которой сонно ползают мокрые мухи, и только тогда начинаю думать: кому же писать и что писать?

Я перебираю в памяти всех друзей и знакомых, которые мне казались субъективно по-своему честными и которые должны иметь сейчас некоторый вес, поскольку не были большевиками. «Конечно, Данчичу, — думаю сразу же я. — Этот знает мою честность и революционность еще по Февралю. Сам он честен. А как самоотверженно и прямолинейно заступился он за меня в моем инциденте с Каринским! Да, этому я напишу. Он секретарь министра юстиции. Он поможет...» «А дальше кто?» — спрашиваю я сам себя. И перед глазами невольно встает скромная согнутая фигура долговязого поручика Петрова. Узкие втянутые щеки, русая челка волос, зачесанная направо. «Фронтовик, заслужил офицерского Георгия. Брал в Феврале во главе восставших солдат арсенал. Прям и честен. Когда Любарский пытался в апреле пустить про меня сплетни, какой он дал ему резкий отпор! Сейчас он у Керен-

ского адъютантом. Взглядами он, конечно, мне противник, но он поможет». Я тут же приступаю спешно к письму. «Но что писать? Как писать?..»

«Прежде всего надо их честно уверить, что я ни в коем случае не шпион, и не могу быть шпионом. Я — честный революционер. Обо всем этом им надо напомнить». «Но как же, — ответят они, — а твой большевизм?» «Ведь, конечно, они знают те ужасные тайные документы, о которых так уверенно и зловеще рассказывал мне Яглонский. Для них и Зиновьев и Ленин — несомненно шпионы. Пусть это ложь! Все равно, партии уже больше не существует. Всюду полнейший разгром! Надо сейчас же решительно откреститься от них. Надо выйти сначала во что б то ни стало на волю и уж тогда оглядеться». Я мокаю перо и пишу гнусные строки:

«... я стыжусь и краснею, что верил старым вождям... был проповедником этих идей в массе, проповедником искренним и убежденным...»

Гул тарнопольского прорыва как будто слышится мне издалека. Я вижу толпы трусливо бегущих наших солдат. Слышу железную поступь социал-демократических густых и глубоких немецких шеренг. Снова макаю перо и пишу:

«Никогда я не думал и поверить не мог, чтобы эти идеи были только ловко подрумяненною игрушкой в руках проклятого врага родины нашей, Вильгельма... Виноват, что был большевиком, виноват, что бессознательно был, хотя и слабым, но все же слепым орудием в руках лиц, которые запятнали себя изменою родине... Генералы скрылись, остались стрелочники...»

«Эх ты, подлец, что ты пишешь? Ты уверен в той мерзости, что ты сейчас здесь нацарапал?» — останавливает мою руку голос совести. И я холодею. «Нет, не уверен. Далеко не уверен. Совсем даже во всю эту пакость не верю. Ведь Ленин вчера в письме своем в «Новой жизни» подробно так объяснил...» — «Что ж ты пишешь?» — «А как же иначе освободиться?.. Ведь все равно их сейчас нет, а революция разгромлена бесповоротно... и потом, никто, никогда не узнает. Важно только выйти на волю и уж там оглядеться». — «Держи карман шире! Что ж, по-твоему, они дураки? Так-то они тебя и выпустят!..» — «Конечно, выпустят непременно. Я буду проситься у них на фронт».

Снова макаю перо, сбрасываю с него жирную, намокшую черную муху и пишу:

«О, дайте мне искупить эту вину, дайте право умереть на фронте, защищая родину, честным человеком. Я решил умереть на фронте за родину, чтобы искупить свой грех большевистских идей...»

«Так-то ты их и обманешь! — нагло издевается над моим письмом жестокий трезвый внутренний голос. — Брось всю эту лживую пакость и тотчас же ее порви». — «А как же жена? А дети?..

Ведь они ж без меня пропадут!» — холодею я, и перо вновь трусливо бежит по бумаге:

«Спасите... как только буду освобожден, немедленно же еду в тот же день на фронт... Поймите же, что мое моральное состояние ужасно, что я стою накануне самоубийства!.. («Это их припугнет, а мне и на самом-то деле иначе выход только в самоубийстве».) Я плачу, я реву, я рву на себе волосы. Не о себе, а о своей родине, которой своими непроверенными идеями я причинил столь медвежью услугу. О, разрешите мне исправить вину, или убейте меня сами».

Тут я ставлю точку, переписываю это же письмо и на второй адрес. «Зачем же придумывать новый текст? Этот подействует. Освободят всенепременно. Наплевать, поеду и на фронт. Мало ли большевиков и на фронте! Важно лишь выйти и оглядеться. В неволе ни о чем не узнаешь и не сделаешь ничего». Заклеиваю конверты. «Постойте, а не написать ли еще кому-нибудь? Ну да, конечно. Без содействия Ораниенбаума ни в коем случае не освободят. Но кому бы там написать? Филипповичу? Мерзок и гнусен. Насквозь продажная тварь. Какая выгода для него мне помогать? Но кому же тогда?.. Пигаревичу? Наглая сволочь и клеветник. Этому — ни за что в мире! Быть может, Громыке? Этот сух, жесток и желчен. Твердый враг, но к подлостям не прибегал. Давай-ка напишу и ему. Он бывший семинарист, любит всюду ссылаться на бога. Перепишу вот ему дословно то же письмо да поднатычу ему через строчку по богу. С небесным этаким соусом он проглотит скорее». Дело сделано быстро. Торопливо заклеиваю языком все конверты, надписав на них адреса. Передаю все это жене.

— Ну вот, иди теперь с миром! — настраиваюсь и я на семинарский громыкинский лад. — Да отправь только все эти письма сейчас же. Обо мне больше не беспокойся. После этого-то уже несомненно, что выпустят меня на-днях.

Жена торопливо прикладывает платок к еще мокрым глазам. Дамы из зала, провожаемые мужьями, уже все выходят. Караульный начальник настойчиво требует всех посторонних уйти. Час свидания окончен. Мы нежно прощаемся, и жена тревожно сбегает по лестнице вниз. Я провожаю ее глазами. Исчезла. Теперь я бегом взлетаю к себе и кидаюсь на балкон. Вон она уже идет тротуаром. Гулко стучат ее каблучки. В руках она держит мои покаянные письма. «Какую несусветную чушь и какую отвратительную мерзость я там с отчаяния накатал! Неужели же я не противен после этого сам себе?! Неужели же мне так-таки и не стыдно?!» Порыв отчаяннейшего стыда стискивает мне сердце. «Надо сейчас же и как можно сильнее ее окрикнуть! Надо сейчас же ее остановить! Вернуть проклятые письма. Пока не поздно!» Я хриплю, преодолевая в горле острую спазму. Под ногою тревожно трещит железо.

«Но как же крикнуть?!. Выйдет скандал. Да и кричать отсюда нельзя. Часовой будет стрелять. А она уже вон где! Далеко, далеко... Улица мрачна и пряма. Она быстро уходит по ней на Литейный. Уже давно не слыхать, как стучат ее каблучки. Да, теперь невозвратимо все поздно. Да, теперь — честь погибла...» Жар горячего стыда вновь заливает мои глаза, хотя я дрожу в студеном ознобе, и зуб нервно бьется о зуб. «Какая трусливая гнусность! Как низко и подло сейчас я поступил!»

Вернувшись в комнату, я кидаюсь снова на взъерошенный, неприкрытый тюфяк и зажимаю рот руками, чтобы не завыть.

32. КУНСТКАМЕРА ЦАРСКИХ РЕЛИКВИЙ

Последующие дни не принесли ни малейшего облегчения. О позорнейших письмах стыдно было и вспоминать, хотя где-то в подспудных темницах сознания теплилась притаившаяся наивненькая надежда: «Меня выпустят! Выпустят! Выпустят!» Я насмешливо пожимал плечами в ответ на подобные мысли, а все же время от времени настороженно прислушивался, не подкатит ли к подъезду автомобиль, не стукнет ли властно парадная дверь, не влетит ли к нам в комнату запыхавшийся комендант и, ошалело выкатив масляные глаза, не расшаркнется ль угодливо передо мною, звякнув золотою браслеткой: «Пажалте! За вами приехали! Са свабодой-с!»

Но комендант поднимался к нам в комнату величественно и степенно, с лицом небритым и жеванным от бессонных картежных ночей, и голосом страдальчески изможденным скрипуче произносил: «Гаспадин мичман такой-то! палучен ордер на ваше асвабаждэнье. Сабырите сичас ваши вэщи, пажалте вныз».

И вот, день за днем из комнаты исчезали: то сияющая тихими восторгами Мышь, то какой-либо артиллерийский прапор, то ликующий мичманок, стремительно потряхивающий всем на прощание руки с такою боцманской силой, точно намеревался выдернуть их у всех напрочь.

В остальное время оставшиеся офицеры либо скулили по поводу долгого своего заключения, либо злорадно делились вслух газетными новостями.

— Эге! — зловеще басил мичман Андреев. — Вон на Кирочной в здании Армии и флота было, оказывается, гарнизонное собрание офицеров!..

— Ну и что? — со спесивой ленивцой спрашивал лейтенант.

— Красота! — крякал Андреев. — Наш капштан Журавлев так-таки прямиком там и отчубукнул: «Совдепы разрушили армию, а теперь принялись за промышленность. Когда ж наконец мы их прихлопнем?!»

— Да что вы?! — обрадованно приподнимался лейтенант на локте. — Это — ловко.

— А поручик Юрлов, — продолжает Андреев, — так тот так отмочил: «Мы присягали только правительству, его и будем поддерживать, а совдепы мы знать не хотим! Правительство должно наконец крепко взять всю власть в свои руки, не оглядываясь на шпану, и установить повсеместно железную дисциплину, введя смертную казнь и в тылу и против штафирок».

— Неплохо сказано! — вскидывался лейтенант. — Но ведь это же только слова...

— А капитан Милованов — помните, такой вихрастый был у нас? — так он брякнул там этак, — смаковал выступления Андреев: «В стране полнейший развал и анархия, а Временное правительство — это комбинация из трех пальцев. Нам нужна сейчас настоящая диктатура, военная диктатура!»

— Ого! — возбужденно вскакивал лейтенант, и глаза его по-боевому сверкали.

— В заключение, знаете ли, собрание послало приветственную телеграмму Корнилову. Уррра! — неистово орал после этого Андреев, размахивая на постели газетой. — Бей жидов и всех инородцев!!

Альмквист, не выпуская книги из рук, в мрачном молчании переворачивался на другой бок.

— А вон Союз офицеров из ставки, — уже захлебывался от ликования Андреев, — так тот запалил прямо Керенскому этакую телеграмму: «Требуем от Временного правительства спешного проведения всех мероприятий, предлагаемых генералом Корниловым. За препятствия или промедления члены правительства ответят своею башкой».

— А ну его к чорту, это правительство! Давно уж пора его разогнать, — разжигал лейтенант погасшую свою трубку.

— Ну, это вы зря, — заступался тогда неизменно Некрасов. — Правительство действует теперь очень крепко. Всякие шествия и собрания министр внутренних дел, господин Церетели, строжайше здесь запретил. В Торнео вон арестована сейчас Колонтай, а в Могилеве — прапор Крыленко. Военно-морской прокурор ультиматум предъявил нынче Кронштадту — немедленно выдать сюда Рошаля, Раскольникова и Ремнева.

— Эх, к нам бы сюда этих субчиков! — по обыкновению злобно взрывался Андреев. — Мы бы им здесь показали!..

— Нет, правительство нынче действует хорошо, — убеждал неотступно мичман Некрасов. — А вы это читали? — вдруг восклицал он с захлебом. — Ведь вот подите ж, даже совдеповский ВЦИК их, а и тот теперь берется за ум. В официальном постановлении своем уже обвиняет теперь только большевиков как в открытом

восстании в июльские дни, так и в теперешнем поражении на фронте. Требует строжайшего над ними суда и за мятеж и за получение денег от немцев. Стало быть, это теперь у них там доказано!.. Категорически требует дальше от большевиков немедленной выдачи судебным властям сбежавших Ленина и Зиновьева и открытого осуждения их за это. Надо надеяться, что уж теперь-то этих бобров удастся словить.

— Эх, будь бы я сейчас на свободе, — каждый раз неизменно мечтал вслух лейтенант, прячась в дым своей трубки, — я бы в два счета их сыскал. Уж они б, миленькие, у меня, будьте спокойны, в живой своей шкуре не вырвались!

С гадливостью и презрением краем уха ловил я эту погромную болтовню, и уж когда до омерзения становилось противным все это слушать, я вставал и уходил бродить в коридор. Здесь я слонялся часами без дела с одного конца на другой, сумрачный, растревоженный и убитый. «Зачем этот вылизанный паркет и пыльная бархатная дорожка, разостланная здесь, и эти серые зеркала, мертвенные и пустые, так ненужно прижавшиеся вдоль стен?.. Что обязан я теперь делать?..» Мысли ползли беспомощно-тупо, как мухи, намокшие в липких чернилах, и безотрадная горечь подступала к горлу клубком.

Раз от нечего делать я подошел к часовому, который нас сторожил. Солдат-преображенец сидел на лестничной площадке в конце коридора, развалившись на стуле, и скучающе щелкал прицельною рамкой ржавой своей винтовки.

— Сильно настроены вы против большевиков? — спросил я.

— Да как же на них не серчать, ежели они все шпионы! — уверенно сказал часовой.

— Откуда ж вы знаете, что они шпионы? — усмехнулся я с грустью.

— О, мы этто-тка знали еще в те поры, как еще и в газетах ничего пропечатано не было, — осклабился он самодовольно.

— Позвольте, как же это вы знали?!

— А еще под вечер в третье июля, как этто самое ленинское выступление здесь по улицам зачиналось и мы тоже выступать уже были собрамшись, прибегает в казарму к нам, на Миллионную, весь запыхавшись, штатский такой господинчик в вольной, конечно, одежде. «Так и так, — говорит он нам, — молодцы, а вы этого самого про шпионство Ленина ничего еще не слыхали?» А сам еле дух переводит: ну, прямо запарился парень, шибко, видно, бежамши. «Нет, — говорим, — об этаком деле, промежду прочим, не слыхивали». Тут он нам, конечно, по бумажечке это самое и прочти, что уже опосля в газетах, сталбыть, пронапечатано было. Ну, нас тут словно кто обухом по затылку хватил: стоим этта, рты пораззяли. Уж какое там теперь — куды итти! Ну, скажи нам

тогда: вот-де вам Ленин! — враз на штыки б его подняли. Для осторожности все же спрашиваем того штрюцкого: «Кто вы? Откуда? Не подосланы ль опять же от немцев к нам там как-нибудь?» — «Что вы?! Что вы?!» — ручками машет и мандат нам сует. От министра юстиции он, вроде как помощник его или как там... А фамилия его — Бессарабов. Мы нарочно на бумажечку себе его записали, а то — неровен час — мало ль что может стрястись!

«Бессарабов! — шепчу я беззвучно, возвращаясь в коридор, сам не свой. — Бессарабов, товарищ прокурора палаты, который вел следствие об арестованных анархистах, тот жалкий фитюлька, которому плакался я столь наивно в жилетку после встречи своей с прокурором Карпинским?! Оказывается, это одна оголтелая мерзкая шайка!.. И этот же Бессарабов — ближайший приятель «честнейшего» Данчича, которому я теперь написал!.. А ведь с какой сатанинскою хитростью, подлецы, всю эту клевету смастерили! Когда стало им туго и в ответ на их провокации грянул взрыв, вытащили они Ермоленку из архива. Должно быть, кой-что подчистили там и приписали. Проверили затем спешно впечатление от этой стряпни на солдатах. Обрадованные эффектом, шлепнули назавтра в газете. Гнусные провокаторы и подлецы!..»

«О, если бы можно было немедленно же вернуть и уничтожить все эти кошмарные письма, которые я так скоропалительно в порыве отчаяния в один присест накатал?! Но как их вернешь?!. Нет, они теперь давно уже получены, и, конечно, им дан теперь ход... Да, ни одной минуточки из пережитого уже нельзя возвратить и по-новому переделать. А впереди теперь тоже не видно хорошего уже ничего. Вероятно, я очень скоро неминуемо буду расстрелян и погибну бесславно, опозоривши сам себя, не нужный более никому...»

Мне представилось, что я всю свою бурную и тяжелую жизнь всеми силами старался попасть на честную и правильную революционную дорогу, по которой шли с непримиримой борьбой такие напористые, не сдающиеся большевики, как Ленин, Сталин, Крыленко, Ильинский и сотни и тысячи безликих других, несокрушимых и твердых, которых я наблюдал. Да, я честно старался быть подобным всем им, но вот кто-то упорно и злостно мне постоянно в этом мешал. И в тот момент я ни за что не смог бы подумать, что этот враг коварно сидит во мне же самом. Наоборот, чем отвратительнее и подлее выглядел проступок, тем чище и благородней казался я сам себе до совершения его.

И вот снова брожу я по коридору, косясь на мутные зеркала. Какой-то мрачный сутулый старик с черною бородою и в темных очках попадается мне навстречу. Он ковыляет в черном закапанном сюртуке, насупив сердитые брови. Я его уже видел однажды во время свидания с женой. Кто он такой? Но никого об этом не спро-

сишь. Жендзян тоже избегает сидеть в нашей комнате. С ворохом разных газет он убегает обычно в зал для свиданий и здесь, одиноко забившись к окну, прочитывает их одну за другою.

Я подсаживаюсь сейчас к нему. Развернув «Новую жизнь», читаю о том, как Керенский выступал позавчера на заседании ВЦИКа. «Как председатель Временного правительства, — говорил там этот фигляр, — я счел своим долгом приехать сюда и приветствовать в вашем лице русскую демократию в надежде, что вы поможете нам сейчас выйти из того тяжелого положения, в котором очутилась страна...»

Сколько раз приходилось мне наблюдать эту чванную балаболку: бритую пухлость сизой верхней губы, сливу носа, редкий ершик табачного цвета на голове. Одна рука за спиной, другая воткнута за борт френча. Начищенные краги на трусливых ногах. Мутный взгляд самовлюбленного сутенера, небрежно бросаемый исподлобья. «Я счел своим долгом!» — должно быть, пронзительно проверещал этот позер-адвокатишка, возомнивший себя Наполеоном. — «Эта уверенность, — растекался он дальше ручьем, — появилась у Временного правительства тогда, когда вы вынесли определенное отношение к анархии, гнездившейся в самой демократии...» Ну, еще бы. «Они отношение вынесли!» Хоть бы грамотно говорить научился, трепач. А впрочем, эта эсеровско-меньшевистская свора с наслаждением все теперь слопает из его «вещих уст». Стадо «социалистических» проституток! К чему ж это Керенский их теперь призывает? Ага, — поддержать созыв какого-то нового Всероссийского государственного совещания в Москве — из государственных дум, городских управ и прочих цензовых пиратских логовищ — в целях «решительного уничтожения элементов, ставящих свои интересы выше интересов народа». И ведь привесила же мать-природа язык прожженному этому прохвосту! Получается у него, что большевики — это хищные эгоисты, а господа торгаши — святые пасхальные агнцы.

Ну, конечно, Чхеидзе и Дан тут же подобострастно подвыли ему о полной поддержке Временного правительства. И меньшевик-«интернационалист» Мартов тоже покорно теперь смолчал. А как драл он глотку всего лишь три дня тому назад за передачу всей власти советам! Теперь-то все они угодливо смолкли, рабски выполнив все, что потребовала от них всесильная биржа. В самом деле: столица занята фронтовыми войсками, у заводских окраин трещат рабочие кости, тюрьмы набиты, большевистские газеты закрыты, военно-полевые суды пляшут садический танец под треск беспощадных расстрелов. Конечно, теперь можно горделиво умолкнуть. Жалкий, трусливенький Мартов!

А заслуженный старый социалист-революционер, барственно-кудрявый Авксентьев, гневно заметнув холеной своею бородкой,

вслед за Керенским грозно рявкнул: «Довольно дискуссий! Настало время действовать. Мы должны провести в жизнь диктатуру революционной демократии!»

«Да, это теперь действительно началась диктатура. Но не революционная и не демократическая это у них диктатура. Диктатура наемных «социалистических» псов капитала».

— Ты это читал?! — злобно расправив газету, перекидываю ее Жендзяну.

— Что — читал? — сонно спрашивает Жендзян.

— Да вот эти новые декламации ваших Керенских и Авксентьевых!

— А-а, читал. Это что? На пленуме ВЦИКа? — а голос у самого спокойный такой, равнодушный.

— И ты, арестованный ими эсер, так-таки и согласен со всем этим, что порют теперь твои прославленные эсеровские вожди?!

— Видишь ли, — замыкается сразу Жендзян сердито в себя, — нельзя, очевидно, лететь сломя голову к социализму. Надобно сделать и некоторый привал! А кроме того, ведь это все происходит с полного одобрения ВЦИКа советов! И разве ты не посажен сюда лишь за то, что слишком рьяно ратовал именно за эту вот полную власть советам?!

— Не за этакую власть советов, — растерянно бормочу я, — и, во всяком случае, не за поддержку правительственной камарильи.

— Что ж поделаешь, — безжалостно издевается надо мною Жендзян, — если сам ВЦИК советов теперь всюду открыто трубит о полнейшей поддержке в интересах демократии всех мероприятий правительства, хотя б таковые даже и шли против самих советов. Такова, видишь, воля самих советов, за власть которых мы столь самоотверженно с тобой распинались, пока они нас не швырнули сюда.

Я остаюсь сидеть с открытым ртом, озадаченный столь циничною откровенностью и не зная, что теперь ему отвечать. «Неужели же это и есть та самая власть советов, за которую мы боролись?!. Нет, мы боролись за другие советы, за советы, которые бы отражали волю трудящихся масс!» — «А почему ты уверен, что эти не отражают?» — подхихикивает изнутри язвительный голосишко. «Что же, — одергиваю я себя, — неужели в корне теперь абсолютно неверен наш светлый лозунг: «Вся власть советам?!»

— А потом, — тянет Жендзян, усмехаясь, — не все же эсеры непременно гнут вправо. Вот посмотри-ка, в том же номере «Новой жизни» напечатана и наша декларация, левых эсеров. Ты читал?

— Отрицательно качаю головой.

— Напрасно! — загорается он и с ликованием прочитывает мне велеречивую эсеровскую болтовню о том, что «политика партийного руководства отталкивает от партии трудовые широкие массы и переносит опору всей партии уже на буржуазные элементы.

А посему, не порывая организационного единства, меньшинство «сохраняет себе на будущее свободу своих выступлений».

— Еще бы, — подкалываю я его, — как вам порвать единство с обожаемым вашим Керенским?!

— Керенский сейчас делает глупости, — мрачно говорит Жендзян. — Но, поверь, что Керенский все же сейчас гораздо меньшее зло, нежели какие-нибудь махровые Колчаки с Корниловыми и Каледиными.

— А чем же он лучше?! — раздраженно парирую я. — В своей «Декларации прав солдата» он торжественно объявлял о недопустимости наказаний, оскорбительных для воинской чести, и сам же теперь шельмует на площади разоруженные им полки!..

— Это гнусно, конечно, — супит брови Жендзян, — но тут виноваты его помощники, генералы. Это они — рады стараться!

— Генералы? Генералы в помощниках у него?! А не он ли сам на деле у них на запятках?! Слыхивал я, как кричал тот же Керенский, когда Ленин на Съезде советов предложил арестовать сотню капиталистов, как кричал неистово Керенский, что это недопустимо, что так могут поступать лишь азиатские деспоты и держиморды! А что он сейчас делает сам?! Хватает направо-налево всех честных революционных солдат и рабочих без следствия и суда!.. Мало ему набитых доверху тюрем, военно-полевые суды ему подавай! И это, по-твоему, «меньшее зло»?! Чорт бы его побрал в тартарары, это «меньшее зло» вашей контрреволюционной «социалистической» диктатуры!

— Диктатура — это только слова, — криво подергивается Жендзян. — Керенский все ж демократ. Принадлежность его к нашей партии уже обязывает его...

— «Обязывает»!.. — язвительно передразниваю я его. — Обязала его погнать армию в заведомо провальное наступление, а нас с тобой сунуть сюда и угрожать теперь нам расстрелом!..

Жендзян подавленно умолкает.

«О чем толковать тут с ним больше?! Да и я-то хорош: адъютанту этого самого Керенского, «честному» поручику Петрову, нацарапал для чего-то письмо! Какая гадость, какой позор!..» — я снова мрачно хожу по коридору. Но поднимается караульный начальник и, отворив дверь в офицерскую комнату, вызывает меня. Я подбегаю к нему навстречу. «Неужели за мной кто приехал? Неужели меня сейчас освободят?»

— Так что вам принесли внизу вещи, — сумрачно говорит он, оглядывая меня с ног и до головы, — но так как пришемши солдат, то допустить их сюда никак невозможно. Вам придется на лестнице их принять.

Внизу, на площадке, ласково пошевеливая губами, ожидает меня Ноздрачев.

— Вот, — протягивает он мне чемодан, стеснительно его раскрывая, — здесь одеяло с подушкой и так что мясные консервы. Это супруга ваша просила меня к вам сюда занести. А это от них к вам записка.

— Консервы? — удивляюсь я. — Зачем мне консервы? Про консервы я ей ничего не говорил. Мне они не нужны, а ей с ребятами их вот как надо. Придется вам, Ноздрачев, вернуть их ей вместе с чемоданом обратно, — говорю я приветливо Ноздрачеву, забирая подмышку одеяло с подушкой.

Ноздрачев застенчиво опускает глаза.

— Так что консервы, товарищ поручик, конечно, это, выходит, от нас. Которые наши солдаты еще помнят вас за хорошее время, так это они вам прислали. А по мне все равно: можно их и вашей супруге. Я боялся, что здесь их отнимут. Все банки, дьяволы, перебултыхали, — кивает он злобно вниз. — Все думали, уж не динамит ли я вам несу.

Крепко тискаю ему руку:

— Спасибо, товарищи, вам. Горячее вам спасибо! — судорога сводит лицо. Читаю записку. Жена пишет, что пойдет продавать сегодня ковер и, повидимому, не успеет ко мне на свидание.

— Ну, а как настроение у вас? Что поговаривают солдаты? Кто еще арестован? — спрашиваю я Ноздрачева.

— У нас — никого, а в Ораниенбауме после вас переарестовано много, — печально говорит Ноздрачев. — Настроение повсюду у всех самое скверное. Рассказывают, что Ленин улетел обратно в Германию на аэроплане, и через это, дескать, найти его не смогут нигде. И опять же, что все большевики — это шпионы и должны быть все арестованы. Это из Питера к нам эти слухи привозят. И уж очень стараются раздувать в этом деле вольноперы наши же бывшие, без пяти минут теперь прапорщики. Сами грамотно еще расписаться как следует не умеют, а тоже — лопочут при других меж собой вроде как по-французски: «Жорж Борман, соус провансаль, Альфонс Доде, консоме до воляй, бонжур-тужур, мерси боку, авек плезир!» Про вас они всем говорят, что вы беспременно шпион.

— А вы этому верите?

— Нет, думаю, что это неверно... Да мне-то от этого, конечно, не легче. Проходу теперь не дают занозистыми вопросами, не шпион ли, дескать, и я. Все грозят избить меня за сочувствие вам. «Это ты, — говорят, — его к нам в команду подсунул, когда мы его в мае к себе принимать не хотели...» Команду нашу теперь окончательно расформировали. Многих назначили в бронепоезд на Рижский фронт, остальных переводят в броневой дивизион на Бассейную улицу в Питер. Меня из-за этих нападок в шпионстве в броневой дивизион не пустили, а от бронепоезда я отмотался. Думаю пристроиться сейчас в дивизионные мастерские, что на Большой

дворянской улице. Там ребята все из рабочих, большевизму очень сочувствуют...

— Так разве вы большевик? — удивился я. — Почему же вы на собраниях у нас не бывали?

— Нет, — ухмыльнулся он простодушно, застенчиво пожевав телячьими своими губами. — Я им сказал насчет вас, что, дескать, вы вот сидите, ну, а я, конечно, сочувствую вам...

Он приветливо распростился и поковылял вниз с чемоданом, унося с собой запах солдатского хлеба и прелых сапог.

— Ну как, господин большевик? Агитацию свою потихоньку отсюда разводите? — с шутливым лукавством встретил меня на верхней площадке, очевидно наблюдавший отсюда, генерал Комиссаров.

— Во-первых, я — не большевик, — оборвал я его мрачно. — Я, насколько вам это известно, теперь в партии тезе.

— Это что же за партия еще такая? — озадаченно взглянул на меня поверх очков этот тучный, мясистый жандарм.

— «Тюремного заключения» пока что, — со скорбной шутливостью ответил я на вопрос.

— Вот оно что, — просиял он сразу же, благодушно и весело усмехнулся в рыжую бороду. — Ого, да вы — себе на уме и за словом в карман не полезете. Люблю, ей-богу, толковых людей. А уж что вы большевик, так это я с первого же взгляда точнехонько определил: у меня, батенька, глаз на это наметанный! — продолжал он с дурашливым самодовольством, и крохотные шпоры его вкусно тенькнули. — Да и нечего вам опасаться меня. Уж поверьте мне, я-то вас здесь не подведу. У нас с вами — враг общий. Кто вас бросил сюда? — Сашка Керенский, Граммофон! Кто нас здесь держит? — Он же! Поэтому предлагаю вам братский союз. Не желаете? Ну, как угодно. Ваша-то организация вся растрепана. Ну, а моя «немножечко» крепче! — многозначительно и лукаво протянул он это «немножечко» и самонадеянно крякнул. — Э, да бросьте вы тут дурака со мною валять, — фамильярно схватил он меня силою под руку. — Хотите, я вам покажу всю здешнюю нашу кунсткамеру?

Он потащил меня коридором в какие-то дальние закоулки.

— Сейчас скоро будет обед, и весь наш зверинец к нему соберется. Это, батенька мой, не ваша кронштадтская шантрапа, среди которой сейчас вы сидите. Здесь — киты, люди все именитые. И все преизрядная сволочь! — подмигнул он мне с цинизмом и потрясая грузно своим животом. — Вот среди них поднимется сейчас паника, как только увидят, что я с большевиком здесь гуляю! Трусят они вас здесь все смертельно. Упрашивали коменданта, чтобы отсюда он сбагрил вас куда-нибудь. Но наш комендантишка сволочь и плут первостатейный. «Нельзя, — говорит, — таков приказ из Таври-

ческого»... Только и знает, что деньги выуживать. С меня уже взял «взаймы» четыре сотни и, кажется, в ту же ночь их спустил... Вон этого видите там вдали—черного бородатого старика в сюртуке и темных очках? Это знаменитейший доктор Дубровин. Председатель известнейшего Союза русского народа. Дурак, каких свет не родил. Никакого союза не смог сколотить. Держал на убойных посылках Гамзея да Сашку Косого. У Полубояриновой,— старушка ходит к нему тут одна, все с молочком, — богатая баба!— деньжищ высосал пропасть. Да немало и мы ему передавали. Но толку — ни па сантим. Ну, что там с того, что ухлопал какого-то Иоллоса и Герценштейна! Кадеты это ему до сих пор не могут простить. Он у них посидит, должно быть, здесь крепко! Вот и ходит теперь он, насупясь сычом. И от всех его черных сотен — один мыльный пузырь...

— Это вот последний начальник Охранного отделения, генерал-майор Глобачев, — шепнул мне насмешливо Комиссаров, когда мы прошли мимо еще крепкого и плотного лысеющего генерала с тугим сизым лицом и серыми на выкате глазами. — А этот расползшийся старикашка с отвислыми усами, что стоял возле него, — шляпа Хабалов. Не смог, дурак, справиться с улицей в февральские дни, пока еще только что все начиналось. Пускай теперь, обормот, подольше здесь посидит!.. А одного красного зверя я вам сейчас покажу, — увлек меня Комиссаров насильно к закрытой двери одной из комнат. — Он столько в штаны себе наложил еще в Феврале, что с той поры безвыходно здесь сидит, притаившись в отдельной своей комнатушке. Сюда ему даже и пищу приносят. Вы не стесняйтесь, мы на него сейчас посмотрим. Это бывший военный министр, с позволения сказать, генерал Беляев.

Комиссаров бесцеремонно отворил дверь, и на нас глянула робкая приземистая фигурка седого щетинистого генерала. Серые его глаза в красных расширенных ободочках готовы были выскочить сейчас от страха и бегали в смертельной тревоге. Колючая щетина седых жестких усов топорщилась беспомощно и безнадежно.

Комиссаров так же непринужденно закрыл теперь дверь.

— Ну, хватит, — сказал он, — а то нечем будет дышать. Ему и так придется сейчас споласкивать свои нижники... А вон поглядите: уже тянутся все на обед. Эта, что на костылях, русская бабочка, — знаменитая фрейлина Вырубова, большая специалистка ночных оккультных радений. Только самых крепких подбирала себе мужиков. Ногу ей на железной дороге слегка примяло, так она двести тысяч за это с нее содрала. Ох, ловкий бабец! Вы не смотрите сейчас, что она корчит из себя здесь хромую. Она любой бабе может еще сто очков вперед дать!

Дебелая Вырубова с простоватым русским лицом и гладко зачесанными волосами пробиралась вдоль стены коридора на ко-

стылях, утло вертя своим объемистым задом. Какой-то юркий толстенький господинчик с полинялым белесым хохолком на макушке и такими же усиками и эспаньолкой, припудренный и надушенный, выскочив из каких-то дверей, угодливо расшаркался перед фрейлиной. Но, увидев издали Комиссарова, он изобразил на лице своем сразу же умилительнейшее выражение и плавной, лебезящей раскачкой стал поспешно к нам приближаться, как приближаются желающие приласкаться собаки, ползущие на животе и трепетно колотящие хвостиком по земле. Когда он совсем подкатился, Комиссаров, должно быть нарочно, грузно наступил ему на ногу.

— Виноват, князенька, я, кажется, отдавил вам мозоль?

— Ничего, пожаюйста, — засюсюкал, скривясь от боли, шустренький толстячок и с напускной беззаботностью оправил свой модный серый костюмчик. С пгевеликим, пожаюйста, одойжением! — восторженно запел он. — Хоть еще газ. Веикий шутник вы, Михай Степаныч...

— Позвольте его вам представить! — с фальшивой церемонностью обернулся ко мне Комиссаров. — Это — князь Михаил Михайлыч Андронников, сиятельный плут, каких мало, ухитрившийся даже Штюрмера в племянники святой Анны Кашинской произвести. А уж с Распутиным и говорить нечего...

Тут Комиссаров завернул циничную штучку. Андронников сладенько подхихикнул:

— Ах, шутник вы какой, Михай Степаныч, пгаво... Вот мощный стойп монайхической в'асти, — подмигнул на него Андронников мне, — котогый, знаете й, ни пги каких обстоятействах не унывает!..

— А чего ж мне унывать?! — беззаботно захохотал Комиссаров, весело теребя клочья рыжей своей бороды. — Зачем мне теперь унывать?! Вот когда мы в Петропавловке с вами сидели, — фамильярно потрепал он княжеский хохолок, — там было жутко, а главное: очень холодно, сыро и адски темно. Но с тех пор как доктор Манухин перевел нас с вами сюда, получив с нас за это тоже приличную мзду, — снова благодушно усмехнулся себе в бороду Комиссаров, — зачем нам здесь унывать?

— Ну, и пегевеи-то нас сюда тоже не г'ядко, — озабоченно пошаркал Андронников короткими ножками по бархатной пыльной дорожке. — Гагнизон кгепости ни за что не согьяшайся оттуда нас выпускать, несмотгя на все наивысшие пгедписания.

— Пустяки, все уладилось, — отмахнулся пухлой рукой Комиссаров. — Приехал Суханов из их исполкома и солдат быстренько уговорил. Унывать нам теперь не к лицу. А особенно в данный момент! — подчеркнул он это многозначительно князю и, шаловливо ткнув его пальцем в бочок, непринужденно расхохотался.

— И тем не менее нас с вами не выпускают, — горестно поморщился князь, юрко увернувшись от жандармской щекотки.

— Понемножечку выпустят как-нибудь, — невозмутимо осклабился Комиссаров своей волосатой харей. — Куда они денутся?!. Передали они наши дела одному долговязому идиоту, — повернулся он тут же ко мне. — Адвокат Муравьев есть такой там у них. Так этот кретин, видите ль, ищет теперь такие статьи, по которым можно было бы им нас судить. Сучий сын, того не может понять, что таких статей нет в природе и быть не может! Всякий неудавшийся переворот всегда называется мятежом, — блеснул Комиссаров очками, за которыми постоянно струилась какая-то озорная усмешка. — Вот как, к примеру, ваше сейчас положение. Набедокурили, сорвалось, и теперь вам, разумеется, у них готовится крышка. Но ведь мы-то не участвовали ни в каком мятеже?!. Наоборот, это февральский мятеж поставил всю эту сволочь над нами. Удавшийся переворот всегда называется прекраснейшим обновлением жизни. Хоть в теперешних их новизнах старина-мать во как видна. Ну, да ладно, пускай пока торжествуют. Но уж незаконного ничего ни с какой стороны нам задним числом теперь не пришьешь. Нельзя ж объявить весь прошлый строй незаконным и судить нас всех за монархизм?! Чепуха! А этот адвокатский жираф таких простейших истин не понимает!.. — начинал горячиться теперь Комиссаров все больше и больше.

Из их дальней столовой мягко и гулко пронеслись удары призывного гонга.

— Ну, ладно, встретимся после обеда, договорим, — успокоенно кивнул Комиссаров, наконец выпуская меня из своего душного плена. — А то, быть может, пойдемте с нами обедать? У нас ведь обед — собственный, свой, самостоятельно нами организованный. Мы и повара здесь для этого держим в складчину. Не хотите? Напрасно. А то, знаете ль, после обеда сегодня опять день свиданий: так и не удастся с вами об интересном договорить.

Но я рад был отделаться поскорей от этих экзотических похождений по кунсткамере царских реликвий и живехонько возвратился к себе, где чахли кронштадтские офицеры. Обед у нас давно был окончен, но в мисках оставлено было немного пищи и для меня. Офицеры занимались очередной перебранкой.

— Мы покажем кузькину мать всем инородцам! — хрипло орал на всю комнату разошедшийся мичман Андреев. — Мы по-свойски расквитаемся с ними за дерзостные их посягательства на расчленение великой и неделимой, единой матушки нашей России!

— Финляндия, как княжество, имела всегда свой особый статут. Свой особый статут! — упрямо по-бычьи твердил рассерженный Альмквист. — Мы вас не т'рогаем, не рргаем! — волновался

он все больше и больше, сердито раздувая свои широкие ноздри.— Не рrогайте пожалста и ви нас!

— Альмквист! — куражливо перебил его мичман Некрасов.— Я ведь тоже умею этак, как ты, по-русски правильно выражаться: «Ми сам сукна, сонка лаверка, тэти се суконки, а па-рюска систа кварю, патаму, катта лузыл лузбу саря, мой аррес бил такой: рретий полк, рретий рот, рретий шеловек по рравый ланг — Юрий Тык!» — прищелкнул он языком под гомерический смех окружающих. — Знаешь, что это такое? «Я сам чухонец, жена староверка, дети все тоже чухонцы. Но по-русски чисто я говорю, потому что, когда служил службу царю, мой адрес был таков: третий полк, третья рота, третий человек по правому флангу — Юрий Тик!» А у тебя который был полк?

— К вам на свидание пришли, — обратился к Жендзяну вошедший караульный начальник. — Спуститесь в приемную к ним.

Жендзян живо захлопнул книгу, которую молча читал, и понесся из комнаты быстрым и легким пружинистым шагом.

«Кто бы мог это к нему сюда притти? — думаю я, доедая обед.— Родных у него здесь никого, а если кто из знакомых... Не из Ораниенбаума ли?..» Ради грешного любопытства я поспешно иду вслед за ним.

— Это ошень так хорошо, — догоняет меня вдруг в коридоре взволнованный капитан Альмквист. — Это ошень так хорошо, што тогда ви Андрееву морда его помяли. Этот поганый такой шовиниста!.. Я немножки теперь начинаю сошуствовать за то, что ви большевик, — неожиданно расплывается он сконфуженной сладкой улыбкой, опуская свои глаза.

«Вот еще милое дело!» — иронически пожимаю я плечами, поспешно входя в зал для приемов.

Дамы со свертками и ридикюлями уже шепчутся здесь со своими мужьями, рассевшись одинокими парочками на стульях вдоль стен. Комиссаров сопит и что-то игриво бормочет своей блеклой полинялой партнерше с россыпями толченых камней на руках. Она лукаво прищуривается на меня, тряхнув своей жемчужной сережкой. Доктор Дубровин окинул присутствующих исподлобья, поверх очков, тревожным взглядом и, мотнув заплеванной своей бородой, живо подался, шлепая матерчатыми туфлями, навстречу к своей Полубояриновой, уже протягивающей ему из-под шали бутылку густых белых сливок. Глобачев, выкатив голубые глаза, задумчиво играл аксельбантом, слушая шопот своей расфуфыренной госпожи. Герасимов сидел чинно и стройно, поглаживая белый крахмал жестких манжет, и линялые его глаза скользили по костлявой, похожей на галку, сухой черной даме старчески уравновешенно и спокойно.

Жендзян стоял возле окна, на котором сидел, болтая ногами и ухарски сдвинув фуражку на самый затылок, не известный мне прапорщик в кожаной запыленной тужурке. Я вглядываюсь в него. «Где я его раньше встречал?—думаю я, подходя к ним решительно.— Ну, конечно же! Первый день февральской революции. Бестолковая карусель Таврического дворца. И он, высокий, молодцеватый, с черными усиками и румянцем во всю щеку, среди мятежной толчеи Екатерининского зала. Задорно сверкающие глаза. Ну да, это он, хоть сейчас уже посерел, стал сутулей. Поношенная кожаная тужурка придает ему облик путешественника».

— Помните, ведь мы когда-то с вами встречались, Ковригин.

Он вглядывается в меня веселыми своими глазами и обрадованно загорается:

— Конечно, в Таврическом, в Феврале!

Крепкое рукопожатие.

— ... Я третий день, как из Гельсингфорса, — передает он Жендзяну торопливой скороговоркой. — Все время искал здесь тебя. Брушвит сказал мне в Кронштадте, что ты арестован, но где ты — не знает никто.

— Ну, и как же там у вас, в Гельсингфорсе? — нетерпеливо вскинул на него глазами Жендзян.

— Да что ж там, — снял Ковригин фуражку, — положение погано. Большевики там сейчас разгромлены вдребезги, мы же — слабы. Да, кроме того, и в самой Финляндии положение очень тревожно. Видимо, здешние толстосумы не дают Керенскому деньжат. Так он обратился теперь за займом к Финляндии. Но финны себе на уме. Зачем, дескать, им раскошеливаться ради Керенского, когда он отказывает им в автономии. Как ни убеждали их специально прикатившие для этого в Гельсингфорс Церетели, Шингарев и Терещенко дать триста пятьдесят миллионов рублей, — финны наотрез отказали. Теперь надобно ожидать решительных осложнений. Передают, что здесь будто бы решено вооруженною силой разогнать за это их сейм... А положение во флоте тоже корявое. Делегация их до сих пор сидит здесь арестованной вместе с адмиралом Вердеревским — ни за что ни про что. На судах настроение подавленное. А вот на Черном море, так там и совсем дело табак. Большевики там растаяли в один миг, и весь флот чуть ли не царскими флагами обвешался снова. Так подействовало там на всех сообщение о Ленине.

— А какое настроение на фронтах? — сумрачно спрашивает Жендзян.

— Да какое ж там настроение! На фронтах, сам знаешь, я не был, — понуро мнет Ковригин фуражку. — Паршивый разгром идет сейчас по всему фронту. Ты, конечно, читал о тарнопольском прорыве? — Он хмуро взглянул на Жендзяна.

Тот угрюмо кивнул.

— Разумеется, генералы вешают теперь всех дохлых собак на ни в чем не повинных солдат, — подавленно выдавил из себя Ковригин, — а сами первыми удирают с позиций. Вон сейчас приехали сюда делегации фронтовиков из-под Тарнополя, так рассказывают, что штаб 35-й дивизии сиганул аж за полсотни верст глубже в тыл, вместо того чтобы спешно подкинуть резервы, и, разумеется, потерял всякое управление частями. Последним местом отхода генералы назначили Киев, но солдаты, конечно, видя такой обман, по собственному своему почину сами остановились и дали стойкий отпор противнику на границе. Слов нет, устали солдаты, — вздохнул он, — это чувствуется повсеместно, да и наступление наше никак подготовлено не было. Надавили из Лондона и Парижа, вот Керенский и попер. А с чем, спрашивается, он попер?! Сорок тысяч народа зря ухлопал, и ведь за это теперь всюду громятся солдатские комитеты, и справляют кровавый свой пир военно-полевые суды. Штабы клеветнически разблаговестили по всему фронту, что все-де полки трусливо бегут. Не мудрено, что после этого другие невольно ударились в панику: «Чего ж-де нам здесь сопротивляться, если кругом все бежит?!» Особенно сеют панику бывшие жандармы и городовые, которых в армию понапихано сейчас вдосталь. А офицерье, так оно уже напевает, — правда, еще пока только вполголоса, — «Боже, царя храни»!

— Печальные вести, — уныло промямлил Жендзян. — Вот что, как только увидишь ты Брушвита, попроси его обязательно ко мне зайти, я совершенно не знаю, как держаться мне теперь на суде. Вот уж подлинно: «В чужом пиру — похмелье!» — с горькой иронией произнес он, взглянув на меня.

Я отошел и вновь стал бродить по коридору.

«Подумаешь, суд! — ухмыльнулся я про себя, стараясь оправиться от нахлынувших мрачных мыслей. — Конечно, нам припишут неудавшийся якобы преступный мятеж, — вспомнил я циничную болтовню Комиссарова, — ...постараются, быть может, еще примазать легендарное это шпионство... Ну, уж я им, конечно, на это так отвечу!» — «Как ты ответишь, несчастный мозгляк, после всех твоих дурацких к ним писем?!»

Преотчаяннейшая горькая злоба на самого себя и на весь мир овладевает мной безраздельно. «Хорошо ж, — скрежещу я зубами, — я расскажу на суде, какими путями вы довели меня до этого, палачи! И со смаком и остервенением плюну вам в вашу мерзкую харю!.. Смерть за это?.. Прекрасно, пусть смерть!»

Придя к этому честному выводу, я почувствовал необычайное облегчение, и вопрос о жизни и смерти сразу же перестал меня волновать. Все мои душевные и физические силы сразу же сосредоточились на том совершенно незначительном — с точки зрения моей

собственной жизни и смерти, но ставшем теперь для меня самым важным — вопросе: каким образом я, которого все достаточно знали как убежденного и стойкого большевика и который так позорно себя здесь проявил, каким образом я смогу показать всем этим людям, которые станут меня судить и убивать, — что я их ни капельки не боюсь и лишь презираю? «О, я им сумею там рассказать, как честно я до этого жил и как непримиримо с ними боролся!..»

И я тотчас же погрузился в мир воспоминаний. Неожиданно для себя я обнаружил, что все мое прошлое было безрадостно и тягостно. «Если б я рассказал всем о том, какое печальное и тяжелое детство выпало мне на долю, как увязал я в худых сапожонках в липкой холодной грязи, бегая по урокам, чтобы кормить семеро глоток братишек своих и сестренок. Если бы я мог дать почувствовать, как этот облик беспомощной огромной семьи постоянно хватал меня за ноги и за локти, когда я что-либо дерзкое, честное готов был довести до конца... Как потом, приученный к такой размагниченности, я стал понемногу мирненько обрастать уже собственною семьей и трепетно думать о двадцатом числе и о том, как заткнуть сотню жизненных дыр своим скудненьким жалованьем... О, если б я смог это все рассказать!»

Но я никогда никому не рассказывал этих вещей. Не потому, что был скрытен, а потому что я знал, что люди всегда уважают только смелость и силу и что поэтому они должны думать теперь и обо мне, как о человеке «особой, стойкой породы», поскольку я взялся за выполнение столь ответственного и тяжелого, смертельно тяжелого политического долга. Зная многие свои слабости и слабости других людей, я был убежден, что вести за собою других вперед на борьбу и на подвиг можно только, указывая им на их слабости и тщательно пряча от них свои.

«А если чистосердечно покопаться в этих своих?!. Почему я процацкался весь Февраль с какой-то «социалистической» бандою офицеров-карьеристов, вместо того чтоб немедленно же пойти в низы организовывать и сплачивать массы на борьбу под непосредственным руководством нашей партии большевиков?!. И как преданно тянулся за Каменевым я на первых порах!.. Почему?.. Как решительно отклонил я затем предложение Бокия обучать на Путиловском рабочий красногвардейский отряд! Боялся стать дезертиром империалистической армии?!. Как недостойно удрал из Омска, вместо того чтоб принять там бой! Возможно, что в Ораниенбауме я и выправился на первых порах, но как проминдальничал я с Филипповичем и с Рубцовым! Однако кто б мог заранее предугадать, что они такие стервецы?! Но дело не в них... А мои наивненькие слезницы за анархистов, обращенные к Данчичу!.. А мои жалкие колебания в день последнего нашего выступления после прочтения

гнусной прокламации ВЦИКа! Мое трусливое, растерянное бормотание на гарнизонном собрании в манеже, когда, заикаясь, я призывал голосовать за резолюцию меньшевиков и эсеров!..» — «Зря ты седни все наши позиции сдал! — живо припомнился мне укоризненно остановивший меня упрямый солдат большевик. — Самое главное: на карачках не ползать. Упал, — вскочи на ноги, а на карачках не ползай! Заклюют тебя вороги, ежели ты перед ними и вдруг на карачках, вот как седни!..» — «Где он сейчас, этот крепкий и честный товарищ солдат?!.» — Я тяжело и безрадостно вздыхаю. — «А моя слепая доверчивость к дурацким россказням перепуганного Яглонского! А цепкая хватка за спасительную соломинку гнилой концепции Троцкого, уже здесь в заключении?.. Разве все эти явления не звенья одной и той же неразрывной цепи, которая притащила меня в конце концов к трусливейшим письмам?!. Разве все это — большевизм?! Ни грана во всем этом нег и не было большевизма! Вот где корни этого гнилого древа, на котором вдруг вырос омерзительно гнусный плод, пускай хоть и минутного, но определенно позорнейшего ренегатства!..»

И я не стал больше думать ни о своей прошлой жизни, ни о возможностях освобождения, ни о лишениях своей семьи, — я думал только о том, как я должен теперь поступить, как должен выправить свое поведение, чтобы, насколько это будет возможным, сгладить и уничтожить все то зло, которое я теперь причинил нашему великому революционному делу. «Пусть партия сейчас разгромлена, — думал я, — пусть кругом разрастается ренегатство, пусть обнаглевшая офицерня с генералитетом готовит расправу над полчищами бегущих, обезумевших от страха солдат... Пусть эсеровско-меньшевистская мразь, окопавшаяся в советах, поливает нас бешеною слюной клеветы, — мы никому, ни за что и никогда не сдадимся. Надобно все, что уцелело, вывести сейчас же немедленно из-под удара. Пускай мы погибнем, революция от этого не умрет, а вспыхнет рано или поздно с новой силой и победоносно сметет до конца всю нечисть и всех паразитов!»

Когда в один из последующих дней ко мне на свидание пришла жена и стала подробно рассказывать, что продала по дешевке ковер, что уже подыскала комнатку в Ораниенбауме, куда теперь и переедет, что заходила как-то к Громыке и тот внимательно и угрюмо, очень странно, испытующе как-то поглядел на нее, что встретила однажды на улице Племянникова, но тот, растерянно поклонившись, сейчас же поспешно ретировался, — я ее остановил и попросил, чтобы она непременно отыскала теперь же этого Племянникова и потребовала от него, чтоб он немедленно зашел ко мне.

— Мне надобно знать, что у вас там творится и дать соответствующие указания, — отрезал я строго.

Она испуганно на меня поглядела, но ничего не ответила.

33. ГЕНЕРАЛЫ РАДЫ СТАРАТЬСЯ

Жизнь на охранной гауптвахте вновь покатилась размеренно и тоскливо. Кронштадтские офицеры выпускались на волю теперь пачками один за другим. Выбив трубку о стол и чопорно всем поклонившись, ушел фарфоровый лейтенант. За Альмквистом приехал отец, какой-то крупный финский промышленник, такой же нескладный и молчаливо тупой, как и его сын. Обрадованный капитан крепко пожал мне на прощание руку и заботливо предложил немедленно же перебраться на его кровать. Андреев желчно замкнулся в самом себе и цинично громко ругался. Под глазами его заспнели большие круги. Оказывается, он до революции чуть ли не до смерти изувечил матроса. Этого Кронштадт ему не прощал, и за ним теперь зорко следили, чтоб по его освобождении сразу же сцапать и вернуть к себе для расправы. Мичман Некрасов добрел с каждым днем и стал относиться ко мне и Жендзяну все приветливей и теплее. С Андреевым он больше не спорил. А когда наконец прибыл и для него ордер на освобождение, он скакал, как веселый теленок, восторженно щурил глаза, скалил свои белые зубы и при прощании сказал мне уже в коридоре, немножечко поколебавшись:

— Прощайте, или, верней, до свидания, подпоручик! Я искренно желаю вам скорого освобождения. Сейчас я еду на Черное море. Вы не думайте, что я за вами не наблюдал. Я очень даже за'всеми здесь наблюдал, а особенно чутко за вами. Я очень много подмечал и знаю, как было вам горько. Но за это время и я многое рассмотрел совершенно вдруг по-другому и о многом теперь поразмыслил. Не то чтоб совсем, но я стал здесь сильно другим и очень многим обязан в этом вам, хотя мы и не сказали с вами друг другу за все это время почти ни одного слова. Но я часто прислушивался к вашим спорам с Жендзяном. Он — золотой человек, а все ж я более склоняюсь к большевизму. Это решительней и прямей.

«Вот те на!» — изумленно посмотрел я ему вслед и покрутил головой.

Комната в течение нескольких дней почти совсем опустела. Становилось скучно без этих нелепых и ожесточенно злобных врагов. Даже к присутствию их, оказывается, можно было привыкнуть.

Генерал Комиссаров, должно быть, тоже от скуки старался все чаще ловить меня в коридоре. Однажды он поймал меня, разгуливая вместе с Герасимовым. Седенький, словно пепел, и тощий, как гвоздь, Герасимов посмотрел на меня грустными от несварения желудка глазами. А может быть, у этого старого хищника запечатлелись на лице страдания его прежних жертв?

— Вот, все еще не выпускают, — удрученно проскрипел он.— А чего им, спрашивается, меня держать? Кому я могу быть опасен?!

Я целиком нынче и полностью признаю справедливую прозорливость профессора Милюкова и разделяю его конституционные взгляды отныне вполне. А вот подите ж вы: не выпускают! И ведь представьте, даже сам Бурцев хлопочет теперь за меня!

Комиссаров, разумеется, сотрясался в это время от беззвучного, душившего его смеха, и крохотные его шпоры тоже тоненько хохотали.

— Вот ведь старый кретин! — отрекомендовал он мне своего бывшего принципала, когда тот наконец от нас отвязался. — Вы представьте, глуп, как пробка. Готов разную конституционную болтовню принимать чистой монетой на веру. Вы думаете, это он притворяется? Нет, это он искренно вам все натрещал. Милюков для него отныне кумир, и все, что тот ни наболтает, этот честно кладет себе на сердце и твердит потом, как попугай: партия Народной свободы? Хорошо, да здравствует Народная свобода! — Пусть все решит Учредительное собрание? Превосходно, да здравствует Учредительное собрание!.. И он, вы знаете ли, всегда был таким дураком. Вон тут икона в зале висит, обратите на нее внимание. Видите: архистратиг Михаил в полных доспехах и в боевом вооружении и какой-то полуголый дядя в одной рубашке и нелепейших стальных сапогах. Это, видите ли, когда мы с ним здесь служили, подчиненные наши шпики решили в день какого-то юбилея поднести нашему учреждению икону, а на ней изобразить наших святых: моего — Михаила, а его — Александра. Ну, мой Михаил — воин, как воин, только гусарских усов разве что нехватает, а бабник, должно быть, тоже за первый сорт! А вот как за его святым кинулись в святцы, — получается какой-то святой великомученик Александр Босоногий, — так, знаете ли: не рыба, не мясо, в конце сентября празднуется, из захудалых таких святых. Ну, раз босоногий, стало быть босоногий. Таким его в одной тощей рубашечке иконописец и изобразил. Преподнесли, конечно, торжественно икону эту нам в самый праздник. Митрополит сам приехал, чтобы благодарственный молебен служить. Глянул мой Александр Васильич на икону, аж изменился в лице и губы сжал плотно: а это уж верная у него примета — жди бури. «Это, — спрашивает грозно, — что?» Митрополит облачение одел, остановился. Певчие, конечно, закашлялись. Градоначальник тут был и разные высшие, с позволения сказать, власти, — словом, всякая знатная шушера, те недоуменно переглядываться начали. Чиновники наши испуганно подбежали: — «Так что, ваше превосходительство-с, ваши святые-с! Это вот Михаил Степановича, их святой в архистратигическом своем облачении, а это, изволите ль видеть, ваш святой, бессребренником, писано в святцах, был, потому и скончался в одной рубашке». — «В рубашке?! — злобно мычит на это мое начальство, а само готово всех вместе с иконой живьем тут же сожрать. — Ну,

хорррошо, пускай он в рррубашке, но почему, спрашивается, он без сапог?.. Где это сказано, чтоб мой святой, святой генерал-лейтенанта, и был вдруг без сапог?!.» — «Но, ваше превосх... Позвольте... пз... пз...» — «Молчать! Ничего не позволю! Немедленно же обуть его в сапоги! Об исполнении донести мне сейчас же срочно!...» Хлопнул дверью и вышел. Ну, конечно, богомаза сейчас же сюда за бока, певчих пока — по боку. Митрополиту тут веселые карточки показывать стали. Начальство высшее на это время по домам отпустили. И вот в какой-нибудь час был обут его бессеребренный святой в серебряные сапоги! — Комиссаров хохотал раскатисто и громоподобно на весь коридор, судорожно приседая и хватаясь за живот от поднявшихся колик.

— Веселый вы человек, — сказал я миролюбиво. — Только циник большой. Какое же ваше теперь мировоззрение?

— Мое — неизменно: «Боже, царя храни...», — запел он так же дурашливо, но с апломбом.

— Значит, вы даже против кадетов?

— Почему же — против кадетов? — усмехнулся он снисходительно, как усмехается многоопытный дядя на наивный интимный вопрос подростка. — Кадеты — это верная наша опора. Кадеты откроют дорогу храброму и свирепому этакому генералу на белом коне. Тут, разумеется, звон колокольный, трепыханье хоругвей, лязг литавр и «Славься ты, славься!» Вышибалы все — именинники, б....ли все настежь! И тут же легонькое обновление трона: так — локотники слегка подсусолят, пыль с бархатца обмахнут, одеколоном сидение попрыщут, чтобы от прежнего не воняло. А кто сядет теперь — совершенно неважно, была бы лишь крепче та часть, которой садятся, чтоб снова опять вверх тормашками не слететь. Троны легковесов не любят. Николай почему полетел? Потому — в весе пера. А тут надобно — в весе слона или по крайней мере — гиппопотама! И заживем мы с вами тогда, подпоручик, ух, как с вами мы тогда заживем! Надо лишь трезво смотреть на все вещи.

«Что за сволочь!» — отпрядываю брезгливо я от него.

— Не раненько ли вы замечтали? — осаживаю я его вслух. — Я даже, знаете ли, удивляюсь. Сидите вы, как-никак, в заключении, чтобы выпустили вас скоро отсюда — что-то не видно, а вы не дуете себе даже в ус и грезите о белых конях и о престоле. Как-никак, а власть пока не в ваших руках. Еще неизвестно, как это все обернется.

— Кто это вам рассказал, что не в наших? — весело сопнул Комиссаров, покровительственно уставившись на меня. — Оно, конечно, она не вполне еще в наших руках, но там, где это надо, верные нам человечки, припрятанными ли, иль уже слегка разоблаченными, но всюду пооставались! Они сидят и работают день за

днем планомерно и терпеливо, и поэтому я всегда здесь в курсе всех дел. У нас, братец вы мой, строго все организовано, и все важные министерства в наших руках. В армии — испытанные старые генералы. Над торговлей и промышленностью сидит наш Пальчинский. Он хоть и не министр, но значит больше министра. За земледелием следят Чаянов и сенатор Семенов-Тяньшанский. По министерству юстиции в полном с нами контакте Демьянов и Бессарабов. Товарищем министра внутренних дел крепко и тихомолком работает неизменно преданный нам Балашов. Пусть министром над ним пока сидит сейчас хоть сам Церетели. От этого дело не меняется ничуть. Все, что подготовляется в министерстве, и все, что должно там подготовляться, неукоснительно проводит в жизнь Балашов. Церетели обязан только подписывать, и пока что он добросовестно выполняет эту свою министерскую службу, а ежели заупрямится — живо смахнем. Вообще же всех инородцев со всеми совдепами, да и кое-кого из радикальствующих кадетов мы скоро совсем уберем. У нас, батенька мой, работенка сейчас кипит всюду. Вы думаете, мы мало чему у вас поучились? Вот, к примеру, одна из прокламашек, которую мы в одном месте тиснули, да неудачно: первый блин комом, — засыпались. Досадно, но не беда: отпечатаем в другом месте. Угодно прочесть? — достает Комиссаров из бумажника и сует мне под нос печатную сложенную бумажку.

Я бегло прочитываю жирные буквы:

«... сейчас нет власти, она кем-то украдена. Кто этот вор, который предал и разрушает Россию? Власть захватили центральные комитеты и совет рабочих и солдатских депутатов. Они назначают министров. Кто же эти министры? Бо́льшая часть их приехала с каторги. — Таковы — Церетели, Шингарев, Чернов, Некрасов. Главным своим распорядителем они выбрали Керенского. Керенский хорошо говорит, он человек храбрый, но помните, что он главный среди каторжан. Он согласен с ними во всем. Ввиду беспорядков правительство вызвало с фронта войска. Но правительство в России — это разбойники. Отдавая пришедшим войскам приказание, они захватили в свои руки войска...»

— Как, вам еще мало этой расправы?! — в ужасе откидываюсь я. — Вам мало того, что прибывшие фронтовики беспощадно стреляют в народ?! Ведь что ни ночь, то стрельба!

— Ну, что это там за стрельба! — презрительно фыркает Комиссаров. — Наши верные молодцы дуют в них по ночам с крыш из пулеметов под видом большевиков, а те — хоть бы хны! Почти что совсем не отвечают. Разве это катабалык? Из-за чего ж мы войска вызывали?!. Нет, если б Керенский предоставил нашему Дутову полную волю, то он бы...

— Кому — волю?

— Дутову. Прекраснейший боевой войсковой старшина одного из оренбургских казачьих полков. Крепкий мужчина! Быть ему в будущей императорской свите генерал-адъютантом!

«Родное казачество! — дочитываю я прокламашку. — Да всколыхнется же ваше русское сердце! Собирайте от полка по шесть депутатов и посылайте их двенадцатого июля к четырем часам дня...»

— Ну, дальше вы не читайте! Поскольку засыпались, время и место мы переменим. Но будьте благонадежны, вся военная мощь рано иль поздно, но всенепременно очутится здесь в наших руках. Мы в игрушки играть не намерены. Мы — не Керенский! И вот тогда...

С гадливым презрением и враждебной насмешкой я открыто смотрю на него.

— Что вы этак уставились? Это вам с непривычки. Трезвый учет действующих сил и политической обстановки... словом, текущий момент! или как это там у вас говорится?.. Не смотрите на меня пожалуйста этак дерзко, все равно я вас не опасаюсь. О чем бы вы им ни заикнулись, от Керенского ни доверия, ни пощады себе не ждите, если только до этого мы сами его не сковырнем.

— А вы дадите пощаду? — фыркаю я с гневной насмешкой.

— Кому как... — загадочно тянет охранник. — Вы вот, к примеру, человек рассудительный, трезвый. Сами должны понимать, что против рожна не попрешь. Кто же за это вас тронет?

«Какая гадость! — думаю я с тошнотворным физическим отвращением. — Так вот они что здесь замышляют!.. Дать ему сейчас в волосатую харю иль не дать?!. А какая польза выйдет с того, если дам?.. Нет, надо сейчас осторожно себя попридержать и не подавать ему вида. А тем временем поскорей вызвать сюда кого-нибудь из руководящих наших большевиков и обо всем этом порассказать. Пусть партия держится на-чеку и пусть знает, до чего наглеют сейчас генералы! Но кого б это вызвать? Вот этот дурашный Племянников, и тот, каналья, не идет! Неужели же все кругом позапрятались и исчезли?..»

— Не верится мне в ваши замыслы, генерал,— отвечаю я Комиссарову в притворном раздумьи. — Многое вы подсочинили, а многое — пустые мечты. Трезвости в рассуждениях ваших нет ни на грош! С тем и прощайте.

— Нет ни на грош?! — обиделся генерал, колыхнув своим объемистым пузом и поправив на красной картошке золотые очки.— Ладно. События текут неотвратимо. По мере их неукоснительного исполнения я вам еще кое-что расскажу. Вы тогда, милый друг, ахнете от удивления.

«Интересно, что еще он такое готовится мне порассказать?— размышляю я, уходя. — Надо будет тщательно взять все это на

заметку и подробнее обо всем этом в партию передать. Мы еще поглядим, кто кого скорей здесь проведет: он ли меня, я ли его?»

Племянников пришел наконец совсем неожиданно и даже не в день для свиданий. Непонятно, как его пропустили. Робко поднялся в приемную залу, боязливо оглядываясь по сторонам. Сообщил шопотливою скороговоркой, что многих еще после нас там переарестовали, в частности: Новикова, Молоканова, Беляева (—Помнишь, старик такой очкастый был, фуражка, как блин?) и Белова. Отправили всех в Кресты. Филиппович и Рубцов закусили сейчас удила: всех терроризуют.

— А вас с Батмановым все же не тронули?

— Батманов... Батманов... — смущенно замялся Племянников. — Сдрейфил... Батманов. Уезжает сейчас со сборной командой на Кавказский фронт.

— Ну, а ты?

— Что я, меня пока что не трогают. Только косо глядят. Так ведь, ты сам знаешь, я ни в чем не был замешан!.. Настроение сейчас страшно подавленное. Всюду измены. Помнишь, был в Первом пулеметном полку, в 9-й роте вольнопер такой, по фамилии Спец, он все Ильинскому еще помогал? Так настолько сейчас перепугался, когда его хотели было арестовать, что тотчас же от всего открестился. Покаялся всенародно, что во всем заблуждался...— при этом Племянников испытующе посмотрел на меня, и я покраснел от этого, как пион, но смолчал.

— Да, теперь всякие проходимцы политический капитал спешат себе сколотить, — продолжал он. — Болтался в нашем ружейно-пулеметном батальоне прапорщик такой, Хрясков, из щупленьких адвокатиков, заядлый такой меньшевик. Так он теперь свой батальон, стоявший на Каменноостровском проспекте, ухитрился в самоё Петропавловку переместить для защиты, видишь ли, крепости от большевиков! В гору теперь полез: уже командир батальона.

«Да, — думаю я, слушая этот по-заячьи прыткий рассказ, — этот — таков же, каким я был в своем прошлом, если только малость не хуже. Такому серьезного ничего нельзя рассказать. Бесполезно».

— А где Ильинский? — спрашиваю его уже вслух.

— Ильинский? — испуганно переспрашивает он. — Совершенно не знаю, где сейчас наш Ильинский. Приезжал он тут как-то к нам, в Ораниенбаум, да и то лишь тайком. Рассказывал, какие ужасы творятся здесь у вас в Петрограде. Отчаянный разгром всех наших партийных ячеек идет по всем здешним заводам. На Металлическом и Петроградском ячейки вынесли постановления — подчиняться ВЦИКу во всем, и потребовали, чтоб ЦК и ПК наши сложили с себя полномочия, ввиду предания их суду. У путилов-

цев тоже подавленное настроение: и слышать о политике больше не хотят. На Балтийском эсеры составляют проскрипционные списки на предмет увольнения с завода всех большевиков. Райком там разгромили. На Обуховском — полное господство эсеров. Словом, куда ни кинь, — всюду клин.

— А ты что же думаешь делать?

— Да, видишь ли, я думаю съездить в Саратов к отцу. А то, неровен час, с какой-нибудь командой тоже отправят на фронт...

«Что ему посоветовать?.. Удержать его здесь?.. Дать задание— собрать расколоченные низы?.. Не сумеет он этого... Все равно пускай уезжает... Скользнул он слегка по большевизму, но еще далеко ему, должно быть так же, как и мне, до настоящего большевика!..»

— Только ты никому никогда не скажи, что я у тебя здесь бывал! — лепечет он, озираясь беспокойно.

— Ладно уж, не скажу.

Мы прощаемся с ним очень холодно.

На первом же после этого свидании я требую от жены, чтоб сходила она в Таврический дворец, отыскала там фракцию большевиков и передала бы туда вот эту записку. В записке я написал, что прошу кого-либо из авторитетных товарищей срочно меня навестить для сообщения очень важных политических сведений.

— Только смотри, чтоб записка не попала случайно в посторонние руки!

Каждый раз, когда комендант появляется в нашей комнате, мичман Андреев тревожно вскакивает с постели, и костлявое желтое его лицо покрывается темными пятнами. Он нервно одергивает синий свой китель, впиваясь оловом глаз в сизые, непобритые щеки кавказца. Но на этот раз комендант вызывает меня и Жендзяна. «Неужели нас освободят?! — взволнованно екает сердце.— Так, значит, письма...» — От неожиданности и стыда меня кидает в огненный жар.

— Патрудытэс спустыться вныз. Вас трэбует пракурор.

«Прокурор? Что же это? Дознание? Увоз на расправу? Или освобождение?..» — Догадки одна за другой вихрем проносятся в голове. Мы с Жендзяном стремительно спускаемся в комендантскую. Плотный и крепкий, средних лет, невысокого роста мужчина с квадратной головой ожидает там нас с портфелем.

— Товарищ прокурора палаты, Наказный, — рекомендуется он. — Необходимо снять с вас дознание... Который из вас здесь Жендзян, а который подпоручик? — сверлит он нас обоих враждебным, замороженным взглядом. — Угу. Так я должен буду начать свой допрос с подпоручика, хотя он и младше вас в чине,— со спесивой усмешкой говорит он Жендзяну.

— А меня нечего и допрашивать, — отвечает Жендзян, пожимая плечами. — Большевиком я не был, в июльской демонстрации не участвовал. Арестован по проискам глупых мерзавцев. Если и были какие следы моей мимолетной причастности к подготовке этой демонстрации в Ораниенбауме, то, наверное, они у вас уже собраны и запротоколированы. Больше показать я вам ничего не смогу, — заканчивает он сердито.

— Вы все же останьтесь. Посидите тут где-нибудь в соседней комнате, пока я сниму этот допрос.

Разложив перед собой уже объемистую папку с нашим делом, Наказный задает ряд обычных начальных вопросов, ответы на которые тут же и записывает в протокол.

— Большевик? — спрашивает он меня как-то так, мимоходом.

— Видите ль... — мнусь я. — «Как ему сейчас отвечать? Выкручиваться, лебезить или скрываться в кусты я не намерен. Стало быть, я большевик. Но если к делу уже приобщены мои письма?.. Какой же я после этого большевик?!. Нет, позорить партию не годится, говоря, что я большевик, но и открещиваться я не хочу. Как тут быть? Если бы знать наверняка, что писем у него моих нет и они никогда не попадут на суд. Но как же можно это гарантировать?!.» — Видите ли, — мнусь я, — хоть в большевистской организации я и числился, но я по сути не большевик. Меньшевик-интернационалист скорее всего, вот кто я. «Да, этак будет совсем хорошо, — удовлетворенно вздыхаю я, — и, главное, очень искренно и, пожалуй, вполне точно!»

— Какой же вы меньшевик, когда вы были членом большевистской военки? — сурово осаживает меня Наказный. — И совсем не меньшевистские дела вы творили. — Его взгляд сух, остер и неумолим.

— Я, видите ль, меньшевик по духу.

— Ах, по духу?.. — с легкой усмешкой цедит он. — Ну, это для дела неважно. Дух можете оставить вы при себе. Мы будем судить по делам. Вы лучше вот про дела свои, про дела вашей партии расскажите. Как у вас шла подготовка к восстанию? Кто это дело организовывал? На какие средства? С какими планами? С кем вы держали для этого связь? Только пожалуйста как можно подробней.

Он макает перо в чернильницу, послужившую уже, наверное, немало для всевозможных жандармских допросов.

— Никакого восстания не было, и партия его не организовывала. Наоборот, и Ленин, и Сталин, и остальные товарищи призывали партию к усиленной выдержке.

— Вот как?! Восстания не было?!. Тем хуже, голубчик, для вас. Чем скрытнее и неправдоподобней будете вы показывать, тем жестче и беспощадней ожидает вас кара, и — наоборот.

— В пощаде я не нуждаюсь. Восстания вы нам не пришьете.

— Ах, вот как?! — зеленеет Наказный от злобы и свирепо вонзает стальное перо в стеклянную чернильную пасть. — Мы это себе здесь отметим. А рассусоливать с вами здесь нечего. Вот вам лист бумаги. Вы напишите на нем свое показание так, как хотите. Оно будет иметь решающее значение только для характеристики вас самих. Факты же мы и без вас все полностью установили. Когда напишете, передадите здесь коменданту. Он мне перешлет. Ступайте, «невиннейший меньшевик»!

Поднимаюсь с листом бумаги к себе наверх. Надо писать... Что писать? Примащиваюсь в уголок и часа полтора убиваю на выписывание правдивых подробностей того, как большевистская партия упорно сдерживала массы от всякого выступления и как наконец оно прорвалось. Никаких имен, никаких ссылок, никаких связей. Написав, отношу это все коменданту. Наказный давно уж ушел.

— Вот пристал он ко мне, как банный лист пониже спины, — ухмыляется брезгливо Жендзян. — Напиши ему да напиши, как ты организовывал в Ораниенбауме наш блок и подбивал нас всех на восстание. Плюнул я ему в зенки и вообще отказался писать. С тем он и смылся.

Я никогда не сомневался, что в общем Жендзян молодец.

— Гы-гы-гы! А у меня свежие новости есть! — подманивает меня снова к себе в коридор генерал Комиссаров. — Что это вы все бегаете от меня, подпоручик? Ну, если б были вы большевик, — тонко издевается он, — тогда было бы дело другое, а то ведь вы — петезе! Так ведь и я тоже здесь только из партии тюремного заключения. Я не волк, вас не съем. Давайте установим контакт.

— У меня нет никаких связей с волей, — вру я, — и потому наш контакт вам бесполезен.

— Ну, уж будто бы! — лукаво подмигивает генерал. Он ходит грузно, но мягко, переваливаясь и сопя, словно медведь, и то-и-дело поправляя золотые очки на красном, как помидор, носу. Шпоры у него маленькие и тренькают мелодично и нежно.

— Шикарные были похороны убитых вами казаков! — с подчеркнутым восхищением начинает рассказывать он. — У Исаакия на панихиде были: и Керенский, и Церетели, и Скобелев, и Чернов. Венков — горы: всю площадь этим дермом завалили. Отпевал сам митрополит.

— Нельзя ль что-нибудь веселее?

— Веселее? Извольте! Керенский выжил, как вам известно, князя Львова из премьеров. Старый гриб подал в отставку. Граммофон хотел было сколотить какой-то свой собственный кабинет, но Бьюкенен на-днях его вызвал к себе и строго-настрого ему сказал: «Нишкни! Обопрись на здоровые элементы! Если наступление

ваше похабнейшим образом провалилось, умей хоть в точности выполнять, что советуют тебе друзья. Ллойд-Джордж и так уж теребит меня, чтобы я предъявил ультиматум против растущих у нас с каждым днем анархии, бегства и разложения. Пока не поставите вы у власти настоящие крепкие руки, мы ни одного шиллинга и ни одного патрона больше вам не дадим! Зарубите это себе на носу». Граммофон пощипал свою губу и побежал приглашать на министерские кресла — Набокова, Астрова и Кишкина. Те без санкции ЦК кадетов, разумеется, не согласились. Милюков же теперь по-профессорски колебнулся и думает так: поскольку-де Бьюкенен, повидимому, считает, что вышибать социалистов пока еще немного опасно и надобно легонькой коалицией осуществить предварительные необходимые для этого меры, то придется, должно быть, в этой временной коалиции немножечко поболтаться, но уж, конечно, без всяких там Церетели или Черновых, и за это время как можно скорее совсем прихлопнуть совдепы. Граммофон принципиально на все согласился. Поневоле теперь согласишься, когда в ставке все генералы намедни устроили ему бенефис и припечатали ультиматум: всю военную власть — исключительно главковерху, «Декларацию прав солдата» — к чертям, все комитеты с разными там комиссарами — в тартарары, целиком восстановить всю прежнюю дисциплину и распространить смертную казнь и на тыл. Граммофон и на это теперь согласился и назначил Корнилова главковерхом.

— Как, теперь, значит, Корнилов?..

— Да, Корнилов. Ну, это, батенька мой, мужчина сурьезный. Помесь казака и киргиза, а потому вдвойне православный: и как киргиза окрестили его, и как казака. Экстренно отдал сейчас приказ: «Всем военным — немедленно в строй! Никаких околачиваний в совдепах и комитетах. В случае неисполнения — расстрел». Этот, братец вы мой, завернет теперь так, что только держись. Видите, время работает неудержимо: седлается белая лошадь, начищаются колокола и литавры, отряхиваются хоругви, вытирается пыль с престола! О, мы еще увидим здесь с вами скоро такие дела!

— Если вы так горячо за Корнилова и, как говорите, теперь так всесильны, то почему же вы терпите еще этого Керенского?— интересуюсь выведать я у него потайные пружины всей их политики.

— А чорт его терпит! Терпеть я его не могу, — брызжет слюной Комиссаров. — Да и кому может нравиться этот визгляк Граммофон?!. Бьюкенен, дурак, еще держится за него. Вот в чем сейчас весь секрет! Эта английская лошадь все еще убеждена, что стоит только Керенскому снова поехать на фронт и раскрутить там свою пружинку, как очарованные полки, приплясывая и ликуя, помчатся вперед на врага и оттянут вильгельмовский пластырь от их

злополучного Ипра. Шотландская эта селедка не может просто понять, что никакие демократические пластинки больше теперь уж не помогут и надо как можно скорее генеральской железной рукой взнуздать и зажать в мундштуки взбесившуюся кобылку. Говорят, что генерал ихний, Нокс, тоже будто бы написал ему об этом из ставки. Но что прикажете делать? Терещенко сумел убедить этого лондонского кретина, что Керенский теперь диктатор и будет плевать на советы. Да и сам Граммофон теперь звонит направо-налево, что это он первый пустил кровь на фронте бунтовавшим полкам. Сейчас они вообще все из кожи вон лезут, чтоб всячески доказать за границей, что они революцию — к ногтю. Церетели вчера сам приказал Балашову накатать срочный циркуляр всем губкомиссарам, что, дескать, за бездействие власти будет гнать всех по шее, а за малейшее допущение земельных захватов — самих предавать их беспощадно суду. На заводах теперь тоже, слава богу, началось приведение в норму раздутых заработных ставок, а где не соглашаются со снижением, там заводик сейчас же — тютю, — на замок! Но всего этого мало! Надо ковать сталь, пока она горяча и мягка. Рябушинский с Родзянкой уже давно разработали программу всех действий, а с Корниловым согласовывал ее Пальчинский. «Военизация и осадное положение на всех заводах, железная норма выработки на каждый день, если кто фордыбачит — моментально на фронт, за бунты же и стачки — расстрел!» Это сразу бы освежило всю атмосферу. Ведь с заводов все и идет! Но разве Керенский и Церетели это поймут? «Несвоевременно», вишь! «Надобно немного повременить». А до каких же пор временить?! Пока чернь справится, обнаглеет и снова сядет на шею?! Чтобы сызнова стали орать здесь насупротив: «Вылетай-вылетай-вылетай!»? Тьфу! Что это я?.. Ни к чему это я... Совсем не то хотел вам сказать... Я про Керенского. Да, про Керенского... Сморчок он, а не человек! Вот если бы вы вместо своего никчемного зёва в эти июльские дни взяли бы да арестовали его, всей стране стало бы легче, ей-богу, бы легче!

Комиссаров устало вздохнул и вытер платком со лба пот.

— Ну, ничего, — подмигнул он решительно, — ему еще покажут. Еще как покажут! Не все такие простофили, как герасимовский кумир Милюков. Прилетел Граммофон намедни к Родзянке. «Так и так, дескать, пожалуйте, приезжайте всей Государственной думой на совещательное заседание в Москву». А Родзянко в ответ: «О чем же там еще совещаться? И без совещаний все, кажется, ясно: ни хозяйских промышленных прав, ни дворянских земель — не касаться; на фронте — всю власть генералам; советы — долой; полнейшее единение — с союзниками; правительство всезаново переформировать. Вот вам и вся наша программа. О чем же еще совещаться? Ни к чему. Пусть едет, кто хочет, а мы не поедем».

Граммофон туда-сюда покрутился. «Со всем этим, — пискнул, — согласен, но если все это сразу — вспышка будет. Нельзя так. Как раз для этого и надобно договориться. Пожалуйста приезжайте!..» Когда Родзянко на-днях рассказал это на своем совещании, депутат Масленников четко врезал: «Революцию делали мы. А к ней примазались предатели и проходимцы в лице каких-то советов. Гнать в три шеи всю эту сволочь! Только Государственная дума вправе решать вопрос о составе правительства!..» Пусть попрыгает теперь Граммофон... — И генерал снова весело и беззаботно расхохотался. — Недолго теперь, подпоручик, ждать нам осталось: того и гляди, нас с вами и выпустят скоро.

— «Нас с вами»? — отстраняюсь я, озадачившись столь нелепой концовкой.

— А зачем вас держать? — Комиссаров благодушно поправляет очки. — Вы малый толковый и рассудительный...

«Чего это он ко мне все подъезжает? — тревожно задумываюсь я. — Неспроста, ой, неспроста куда-то целит этот жандарм. Но куда?»

Тяжелая мысль, что вся эта черносотенная монархическая банда, крепко увязанная с магнатами торгового и помещичьего мира, усиленно подготовляет сейчас там на воле что-то зловещее и роковое, невыносимо угнетала меня, и я кусал ногти от досады и нетерпения, что меня до сих пор почему-то никто не навещает.

— Ну что? — стремительно я встретил жену на первом же свидании, — передала мою записку?

— Видишь ли, в Таврическом дворце ничего сейчас нет, — объясняет она, застенчиво опустив взор. — Все учреждения переехали сейчас в Смольный.

— Ну?

— Ну, и я не решилась. Говорят, что туда строгий пропуск: кто-де пришел, да куда, да к кому. Я боялась, как бы это все тебе сейчас не повредило.

Я не знаю, что вымолвить от досады и гнева. До боли закусываю губу.

— Если ты сейчас же, немедленно выйдя отсюда, не отнесешь в Смольный по назначению эту записку, можешь сюда больше никогда ко мне не являться. Понятно?

— Понятно, — шепчет она с тягчайшим испуганным вздохом, и слезинки прыгают у нее из глаз.

Мне становится жалко ее тотчас же нестерпимо.

— Ну иди же, иди, — говорю я ей ласково. — Ответ их ты мне передашь при следующем посещении.

Жендзян попрежнему либо торчит весь день за книгой, либо копается в груде газет.

— Знаешь, — говорит он мне, не отрываясь от чтения, — а ведь вциковскую-то комиссию, назначенную для наблюдения за пра-

вильностью следствия по нашим делам, действительно распустили!.. Теперь наше дело пойдет непосредственно в суд. Не сказано только тут в какой: гражданский или военный.

— Безусловно в военный! — с злорадством отзывается со своей постели мичман Андреев.

— Да, — отвечает Жендзян своим собственным мыслям, — все теперь распускают. Финляндский сейм вон тоже распущен. Ковригин правильно тогда предостерегал... И вообще, что только кругом ни творится!.. Против железнодорожников издан приказ: не только что за забастовку, но за малейшее пустячное неповиновение или за агитацию к нему — к суду — по законам военного времени. Завинчивают, что и говорить, наглухо.

Я молчу.

— А знаешь, что пишет Рожков в «Новой жизни» про ваш большевизм? — снова обращается он ко мне. — «Ленинство, — говорит он, — происходит не от веры в революцию, а от полного в нее неверья... Большевикам-де реакция и буржуазия кажутся необычайно злобными и сильными, а революцию они считают совсем хилой и слабой... Отсюда и стремление их — сейчас же, немедля начать социалистическую революцию в нашей отсталой крестьянской стране, чтобы этим путем раскачать давно уже обуржуазившийся, утративший всякую революционность западно-европейский пролетариат». Вот, поди ж ты!..

— Это пишет Рожков, говоришь ты? В «Новой жизни»? — обрываю я его резко. — А мне показалось, что это дословно списано у Ноя Жорданья. То, о чем мне уже проповедывал здесь, кажется при тебе, «пускатель шкур дымом», холеный лейтенант. Ты Андрееву вон лучше дай почитать эту «Новую жизнь», — она ему пригодится.

— Я знаю, субчики, что мне читать, — сердито рычит Андреев.

— Чего ты сердишься? — поднимает на меня удивленные брови Жендзян. — Ведь это же не я, а «Новая жизнь» пишет.

— А не ты ли мне тут как-то советовал, — продолжаю я издеваться, — что не надо лететь со всех ног к социализму, что надо-де сделать привал?..

— Насчет социализма я ничего пока тебе не говорю, — бунчит Жендзян себе под нос, — но вот генералы — эти действительно лезут теперь на дыбы. Вот московское «Утро России», Рябушинского орган, печатает совсем наглые вещи! Ты прочти-ка: «Не ораторскими приемами, не маниловскими речами можно ввести русскую жизнь в нормальное русло». Это, должно быть, снова выпад против Керенского. «Кто другой так мучительно нужен для работы над спасением гибнущей армии и с нею вместе и родины, как не военные народные генералы, украшенные крестами!» Каково?!.

— Прррекрасно сказано! — вызывающе рявкает со своей постели Андреев. — Прррекрасно написано! Генеррралы, увешанные крррестами!.. Вот именно. Только они смогут поставить вам, субчикам, осиновый крррест. Что вы выпучили глаза? — заносчиво фыркает он, вскакивая с постели и подтягивая рывком сползшие было брюки. — Какой вы части, господа офицеры? Не командиры ль вы славного дезертирского шестьсот седьмого панически Млыновского полка?! — нагло заливается он злобным смешком. — Не вы ль сиганули сейчас с ним вместе сюда от самого Баткув-Манаюв, бросив окопы и открыв зияющую брешь во всем фронте?! О, вашими большевистскими дезертирскими подвигами переполнены сейчас все газеты! Итак, вы млыновцы?!. Лейтенант унд сублейтенант фон дер Млынофф! Кайзер вам еще не навесил благодарственных своих крестов?!. Прравильно заявил нынче главный наш комитет Союза офицеров армии и флота: «Большевикам-офицерам — немедленно же беспощадная смерть!»

— Полегче вы, тварь! — рявкает Жендзян, приподнимаясь.

Мичман Андреев чувствует ясно, что теперь он здесь уже в меньшинстве. Только один, еще оставшийся здесь, артиллерийский капитан, по фамилии Егупов, присланный сюда с фронта Ино, слушает его, но он никогда не вмешивается в разговор и ведет себя приниженно-тихо. Поэтому мичман Андреев шумно вздыхает и, пожевав досадливо губами, снова садится к себе на кровать.

— Не понимаю, — все же ворчит он, еще не сдаваясь, — зачем большевистскую эту заразу гонят отсюда на фронт? Ведь их тысячи сейчас отсюда угнали! Воображаю, какие митинги они там разводят теперь. Братанья!.. Вон сегодня, слава те богу, Луначарского с Троцким наконец-таки арестовали! Что ж, так и их тоже туда, на фронт?!. Фронтовыми гоф-митинг-мейстерами его высочайшего кайзерского двора?!.

— Сссука! — шипит Жендзян, и Андреев тогда умолкает.

— Зачем вы арестовали Луначарского с Троцким? — задаю я прямой вопрос Комиссарову при первой же с ним встрече.

— А мы тут при чем! — насмешливо фыркает он. — Зачем нам ваш Троцкий? Слишком много для него чести, по-моему, что его арестовали.

— Не хитрите со мной, генерал. Не может этого быть, чтобы ваш Балашов и Демьянов не были в курсе этого дела.

— Ну, мало ли кого они там теперь напоследок сдуру хватают! Остер, должно быть, был на язык, вот и посадили. А может быть, Керенский это. Выклянчил он у Милюкова, чтоб тот его поддержал. Божился и клялся ему, что не только не будет оглядываться на совдепы, но и сам их разгонит, дайте ему только срок. И что всех не только большевиков, но и большевиствующих крикунов засадит теперь за решетку. Вот, должно быть, теперь с них он и на-

чал. Не шутите, — насмешливо хмыкнул толстым носом рыжий охранник, — Граммофон теперь председатель нового кабинета и воображает, что он полный диктатор! — «Я полагаю, — декларирует он теперь, — вынул жандарм из кармана клочок какой-то газеты и подслеповато начал его читать, почти скользя по буквам своими очками, — что дело спасения родины и республики...» Республики?!. Идиот! «... требует забвения партийных распрей и самоотверженной...» Хм-хм, вот! «...Вместе с тем я, как глава правительства, нахожу неизбежным ввести изменения в порядок и распределение работы правительства, не считая себя вправе останавливаться перед тем, что изменения эти... увеличат мою ответственность в делах верховного управления...» Верховного управления! Скажите на милость. Божией милостью мы, Александр Четвертый, император и самодержец всея Руси! Задний огузок для этого тощ! Хоть уже и залез в императорские хоромы. Не такая по нашему трону сидячая плащаница нужна...

— Чего вы на него этак взъелись? — усмехаюсь я. — Ведь он же для вас теперь все выполняет.

— Выполняет? — вскипел, брызжа слюной, Комиссаров. — В том-то и дело что ни черта не выполняет и выполнить не в состоянии! Понасажал к себе в министры сейчас Прокоповича да Кокошкина с Карташовым и уже думает, что это все. Нет, батенька мой, далеко это не все. Это вообще еще — ничего. Так — тьфу! Плевок, — генерал сплюнул и размазал ногою плевок по ковру. — Министром внутренних дел теперь сделал Авксентьева. Ну, этот, кажется, еще ничего. Балашов говорит, что мужик понятливый и крепкий. Посмотрим. Церетели Граммофон теперь убрал. Назначил его вроде как бы обер-прокурором святого совдепа. Уверяет, что он, когда будет то нужно, без осечки прихлопнет совдеп. Поглядим. На военное министерство посажен полуофициально Савинков. Но ведь это же бывший террорист! Как можно ему поручать военное министерство?! Правда, Корнилов и Алексеев теперь заверяют, что он исправился на двести процентов. Но все ж это риск... На юстицию посажен Зарудный. Но ведь это же путаннейшая голова! И почему непременно Зарудный? Потому что в дружбе с Керенским и вместе волочатся за актрисами?! А почему не назначили нашего Демьянова?.. Бестолочь, а не диктатор! И этак решаются государственные дела!.. А земледелие?! Туда, видите ль, снова назначен Чернов! Вы понимаете ли: снова Чернов!! Там, по деревням, сейчас чорт знает что только творится: мужичье распоясалось и пускает по дворянским усадьбам красного петуха. Тут нужно было б, пока не поздно, беспощадно стрелять, а вы посудите: ну, какой же стрелок из Чернова?! Тогда уж Церетели лучше было бы посадить! Этот, по крайней мере, при Балашове по этой части немного во вкус входил. А то нате, снова Чернов, ко-

торого мы всего лишь несколько дней назад путем разных пущенных про него слушков еле-еле свалили! И ведь обещал же всем нам Граммофон, что больше духу не будет Чернова! И что же? «Не могу, — говорит, — я все этак сразу. Как-никак, он ведь в лидерах нашей партии состоит, а ведь я социалист-революционер. Повремените, — говорит, — немного, он ведь пока будет лишь числиться номинально, а потом я и сам его не только что выпихну, а если надо будет, то и в Кресты законопачу!» Болтун, прощалыга! Все — годить и годить. Пока чернь окончательно не обнаглеет?! Нет, сейчас на открывшемся съезде кадетов... Вы заметили, как Герасимов нынче именинником ходит?—фыркнул опять генерал.— Так на съезде партии нашей рев намедни стоял, чтоб убрать сразу же к чорту Керенского. Но Милюков, как обычно, сминдальничал: «Да, — говорит, — конечно, он неустойчив, восемнадцатого июня большевикам демонстрацию разрешил, помог им сплотить свои ряды, но зато он ведь тут же и выправился: во-первых — наступлением на фронте. За это, дескать, ему все можно теперь простить. Во-вторых — твердым курсом после третьего июля». Но какой же это, спрашивается теперь, твердый курс?!. «Зато, — говорит,— он нам обещал ликвидировать мирно совдепы... Вот, конечно, если-де большевики вновь появятся на улицах Петрограда...»

— Большевики на улицах Петрограда?!. — охватывает вдруг меня радостная нервная дрожь.

— А что ж, вы думаете? — ехидно прищуривается на меня Комиссаров. — Вы что ж, не работаете?!. Мм-м, — насмешливо мычит он. — Как вы ни скрытничаете, а мы очень много знаем. Шила в мешке не утаите. Ваш Ленин роет под нас в своем подпольи, не покладая рук. Не понимает того, чудак, что все это совершенно напрасно. Все это впустую. Ну, посудите вы, человек рассудительный, трезвый, разве сможете вы управлять таким огромнейшим государством?! В таком отчаянном мировом переплете! Да кто вам денег-то прежде всего, позвольте вас об этом спросить, на это даст? В лучшем случае, вы надуетесь, но тотчас же сникните, как резиновый «умирающий» чортик. И вот тогда мы неизменно выступим на арену. И как досадно, что вы, большевики, такие отличные умные головы, упрямо не понимаете этого неизбежного для вас конца! Вы думаете, ваш Ленин простак? О, как бы не так! Вот взгляните, что он теперь про нас изволит писать.

Генерал вынимает из внутреннего кармана аккуратно сложенную газетку. «Листок Правды», — читаю я заголовок.

— Посмотрите-ка здесь вот это, — протягивает мне Комиссаров газетку, ткнув толстым ногтем в обведенное красным карандашом место.

«Закулисная контрреволюция — вот она, как на ладони, — читаю я про себя, нервно, весь трепеща от радостного изумления. —

Это кадеты, известные круги генерального штаба («командных верхов армии», как сказано в резолюции нашей партии) и подозрительная получерносотенная пресса. Вот кто не бездействует, вот кто «работает» дружно, вместе, вот та среда, из которой питается обстановка погромов, попытки погромов, выстрелы манифестантов и так далее и так далее. Кто не закрывает себе нарочно глаз, дабы не видеть истины, тот пребывать дальше в заблуждении не может...»

— Прочитали? Нравится? — убирает от меня Комиссаров газетку снова в карман.

— Нравится, — отвечаю я с искреннейшим восторгом.

Образ стойкого вождя снова встает передо мною таким, каким я его видел, когда я с ним говорил. Чуть картавый уверенный говорок, золотистое обрамление сияющей головы, глаза ласково вдумчивые, острые и живые. «Да, это Ленин, это наш несокрушимейший Ленин, про которого я так посмел...»

Должно быть, тень отчаянной грусти скользнула по моему лицу и заставила Комиссарова насторожиться.

— Откуда вы взяли эту газету? Как вы это все достаете? Нельзя ли и мне...

— Но ведь вы ж меньшевик-интернационалист?! Вы — петезе!— колыхаясь животом, принялся насмехаться он надо мной. — А ведь неплохо написано! — закончил вдруг он благодушно и стал платком протирать снятые свои очки. — И главное — в самую точку. Что там ни говори — умнейшая голова!.. Вы видите, как нам необходимо за ним следить. Вот для этого мы и достаем все ваши писания. Как? Очень просто. У того же газетчика, что приносит сюда по утрам к нам газеты. Ведь это же наш старый, наш охранный газетчик! Ему только мигни, он — откуда и что — разом же все раскопает и принесет. Вот что значит иметь под рукою годами сколоченный, уже готовый свой собственный аппарат! А вы что, интересуетесь?.. Ну что ж, я скажу ему утром. Можно будет устроить, чтобы он и вам это все доставлял. Только не верю я, что все это вы уже не имеете. Небось, хитрите?..

«Может быть, это плохо, что я так охотно выспрашиваю обо всем Комиссарова? — невольно задаю я себе строгий вопрос. — Но почему ж это плохо? Не будь Комиссарова, я бы очень многих потайных пружин этой всей камарильи ни за что б не узнал. А врага надо знать и изучать досконально. Тем более что я все это при первом же свидании в наше ЦК передам. Почему только до сих пор никто оттуда ко мне не приходит? Неужели жена не доставила моей записки?.. Странно также, почему Комиссаров так охотно обо всем этом мне сообщает? Какая у него цель? Так, из-за отсутствия других собеседников? Ради скуки? Не может этого быть. Он опытный обер-шпик и матерой прожженный охранник. Но тогда ради чего? Я взглядов своих перед ним не таю и, разумеется,

никогда и ничего о наших делах не сообщаю. Да он и не спрашивает. Тогда ради чего?»

С этим внутренним настороженным беспокойством начинаю разворачивать пачку наших большевистских газет, которые я теперь, спустя несколько дней, раздобыл через этого газетчика. Это выходящий ныне — взамен «Правды» — «Рабочий и солдат», да и то не все номера. «Листка «Правды» достать уже не удалось. Но и то, что я здесь с таким захлебом читаю, — какая четкость, какая ясность и простота! И какая несокрушимейшая непримиримость! Какая тщательная, трогательнейшая заботливость об интересах рабочих, крестьян и солдат! Да, это — большевизм. Настоящий, ленинский большевизм!

Вот резолюция совещания ЦК и ПК и нашей военки, и московских организаций, принятая еще тринадцатого июля, но напечатанная в № 1 только сейчас. Здесь сказано и про неспособность правительства удовлетворить насущные нужды страны, и про стихийность июльского взрыва, в который партия должна была вмешаться, чтоб не бросить народные массы на произвол, и про предательство меньшевиков и эсеров, и про мобилизацию помещичье-буржуазных сил контрреволюции, с которыми социал-предатели ведут сейчас позорнейший торг, сдавая февральские революционные завоевания одно за другим. Падение советов, воскрешение Государственной думы, закрытие наших газет, аресты и расправы, военно-полевые суды, смертная казнь — вот плоды. Здесь сказано и про то, что и новое правительство, прикрывшееся лживою маской «спасения революции», не может дать ничего: ни мира, ни хлеба, ни земли, ни спасения от полной разрухи; и что только власть пролетариев и крестьян сможет все это дать и вывести страну из гибельного тупика. Здесь сказано и про то, что разоблачение всех контрреволюционных шагов черносотенцев и социал-подхалимов является сейчас важнейшей задачей в целях подготовки и сплочения боевых народных масс.

— А ты говоришь, что «привал»! — перебрасываю я газету Жендзяну.

А вот в другом номере — пламенное воззвание партии ко всем рабочим и солдатам.

«Либо продолжение войны, наступление, неизбежная диктатура контрреволюционной буржуазии в целях расправы и получения внешнего займа, либо — власть рабочих и неимущих крестьян, мир, земля, рабочий контроль по заводам и спасение хозяйства страны за счет отнятых от капиталистов и помещиков барышей».

Как крепко раскрыта здесь сущность всех контрреволюционных правительственных махинаций кадетов, эсеров и меньшевиков!

А потом: «спасение хозяйства страны за счет отнятых от капиталистов барышей». Но ведь это же начало социализма! Ведь это же развертывание уже социалистической революции, а не буржуазной!

«Эти господа рассчитывают, очевидно, расстроить наши ряды, посеять между нами сомнения и растерянность, развить недоверие к нашим вождям.

Жалкие! Они не знают, что никогда еще не были так дороги и близки рабочему классу имена наших вождей, как теперь, когда обнаглевшая буржуазная сволочь обливает их грязью.

Продажные! Они и не догадываются, что чем грубее клевещут буржуазные наймиты, тем сильнее любовь рабочих к вождям, тем безграничнее их доверие к ним, ибо они знают по опыту, что когда враги поносят вождей пролетариата, это — верный признак того, что вожди честно несут свою службу пролетариату».

Какая крепкая и режущая по сердцу острая правда!

«А вы, господа капиталисты и помещики, банкиры и спекулянты, попы и контрразведчики, все вы, кующие цепи народов, — слишком рано торжествуете вы победу, слишком рано принялись вы хоронить Великую русскую революцию.

Революция живет, и она еще даст о себе знать, господа могильщики.

Война и разруха идет, — и не дикими репрессиями излечить наносимые ими раны.

Подземные силы революции живут, ведя неустанную свою работу по революционизированию страны.

Крестьяне не получили еще землю. Они будут бороться, ибо они не могут жить без земли.

Рабочие не добились еще своего контроля на заводах и фабриках. Они будут биться, ибо промышленная разруха угрожает им безработицей.

Солдат и матросов хотят отбросить назад, к старой дисциплине. Они будут бороться за свободу, ибо они заслужили свободу...

А там, на Западе... разве там уже не организуются советы рабочих и солдатских депутатов?

Будут еще битвы!

Будут еще победы!

Все дело в том, чтобы достойно и организованно встретить грядущие битвы.

Рабочие! На вас выпала почетная роль вождей русской революции. Сплачивайте массы вокруг себя и собирайте их под знамя нашей партии. Помните, что в тяжелые минуты июльских дней, когда враги народа стреляли в революцию, партия большевиков была единственная, которая не покинула рабочих кварталов.

Помните, что в те тяжелые дни меньшевики и эсеры были в лагере тех, кто громили и разоружали рабочих.

Под наше знамя, товарищи!

Крестьяне! Ваши вожди не оправдали ваших надежд. Они поплелись за контрреволюцией, а вы остаетесь без земли, ибо пока господствует контрреволюция, вам не получить помещичьих земель. Рабочие, вот ваши единственные верные союзники.

Только в союзе с ними добьетесь земли и воли. Сплачивайтесь же вокруг рабочих!

Солдаты! Сила революции в союзе народа и солдат. Министры приходят и уходят, а народ остается. Будьте же всегда с народом и боритесь в его рядах!

Долой контрреволюцию!

Да здравствует революция!

Да здравствует социализм и братство народов!»

«Как глуп, как беспомощно хлипок и позорно тщедушен я был, если во мне стальным стержнем до сих пор не сидела вот эта большевистская установка! — думаю я с горечью о себе. — Какая здесь дышит железная вера в торжество нашей великой, гигантской борьбы!»

— На! — говорю я Жендзяну. — Прочти, милый, и это. Здесь не твоя лево-эсеровская бесхребетная размазня. К тому же это даст тебе установку в понимании новожизненских плаксивых статей Рожкова.

Я разворачиваю теперь новый номер — с огромной статьей «Начало бонапартизма». Кто это пишет? По стилю похоже, что Ленин. Ну, конечно же Ленин! Жаль, что подписи нет.

«Министерство Керенского несомненно есть министерство первых шагов бонапартизма... лавирование опирающейся на военщину (на худшие элементы войск) государственной власти между двумя враждебными классами и силами, более или менее уравновешивающими друг друга...

Буржуазия рвет и мечет против советов, но она еще бессильна сразу разогнать их, а они уже бессильны, проституированные господами Церетели, Черновыми и К°, оказать серьезное сопротивление буржуазии...

От начала французского бонапартизма в 1799 и в 1849 годах русский бонапартизм 1917 года отличается рядом условий, — например, тем, что ни одна коренная задача революции не разрешена. Борьба за разрешение земельного и национального вопроса только еще начинает разгораться.

Керенский и контрреволюционные кадеты, которые играют им, как пешкой, не могут ни созвать в назначенный срок Учредительного собрания, ни отсрочить его созыва, не углубляя

в обоих случаях революции, а катастрофа, порождаемая загниванием империалистической войны, продолжает надвигаться с еще гораздо большей силой и быстротой, чем прежде...

Россия с замечательной быстротой пережила целую эпоху, когда большинство народа доверилось мелкобуржуазным партиям эсеров и меньшевиков. И теперь уже начинается жестокая расплата большинства трудящихся масс за эту доверчивость».

«Расплата, жестокая расплата! — бормочу я уже про себя, глядя в раскрытое окно поверх железных сухих, пыльных крыш на голубое далекое небо. — Расплата не только за доверчивость мелкобуржуазным кликушам, но и за пакостное, дрябленькое недоверие в революционную несокрушимую силу масс, расплата за недоверие в победу великого большевизма!»

— Ну, погоди же! — вскакиваю стремительно я с постели и со стиснутыми зубами говорю это вслух, грозя кому-то кулаком на окно.

И Жендзян и Андреев глядят на меня недоуменно.

— Что ты сделала? — спрашиваю я жену при следующем свидании. — Передала ты записку?

— Ну, конечно же, передала, — отвечает она обиженно. — Как я измучилась одна без тебя, а ты так неласков!.. Разыскала я в Смольном комнату фракции большевиков. Народу в ней мало. Спросила: «Кто тут главный?» Весело так переглянулись. «Никого, — говорят, — главных здесь нет. А в чем дело?» Взяли записку твою, прочитали. «Ладно, — ласково так сказали, — идите успокойте товарища, скажите ему, что скоро к нему придем. Работы уж очень много, а народу, видите: горсть... И все же придем, придем непременно». — «Как фамилия ваша?» — спросила. Ответил: «Борис Шумяцкий».

— Не слыхал я такого. Ну, ладно, будем ждать.

— А уж жизнь какая страшная теперь стала, — вздыхает жена. — На улицах всюду пьяные... Никогда не было раньше такой массы пьяных. Зевают, охальничают, поножовщина всюду, драки, стрельба.

— Откуда ж стрельба? Ведь у населения отобрано сейчас все оружие.

— А вот поди ж ты. И, кроме того, кругом на улицах и в очередях темные толки: «Вот-вот скоро будет всеобщий погром. Перебьют всех большевиков и евреев. Это, — говорят, — из-за них продовольствия никакого не стало, и немец на нас теперь прет». Ты представь, даже в вагонах на стенках прокламации клеют: «Бей жидов и спасай мать-Россию!»

«Эге, — думаю я, — работает генерал!»

А генерал Комиссаров последние дни действительно стал как-то воинственней и бодрее, хоть и вообще-то никогда не унывал.

— Ничего, дело идет хорошо! — встречает теперь он меня, весело потирая свои волосатые пухлые руки. — События-с нарастают! — подмигивает он лукаво. — Читали? Съезд казачий в Новочеркасске. Резолюцию-то какую отчубукнул! «Попрежнему-де анархия, разложение... а посему казачество открыто сейчас призывает все здоровые элементы городской и земской России повсюду сорганизоваться и подняться всем! — рубит по воздуху генерал кулаком, — всем враз, как один, вместе с казачеством для установления единой сильной национальной власти в России. Железная дисциплина! Учредилку — только в Москве и не ранее как через год. И никаких чтоб больше реформ. Дореформировались — хватит!» Ха-ха-ха! — ликующе заливается генерал. — А намедни здесь в Питере грандиознейшее было собрание всяких офицерских и патриотических союзов, военных там лиг и прочих арапов. Признали: «В разгроме на фронте советы виноваты больше, чем Ленин». Постановили: «Приветствовать главковерха Корнилова телеграммой, как единственного вождя всей страны!»

— Зачем вы рассказываете мне все эти арапские сказки? Все еще грезите о диктатуре одной голой сабли над всею страной?! — пожимаю я сурово плечами.

— Как это — одной голой сабли? Нет, это будет наша, кровная диктатура! — похлопывает мощно себя охранник в широкую мясистую грудь. — А осуществлять будем ее при помощи сабли. Тут, батенька мой, сейчас все заинтересованы в этом. Во-первых, Бьюкенен, — заложил генерал на руке один палец, — Ллойд-Джордж его очень торопит с ликвидацией анархии на нашем фронте. Керенский привести фронт в порядок не смог. — Во-вторых и третьих, — заложил Комиссаров еще два пальца, — это помещики и фабриканты. Что ж, будем мы ждать, пока мужики перепалят все наши поместья? Будем ждать, пока рабочие снова выйдут на улицу, осатанев из-за намеченной сейчас экстренной эвакуации из Питера почти всех заводов? Нет, ждать мы не будем и не хотим! Молодчага купеческий вождь белокаменной первопрестольной Москвы Рябушинский! Он вчера там на их Торгово-промышленном съезде так правду-матку и врезал: «Сейчас-де у нас не правительство, а шайка политических шарлатанов. Советские лжепророки ведут к гибели весь народ, а на нас налагают налоги. Нет, мы не станем больше платить! Пусть костлявая рука голода схватит за горло новоиспеченных друзей народа!..» И-эх!.. да пусть развернется во всю ширь стойкая натура купеческая! — лихо притопнул Комиссаров ногой. — «Люди торговые, надо спасать землю русскую!» Эдакий молодец! — восторженно хлопнул себя по грудям Комиссаров и хищно скрючил и вытянул пухлые пальцы. — «Схватит

за горло костлявой рукой» — цепко сказано! Понимает толк, купчина, в энтих вешшах. Вот видите, куда все идет?! И вы думаете, Сашка Керенский этого не понимает? Не предвидит естественного хода событий? Отлично видит и понимает. Третьего дня, по настоянию нашему, им лично отправлен в отдаленное спокойное место на восток, — а куда, я пока вам, разумеется, не скажу, — миропомазанник божий со всем его священным семейством. Сами должны понимать, здесь сейчас неспокойно, а особливо в предвидении окончательного катабалыка. И Керенский понимает, что не на вешалку же тогда вешать корону, если еще сидит кое у кого более привычная для этого башка на плечах. Но что затем делает сам Граммофон?.. Вместо того чтоб по-добру по-здорову скорее убраться, оп придумывает теперь, как бы свалить сейчас Корнилова из главковерхов. Да только руки у него коротки. Савинков уже успел предупредить об этом ставку. Пусть попробует сунуться туда теперь. Но это еще что! Вы представьте: выпустил сегодня Каменева на свободу. «Совдеп-де этого требует». Не в Каменеве, конечно, тут дело. Каменев у вас сопляк! Но важна тут принципиальность!

— Что ж, значит, вы и меня бы тоже не выпустили? — задаю я ему вопрос прямо в лоб.

— Вас? — замирает вдруг Комиссаров на полуслове. — Да, пока что я не выпустил бы и вас, — оглядывает он меня строгим взглядом. — Если бы только...

— Что — «если бы только»? — с гадливостью и презрением дерзко прищуриваюсь я на него.

— Если б... — ловит он мой взгляд. — Но об этом в другой раз. Зачем скакать? Еще успеем наговориться. Поспешность нужна только при ловле блох! — закатывается он самодовольным смешком.

— Михал Степаныч, — растерянно озираясь, озабоченно подбегает к нему щупленький человечек с рыжеватой щетинкою на лице и с заплатанными локтями на засаленной серой визитке. Бумажный воротничок давно уже сморщился и пожелтел от засохшего на нем пота. — Михал Степаныч, — конфузливо оглядывается он на меня. — Выручьте, ради бога! Жена тут сейчас приехала из Москвы. Дома нет ни копейки. Детишек, сами знаете, сколько. Все голодают. Одолжите по крайней мере хоть четвертной билет.

— «Одолжите», — благодушно передразнивает его Комиссаров. — Я чуть ли не каждый день вам «одолжаю». Что у вас там: бездонная бочка?

— Что вы, Михал Степаныч, — умоляюще складывает тощие ручки щупленький человечек. — Где ж это «каждый день»? Только на прошлой неделе вы последний раз мне немножечко дали.

— Видали? Тип! — добродушно подмигивает мне на него Комиссаров, доставая из-под кителя бумажник. — Как, вы еще не

знакомы? Позвольте представить: знаменитый московский погромщик, он же правая нога доктора Дубровина — шут гороховый Васька Орлов!

— Ах, Михал Степаныч, вечно вы шутите, — подобострастно кривится тот, глаз не спуская с выползающего из бумажника хрустящего четвертного билета.

— Пиль! — бросает ему билет Комиссаров в лицо, и Орлов мертвой хваткой стискивает его на лету цепкой рукою. — Ну, куда ж ты? — останавливает он его за плечо. — Еще успеешь с бабой своею наговориться. Давай лучше споем мою песенку!

И, приплясывая мелкой, мышиной рысью, этот грузный жандармский битюг начинает мурлыкать баском циничнейшие куплеты:

Возьму Дуньку из б . . дели
И вступлю в законный брак,
А на будущей неделе
Мы откроем свой б . . . . к!
Станем делать мы детей:
Офицеров и . . . . . .

Он уходит подпрыгивающей, плясовою раскачкой, крепко прижав к себе под бок съежившегося Ваську Орлова.

Я возвращаюсь к себе в комнату. Жендзян озабоченно поднимается ко мне навстречу.

— Знаешь, статьи сотую и сто первую? — а ведь по ним нас и судят, — сейчас опубликовали уже в новой редакции. Вместо прежнего «самодержавия» подставлено просто «предержащая власть». И по обеим теперь грозит одинаково и неизменно — смертная казнь.

— Ну?

— Не кажется ли тебе, — потерянно спрашивает Жендзян, — что реакция потому лишь наглеет, что опять большевики снизу прут? Ведь если, скажем, в низах было бы тише и глаже, то и контрреволюция не имела бы оснований...

— Тишь и гладь зависит от удовлетворения народных интересов, а свирепость реакции — от ее аппетитов. Так мне кажется, — отрезаю я резко. — А тебе?

— Да и мне... тоже, пожалуй... так кажется, — говорит он задумчиво-примиренно и затем решительно вскидывает на меня летящие свои глаза.

«Так вот каковы генералы! — с ужасом и омерзением думаю я. — Работают, подлецы, на-славу. Как прав Ленин!.. А я?» И сразу тут стало остро понятным, что уйти от себя, спастись от стыда, от презрения к себе и отчаяния уже никак невозможно, как невозможно задним числом изменить, исправить, вычеркнуть вовсе из жизни событие, вызывающее это отчаяние. Спасение было

только в полном отрешении от себя, от своего хлипкого, прежнего мироощущения. «И нечего цацкаться больше с личной трагикомедией лишнего, неприкаянного человечка. Покончить с собой, хрястнув башкой о стену? — это не выход. Нет, надобно решительно и до конца уничтожить свое прежнее, дрябленькое, глупенькое нутрецо, переродиться в настоящего большевика, чтобы активнейшим делом помочь огромнейшим угнетенным трудящимся массам». Волосы мои в ужасе шевелятся, когда я невольно оглядываюсь на этот угрожавший мне бездонный провал. «Ну, хватит! Будем теперь смотреть только вперед. Пусть преждевременно не торжествуют все эти хищные паразиты. Мы еще сумеем забить им в жирную спину большевистски отточенный крепкий кол».

34. СТАЛЬ БОЛЬШЕВИЗМА

С восторгом вглядываюсь в знакомые мне черты солдата Горшкова, так нежданно пришедшего вдруг меня навестить. Легонькая улыбочка застенчивости и дружелюбия заплуталась сейчас на его веснущатом юном лице. Но вот он вскидывает на меня взгляд своих светлокарих солнечных глаз, и эта улыбочка пропадает. Он нерешительно мнет в руках вылинявшую фуражку и вновь опускает глаза.

— Хотел было посоветоваться с вами, да вроде как не знаю, с чего начать, — осмеливается он наконец. — В комитете-то нашем никого ведь сейчас не осталось. Офицеры пропали, разъехались. Новикова — арестовали. Вот и уцелел, выходит, вроде как я один... — снова — застенчивая тепленькая улыбка, — а делов-то ведь!.. — тут он взмахивает фуражкой и хмуро вздыхает. — А разве можно сейчас давать всему нашему делу развал? Ни в коем случае нельзя этого допускать! Ох, и набегался я этот месяц, ровно как заяц. То в одной команде ночуешь, то в другую заскочишь. А разговоры ведешь только с глазу на глаз где-нибудь под березкой, да и то, чтоб никто не подслушал да не подглядел. Расстройство большое, конечно, было сначала... Эх, не так этто все сложилось! — укоризненно взглянул он тут на меня. — Особливо тогда в манеже... Но, одначе, дружные ребята пооставались, а потом и вовсе все обошлось. Как первая эта смута прошла, поясненье большое во всех солдатских мозгах началось. Филиппович, поди чай, об этом не думал! — ухмыльнулся Горшков горделиво. — Начали было они наши команды пачками на фронт отправлять, ну а теперь — дело стоп. Уперлась теперь вся братва и ни в какую: не поедем-де мы никуда да и только! Филиппович, рассказывают, подметное письмо получил: «Как отправишь, дескать, еще хоша бы одну команду, так и знай — быть тебе, стервецу, с простреленной головой!» Отправки враз прекратились. Вот, — развертывает

он, бережно достав из кармана напечатанную на машинке бумажку, — резолюцию я вам нашу принес. Приняли ее мы теперь почти уж на всех наших командах единогласно. Вы прочтите, может она как вам и пособит. Пишем мы здесь, что в демонстрациде не участвовали, а проторчали маленько на Балтийском вокзале; арестовали же вас всех незаконно и по злобе темные лица, которые и допрежь клеветали на вас, а поэтому требуем немедленно вашего освобождения безо всяких надзоров или залогов, а под честное слово революционеров, честно боровшихся против всяких посягателей на народную свободу. Эх, товарищ, кабы вы да поскорей выходили, большие еще дела можно сейчас развернуть!

С гордостью смотрю я на Горшкова. Какая бодрость! Какая вера в победу! Какая самоотверженная большевистская крепость!.. Как непохоже все это на паническую слезницу Племянникова! Неужели тот зря мне все страхи здесь наболтал?..

— Ездил я как-то тут с некоторыми нашими ребятами, — продолжает рассказывать мне Горшков, — в Питер на совещание фронтовых делегатов с рабочими. Вот уж где, действительно, глаза у нас во как раскрылись! Брешут, оказывается, все газеты, грязный поклеп возводят против солдат генералы. Взять хоть, к примеру, шестьсот седьмой Млыновский полк, уж как только о нем ни писали: и трусы, дескать, и дезертиры, и предатели, и шпионы. А на деле что получилось? Целых пол-дня держал под ураганным огнем артиллерии и бомбометов позиции свои шестьсот седьмой Млыновский полк. Приказ был получен им — к восьми часам утра отойти. Это генералы отдали такой приказ, но полк не отошел. И вот из восьмисот солдат и пятидесяти четырех офицеров осталось в живых к полудню всего только сто четырнадцать солдат при двенадцати офицерах. И только тогда они отошли. Штабные про это все документы показывал фронтовик, и вся, говорит, Шестая гренадерская их дивизия таким же манером сражалася и умирала. И что же солдаты теперь промеж себя говорят? «Продавали, — говорят они, — нас при царе генералы, продали они нас и теперь, да нас же еще и наказывают за это!..» Вот что думает сейчас фронт! — веско подытоживает Горшков, почесывая свой золотистый вихрастый затылок.

— А как же эти фронтовики? — нерешительно мнусь перед ним я. — Фронтовики, что прибыли сюда на усмирение?

— А, пустая шпана! — небрежно отмахивается Горшков. — Какие они фронтовики? Так — в резерве стояли. Да и теперь, как питерского воздуха здесь нюхнули, не то уже говорят. Вот через это сейчас озлобленье в генералах и растет! — усмехнулся он весело и лукаво. — На что только не пускаются теперь, подлецы! К примеру, про вас слушок они такой по Ораниенбауму распустили, будто Громыке, что ли, вы там написали, что, дескать,

«я уже не большевик и вроде как с вами во всем согласен...» Ну, конечно, наши солдаты на все это только смеются. Вали, дескать, обливай его грязью. Нам слушать вашу брехню не впервой.

Я порывисто дышу, закрыв глаза, стиснув зубы, готов провалиться сквозь землю. Горшков, должно быть, удивленный моим поведением, смолк и глядит на меня.

— Да, Горшков, — виновато вздыхаю я, подняв и тотчас же опуская глаза. — К несчастью... к несчастью... случилось такое грязное дело. До того меня здесь довели, — пытаюсь робко я оправдаться, — что написал я вроде этого подлое ему отсюда письмо.

Горшков молчит. Молчит чугунным, тяжелым молчанием.

— В этом я очень, Горшков, чувствую себя виноватым и очень мучаюсь этим теперь, — честно поднимаю я на него свои глаза.

И тогда Горшков свои опускает, и болезненная судорога пробегает у него по щекам возле рта.

— М-да, — говорит он как-то растерянно, — м-да, — повторяет еще раз и, глубоко вздохнув, заключает: — А все же солдатам, я так думаю, не стоит этого говорить. Пускай вроде как будто сплетню соглашатели про вас распустили... Так будет лучше... Как вы думаете на этот раз?

— Не знаю, Горшков. Право, не знаю... — порывисто тискаю я его молодую грубую солдатскую руку. — Тебе теперь там видней. Я уж и выйти отсюда не надеюсь. Если казнят, не поминайте там лихом.

— Что вы! — испуганно схватывается Горшков. — Разве можно?!. «Казнят»!.. Да мы весь Ораниенбаум двинем снова сюда и своих всех там гнид заодно перещелкаем, если они только лишь заикнутся...

— Бросьте, товарищ, — говорю я сурово. — Не вздумайте это затеять. Это нанесет лишь вред нашей партии. Такими вещами шутить нельзя.

Когда Горшков покидает меня, все с той же приветливой и теплой улыбкой, жалкая судорога передергивает мне лицо, и я отворачиваюсь к окну, чтоб жандармские генералы, сидящие со своими дамами в зале, ни в коем случае не заметили такого моего состояния. «Вот, — думаю я, — пришел ко мне первый, простой такой большевик, рядовой наш партийный солдат, и он... он все же понял меня и мне поверил!..»

Кругом светит солнце. Сухой августовский воздух трепетно тих, и словно впервые за весь этот тягостный месяц я замечаю, что солнце светит, а воздух и ласков и тих.

Наверху комендант освобождает Андреева. Руки мичмана, жилистые и сухие, нервно затягивают ремни у чемодана. Но радости что-то не видно на желтом его лице. Тусклыми оловяшками

маячат его глаза. Давно бы убрали от нас эту стерву. Он уходит, даже не кивнув никому и не попрощавшись. Теперь остались из кронштадтцев еще только два артиллерийские капитана да один хмурый, грустненький мичман. Они намереваются уже перебраться в нашу светлую комнату, но комендант их останавливает:

— Ныкаких переселэний. Сановныков тоже убавылось. Два ытажа нэ будэм болше мы занымать. В пэрвый ытаж нас всэх завтра пересэлают.

В первом этаже, оказывается, помещался до сего времени книжный склад. Мы видим с балкона, как сейчас нагружают оттуда тяжелые связки книг на вереницу подвод. Куда-то увозят.

— Пойдем взглянем на наше будущее обиталище, — предлагает Жендзян. — Может, кстати, и книжицу какую подцепим.

Мы спускаемся на самый низ. Часовые к нам уже попривыкли и беспрепятственно нас пропускают. В комнатах бывшего книжного склада — все двери настежь, пыль столбом и неописуемый ералаш. Но книги все уже связаны и запакованы, и раздобыть ничего не удается. Только крохотненькая голубенькая брошюрка валяется среди мусора под ногами. Я поднимаю, отряхиваю ее от пыли и читаю: «Библиотека труда. X. Раковский. Член ЦК Румынской социал-демократической рабочей партии. «Как закончить войну?» Петроград, 1917 год. 20 копеек».

— На, — говорю я Жендзяну, — вот и все, что удалось нам здесь получить. Узнаешь теперь, что думают о мире румыны.

Жендзян нехотя принимает брошюрку, и мы поднимаемся наверх.

Обед наш теперь протекает совсем тихо и уединенно. Нет больше хруста скул и нервного звяка ножом Андреева. Жендзян медленно ест уже остывшие щи, скучающе пробегая глазами брошюрку.

— Тоже, тип, — небрежно ухмыляется он.

— Кто — тип?

— Да этот, как его? — Раковский. Начинает с того, что зачинщиками теперешней бойни обвиняет центральные государства.

— Подумаешь, новость, — устало зеваю я, пододвигая к себе второе.

Жендзян молча и хмуро перелистывает страничку вслед за страничкой.

— Ты что же, увлекся? Щи-то совсем остынут. На коньках, что ли, по ним хочешь кататься? — одергиваю его.

— Постой! — вспыхивает вдруг он. — Тут, под самый конец — интересно. Раковский пишет, что немецкие и австрийские эсдеки должны отдать правительства своих государств под народный суд.

— Почему же не правительства всех воюющих стран? А затем, как же отдашь их под суд, пока не грянула над ними социалистическая революция пролетариата? — спрашиваю я.

— В том-то и дело, что суд — судом, а социалистическая революция на Западе, по его словам, еще очень долго не наступит.

— Почему? — хмуро спрашиваю я. Этот вопрос, так остро вставший уже передо мной в истеричной концепции Троцкого и раздавленный затем колбасниками Ноя Жорданья, вновь начинает меня мучить.

— Потому-де, что рабочий класс не составляет еще там подавляющей части населения, — усмехается Жендзян. — А, пожалуй, это и верно! — задумывается он. — Вот, — читает он дальше вслух: — «... не говоря о буржуазии, наряду с ним имеется еще мелкобуржуазная масса и крестьянский класс, которые по своему социальному положению не разделяют социалистические идеалы пролетариата...» Что ты скажешь на это?.. А с моей точки зрения, он прав и неправ, смотря по тому, что называть социализмом в деревне. Если мы отберем у помещиков землю и раздадим ее поровну всем трудящимся крестьянам, можно ли считать эту подлинную социализацию земли уже социализмом?!. По-моему, вполне можно. И тогда Раковский неправ. Ради этой социализации крестьянин пойдет за рабочим, мало того — он его за собой поведет.

— Придумал тоже «социализм»! — издеваюсь я. — Землю получит, поделит, вопьется в нее жадно сошкой, вымолотит пудишко тощенького зерна... и это, по-твоему, социализм?

— А ты как же его себе представляешь? — раздраженно бросает Жендзян голубую брошюрку и ретиво принимается за щи.

— А чорт его знает как, — пожимаю я чистосердечно плечами. — Но, во всяком случае, это — техника, это высшее развитие техники: электричество, химия там разная...

— Кислотою будут поля поливать, а на динамомашинах будет рожь колоситься, — издевается злобно Жендзян. — Утопист!..

— Конечно, это не так, как угодно тебе насмехаться, — обрываю я его враждебно, — я вовсе не говорю, что социализм осуществим вот сейчас же.

— Если так, то Раковский сто раз прав! — злорадствует Жендзян. — Дальше буржуазной демократии не выскочишь. Он ведь тут так и пишет, — снова хватается Жендзян за брошюрку: — «... при теперешних исторических и экономических условиях ни на какой другой мир, кроме мира буржуазного, рассчитывать нельзя. Война, начатая правительствами, должна быть закончена ими же». Ты понимаешь ли: «ими же»!

— Жалкий меньшевиствующий реформист! — фыркаю я презрительно. — Кто редактировал эту брошюрку? Дай взглянуть! Ну, так и есть: Мартов. Чего же ты захотел? — гляжу я уничтожающе на Жендзяна. — Куда же они подевали все боевые лозунги наши: «Война—войне», «Свержение своих правительств и передача власти рабоче-крестьянским советам»?!

— Допустим, — не сдается еще Жендзян, — передача власти рабоче-крестьянским советам. Пусть так. Но какая, с твоей точки зрения, это революция будет? Социалистическая уже или все еще в буржуазных границах?

— Социалистическая, — говорю я, но уже с меньшей решимостью.

— По-моему, тоже социалистическая, — ехидно улыбается Жендзян, — ибо социализация земли, по-нашему, уже и есть социализм. А вот почему у тебя она, с позволения сказать, социалистическая, этого я понять не могу. Разве вы с переходом власти к советам уставите на каждом крестьянском клочке генераторы с турбины? Ох, утописты! Ох, утописты! — схватывается от смеха Жендзян за бока. — Только не все же, конечно, такие у вас утописты. Имеются и очень трезвые и разумные у вас вожди. Слыхал ты, конечно, что Каменев ваш третьего дня уже выпущен?

— Слышал, что выпущен, — отвечаю я хмуро, — ну, и что ж с того?!

— Да вот вчера он уж выступил с речью на заседании ВЦИКа. И знаешь о чем? О социалистическом съезде в Стокгольме.

— Вот тоже выкопал он мумию царя Мемфиса! — ухмыляюсь я. — Чего ему вспомнилась эта провалившаяся ярмарка всех социал-предателей мира?

— Поосторожней! — покачивает головою Жендзян. — Или, во всяком случае, немножко почтительнее к члену своего ЦК. На вот, читай! — идет он к постели, утерев губы салфеткой, и затем кидает оттуда газету. — Смотри: «Над Стокгольмом начинает развеваться широкое революционное знамя, под которым мобилизуются силы пролетариата...» А дальше: «Нам стало ясно, что Стокгольм с этого момента перестал быть слепым орудием в руках капиталистических государств...» Как видишь, установочка у него с Раковским тождественная...

— Тождественная... — бормочу я растерянно, уже не зная, что отвечать.

— Со своей точки зрения, разумеется, он прав, — не унимается теперь Жендзян. — Поскольку для вас социализм предполагает наивысшее развитие техники, то есть высшую индустриализацию мира, нечего и рыпаться сейчас туда нам, именно нам: России. Можно и пообождать с этой чистой социалистической революцией пролетариата, которая созреет только тогда, когда будет он в большинстве. И нечего путать сейчас мечты о социализме с революцией буржуазной. Ведь отдача крестьянам земли, по-твоему, буржуазный этап? — улыбается он ехидно.

Молча киваю ему головой, подавленный хмурыми мыслями. «Ведь он прав, этот Жендзян. Он дьявольски прав! Выходит, что и действительно: «нечего лететь сломя голову к социализму, а на-

добно сделать привал». Но если сделать привал, то на каких же основах? На каких рубежах? Опираясь на кого? На советы? на те советы, которые сейчас обливают нас грязью, помоями? на советы, которые... Ох, какая дьявольски трудная вещь большевизм!» И вся только что бывшая ясность и четкость в преднамеченном мною пути вновь покрывается едким тяжелым туманом. «Хорошо это Горшкову, — с грустной завистью думаю я, — у него все это как-то проще и непосредственно ближе. А вот коль заглянешь вперед, в завековую даль—как затянуто все там непроницаемой белесою мглою!..»

— Кто его знает, может быть и правильно пишет этот Раковский, — подзуживает меня Жендзян, снова перебирая последние странички брошюрки. — Быть может, это и верно он пишет, что только в скорейшем созыве Учредительного собрания последнее наше спасение! — И он с грустью кидает брошюрку опять на постель. — Но тогда и Каменев ваш тоже прав: пролетарскую индустриализацию мира мужик никогда не поймет и ни за что ее не поддержит!..

Подавленно и беспокойно смотрю я в серую даль через окно. «Чорт его знает: врут ли нам эти Каменевы и Раковские, которые, трусливо озираясь по сторонам, усиленно тащат нас назад, к пухлой купецкой республичке, превращающей нашу страну в колонию империалистических хищников? Или это у них — действительно трезвый учет движения классовых сил, и крестьянская беднота и в самом-то деле ни за что не поддержит социалистическую революцию рабочих?.. Но в таком случае, чем же эти Каменевы и Раковские отличаются, скажем, от Троцкого? Ведь и тот судорожно ищет сейчас для нашей революции спасительный выход в немедленнейшем восстании западного пролетариата, ибо иначе видит неминучую гибель в пучине нашего бедняцко-крестьянского моря... Вот поди тут и разберись!..»

— Ты грустен? — говорит мне жена на одном из ближайших свиданий. — Ты снова так грустен! Значит, нет ни малейшей надежды на освобождение?..

— Не знаю, — говорю я отрывисто. — Если революция победит, значит — освободят, если не победит, значит — нет.

— Революция победит? — безнадежно пожимает она плечами.— Надо бы на воле тебе посмотреть, что там творится. Где уж революции теперь победить... Но я думаю, что и без этого, может быть, тебя как-нибудь освободят... Ведь вон вчера Луначарского, пишут газеты, уже освободили.

— Луначарского освободили?!.

— Ну да, почему бы тогда и тебя...

Она ушла, оставив после себя луч надежды на освобождение. В самом деле, если Каменев освобожден, освобожден Луначарский, то почему б...

Солдаты с грохотом переносят вниз наши кровати. Комната быстро пустеет и становится сразу огромной, гулкой и пыльной. По лестнице с оживленным говором спускается в новые свои покои коллекция старорежимных героев. Слышно скрипение Герасимова, хрюканье Комиссарова и лебезящий фальцетик князя Андронникова. Остальные молчат, шумно шаркая по ступенькам.

Мы с Жендзяном попадаем теперь в узкую мрачную комнату с окнами на двор. На дворе, в больших каменных флигелях живут, должно быть, частные люди. Теперь мы видим то-и-дело проходящих мимо окон женщин, мужчин и ребят. Собственно говоря, не стоило бы никакого труда открыть окно и спрыгнуть на двор, но у окон ходит взад-вперед часовой. В комнату вместе с нами сажают еще двоих: один из них — мичман-кронштадтец, хмурый и безобидный, другой — какой-то бухгалтер из банка, только что посаженный за растрату.

— Собственно, растраты никакой не было, — тараторит он быстреньким своим говорком. — В конце концов они разберутся и меня освободят. Просто были просчет и неверная запись.

Впрочем, бухгалтер не особенно разговорчив. Он предпочитает мрачно ходить вдоль по комнате в мягких туфлях тихими, вкрадчивыми шажками, щупленький, маленький и большеголовый, и молчаливо прислушивается ко всем чужим разговорам. Чорт его знает что это еще за тип!

Я сижу, задумавшись, у себя на постели, гляжу в окно на мальчуганов, играющих на дворе. Вспоминаются тут же невольно мои ребятишки.

— Попа, — заговаривает хмурый мичман, — попа своего прислала к нам Вырубова. В большой комнате сейчас он сидит, исповедываться всех по очереди к себе приглашает, а завтра, чтоб причащаться. Генералы к нему уже поперли. Доктор Дубровин теперь на очереди у него стоит.

— Мне исповедываться не в чем, — скороговорочкой изрекает бухгалтер, — у меня грехов нет, баланс подведен, никаких сальдо.

— Может быть, мне у него исповедываться? — смеется Жендзян.

— Что ж, попробуй! — подзуживаю я его. — Ты как поляк, должно быть, лишь у ксендзов исповедывался. Попробуй-ка теперь православного.

— Уж не помню, когда и ходил я к ксендзам, — смеется Жендзян. — А православного попробовать можно, что-то очень густо генералы полезли к нему! Только вы меня научите, что мне ему говорить.

— «Грешен, батюшка», говорите ему за каждым словом, — учит бухгалтер. — Успенский пост, — вздыхает он, когда Жендзян и в самом деле уходит к попу.

— Ну что? — улыбаюсь я, когда через полчаса он возвратился.

— Послушай-ка, что он такое мне наговорил, — шопотком бормочет Жендзян и отводит меня в дальний угол. — Сначала все выспрашивал, в том-то и том-то не грешен ли я, «не возносил ли хулу на государя?» Ну, я, конечно, «грешен» ему отвечал. Тогда накрыл он меня какой-то парчевой салфеткой, что болтается у него на брюхе, и сказал: «Радуйся ныне, раб божий! Се грядет предтеча помазанника божия, нашего государя. Будь на этих же днях достойно готов к его встрече. Не давай пощады тогда врагам господа и царя. Только тогда узришь престол, и земной и небесный!» Что за околесицу он это мне наплрол?

— Околесицу? — смеюсь я. — Разве не видишь, что генералы теперь замышляют?..

Причащаться наутро Жендзян, конечно, к нему не пошел. А утро выдалось расчудесное, солнечное и живое. Как жаль, что окна на двор. Отражение лучей видишь только в окнах напротив. Я сижу, задумавшись, на кровати. На руках журнал со статьей Ноя Жорданья. Убийственно пишет, подлец. «Так-таки нет и не может быть ни малейших надежд на революционность западного пролетариата». Мысли начинают бродить в голове пьяными хороводами.

Вдруг кто-то меня окликает. Озираюсь: вижу, стоит в дверях полунасмешливо, полусмущенно Залуцкий.

Буйно бросаюсь ему навстречу.

— Ты как попал? Как узнал? Петр! Я так рад...

— Пойдем куда-нибудь поукромней приткнемся, — улыбается он, — надобно поговорить.

Мы уходим в большой светлый зал и здесь примащиваемся у окна, через которое ослепительно бьет с улицы солнце.

— «Как попал»? — отвечает весело Петр. — А записка твоя к нам на фракцию! Вот я и пошел. Раньше никого нельзя было послать: все были на съезде.

— На каком съезде?

— На партийном Шестом нашем съезде. Ты разве не знал? Наднях только кончился. Ох, боевой, брат, и крепкий был этот съезд! Генеральная мобилизация всех наших сил к надвигающимся боям.

— Как? К новым боям?

— Ну конечно. Что ж, разве революция кончилась?

— Был, значит, Ленин? — шепчу я, оглядываясь украдкой.

— Нет, Ленина не было, — грустно вздыхает Залуцкий. — Кое-кто из наших «либеральчиков» да межрайонцы — вначале хотели было даже потребовать, чтобы он пришел и дал объяснения по поводу возведенной на него клеветы. Но потом сами усовестились, что вызывают его, собственно говоря, на расправу. Единогласно все отказались. Такая шпиковская слежка вокруг за нами была! Пришлось несколько раз менять помещение. Начали мы на Выборгской, а кончили уже за Нарвской заставой.

— Кто ж проводил тогда съезд? Кто выступал с основным политическим докладом?

— Как — кто, ясно кто: Сталин.

— Сталин? Но он редко будто бы выступает, он все больше — в печати.

— О, да и как еще провел съезд! Такие атаки отбил! Бурные были наскоки! Ленин сам ему поручил провернуть все это дело.

— Атаки? Наскоки? Чьи? От кого?

— Что ж, ты разве не знаешь? Правые попытались было взять нынче реванш за апрель, воспользовавшись отсутствием Ленина. А ушли с расквашенными носами. Ой, и набил! Ой, и набил же он им по загривку! — с восхищением покручивает Петр головой.

— Вокруг чего ж были споры? Да ты толком все расскажи!

— Вокруг чего были споры? Во-первых, о лозунге: «Вся власть советам». Сталин категорически предложил этот лозунг немедленно снять. Как там в будущем — неизвестно, но каким же советам отдавать сейчас власть? Злопыхательствующим меньшевикам и эсерам?

— Однако ведь и до этого там неизменно сидели меньшевики и эсеры, и тем не менее этот лозунг...

— Да, но тогда пусть бы они и взяли власть! Мы заставили б их тогда либо итти на разрыв с крупною хищною буржуазией и тотчас же удовлетворить насущные нужды крестьян и рабочих, либо они вылетели бы из советов путем перевыборов, и тогда мы бы пришли на их место. Но во-время никто не смог бы и пискнуть против советов: у врагов не было силы в руках, чтоб пойти против них. Ну, а теперь?!. Какое значение имеют теперь эти советы?.. Власть теперь уже прочно в руках контрреволюционных генералов, верных слуг и союзных и собственных биржевиков. Сами советы им отдали эту власть без боя. Вздумай советы теперь что-нибудь против них только пикнуть, их разгонят в два счета. Как же можно таким советам отдавать теперь власть? Только обманывать будем массы.

— Что ж предлагал вместо этого Сталин?

— Естественно, что предлагал. Прежде всего — копить силы для свержения существующей власти, для скорейшего вооруженного ее свержения! На мирный исход борьбы сейчас уже нет надежд никаких. Ведь эти же генералы...

— Да-да-да! Вот именно — генералы! — перебиваю азартно его. — Я должен тебе подробно и срочно сейчас все рассказать...

— Да что ты расскажешь? Нам известно многое, знаешь, такое, о чем, должно быть, даже не снилось, товарищ, тебе!

— Ну, нет, — протестую я самоуверенно, — мне сам генерал Комиссаров, охранник здесь заключенный, такое порассказал, что...

— Ну, что там твой Комиссаров! — пренебрежительно отмахивается Залуцкий. — На воле гуляют сейчас зубры почище его. Ставка сейчас направляет у них всем этим делом! А твой Комиссаров, наверное, слышит об этом краешком уха да перед тобой хорохорится.

— Не думаю, — бормочу я, сдаваясь. — Что же будет тогда вместо советов? — интересуюсь я дальше, уже слегка остывая. — Что же Сталин взамен этого выдвигал?

— Диктатуру пролетариата, поддержанного крестьянскою беднотой! — вполголоса рассказывает мне Залуцкий. — «Мы, как партия, как их авангард, должны непосредственно руководить свержением этой власти, а уж после свержения, или во время свержения, устанавливать совершенно новую, уже настоящую советскую власть!» Вот как, примерно, сформулировал наш путь Сталин.

Черною, грузною тучей тотчас же выплывают перед глазами все прошлые мои колебания и сомнения, когда я мучительно шатался во все стороны, пытаясь примирить мятежный наш лозунг: «Вся власть советам»—с лакейским почтением к существующим трусливым советам. Сколько горя, тяжести и тоски было в этих прошлых моих сомнениях, которые не иссякли еще и посейчас! И вот, — словно молния, с треском рассекшая эту громаду и ослепительно ее озарившая, — точно так же все то, что передал мне сейчас Залуцкий, ярчайшим образом осветило самую суть пережитых мною треволнений. «Вся власть советам? Да, власть советам! Но каким? Через какие этапы? Как? И когда?»

— И неужели нашлись такие, что против этого возражали? — спрашиваю я.

— Нашлись, — снисходительно ухмыляется Петр, — все те же наши внутренние «либеральчики» да еще кое-кто из межрайонцев. Володарский, Юренев, Ногин. Собственно говоря, спор-то как следует разгорелся вокруг другого, связанного с этим пункта, а именно: вокруг вопроса о поддержке рабочих крестьянством, и уже затем бешено запылал по-настоящему на вопросе о социализме.

— О социализме?! — вскидываюсь я, вспомнив недавний свой спор об этом с Жендзяном. — Милый друг! Будь так добр, расскажи поподробней!

— Видишь ли, Сталин замечательно ясно и убедительно нам доказал, как бурно уже сейчас протекает расслоение деревни и что рабочий класс должен выступить теперь самостоятельно на завоевание власти под лозунгом социализма, и что в этой борьбе беднейшее крестьянство поддержит его полностью и целиком повсеместно. Ну, после этого тут, разумеется, потянулась плеяда «опровергателей». Бухарину, например, показалась необоснованной

социалистическая поддержка со стороны бедняцкой деревни. Он верует и исповедует, что будут разные два этапа: «первый — вполне буржуазный, когда крестьянство потянется за землей, а второй — чисто социалистический, когда восстанут уже только одни пролетарии при поддержке западного пролетариата. А пока-де второго условия нет, надо принимать только первый этап и не рыпаться дальше».

— «Сделать буржуазный привал»? — усмехнулся я, вспомнив слова Жендзяна и брошюрку Раковского.

— Вот именно, «привал»! — снисходительно улыбнулся Залуцкий. — Затем вылез, знаешь, Ангарский. Этот совершенно не верит в силы пролетариата. «Где ж там, — говорит, — у нас эти семьдесят процентов организованных рабочих, о которых рассказывал Сталин? А затем, как это лезть нам к социализму, если из крестьянства нас ни в коем случае никто не поддержит? У рабочего класса-де в остальном населении резервов нет никаких!» Тут всем им в тон покрутил напоследок носиком Преображенский: «Крестьянство, дескать, это только подсобное средство борьбы. Для основного пролетарского наступления оно не годится, а если опять же рабочие полезут одни, то их снова ждет повторение июльского поражения». Словом, куда ни кинь, — всюду клин. Особенно же въелся на Сталина он за окончание предложенной тем резолюции. «Задачей пролетариата и деревенской бедноты, — сказал Сталин, — явится напряжение всех сил для завоевания государственной власти в свои руки и для направления ее—в союзе с революционным пролетариатом передовых стран — к миру и к социализму». Вот насчет этого «социализма» Преображенский и въелся. «Никакой, мол, не может быть и речи о социализме или строительстве его, пока не поднимется весь западный пролетариат! Пока же на Западе рабочий упорно молчит, можно нам разговаривать только о мире, а социализм, дескать, пока спрятать в карман!»

— Да-да-да? — нетерпеливо выспрашиваю я, отчетливо припоминая, как эту же постановку дал в голубенькой своей брошюрке Раковский и как восхищался этим Жендзян.

— Ну и крепко ж нащелкал всем им тут Сталин! — вспоминает со смаком Залуцкий. — Вот мужик — так мужик! Башковитый. «Рабочий класс, — объяснил он, — не может сейчас не бороться за выход из войны и разрухи. А выход из войны и разрухи возможен исключительно только в разрыве с капиталистами и в свержении власти капиталистов, то есть — в революции социалистической. Это — во-первых, а во-вторых — революция эта не может не встретиться и не совпасть с земельным движением крестьянства. Таким образом поддержка со стороны нашей деревенской обездоленной бедноты обеспечена нашим рабочим до их полной победы вполне прочно».

— Яснее ясного! — восхищаюсь я, в глубине души страшно досадуя теперь задним числом, как это я не сумел так же просто растолковать все это раньше Жендзяну и даже вставал в тупик перед ним.

— «А кроме того, — разъяснил под конец самое важное съезду Сталин, — вовсе не исключено, что как раз именно наша страна проложит первою путь к социализму. Мы-де хлебнули уже огромной свободы, мы уже попробовали применять рабочий контроль к производству, кроме того и аппарат капиталистической власти у нас еще не настолько прочно налажен, а в довершение всего у нас еще такие большие резервы из деревенских бедняцких слоев! Пора, дескать, бросить отжившее представление о том, что только Европа сможет указать нам путь». Да, конечно, в эпоху империалистического загнивания всего мирового капитализма совершенно неважно, откуда начать. Социалистическая революция — это процесс, разумеется, очень длительный, трудный и сложный, требующий огромной работы над большевизацией рабочих масс, но уж если только эта революция где-либо началась, ее до тех пор не остановишь, пока она не охватит собою победоносно весь мир. А как ты думаешь, — сияет Залуцкий, — разве не честь будет для нас, разве не наша гордость и счастье, если именно русские, мы, будем застрельщиками этой героической борьбы за освобождение всего человечества от гнета и нищеты?!. Гордись, большевик! — бодро хлопает он меня по плечу.

«Большевик? — думаю я, тотчас же опуская печально голову. — О, если бы знал он, каким поганым и дрябленьким большевиком я до этого был и к какому падению я здесь докатился!» Но нет сил прямо ему об этом сказать.

— Что же ты приуныл? — дружелюбно заглядывает он мне в глаза. — Надоело сидеть здесь?.. Ну, что ж делать! Надобно потерпеть. У тебя здесь — комфорт, да при желании даже через окно, при известной сноровке, удрать можно отсюда. Только, конечно, ни в коем случае не вздумай этого сделать! А то из-за этого снова таких собак на нас понавешают, что и чертям тошно станет. Вон прапорщик Адам Семашко от ареста скрылся, так что тут было!.. Огромный ущерб это наносит революционному настроению масс. Ну, чего же ты загрустил? Ведь ты — большевик! Возьми себя в руки: к черту уныние!

— «Большевик»! — произношу я с грустным вздохом. — Если бы знал ты, Петр, какое моральное падение я здесь пережил! Какие ужаснейшие сомнения закрадывались ко мне в сердце и как позорно колебался я здесь в первые дни после всех этих клеветнических обвинений Ленина в шпионаже!..

— Ну, брось-брось! — успокаивает он меня со строгостью старшего брата. — Чего о прошлом сейчас вспоминать? Чепуха

это, братец, вздор. Ты думаешь, у нас на периферии эти первые дни тоже гладко сошли? Вон в Москве, так, почитай, половина всей организации растаяла тут же, как снег. В иных районах, так хоть шаром покати! Да что там в районах! На самом заседании МК тоже нашлись паникеры, которые начали было тут же шушукать: «дыма, дескать, без огня не бывает! Очевидно, у кого-то там рыльце в пушку. Надо срочно потребовать созыва съезда, предварительно выбрав следственную комиссию для расследования всех опубликованных обвинений!..» Ладно, что совесть их тут же, должно быть, за нутро забрала. Сам же МК их одернул. А ты думаешь, что такая картина была только в Москве? А в Питере здесь было глаже? Вон Ногин и другие настойчиво требовали в самом начале, чтобы Владимир Ильич немедленно же и всенепременно явился в прокуратуру.

— В прокуратуру?!. — судорожно взмахиваю я руками. — Нет-нет-нет!

— Да если б не Сталин да не Свердлов, так они, может быть, Ленина-то и уговорили б, а вот чем бы все это кончилось тогда?!

— Не говори! — с морозною дрожью, пробежавшей по коже, хватаюсь я за виски. — Но, — пожимаю опечаленно я плечами, — неужели, по-твоему, так неустойчива рядовая партийная масса, за исключением разве нескольких вождей?

— Что ты? Что ты? — от возмущения краснеет Залуцкий. — Сталин, этот, конечно, крепок, как сталь. Но разве и мы то, все остальные, вся наша гвардия большевиков, разве мы болото? Разве не ленинцы мы, чорт нас всех подери?! Сталина дружно по-большевистски мы поддержали всем съездом. А затем Молотов, Бубнов, Милютин тоже здорово выступали. А ты говоришь: «неустойчивы мы». У самого, видно, малость в голове здесь пошатнулось, — незлобиво трунит Залуцкий, снисходительно поглядывая на меня.

— Но вот Каменев... — запинаюсь я, невольно припомнив разговор свой с Жендзяном.

— Что — Каменев? — бунчит смущенно Залуцкий, и тугие щеки его густо краснеют. — Не был на съезде твой Каменев, сидел он. А ежели ты это насчет его «Стокгольма», так Владимир Ильич уже задал ему сейчас головомойку за эту речь. Ну что ты будешь с ним делать?! Упорно не видит социалистических перспектив. А кроме того, из тюрьмы — это и верно — не много увидишь. А если б ты посмотрел, что творится сейчас на воле!..

— Ко мне тут вчера один наш парень из Ораниенбаума приходил, так он говорит, что настроение теперь опять как будто бы боевое.

— Не то чтоб совсем, — тянет Залуцкий, — но — крепче, зна-ачительно крепче! Главным образом заметно это сейчас по заводам. Перелом в нашу пользу совершается там колоссальный.

Да это вполне и понятно. Рябушинский в Москве уже подал сигнал к походу на революцию. И вот костлявую руку голода промышленники направляют сейчас против рабочих весьма энергично. Лишь за июль закрыто в одном только Питере уже до сорока предприятий. Десятки тысяч рабочих выбрасываются на панель. Вдобавок, под видом эвакуации от возможного наступления немцев и якобы для урегулирования тяжелого продовольственного положения проектируется полный вывоз из Питера почти всех его главных заводов. На деле же все это лишь маневр. Рабочих они увозить не собираются. Они пытаются этим путем отомстить питерскому пролетариату и отделаться от него. Ну, подумай, какое же может теперь быть настроение по заводам, если все меньшевистско-эсеровские успокоительные призывы не встречают доверия и сочувствия? Не поверишь ты, — старики даже готовы сейчас лезть в бой. А уж о молодежи и говорить не приходится. Молодежь кипит. Нам на съезде пришлось даже специальный Социалистический союз молодежи организовать, чтоб помочь молодым стать сплоченнее, крепче и терпеливей. Прекрасная, чудесная сила — эта наша, братец ты мой, молодежь! Вот видишь, настроение-то в низах каково! На-днях на совещании фронтовиков единогласно прошла наша большевистская резолюция. Присутствовавшие там эсеры и меньшевики даже и голоснуть против нее не посмели. Перевыборы в Питерский совет почти всюду приносят теперь нам победу. Но это, конечно, дела ничуть не меняет. Свергать монархических генералов и «социалистических» держиморд все равно нам придется штыками. Все дело теперь лишь за тем, чтобы как можно скорее и крепче охватить организационно все эти приходящие в движение огромные массы и в нужный момент решительно повести их на штурм. Боевой манифест к трудящимся массам выпускается сейчас для этого съездом. На-днях он будет опубликован. Ты обязательно его прочти!

— Но скажи, милый друг, как же Запад? Как же Запад?! — лихорадочно схватываю я Залуцкого за руку. — Неужели Запад нам не поможет?! Ведь он молчит, он упорно молчит, этот Запад! Мало того, он безжалостно двигается сейчас против нас железным фронтом!

— Какая паника! — насмешливо вскидывается Залуцкий. — Что — Запад? Может быть, ты, подобно Троцкому, интеллигентски мечтаешь, что Запад сейчас же с места в карьер кинется к нам навстречу и мгновенно взорвется социалистическим взрывом?! Иль думаешь, как думают все паникеры, что там безнадежно мертво? Нет, милый друг, огромная внутренняя борьба, брожение и расслоение развиваются сейчас бурно в рабочих массах западного пролетариата. Повсеместно, то здесь, то там, вспыхивают красные наши зарницы. Социал-предателям уже не удастся надолго сдер-

жать там гнев одураченных ими масс. Но когда там все это вспыхнет, точно предугадать сейчас очень трудно. Вот если б и там были такие же, как у нас, боевые железные большевистские партии!..

Залуцкий давно уже ушел, а я, вернувшись к тому же окну, у которого мы с ним сидели, не могу глаз оторвать от крутящихся ярких столбов ослепительного солнечного света, косо бьющих сюда на рыжий паркет. И мне кажется, что такого солнечного сверкания никогда в жизни прежде я не видел. Не принес ли ко мне сюда всю эту дивную лучезарность этот сутулящийся скромный Залуцкий со своим простоватым насупленным длинноносым лицом?!. Снопы солнца горячо и упрямо нацелены на пол, и буйно крутятся в них мириады легких мельчайших пылинок. Какое дело им, жалким, до гигантского раскаленного светила, вонзающего сюда яростные свои лучи?! А может быть, я и сам — одна из таких же безвольных пылинок, попавших только стихийно в столь пламенный солнцеворот?.. Не кружился ли я до сих пор, в самом деле, в раскаленном столкновении классов подобно одной из таких легковесных пылинок? Не вносили ли мы в это гигантское напряжение мировых, смертельно враждующих сил наши пылиночные предрассудки, нашу пылиночную мягкотелость, неустойчивость, рыхлость и болтовню?!.

Да, было дело: вносили, вносили... Это мы, миллионы раздробленного городского мещанства и деревенских слепцов, хватаем рабочего за ноги, почти всякий раз, когда он идет на борьбу. Порой мы плетемся за ним трусливыми, неустойчивыми шажками, тревожно оглядываясь по сторонам, порой мы, взбесившись от страха, кидаемся прочь от него и кричим: «Чур меня! чур меня! Будь ты проклят!» А порою, что всего гнусней и обидней, мы самонадеянно и чистосердечно пробираемся в его ряды. Мы принимаем тут иной раз облик его жены, домашней стряпухи, или подсыпаемся к нему закадычным приятелем-забулдыгой, или в виде его завистливого родича-кума приезжаем к нему из деревни. Мы жадно нашептываем ему тогда — либо о чашечках и занавесках, о шелковой модной юбке и о жарком из свинины, либо тащим его в кабак на углу, где есть пиво и водка и пьяный угар, либо прельщаем его сдобными пирогами и ведром самогона, которые ждут его в день престольного праздника в нашем селе. Мы надеваем на себя сотни самых различных обличий, лишь бы втереться в доверие и бессознательно помешать его напряженной, смертельной борьбе. Но всего хуже и гаже, когда мы приходим к нему с партийным билетом настоящего революционера. Прав Горшков: «лучше никогда никому не рассказывать, как мы поступаем иной раз тогда!» Вот почему я, к примеру, о письмах своих все же не досказал Залуцкому.

«Нет, уж если назвался ты большевиком, — острым лезвием самокритики врезаюсь в себя я все глубже и глубже, — то ты должен и стать подлинным большевиком — каждым мускулом своего естества, каждым биением своего сердца, каждым движением мысли и воли. И тогда уже нет больше места ни малейшим шатаниям, ни самой чуточной неуверенности в вопросе — куда ж мы идем: то ль открываем страницу социалистического переустройства целого мира, то ли вынуждены еще безмятежно сидеть в теплой навозной куче уходящего старого мира, примиренно при этом вдыхая эту сладкую гниль. Никакой больше гнили, если ты — большевик! Грош цена тебе, ты — презреннейший трус и предатель, хотя бы твои колебания и трусливая тяга к гнильцу объяснялись самыми искренними и «честнейшими» побуждениями твоего мягкотелого «я». Судьба исторических устремлений миллионов людей не должна быть зависимой от бесхребетных пылинок. Либо ты — большевик, либо — к чорту с дороги! Большевистская партия — не салон для сомневающихся болтунов, благоухающих своим прекраснодушием. Большевистская партия — это гигантский стальной, несокрушимый резец, приводимый в движение миллионами всех пролетариев, всех угнетенных трудящихся масс всего мира для того, чтобы срезать безо всякой пощады гнойник эксплоатации и нищеты. Стальной большевистский резец состоит из закаленных в горниле борьбы, протравленных кислотою тюрем и ссылок и отточенных острою, непримиримой враждою к врагам и предателям несокрушимых бойцов за социалистическое счастье всего человечества!»

Я встаю и стремительно разрезаю горячий солнечный столб, взметнув буйные вихри пылинок. Я шагаю теперь взад-вперед мимо окон сквозь эти сияющие снопы. Я шагаю и думаю, думаю, думаю... О многом и совсем по-иному я теперь передумываю. Силой и бодростью налиты мускулы рук и плеч. Я шагаю размашисто, крепко и твердо. Уж теперь-то я знаю, что делать.

Из соседней огромной мрачной гостиной, где сейчас поп причащал свою сановную паству, наконец выплывают сюда эти отставные киты самодержавия. Доктор Дубровин подслеповато моргает через темные очки, осторожно жуя просфору по кусочку и выискивая старческой, жилистою рукою крошки из своей бороды. Герасимов, закатив умильно розовые глаза, несет просфору бережно на бумажке, словно боится ее расплескать. Князь Андронников, завернув ее в белый платочек, нежно прижал ее к животу. Лишь генерал Комиссаров, забив просфорою весь рот, прожевывает ее с хмуканьем и сопеньем, лукаво сощуря глаза и подрыгивая ногами ради веселого треньканья шпор. Проглотив последний кусок, он выкидывает ногой игривое антраша́ и, схватив Андронникова под руку, начинает кружиться с ним по паркету, к великому ужасу

своего кругленького партнера. Герасимов неодобрительно взглядывает на него и тотчас же отворачивается, чтоб больше на него не смотреть, а может быть, чтоб не слышать, потому что жандарм Комиссаров опять замурлыкал свою похабную «Дуньку».

И дни теперь для меня побежали опять нестерпимо тоскливо, но уже совсем не потому, что я ощущал какой-либо тупик. Нет, тупика больше не было. Выход, прямой, честный, твердый, — этот выход был теперь найден. Но нестерпимо тоскливо было осознавать, что ты сейчас взаперти и не имеешь возможности немедленно кинуться к своим ораниенбаумским солдатам, развернуть среди них заново надлежащую работу и вместе с ними в нужный момент пойти на решительный штурм. Главное — не было ни малейшей надежды на освобождение. Когда однажды вновь к нам пришел товарищ прокурора Наказный, он вызвал только меня.

— Следствие я закончил, — сказал он, скучающе посмотрев на меня. — Вы не хотели бы еще чем-нибудь его дополнить?

— Нет, — решительно ответил я.

— Я приобщил к делу письмо, которое вы однажды изволили отсюда отправить к одному своему другу, — ухмыльнулся тогда он победоносно. — Оно несколько меняет весь тон вашего дела. Я советовал бы вам, как коллеге...

— Никаких «коллег»! Письмо вздорно и глупо! Написано было в минуту прострации. Содержание его мне противно: приобщайте — не приобщайте, я категорически не разделяю его.

— Угу, — опешил Наказный от неожиданности, — а я ведь было хотел ставить вопрос об освобождении вас под залог иль на поруки...

— У меня нет денег, чтоб вносить вам залог, — обрываю я его, — а солдаты мои давно предлагают вам взять меня на поруки, хотя вы обязаны меня и так немедленно освободить, потому что я ни в чем не повинен. Вы хотите сейчас, чтобы я вам что-либо еще там добавил? Извольте. Прошу вас исправить везде в моем показании, что я вовсе не меньшевик-интернационалист, каким, может быть, я и был, нет, я — большевик, и как с таковым прошу вас отныне иметь со мною дело.

— Превосходно! — скрипнул зубами Наказный, когда я, круто к нему повернувшись спиной, демонстративно вышел из канцелярии коменданта.

После переселения вниз вся колония заключенных обедает теперь вместе, без прежнего разделения на сановников и кронштадтцев. Если раньше питание наше было весьма неплохим, то теперь оно стало изысканным. На третье — когда мороженое, — когда фрукты. Сегодня, к примеру, был прекрасный арбуз.

Дубровин ест молча, бережно жамкая арбузную мякоть губами. Мокрые семечки играют в прятки в его черной с проседью бороде.

Васька Орлов со свистом уписывает сахаристую красную сочность за обе щеки. Князь Андронников церемонно вырезывает тонкие ломтики сладкой мякоти, фатовски отогнув в сторону свой мизинец и орудуя вилкою и ножом. Тугая, накрахмаленная салфетка подвязана под самую эспаньолку и торчит сзади затылка двумя концами, как пара ослиных ушей.

— У вас, конечно, есть Михай Степаныч, — приторно сюсюкает он, сильно картавя, — что-нибудь свеженькое насчет московского совещания? У вас такие пгевосходные связи!

Но Комиссаров в данный момент жадно запихивает к себе в рот огромный сочный кусище рассыпчатого арбуза. Семечки он сплевывает прямо на скатерть. Рот его занят, и он только мычит.

— Положительно никто ничего не понимает, — гнусавит Герасимов, осторожно кладя к себе на тарелку новый кусок, — ради чего, собственно говоря, затеяно это самое совещание, и менее всех сами участники. Ну, можно было понять, если бы съехались только представители благонамеренных организаций, основные столпы российского общества, но когда туда зачем-то приглашены эти — как их? — совдепы...

— Вы пгавы, вы совейсейно пгавы, Аексанг Васийич, — поддевает Андронников вилкой тонкий очищенный ломтик. — Эту чейнь совейсейно не нужно бые б туда пускать. Хоть она там и в меньшинстве, всего не бо'ее т'ети, но и это коичество беспоезно. Не пгавда й, Михай Степаныч?

Комиссаров загадочно улыбается и мычит, не отрываясь от арбуза.

«Ох, что-то хитрит эта сволочь!»

Обеденные разговоры и в последующие дни тоже целиком посвящены этим московским событиям. Больше всех негодует и возмущается князь.

— Нет, вы пьедставьте! Съехаись именитые юди, вся сой зем'и. Нужно с доеги умыться, позавтгакать, закусить, поехать на госудайственное совещанье и вдгуг!.. Тгамваи стоят, водопговод не течет, естояны закгыты, свету нет. Ведь это же возмутитейно! Тойко в нашей мужицкой некуйтуйной стгане возможно подобное вагвагство. Чтобы остановиись сгазу все фабгики и заводы?!. А еще говоят о конституции, о еспублике. Ет чегез сто, когда этих муж'анов научат, тогда, быть может...

— Нет твердой власти, — степенно изрекает Герасимов, аккуратно вытирая губы салфеткой и снова тщательно расстилая ее на коленях.

— Хо-хо-хо!.. Погодите! — с каким-то затаенным восторгом гогочет Комиссаров, и глаза его сегодня сверкают весело и игриво.

— Чего же годить? Откуда в'асть? Кегенский?.. Он тойко бойтун! Откгыл государственное совещанье, а что он наговоил?.. —

«Не допущу никаких гассуждений, никаких коебаний в'асти! Буду пгименять гепгессии как самодегжец! Жеезом и кговью — и пготив анагхии и пготив тех, кто готовит удаг гевоюции!» Это пготив кого же? Пготив Когнилова?!.

— Хмы! — заговорщицки щурится Комиссаров. — Братишечки! Мы еще поглядим, мы еще поглядим, — усмехается он, — кто кому из них там — «железом и кровью»! Мы на-днях еще это увидим. Вот опупел-то наш Граммофон!

— Не понимаю, — обиженно фыркает князь, — как можно в этой сегьезный момент упбаться?! Ведь чейнь-то, она ведь бастует! Сегодня Москва, а если завтга и Питег?!

— Все это очень, князенька, хорошо! — рассыпается Комиссаров ликующим хохотком. — Это более даже чем превосходно, что они все бастуют! Наоборот: этого мало, слишком мало, что они только бастуют. На улицу бы надо им, поактивней! «Вылетай-вылетай-вылетай!..» Эй вы, большевики, что вы сейчас приумолкли? — обращается он вдруг ко мне и Жендзяну с нахальной усмешкой. — Что ж это ваши «железные батальоны» не проявят опять свою «железную поступь»?!

— Мы знаем, когда и где ее проявить, — говорю я сдавленным голосом и, с треском отодвинув стул, гневно ухожу из-за стола.

Уже на следующих обедах разговоры были много сдержаннее и скромнее. Герасимов почти совсем не открывал рта, Андронников сидел как на иголках, испуганно косясь в нашу сторону. И только один Комиссаров, как ни в чем не бывало, хвастливо рассказывал о событиях, самодовольно чавкая и хохоча. Скромненько и низкопочтительно поддерживал с ним разговор Васька Орлов.

— Его высокопревосходительство генерал Корнилов, в этом вы правы, Михал Степаныч, — заискивающе поворачивал Орлов к Комиссарову свою мятую мордочку, — генерал Корнилов, это вот — да! Исконный дух русский сидит в нем крепко. Как приехал в Москву, первым делом — к Иверской божией матери.

— На белом коне! — самодовольно крякал Комиссаров, и нельзя было понять: то ль восторгается он этим, то ль цинично смеется,

— Но какая наггость, — не выдерживает Андронников, — генегай, надежда стганы, входит на совещание, все почтительно встают, гукоп'ещут, а сойдаты, пгостые сойдаты сидят, газваясь в к'ес'ях. Чтобы это было возможно в Евгопе? Никогда!

— И зачем только этих отставных «революционных» бабушек и дедушек там навыпускали — совсем непонятно! Неправда ль, Михал Степаныч? — увивается Орлов вокруг Комиссарова.

— Кому нужны всякие там Брешко-Брешковские, Плехановы, Кропоткины?!.

— Это все Керенский, это его затеи, — глубокомысленно роняет Герасимов.

— Ему бы не песочницы эти нужны, а полчишка-другой, да своих, верных, тогда он, может быть, еще и смог бы с генералиссимусом хотя бы временно потягаться. А то подумаешь: Брешковская! Ишь, какая «тяжелая артиллерия» — тоже! — насмешливо фыркает Комиссаров.

— Но неужеи, Михай Степаныч, Игу сдадут?! Неужеи сдадут? — волнуется Андронников. — Когнилов оп'едеенно сказай, что Ига будет взята, ес'и не будет в стгане погядка.

— Ригу?! — усмехается Комиссаров. — А почему только Ригу? Немцы при случае могут забрать и наш Питер. Сидим это мы с вами здесь, ничего не знаем, не видим, и вдруг глядишь: по улице уже — все каски, все каски. О, немцы здесь порядок бы навели! Ну, да и без них как-нибудь справимся. Мне кажется, господа, что, по всей вероятности, уже завтра Керенский уйдет в отставку.

— В отставку?! — удивленно ахнул один только бухгалтер, и все презрительно на него посмотрели.

— А возможно, что Керенский просто-напросто уберет вашего Корнилова из главковерхов, — обронил желчно Жендзян, густо краснея.

— Ну, уж нет! Ручки-с у вашего Керенского коротки! — с издевкой процедил Комиссаров. — Ни казачество, ни воинские организации ставки этого вам не позволят-с. Корнилов провозглашен ими теперь несменяемым главковерхом! А вот вашего Граммофона песенка спета-с. Полки-то с фронта, поди, уж подошли к Москве. Не удивлюсь, если уже завтра будет в газетах об аресте и свержении самодержца Александра Четвертого. Вот это праздничек будет! — хлопнул он себя по ляжкам и ликующе захохотал.

Но Комиссарову не повезло: ни о каком свержении Керенского наутро в газетах не было. И генерал теперь хмуро топорщил рыжую бороду, нюхал ее, задумчиво фыркал и молчаливо катал за обедом хлебные шарики. После обеда к нему пришла на свидание жена. Простуженным голосом оглохшей шарманки она что-то долго и озабоченно сипела ему в углу на ухо. Генерал несколько раз вставал со стула и нервно подтягивал брюки, чего раньше с ним никогда не бывало.

— Сторговалися там, стервецы! — проскрежетал он с досадой, рассеянно подойдя ко мне, когда его дама ушла. — Опять бесполезная проволочка!.. Ну, кому это нужно?! Кому это нужно?!

По всему было видно, что расстроенный генерал имеет потребность кому-нибудь излить свое горе, и мне показалось очень забавным послушать еще раз эту рыжую тварь.

— Кто сторговался? Какая опять проволочка? — с притворным участием спросил его я.

— Да нет, дело, конечно, не в них! — раздраженно отмахнулся он пухлой рукой. — Америка, Америка эту музыку портит. Грам-

мофону нужны сейчас деньги. Дозарезу нужны. Если к началу этого года мы были должны загранице тридцать три миллиарда, то лишь за первое это полугодие мы еще прибавили десять, а к концу года, наверное, перевалим за все шестьдесят. Французы денег ему больше не дают. Англичане дают, но не деньги, а негодные пушки, да и те записывают нам втридорога. Однако союзники обещали дать нам крупные деньги, но только, конечно, Корнилову. Казалось поэтому, что все теперь — в шляпе: Граммофон окончательно провалился. И вот, в самый последний момент Терещенке удалось объегорить Вильсона. Америка посулила сейчас ему дать целых пять миллиардов, при условии укрепления демократической коалиции. «Демократическая коалиция»!.. — протянул Комиссаров язвительно. — Подумаешь, кому она здесь нужна?! Конечно, вся эта шушера мигом решила немедленно сторговаться с нашими промышленными верхами, чтобы купить себе их поддержку. А ведь я вполне был уверен, что все это нынче же лопнет. Корнилов должен был остаться в Москве, и мы имели бы уже сегодня совершенно новый состав кабинета. И вдруг вместо этого... тьфу! — гневно сплюнул он в стену, — сторговались!.. Церетели первый во всем уступил. Советы теперь он согласен убрать. Дисциплину немедленно восстановят. Верность союзникам — свята. Всякие там волнения — к ногтю! Только лишь, будьте так милостивы, нас самих-де не вышибайте! Мы-де «леса вокруг еще недостроенного здания новой России». Уберете, дескать, нас преждевременно — все может рухнуть. Подумаешь тоже: они — «леса»! Мусор они, а не леса! Разве смогут они выполнить все так, как это нужно?!. Но... американские доллары — это, милый мой, штучка! У купцов закружилась башка, и вот Бубликов от имени всего торгово-промышленного сословия протянул руку этому ишаку. Ну, и ударили по рукам. Но кому, спрашивается, все это нужно?! Какой из этого будет толк? Никакого! Вот помяните мое слово, — убеждал он меня назидательно. — А из-за этого будем теперь мы вместе с вами еще месяцы здесь сидеть! Ну, зачем, спрашивается? Почему? А все потому, — накинулся вдруг на меня Комиссаров, — что не сумели вы тогда в июльские дни дать этому Граммофону по шапке. Вот и расплачивайтесь теперь за это! Вот и расплачивайтесь! — раздосадованно тыкал он пальцем в мою сторону, затем злобно сопнул и ушел.

Когда на следующий день неожиданно пришел на свидание ко мне Луначарский, я был несказанно обрадован и смущен.

— Я от фракции к вам, из Смольного, — сказал он, осторожно оглядывая мой офицерский костюм. — К вам, кажется, кто-то уже приходил? Ну, а мне поручили передать вам тридцать шесть рублей. Эти деньги собраны среди рабочих в пользу наших товарищей, сидящих по тюрьмам. Разумеется, это скудная сумма. Но

число заключенных так велико! — и он передал мне эти деньги, добродушно отмахиваясь от моего сконфуженного благодарственного бормотания.

— Московское совещание? — стал отвечать он на ряд нетерпеливых моих вопросов. — Московское совещание закрылось. Оба лагеря сторговались. Теперь надобно ожидать усиления репрессий против нас, против большевиков, — с гордостью произнес он это последнее слово. — Наш «Рабочий и солдат» они на-днях уже прикрыли. Надо думать, что так же они прихлопнут и теперешний наш «Пролетарий». Проводится постепенный разгон советов, сначала в провинции. Передавали сегодня, что будто бы уже разогнан Грозненский совет. На Московском совещании затевался нешуточный переворот. Генерал Корнилов уже стягивал под Москву преданные ему войска. Один из полков удалось задержать как будто бы в Вязьме, другой — возле Можайска. Намечалось торжественное провозглашение корниловской диктатуры. Чхеидзе с Керенским перетрусили чрезвычайно, а наши партийные товарищи немедленно разъехались тогда по московским казармам, куда нас раньше не допускали, и только этим путем удалось создать довольно надежный военный оплот против возможных генеральских авантюр. Вообще же в низах настроение солдат и рабочих день ото дня крепнет. Путиловцы вчера приняли нашу большевистскую резолюцию. На Обуховском заводе, где все это время безраздельно верховодили эсеры, им больше туда хоть не показывайся! Колоссальнейшую роль сыграл во всем этом съездовский наш манифест. Как? Вы еще не читали? Хорошо, что случайно я с собою его захватил. Прочтите. Написано искренно и горячо. Непременно прочтите!

И он ушел от меня, проворный и бодрый, с бородкой и глазами задорного фавна. В руках у меня он оставил тощую пачку кредиток и этот съездовский манифест.

Я примащиваюсь у окна в полнейшем уединении и, захлебываясь от боевого восторга, перечитываю манифест несколько раз. Какая здесь яркая четкость и красочность мысли! Какая непримиримая ненависть к предателям и врагам!

«Меньшевики и эсеры, исполняя волю буржуазии, разоружили революцию и тем самым вооружили контрреволюцию. С их молчаливого согласия были спущены с цепи остервенелые псы гнусной буржуазной клеветы против славных вождей нашей партии. Это они вели позорный и постыдный торг головами пролетарских вождей, выдавая их одного за другим рассвирепевшим буржуа...

Передавая власть в руки контрреволюции и предав революцию, вожди мещанства, эсеры и меньшевики, стали подписывать почти все контрреволюционные мероприятия правительства. Красный флаг свободы спущен. На его месте взвился черный флаг смертной казни».

Как все это верно! Как изумительно верно! И как это все еще более теперь подтверждается гнусною сделкою Бубликова и Церетели в Москве!

«Но рано торжествует контрреволюция свою победу, — кричат слова манифеста. — Пулей не накормить голодных. Казацкой плетью не отереть слез матерей и жен. Арканом и петлей не высушить моря страданий. Штыком не успокоить народов. Генеральским окриком не остановить развала промышленности...»

В соседней гостиной взрывается рокот матчиша. Это князь Андронников сел за рояль. Генерал Комиссаров с диким азартом выкрикивает в такт бравурного ритма похабные свои куплеты. «Ну, погоди, оголтелая сволочь!» — озираюсь гневно я.

«Работают подземные силы истории, — встают и шагают передо мной черные ровные буквы в боевых строках манифеста. — В самых глубинах народных масс назревает глухое недовольство. Крестьянам нужна земля, рабочим нужен хлеб, и тем и другим нужен мир. По всему земному шару залетали уже буревестники...

В эту схватку наша партия идет с развернутыми знаменами. Она твердо держала их в своих руках. Она не склонила их перед насильниками и грязными клеветниками, перед изменниками революции и слугами капитала. Она будет и впредь держать их высоко, борясь за социализм, за братство народов. Ибо она знает, что грядет новое движение и настает смертный час старого мира.

Готовьтесь же к новым битвам, наши боевые товарищи! Стойко, мужественно и спокойно, не поддаваясь на провокацию, копите силы, стройтесь в боевые колонны. Под знамя партии, пролетарии и солдаты! Под наше знамя, угнетенные деревни!

Да здравствует революционный пролетариат!
Да здравствует союз рабочих и деревенской бедноты!
Долой контрреволюцию и ее Московское совещание!
Да здравствует мировая рабочая революция!
Да здравствует социализм!
Да здравствует партия большевиков!»

«Большевики! — встаю и радостно думаю я, глядя в окно. — Да, это вот — настоящие, несокрушимые большевики!..»

35. ГАЛОП БЕЛОЙ ЛОШАДИ

После переселения вниз нас ежедневно пускают на часок в полдень гулять во двор. Так приятно бывает размять этой прогулкою тело, начавшее было горбиться от постоянного сидения на кровати. Земля, неровная, пыльная, зашарканная земля со вбитыми в нее

булыжниками, кажется такой милой, желанной, родной. Мы ходим парами или одиночками от заднего нашего крыльца до дальнего жилого флигеля и обратно уже заученным, привычным маршрутом. Посредине двора стоит часовой, который следит за нами. Но о побеге никто из нас не помышляет. А бежать отсюда легко. К невысокому деревянному забору, отделяющему этот двор от соседнего участка, прилепился низкий сарайчик. Вскочить на него — было бы делом секунд. За забором — пустырь со штабелями дров. Выскочить оттуда на улицу также легко.

И тянет на волю, мучительно тянет, но я строго помню наказ Залуцкого. Поэтому стараюсь хладнокровно смотреть на дальние купы деревьев, уже подернутые желтою рябью. Это болезненно напоминает Ораниенбаум. Как там сейчас Горшков?

— Посюшьте, господин погучик, — щеголеватым пухлым экворцом подкатывается ко мне Андронников. — Пгостите, гади бога, меня за один нескгомный вопгос: это пгавда, что будто бы на-днях вы устгаиваете восстанье?

Забавно смотреть на этого белесого жирного идиота, когда он, задав дурацкий вопрос, простодушно хлопает наивными глазками. Однако вопрос прозвучал хотя и писклйво, но достаточно внятно, и потому многие из гуляющих, ухмыльнувшись, выжидательно косятся на нас.

— Я думаю, что глупые сплетни носят только сороки на своих хвостах, уважаемый князенька.

Но он ничуточку не обижается.

— Но позвойте, все газеты: и «Гусская воя», и «Бигжовка», и «Цовое вгемя», и «Гечь», и «Гусское с'ово» всю недею твегдят в один гоес пго это. Неужеи они все это выдумаи?

— Никаких восстаний, сиятельный князь, мы не устраиваем и устраивать пока не намерены, — обрываю я зло. — Это пускай уж ваш Корнилов устраивает московские заговоры, если это вам нужно. Вон генерал Комиссаров рассказывал же на-днях..,

Но Комиссаров уже подплывает к нам колыхающейся грузной походкой. С тех пор как нас выпускают гулять, он сменил форменный китель на штатский темный пиджак. Только брюки он носит все еще синие, форменные, хотя уже без генеральских лампасов.

— Корнилову заговоры не нужны, — заявляет он веско. — Он и без заговоров, когда будет нужно, въедет сюда на белом коне, будьте спокойны, — приосанивается он самодовольно. — Вся эта брехня против Корнилова раздувается сейчас вихлявым Сашкою-граммофоном, чтобы опорочить боевого крепкого генерала. Власть к Корнилову, рано иль поздно, все равно перейдет, — тут Комиссаров косится на дальнего часового, — и безо всяких помех. На этом, кстати, очень настаивает теперь заграница: довольно,

дескать, болтовни, пора и за дело! Пуанкаре прямо-таки обожает сейчас Корнилова.

— Любовные письма пишет ему, — ухмыляюсь я злобно.

— Письма — не письма, но генералы Жанен и Нокс обещали нынче Корнилову полную поддержку, — мигнул Комиссаров лукаво. — Следовательно, господа большевики, не таитесь: катабалык-то затеваете вы!.. Ну-ну-ну, — рассыпается он благодушным баском, словив в глазах у меня ненависть и презрение, — не стану же я разглашать ваших тайн. Действуйте себе пожалуйста на здоровье! Когда Граммофон будет от вас удирать, я сам первый помогу вам его изловить...

Я спешу поскорее отделаться от этих надоедливых погромщиков.

Жендзян по утрам терпеливо прочитывает все газеты, а начитавшись их вдоволь, гуляет по двору дичком, сердито насупясь.

— Ах, что они делают!.. Что они делают?!. — говорит он сейчас мне при встрече дрожащим голосом, вскидывая на меня горящие мукой глаза. — Ты ведь знаешь? Дубненский полк... там, на позициях... почти поголовно ими расстрелян!.. Окружили ночью шестью полками, обезумевших от ужаса гнали в лес... все деревья — в крови. — Выразительное лицо Жендзяна передергивается судорогой.

— Керенский? — вразумительно спрашиваю я.

Жендзян кусает губы и опускает глаза.

— Нет, не думаю, — вспыхивает он, — мне кажется, это Корнилов.

— Все на один лад! — отмахиваюсь я брезгливо. — Посмел же сказать Церетели вчера в исполкоме, что настал наконец момент для применения террора...

Жендзян сокрушенно пожимает плечами, и мы возвращаемся со двора. Караульный начальник уже прекращает нашу прогулку.

— С Ригою плохо, — монотонно скрипит Герасимов за обедом. — Немцы усиленно напирают. Как бы мы ее не сдали.

— «С Ригой плохо»? — презрительно фыркает Комиссаров. — А где у нас нынче не плохо?!. Разве только что здесь: в петезе!..

— Читал о результатах выборов в Городскую центральную думу? — хвастается вечером передо мною Жендзян. — Мы, эсеры, получили семьдесят пять мандатов, а вы — только шестьдесят девять, хотя с новоживненцами вас наберется столько же, сколько и нас. Что смогут теперь поделать с нами кадеты, когда у них всего лишь сорок четыре места?!

— Наивнейший оптимист! — отвечаю я. — Разве эсеры будут блокироваться с нами?

Наутро весть о внезапном оставлении нами Риги ужаснула нас.

— Ригу?!. Сдать?!. — волновался всех больше моглявый бухгалтер, когда мы обступили Ваську Орлова, читавшего вслух газету.

— Поголовное дезертирство, — как немазанное колесо проскрипел Герасимов и щипнул седую щетинку на подбородке. — Пуришкевич правильно сказал недавно Родзянке: «Нужна военная диктатура, арест совдепов, а Временное правительство — под суд. Без генерал-губернаторов и полиции невозможно спасти Россию!»

— Все дело в Питере, — многозначительно крякнул Комиссаров.

— Почему непгеменно диктатуга? — вскинул пухлыми плечиками князь Андронников. — Какие стгашные все с'ова! Достаточно будет, если военную в'асть нашего вегховного гьявнокомандующего гаспгостганить и на Петегбуг. Газве это непгавда?..

После чая мы, уединившись с Жендзяном, перечитываем запоем все подробности о сдаче Риги.

— Как они лгут!.. — передергивается Жендзян возмущенно. — «Речь» вопит о поголовном дезертирстве солдат, а вот даже Войтинский и Кучин в телеграммах своих сообщают в «Деле народа», что солдаты под Ригой дрались и дерутся как львы.

— Да, там были крепкие большевистские части, — с грустью вспоминаю я, — много латышских полков. Там издавалась и наша «Окопная правда». Не похоже, чтобы там бежали.

— Слушай! — хватает меня Жендзян испуганно за руку, задумчиво глядя в окно. — Не может этого быть?.. Нет-нет-нет!.. А все же, как думаешь? Не может этого быть, чтобы... Корнилов намеренно отдал Ригу?!. Ведь грозил же он этим на совещании в Москве?!.

— Да, — мрачно киваю я головой. — Угрожал. — И дикая горечь разливается в горле. «Вот, — думаю я, — мы засажены здесь как «пособники немецкого империализма», а генералы, лишившие нас свободы, сдают немцам преднамеренно города. Нам здесь смертная казнь угрожает только за наши идеи о необходимости установления рабоче-крестьянской власти, а матерой черносотенец и погромщик, депутат Государственной думы Пуришкевич, разгуливает на свободе и безнаказанно агитирует за военную диктатуру, арест правительства и разгром советов! Куда мы идем?!.»

— Ну, как, храбрейший наш подпоручик, — подтрунивает Комиссаров и бесцеремонно берет меня под руку, когда мы выходим после обеда из-за стола. — Как думаете вы реагировать?

— Не понимаю вас, — говорю сухо, стараясь освободить свою руку.

— Неужели сдача Риги так и останется неотомщенной?

— Кому — неотомщенной? — хмурю я брови. — Генералу Корнилову, что ли?

— При чем тут Корнилов? Дался вам Корнилов! — досадливо пожимает Комиссаров плечами, уводя меня в дальний угол гостиной. — Корнилов здесь совсем ни при чем. Корнилов — исполнительный, честный солдат, и только. Попробовали бы вы сдержать

сейчас сто пятьдесят девять неприятельских дивизий на нашем фронте при теперешнем состоянии наших армий! Вон на всем Западном фронте, во Франции, не более ста сорока трех немецких дивизий, а все союзные армии, вооруженные до зубов, во как перед ними кряхтят!

— Значит, наши солдаты ни при чем? — искоса наблюдаю я за ним с оживающим интересом.

— При чем тут солдаты, если вся страна воевать больше не может! — устало кривится Комиссаров. — Скорый мир все равно неизбежен.

— Вот как? — поднимаю на него с удивлением глаза. — Сепаратный?

— А чорт его знает, — простодушно хрюкает он. — Все зависит теперь, как у нас с союзниками: кто кого скорее обманет. Они по крайней мере уже как будто бы делают ход через «святейшего» папу — сторговаться с немцами за наш счет.

«Откуда у него такая поразительная осведомленность? — насквозь пронизываю я взглядом этого матерого обер-шпика. Неужели через жену свою узнает он все эти тайные новости?»

— Но дело сейчас вовсе не в немцах, — глубокомысленно вздыхает жандарм. — Дело сейчас только во внутреннем положении. Керенский обнаглел и зарвался. Неужели с этим вы не согласны? Почему бы вам сейчас же не попытаться, воспользовавшись Ригой, сбросить Керенского?

— Как то есть сбросить? — настороженно отшатываюсь я от него. При чем тут Рига? Что вы хотите этим сказать?

— Да ведь ходят же к вам тут разные ваши товарищи с воли? — участливо поет вполголоса Комиссаров. — Почему бы вам не спросить их: долго ли вам еще тут томиться? Возмущение в народных низах этой сдачею Риги должно быть сейчас столь велико, что, организованно выйдя на улицу и действуя потолковей, нежели в июльские дни, вам ничего бы не стоило захватить теперь власть в свои руки и установить все, что только вы захотите...

— Откуда у вас столь трогательная о нас заботливость? — с презрительною насмешкой спрашиваю я этого загадочного негодяя, совершенно недоумевая, куда это он гнет.

— Вот чудак! — усмехается дружелюбно эта рыжая туша.— Так ведь я ж — безработный. Старый строй все равно не вернется. Сидеть мне здесь взаперти сложа руки — уже чертовски надоело. Волынка с Сашкою-граммофоном тянется без конца. Залезайте ж тогда, чорт побери, уже вы во дворцы! У меня — своя специальность: я и вам смогу пригодиться. Без работы тошно сидеть. К тому же вы толковые, умные люди, понимаете с полуслова. Почему б мне вам в таком случае и не помочь — хотя бы авансом — организационно? Опыта у вас маловато: можете этак выгодный момент

пропустить. Эх, кабы вы сейчас вот!.. Почему б не сказать, в самом деле, вам об этом вашим друзьям? Вы в вашей Цеке как, состоите? — Он глядит теперь на меня испытующе через очки, выпучив толстые, жирные губы.

«Вот куда гнет этот жандарм?! — смотрю я на него с изумлением. — Какой же дьявольский план задумала вся эта сволочь!..»

— Благодарствуйте, Комиссаров, — говорю я ему с неистребимым презрением. — Спрячьте подальше от нас свои лапы. Благодарите судьбу уже за то, что вы пока целы, несмотря на всю вашу прошлую погромную прыть. А наше ЦК само знает отлично, как ему поступать в своем деле.

Мне трудно себя сдержать, чтобы не расхохотаться громко и торжествующе прямо в лицо этому перемудрившему обер-филеру.

Он ежится и передергивается, гневно сопит, неуклюже вставая.

— Какой вы неисправимый! Ох, какой неисправимый! — фыркает он затем на меня, как ни в чем не бывало. — Ну, пожа-пожа-пожалуйста-пожа!!. — нагибается он ко мне, укоризненно крутя головою. Обиженно передернув плечами, он уходит беспечной раскачкой, весело тренькая шпорами. — Сами будете потом жалеть!! — бросает он мне уже от дверей.

«Упорно не выходят у него из жандармской башки большевики! — думаю я потом горделиво про партию, но с каким-то глубоким внутренним беспокойством. — Однако что такое задумал этот рыжий чорт? Почему он так настойчиво толкает сейчас нас на улицу?»

— Голод будет, — говорит вслух бухгалтер, ни к кому не обращаясь. — И на Волге и в Донецком бассейне бунты, пишут, из-за продовольствия начались.

— «Костлявая рука голода» от господина Рябушинского, — язвительно откликается Жендзян, с грустью глядя в окно.

— Брал ты сегодня у газетчика наш «Пролетарий»? — спрашиваю его.

— Твой «Пролетарий» закрыт, — отвечает он мрачно. — «Рабочий» вышел сегодня вместо него. Возьми его там, под подушкой.

«Наши друзья!» — кричит в этой газете жирная шапка, лишь только я беру номер в руки. А дальше идет речь о том, что необходимо срочно собрать среди солдат и рабочих сто тысяч рублей. Нужно немедленно восстановить типографию «Правды», разгромленную в июльские дни. Агитация, агитация и агитация — сейчас на первом месте.

«Надо будет поручить жене, — решаю я, — эти тридцать шесть рублей, что принес Луначарский, передать на «Правду». Семья-то как-нибудь перебьется, раз продан ковер. А то вроде как даже и совестно мне брать эти деньги».

«Почему, — спрашивает дальше газета «Рабочий» в своей передовой, — нас каждый раз закрывают в определенном случае, когда мы призываем солдат и рабочих не поддаваться на провокацию? «Правду» закрыли в июльские дни, как только она объявила демонстрацию завершенной и призывала к спокойствию. «Рабочий и солдат» был прихлопнут немедленно, лишь только он заявил, что большевистская партия против каких бы то ни было уличных выступлений-протестов в день открытия Московского совещания. И «Пролетарий» теперь тоже закрыт, как только призвал к стальной выдержке в связи с падением Риги...

... Темные личности в солдатском обличьи, — продолжает «Рабочий», — ходят сейчас по фабрикам и казармам, выдавая себя за большевиков. Они призывают к вооруженному выступлению 27 августа. Знайте, товарищи, что это гнусные провокаторы, — предостерегает газета. — Выдержка, товарищи, и спокойствие, выдержка и спокойствие! Сейчас — никаких выступлений!»

«Так вот почему жандарм Комиссаров проявляет такое «участие» к нашим делам! — ударяю я себя по лбу. — Однако что же эта свора задумала? Для чего это им все нужно?..»

События этих дней не дают, однако, на это никакого ответа. Наша жизнь попрежнему протекает здесь уравновешенно и спокойно.

— Боюсь, что наших кольтовцев тоже всех отправят на фронт, — беспокоится взгрустнувший Жендзян, обращаясь ко мне на прогулке. — Смотри-ка в газеты: что ни день, то по два, по три полка отправляют сейчас из Петрограда. Московский — угнали, Первый запасный и Гренадерский — тоже. Непонятно, кто теперь у них будет нести здесь караулы?

— Кавалерия-матушка! Кавалерия, — беззаботно подмигивает нам Комиссаров, мурлыча под нос себе какой-то скабрезный куплет.

— Много ли тут кавалерии?! — пожимает плечами Жендзян.

— Конница, она подвижная, — смеется жандарм, — возьмет да с фронта приедет...

«Чем бы ребенок ни тешился, лишь бы не плакал, — думаю я, насмешливо оглядывая его рыжую тушу. — Пускай выводят они полки, это не даст измученной нашей стране ни хлеба, ни мира и ни свободы».

— Ну, что ж, завтра, что ль: «вылетай-вылетай»?! — хрюкает, обращаясь к нам, эта бородатая жандармская харя.

— Удивляюсь, почему это вы вот от нас еще не улетаете? — язвительно спрашивает вместо ответа Жендзян.

— На-днях вылетим! Не беспокойтесь! — дурашливо танцует он перед нами. — Вон Вырубова и Бадмаев с Хвостовым уже подъезжают, должно быть, к Торнео. Дойдет скоро очередь и до нас... Адью тогда, дорогие! Прощайте!..

Назревшие события обрушились на нас совершенно нежданно. Начались они, собственно говоря, с одного из очередных свиданий с близкими родными, когда все сановные узники наши с растерянно бегающими глазами необычайно тревожно выслушивали торопливое, порывистое бормотание своих посетителей. Шушукание, перешоптывание и несусветная беготня вмиг овладели гостиной.

— Что это с ними сегодня такое? — удивленно поднимал бровь Жендзян.

Однако я ничего не смог ответить ему, ибо нас в свои треволнения эти архаровцы почему-то не посвящали. Больше всех суетились у них на этот раз Андронников и Орлов.

— Невозможно! Непостижимо! Невегоятно! — летал из угла в угол, от одной группы к другой пухленький князь.

— Сам заманил, сам же и выдает! Хе-хе-хе-с, старые штучки! Видывали, — крутил усики Васька Орлов. — Этак дешево он теперь не отбрыкается! Будьте-с спокойны, — почтительно оглядывался он на Комиссарова, насупившегося, словно бирюк и то-и-дело нервно протиравшего очки.

Однако кто «заманил», кто «выдает», кто «не отбрыкается» — ничего не было нам в это время понятно. Герасимов писал какие-то спешные письма. Комиссаров настойчиво что-то бубнил ему в ухо, потирая при этом озабоченно руки. И весь этот вечер они держались все вместе, единой заговорщицкою семьей.

Наутро полученные газеты заставили нас подскочить от тревожного тягостного волнения. Огромные заголовки кричали: «Мятеж генерала Корнилова!», «Войска генерала Корнилова наступают на Петроград!»

— Уже наступают?! — переглядываемся мы с Жендзяном.

«Ко всем гражданам!» — вопили воззвания Керенского. — «Объявляю: 26 августа генерал Корнилов прислал ко мне члена Государственной думы В. Н. Львова с требованием о передаче Временным правительством генералу Корнилову всей полноты гражданской и военной власти с тем, что им, по личному его усмотрению, будет составлено новое правительство для управления страной».

— Какая растерянность в стиле! — отмечаю я. — «Правительство для управления». А для чего еще оно может существовать?..

— «Радиотелеграмма по всему фронту!» — поспешно читает Жендзян. — «26 августа... я получил от бывшего верховного главнокомандующего генерала Корнилова... — Почему «бывшего»? — останавливается Жендзян. — Ага, он его уже сместил! «... требование о немедленной передаче ему диктаторской власти над всем государством...»

— Здорово, — трусливо поеживается бухгалтер. — Что же это теперь будет?

— Ничего не будет теперь, — размахивает кулаками Жендзян. — Керенский, должно быть, принимает сейчас самые решительные меры! «Восставший на власть Временного правительства верховный главнокомандующий генерал Корнилов, — читает он вслух воззвание дальше, — взял полки с фронта, ослабив его сопротивление нещадному врагу, германцу, и все эти полки отправил против Петрограда... Он сознательно создает братоубийственную войну... Он говорит, что стоит за свободу, и посылает на Петроград туземные дивизии. Товарищи! час испытания вашей верности свободе и революции наступил, и в сознании святости выполняемого долга перед родиной встретьте стойко...»

— Велеречиво, но непонятно, — перебиваю я Жендзяна. — К кому ж это он теперь обращается? К здешним полкам? Он сам же их выслал на фронт. К рабочим? Он их всех обезоружил.

— Ну?! — гневно вскидывается Жендзян. — Значит, сдаваться, по-твоему, на милость башибузука Корнилова?!

— «Сдаваться»? Зачем же сдаваться? — отвечаю, а сам думаю: «Как досадно, что мы сейчас не на воле. Нельзя же в такие часы сидеть здесь сложа руки, когда там каждый боец сейчас у нас на счету». — Что же делать? — «Контрреволюция наступает, — читаю я ему вместо ответа большевистское воззвание из нашего «Рабочего», — контрреволюционный заговор открыт. Товарищи, теперь нужна особенная организованность! Не поддавайтесь ни на какие провокационные призывы и слухи, сохраните полную выдержку и спокойствие!»

— «Выдержку, выдержку»! — злобно передразнивает Жендзян. — Враг у ворот, быть может уже сегодня вломится в Питер, а вы сидите со своей выдержкой?! Фанатики вы, начетчики вы, а не борцы, не люди, не революционеры!.. — в бешенстве размахивает он кулаком.

— Тише, милый! — прищуриваюсь я на него тоже со злобой. — Почему ты знаешь, что большевики там на воле сидят сейчас сложа руки?! Это не левые твои эсеры! А кроме того, очень-то ты не забывайся, помни, где сейчас мы...

Наша ссора тотчас же утихает.

Жена проскакивает ко мне на свидание утром совсем не в урочный час. Она запыхалась и то краснеет, то бледнеет от мучительнейшей тревоги.

— Милый, ты знаешь: Корнилов!.. Текинцы!.. дикие дивизии!.. Говорят, что Луга уже занята ими... Вырица тоже... От нас против них — никого... На улицах масса народу. Митинги на всех перекрестках. Зев и крики повсюду, а толком ничего не разберешь. На Невском барыньки визжат, что надо гнать в шею советы. У Балтий-

ского вокзала толпы рабочих... Что делать?! Куда деваться?!. И затем, если он только ворвется, то ведь тебя же здесь растерзают! Разве нельзя тебе куда-нибудь скрыться, хотя бы на это время?..

— Без паники, — осаживаю ее. — Лети живо в Смольный. Разыщи там во что б то ни стало Залуцкого. Вручишь ему эту записку. Эти дни сиди дома. Надо будет, сам приеду к тебе. Ну, спеши, не задерживайся!

От нервного беспокойства меня лихорадит, я зябну и судорожно тру свои руки. «Поскорей бы Залуцкий! В такие минуты действительно нельзя здесь сидеть».

За обедом сегодня у нашей своры — явное торжество. Неистребимое ликование играет в глазах у всех самоцветными огоньками. Только я и Жендзян сдержанно мрачны.

— Наконец-то дождался Сашенька-граммофон своей непреложной судьбы! — торжествующе крякает Комиссаров. — Корнилов, этот не будет шутить. Корнилов ижицу ему провернет. Он мужик — су-урьезный! Да и генералы-то, что сюда подступают, эти — тоже не шляпы. Нет, не шляпы! К примеру представить вам — Крымов. Решительный этакий генерал! Палить в воздух не будет. Или — Багратион. Его ингуши такой здесь «режим» на кинжалах своих разыграют, что только мокреть останется от совдепов. Кстати, вы не знаете, Василий Григорьич, где сейчас заседают эти совдепы?

— Хе-хе-хе, — угодливо рассыпается Васька Орлов, блея словно коза. — Придут властители, Михал Степаныч, найдут они всех, кого надо...

Андронников искоса поглядывает на нас. Должно быть, в его глазах мы уже приняли нерушимый облик заведомо обреченных.

— Возмутитейно, — пробует ввязаться и он в разговор, — отвгатитейно, господа, поведение этого самого Савинкова! Газве могут так поступать джентеймены?! Сам вызвай с сог'асия Кегенского конный когпус сюда в Петгогад на усмигение бойшевиков и сам же откгещивается ото всего. Ведь это же вегоемство!..

— Никуда не уйдут. Все никуда не уйдут! — в упоении басит Комиссаров. — Пускай пока позабавятся. Граммофон вон назначил сейчас его военным генерал-губернатором здесь, на предмет, дескать, обороны, а по гражданской части, оказывается, будет вертеть всем наш Барановский. К-артиночка! — фыркнул он самодовольно. — Где кончается сейчас Керенский и где начинаются корниловцы — уже никак не разберешь... Без бутылки. Недурно было бы нам сегодня немножечко и чекалдыкнуть на радостях, господа, вспрыснуть успешный почин генеральского дела. Мне жена, как нарочно, сегодня бутылочку мартелевской «ласточки» сюда притащила. Несите-ка, если угодно, сюда свои чашки, мы

живо ее разопьем. Пусть теперь Александр Четвертый погрустит одиноко последний денек во дворце. Какие могут найтись у него силы? Никаких. Ровнехонько никаких! Обормотов июльских он из Питера выставил своевременно. «Вылетать» больше некому. Министры все до одного разбежались. «Диктаторствуй, дескать, на-славу теперь здесь один!» Наверно, сидит себе теперь одиноко в анфиладах царских покоев, сидит и вздыхает, да телеграммы палит во все стороны, пока провода еще терпят. Корнилову телеграфировал сдать должность генералу Лукомскому, а тем — наплевать. Передают, что главкосеву Клембовскому он телеграфировал сегодня, что просит его быть главковерхом. Но и этот генерал — не дурак. Кто же пойдет сейчас против Корнилова, если все командующие фронтами, весь цвет генералов: Деникин, Валуев, Щербачев, Эрдели — сейчас все за Корнилова! Тысяч до ста, рассказывают, двигается сейчас на Питер. Три конных корпуса. Одной тяжелой артиллерии целых четыре дивизиона! А у Керенского?.. Фью! — свистнул жандарм, предовольный всего более тем, что все с таким восхищенным вниманием его слушали, не прерывая. — Вот сидит теперь Граммофон да и сыплет во все стороны телеграммы, чтобы корниловские эшелоны, дескать, всюду б задерживали. Но кто будет задерживать? И кто будет его телеграммы передавать? Корнилов тоже ведь не дурак: он еще третьеводни, как оказывается, всем телеграфистам по сотняге в месяц жалованья увеличил.

— А все-таки неприятно, неизящно как-то, — поморщился князь Андронников, — будут как-то скакать, будут стгеять,— передернулся он. — Когнилов — Кегенский, чего они меж собой не подеии?!. Особенно, ес'и загансе у них бый уговой.

— Не говорил ли я вам постоянно, что Граммофон — балаболка? — торжествующе посмотрел на него Комиссаров и резко добавил: — Это у него с перенюху: кокаин, должно быть, вагонами потреблял.

И вечер и ночь пролетели в тягостном напряжении. Я лежал на постели одетым, готовый вскочить при первой тревоге. Порой я открывал окошко на двор и прислушивался, не слыхать ли стрельбы. Но все было тихо. Лишь из нашей гостиной доносились рулады андронниковского матчиша, визгливый хохот Васьки Орлова да хриплый бас приплясывающего Комиссарова: «Возьму Дуньку из там-там-там!..» Очевидно, там допивался комиссаровский коньяк. Тянуло взглянуть из окон на улицу, но итти для этого через гостиную было противно. Лишь ночью, когда все уснули и только по камням двора гулко ляцкали сапоги часового, я прокрался бесшумно в зал и глянул в окно. Открывать его на улицу не разрешалось. Однако и на улице незаметно было тревоги. Сонные панели, тусклые фонари, мрачная темень августовской ночи.

Должно быть, эту ночь все спали мало и плохо, потому что чуть свет уже стали бродить с посеревшими мятыми лицами в полумраке гостиной.

— Чорт его знает, ничего не слыхать, — хриповато бормотал Васька Орлов, стараясь прислушаться к шуму города через открытую форточку. — Неужели вступили без боя?

Жуткая оторопь брала меня при этих словах, а Жендзян хрустел пальцами, нервно вытягивая длинные руки.

— Придется, пожалуй, нам отсюда навастривать лыжи? — обращался он ко мне полушопотом.

— Погоди, — старался я его успокоить, подавляя собственную нервную дрожь, — смотаться мы еще успеем. Надо толком будет узнать от организации, как и что.

«Как и что» обнаружилось скоро. Еще утром замелькали в приемной какие-то совсем незнакомые штатские люди, никогда не бывавшие здесь: то солидные господа в сюртуках, то шустрые молодые люди в визитках. Трепетно вызывали они — кто Андронникова, кто — Герасимова, кто — Комиссарова.

— Экая гадость, — ежился Комиссаров после одного из таких посещений, сумрачно возвращаясь в столовую к чаю. — Этого еще недоставало! В Рихимяках арестовали на железной дороге и Вырубову и Бадмаева и Хвостова, — словом, всех, которые вполне законно выезжали теперь за границу.

— Ну?! — в ужасе ахнула вся столовая.

— Что — ну? Посадили сейчас их в тюрьму в Гельсингфорсе. Не поймешь, кто теперь распоряжается, — прорычал разгневанно Комиссаров.

— Непонятно-с, чего это там их затерло? — скривился Орлов, глубокомысленно почесав поясницу.

— То есть кого же это затерло? — сердито взглянул на Орлова Герасимов.

— Ну, кого же-с, — почтительно осклабился Васька, — конечно же-с, их, то есть верные государственным идеям войска, долженствовавшие еще вчера сюда прибыть-с.

— А чорт их там знает, почему их затерло! — с раздражением передернулся Комиссаров. — Ничего не понятно. Никому ничего не понятно! — с болью в голосе прохрипел он. — Вчера вся эта неразбериха заставила даже самого сэра Бьюкенена от имени всего дипломатического корпуса предложить услуги посредничества между Граммофоном и ставкой. Никто ни черта сейчас не разберет, что там где происходит. Если же судить по бумагам, то биржа вчера резко сделала скачок вверх. Жаль, что я не оставил путиловских, долго держал, а тут как-то продал; а то вчера они бешено поднялись. Но, впрочем, мы с женою и на нобелевских вчера тоже не прогадали. Вот вам как будто бы верный барометр, а между

тем Керенский выкидывает сейчас фортель за фортелем, один другого чище.

— Он, дойжно быть, совсем с ума сошей, — не утерпел поддакнуть Андронников. — Вчега, говогят, он поставий к себе во двогец кагау'ы из пуеметчиков, котогых тойко что газогужай, и из кгонштадтских матгосов. Ведь они же его сами тепей агестуют!.. — подпрыгнул он на стуле как мяч.

— Э, что там матросов! — отмахнулся Комиссаров. — Это даже вышло б неплохо, если бы кронштадтцы там во дворце догадались сами его арестовать. Очень невредно бы получилось. Но он, сукин сын, вооружает сейчас все заводы! Передавали сейчас мне, что из Кронверкского арсенала грузовиками на окраины по заводам винтовки тысячами так и швыряют, так и швыряют!..

Герасимов с сухим достоинством утвердительно кивнул головой.

— Ведь он ошалел там! — выпучив рачьи глаза из орбит, с ужасом потряс Комиссаров волосатыми пухлыми кулаками.

Один только доктор Дубровин ничего не говорил. Он угрюмо жевал какую-то сдобу, молчаливо собирая старчески гнутыми пальцами непослушные крошки, прыгающие с бороды. Вообще он почему-то все время держался в стороне от остальной этой компании. И весь остальной день этот отставной и ободранный старый волк черной сотни простоял, удрученно сутулясь перед окном, выходящим на улицу. В его глазах, глубоко затерявшихся под навесом жестких бровей, еще пробегали старые, хищные огоньки, когда там вдалеке иной раз проходили торопливой походкой небольшие команды рабочих, неся на плечах винтовки или лопаты.

— Должно быть, это с Охты, — делился догадками вслух бухгалтер.

Газет этот день нам никаких не принесли, сам газетчик куда-то пропал, и это бесило Комиссарова больше всего.

В сумерки караульный начальник, тихонько зайдя в нашу комнату, вызвал меня в вестибюль. Там меня спрашивал кто-то с воли.

«Залуцкий! — обрадованно вскакиваю я со стула. — Молодец этот Залуцкий. Надо его сейчас же про все расспросить и обо всем ему рассказать. И, разумеется, прежде всего о своих паршивых письмах, конечно, о письмах! Как это скверно, что в первую нашу встречу это как-то не вышло. Может создаться ложное впечатление, что я хочу еще что-то таить. Но как можно таить, когда партия должна знать все досконально, если я действительно в существе своем все же большевик, несмотря на весь этот гнусный поступок. И затем, в этот момент, когда нужно быть непременно на воле, когда каждый лишний боец...»

Возле лестницы, в полусумраке вестибюля, стоит незнакомый мешковатый солдат. Он вглядывается в меня через очки и приветливо протягивает руку. Нерешительно подаю свою.

— Ну, чего же ты, не узнаешь? — хриповато спрашивает он меня. — А я к тебе от ЦК.

И тут по голосу я обрадованно узнаю, что передо мною Садовский. Он был членом Питерского исполкома еще с самых первых дней Февраля. Мы в то время с ним частенько встречались. Большевик, солдат 6-го Саперного батальона, он был скромен и тих, но неутомимо все время работал на всякой организационной, советского типа, работе. По крайней мере через него наши ЦК и ПК всегда доставали в нужный момент для поездок машины из вцикозского гаража. Как это он ухитрялся, было его личною тайной.

— Ты Залуцкому прислал записку, — говорит он, скромно разглаживая усы, — но публика наша сегодня вся буквально в разгоне. Залуцкий где-то сейчас на заводе. Сколачиваем, знаешь ли, заново всю нашу рабочую гвардию. Уже записалось, поди ты, наверное, тысяч двадцать, нехватает вот только винтовок... Ну, так вот, значит, вместо Залуцкого и пришел к тебе я. Тем более что по пути мне надо было и в свою часть сюда завернуть. Как видишь, она вон напротив, — кивнул он на стеклянную парадную дверь, за которою уличка мимо церкви упиралась в белое здание саперного батальона. — Окопы, брат, окопы все роем вторые уж сутки вокруг всего Питера. Рабочие жены и дети день и ночь добровольно роют окопы. Саперы нашего батальона с ног прямо валятся: две ночи не спали. Энтузиазм на заводских окраинах удивительнейший. Рабочие поднялись поголовно все, как один. Чхеидзе так сейчас испугался Корнилова, что впопыхах приказал выдать для нас двадцать тысяч винтовок. Утром сегодня, под влиянием Савинкова, он уже хотел был сыграть на попятный, да только мы за прошедшую ночь успели все получить; и заводы уже вооружились. Но, разумеется, этого мало: капля в море! Желающих просто тьма. Окраины прямо бурлят. Куда там — третье июля! И сравнить невозможно. Нам приходится жестко сдерживать массы, учтя прошлый урок. Вся надежда теперь только на собственную организованность. Кадеты открыто встали все за Корнилова. Все министры вышли в отставку, или, вернее, Керенский всех уволил в оставку, провозгласив свою личную диктатуру. Но это — петрушка, а не диктатура, сил у него нет никаких. Все юнкера — за Корнилова. Офицерье тоже. Пришлось ему вытребовать к себе для караулов наших матросов с «Авроры». Это они теперь его охраняют в то самое время, когда их же товарищи попрежнему томятся в Крестах. Однако требование об освобождении всех арестованных за июльские дни настолько сейчас охватило широкие массы, что Керенскому трудно будет в этом нам отказать. Очевидно, сегодня же ночью или, в крайнем случае, завтра утром всех арестованных наших выпустят на свободу, ну и тебя, разумеется,

в том числе. Как выйдешь, лети тотчас же в Смольный. Люди нам очень нужны.

— А может быть, можно уже сейчас? — умоляюще я смотрю на Садовского. — Ведь отсюда уйти так легко, а сейчас очень нужны именно наши военные силы.

— О, нет-нет, — строго трясет головою Садовский. — Этого — ни в коем разе! ЦК специально этот вопрос обсуждал и твердо постановил — не давать нашим врагам ни малейшего повода обвинять нас в каких-либо заговорах, бегствах из-под ареста и тому подобных других авантюрах. Строжайшая выдержка, организованность и терпенье сейчас превыше всего! Только так мы добьемся полной и быстрой победы. Фактически вся здешняя военная сила целиком в наших руках. Чхеидзе нынче Каменеву, ну, буквально-таки надоел — столько раз прибегал: «Вызвали-де вы иль не вызвали на помощь сюда матросов из Кронштадта?» Но чего их там вызывать? Кронштадтцы на то и кронштадтцы: они и без просьб давно уже сами приперли, — должно быть, теперь тысяч десять; и организованно тут же все — марш под Питер в окопы, на Корниловский фронт. Савинков было пытался тысячи три их перехватить по дороге и отправить обратно в Кронштадт. Но кто ж его теперь будет слушать?

— Это новоиспеченного генерал-губернатора-то, руководителя «обороны»?! Ну что за комедия это, право! — не смог я сдержать язвительного восклицания.

— А ну их всех к чорту! — спокойно бросает Садовский. — Нынче на них и внимания никто не обращает, а не то что там на их приказы. Керенский как был дураком и двурушником, таким и остался. Сегодня издал специальный приказ здешним казачьим полкам: превозносит их за подавление, видишь ли, «контрреволюции со стороны кучки безответственных деятелей, учинивших, дескать, попытку переворота в июльские дни». Этот фигляр до сих пор не может себе ясно представить, что нам очень легко было бы захватить власть в свои руки, вот так же, как, к примеру, сейчас, если бы только мы определенно решили именно захватывать эту власть. Но в том-то и дело...

— А почему бы, Садовский, — шепчу я ему почти на ухо, осторожно, — нам эту власть сейчас и не захватить?!

— Ты что, в своем уме? — сдвигает Садовский фуражку свою на затылок. — И это в горячий момент острой склоки между двумя отрядами неполадившей меж собой буржуазии?

— Вот именно, — вскидываюсь я к нему. — Когда среди правящей банды раскол — по-моему, всего и удобнее захватывать власть!

— Раскол — не раскол, а только начальная и очень острая стадия этого раскола. Но мы были бы авантюристы и остолопы,

если бы уже сейчас, когда огромные массы народа еще только колеблются, еще только раскачиваются и приходят в движение,— если бы мы именно в данный момент ввязались в эту драку за власть. Ты подумай, в какой контрреволюционный угар кинуло бы это наше теперешнее выступление против власти все те одураченные казацкие массы, которые пока еще слепо идут за своим офицерьем. Сейчас же мы, совершенно не покушаясь на власть Керенского и в то же время организуя помимо него — не на словах, а на деле — настоящий вооруженный отпор наступающим вешателям-монархистам, мы тем самым и делом своим и своей пропагандой и против Корнилова и против Керенского чрезвычайно революционизируем даже самые отсталые массы. Ведь даже здешние казачьи полки уже принялись нынче за аресты наиболее злостных своих офицеров и поголовно высказались против Корнилова. А что было бы, если бы мы сейчас поднялись?!. Корнилов-то как раз и рассчитывал натравить свои полчища на нас, на большевиков, якобы уже поднявших в Питере резню и восстание. А мы возьми, да и не шелохнись. И вышло у них. мимо Федора, да — в стену! — как любит выражаться Петя Залуцкий. А ты говоришь...

Имя Залуцкого мне напомнило тотчас о письмах.

— Вот что, Садовский, — начал я робко, потупив стыдливо глаза. — Мне надобно тебе сообщить одну очень скверную вещь...— дальше я от нерешительности умолкаю. Не то чтобы я боялся дальше сказать, нет — мне просто мучительно стыдно.

— Скверную вещь? — смотрит он на меня с тревожным недоумением.

— Да, скверную вещь, — говорю я уже более смело. — Дело касается, видишь ли, лично меня.

— Ну? — усмехается он снисходительно, и мне кажется даже, что взгляд его словно как бы теплеет. Должно быть, он ожидал чего-то более страшного от моих слов.

— Так вот, в один из первых дней после своего ареста, в начале июля, я, знаешь, так позорно перетрусил и так голову здесь потерял, что чорт дернул меня написать отсюда два-три препакостнейших письма ренегатского, подлого содержания.

Садовский хмуро молчит, и мне кажется, что это молчание длится уже целую вечность, и давит оно на меня с такою железною силой, что даже звон начинает подниматься в ушах.

— При чем же тут чорт? — усмехается он наконец очень мрачно. — Ты говоришь: «чорт меня дернул». Писал-то те письма ведь ты, а вовсе не чорт.

Снова тугое молчание.

— Кому ж ты писал эти письма?

— Да так, знаешь ли, довольно-таки мелким людишкам — их мало кто знает — субъективно честным, объективно прохвостам,

но, во всяком случае, определенно — не нашим сторонникам, а эсерам и меньшевикам.

— Вот никогда б не подумал, — вздыхает Садовский, качая растерянно головой. — А уж очень подлые письма?

— Ну что ж, терзай меня больше! Я этого заслужил... — выдавливаю я из горла, стиснувшего накипевшую горечь. — Поверь мне, Садовский, что я отдал бы всю свою жизнь, если бы можно было вернуть эти подлейшие письма назад.

— Зачем такие громкие фразы? — говорит он с легким укором, но уже много теплее. — Жизни у тебя никто не собирается отнимать. Все дело теперь в твоей внутренней совести, совести подлинного большевика, если ты действительно и по-честному чувствуешь себя таковым. Мне трудно, конечно, сейчас судить о твоем деле. Потом, если будет на то время, может быть, мы в нем и разберемся. А может быть, и разбираться совершенно будет не нужно, если ты делом докажешь, что ты твердый, подлинный большевик.

— Ну еще бы! — говорю я с судорожным всхлипом.

— А что касается колебаний, — продолжает Садовский с тихою грустью, — то, конечно, никто из нас абсолютно от них не застрахован. Я могу сказать это и про себя. Все дело лишь в том, чтобы своевременно заметить свою ошибку и решительно исправить ее.

Я глубоко вздыхаю:

— Ну, конечно, я не стал бы обо всем этом и говорить, если бы не чувствовал в себе острой потребности сбросить с себя эту гнетущую тяжесть. Разумеется, я докажу твердо на деле, что уж теперь-то я подлинный большевик.

— Ну, в этом-то ты не будь уж так самонадеян, — незлобиво усмехнулся Садовский. — Но, во всяком случае, нечего унывать. Дальше само дело покажет, — погладил он свисшие свои усы. — Как выйдешь — лети тотчас в Смольный. Мы мобилизуем все наши силы. Минувшую ночь заседала наша военка совместно с представителями здешних полков. Распределили инструкторов для красногвардейских отрядов по всем заводам. Должно быть, добрых две сотни крепких наших солдат мы тут же срочно направили навстречу корниловцам с твердым заданием — проникнуть в их части и разъяснить там бойцам действительное положение вещей. ВЦИК тоже отправил туда несколько выборных делегаций, в том числе от мусульман — для ингушей и текинцев, но есть сведения, что будто бы офицерье к солдатам их не пустило. А от наших молодчиков, думается, будет толк. Должно завязаться братание. Сегодня, к примеру, уже приехало в штаб несколько казаков от одной из наступающих донских дивизий. Рассказывают они, что им объявили, будто везут их отстаивать Ригу, а затем без предупреждения

повернули прямо на Питер. Вот на что пускается генералитет! А генерал Каледин вчера нагло протелеграфировал Керенскому из Новочеркасска, что отрежет обе столицы от Донецкого бассейна и юга, если только Керенский не уступит Корнилову власти. В общем — заваривается-таки каша. Огромное теперь прояснение растет даже в самых отсталых и темных низах. Для нас самое важное сейчас — готовность к отпору и выдержка. Железная выдержка, милый товарищ!

Он поправил фуражку на голове, одернул солдатскую гимнастерку и, выпрямившись, потрепал меня по плечу:

— Ну, не грусти! Плюнь думать о прошлом, когда столько дел впереди. Как только освободишься — являйся немедленно, а без этого, смотри, отсюда — ни шагу. В I Комендантском ваши же арестованные ребята: Крыленко, Куделько, Дашкевич там и другие — тоже пыталися было вчера самовольно выйти на волю, но ЦК им твердо сказал: нишкни. Одним словом, стало быть, до свидания!— крепко пожал на прощание он руку и неторопливой сутулой походкой исчез за стеклянною дверью.

— Это, стало быть, вы — большевик? — раздался таинственный полушопот с полуярусной лестничной площадки. Испуганно вскинув глаза, я увидал застывшего в темном углу часового. — Вот оно что, — продолжал этот солдат словно в каком-то раздумьи. — Конечно, это даже и ничего, — подытожил он наконец свои размышления, — а то мы все этто думали, что только одни старые генералы здесь, к примеру, сидят. Через это мы долго промеж себя здесь кумекали, что ж нам тут делать, ежели вон те генералы Питер возьмут. Ежели нам здесь оставаться, тогда те нас могут прирезать. Ежели нам загодя убежать, эти могут утечь. Ежели самим здесь этих поубивать, опять же неловко, а может, они для чего и нужны: не зря же тут их содержат в таком аккурате. А вот ежели теперь вы, к примеру, большевики, так это для нас куда теперь поскладней. В таком разе мы завсегда с превеликим к вам уважением, и весь нашинский караул; так вы это и знайте. И товарищам своим про то расскажите.

— Да нас всего-то здесь таких только двое, — улыбнулся я на столь дружелюбное заявление.

— А ежели двое,— стал спускаться с площадки ко мне часовой,— так мы и сейчас вам ни в чем не препятствуем, когда только схочете, тогда вы и уходите. Никто против вас из нас тут и слова не скажет. Чего нам в такое вон время, да вас же здесь сторожить?!. — он подошел вплотную ко мне, простодушный и веселый, и приветливо заглянул мне в глаза.

Жендзян сразу заметил мою приподнятость и окрыленность, лишь только я возвратился. И я подробно тут же ему рассказал о своих разговорах и с часовым и с Садовским. Лишь только про

письма свои я умолчал. И в самом-то деле, зачем ему говорить про всю эту пакость?!

— А может быть, и в самом деле уйдем?— порывисто дернулся он.

— Нет, я до освобождения иль до решения ЦК не уйду, — ответил я твердо.

— Жаль, — покрутил он задумчиво головой и тоже остался. Но только мы оба стали тут же украдкой складывать и завязывать свои книги и вещи. Надо было быть абсолютно готовыми к самому скорому отсюда уходу. Эту ночь мы оба не спали и дружно сидели рядком на постели.

— Чу! — насторожился Жендзян. — Ты слышишь — гудки?!.

Гудки, действительно, начавшись откуда-то совсем слабыми издалека, теперь росли, густели, напластывались один на другой и все мощнее и громче пружинили наседающий мрак предосенней, августовской ночи.

— Тревога?! — шепнули мы в один голос и, кривясь от скрипа паркета, стали на цыпочках пробираться через гостиную в вестибоюль.

Здесь, в дверях на табурете, сидел уже знакомый мне часовой. Должно быть, он задремал. Не выпуская винтовки из рук, он склонял в забытьи голову все ниже и ниже, пока она совсем не свисала, как набухший дождем спелый колос. Тогда, встрепенувшись, он быстрым рывком вскидывал ее вверх. Но и этот спасительный взмах был, вероятно, опять-таки во сне. Приоткрыв глаза на секунду, он смыкал их попрежнему устало и плотно и вновь постепенно гнул голову вниз, пока выход из равновесия вновь не вскидывал его на мгновение из дремы. Мы попали в его поле зрения в один из этих бросков. Он мгновенно встряхнулся, протирая глаза, и озабоченно встал. Однако, узнавши меня, опять опустил усталые плечи и небрежно ослабил корявые пальцы, сжимавшие винтовочный ствол. С немым вопросом я кивнул ему в сторону парадных дверей.

— Конечно! — осклабился он приветливо и предупредительно пошел впереди нас, чтоб отпереть двери.

Мы вышли вместе с ним на улицу. На тумбе сидел другой часовой. Гудки неистово в это время ревели и казались отсюда стадом животных, поднявших предсмертный тоскующий вой.

— Это большевики, — ласково кивнул на нас наш внутренний часовой наружному. — Это те, про которых я даве рассказывал.

Солдат почтительно поднялся с тумбы и участливо глядел на нас. Ощущение воли и улицы поразило сейчас меня своею радостностью и новизной. Захотелось беззаботно шагать мимо этих высоких домов по панелям, переходить улицы, — одним словом, вволю играть не оцененным до этого нами пространством. Показалось странным, что эта вон церковка, которая постоянно торчала

вдали перед глазами, когда мы смотрели на волю с балкона, и которая представлялась всегда безнадежно недосягаемой, — теперь оказалась вдруг неимоверно доступной, приближенной, плотской: можно было бы при желании к ней подойти, пощупать жесткий холод железной решетки, сыроватый глянец стены, поднять с панели жухлый листок с пожелтевшего клена. Однако вся эта беспечность исчезла тут же бесследно от грозного шторма истошно ревущих гудков.

— Должно быть, уже наступают! — произнес я. — Надо быть наготове. Как только покажутся здесь их разъезды, нам надобно тотчас же удирать безо всяких там освобождений.

— А может быть, уже сейчас удерем? — с младенческою мольбою обратился Жендзян.

— Пока нет! — отрезал я, как ножом.

— Никак, это к нам? — встрепенулся наш часовой, заметив два мчащихся грузовика, уже слепивших издали нас фонарями.

— Освобождение! — радостно подскочили мы вместе с Жендзяном. — Наконец-то! — и опрометью бросились в комнату, чтобы забрать поскорей свои вещи.

— Должно быть, нас теперь пачками всех освобождают, — говорю я Жендзяну в радостном треволнении, — сажают тут же на грузовики и везут прямо в Смольный. Вот ловко!

Из гулкого вестибюля и из гостиной уже доносилось шумное шаркание сапог, взволнованный громкий говор, какие-то радостные голоса. С вещами подмышкой, одевши фуражки, мы весело мчимся туда.

Какая-то незнакомая толпа офицеров. Злые, наглые лица. Сердитая ругань с караульным начальником, который сдерживал их в гостиной. Вопросительные взгляды, обращенные к нам. Высокий и тощий, бритый штаб-ротмистр раскачивающейся походкой идет прямо к нам.

— Князь Эристов, — щелкает он шпорами перед Жендзяном. — Разрешите, поручик, узнать, кто здесь старший и где нас устроят? Ведь здесь же только старорежимные заключенные, не правда ль? По крайней мере в штабе нам так обещали.

Я не знаю, как бы ответил на это Жендзян, но тут в гостиную высыпала вся старорежимная наша орава. Комиссаров вылетел впереди всех, накинув на плечи форменный китель с золотыми зигзагами генеральских погон.

— Кто вы? Откуда? — растерянно накинулся он на прибывших офицеров, безуспешно стараясь застегнуть ширинку у брюк.

— Отовсюду!.. — загалдели они наперебой.

— Нас вот сцапали нынче в «Астории», — закричало из них большинство. — Хорошо, что все остальные успели во-время по-

удирать, а то было бы здесь человек триста. Теперь же им удалось накрыть там всего лишь четырнадцать человек.

— Меня в поезде перехватили, — просопел толстенький подпоручик. — Мимо Витебска я проскользнул, хотя там человек сорок нас захватили, а меня уже здесь, перед самым Питером.

— А меня поймали возле вокзала в Царском селе, — отозвался скромный поручик с испитым бледным лицом и петлицами летчика. — Аппараты здесь все, дьяволы, перепорчены, я хотел было к Крымову тогда на машине, но мерзавец шофер испортил дорогой авто. Пришлось добираться пешком. Тут и попал.

— Что ж это такое, разгром?! — обернулся в ужасе Комиссаров и обвел выпученными глазами свою шатию, столпившуюся у него за спиной. — Кто ж вас хватает? — с новой тревогой накинулся он на офицеров. — Где же ваши войска? А что делает здешний штаб? Где Сидорин? Ни черта, ну, ей-богу же, ни черта сейчас не поймешь! — вытер он рукавом пот, беспомощно бросив свою ширинку.

— А из нас, думаете, кто чего понимает?! — заорали взбешенно офицеры. — Провокация! Сплошная кругом провокация! Одна голая провокация, и больше нет ничего! — старались перекричать они один другого.

— Нас вызвали с неделю тому назад прямо в ставку, — начал взволнованно толстенький подпоручик, — съехалось туда офицеров тысячи, должно быть, четыре — на предмет, словом, «обучения английскому миномету Стокса». Стокс — не Стокс, а генерал Нокс с нами там чуточку поговорил, и другие, кому надлежит, тоже поговорили. Выдали нам по полутораста целковых на брата суточных, в виде аванса, и направили кого прямо сюда, кого в Лугу. Объяснили, что дело, дескать, все здесь уже согласовано, что Керенский там, Савинков, ну, одним словом, все они с нами теперь заодно и так далее...

— Приезжаем, а здесь — ни черта! — подхватило со злобою несколько голосов. — Гениальнейшая провокация!

— Где все эти ударные группы? — брезгливо поморщился летчик. — Пустая одна болтовня. Ничего здесь не было организовано.

— Как?! — всплеснул руками в ужасе Комиссаров. — А Сидорин? А полковник Винберг?

— Ну, что там полковник Винберг, — перекосил летчик злобою губы. — Мы — к нему, а он гонит к Сидорину: у него, дескать, все — и планы и деньги.

— Разыскали мы его наконец с преогромным трудом уже в ресторане, — перебил летчика броневой капитан. — Сидит полковник в Вилла-Родэ и хлещет абрау-дюрсо. Тут же с ним и дю-Си-

метьер. «Где, — спрашиваю я его, — план заданий? Я прислан вывести броневики. Что потом с ними делать?» — «А вы, — говорит, — капитан, прежде всего не горячитесь. Броневики никуда не убегут. Садитесь, — тащат они силой меня, — и выпейте с нами! Не говоря, дескать, уже о том, что оперативною стороной ведаем вовсе не мы, а полковник Гейман».

— Ну вот, я туда прихожу, — снова перебивает капитана летчик, — и действительно вижу, что все они пьют, и капитан Богданов, — кивает он тут же на броневого капитана, — уже лыка не вяжет.

— И вовсе неверно, не перехлестывайте, господин поручик Хризосколео, — хищно стискивает зубы броневой капитан. — Выпить я выпил, но тотчас же после этого отыскал и полковника Геймана. Вот как в действительности было дело! — злобно окрысившись, смотрит он дерзко на летчика.

— Полковника Геймана мы в «Аквариуме» отыскали, — уже оба разом продолжают они. — «Что, — спрашиваем мы его, — нам сейчас делать? Когда выступать?» — «Ну, что делать, известно, — говорит, — то и то: арестовать всех министров, оцепить броневиками совдеп, ну и, словом, так далее...» — «А когда?» — «Когда Савинков даст условный сигнал».

— «Савинков даст сигнал»?! — в ужасе всплескивает руками рыжий жандарм.

— Вот именно! — гневно взревели все офицеры. — «Савинков, дескать, даст нам сигнал»?!

— Совершенно не постигаю тайны всего происшедшего, — беспомощно развел руками толстенький подпоручик. — Действительно: что это? Савинковская провокация или преступная попытка Керенского на нашей крови подновить свою потускневшую популярность?!

— А Филоненко? — осторожно спросил тощий Герасимов, прислонившись в халате к двери.

— Что — Филоненко?! — аж побагровел от ненависти броневой капитан. — Знаем мы эту лису. В одном дивизионе здесь вместе служили. Выскочка, карьерист, трус и двурушник. Когда солдаты в Михайловском нашем манеже хотели его однажды выставить за прежние его художества при старом режиме, он сбежал от них мигом на фронт и сделался там фронтовым комиссаром. Бывший адвокатишка этот сумел к Керенскому подлизаться. С Корниловым тоже завел шуры-муры; рассказывали уже сегодня нам, что будто бы все это лишь для того, чтобы получить портфель иностранного министра. Подумаешь тоже — «министр»! И вместо того чтобы открыто выступить сейчас за Корнилова, устроил, рассказывают, в ставке спектакль с собственным самоарестом. А сегодня уже с утра примчался в штаб.

— Ну?.. — в один голос вскрикнула вся наша свора, и шеи Герасимова и Комиссарова вытянулись, как у гончих собак.

— Что же «ну»? — иронически пожал плечами толстенький подпоручик. — Ему суют из совдепа какие-то филькины собачьи мандаты на каких-то там комиссаров, которых эта сволочь назначает теперь для слежки во все военные училища. А он, вместо того чтоб порвать всю эту муру, только легкомысленно тянет время, пожимая плечами.

— Я все же угнал из манежа семь броневиков, на одном из них меня и зацапали, — грустно улыбнулся капитан Богданов, почесав щетинку черных усиков. — Там слыхал я, что наши солдаты теперь какую-то разоблачительную резолюцию против Филоненки сочиняют. И вашим, и нашим, а вышло у него — ни нашим, ни вашим. Идиот!

— Ну, а штаб? Как же штаб, ведь там наш Туган-Барановский?! — беспомощно захрипел Комиссаров.

Летчик Хризосколео только брезгливо причмокнул вместо ответа.

— Говорили мы только что с Барановским, — нехотя протянул капитан Богданов, — он ведь нас сюда и назначил. Да что — Барановский! — махнул он безнадежно рукой. — Сейчас там матросня всюду набилась. Минуточку только еще задержись, и не бывать бы нам здесь. Приперли они, видите ль, уже арестовывать свой штаб. Насилу мы отбоярились, сказали, что нас отправляют в тюрьму.

Офицеры расхохотались.

— А все ж отправили, сволочи, на грузовиках, — желчно процедил сквозь зубы круглолицый корнет. — Не могли машины порядочной дать. Весь бок ободрал по милости этого штаба.

Мы с Жендзяном давно уже исчезли из гостиной. Притаивши дыхание, мы сидим за открытою дверью в своей комнате и с замиранием сердца слушаем эти рассказы недобитых врагов. Я украдкою вынул блокнот и быстро записываю карандашом: «Сидорин, Винберг, дю-Симетьер, Хризосколео, Богданов, Туган-Барановский». Схватки ведь только что начались, все эти сведения нам еще пригодятся.

Уже светает. Мы укладываемся вздремнуть. Из гостиной доносятся какие-то новые голоса.

— Господа! — взволнованно шепчет наш тихий кронштадтец.— К нам нового коменданта назначили, какого-то подпоручика Иванова. Ту прежнюю дрянь, Наджарова, отстранили. Вот времена!

— Ну, где же теперь этот самый полковник Сидорин? — слышен вновь комиссаровский голос, напоенный тугою и терпкою злобой.

— А чорт его знает, где он! — снова взрываются раздраженные голоса.

— По всей вероятности, в Финляндию убежал, — спокойно так говорит чей-то сухой, чуть надтреснутый голос. — В последний раз, когда я играл с ним в железку, при нем было ровно сто сорок семь тысяч рублей.

Мне определенно кажется, что, судя по тембру, это рассказывает сейчас тот самый штаб-ротмистр князь Эристов, что сегодня так невпопад представлялся Жендзяну.

— Господа, обои в этой гостиной мне определенно напоминают мою спальню в родовом нашем именьи возле Мценска, — говорит чей-то молоденький голосок. — Лишь только прищуришь глаза...

— Именье! — злорадно хохочет чей-то басок. — А не пустили еще красного петуха «товарищи» мужики в родовом этом вашем именьи?!. Мое вон эта вонючая мразь на прошлой неделе спалила! Ну, да постойте, дайте срок...

Они возятся и гудят, как жуки в развороченной куче навоза, эти неунывающие корниловские офицеры.

— А освобождения нашего что-то не видно, — удрученно вздыхает Жендзян уже поутру. — Я говорил тебе, что надо было бежать нынче ночью.

Да, время идет, и я ничего не могу ответить ему в утешение. Одно для меня только ясно: вопреки прямым указаниям партии бежать было нельзя.

Этот день мы из комнаты почти совсем не выходим: избегаем всякой возможности каких бы то ни было столкновений с этой налезшей корниловской бандой. Даже чай пьем теперь у себя. Офицерье расположилось в гостиной бивуаком на матрацах, брошенных на пол. Чувствует оно себя превосходно, почему-то будучи убежденным, что всех их не сегодня-завтра освободят. Веселенькие разговорчики ведут они меж собой без стеснения — видимо, и не подозревая о присутствии в этом бедламе враждебных себе элементов. Скрючившись на постелях над грудою свежих газет, мы очень чутко подслушиваем вместе с Жендзяном эти наглые рассуждения неунывающей офицерщины. Очень много сейчас достается от них и Керенскому и Савинкову. И много пикантных деталей узнаем мы сейчас об этих погромных делах. Оказывается, член Государственной думы Львов действительно предварительно сговаривался с Керенским о корниловском перевороте и заручился его полным согласием, следствием чего уже и были двинуты на Питер войска. Без ведома и согласия Керенского их двинуть было бы невозможно. Оказывается, что англичане усиленно содействовали этому выступлению и снабдили все эшелоны своими английскими броневиками с собственною английской прислугой. Оказывается, что генерал Крымов еще вчера должен был занять все вокзалы и арестовать и правительство и советы, а расправляться с ним

должны были уже офицеры, которых сейчас согнано для этого в Питер более трех тысяч. Вслед за этим специальный отряд должен будет разгромить и разоружить Кронштадт.

— Ай да зверье! — крутит Жендзян головой.

Оказывается, что Рига была сдана немцам нарочно, чтоб напугать этим советы и кинуть их на колени перед белым генеральским конем. Офицеры с вожделением говорили, что уж теперь-то обязательно надо сдать немцам Питер, если Керенский победит. Оказывается, что казачий полковник Дутов должен был инсценировать здесь «восстание большевиков».

Так вот она какова живая заправская контрреволюция, эта махровая банда мракобесов и палачей, о существовании которой мы слышали, о деяниях которой мы знали, но которую никогда не представляли себе в таком разительном и наглядном обличии, в каком проносится она здесь сейчас мимо нас! Рыжий циничный битюг Комиссаров, король провокаторов и душегубов; холодный и серый, словно змея, сухощавый Герасимов; прожженный прохвост и мошенник Андронников; одряхлевший шакал доктор Дубровин; беспощадный лощеный «пускатель шкур дымом», холеный зверь лейтенант; и вся эта вновь наехавшая сюда наглая свора душителей, погромщиков и убийц!

«Контрреволюция» — такое длинное слово, сколоченное из простых, честных букв, обрастало здесь на глазах перед нами красным чирием на комиссаровской шее, герасимовской голубою слюной, вонючею бородой Дубровина, пенковой трубкою лейтенанта, гнилыми зубами летчика Хризосколео, бритвенным шрамом на богомоловском подбородке, циничною руганью офицерни, лязгом шпор, табачным дымом и несусветною сутолокою и возней.

Мне до омерзения показалось противным теперь простое пребывание в среде этой своры, то нагло хохочущей, то мерзко ругающейся между собою. Они ни на секунду не теряли надежды, что Крымов все же ворвется сюда и они тотчас же кинутся ему на помощь — на расправу и кровь. Когда из газет стало известным, что Щербачев и Валуев уже изъявили Керенскому свою покорность, что Клембовский смещен, Эрдели арестован, что генерал Алексеев наконец согласился скрепя сердце сменить собою Лукомского на должности наштаверха, а сам Керенский объявил себя верховным главкомом, — все это вызвало здесь взрыв дикого воя, бешенства и ругни.

— Ничего, ничего, Каледин на Дону еще им покажет! — хищно грозили они отсутствующим врагам.

Вечером они уселись вокруг стола и резались в карты с похабными выкриками и галдежом. Сторорежимная свора наблюдала за этим азартом, обступив их плотной стеной.

— Хотите взглянуть на первоклассного шулера! — спросил меня шопотом Комиссаров, когда я случайно проходил мимо них. — Рекомендую — князь Эристов! — кивнул он украдкою на штаб-ротмистра, сосредоточенно тасующего колоду. — Позлите его, спросите сейчас: как делается накладка.

— Генерал Комиссаров рассказывает, что вам очень везет, — произнес я отчетливо громко, обращаясь к сдатчику в порыве отчаянного озорства. — Может быть, вы покажете, князь, как делается накладка?

Весь стол онемел, ожидая скандала, а штаб-ротмистр выпучил нагло глаза.

— Что вы хотите этим сказать? Что я — шулер?!. — В его голосе прозвучал металлический, режущий звук, как скрип гвоздя по железу.

— Почему ж это вы обязательно — шулер? — передернул я спокойно плечами с напускным благодушием. — Нет, я этого не сказал... Но, может быть, вы все же покажете нам, как делают эту накладку заправские шулера?

— Ах, как шулера? Ну — это дело другое! Извольте!— мгновенно просиял успокоенный князь и стал как-то особенно тасовать свои карты, удивленно оглядываясь на партнеров, еле сдерживающих душивший их смех.

На следующий день, когда из газет стало известным, что корниловские войска замитинговали и отказались наступать, что сам генерал Крымов приехал к Керенскому во дворец, а после приема вышел и застрелился, что в Петроградском совете прошла двойным большинством голосов большевистская резолюция: о республике, об отдаче крестьянам земли, о национализации крупных трестов, об отмене смертной казни и восстановлении всех свобод, — вся эта погромная банда, все эти двадцать три корниловских головореза, были выпущены на свободу.

Они уходили с песенками и ликованием, уверенно обещая провожавшему их Комиссарову, что они очень скоро еще себя покажут и лихо проскачут здесь мимо окон на взбесившихся белых конях — «вырубать, как капусту, совдеп».

После них опять потянулось наше привычное, тускловатое прозябание.

— Вот никогда б не подумал, вот никогда б не подумал, — укоризненно качал за обедом рыжей своей головой Комиссаров, обращаясь открыто ко мне, — вот никогда б не подумал, чтобы вы, именно вы, большевики, и вдруг заступитесь за Граммофона!

— За него мы не думали и не думаем заступаться, — отрубил я, дуя на суп. — Но когда рабочая и солдатская масса расколотила сейчас все это ваше погромное офицерье, разве не становится для всего народа убедительно ясным, что чем дольше кривляется

эта эсеровская балаболка, тем все более накопляется шансов для новых попыток дикой скачки на белых конях.

— Нет, галоп сорвался! — удрученно вздохнул Комиссаров и задумчиво опустил в суп свою ложку.

После обеда нас с Жендзяном вызвал пришедший Наказный.

— Позвольте предъявить вам следствие по вашему делу, — сказал он, опустивши глаза и неестественно робко.

— А чего его предъявлять? — беззаботно ответил Жендзян, конфузливо усмехнувшись. — Накатали вы, ну и ладно.

— Ну что ж, я не против, — приободрился Наказный. — Тогда извольте вот здесь расписаться.

Жендзян уже взял было ручку.

— Погоди, — строго остановил его я. — Дай сначала я погляжу. Потом вместе подпишем.

И вот я тщательно перелистываю этот увесистый, толстый том с кляузами и клеветнической пачкотней всевозможных Филипповичей, Рыбкиных, Пигаревичей и Громык. Они всячески пытаются изобразить нас захватчиками, заговорщиками, душегубами. В результате всех этих помоев нам пришлепываются пятьдесят первая и сотая статьи, грозящие военнослужащим «за участие в восстании против верховной власти» смертною казнью.

— Нет, это, брат, не пройдет, — покручиваю я головой, глядя задумчиво на Жендзяна. — Здесь нет никаких оснований, любезнейший прокурор, — язвительно обращаюсь я к Наказному, — для применения именно этих ваших статей. Уж поверьте, что нами обставлено было там все очень законно. Такое следствие мы вам не подпишем. Потрудитесь его дополнить приобщением тех протоколов заседаний совета, где были санкционированы наши шаги.

— Те протоколы отменены.

— Задним числом?

Наказный опять пожимает плечами.

— Откровенно вам говоря, — начинает бунчать он тихо, — я и сам держусь того мнения, что ваши проступки предусмотрены пустяковой статьей Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. За это — легонький арест или штраф. Видит бог, если бы это зависело от меня, я давно бы вас уже освободил. На этих днях я выпустил из Крестов всех солдат, сидевших по вашему делу. Но что прикажете делать, если я не самостоятелен в этом вопросе? Я выполняю здесь, что мне приказано. Будь бы еще министром Зарудный, я бы мог еще ему доложить: он теперь очень лево настроен. Но сегодня он подал в отставку. В управление вступил Демьянов, а уж этот...

— Кончайте вашу глупую болтовню, — говорю я, властно вставая. — Либо приобщайте все то, на чем мы настаиваем, либо

привозите ордер на наше немедленное освобождение. Без этого мы вашей стряпни не подпишем.

У него глупое и потерянное лицо, у этого прокурора, когда мы с Жендзяном выходим, весело переглянувшись.

Кадетская «Речь» снова пишет, что большевики готовят заговор уже на завтра. «Старо, господа, — свищу я, — никого теперь не надуете».

Наш «Рабочий» снова упорно предостерегает, что генеральская банда еще не разбита, что она опять что-то готовит и что какие бы то ни было уличные выступления сейчас партия решительно осуждает. «Не везет лошадям, — ухмыляюсь я, — должно быть, и новый галоп их так же сорвется».

Керенский формирует теперь заново кабинет. Собственно говоря, это скорей будуар, а не кабинет: оставлены Терещенко и Никитин, прибавлены Верховский и Вердеровский в качестве военного и морского министров (последний только что амнистирован и выпущен из тюрьмы). Вся эта небольшая, но теплая компания названа директорией при диктаторе Граммофоне. Диктатура же их такова, что, с одной стороны, она никак не может добиться ареста Корнилова в ставке, а с другой — совершенно бессильна отобрать у рабочих оружие, хотя на это серьезное дело и поставлен Керенским сам Пальчинский, сменивший незадачливого Савинкова.

— Дурак Граммофон! — злорадно ржет Комиссаров. — Пусть попробует-ка теперь вырвать винтовочки из мозолистых рук!..

У меня нет больше никакого желания якшаться с этим рыжим жандармом. Я знаю отлично, почему он так весел. Его Демьянов и верный Пальчинский снова у власти, а затем рыжий чорт опять чего-то все ждет.

Новенький наш комендант, тихий подпоручик Иванов, приходит к нам с несуразною вестью: завтра нас всех переводят в тюрьму.

— Вот те и фунт: вместо освобождения! — горько усмехаемся мы с Жендзяном.

Ужас старорежимников неописуем.

— Видите ли, собственно не в тюрьму, но, то есть, в тюрьму! — путается и сбивается Иванов, закуривая для храбрости комиссаровскую папиросу.

Оказывается, нас переселяют в Арестный дом на Казачьем плацу возле Николаевского вокзала. Это каменная тюрьма, бетонный пол, в окнах решетки, но нам будет отведен изолированный коридор с одиночными камерами.

— Будет неплохо, — убеждает старорежимников Иванов. — А то ведь, знаете, совет зверски настаивал вас всех запичужить в Кресты или даже назад — в Петропавловскую крепость.

Настойчивые нашоптывания, бормотания, хруст бумажек, посулы окончательно обрабатывают в нужную сторону застенчивого коменданта.

— Хорошо, — сдается он, — я постараюсь добиться, чтобы вас всех оставили здесь, если только, если вот только... — смотрит он нагло на нас, — арестованные большевики напишут сейчас протест против этого переселения. Мы тогда вас свяжем в одно, и этим путем...

— Заткнись, гадина! — бросаем мы дружно с Жендзяном гневно ему в лицо. — Ширмою для погромщиков служить мы не будем! Определяй нас, куда хочешь: нам и в тюрьме хорошо.

Наутро всю нашу кунсткамеру сажают в автомобили. Комендант суетливо бегает.

На ходу мы пробегаем газеты:

«Республика провозглашена. Пальчинский закрыл вчера за призывы к спокойствию не только большевистский «Рабочий», но и горьковскую «Новую жизнь». Корнилов и присные арестованы в Могилеве домашним арестом и мирно садятся за писание своих показаний».

Комиссаров сердито нахлобучивает на голову новенький котелок: в генеральской фуражке сейчас ехать городом он уже не рискует.

— Сволочь, не доскакал! Только белую лошадь попортил, — брюзжит досадливо он, глядя на мчащиеся мимо людные улицы, магазины, людей и дома. — Вот и сиди теперь там, как дурак, на квартире в своем Могилеве, и кусай свои генеральские локти, — цедит он со свирепою злостью. — А ведь и имя-то было какое у этого идиота: Лавр!

36. ВЫХОД

Это была тюрьма как тюрьма, прилепившаяся на старой окраине столичного города, за железнодорожными складами и стальной паутиной путей, убегающих буйно на юг. Построена она была императорской властью очень обдуманно, рачительно и крепко, и как раз именно для того, чтоб никто не смог вырваться из-за этих решеток, несмотря на близость путей и невзирая на буйную тягу к светлому югу. Четыре пятиэтажных корпуса образовали собою фигуру креста, посредине которого широкая винтообразная бетонная лестница соединяла все этажи и все отделения. Прозрачные стены из железных решеток отделяли от лестницы каждый из коридоров, достаточно мрачных и глухих. В эти коридоры выходили одиночные камеры этой тюрьмы. Дубовые, толстые двери были прорезаны небольшими щелями.

Первое, что я ощутил, когда железные решетки ворот, дверей и лестниц с гулким лязгом последовательно замыкались за нами, было сознание того, что уж отсюда ни за что не сбежишь. Замки были массивны и прочны, а часовые стояли у каждой железной решетки. Однако во всем остальном эта тюрьма, очевидно исключительно только для нас, не лишена была и многих удобств. У каждого из нас была теперь одиночная камера с железной кроватью и столиком у окна. Нам выдали приличное постельное белье, заперли наглухо дверь нашего коридора и предоставили во всем остальном полнейшую внутреннюю свободу. Двери в наши камеры были всегда открыты, обитатели имели возможность ходить друг к другу или бродить по довольно широкому коридору, заканчивающемуся большим венецианским окном. Правда, в любом окне здесь неизменно торчали прочные прутья стальных решеток, но подоконники не были чересчур высоки, и мне доставляло огромное удовольствие подолгу сидеть в своей камере у окна, примостившись на столике, и наблюдать с четвертого этажа светлый веер железных путей и уплывающие по ним в туманную даль поезда.

Каждое утро я бегал вниз, в большую тюремную канцелярию, куда газетчик, специально подряженный нами, приносил для всего нашего коридора увесистую пачку заказанных нами газет. Эта обязанность была поручена мне всем коридором, взамен чего я освобождался от всяких других коммунальных повинностей и работ. Обедали мы в небольшой сумрачной комнате, переделанной из двух камер. В отношении меню и продуктов здесь сохранялся наш прежний уклад. Комиссаров от нечего делать раскладывал целыми днями пасьянс, мурлыча под нос свою «Дуньку» и все время тряся каблуком, чтоб звенела шпора. За последние дни после корниловского мятежа он совсем опустился, ходил непричесанный, в пиджаке нараспашку, а через расстегнутую мятую ночную сорочку густо курчавился войлок его мохнатой груди. Подконец он даже сбросил штиблеты с их нежным бряцанием и прихрамывал в мягких фланелевых туфлях, болезненно жалуясь всем на врастающий в мясо ноготь на большом пальце правой ноги. Да и чирий на шее его долго не заживал.

Жендзян обычно гулял коридором вместе с бухгалтером, семенящим возле вприпрыжку, и, заложив руки за спину, молча слушал пустое его щебетанье про банковские дела. В нашем пользовании был отличнейший душ, и Андронников, встававший здесь в полдень, очень любил плескаться под ним по целому часу, пробегая из камеры коридором к нему и обратно подчас совсем нагишом. Комиссаров метко острил, что князь выбирает для этого специальное время, когда на свидание приходят к нам жены и мы с ними сидим как раз на диванчиках коридора. Герасимов из камеры показывался редко: закутанный и посиневший, он выползал только

к обеду. Газет получали мы много, но прочитывали их внимательно только я да Комиссаров. Герасимов читал теперь исключительно «Речь», а Жендзян только «Дело народа». Остальные же заключенные к газетам почти совсем не притрагивались. Да и можно было им не читать. Комиссаров по старой привычке все равно выбалтывал все важные новости за общим обедом.

— Поздравляю, — церемонно кланялся он мне, — к вам нынче Троцкого выпустили. Должно быть, теперь к вам в лидеры метит, пока ваш Ленин в подпольи сидит. На готовенькое этот Троцкий всегда был мастак.

— У нас на готовеньком никто не продержится, — срезал я охранника. — А если будет честно, по-большевистски работать, то мы каждому работнику рады.

— Однако меня б вот на работу не приняли? — насмешливый взгляд через очки.

— Вас? — презрительно прыскал я со смеху. — Да, вас бы не приняли.

— А жаль, — протирал он свои золотые очки, подслеповато мигая покрасневшими веками. — Я бы вам пригодился: у меня ведь свой старый, давно сколоченный аппарат. Пальчинский теперь из кожи вон лезет: объявляет последним сроком сдачи рабочими оружия — двадцатое сентября. И дурак: все равно никто добровольно не принесет. А пустил бы туда дрессированных моих филеров, они бы ему в двое суток все оружие собрали.

— Так ведь Пальчинский-то ваш, сами же вы хвастали? — потешаюсь я. — Чего ж вы ему не предложите этот испытанный ваш аппарат?

— А почем вы знаете, что не предложено? — цинично фыркал охранник. — Может быть, уже и работают. Как это можно знать?

— Ну, а что тепег ваш Демьянов? — нередко спрашивал у него князь Андронников за столом. — Он нынче министгом юстиции? Почему ж до сих пог нас не тойко не освобождают, но даже пегебгасывают в эту ужаснейшую тюйму?!

— Что вы, князенька, о двух головах? — высокомерно сопел Комиссаров, не удостаивая его даже взглядом. — Чем вы сейчас гарантированы, что через час после вашего освобождения вас не растерзает в клочки уличная толпа? «А-а, — скажут, — князь Андронников! Давай его сюда! Жирный!..» А кроме того, мало ли дел сейчас у Демьянова?! Корниловцев вон как сейчас всюду травят! А деревня?! Старикан на части теперь разрывается, чтоб хоть сколько-нибудь притушить этот дикий, ужасный пожар, разливающийся теперь по российской земле. Урожай-то захватывают мужики. Проклятый Чернов-таки довел!

— Чем же это он проклятый? — невнятно бунчал себе под нос Жендзян.

— Вы сидите вот тут и не знаете, — горячо продолжает Комиссаров, — что делается сейчас в деревнях! Слава богу, что я не помещик, а то бы — тю-тю, все бы пропало! Такое поветрие напало сейчас на мужичье, словно белены все объелись.

— Какие же виды на будущее? — опечаленно спрашивает этого жандармского авгура сам Герасимов.

— Это вон вы их об этом спросите! — с лукавой почтительностью живает он тогда на меня и Жендзяна. — Это они теперь именинники! Это они — «властители дум»! — хрюкает насмешливо он, почесывая кудлатую грудь. — Армию окончательно разложили: солдатня теперь гонит в шею всех своих офицеров!

— Что ж, обниматься им, что ли, прикажете с вашей корниловской бандой? — высокомерно откидывается Жендзян.

— При чем тут корниловцы? — с наивнейшим удивлением таращит рачьи глаза Комиссаров. — Корниловцы, милые вы мои, теперь тише воды, ниже травы. Они уже в Быхов сейчас переехали; даже из Могилева вы выперли их! Ни при чем теперь эти корниловцы. А вот что делают ваши совдепы?!. Неделю тому назад большевистскую резолюцию вашу принял Питерский здешний совдеп, а намедни, глядишь, туда ж и Московский! В чем же дело? Берите, голубчики, власть! Милые, получайте! Мы будем радырадешеньки. А вот что будет потом?!.— зловеще мигает он мохнатою бровью.

— Совсем этого не понимаю! — частенько ловил меня после этого в коридоре Андронников. — Ну, хогошо, вы поючите в'асть, но как же вы будете пгавить?! Ведь с вами-то загьяница совсем не будет считаться! Ну, как вы будете с ней газговагивать? Газве кто у вас вьядеет фганцузским?! И потом — в косовоготках, не бгитые, гьязные гуки... фи донк! Вы не сумеете там и ни стать и ни сесть. А как вы наденете ф'ак?!. Без ф'ака же вас никто и не пгимет!.. — он распахивал и запахивал на своем жирном белом животике мохнатый халатик и удовлетворенно бежал дальше.

— Знаешь ты, что ваши свалили нынче весь президиум Питерского совета? — сумрачно спрашивал меня Жендзян. — И Чхеидзе, и Дан, и Гоц с Церетели, и даже Чернов — сложили с себя полномочия. Сейчас вместо них какие-то ваши: Залуцкие, Володарские, Федоровы... никому не известные лица. Что же, выходит, вы снова теперь за советскую власть?

— А почему б и не так? — отвечаю задумчиво я. — Что ты скажешь, к примеру, о последней статье Ленина «О компромиссах»? — испытующе всматриваюсь я в него. — Ведь вам мы теперь предлагаем составить чисто свое эсеровско-меньшевистское министерство, сами не претендуя ни на какое участие в нем. Предоставьте лишь нам полную свободу агитации и пропаганды и поскорей созывайте Учредительное собрание!

— Хитрые! — подмигивает Жендзян. — Чернов, он, может быть, и пошел бы, да только Керенский не пустит его ни за что. Ведь все же они понимают отлично, что уже при следующих перевыборах они сразу же вылетят все из советов. Недаром теперь они затевают какое-то уже новое «Демократическое» совещание. Должно быть, торговля у них там сейчас идет об этом во-всю!

Наша радость не знает границ, когда вдруг на свидание приходят к нам наши солдаты: Бровкин и Новиков.

— Как, из тюрьмы? — накидываемся мы с Жендзяном на них и тащим их к себе в камеру.

— Нет, уже, должно быть, с неделю как выпустили нас из Крестов, — улыбается Новиков. — Денька три мы поотдохнули, а теперь — опять за работу!

— За р'аботу, — заикнувшись, лопочет Бровкин, кивая в такт новиковским словам.

— О, не узнаете теперь ваших кольтовцев, — горделиво загорается Новиков, сияя глазами. — Корниловская авантюра решительно всем открыла глаза. Настроение теперь — боевое! Прямо скажи им: «Марш на Питер!» — и сейчас же попрут.

— И попрут, — кивает уверенно Бровкин.

— Филипповичи просто не знают теперь, что и делать, — снисходительная усмешка пробегает по новиковскому безусому еще лицу.— На фронт мы, конечно, не едем, а гауптвахтой да слежкой ничего не поделаешь с нами теперь. Они даже Ораниенбаумский свой совет уже больше месяца не собирают. Опасаются, стервы, как бы мы им там не дали бой. Вы знаете, что весь гарнизон наш сейчас бурей ревет, чтобы вас немедленно же освободили. Уже сколько от нас делегаций к прокурорам и даже к министру юстиции насчет вас приезжало! Обещают, мерзавцы, нам выпустить вас и все надувают.

«Делегации? Освобождение?!.» — замирают от трепетной радости наши сердца.

«Ты смотри вот, как преданы революции эти простые солдаты и как они стойки! А ты еще сомневался в них, еще колебался... Эх, ты!..» — корю я себя.

— Эсерики и меньшевики уже начинают один за другим бежать из Ораниенбаума, — продолжает Новиков рассказ. — Уехал совсем Судаков, Баскирев смылся в Москву, да и вся школа тоже норовит удрать из Ораниенбаума как можно скорее куда-либо в более спокойное место. Филиппович одел теперь на себя зауряд-чиновничьи серебряные погоны, очень ими форсит и вместе с генералом Филатовым таскается по разным штабам, хлопоча о переводе всей школы в Кусково, что под самой Москвой. Нас, кольтовцев, они, конечно, не думают брать с собой, да в Кусково и сами-то мы не поедем. Однако нас одних в Ораниенбауме тоже не оставят.

Боимся, как бы не сплавили нас в этом разе на фронт, если школа уедет. Вот чего мы опасаемся, — с деловой озабоченностью смотрит Новиков мне в глаза. — Меня ведь наша братва и послала к вам посоветоваться. Горшков шлет горячий привет. «Жалко, — говорит он, — будет, если такие надежные наши войска и вдруг угонят отсюда!» Да, как-никак, а ведь больше двух тысяч большевистских бойцов при двухстах пулеметах!

— Неужели нельзя как-нибудь все же здесь окопаться? — раздумывает вслух Жендзян.

— Мы уж на все стороны над этим крутили, — ужимает Бровкин голову в плечи, — ничего не получается. Самостоятельно если остаться и свой собственный Кольтовский совет организовать, так школа не хочет нам выделять ни денежных сумм, ни снабжения. Ездил на-днях я в Кронштадт: нельзя ли нам, дескать, к ним переселиться? Кронштадтцы радехоньки: «Переезжайте, — говорят, — будете наши форты караулить!» — «Ладно, — говорю я, — надо только все это как-то оформить». — «Чепуха! — говорят. — Нечего тут оформлять. Назначайте точное время, а мы и баржи под вас подадим!» Рассказал я об этом, конечно, нашим солдатам, и вот не решаются что-то они...

Бровкин обескураженно мотает головой, перекладывая и щупая щекой и зубами свой несуразный язык.

— К тому же и школа, — вновь выгибается он, — усиленно нас убеждает — покамест не уезжать, а то, дескать, мы тень бросаем этим на них, и тогда не видать им Кускова.

— На школу нам наплевать, — перебивает решительно Новиков, — но и в Кронштадт нам ехать — ох как неохота! Ну, чего мы там будем за печкой сидеть?! В Питере будет решаться судьба, вот в Питер нам и охота. Освобождайтесь-ка вы поскорее, товарищ! — умоляюще смотрит он на меня. — Освобождайтеся вместе с Жендзяном и катите немедленно к нам. Если б только вы знали, с какою страстной надеждой вас ожидают все наши солдаты!..

Они ушли от нас — пылкий Новиков и осмотрительный Бровкин, но какую огромнейшую зарядку они оставили здесь нам обоим! И нам так захотелось немедленно выйти на свободу!..

— Но как выйти? — сокрушенно пожимает плечами Жендзян.

«Да, как выйти? — думаю я. — А выйти немедленно надо. Ведь это же наши выученики, революционеры-солдаты! Вот эти две тысячи крепких бойцов при двухстах пулеметах, да если б сюда — в этот Питер, откуда Керенский вывел так вероломно почти все большевистские наши полки!.. В решительный момент мы бы бросили на чашу весов огонь своих большевистских пулеметов против всей этой старой нечисти, против хищной офицерни, против палачей-генералов и против социал-предательской своры,

лижущей генеральские сапоги!.. И надо как можно скорее спешить, а то и этих угонят... но... как выйти?.. Как выйти?..»

Я хожу по камере взад-вперед; от частых крутых поворотов кружится голова. «Вон там, за окном, за крепкими прутьями железной решетки, воля. Белыми струйками дыма бороздят даль поезда. В воздухе мимо окна плывут, извиваясь, паутинные нити, переливаясь серебром. Предзакатное грустное солнце касается моей щеки светлыми теплыми лучами. Сломалось лето, желтеют туманные дали. Неужели покорно поникнуть перед грядущею пасмурью дней?!. Нет, ни за что!.. Ни за что!.. Скорее на волю! Мы — бойцы, и должны быть теперь в боевых пролетарских рядах».

— Поднажмем-ка на нашего Наказного, — говорю я Жендзяну. — Во что б то ни стало, а заставим его нас освободить!

Мы так и решаем, и Жендзян молчаливо уходит.

Когда заявился на другой день к нам Наказный и вызвал нас вниз, мы вели себя с ним смело и твердо. Следствие он предъявил, мы его подписали. То, что требовали, он уж приобщил. Он угодливо улыбается и заискивающе смотрит в глаза. Учуяла ветер грозы хитрая прокурорская крыса! Но дело не в следствии, не в обвинительном акте, по которому он судобит нам казнь.

— Благоволите нас выпустить на свободу, господин прокурор! — настойчиво лезем мы на него, не смущаясь присутствием начальника нашей тюрьмы. — Нас дальше держать здесь нет у вас никаких оснований! Вы знаете, что весь Ораниенбаумский наш гарнизон...

— Да, — трусливо лепечет растерявшийся прокурор, — но вот, с другой стороны, ваш же Ораниенбаумский исполком самым решительным образом категорически возражает против того, чтоб... И, кроме того, как я могу выпустить вас без залога? Минимум тысячу рублей с человека, это...

— Немцам Риг мы не сдаем, англичанам не служим, жалованья лишены, — у нас не может быть денег, — отвечаем мы дерзко. — Да и как смеете вы требовать какой-то залог, если нас под свое поручительство соглашается взять весь наш гарнизон?!. Гоните ордер скорее на наше полное освобождение, безо всяких там разговоров, иначе худо вам будет, господин прокурор!

Он что-то трусливо лепечет, хватая подмышку портфель. «Он рад бы, конечно, нас хоть сейчас, если б вот только... Да, вот министр. А впрочем, он постарается, он обещает...»

— Надует, прохвост, — говорю я на лестнице мрачно Жендзяну.

За обедом рыжий толстый жандарм, как всегда, рассказывает новости из газет:

— Поговаривают, что немцы готовят удар прямо на Питер, — торжествующе обронил он. — Воображаю, какой вот тогда подымется здесь «вылетай-вылетай»! Рабоче-солдатских портков немало б здесь поосталось!..

— Замолчать! Прикусите язык, рыжий пес, если не хотите скандала, — поднимаемся решительно мы вместе с Жендзяном.

— Что вы? Что вы? — с перепугу подвязывается он салфеткой под самый нос. — Уж нельзя и пошутить!

— Любуйся! — сердито я тычу Жендзяну после обеда большевистскую нашу газету. — Ты смаковал, что в городской здешней думе твои эсеры кадетам и пикнуть теперь не дадут. На, читай: «Против большевиков голосовали сплоченным блоком кадеты и, конечно, эсеры...»

Жендзян смущенно молчит.

— А генеральская мразь опять свое затевает! — гневно впиваюсь глазами в дальнейшие строчки листка. — Смотри, наш «Рабочий путь» снова предостерегает против новых настойчивых провокационных призывов выходить всем на улицу уже послезавтра, в день открытия Демократического совещания. Снова, будь она проклята, неутомимо работает генеральская палаческая рука!..

— А Наказный что-то не идет, — угрюмо вздыхает Жендзян.

— Да, нейдет! — бросаю я мрачно.

Наутро ко мне на свидание приходит жена. Она осунулась, похудела. В руках у нее «Новая жизнь».

— Так, родной, купила. Кто-то мне рассказал, что будто бы в ней напечатано об освобождении большевиков-офицеров. Просмотрела ее всю до конца — ничего похожего нет; наоборот, какие-то прапорщики объявили со вчерашнего дня голодовку.

— Прапорщики? Голодовку? — лихорадочно распластываю лист газеты и впиваюсь в него глазами. — Вот что, дорогая, — спокойно говорю дальше я, — мне надобно очень срочно сегодня же написать письмо моему брату Боре, только я позабыл его адрес. Ты сейчас же отсюда забеги к жене его, Вале, и попроси ее как можно скорее сегодня же успеть меня навестить. Будь другом, исполни, — нежно смотрю ей в глаза и крепко жму руку, — от этого зависит мое освобождение.

Ей не хочется уходить. Она рада была бы еще посидеть, погрустить, порассказать, как одиноко и холодно жить ей в стеклянной клетушке вместе с детьми, питаясь одною картошкой. Но взгляд мой настойчив, и она понуро уходит, опустивши глаза.

С невыразимой тоскою смотрю я ей вслед.

— Вот еще что, — останавливаю я ее на секунду. — Эту неделю я буду здесь занят одним важным делом. Мне надобно срочно докончить свое показание, я закроюсь, и мне никто не должен мешать. Поэтому в течение этой недели ты ни в коем случае не приходи ко мне на свидание. Ты понимаешь: не ранее девятнадцатого числа. Ну, до свидания! — ласково похлопываю я ее по плечу. — Гони скорей сюда Валю!

Шаги ее замерли. Решетка на лестницу щелкнула. Сейчас она спускается вниз. Быть может, я уже никогда больше ее не увижу. Спокойно иду за Жендзяном и призываю его к себе. Закрыв дверь, разворачиваю газету.

— На, читай!

Он, нагнувшись, внимательно ее читает, а затем, распрямившись, пасмурно глядит на меня.

— Ну и что же?

— Как то есть — что же?! — раздраженно вскидываюсь на него. — Наши товарищи по военке, офицеры-большевики: Крыленко, Дашкевич, Дзевис, Куделько, тер-Арутюнянц, Баландин, Далматов и остальные — все те, что арестованы одновременно с нами за июльские дни и томятся без следствия и суда до сих пор в комендантском управлении, — объявили со вчерашнего дня голодовку, их жизни угрожает опасность, а ты спрашиваешь: «ну и что же»?

— Все это, конечно, печально, — равнодушно сдается Жендзян, — но все же я не понимаю, какое это имеет к нам отношение? Следствие по нашему делу велось и даже закончено; не так, как у них. Они теперь голодают, но при чем же тут мы?

— Вот оно что! — с презрением качаю я головой. — А я считал тебя за бойца, за товарища и революционера. В чем же твоя солидарность?

— То есть?

— Хотим мы свободы иль не хотим?

— Ну, хотим.

— Ну, так знай, с сегодняшнего числа, перед самым обедом я объявляю смертельную голодовку. Я отказываюсь принимать впредь не только еду, но и всякий напиток, а в том числе, конечно, и воду. Я прекращу эту полную голодовку только в случае освобождения. Я предлагаю присоединиться к ней и тебе. Сейчас я напишу об этом письмо в газету.

Сложная гамма чувств пробегает по открытому лицу Жендзяна. Его глаза то суживаются, то разбухают, упрямая жилка бьется у рта.

— Я подумаю, — говорит он мрачно. — Я отвечу тебе потом. Быть может, с завтрашнего дня лучше начать?.. Во всяком случае, я скажу тебе после. И письмо о себе я напишу тоже сам. — Он уходит, сурово насупясь.

«Как вам будет угодно, — враждебно думаю я про него. — Оглядываться на вас я не буду!» — и я сажусь за письмо.

Я наскоро пишу о том, как Наказный предъявлял нам следствие первый раз и, применив пятьдесят первую и сотую статьи, грозящие нам смертною казнью, сам же признал, что они притянуты за волосы и что наше преступление пустячно. Я пишу о том,

как при окончательном предъявлении следствия он обещал нам скорое освобождение, а между тем...

«В знак протеста против этого издевательства над судьбами пленников Директории, — твердо и прямо несется перо по бумаге, — и в знак солидарности с товарищами, заключенными при I Комендантском управлении, с сегодняшнего 13-го сего сентября я объявляю голодовку с требованием освобождения». Дальше — подпись и — «Арестный дом на Казачьем плацу». Ставлю точку и смело заклеиваю конверт.

Теперь я хожу коридором и жду. Жду терпеливо и мрачно. Мимо меня мышиною рысью мчится Андронников; пухлый, еле прикрытый мохнатым купальным халатом: сейчас из-под душа.

— Пасюшьте! — подпрыгивает он игриво ко мне. — Неужеи вы, бойшевики...

— Пшел! — цыкаю я на него в необузданном гневе, и князь, выпучив со страху глаза, пятится к себе в камеру тем же мышиным аллюром.

А вон и Валя! Наконец-то! Я бегу ей навстречу; крепко жму руку, учтиво смотрю в голубые глаза.

— Да, есть серьезная просьба. Сейчас объявляю голодовку. Письмо об этом надо срочно отнести в «Новую жизнь». Пусть немедленно же напечатают. Хотел было в большевистский наш орган, да, должно быть, снова закрыт: у газетчика не было. Отнесете?.. Жене поручить я не мог...

— А может быть, вы — отмените?.. — заискивающе, с дружеской теплотою, заглядывает она мне в глаза. — Может быть... это — не стоит? Может быть, выпустят вас и так? Зачем рисковать? Ведь может окончиться смертью. Не надобно этого!..

— Я рассчитывал, Валя, — говорю я ей сухо, — что вы сможете оказать мне услугу: как можно скорее отнести по адресу это письмо. К сожаленью, увы, я ошибся. Больше вас не задерживаю. Честь имею...

— Давайте письмо! — выхватывает она его из моих рук с мучительным раздражением. — Я исполню. Но... будьте благоразумны... не убивайте себя!

Я, право, не знаю: то ль это слезинки, то ль это хрустальные такие у Вали глаза...

Снова лязг решетчатой двери. Ушла. Ушло и письмо. Итак — голодовка объявлена. Но как же ее здесь сейчас объявить? Объявить так, чтобы знали о ней не только царские этих холопы, но знали бы и тюремщики, знала бы вся набитая человеческим месивом крестовидная эта тюрьма!

Повар уже гремит тарелками. Вкусно пахнет жирный бульон. Сейчас будет обед. Один из прислужников бьет гвоздем в сковородку: условный сигнал. Вылезает, кряхтя и потягиваясь, Комис-

саров. Сутулясь, шлепает в туфлях Дубровин. Вприпрыжечку катится князь. Как длинная тень выползает из двери Герасимов. Спешат, шаркая и суетясь, остальные обитатели нашего равелина. Понуро плетется Жендзян. А я продолжаю спокойно гулять вдоль коридора. Проходя мимо двери столовой, я вижу — мое место пустует. Я слышу — меня настойчиво кличут.

— Можете не беспокоиться, — обращаюсь я к ним степенно, подойдя вплотную к столу, — ни есть, ни пить здесь отныне я больше не буду. Я объявил с сегодняшнего дня полную голодовку и поэтому прошу больше ко мне с предложениями пищи не обращаться и вообще ко мне больше не приставать!

Мне невыразимо забавно смотреть сейчас на эти растерянные, трусливые рожи, раскрывшие от обалдения рты и выпучившие свои глупые зенки. Я опять ухожу бродить в коридор, но чувствую, что этого мало, очень мало. «Ну, хорошо, они это знают. Но надо, чтобы это знал и белесый начальник тюрьмы, и все тюремные коридоры, и все часовые! Что бы такое придумать?»

Я подхожу к большому окну, выходящему в конце коридора. Схватываю близстоящую табуретку и запускаю ее в окно. Веселый каскад стеклянных осколков с оглушительным треском и звоном шумно рушится на пол. Обедавшие испуганною гурьбой выскакивают в коридор.

— Что вы делаете?! — с криками ужаса кидаются они ко мне.

— Стекла тюремные бью, — отвечаю я деловито. — Пусть знает вся тюремная и судейская сволочь, что имеет дело с протестующим, голодающим большевиком!

— Но в вас будут стрелять! — хрипит в ужасе Комиссаров.

— Нам будет хоядно здесь без стекой! — визгливо прыгает князь. — Это вагвагство! Пегестаньте!..

— «Варварство»? — улыбаюсь я очень спокойно и придвигаю к окну деревянный диван.

Вскочив на него, я наношу табуреткой меткие удары по раме, чтобы больше в ней не оставалось ни одного стекла. Дождь острых осколков с шумом сыплется и на улицу и сюда. Все следят за мной со страхом, испуганно разбежавшись по своим конурам. Острый кусочек стекла, видимо, оцарапал мне руку: по ней течет кровь. Я вынимаю платок и, перевязывая ранку, иду в свою камеру. Такая спокойная, тихая наша тюрьма сейчас вдруг гудит, решетчатые двери с лязгом хлопают всюду. В наш коридор испуганно вбегают тюремщики.

— Что случилось?!

— Ничего,— равнодушно глядит Комиссаров, — мы спокойны. Это вот большевик, — кивает он мне в спину, — распатронил это окно. Он сейчас объявил голодовку.

Я хожу по камере взад-вперед. От волнения пропал аппетит. Дверь я затворил: не хочу, чтоб ко мне заходили. «Мы покажем всем стервецам, — думаю я с железной решимостью, — мы покажем, как голодают и борются большевики!» — и я любовно припоминаю сейчас всех тех товарищей, которые в этот момент там, на гауптвахте 1-го Комендантского управления, так же, как я, голодают. Напористый и мятежный Крыленко с точеною, как шар, головой, чуть подернутой реденьким серебром; крепкобородый Дашкевич в очках; остроносенький розовый Дзенис; длиннолицый спокойный Куделько, всегда не знающий, куда девать свои руки; порывистый тер-Арутюнянц в пышной гриве черных волос... — все они мысленно проходят передо мной стойкими, протестующими большевистскими бойцами.

Только вечером, когда ложились спать, Жендзян завернул на минутку меня проведать.

— Может быть, все же выпьешь воды? — сказал он участливо. — Без воды ты долго не выдержишь. Глупо...

— Я объявил полную голодовку и буду точно ее соблюдать, — отрезал я сухо.

— Ну, ты же — известный упрямец! — пожал он плечами и вышел.

Наутро я, разумеется, наотрез отказался от чаю, который предложил мне служитель. Сходил за газетами. Достал «Новую жизнь». Развернул, ищу в ней мое письмо. Увы, письма нет. Вместо него здесь другое, именно от тех наших товарищей, что объявили позавчера голодовку. Сегодня они уже извещают о временном ее прекращении ввиду обещаний, полученных ими от ВЦИКа об удовлетворении их просьб, однако угрожают возобновить голодовку, если только не будут в трехдневный срок выпущены на свободу.

Досада меня разбирает. «Неужели и мне придется голодовку прекращать? Вот будет курам насмех!.. Нет, обстоятельства у меня совершенно иные, — подбадриваю я себя, — а кроме того, никаких обещаний для себя от ВЦИКа я еще не имею, а поэтому, стало быть, буду твердо продолжать свою линию до конца».

Чтоб не думать больше о чае и пище и ослабить голодные спазмы желудка, я пробую увлечься газетой. Какой-то прежний номер «Рабочего пути» попадается мне под руки. А впрочем, не все ль мне равно, что теперь читать? Скольжу рассеянными глазами по передовице. Короткие, крепкие строки быстро мелькают передо мной, как солдаты, наступающие боевой перебежкой:

«Революция идет. Обстрелянная в июльские дни и «похороненная» на Московском совещании, она вновь поднимает голову, ломая старые преграды, творя новую власть. Первая линия окопов контрреволюции взята. Вслед за Корниловым отступает Каледин.

В огне борьбы оживают умершие было советы. Они вновь становятся у руля, ведя революционные массы.

Вся власть советам — таков лозунг нового движения!..»

«Четко и горячо! Кто это так пишет? «Сталин». Ах, Сталин!..» — и мне тотчас же припоминается этот худой и смугловатый, с неизменною скромностью всегда внимательно слушающий и пронизывающий собеседника острием черных глаз, молчаливый товарищ. Это он до последней минуты решительно сдерживал нас от выступления в июльские дни и первый же послал нас возглавить и упорядочить это движение, как только полки и заводы неудержимою лавой затопили улицы Питера. Это он твердой рукою провел растущие когорты большевистских рядов через школу Шестого партийного съезда и дал ясную и твердую установку всем дальнейшим нашим путям! Вот, — большевик. Н-да, — большевик!.. А Ленин? Гениальный провидец и вождь всего восставшего пролетариата, и этого великого человека подлые враги загнали в подполье... «И от него не менее подлые ренегаты открещивались в порыве своего идиотского паникерства!» — язвительно подкалываю еще раз сам себя.

— Можно к вам? — стучит кто-то в дверь, и вслед за этим вползает, крадучись, Комиссаров. — Что ж это вы, в самом-то деле? Серьезно?.. Голубчик, — смотрит он на меня с ласковостью крокодила, — что голодовку вы объявили, это прекрасно! Превосходно! — чешет он свой засыхающий чирий на шее. — Пусть повертится теперь Граммофон. В газетах напечатано будет?.. Обязательно надо напечатать. Без этого какой же толк? Этим только и нас в старое время всегда брали. Голодовочка — превосходно!.. Но только зачем же всерьез?.. Я унес к себе — специально для вас — стакан чаю и сдобные пирожки. С мясом!.. Вкусные!.. Я пронесу незаметно.

— Оставьте в покое меня, генерал, — отстраняю я его спокойно, — и не вмешивайтесь больше в мои дела. Я голодаю всерьез.

— Чудак! Вот чудак-то! — кряхтя, поднимается он со стула и уходит, не прикрыв плотно двери.

— Не понимаю, совегшенно не понимаю! — суетливо чирикает там князь Андронников, бегая больше всех. — Чеовек он интейигентный! Неужеи же можно всегьез?! Неужеи он уже такой бойшевик?!

«Да, такой большевик!» — бормочу я про себя, сердито прикрывая дверь плотнее. «Жалкая шушера!» — думаю я про всю эту свору. «Шушера шушерой, а вот твой Наказный нейдет!.. И не придет, — упрямо свербит мне в ухо голос отчаяния. — Так здесь и подохнешь!»—«Что это, снова мысли о смерти? — подсмеиваюсь я над собой. — Который уж раз подобное паникерство?!» — «Нет

напикерства, — решительно протестует властный рассудок. — Ты знал, на что сейчас пошел. Если не выпустят, то, разумеется, смерть!.. Подумаешь! — ухмыляюсь я. — Либо мы их, дьяволов, сломим, либо будет еще одна жертва во имя революции. Середины нет и не будет», — и сознание этого страшно радостно и легко.

Дверь в столовую приходится в коридоре как раз напротив моей двери, и потому вкусные запахи обеденных блюд доносятся ко мне сюда во всей своей непосредственности и заставляют желудок и горло непроизвольно сжиматься. Эта невольная слабость бесит меня, я отхожу подальше к окну, чтоб больше не думать про тянущий голод и жгучую жажду, от которой щекочет во рту и выступает слюна. Чтоб отвлечься от этого, я смотрю в окно на желанную волю, подернутую сегодня серенькой сеткой дождя. Окно заперто, но промозглая сырость просачивается сюда через щели, наполняя камеру сумраком и холодком.

После нового стука на пороге вдруг появляется сам начальник тюрьмы. Белесый, невзрачный, он окружен сейчас почетною свитой своих надзирателей и докучной толпою уже надоевших мне обитателей нашего коридора, повидимому очень шокированных нелойяльным, с их точки зрения, поступком, который я здесь учинил. Но не злоба и не мщение за разбитую мною раму отпечатлелись сейчас на бледном лице тюремного принципала. С какою-то робостью и даже почтением он подходит ко мне.

— Мы очень вас просим, — скрипит он козлиным голосом, — что-нибудь скушать иль что-нибудь выпить. Иначе долго вы так не протянете, а между прочим, я еще вчера звонил вашему прокурору, и он уже обещал мне сегодня же привезти ордер судебной палаты на ваше освобождение. Ну, сделайте милость, — трогательно изгибается эта тюремная вошь, — что вам стоит откушать? Угодно, я прикажу принести весь обед для вас сюда, в вашу камеру?

— Гуляйте себе на здоровье, господин начальник тюрьмы, и не вмешивайтесь в мое личное дело, — бросаю ему со снисходительною усмешкой, отходя от окна. — До момента своего освобождения ни пить, ни есть я не буду.

— Хорошенькое «личное дело»! — с печальной иронией кивает он своим верным надсмотрщикам. — Он умрет, а мы потом — отвечай!.. Господин доктор, — кивает он тощему сутулому дяде, пришедшему вместе с ним, — вы должны осмотреть заключенного и дать ваш медицинский совет.

Тощий дядя, сопя, лезет ко мне, хотя я решительно его отстраняю.

— Только пульс, по крайней мере хоть пульс! — хватает он меня за руку и замирает, стиснув ее возле кисти и вынув часы. Он секундочку шепчет что-то совсем про себя и скучающе смотрит на своего начальника. — Вы нарушаете процедуру обмена ве-

ществ, — бормочет он мне с укоризной. — Кровь людей отлагает яды, которые организм выбрасывает затем в своих выделениях. Вы теперь с каждым часом все более отравляете себя, потому что не пьете, — растолковывает он мне заботливо.

— Кончим болтовню, — говорю я устало. — Полной голодовки я не прекращу впредь до освобождения. Торопите вашего прокурора.

Они смущенно вываливаются от меня, и дверь снова закрыта. Я опять один.

«Так вон оно что!—с победным восторгом хватаюсь я за виски, так как голова слегка кружится,—должно быть, от этого треволнения. — Так, стало быть, прокурор теперь струсил? Уже сегодня я буду свободен?!. Тем лучше!.. Стало быть: только — терпение... Терпение...»

Терпеливо ложусь на кровать.

Часы идут за часами; нет, они не идут, а медленно-медленно тащатся, как тощие, дохлые клячи, везущие грузный гроб. Нет, к чорту печальные мысли! Терпенье, терпенье, терпенье!..

Уже зажгли свет. Дверь осторожно ко мне отворяется, и входит, придерживая как-то странно пиджак, опять Комиссаров. Он беспечно мурлычет себе что-то под нос и закрывает тщательно дверь пинком.

— Тссс! — подмигивает он заговорщицки. — Я тут вам что-то принес...

Он вынимает из-за полы пиджака стакан, должно быть, уже остывшего чаю, а из кармана вытаскивает сдобные пирожки.

— Никто теперь не увидит, — бормочет он полушопотом и ставит все это рядом с кроватью на стул.

— Уберите сейчас все это обратно! — трясусь я от негодования. — Вы слышите: сейчас же обратно!

— Зачем? — шепчет он, тараща косматые рыжие брови. — Ведь никто ж не увидит! Пускай там для всех — голодовка, но зачем же, мой друг, для себя?!.

— Гадина! — кричу я с ненавистью и презрением. — Ты думаешь, провокатор, что революционеры — двурушники и плуты?! Вон отсюда со своими гнусными подачками! Убедись хоть раз в жизни на деле, что большевики в вопросах жизни и смерти никогда не плутуют, что большевики умеют честно и бороться и умирать!

Он выскакивает от меня как пустая огромная бочка, а я хватаю его стакан чаю и пирожки и швыряю все это вслед ему через дверь, вызывая всем этим новый переполох в коридоре.

Закрыв свет, ложусь спать. Ордер придет, должно быть, уж ночью.

Утром рано открываю глаза и сразу же чувствую некоторую слабость. Однако я встаю. Встать мне все равно сейчас нужно, ибо я чувствую позыв к нужде.

Позывы на деле оказываются ложной тревогой. Ничего, кроме одной крохотной капли, похожей на крепкий, густой, наваристый дочерна чай, мне выдавить из себя не удалось. У меня слегка кружится голова, а грудь распирает тошнота. Вернувшись к себе, я снова ложусь на постель.

«Не может этого быть, чтоб до сих пор не было ордера, — думаю я. — Неужели тюремщик плутует? Но зачем, спрашивается, ему плутовать? В чем же дело тогда?»

Жендзян осторожно входит ко мне, почти что на цыпочках, неся для меня пачку свежих газет, и садится на стул у постели. Он с тревожным участием пытливо глядит на меня.

— Твое письмо напечатано,— сообщает он, — вот смотри «Новую жизнь». И заголовок-то какой: «Письмо из тюрьмы»!

Это придает мне бодрости. Я натягиваю одежду, так как без нее меня треплет озноб, и, усевшись на кровать, раскрываю газету.

«Да, письмо. Оно напечатано здесь целиком. Спасибо, спасибо Вале! Теперь уже партия знает, где я и как я борюсь. Это отлично!»

Я даже пробую походить по камере из угла в угол, но тошнотворная тяжесть в груди и головокружение заставляют меня снова сесть на кровать.

— Что говорил тебе вчера начальник тюрьмы? Тебя выпустят?— мрачно спрашивает Жендзян.

Молча киваю.

— Тогда тем более нужно тебе сейчас продержаться. Выпей хотя бы воды.

Решительно кручу головой, и он, уходя, досадливо пожимает плечами.

Часа через два за стеной коридора снова шум и движение. Кто-то вошел, слышны громкие разговоры, шаги направляются явно ко мне. Сердце радостно бьется: «Наконец-то! Значит: победа?»

Действительно, на пороге — снова начальник тюрьмы, с ним его свита, а из-за спин тревожные взоры наших однокоридорников.

— Печальная весть! — металлически звякает начальник тюрьмы.— Только что звонил ваш прокурор. Распоряжением министерства — в освобождении вам отказано. Причиною — содержание опубликованного вами сегодня в газетах письма. Ваш прокурор выведен там каким-то пламенным вашим заступником, а себя вы называете демонстративно «пленником Директории». И опять же — солидарность с другими большевиками. Министр этим взбешен и вам отказал.

Руки мою холодеют, и я нервно дрожу.

— Голодовка теперь бесполезна! — усмехается нагло начальник. — Вам придется ее прекратить. Позволите предложить вам бульону? Откушайте на первый прием ложку-две, не больше, чтобы себе не повредить.

— Передайте вашему прокурору,—перебиваю я его в сердцах,— что голодовка мною снята не будет! Разговаривать с вами я больше не намерен. Прошу выйти вон!

И снова, словно оплеванные, выходят они все от меня, как и вчера.

«Так вот что наделало это письмо! — с неуемною грустью смотрю я теперь вновь на него. — Вместо чаемого освобождения — обреченность на верную смерть. Палачи. Палачи! Ну, что ж, вы добьетесь теперь своего, проклятые палачи. Но никогда, ни за что не победите вы, палачи, в этой смертельнейшей схватке миллионов людей!

Дрожащей рукою я вновь расправляю газету и со щемящею болью смотрю на это «Письмо из тюрьмы».

«А я-то рассчитывал!.. И вот как снова ошибся... Радостно предвкушал, что об этом теперь все узнают! Да, конечно, теперь все узнают. Действительно — все!.. Все?.. А стало быть, в том числе и жена?.. А и в самом-то деле, она, конечно, должна будет об этом узнать. Если сама не прочтет, ей другие непременно расскажут... И вот, наверное, кинется она сейчас опрометью сюда... с плачем ворвется... будет ползать и умолять, ломать руки, заливаться слезами... заклинать детьми... с воем вцепится в мой рукав!.. Ну, конечно, «смею ли я итти на борьбу и на верную смерть?!.» «Как я смею позабывать о жене и о детях?!.»

— Нет! — твердо встаю я. — Нет, никогда!.. Никогда!.. — говорю я отчетливо громко на всю свою одинокую камеру. — Ни за что... никому не сдамся! Хватит курятников обывательских счастьиц!.. Хватит того, что уже один раз это столкнуло меня в бездну падения!.. Нет, уж теперь-то сердце мое никогда, ни за что не замрет от тоски по семейному камельку. Пусть даже смерть, но я — не сдамся!..

Дрожь в ногах и болезненное головокружение снова сваливают меня на постель. Я ложусь ничком. Стало как будто бы легче. Так легче лежать и, должно быть, легче будет так и умирать.

Часы... а есть ли в природе часы? Нет часов, есть короткие, нервные замирания пульса, жжение в груди, острая сухость в горле и густая противная пленка слизи у языка.

— Безумство! — слышится мне голос Жендзяна.

Потом возле постели начинают маячить какие-то тени. Они чего-то настойчиво ждут. Чего?.. Черный длинный сюртук. Большая грязная с проседью темная борода. Табачные рыжие пальцы

нетвердо протягивают мне стакан. В нем налито молоко. «Зачем это мне молоко? Ни есть и ни пить я совсем не хочу. Совершенно уже не хочу!»

— Я доктор! — шамкает доктор Дубровин, поправляя темные свои очки. — Я — доктор Дубровин. Я прошу вас как врач: выпейте чуточку молока! Я — доктор...

— Доктор? — весело приподымаюсь я на постели. «Доктор Дубровин, — соображаю отчетливо я. — Тот самый, который всегда так пугливо, как тень, прятался ото всех здесь по закоулкам, который из логовища своего никуда не выходил. Он подает молоко. Он, вождь черносотенцев, изувер-жидоед и погромщик, хочет подать умирающему большевику молоко?!.»

Я беру у него твердой рукою (ну, конечно же, твердой, — она только чуточку дрожит от волненья), я беру у него твердой рукою бережно этот стакан и стремительным взмахом выплескиваю весь стакан ему в рожу. Молоко плывет у него по носу и по очкам, стекает струйками с бороды, похожей теперь на сгнившую паклю. Я отдаю кому-то опорожненный этот стакан и все так же молча, спокойно показываю пальцем на дверь. Я держу этот палец, пока в комнате не становится совсем тихо. Теперь все ушли. Я продолжаю лежать ничком и ни о чем больше не думаю в наступившей ночной темноте.

Потом в мою камеру снова входят надоевшие эти люди и открывают электрический свет. Это Жендзян наклоняется сейчас надо мною.

— Вставай! Подымись! — говорит мне настойчиво и тревожно, но в голосе у него звенит и словно танцует какая-то странная, совершенно новая нотка. — Живей подымись! Сейчас звонил сюда наш Наказный. Требовал меня к телефону. Я бегал только что вниз. Он, должно быть, струхнул, волнуется так — слышно в трубку. Сообщил, что мы оба с тобою — свободны. Сейчас он едет сюда на машине и везет ордера!.. Сашка, вставай! — трясет меня эта плечистая длиннорукая обезьяна. — Сашка, вставай!.. Мы — свободны!..

— Свободны? — бормочу я, и мгновенно противная горькая спазма наливает мне горло едкою желчью. — Свободны? — стискиваю я судорожно зубы. — И ты им веришь? Врут они, негодяи! Врут они! — вырываюсь я из его рук, вскакиваю на пол, но тотчас же снова упрямо валюсь на постель.

— Успокойся, — тормошит меня Жендзян. — Говорю тебе: успокойся. И хоть чем-нибудь немножечко подкрепись.

— Ни за что! — упрямо мотаю головой. — Ты — наивен, Жендзян. Палачи готовят новый подвох. Они думают над большевиком посмеяться. Авось, дескать, клюнет. Посмеяться над большевиком?.. Никогда палачам я не дам повода для этого смеха! — су-

дорожно отталкиваю Жендзяна.— Слышишь ты: никогда!.. Оставь меня...

— Вот чудак! — волнуется Жендзян. — Да пойми же, что он уже едет, что он сейчас уже будет здесь! Начальник тюрьмы приказал нам обоим сейчас же спускаться с вещами вниз. Ну?!.

— С вещами вниз? — повторяю я решительно.

— Да-да-да! — дружно рявкает хор у дверей. Дверь из коридора открыта. — Приказано вам спускаться. Ваши вещи мы вам принесем...

«Неужели все это правда?.. Неужели это не сон?.. Может быть, забытье?.. Виденье?..— Я оглядываю свою камеру, стол, стопку книг, темное окно с прутьями толстой решетки. — Как за несколько дней я уже со всем этим свыкся! И вдруг все это покинуть?!. Нет, наверное, это обман...»

Большая гурьба провожает нас до железных дверей коридора. Вниз по лестнице я спускаюсь, цепко держась за перила. Служители тащат шинель и наши тючки с одеялами, подушками и книгами.

— Дайте стул!.. Присядьте пожалуйста! — кивает мне в канцелярии начальник тюрьмы. — Ваш прокурор должен быть здесь с минуты на минуту. — Он смотрит на круглые стенные часы. Уже скоро двенадцать часов.

— Бульончику! — протягивает мне стакан один из тюремных служителей, но я отрицательно верчу головой.

Наконец, сквозь лязг замков и скрип дверей, слышно торопливое шарканье беспокойных калош. Растерянно и поспешно вбегает в канцелярию «наш» Наказный. Его угловатое лицо отражает испуг и смущение. Бархатный воротник у пальто весь искраплен дождем.

Он рывком достает из портфеля мятые бумажонки требуемых ордеров и вместе с начальником тюрьмы принимается за какие-то отметки в их бухгалтерских книгах.

— Позвольте, как же быть? — поворачивается в полном недоумении Наказный вдруг к нам. — Вы освобождаетесь только до суда и лишь под письменное за вас поручительство вашей воинской части. Где же эта подписка вашей воинской части? Без нее отпустить вас нельзя.

— Ты видишь, я был прав. Это новое издевательство палачей!— поднимаюсь теперь я со стула. — Пойдем-ка обратно наверх. Должно быть, им нужен мой труп!

Начальник тюрьмы беспокойно о чем-то шепчет прокурору на ухо.

— Постойте! — оба разом останавливают они нас. — Можете выходить: вы свободны. Поручительство достанете и пришлете потом в адрес судебной палаты.

Испытующе смотрю на их лица. Я вижу: теперь — нет, не врут.

— Выпей бульону! — протягивает мне Жендзян.

Только тогда я принимаю стакан и делаю три медленных, но жадных глотка.

— Будет, будет! — отнимает он от меня питье. — Сейчас больше нельзя, иначе ты рискуешь. А через час можно будет уже основательней подкрепиться. У нас ведь имеются пирожки! — хвастливо хлопает себя Жендзян по туго набитому карману шинели.

То ли от выпитых трех глотков, то ли от радостной встряски освобождения, но я бодро ступаю по гулким плитам тюрьмы. Музыка лязга ключей и засовов провожала нас с Жендзяном. Теперь мы окунулись в кромешную тьму. В воздухе — гнусная сырость, под ногами жидкая грязь. Но мне не холодно, хотя я в одной гимнастерке. Плотно прижавшись друг к другу, плюхаем по рытвинам и буеракам завокзального захолустья. Так мы выходим к трамваю и едем на Балтийский вокзал.

«Неужель это явь?.. — трепещу я от радости. — Мы — свободны!.. И какая ирония судьбы: как и в прежний раз, тогда это было ранней весной, так и теперь — в эту осеннюю слякоть — я неизменно возвращаюсь из Питера снова в Ораниенбаум!..»

В поезде мы трясемся целый час. Это последний поезд сегодня: опоздай мы на него, пришлось бы в Питере ночевать. Пассажиров мало. Достаем пирожки, и я жадно съедаю один из них. Если б можно было, я бы, кажется, все их сейчас один уписал. Но... надо жить. А потому после голодовки необходимо быть умеренным.

В Ораниенбауме было темно. Только в редких домах горели тусклые огоньки. Воздух насыщен осенним тленом мокрых трав и острым запахом гниющего листа. В сырой, зябкой измороси мы звонко шагаем по кирпичным панелям на гору, мимо ворот и деревянных заборов, за которыми нас разноголосо встречает сонный брех пригревшихся псов.

В поезде я изучил наизусть адрес нового убежища моей семьи. Чиркая спичкой, мы читаем на перекрестках название улиц. Вот это здесь: полуразрушенный палисад, у деревянного мрачного дома приткнулась закрытая стеклянная веранда. В зыбкой мгле, за кустами блеклых акаций рябится оранжевый ночничок в глухой глубине этих полузанавешенных простынями убогих сеней. Да, это — здесь. Минутная нервная слабость заставляет меня цепко схватиться рукой за заборчик. Другой держу сверток. Жендзян собирается итти дальше, на ночовку к одному из своих здешних друзей. Крепко жму ему на прощание руку.

— Спасибо, дружище, что проводил, — киваю я. — Ты, наверное, уже завтра зайдешь к себе в штаб кольтовского батальона, так будь тогда добр: вели немедленно разыскать там Новикова и Горшкова и направь их сюда срочно ко мне... Да, смотри, не забудь: чтобы завтра же оба зашли — непременно!..

ОГЛАВЛЕНИЕ





ЦЕНА 9 р. 50 к., ПЕРЕПЛЕТ 1 р. 50 к.

МОСКОВСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
ПИСАТЕЛЕЙ
Москва, Ветошный ряд, 11